Иностранная литература

2

1966

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЖОРЖИ АМАДУ — Мы пасли ночь 4

ЯН ОТЧЕНАШЕК — Хромой Орфей (Продолжение) 109

ПОВЕСТИ

РИЧАРД УОРМСЕР — Пан Сатирус в космосе (Фантастическая повесть. Окончание) 178

РАССКАЗЫ

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ — В мае, в мае куковала кукушка. Цветок одуванчика 91

СТИХИ

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ — Бдение 3

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

АНДРЕ ФРЕНО (Предисловие Самария Великовского) 84

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

ДЖАИД ДЖЕМАЛЬ — Монголия сегодня (Художника представляет Константин Симонов) 176

2

ФЕВРАЛЬ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ — Четыре романа о недавнем прошлом 213
В. ЯСНЫЙ — Большая проза Испании (Заметки о современном испанском романе) 224

ПУБЛИЦИСТИКА

ТРУМЭН КАПОТЕ — Обыкновенное убийство (Документальная повесть) 233

НАШИ ГОСТИ

М. ТКАЧЕВ — Говорят писатели Вьетнама 253
Л. СИМОНЯН — Контакты необходимы 256

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Евг. Солонович — Семеро под одной обложкой. ◇ Юлия Друнина — Как совладать с ветром? ◇ М. Малышев — «Каждый день зависит от нас». ◇ Т. Абдуджаббаров, Х. Хамидов — Румынский писатель — сын пастуха-узбека 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Т. Балашова — Чтобы остаться человеком. ◇ Л. Некрасова — Голос Восстания и голос Свободы. ◇ А. Достоевский — О способности вешать за ноги 264

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 271

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

287

На обложке: Тарелка работы П. ПИКАССО (Керамика).

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ

БДЕНИЕ

Вновь, добровольно одинокий,
сжигаю бденьем ночь мою.
Вновь неподатливые строки
тяжелым молотом кую.

По скользким, по округлым фразам
жерло сомненья бьет в упор.
И, как в пласты породы, в разум
врезается бессонный взор:

докапывается, тараня,
до совести, святой святых,—
и пригвождает вопль к гортани,
и перечеркивает стих...

О, неотступность муки этой,
которая перед тобой
стоит единственною метой —
твоею сутью и судьбой!

О, эта долгая дорога,
которая ведет туда,
где стерта призрачность итога
неизмеримостью труда!

Пусть ты не понят, пусть не признан —
шагай. Тебе ведь не найти
ни красоты, ни смысла жизни
ни на каком другом пути.

Пусть непокорно бденье это,
пусть медь строки еще глуха —
штурмуй себя! И луч рассвета
ударит в колокол стиха.

Перевод с болгарского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

ЖОРЖИ АМАДУ

МЫ ПАСЛИ НОЧЬ

РОМАН

Перевод с португальского
ЮРИЯ КАЛУГИНА

Мы пасли ночь, будто стадо девушек, и гнали ее к вратам зари посохами водки и дубинками хохота.

И если бы не мы — ее ориентиры, в сумраке вышагивающие по залитым лунным светом лугам,— как бы нашла дорогу ночь со своими яркими звездами, разорванными облаками и темной мантией? Как она, заблудшая и одинокая, стала бы пробираться по извилистым переулкам этого города, по его крутым улочкам? На каждой такой улочке — эбо *, на каждом углу — тайна, в каждом ночном сердце — умоляющий крик, груз любовных мук, на немых устах — вкус голода, а на перекрестках бушует эшу **, вырвавшийся на свободу в это опасное время. На нашем пастбище, не имеющем границ, мы собирали жажду и голод, мольбы и вздохи, осколки страданий и ростки надежды, любовные стоны, бесстыдные и горькие слова, мы срезали кроваво-красные ветви, чтобы украсить ими мантию ночи.

Мы бродили по дальним дорогам — самым узким и соблазнительным, достигли границ человеческого терпения, проникли в самую сокровенную тайну людей, осветив ее тьмою ночи, и разглядели ее до дна, до корней. Мантия ночи покрыла собой убожество и величие людей, под ней все они смешались воедино, с единой надеждой, едиными чаяниями.

Едва ночь родилась в порту, мы вынули ее, эту трепещущую в страхе птицу с влажными от морских брызг крыльями, из ее сиротской утлой колыбели и повели через семь городских ворот, отпирая их ключами, которые хранятся только у нас. Мы кормили и поили ночь, заботились о ней и наставляли ее. Лилась кровь, бурлила жизнь, а ночь росла, красивая, серебристая, омытая дождями.

Эта девственница черного небосклона заходила вместе с нами в самые веселые бары. В своей расшитой золотыми звездами юбке она танцевала самбу, раскачивая темными африканскими бедрами, грудь ее колыхалась, как волны. Она участвовала в капоэйре ***, знала самые тонкие приемы и даже придумывала свои; она была ловкой и изобрета-

---

* Колдовской сверток, который подбрасывают с целью повлиять на чужую волю. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

** Негритянское языческое божество, олицетворяющее враждебные человеку силы.

*** Атлетическая игра, которая проводится под музыку, ее участники имитируют драку на ножах.

тельной и не соблюдала установленных правил, эта на удивление озорная ночь! В хороводе божеств она была лошадкой всех святых, никто не мог пройти мимо нее: ни Ошолуфа с серебряным посохом, ни Йеманжá, рождающая рыб, ни Шангó, мечущий громы и молнии, ни Ошоссú, бог сырых лесов, ни Омолý с изрытыми оспой руками. Она была Ошумарэ — богиней всех семи цветов радуги, Ошумой и воинственной Янсан, реками и источниками Эуа, всеми цветами и всеми оттенками, травами Оссани, его добрым и злым волшебством, его колдовской игрой света и теней.

Немного опьяневшая и возбужденная, она входила с нами в самые бедные заведения, где пожилые женщины последние дни служили любви, а недавно приехавшие из деревни девочки обучались трудному ремеслу проституток. Ночь была распутницей, ей не хватало одного мужчины, ее ласки были утонченными и бурными; кровать ломалась под ее трепещущим телом, ее сладострастные крики наполняли музыкой глухие улочки; мужчины сменяли один другого, но желание вспыхивало в ней опять и опять, она вся была им пронизана: ее подмышки и бедра, ступни ног и душистый затылок. Мы засыпали на бархатистой, нежной, как лепесток, груди этой развратницы, ненасытной и сладостной.

А какую работу она нам задавала, когда на легких парусниках мы отвозили ее в море на рыбные мокеки с кашасой * и гитарой. В ее мантии были спрятаны дожди и ветры. И чем спокойнее проходил праздник с тихими кантигами ** и девушками, пахнущими солью и морскими водорослями, тем яростнее она неистовствовала, насылая на нас бурю. Исчезали лунные луга, мирное пастбище гармоник и гитар, разгоряченные отдающиеся тела, разверзались морские пучины, когда эта, безумная в своем гневе, владычица страха и тайн, сестра смерти гасила лунный свет, сияние звезд и огни фонарей на парусниках. Сколько раз нам приходилось хватать ее в объятия, чтобы она не утонула в море Баии и мир на веки вечные не остался без ночи, с одним только светлым днем — без рассвета и заката, без мрака и сумерек, без тайн; на этот светлый мир невозможно было бы смотреть.

Сколько раз нам приходилось, поймав ее за ноги или за руки, привязывать у порога баров или к ножке кровати Тиберии; мы закрывали двери и окна, чтобы она, усталая и сонная, не ушла раньше времени, оставив нам этот неопределенный час — не то ночь, не то день. Застывший час агонии и смерти.

Когда ночь, усевшись в лодку преждевременно поднявшегося месяца, добиралась до своей сумеречной колыбели, раздвигая розовую бахрому на горизонте, она была какой-то жалкой, одинокой и чужой, далекой от нашей жизни, не ведающей наших горестей и радостей, наших волнений и страданий, мужской борьбы и женской ласки. Она недовольно хмурилась, печальная и никому не нужная, всеми оставленная и неприветливая.

Погоняя ее по бесконечному пастбищу наших страстей и вожделений, огорчений и радостей, слез и смеха, ревности, грез и разочарований, мы наполняли ее смыслом, пестовали ее, превращали эту маленькую, нерешительную, скромную и незаметную ночь в ночь мужчины. Мы, ее пастыри, зачали в ней жизнь. Мы создали ночь из строительных материалов отчаяния и надежд, кирпичей зарождающейся любви и увядающей страсти, цемента голода и несправедливости, глины унижений и негодования, извести мечтаний и неустанного стремления человека к лучшему. И когда, опираясь на свои посохи, мы подгоняли ее к вратам зари, она уже была матерью — с грудью, полной молока, щедрым чревом, пыл-

---

* Мокека — жаркое из рыбы или моллюсков с оливковым маслом и перцем; кашаса — бразильская водка из сока сахарного тростника.

** Стихи, распеваемые под музыку.

кой и мудрой. Мы оставляли ее у берега моря, и она засыпала среди утренних цветов, закутавшись в плащ поэзии. Она приходила к нам грубая и невежественная, а потом мы превращали ее в свою ночь. Когда снова надвинутся сумерки, мы вернемся, неутомимые пастыри ночи, без компаса и календаря, без часов и без определенного курса.

Они открывают бутылку кашасы и дают мне, чтобы я промочил глотку. Сколько перемен произошло с тех пор и сколько их еще предстоит! Но ночь Баии все такая же, сотканная из серебра и золота, из бриза и жары, благоухающая питангой * и жасмином. Мы брали ночь за руку и преподносили ей подарки: гребень, чтобы она расчесывала свои волосы, ожерелье, чтобы она украсила свою шею, браслеты, чтобы она надела их на руки. Мы подхватывали каждый раскат смеха, каждый стон, каждое рыдание, каждый крик, каждое проклятье, каждый вздох любви.

Я рассказываю то, что знаю, что сам пережил, а не слышал от кого-то, рассказываю о подлинных событиях. Кто не хочет слушать, может уйти, мой рассказ прост и непритязателен.

Мы пасем ночь, словно стадо трепетных девственниц в возрасте, когда им пора узнать мужчину.

Подлинная и подробная история женитьбы Капрала Мартина, богатая событиями и неожиданностями,

или

Романтик Курио́ и разочарования вероломной любви

1

Когда произошли эти события, Жезуино Бешеный Петух был еще жив, а Капрал Мартин по заслугам и необходимости пока что не произвел себя в следующий чин — он еще не стал сержантом Порсиу́нкулой, впрочем, это в конце концов случится, о чем вы и узнаете в свое время. Что же касается смерти Бешеного Петуха, то, если представится подходящий случай, о ней тоже будет рассказано с разумеющейся и, кстати сказать, должной осторожностью.

Ветрогон шагал вниз по склону, сосредоточенно нахмурясь и что-то насвистывая. Его худое, костлявое лицо было серьезно, голубые глаза смотрели неподвижно и временами даже отрешенно, будто он сам отправился в плавание, а на берегу остались лишь его ноги и руки, его волосатая грудь, зубы и пуп, его выпирающие кости. Когда он бывал таким, Жезуино говорил: «Ветрогон отплыл в Санто-Амаро». Почему именно в Санто-Амаро, никто не знал — Жезуино любил употреблять замысловатые выражения, понятные голько ему одному. Ветрогон был маленький и щуплый, немного сутулый, с длинными тощими руками. Он ступал по земле бесшумно, словно задумчиво скользил, и все насвистывал какой-то старинный мотив, который разносился по склону. Только один старик узнал эту мелодию и вздрогнул, услышав давно забытые звуки. Ему вспомнилось лицо, затерявшееся в далеком прошлом, некогда звеневший хрустальный смех, и он спросил себя, когда и где Ветрогон — человек лет на сорок его моложе — мог выучить эту песенку.

Теперь время летит быстрее, и конец света все приближается. А при такой скорости как сохранить в памяти события и людей? И никто больше — увы, никто! — не увидит таких событий, не узнает таких людей. Завтра настанет другой день, новый, только что родившийся, заря иного

* Плод с характерным сильным ароматом.

поколения, и в нем, в этом дне, уже не будет места прежним событиям и прежним людям. Ни голубоглазому Ветрогону, ни негру Массу́, ни шулеру Мартину, ни молодому влюбчивому Курио, ни Ипсилону, ни портному Жезусу, ни торговцу образами Алфредо, ни нашей Мамочке Тиберии, ни Оталии, Терезе, Далве, Ноке, Антониэте, Раймунде и прочим девушкам, ни другим, менее известным личностям — ибо придет время мерить и взвешивать, а их не измеришь, не взвесишь. Может быть, еще поговорят о Жезуино, по крайней мере во время кандомблэ * в Алдейа-де-Ангола или на федеральной дороге, где он почитается как святой и всеми уважаемый вожак, этот прославленный кабокло ** Бешеный Петух. Но и это будет уже не прежний Жезуино — его облекут в наряд из перьев, и все, что случилось здесь за последние двадцать лет, припишут его воле.

Ветрогона, впрочем, не волновали подобные философские проблемы, однако мысли, которые вели его вниз по склону, были не менее важными. Он думал о мулатке Эро́. Вернее, она и вызванное ею смятение чувств послужили толчком для размышлений о мулатках вообще, о настоящих мулатках, обладающих всеми физическими и духовными достоинствами и не имеющих ни единого недостатка. Можно ли считать и Эро истинной, совершенной мулаткой? Конечно нет, решительно и раздраженно заключил Ветрогон.

В кармане его огромного, доходившего до колен пиджака, который Ветрогон унаследовал от одного клиента-немца — субъекта почти столь же высокого, как Массу,— забилась испуганная мышка. Белая мышка с бархатистой мордочкой и голубыми глазками — воплощенная грация, божий дар, игрушка, сама жизнь.

День за днем Ветрогон учил ее одному трюку, одному-единственному, но забавному. Он щелкал пальцами, и мышка начинала бегать из стороны в сторону, а потом ложилась на спинку, задирала кверху лапки и ждала, когда ее ласково погладят по брюшку. Каждый был бы счастлив иметь такого зверька, нежного и чистого, умного и послушного.

Супруги Кабрал, которым Ветрогон продавал прибрежные растения, кактусы и орхидеи, пожелали во что бы то ни стало купить мышку, как только Ветрогон с гордостью продемонстрировал ее. Жена Кабрала дона Аурора всплеснула руками: «Ну прямо как в цирке!» Она хотела подарить мышку внукам, однако Ветрогон наотрез отказался, несмотря на самые заманчивые предложения. Он выдрессировал мышку не для продажи — не жалея времени, он приручил ее, научил слушаться не для того, чтобы заработать несколько милрейсов. Долгими часами он завоевывал ее доверие, и это удалось только потому, что он обращался с ней, как с настоящей женщиной. Ветрогон почесывал ей брюшко, и она застывала, лежа на спине с закрытыми глазками. Когда он переставал, мышка открывала глаза и шевелила лапками, прося погладить еще.

Ветрогон тратил на мышку свое терпение и время, чтобы преподнести ее Эро и завоевать этим подарком улыбку мулатки, ее любовь и тело. Эро была недавним и удачным приобретением одного из клиентов Ветрогона, д-ра Априжио, у которого она с признанным искусством выполняла обязанности кухарки. Ветрогон воспылал, едва увидел Эро, и решил по возможности скорее заполучить ее в свой отдаленный домишко. Для достижения желанной цели мышь казалась ему наиболее верным средством. Ветрогон не любил терять время на всякие там объяснения, страстный шепот, нежные слова и не ждал от них никакой пользы. Иное дело Курио — тот ничего другого и не умел, никто не мог с ним сравнить-

---

* Кандомблэ, или макумба,— негритянская языческая церемония, сопровождаемая плясками и песнями под звуки барабана.

** Метис.

ся, когда он пускался в клятвы и заверения. Курио даже купил книгу «Секретарь влюбленных» (с изображением на обложке бесстыдно целующейся парочки), по которой заучивал нежные клятвы и мудреные слова. Но, несмотря на это, ему, как никому другому, изменяли любовницы и невесты, подружки и возлюбленные. Любовная литература не помогала, и Курио после очередной измены или разрыва приходилось заливать разочарование кашасой в кабачке Алонсо или в баре Изидро до Батуэле.

Ночь, окутанная бризом, мягко спускалась на холмы, площади и улицы; воздух был теплым, землей и людьми овладевала тихая грусть, почти абсолютное ощущение покоя, будто никакая опасность не угрожала больше человечеству, будто навсегда закрылось некое злое око. Это время гармонии и чистоты, когда все чувствуют себя счастливыми.

Все, кроме Ветрогона. Он не был счастлив ни наедине с собой, ни в компании, и все по вине этой непонятливой Эро. Он целыми днями думал о ней, мечтал о ее груди, которую разглядел в вырезе платья: когда мулатка наклонялась над очагом, у Ветрогона загорались глаза. Потом она нагибалась поднять что-нибудь с пола, и Ветрогон видел ее ноги цвета меда. Последние недели он жил, охваченный желанием, мечтал о ней, со стоном произносил ее имя в дождливые ночи. Он выдрессировал мышку — этот подарок должен был подкрепить его объяснение в любви. Достаточно преподнести зверька Эро, заставить мышку побегать, почесать ей брюшко, и влюбленная мулатка покорно раскроет ему свои объятия. Ветрогон в этом не сомневался. Он уведет ее в свой домик на пустынном берегу океана, и там они отпразднуют помолвку, свадьбу и медовый месяц — все сразу и вперемежку. В ящике под банановыми листьями Ветрогон припрятал несколько бутылок кашасы. Он купит по дороге хлеба и колбасы, и они, если захотят, спокойно проживут вместе всю жизнь. Всю жизнь или одну ночь... Ветрогон не строил планов на отдаленный срок, неопределенные перспективы его не увлекали. Его единственной и конкретной целью было увести Эро в свой домишко и поваляться с ней на песке. Как пойдет дело дальше, это другой вопрос, и решать его он будет в свое время.

Пока Ветрогон обучал мышку, он привязался к ней, между ними возникла дружба до такой степени нежная, что на какой-то момент он даже забыл о мулатке, забыл о ее существовании, о ее смуглых ногах. Он играл с мышкой просто так, ради удовольствия, без всяких задних мыслей. Он часами забавлялся с нею, смеялся, разговаривал. Ветрогон понимал язык, на котором говорят животные, по крайней мере он так утверждал. Да и как можно было сомневаться в этом, если мыши и лягушки, змеи и ящерицы подчинялись его жестам и его приказаниям?

Не приди он с лягушками к доктору Априжио, хозяину Эро, у которого была лаборатория, все пошло бы иначе. Но едва Ветрогон попал в кухню, как увидел у очага длинноногую мулатку, похожую на стройную пальму. «Господи! — подумал он.— А я забыл принести мышь». Он выложил лягушек в чан, получил деньги и объявил Эро, что зайдет вечером. Мулатка пожала плечами и вильнула бедрами, выказывая полное безразличие к этому сообщению: пусть заходит, если надо, раз у него есть какое-то дело к хозяину, ей на это наплевать. Но Ветрогон по-своему понял ужимки Эро. Никогда она еще не казалась ему столь пылкой и столь желанной.

В назначенный час он появился в кухне, не спросив разрешения. Эро, сидя у кухонного стола, чистила картошку. Ветрогон подошел к столу и скромно заявил о своем присутствии. Мулатка удивленно подняла глаза.

— Опять пришел? Наверно, принес каких-нибудь тварей. Какой ужас... Если это лягушки, пусти их в чан, мышей — в клетку. Все равно гадость...— Это мулатка сказала, понизив голос, и опять занялась кар-

тошкой, не обращая больше на Ветрогона никакого внимания. А он, не слушая Эро, разглядывал ее грудь в вырезе платья и вздыхал.— Ты, верно, болен? — нарушила молчание Эро.— Возишься с этими грязными тварями, тут и чумой недолго заразиться...

Сунув руку в карман своего огромного пиджака, Ветрогон вытащил белую мышку и осторожно положил ее на стол. Мышка задвигала носиком, привлеченная соблазнительными запахами кухни, и потянулась к картошке.

— Убери ее отсюда! — вскочив, закричала Эро.— Я же тебе запретила носить в кухню эту гадость...

Она отпрянула от стола, словно мышка, такая хорошенькая и пугливая, была ядовитой змеей, которых иногда Ветрогон ловил и продавал в институт. Эро продолжала визгливо браниться, требуя, чтобы Ветрогон немедленно убирался из кухни вместе со своей мышью, но тот не слышал ее, занятый зверьком.

— Ну разве не хороша? — Ветрогон щелкнул пальцами, и мышка забегала из стороны в сторону, потом упала брюшком кверху и задрала лапки. Он погладил ее по животу и снова забыл об Эро, о ее груди и бедрах.

— Прочь! Прочь отсюда! Убери это грязное животное! — истерически кричала Эро.

Она так разошлась, что Ветрогон наконец услышал ее, посмотрел на нее и вспомнил, зачем он сюда пришел. Приняв возгласы Эро за естественное проявление восторга, он улыбнулся и, с некоторым сожалением показав на мышь пальцем, проговорил:

— Она твоя... Я дарю ее тебе...

Сказав это, он снова улыбнулся, взял мулатку за руку и притянул ее к себе. В эту минуту ему был нужен лишь поцелуй благодарности. Другое он оставлял на ночь. Но Эро, вместо того чтобы уступить, стала бороться и наконец вырвалась из его рук:

— Пусти меня... Пусти...

Освободившись, она отбежала в глубину кухни и стала кричать:

— Убирайся, а то я позову хозяйку... И тварь свою мерзкую забирай с собой! Чтоб никогда больше ты не смел сюда являться!

Ветрогон ничего не понял. С испуганной мышкой в кармане он задумчиво спускался с холма в напоенный ароматом цветов вечер, обещавший душную ночь с грозовыми облаками Почему Эро отказалась принять мышку, вырвалась из его объятий, не пошла с ним на берег моря, тронутая его подарком и жаждущая его ласк? Нет, он ничего не понимал.

В мире многое необъяснимо и непонятно, любил повторять Жезуино Бешеный Петух, а он — человек знающий. Это он как-то вечером, во время задушевной беседы, авторитетно заявил, что мулатки — женщины исключительные, прелестные создания господни, а поэтому очень капризны, и никогда не знаешь, чего от них ждать.

Ветрогон был согласен с Жезуино: для него ни одна женщина в мире не могла сравниться с мулаткой. Ни блондинка с волосами цвета пшеницы, ни негритянка с черными как смоль кудрями. Он обсуждал этот вопрос не только с Жезуино, но и с доктором Менандро, важным сеньором, фотографии которого помещались в газетах, директором научно-исследовательского института, однако державшимся со всеми по-дружески, без зазнайства. Доктор Менандро любил поговорить с Ветрогоном, вызывавшим его на откровенные беседы, слушать его рассуждения о животных, о лупоглазых лягушках, о тейю *, неподвижных, как камни.

---

* Большая ящерица.

Однажды, вернувшись из долгого путешествия, доктор Менандро принялся расхваливать француженок. Он прищелкивал языком и покачивал своей большой мудрой головой: «Ни одна женщина не сравнится с француженкой». И Ветрогон, до этого почтительно молчавший, не удержался:

— Вы меня извините, доктор, вы человек ученый, придумываете разные лекарства, чтобы лечить болезни, преподаете в институте и все такое. Простите за откровенность: я никогда не спал с француженкой, но могу поклясться, им далеко до мулаток. Нет, сеньор доктор, на свете нет женщин, больше пригодных для любви. Не знаю, грешили ли вы с мулатками, у которых кожа цвета чая из бузины или спинки саранчи? Они подобны паруснику, качающемуся на волнах... Ах, сеньор доктор, в тот день, когда вы ляжете с одной из них в постель, вы навсегда откажетесь от всех ваших француженок...

Столь длинной речи Ветрогон не говорил давно, и это было признаком того, что он взволнован. Последние слова он произнес с твердым убеждением и, церемонно сняв свою дырявую шляпу, умолк. Ответ д-ра Менандро был неожиданным:

— Согласен, мой дорогой, я тоже ценитель мулаток. Особенно они мне нравились в студенческие годы, да, впрочем, и сейчас нравятся. Меня даже прозвали «барон черных нянек». Но кто тебе сказал, что во Франции нет мулаток? Ты знаешь, что такое мулатка, недавно приехавшая из Сенегала? Из Дакара в Марсель, мой дорогой, приходят суда, полные мулáток...

«Что ж, он, наверно, прав»,— подумал Ветрогон, соглашаясь с доктором, которого очень уважал. Быть может, лишь Жезуино Бешеный Петух и Тиберия стояли ступенью выше в шкале преклонения и восхищенных чувств Ветрогона. Когда он снова стал слушать доктора, тот рассуждал о подмышках.

Как мы видим, у Ветрогона в отношении мулаток была не только богатая практика, но и определенные теоретические познания. Однако и практика, и теория оказались бессильными перед непонятливой Эро. Ветрогон чувствовал себя побежденным и разочарованным. Своим страхом перед бедной мышкой Эро скорее напоминала светлую мулатку. Разве станет истинная мулатка так вести себя? Нет, нет и нет!

Ветрогон шел к таверне Алонсо, и постепенно площадь Позорного Столба наводняли мулатки, настоящие мулатки — с соблазнительными грудями, округлыми бедрами, ароматными затылками. Они спустились с облаков, сразу потеплевших, и заполонили улицы. Это было бурное, беспрерывно волнующееся море, в котором Ветрогону предстояло плавать. Мулатки взбирались по склону, парили в воздухе, а одна замерла прямо над головой Ветрогона; к небу поднимались уже не холмы, а груди, и на тротуаре теснились бедра, миниатюрные и роскошные, но все округлые — на любой вкус.

Ночь еще только начиналась, был тот тревожный и таинственный час, когда в Баии может случиться что угодно. Час сумеречных теней, первый час Эшу, когда он выходит на дороги проверить, повсюду ли ему были сделаны жертвоприношения или кто-нибудь забыл про данный обет. Кто же, кроме Эшу, мог наводнить площадь Позорного Столба и голубые глаза Ветрогона красивыми и бесстыдными мулатками?

Там внизу, на море, надувались паруса рыбачьих лодок, спешащих зайти в гавань прежде, чем начнется дождь. Тучи, гонимые ветром, устремлялись в открытое море, закрывая путь луне. Появилась золотистая мулатка и унесла мелодию, которую насвистывал Ветрогон, оставив его наедине с мыслями. Ветрогон торопился в кабачок Алонсо. Друзья, наверно, уже там, он обсудит с ними это сложное дело. Мудрый старый Жезуино умеет все распутать и все разъяснить. А если дру-

зей там нет, Ветрогон отправится в бар Изидро до Батуэле на площади Семи Ворот или в портовый бар Сирилиако, пользующийся дурной славой из-за контрабандистов и торговцев маконьей *, которые его посещают, или на репетицию афошэ ** в заведение Тиберии. Побывает всюду, пока не найдет их, даже если промокнет под дождем, начавшим лить как из ведра. Он должен обсудить с друзьями этот важный для него вопрос. А мулатки летали вокруг него, и каждая была самая что ни на есть настоящая.

2

Пока продолжалась церемония представления, Оталия то улыбалась, то, став вдруг серьезной, опускала глаза и застенчиво, с виноватым видом теребила бант на своем желтом платье. Время от времени она робко оглядывала собравшихся здесь людей и, задержав взгляд на Курио, слегка покачивалась. Несмотря на густо накрашенные губы, нарумяненные щеки, подведенные глаза и замысловатую прическу, было видно, что она еще очень молода, девчонка лет семнадцати, не больше. Мальчишка, который торопился вернуться, выпалил без передышки то, что ему было поручено:

— Крестная Тиберия велела привести сюда эту девушку и сказать, что ее зовут Оталией, она новенькая, приехала из Бонфима вечерним поездом. На станции Калсада у нее пропал багаж, все, что у нее было,— ее обокрали, видно. Она вам сама расскажет.. Крестная сказала, чтобы вы помогли ей найти чемоданы и жулика и побили его... А мне, поскольку в заведении много дел, она велела сразу вернуться, иначе мне попадет...

Он вздохнул, улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, ловко стащил с подноса пирожок и выбежал, провожаемый проклятиями Алонсо.

Оталия продолжала стоять с опущенными глазами, обмахиваясь рукой, как веером.

— Хорошо найти хотя бы сверток. В нем вещь, которая очень дорога мне,— сказала она.

Голос у нее был тихий, как и недавно наступивший вечер. Она умоляюще посмотрела на двух приятелей — Курио и негра Массу, которые держали в руке по стакану кашасы. Ведь ее послали именно к ним, и именно им, а не кому-нибудь другому она была представлена. Курио в своем поношенном фраке, цилиндре, с нарумяненными щеками напоминал клоуна. Оталия хотела еще что-то сказать, но побоялась показаться нескромной.

— Присаживайтесь, девушка, будьте как дома,— пригласил негр Массу.

Оталия благодарно улыбнулась. Предложение говорило о врожденной деликатности Массу, но было платоническим, как поняла Оталия, окинув взглядом помещение: за прилавком метался Алонсо, все ящики были заняты посетителями, а те, кому не хватило мест, пили свою кашасу стоя, прислонившись к стенам или двери. Разумеется, это была лишь обычная вежливость, и Оталия осталась стоять, не зная, куда девать руки. Все взгляды были обращены на нее, всем хотелось узнать ее историю. Слова мальчишки возбудили любопытство, к тому же захватывающий рассказ о краже, услышанный за предобеденным аперитивом, безусловно улучшит аппетит. Оталия сделала шаг к прилавку; она хоте-

* Листья и цветы маконьи употребляются для приготовления наркотиков.
** Праздничная церемония с песнями и танцами.

ла облокотиться на него, чтобы почувствовать себя непринужденнее, но остановилась, услышав, как негр Массу проревел:

— Эй вы, хамы...

Оказывается, приглашение негра отнюдь не было формальным, одним из тех, что делаются попусту. Массу вкладывал в свои слова вполне конкретный смысл — Оталия могла занять любое место, какое ей понравится. Однако никто, казалось, не понял негра: все спокойно продолжали сидеть, удобно развалившись. И особенно удобно — на большой бочке с треской — устроился сам Массу. Пусть так, но он не был грубияном, наоборот, он заботился о приличии. Взглядом, в котором загорелось возмущение, он окинул посетителей кабачка и остановился на Жасинто, молодом шулере с рынка Агуа-дос-Менинос, глуповатом субъекте, всегда ходившем при галстуке и стремившемся прослыть преемником и последователем Капрала Мартина. Развалясь на одном из ящиков, тот с вожделением поглядывал на Оталию. Массу сплюнул, протянул руку и дотронулся пальцем до груди мошенника. Палец негра вполне мог сойти за кулак, и Жасинто почувствовал его меж ребер. На рынке и в его окрестностях поговаривали, что негр Массу не всегда правильно соразмеряет свою поразительную силу.

— Эй ты, дубина, уступи девушке место. Да повежливей...

Жасинто сразу освободил ящик и, встав, прислонился к двери. Массу обратился к хозяину:

— Рюмку девушке, Алонсо...

Обеспечив таким образом место и выпивку Оталии, Массу немного успокоился, хотя предчувствовал, сам не зная почему, что над кражей придется поломать голову. Жезуино еще не показывался, да и Капрал Мартин уже больше двух месяцев как исчез из Баии и бродит где-то по штату. А надо сказать, что оба они, к полному удовлетворению заинтересованных лиц, прекрасно разрешают самые сложные дела и самые запутанные вопросы. Что до него, негра Массу, то он сделает все возможное, не оставит без помощи девушку, которую прислала Тиберия. Тиберия приказала, и он не может ее ослушаться. Курио и Ипсилон наверняка ему помогут, и все же Массу понимал, что его ожидает нелегкая ночь. Даже Ветрогон еще не появился, что-то запаздывает. Иногда выдаются такие ночи: уже с вечера затевается какая-нибудь беспокойная история. Какого дьявола не идет Жезуино Бешеный Петух? В это время он обычно уже рассказывает о своих дневных похождениях и попивает кашасу. Что толку, если девушка сейчас даже самым подробным образом изложит свои злоключения? Ни он, Массу, ни Курио, ни хвастун Ипсилон, ни тем более дурак Жасинто — словом, никто из присутствующих не сможет придумать ничего путного. А о том, что дело будет непростым, Массу мог догадаться хотя бы по поведению Оталии, у него уже был достаточный опыт, чтобы прийти к подобному заключению. Рассудив так, Массу попробовал вернуться к содержательному разговору о кино, прерванному приходом Оталии, словно девушке нечего было сказать и никто не пожелал бы ее слушать.

— Так ты говорил,— начал негр, обращаясь к Эдуардо,— будто то, что мы видим в кино, происходит не взаправду? Стреляют холостыми патронами, дерутся понарошку, и даже лошади скачут не так, как в жизни? А я в это не верю...

— Ну и напрасно,— заявил Эдуардо Ипсилон, прозванный так из-за общепризнанной эрудиции в самых различных областях. О чем бы ни зашла речь, Ипсилон тут же вмешивался, чтобы блеснуть своими знаниями и в данном вопросе.— Все это трюки, чтобы обманывать таких дураков, как ты... Я читал один журнал...— этот аргумент подавил противников Ипсилона.— Сплошная подделка. Ты думаешь, что лошадь скачет галопом, а она просто дрыгает ногами перед кинокамерой. Ты

видишь, как парень бросается в бездонную пропасть, а на самом деле это ямка, глубиной в полметра...

Негр Массу отнесся с недоверием к подобному утверждению, он не был убежден, что Ипсилон не выдумывает, и попытался найти поддержку у остальных. Но тут выяснилось, что интерес к теме пропал, спор утратил свою прелесть, превратившись в скучную академическую дискуссию, которая мешала девушке рассказать свою историю. Все в нетерпеливом ожидании повернулись к Оталии. Жасинто вытащил из кармана маленькие ножницы и стал подравнивать ногти, игриво поглядывая на путешественницу. Но нет, Массу так легко не сдавался.

— А ты как думаешь? — спросил он Оталию. —Прав Ипсилон или просто смеется над нами?

— Откровенно говоря,— сказала Оталия,— я не очень люблю кино. У нас в Бонфиме есть кинотеатр, но довольно паршивый, лента то и дело рвется. Здешние кино хорошие, я уже слыхала, а наше никуда не годится. И все же иногда я ходила в кино, уже после того как поступила в заведение, а до этого была только два раза, отец не разрешал, да и денег не было. Тереза, моя сестра, та часто ходит, она совсем без ума от кино, знает по именам всех артистов, влюбляется в них, вырезает из газет их снимки и прикалывает к стене булавками. Глупо, правда? Уже взрослая, а влюбляется в артистов, где это видано? Может, они и не настоящие, как говорил этот молодой человек, который кажется таким образованным... Но уж такова Тереза, у нее все не как у людей. И уж раз об этом зашла речь, я скажу, что со мной произошла история, ну прямо как в кино или в романе.

Негр Массу покорно вздохнул. Он так хотел отсрочить рассказ Оталии, подождать прихода Жезуино Бешеного Петуха (где же до сих пор бродит этот старый распутник?). Чтобы выиграть время, он и пытался вовлечь девушку в спор о кино. Однако она повернула разговор к теме, которой он так боялся. Курио не мог терпеть больше:

— Так как же все это случилось?

«У этого прямо зуд какой-то»,— подумал Массу, услышав вопрос приятеля. Остальные с интересом уставились на Оталию, даже Ипсилон забыл о кино. Негр пожал плечами, он предвидел хлопотливую ночь — им еще придется пошататься под дождем, разыскивая вещи этой девицы. Потом он постучал стаканом по прилавку, требуя еще кашасы. Ладно, будь что будет! Алонсо налил Массу и спросил:

— Кому еще?

Он не хотел, чтобы его отрывали, когда девушка станет рассказывать,— он любил слушать, ничего не пропуская. Оталия вдруг почувствовала, какая ответственность легла на нее: все замерли в ожидании ее истории, и она должна оправдать это ожидание. Вытянув губы, она сделала крошечный глоток, улыбнулась и взглянула на Курио: клоун он или нет? Если нет, то почему у него так нарумянено лицо и почему он носит фрак и цилиндр? Курио улыбнулся ей в ответ, девушка начинала ему нравиться, он находил красивыми ее распущенные черные волосы, тонкие губы, бледное, без кровинки, лицо. Такая уже повидала кое-что в жизни, но держится скромно и, сразу видно, нуждается в покровительстве и ласке. Воодушевленная улыбкой Курио, Оталия начала:

— Так вот, как я уже сказала, я приехала из Бонфима, где жила в заведении Зизи. Все шло хорошо до тех пор, пока полицейский инспектор не придрался ко мне и не стал меня преследовать из-за скандала с сыном судьи. Бонфим — маленький городишко, и я не виновата, если парень не вылезал из моей комнаты целыми днями. Мне совсем не нравился этот пижон — с ним не поговоришь, не пошутишь, только надоедал мне своими глупостями. Но судья грозился посадить меня в тюрьму, а жена его поносила меня повсюду последними словами да еще выдумала,

что я приворожила ее сына. Нет, вы только подумайте: я его приворожила! Наверно, потому, что мне захотелось неприятностей... Ведь они буквально не давали мне жить. В один прекрасный день я могла проснуться в каталажке, избитая до полусмерти. А потом судья перестал давать сыну деньги, и тогда Зизи обозлилась не на шутку: несчастному парню нечем было заплатить за пиво, уже не говоря о моей комнате, еде и прочих расходах. Денег у него не было, но зато ревности хоть отбавляй, он совсем замучил меня. И вот тогда я...

Приход Ветрогона прервал Оталию. Он вошел, насвистывая, на мгновение задержался в дверях, чтобы приветствовать собравшееся в кабачке общество. Затем направился к прилавку, пожал руку Алонсо, получил свою порцию кашасы и, встав у стены рядом с Массу, оглядел присутствующих. Жезуино Бешеный Петух все еще не появлялся, но, несмотря на это, Ветрогон объявил:

— По моему заказу из Франции будет доставлено четыреста мулаток. Судно прибудет в среду...— Он сделал небольшую паузу, чтобы глотнуть кашасы, и повторил: — Четыреста...

Потом несвоевременно вторгшийся Ветрогон стал снова насвистывать, приняв вид человека, которому нечего добавить к сказанному. Оталия после некоторого колебания хотела продолжать, но тут негр Массу обратился к Ветрогону:

— Четыреста? Тебе не кажется, что это многовато?

Ветрогон отозвался несколько раздраженно:

— Многовато? Почему? Четыреста мулаток, и ни одной меньше...

— Что же ты с ними будешь делать?

— А ты не знаешь? Вот так номер...

Оталия ожидала окончания этого диалога, чтобы продолжить свою историю. Наконец негр Массу спохватился и попросил извинения:

— Продолжай, девушка, я только хотел узнать...

Он махнул рукой, как бы давая дорогу Оталии, и она пустилась в дальнейший путь:

— Итак, мне оставалось только собрать свои пожитки да убраться куда-нибудь подальше. Зизи дала мне письмо к доне Тиберии, своей куме, и я спрятала его за пазуху. Еще хорошо, его у меня не украли — куда бы я теперь делась? Я уехала из города тайком, чтобы мой парень ничего не заподозрил, иначе он устроил бы страшный скандал. Только Зизи знала, она да моя сестра Тереза. Сошла я здесь с чемоданом и свертком... Положила их рядышком с собой...

Оталия приближалась к кульминационному пункту своей истории. Именно поэтому она сделала паузу, и негр Массу воспользовался ею, чтобы снова обратиться к Ветрогону:

— Ты в самом деле заказал столько мулаток?

— Целое судно. В среду придет из Франции. Француженки лучше всех других женщин.

— Кто это тебе сказал?

— Доктор Менандро.

— Тс...— Курио приложил палец к губам.

— Так вот, поставила я чемодан рядышком с собой на перроне,— продолжала Оталия.— Сверток положила на чемодан, чтобы не раздавилась вещь, которой я очень дорожила... Не то чтобы она была ценная... Платья, туфли, ожерелье, которые подарил мне тот парень, когда начал за мной ухаживать,— все было в чемодане. В свертке же была только дорогая мне вещь... Мне еще в поезде захотелось в уборную, но туда невозможно было зайти из-за ужасной грязи. А на перроне мне совсем стало невтерпеж, и когда неподалеку остановился господин, похожий на лорда, и стал глядеть на меня, я его попросила присмотреть за моими вещами. Он ответил: «Можете не беспокоиться».

Оталия немного помолчала и протянула пустой стакан Алонсо. Негр Массу наклонился к Ветрогону.

— Чем же ты будешь расплачиваться?— в его голосе чувствовалось недоверие.

— Я их купил в долг...— ответил Ветрогон.

Отхлебнув кашасы, Оталия продолжала:

— Я пошла в уборную, которая оказалась очень приличной, но когда вернулась, то ни мужчины, ни чемодана, ни свертка уже не было. Я обегала всю станцию.

Видно. не суждено было Оталии спокойно кончить свой рассказ. На этот раз вошел рулевой Деусдедит с парусника «Цветок волн» и спросил Жезуино Бешеного Петуха. Но поскольку того все еще не было, Деусдедит заявил, что его вполне могут заменить негр Массу, Курио и Ветрогон. У Деусдедита, который прибыл из Марагожипе, было к ним дело.

— Я искал и вас, сеньор Массу. Меня просили в первую очередь найти Бешеного Петуха, но если его не будет, обратиться с поручением к кому-нибудь из вас...

— Поручением?

— Да, и срочным... От Капрала Мартина...

Посетители с интересом повернулись к рулевому, сразу забыв об Оталии и Ветрогоне с его мулатками.

— Ты видел Мартина?— взволнованно спросил негр.

— Не далее как вчера. Он пришел, когда я грузил свой парусник, и мы с ним выпили пива. Он велел передать, что вернется через несколько дней. Я предложил довезти его, но он сказал, что у него еще есть дела, которые надо уладить...

— А он здоров?— поинтересовался Курио.

— Вполне. К тому же он женился в Марагожипе на красотке...

— Опять с бабой спутался. Мулатка?— полюбопытствовал Ветрогон.

— Что ж, теперь ясно, почему он задерживается...— сказал Ипсилон, который считал, что только безнадежный глупец станет торопиться, повстречав на своем пути красивую женщину.

— Вы меня не поняли. Он женился...

— Женился? Они поселились вместе?

— Именно так он мне и сказал. «Деусдедит, брат мой, это — моя жена, я женился, обзавелся семьей. Человеку без семьи грош цена. И тебе советую последовать моему примеру».

— Мне он говорил то же самое.

— Ага... А потом попросил разыскать вас, рассказать вам о его женитьбе и предупредить, что он приедет с женой на следующей неделе. Ох и хороша у него жена, дружище! На такой и я бы женился...— в наступившей тишине он вдруг вспомнил темную родинку на плече супруги Капрала.

Молчали все, будто подавленные этой новостью. Ни приятели Капрала, ни остальные посетители, словом, никто, ни один человек не мог произнести хотя бы слово. Все как-то растерялись. В конце концов нарушил молчание Ветрогон.

— Так ты говоришь, Мартин женился? А я не верю. Я ему дам шестнадцать мулаток...

Деусдедит испугался:

— Шестнадцать мулаток? А откуда ты их возьмешь?

— Как откуда? Из тех четырехсот, которых я выписал из Франции.

Понемногу все стали приходить в себя.

— Видно, тут уж ничего не поделаешь...— сказал Массу.

Оталия не могла не почувствовать, что случилось что-то важное, и все же ей не терпелось продолжить свой рассказ. Однако увидев смятение собравшихся, она решила посоветоваться с негром Массу, которого приняла за вожака, наверно, благодаря его высокому росту и широким плечам.

— Можно мне продолжать?

— Подожди, дона, подожди немножко...

Оталия поняла, что произошло событие гораздо более серьезное и значительное, чем исчезновение ее вещей.

— Карамба!— поразился сам Алонсо.— Мартин надел себе петлю на шею?

Ветрогон заметил печальный вид Оталии, которая совсем растерялась в этой необычной обстановке, к тому же ей никак не удавалось досказать свою историю. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда белую мышку, положил ее на пол, щелкнул пальцами, и мышка забегала, а потом улеглась на спинку в ожидании, когда ей почешут брюшко.

— Какая прелесть...— вздохнула Оталия, и глаза ее заблестели.

Ветрогон был доволен. Эта девушка оценила его умение. Жалко, что она не настоящая мулатка.

— Мышка такая умная, только что не говорит... Но у меня был кот, который умел говорить. Мы с ним часто беседовали. Он даже немного знал по-английски.

Оталия понизила голос, чтобы не услышали остальные.

— Ты и эти двое,— она указала на Курио и негра,— циркачи?

— Мы? С чего ты взяла?..

Мышка поднялась и вытянула мордочку, вдыхая запах трески, вяленого мяса, сыра и колбасы.

— Это правда,— продолжала расспрашивать Оталия,— что ты послал судно за мулатками?

— Да, во Францию. Оно придет сюда в среду. Француженки — лучше всех женщин на свете, доктор Менандро это выяснил.— И Ветрогон сообщил Оталии под большим секретом то, что до этого хранил про себя и не говорил ни негру, ни Курио:— Они — мулатки, даже под мышками...

Он щелкнул пальцами, зверек снова забегал и привлек внимание Курио, Ипсилона, Жасинто и других. Деусдедит даже расхохотался, настолько забавным показалось ему это послушное создание. Негр Массу обдумывал создавшуюся ситуацию. Надо было что-то делать, принять какое-то решение. Вечер только начался, а уже произошло столько событий: исчез багаж Оталии, Ветрогон выписал из Франции четыреста мулаток, и, наконец, поступило совершенно невероятное известие о женитьбе Капрала Мартина. Для Массу это было слишком, один только Жезуино Бешеный Петух мог справиться со всеми этими историями, распутать все эти клубки. Но где шатается этот старый бесстыдник?

И вот наконец он, улыбаясь, появился в дверях, в руке поношенная шляпа, волосы растрепанны, из дыры в ботинке выглядывает палец. Он здоровается с друзьями. Теперь негр Массу может вздохнуть свободно и отблагодарить Огуна *, своего святого. Бешеный Петух пришел, теперь все разъяснится, все устроится, распутаются все клубки.

Жезуино подошел и, добродушно посмотрев на Оталию, поинтересовался:

— Откуда взялась здесь такая красотка?

Курио коротко передал ему историю девушки, и Жезуино поцеловал ей руку. Она тоже поцеловала ему руку и попросила у него благословения. При первом взгляде на Жезуино она поняла, что он либо бабалан,

---

* Бог железа и войн, сын царицы вод Йеманжи, по мифологии бразильских негров.

либо бабалориша *, может быть, даже Оба **, Шанго *** и уж, несомненно, старый оган ****, один из тех, кого приветствуют барабанами на ритуальных празднествах.

— Двойную порцию, Алонсо, сегодня ночь дождливая, да кстати отпразднуем прибытие этой девушки.

Алонсо подал кашасу и зажег свет. Глаза Жезуино улыбались, он казался очень довольным. Капли воды блестели на его пиджаке с обтрепанными рукавами и на седых лохматых усах. Смакуя кашасу с видом знатока, Жезуино отпивал ее громкими большими глотками.

Негр Массу, как бык, наклонил свою большую голову.

— Тут столько новостей, папаша, что и не представляю, с чего начать. Или с вещей этой девушки, которые то ли потеряны, то ли украдены, или с мулаток, уж и не знаю, сколько их там... Слыхал, Бешеный Петух, какое несчастье произошло? Мартин женился...

— Большую глупость сделал,— вмешался Ветрогон, убирая мышку в карман пиджака.— А я-то собирался предложить ему шестнадцать мулаток на выбор...— И доверительно сообщил Жезуино: — По моему заказу из Франции прибудут четыреста мулаток. Если хочешь, могу уступить тебе одну...

3

Женитьба Мартина в период июньских дождей дала пищу для долгих разговоров. Неожиданное и невероятное известие, сообщенное рулевым Деусседитом, тут же разнеслось повсюду и стало единственной темой всех бесед и споров. Газеты были заполнены важными событиями, но там, где знали Капрала, говорили только о его женитьбе.

Долго стояла отвратительная погода, тропические ливни перемежались с мелким, надоедливым дождем, который, казалось, проникал до костей. Реки выходили из берегов, потоки воды смывали дома, люди лишались крова, улицы покрылись толстым слоем жидкой грязи. В эти дни резко увеличилось потребление кашасы, ибо, как уже доказано, в дождь и холод нет лучшего средства от простуды, гриппа, воспаления легких. Вода продолжала потоком низвергаться с неба, а все бары, кабачок Алонсо и веселые дома были переполнены. И везде только и разговоров было что о женитьбе Капрала.

Даже Оталия, которая совсем недавно впервые услышала имя Мартина, почти забыла о своих пропавших вещах, стараясь понять, почему столько шума из-за женитьбы этого Капрала. Если бы он был хотя бы лейтенантом или капитаном, еще куда ни шло... В Бонфиме капитан полиции спутался с дочерью фазендейро ***** и водил ее в кусты, а потом разразился страшный скандал. Отец девушки подослал жагунсо ******, и капитан сбежал, бросив не только свою возлюбленную, но и жену с детьми, ибо он был женат и имел четырех детей. Шум поднялся невообразимый.

---

* Бабалан (или бабалориша), отец (или мать) святого,— жрец афро-бразильского культа; на макумбах (кандомблэ) отец (или мать) святого обращается к божеству и передает верующим его повеления.

** Негритянское божество; по одному из поверий, оно в этом мире является в образе мужчины, а в потустороннем — в образе женщины.

*** Одно из самых популярных божеств негритянской мифологии — бог бурь, молний и грома.

**** Член языческой секты, который помогает отцу (или матери) святого в ритуальной церемонии, содействует посвящению новых оганов, осуществляет посредничество между сектой и гражданскими властями, следит за расходами секты.

***** Помещик, плантатор.

****** Наемник, бандит.

Позже Деусседит сообщил подробности: Капрал и его жена отправились в свадебное путешествие, они уже успели привязаться друг к другу и без конца нежничают: только и знают, что шепчутся, целуются на виду у всех, называют один другого ласковыми именами. Много чего порассказал Деусседит, и эти возмутительные подробности послужили новой пищей для размышлений и пересудов.

Слухи, как сорная трава, поползли из кабачка Алонсо по всему городу: по улицам, рынкам и ярмаркам, по бедным кварталам. В барах, где воодушевление поддерживалось водкой, обсуждения эти принимали слишком бурный характер. Вопросы следовали один за другим, но на многие из них никто не мог ответить, раздавались и предложения, и, не станем скрывать, слова неодобрения, мрачные предсказания и даже проклятия.

Не будь столь могущественны божественные покровители Мартина, например, старый Ошала или Омолу, бог недугов и врачевания, не имей Капрал в некоторых святых домах солидных друзей, которые молились за него и обладали сильными колдовскими чарами, не будь так могущественен эбо, охранявший жилище Мартина, он, наверно, отправился бы на кладбище. Он и его жена, оба в одном гробу, потому что, если при жизни они не разлучались ни на минуту, как рассказывали видевшие их в провинции, они, разумеется, пожелали бы остаться вместе и после смерти.

Сообщение Деусседита вскоре подтвердилось новыми подробностями. Торговцы, возвращавшиеся из Санто-Амаро, приезжие из Кашоэйры, моряки из Мадре-Деуса и других городов на Парагуасу привозили ошеломляющие известия. Любовная идиллия, точно кисея, окутывала все города и селения, через которые проезжали новобрачные. Они ехали рука в руке, с устремленными друг на друга глазами, глупо и счастливо улыбаясь, безразличные ко всему, что их окружало. И многих не на шутку беспокоило не только это легкомыслие молодоженов и выставленная напоказ любовь, но и перемены, происшедшие в Капрале Мартине, которых нельзя было не заметить. Он, казалось, стал другим человеком: кое-кто даже слышал, как он говорил, что хорошо бы подыскать какую-нибудь работу. Невероятно! Все отказывались в это верить, пока собственными глазами не увидят Капрала.

Кому не известно, что любовь совершает самые странные превращения? Грустный становится веселым, общительный — меланхоликом, оптимист — пессимистом, трус — храбрецом, а робкий — человеком решительным. И все же никто не думал услышать в один прекрасный день, что Капрал Мартин, прославившийся твердостью характера и убеждений, заговорит о работе. Этот отказ от нерушимых прежде основ встревожил друзей Мартина, разочаровал многих его поклонников и, главное, создал опасный прецедент для молодежи, начинающей свою жизнь на Рыночной площади, базаре Агуа-дос-Менинос, площади Семи Ворот. Как закалить характер этих подростков, когда Капрал, всегда являвший собой пример, достойный восхищения, опустился так низко, порвав со своим прошлым? Капрал ищет работу! В это невозможно поверить, если только не прав Массу, предположивший, что от любви Мартин помешался и уже не отвечает за свои слова и поступки.

Впрочем, разве его женитьба не является лучшим доказательством того, что он свихнулся? Никто не удивился бы, если б женился кто-нибудь другой, например Курио. Ну, поговорили бы о красоте его невесты и его неизлечимом романтизме — и все. Но Капрал был сделан из другого теста. Самые солидные и уважаемые люди осуждающе покачивали головой в переулках и улочках, на афошэ и гафиэйрах *, за игорным сто-

---

* Гафиэйра — народный бал, импровизированная танцевальная вечеринка.

лом и на площадках кандомблэ. А многие женщины в разных концах города рыдали либо скрипели зубами, клянясь отомстить Капралу. Слухи же продолжали приносить новые подробности, поговаривали даже, что свадьба была со священником и судьей, в церкви и муниципалитете—словом, по всем правилам брак был зарегистрирован при свидетелях, которые тоже расписались в книге. Правда, некоторые утверждали, что это путаница — речь, дескать, идет о первом замужестве Мариалвы, когда она, тогда еще невинная девушка, действительно венчалась в церкви.

Но это не помогло. Описывались все подробности, вплоть до наряда невесты с фатой и флёрдоранжем. Боже мой, какое кощунство!

Настало время сказать правду, ибо даже если дело касается жены друга, истину скрывать нельзя, особенно же всем известные и легко доказуемые факты. Когда Мариалва нашла Капрала Мартина, она уже успела развестись с мужем, неким Дукой, в прошлом хорошим столяром, а ныне прозябающим в Фейра-де-Сант-Ана. Он стал немного придурковатым, и теперь его можно часто увидеть близ рынка, где он напрашивается грузить туши и корзины — ни на что другое он уже не способен. Куда девалось его мастерство, его смекалка и гордость! Мариалва все отняла у него и унесла с собой — все, хотя этого было совсем не мало.

Потом она сменила трех любовников, а потом уже в заведении Леонор Досе де Лейте постоянного любовника у нее не было, зато клиентов хватало с избытком. Но даже столь бурная биография Мариалвы не могла остановить некоторых людей, выдумавших, будто бы она венчалась с Капралом в фате и флёрдоранже, символе невинности, которую хранят за семью замками. Смешно было бы предполагать, что нынешняя супруга Капрала непорочна, хотя бы потому, что на левом плече у нее темнела на редкость соблазнительная родинка. Такие же родинки были у всех сестер Мариалвы. Они знали силу этой родинки и носили декольтированные платья. Неосторожный поклонник бросал взгляд на родинку и тотчас терял голову. Так наверняка случилось и с Капралом, когда он встретил Мариалву. К тому же в то время он был одинок, вдали от друзей, которые не могли ему помочь. В июне в столице штата шли веселые праздники, и Мариалва, конечно, выставила напоказ свою родинку. А сама смотрела на Капрала робкими, умоляющими глазами, словно просила немедленно защитить ее.

Друзья в смятении качали головой. Они не знали, как оградить Капрала от этого шушуканья, от этих слухов, хотя понимали, что Мартин уже не прежний — теперь он, как щенок, привязан к бабьей юбке. Жасинто, да и многие другие хохотали, лишь Жезуино Бешеный Петух со своим неизменным чувством справедливости ни слова не сказал в осуждение Капрала. Тиберия также хранила непоколебленной свою веру в Мартина, как боевое знамя, развернутое среди бури слухов и развевающееся по ветру споров. Она не верила этим сплетням. И когда Оталия спросила ее, кто такой этот Мартин, о котором столько разговоров, Тиберия погладила ее по мягким волосам и сказала:

— Другого такого нет, доченька. Без него нет жизни, нет веселья. Вот подожди, он приедет, сама убедишься.

4

Но Оталии долго пришлось ждать, прежде чем она близко узнала Капрала Мартина и убедилась в справедливости слов Тиберии. Ибо по возвращении в Баию Капрал, казалось, подтверждал своим поведением самые тревожные слухи.

В тот памятный вечер, когда Деусдедит прибыл с невероятной вестью, никто не поверил в изменения, которые будто бы произошли с Кап-

ралом, хотя все сразу принялись кричать и горячиться. Друзья наперебой рассказывали Оталии о Мартине: кто какую-нибудь забавную историю, кто о его нраве и проделках. Таким образом Оталия узнала о нем много раньше, чем его увидела, и это, возможно, объяснит в какой-то степени последующие события или, по крайней мере, поможет их понять; какие именно события — вы узнаете позже. Тогда же Оталия плохо представляла себе, кто такой Мартин, она лишь уяснила из рассказов его приятелей, что он всегда избегал каких бы то ни было уз, ревниво оберегая свою свободу. А раз так, то почему он женился, стал строить прочный домашний очаг и превратился в образцового мужа?

Чтобы лучше понять и правильно оценить случившееся, пожалуй, стоит рассказать о предшествующих этой истории событиях. Да и Оталия не смогла бы составить себе представление о Мартине, если бы не услышала рассказы его друзей. Разобраться в этой истории может лишь тот, кто знает ее истоки, корни, ее породившие, на которых она разрослась, принеся густую тень и плоды. Оталия, захваченная этими рассказами, слушала, не пропуская ни слова, совсем забыв о пропавших вещах. А такому внимательному слушателю и рассказывать приятно. Симпатичная девушка эта Оталия...

Ей объяснили, что Мартин уже более двух месяцев разъезжает по штату, демонстрируя свое мастерство в тихих городках на реке Парагуасу, где время течет спокойно и медленно. Туда, в эти городки, Мартин словно приносил с собой мимолетный отблеск прогресса, шумной и опасной столичной жизни.

Он не мог пожаловаться на то, что его там плохо принимают. Наоборот, обстановка для демонстрации его мастерства была самая подходящая: интерес публики велик, денег сколько угодно. Но ему не хватало того, что он оставил в Баии: песни в звездную ночь, веселого смеха, доброго глотка кашасы и задушевной беседы, бескорыстной, братской дружбы. Без него прошли июньские праздники, в частности праздник Ошосси, совпавший в этом году с днем святого Антония, а на святого Жоана без него жгли костры, ели канжику * и пили ликер из женипапо **. Мартин не смог выполнить обеты, данные Шанго, не сделал жертвоприношений. Но все эти грехи ему прощались, ибо и друзья, и боги знали весьма основательные причины его добровольной эмиграции. Он никогда не поступил бы так, если б не тяжелая необходимость. Друзья скучали по Капралу, вспоминали о нем каждый день, а Тиберия грозилась не праздновать своего дня рождения, если он не приедет. «Без Мартина нет веселья»,— говорила она.

Разумеется, если бы Капрал, всеми уважаемый, желанный гость в любой компании и в любом веселом доме, оставался в привычной обстановке, среди друзей, он никогда не женился бы, дав столь обильную пищу для пересудов. Но оказавшись один в чужом городе, наедине с грустными воспоминаниями о праздниках Баии, он повстречал Мариалву — в декольтированном платье, с прелестной родинкой на левом плече — и капитулировал. Сертанежо *** были отомщены.

Ведь именно из-за этих неблагодарных сертанежо ему пришлось поспешно оставить Баию. Застарелая антипатия полицейских агентов к Мартину возросла пропорционально щедрым подношениям потерпевших сертанежо; его повсюду разыскивали, чтобы схватить любой ценой и на время задержать. Мартину оставалось только срочно уехать, даже не взяв с собой вещей и покинув вздыхающую Далву, которая была в то время его возлюбленной.

---

* Каша из кукурузной муки.
** Лекарственное растение.
*** Жители сертана — глухих, неосвоенных областей.

А все потому, что Мартин не привык придавать значение иногда возникающим претензиям некоторых своих партнеров по карточной игре. Впрочем, претензии эти почти всегда излагались весьма невнятно, и очень редко какой-нибудь нахал осмеливался поднять голос. Но если это случалось, компания получала лишний повод для веселья.

Капрал не скрывал своей точки зрения на игру и неоднократно провозглашал свои кратко и недвусмысленно сформулированные концепции. Их было две: «Кто не умеет играть, тому и не везет» и «Если ты ставишь, то либо выиграешь, либо проиграешь». И когда возникали сомнения и споры, он мягко и спокойно излагал свои принципы. Мартин был не из тех, кто выходит из себя по малейшему поводу, он был человеком воспитанным, воспитанным настолько, что его обходительность нередко претила его друзьям, не привыкшим к разным церемониям. Он не любил ссориться, и, чтобы разозлить его, нужно было оскорбить его воинскую честь. Когда-то Мартин действительно был капралом и с тех пор свято соблюдал свои обязанности по отношению к «славной армии» — впрочем, они ограничивались для него честью мундира, которую он ревниво оберегал. Так, он не терпел некоторых оскорблений, потому что, по его мнению, они затрагивали не только его лично, но и всю воинскую корпорацию — от солдат до генералов. Он был убежден, что тот, кто оскорбляет его, оскорбляет армию. Впрочем, подобная точка зрения, как известно, характерна для генералов и полковников, а это роднит Капрала Мартина со столь избранным обществом.

Компания Капрала особенно веселилась, если вдруг появлялся какой-нибудь вспыльчивый субъект, новичок в этих краях, не представлявший, с кем имеет дело, и не знакомый с военным прошлым Мартина. Капрал долго сохранял выдержку, не выходил из рамок, предписанных хорошим тоном. И новичок, обманутый его мягким голосом, его вежливостью, принимал воспитанность Мартина за трусость, начинал горячиться и переходил к оскорблениям:

— Правду говорят, свяжешься с мошенником, так...

Капрал говорил спокойно:

— Знаешь что, братец? Катись-ка ты к такой-то матери...

Мартин не давал партнеру опомниться, делал короткий жест, и новичок растягивался на земле. Мартин был признанным мастером капоэйры, мало чем уступающим прославленным Керидо до Деус, Жувеналу, Траире, Пастинье. Глаз радовался, когда воскресными вечерами он выступал на площади Позорного Столба или на дороге Свободы, уступив просьбам поклонников или желая повеселить какую-нибудь смуглянку. На одном из таких представлений знатная дама из Сан-Паулу, приехавшая в Баию, влюбилась в Капрала и наделала глупостей.

Мартин в совершенстве владел ангольской игрушкой *. Без дыхания, с вытаращенными глазами падал партнер, возмущавшийся игрой Капрала. И многим из них доводилось любоваться, как блестит на солнце знаменитый нож, прозванный «Раймундой» — в честь ревнивой негритянки, которая попыталась отомстить сопернице, отбившей у нее Мартина.

Эта самая Раймунда, чье имя теперь носил принадлежавший ей прежде острый, как бритва, нож, была воинственной почитательницей Янсан. Получив неопровержимые доказательства близких отношений между Капралом и горничной Котиньей, она заявила как-то на гафиэйре, что терпеть не может рогов, что такой женщине, как она, не идет это ветвистое украшение, от которого у нее болит голова, да и ее покровительница Янсан не одобряет подобное. Она выпила несколько бокалов пива

* Ангольский нож с выбрасывающимся от нажатия кнопки обоюдоострым лезвием.

и несколько рюмок кашасы и встала у входной двери в ожидании Капрала. Не будь тот так ловок, ходить бы ему с изуродованным лицом. Бедная Котинья оказалась менее ловкой; впрочем, шрам, оставшийся после того, как затянулась рана, выглядел даже пикантно — уголок губ был приподнят, будто девушка все время улыбалась. Пока Котинью отвозила «скорая помощь», Капрал дал Раймунде несколько затрещин, этого лучшего лекарства для успокоения нервов, и отобрал у нее нож. Но когда он уводил Раймунду от места происшествия, ему пришлось удерживать ее, крепко сжимая в объятиях, и Мартин в конце концов позабыл бедную Котинью, ожидавшую его в больнице с тремя швами на губе. Негритянка Раймунда, почитательница богини Янсан, была красоткой, однако больше всего она напоминала молодую кобылку, которая только и ждет, когда ее укротят и оседлают.

Впрочем, история с Раймундой не имеет никакого отношения к женитьбе Капрала, и, пожалуй, не было необходимости рассказывать ее Оталии. Но так уж получается: начнешь рассказывать что-нибудь, да незаметно для себя и приплетешь совсем другую историю, а когда спохватишься, оказывается, что говоришь вовсе не о том, о чем хотел,— новая история увела тебя далеко в сторону, нить рассказа потеряна.

А вот история, связанная с тремя сертанежо, имеет прямое отношение к женитьбе Капрала. Мартин, как известно, не выносил оскорблений, и именно поэтому партнеры его постоянно менялись. Как это ни странно, слухи насчет подозрительных карт, которыми он играл, и ловкости его рук увеличивали число его партнеров и его авторитет. Капрал честно зарабатывал себе на жизнь и в тот момент, когда его вовлекли в ссору эти трое сертанежо.

По всей вероятности, эти типы появились на Агуа-дос-Менинос совершенно случайно. Они, наверно, прогуливались по городу, бродили по улицам, заходили в церкви — в церковь св. Бонфима, чтобы выполнить обет, в церковь св. Франсиско, чтобы полюбоваться золотой росписью,— словом, посещая разные достопримечательные места, они забрели на рынок Агуа-дос-Менинос. На них были широкополые шляпы, как у ковбоев в кино, и они курили сигары.

Капрал, как обычно, спокойно и уверенно сдавал карты торговцам, своим старым партнерам, с которыми играл каждый день по маленькой, больше для интереса. У этих добрых приятелей он, как правило, выигрывал лишь несколько крузейро на вечернюю выпивку, демонстрируя свою ловкость, которая встречала скорее одобрение, чем порицание. Это не было серьезной игрой, партнеры шутили, смеялись, обстановка была дружеская, чуть ли не семейная. Шоферы и грузчики из остановившихся неподалеку машин наблюдали за игрой, а мальчишки, толпившиеся тут же, учились у Капрала. Они уважали и высоко чтили Мартина, перенимали его манеры, пили из источника его разнообразных знаний, не отрывая глаз от ловких его рук. Это был их университет, их школа жизни, где нет каникул, где Капрал Мартин, почтенный профессор, бесплатно и щедро делился своими знаниями. Пожалуй, лишь Жезуино Бешеный Петух в силу своего возраста, мудрости и того, о чем будет рассказано в свое время, пользовался большим, нежели Мартин, уважением. Но мы не станем спешить, ибо нет ничего хуже, чем сумбурный, поверхностный, торопливый рассказ.

Итак, по Агуа-дос-Менинос с разинутыми ртами шли трое сертанежо, никогда они не видели и даже не представляли, что есть на свете такие огромные рынки. Вот они увидели Капрала, устроившегося в тени дерева; его партнеры сидели на ящиках и табуретках, мальчишки стояли вокруг, шоферы наблюдали за игрой из кабин грузовиков. Сертанежо остановились, пораженные виртуозностью Мартина. В конце концов один

из них решился: сняв шляпу и почесав затылок, он сунул руку в карман брюк и извлек оттуда пачку денег, которая едва умещалась в руке. Купюры были достоинством в сто, двести и пятьсот крузейро, поэтому у Капрала загорелись глаза, а один из мальчишек, уже довольно рослый, с двумя приводами в полицию, даже вздохнул. Сертанежо помусолил ассигнации и выбрал бумажку в сто крузейро.

Мартин прикинул, чем он располагает: банк был маленьким, зато кредит обширным. Он обратился за помощью к кое-кому из своих приятелей — рыночным торговцам, с которыми играл до прихода сертанежо. Увеличив банк, Капрал улыбнулся, его открытая улыбка как бы говорила сертанежо, что они не раскаются, оказав ему доверие. Если они хотят научиться играть, им никогда не найти ни лучшего случая, ни лучшего учителя, исполненного лишь бескорыстия и доброй воли.

Разумеется, первые ставки положили в карман сертанежо. Воспитание Капрала не позволяло ему снимать банк в начале игры. «Первая кукуруза — цыплятам»,— обычно говаривал Мартин. В мгновение ока он проиграл почти два конто *, и торговцы забеспокоились о своих деньгах. К этому времени все трое сертанежо уже вступили в игру, и банк постепенно увеличивался: были сделаны крупные ставки. Мальчишку послали за холодным пивом, чтобы немного освежиться в эту адскую жару. Неизвестно откуда принесли еще несколько табуреток, и сертанежо расположились со всеми удобствами, видимо намереваясь просидеть за игрой до вечера.

Они все время ставили на даму, как будто не знали, сколь коварны и вероломны женщины. Благородная сеньора изменила им как раз в тот момент, когда один из трех сертанежо положил в банк пятисотенную бумажку. А потом произошло то, чего следовало ожидать.

В тот вечер Мартин подарил Далве, капризной, жеманной и истеричной мулатке из заведения Тиберии, ожерелье из золоченого бисера. А самой Тиберии, с которой он был связан узами верной дружбы,— превосходное золотое колье, приобретенное у Шалуба по себестоимости. Кроме того, все расходы по импровизированному празднику были оплачены Капралом, или, если быть точнее, сертанежо.

Они обещали прийти и на следующий день; таким образом, пока эти растяпы будут в Баии, Мартин рассчитывал прожить легко и беззаботно. Они хотят научиться играть в ронду? Что ж, Капрал, пожалуй, возьмет на себя обязанность расширить их образование. Так что в ближайшее время у него не будет недостатка в деньгах и развлечениях, не говоря уже о холодном пиве, которое так приятно в жару. В тот праздничный вечер Мартин был полон самых радужных планов, и никого, даже медиума Антонио Гарсиа, увлекающегося спиритизмом, не тревожило ни малейшее предчувствие. Все были веселы, поджидая сертанежо и подсчитывая, сколько времени потребуется на то, чтобы выкачать из них все деньги.

Сертанежо пришли утром, раньше условленного часа, и привели с собой полицию. Не родись Мартин в сорочке — а кто родится в сорочке, тот всю жизнь пользуется покровительством Ошалы **,— пришлось бы ему побывать в тюрьме. Агенты не скрывали своих намерений, они во всеуслышание заявили, что пора раз и навсегда проучить профессиональных игроков, которые наводнили город краплеными колодами и обирают на ярмарках и рынках трудовой народ и честных крестьян, приехавших из глухой провинции. Одним из первых было названо имя Капрала, по мнению полицейских, самого опасного шулера, самого презренного негодяя, уж его-то в самом ближайшем будущем они обязательно упрячут в тюрьму и досыта накормят ударами палаша. Особенно

* Конто — тысяча крузейро.

** Языческое двуполое божество, символизирующее плодотворящие силы природы.

неистовствовал некий Мигел Шаруто, высокомерный и грубый тип, он, как никто другой, жаждал крови Капрала, и все знали почему... Мигел был влюблен в смуглянку Кларинду с раскосыми глазами, другую такую бесстыдницу вряд ли можно было найти на свете. На деньги, которые он воровал у народа, Мигел содержал ее, оплачивал стол и квартиру. Но в один прекрасный день обнаружил, что в его фирме появился новый компаньон — Капрал Мартин, капитала у компаньона не было, и он участвовал в деле иным вкладом. Поговорить с Мартином по-мужски у Мигела не хватило смелости, теперь же он решил воспользоваться предоставившейся возможностью и с лихвой рассчитаться с Капралом.

Тут Оталия спросила, не киноактер ли Капрал, раз женщины все без исключения бросаются ему в объятия? Или это преувеличение? Но друзья Капрала не могли объяснить, почему так нравится женщинам этот худой и длинный субъект. Да и вообще, кто может понять женщин? На киноактера походил скорее Мигел Шаруто с блестящими от бриллиантина волосами, тростью и модной прической. Своей удачей Капрал был обязан бахвальству рогоносца Мигела, который так кричал о собственной храбрости и скором отмщении, что только глухой мог его не услышать. Тотчас были приняты меры для своевременного предупреждения Капрала. К счастью, он опаздывал, проспав долго после вчерашней вечеринки и бурных объятий Далвы.

Мальчишки, рыночные торговцы, шоферы, торговки с подносами разошлись по окрестным улицам, установив наблюдательные посты на всех путях, по которым с беспечной улыбкой мог пройти ни о чем не подозревающий Мартин.

Он был предупрежден и вовремя исчез. Агенты еще долго бродили по рынку, желая оправдать щедрость сертанежо, но были вынуждены в конце концов признать бесполезность этой затеи. Напоследок, поругав скрывшегося Мартина, они заявили, что все равно его найдут, ему, дескать, от них не скрыться. Мигел ушел позже всех и только после того, как обыскал все парусники и палатки.

Мартин, получив позднее полный отчет о событиях на рынке и проанализировав их в компании друзей за рюмкой кашасы, не придал большого значения суетне полицейских. По его мнению, это была лишь буря в стакане воды: его не испугали ни гнев возмущенных сертанежо, ни демагогия полицейских агентов. Сертанежо, должно быть, наслушались разговоров о том, что Капрал играет нечисто, а люди они подозрительные и вместе с тем доверчивые, как все крестьяне. Они поверили сплетням, подняли крик, побежали в полицию, и полицейские явились на рынок. Но скоро они успокоятся, вернутся домой к лопате и мотыге, в загоны и на пастбища, там они навсегда исцелятся от картежной страсти. Когда злость пройдет, они спокойно поразмыслят над случившимся и еще будут благодарны Мартину. Правда, он хотел верить, что исцеление это не будет окончательным, что сертанежо вскоре забудут урок и вернутся к приятному пороку. Было бы великолепно поиграть с ними хотя бы еще раз. Капрал искренне сожалел о том, что так скоро прервались установившиеся накануне сердечные отношения, которые, как он надеялся, могли перейти в крепкую дружбу.

Но Жезуино Бешеный Петух не соглашался с Мартином: дело не представлялось ему столь простым. В противоположность Капралу, Жезуино не верил, что все забудется на следующий день, после того как Мартин проведет сутки в заведении Тиберии в горячих и радушных объятиях Далвы.

Сертанежо — люди упрямые и мстительные. Они так легко не отступают от намеченной цели, упорно и непреклонно стремясь к ней. Чтобы подкрепить это мнение, Жезуино привел два-три случая из своего богатейшего жизненного опыта. Это были поистине назидательные исто-

рии, одну из которых нельзя было слушать без содрогания. Он рассказал об одном сертанежо, который полтора года преследовал по всей стране наглеца, соблазнившего его дочь, хотя у девушки и прежде были возлюбленные. Но даже это обстоятельство, значительно уменьшавшее вину парня, не охладило пыл оскорбленного отца. Он гнался за парнем по сертану, и так они мчались — один по следам другого — до границ Мато-Гроссо, где соблазнитель остановился совсем ненадолго, успев за это время обесчестить другую девицу. Однако в пылу любовной страсти он был ошеломлен разъяренным сертанежо, который увез доказательства мести с собой в сертан,— его честь таким образом была восстановлена. Он помирился с дочерью, к тому времени устроившейся к викарию в качестве прислуги, и жил, окруженный уважением, как человек достойный и набожный.

Но даже эта история не поколебала спокойной уверенности Капрала: разве можно, заявил он, сравнивать девичью честь с несколькими конто, проигранными в карты, когда тебе не повезло. Он никого не обесчестил, никого не убил, через день-другой случившееся станет для сертанежо забавным воспоминанием. Но еще больше позабавится Мартин, когда узнает, кто тот грязный сплетник, что подло оклеветал его перед сертанежо, уж Капрал научит его скромности.

Жезуино скептически покачал своей серебряной головой, его длинные волосы закрывали уши, спадали на лоб; толстая Магда в минуты нежности любила играть этими непокорными прядями. Жезуино продолжал считать поведение Мартина легкомысленным. По его мнению, положение было весьма серьезным: сертанежо пойдут на любые расходы, полиция поставлена на ноги, Мигел Шаруто жаждет мщения, поэтому Капралу следует вести себя осторожно.

Мартин пожал плечами, не слушая предостережений Бешеного Петуха, будто мнение Жезуино ничего не значило. И утром следующего дня отправился на рынок Модело, где собирался поговорить о предстоящем карнавале с торговцем Камафеу, которому отводилось не последнее место в карнавальном шествии. Правда, до карнавала было еще далеко, и все эти переговоры были лишь предлогом для Капрала, не упускавшего случая посидеть в кабачке, полюбоваться алтарем Ошосси и Йеманжи, одним из самых красивых в городе, сыграть на беримбау*, пошутить с друзьями, обсудить последние новости.

На рынке, который кишел агентами, Мартина чуть не арестовали, то же случилось и на Агуа-дос-Менинос, на площади Позорного Столба, у Семи Ворот и в других местах, где Капрал обычно демонстрировал свое мастерство. Будто полиции нечем было больше заняться, будто ей не надо было раскрывать преступления, охранять богатые магазины, покровительствовать грязным политиканам и преследовать честных бишейро**. Будто все деньги, собранные с налогоплательщиков, должны были пойти лишь на охоту за Капралом Мартином. Таким образом, как мы видим, было бы неправильно согласиться с Жезуино, который не скрывал своей ненависти к полиции и поносил ее повсюду последними словами.

Мартин не мог даже вернуться в заведение Тиберии, ибо Мигел Шаруто и еще какой-то отвратительный тип торчали там, досаждая девушкам, особенно Далве, и угрожая хозяйке. А упрямые сертанежо подстрекали агентов, обещая хорошее вознаграждение, если те сумеют вернуть им проигрыш и засадить Капрала в тюрьму. Хорошо еще, что Мартин обыграл их в карты — сертанежо сочли бы себя удовлетворенными, увидев его за решеткой. Но если бы он обесчестил девушку, они кастрировали бы его.

* Небольшой духовой инструмент из жести.

** Маклер, собирающий ставки в подпольной лотерее «жого до бишо».

К этому выводу пришли друзья Мартина, когда встретились в мастерской Алфредо, изготовлявшего изображения святых и уже давно обосновавшегося в Кабесе. Собрались все, включая Тиберию и Далву, чтобы разработать план бегства Капрала и выпить на прощание по стакану кашасы. Ветрогон принес бутылку, Камафеу поставил другую, Алфредо — первую и последнюю, по долгу и праву хозяина дома. Беседа затянулась, и кто-то вспомнил историю, рассказанную Жезуино. Курио, который по молодости лет не всегда соблюдал приличия, заметил со смехом:

— Представьте себе, что будет, если они оскопят Мартина...

Этого нелепого предположения было достаточно, чтобы у Далвы вырвался жалобный крик; так кричит раненый зверь или человек, у которого хотят отнять самое дорогое, то, для чего он существует. Красотка уже собиралась наброситься на Курио и расцарапать ему лицо, и лишь Тиберия смогла удержать ее.

Что ж, девушка была по-своему права, и, хотя нелегко представить себя на ее месте, все же можно было ее понять и извинить. На что годился бы, с женской точки зрения, Мартин, если бы сертанежо подвергли его этой деликатной операции? Подумайте только — оскопленный Капрал!

Однако в тот час прощания, когда печальная Далва, вся в слезах, висела на шее у Мартина, клянясь ему в вечной любви, бедняжка и не думала, что поездка Капрала будет для нее иметь не менее роковые последствия, чем предполагаемая месть сертанежо. Разве могли она и ее друзья, собравшиеся в мастерской Алфредо, представить себе, что Капрал, который тайком уедет в то утро на паруснике Мануэла, вернется через два месяца, уже в период дождей, под руку с Мариалвой, выставляющей напоказ свою пресловутую родинку? Впоследствии Далва справедливо полагала, что Капрала оскопили морально. Но даже и тогда, когда друзья рассказывали Оталии историю Капрала, они еще не представляли себе размеров постигшего их несчастья. Только по возвращении Капрала они в полной мере ощутили последствия этого брака: Мартин, целиком поглощенный семейной жизнью, даже не заглядывал в заведение Тиберии.

Поэтому в тот вечер, когда приятели вышли на поиски багажа Оталии, они еще смеялись и шутили, деля между собой четыреста мулаток, которых выписал из Франции Ветрогон.

5

Уже было поздно, когда, довольные и торжествующие, они прибыли в заведение Тиберии. Немало кашасы было выпито в ту беспокойную ночь, сначала в таверне Алонсо, где они пережидали дождь, затем по пути к Песчаной дороге и, наконец, во время волнующих поисков вещей Оталии. Дождь все еще моросил, иногда усиливаясь, порывистый ветер набрасывался на запоздавших прохожих.

На поиски вещей отправились сразу же после того, как было рассказано о событиях, предшествовавших женитьбе Капрала,— теперь Оталия имела о нем полное представление. К этому времени невероятная новость, выбравшись из кабачка Алонсо, облетела город, вызывая различные догадки, сплетни и слухи. Ветер завывал в старых, полуразрушенных домах, а друзья, снова укрывшись в кабачке, попросили Оталию повторить свой рассказ. Жезуино Бешеный Петух пожелал услышать все подробности, начиная с момента, когда за девушкой стал ухаживать сын судьи города Бонфим, и кончая кражей чемодана и свертка на станции Калсада. Оталия выполнила эту просьбу. Особый интерес

Жезуино проявил к свертку, пытаясь узнать, что в нем было, но Оталия уклонилась от ответа.

— Так, пустяки... Ничего ценного...

— Пустяки? Но ты сказала, что предпочла бы потерять чемодан...

— Не надо придавать этому значения... Просто там была вещь, которая дорога мне...

Она смущенно улыбнулась, и Жезуино прекратил свои расспросы, хотя любопытство все больше разбирало его.

Пока Оталия беседовала с Жезуино, Ветрогон, дав своей мышке погрызть печенье, сунул ее в карман пиджака и заснул. Негр Массу и Эдуардо Ипсилон уже спали крепким сном, причем от храпа Массу дребезжали стаканы и бутылки. Все посетители, несмотря на дождь, разошлись — им не терпелось разнести по городу известие о женитьбе Капрала. Только Курио не спал; сидя перед Оталией, он не спускал с нее глаз: у парня что-то щемило в груди и сладостно замирало сердце, а это были верные признаки того, что начинается новое увлечение.

Поняв, что Оталия почему-то не хочет говорить, что было в свертке, Жезуино попросил подробно описать господина, который остался присмотреть за вещами, пока Оталия удалилась, как он выразился, «по неотложным личным делам».

И едва Оталия сообщила, что это был приличный господин, одетый с иголочки: в белый, тщательно отутюженный костюм, чилийскую шляпу и галстук бабочкой, в глазах Бешеного Петуха загорелись искорки. Он посмотрел на Курио, как бы желая убедиться в правильности своих подозрений, но парень сидел с отсутствующим видом, его взор был прикован к лицу Оталии. Он, казалось, слушал, но ничего не понимал из того, что здесь говорилось: чувство его росло с каждой минутой. Уж таков был Курио, сердце его всегда было открыто для любви, он не мог оставаться равнодушным к красоте и грации женщин.

— Так, значит, одет с иголочки... Может, еще что-нибудь вспомнишь?

— Еще? — Оталия подумала.— Он смотрел на меня, как этот молодой человек...— И она рассмеялась в лицо Курио, однако без злобы, просто ей было смешно, возможно, от выпитой кашасы.

Курио стало не по себе, он отвел взгляд и начал внимательно слушать. Он вообще легко приходил в замешательство, так как был робким от природы.

— Такой смешной,— не унималась Оталия,— и лицо нарумянено... тот щеголь на станции точно так же ел меня глазами... Да! — вдруг вспомнила она.— У него в петлице была красная гвоздика...

Жезуино громко рассмеялся и подмигнул Курио, довольный собой,— значит, он не ошибся. Тот кивнул головой, соглашаясь с Бешеным Петухом. Да, сомнений не оставалось.

— Пошли,— сказал Жезуино.

— Куда? — спросила Оталия.

— За твоими вещами... Чемоданом и свертком...

— А вы знаете, где они?

— Конечно. Едва ты начала его описывать, мне все стало ясно,— не без хвастовства заявил Жезуино.

— Так вы догадались, кто украл?

— Он не украл, доченька, а просто пошутил...

С трудом разбудив Массу, Ветрогона и Ипсилона, Курио передал им описание внешности господина, которому Оталия доверила свои вещи, и все согласились с Жезуино: это мог быть только Зико Гвоздика.

— Он мой кум... Большой любитель пошутить. Взять вещи у друзей, нагнать на них страху как раз и было одной из излюбленных шуток этого прожигателя жизни.

Но тут Оталия робко напомнила, что она не подруга веселого Зико и совсем его не знает, только и видела его несколько минут на станции. Жезуино сунул руку в свои непокорные волосы и твердо заявил:

— Неважно, что он не твой друг, зато он наш друг — мой и Тиберии, я даже крестил одного его мальчика, он, правда, умер, бедняжка... Зико пошутил...

Оталия несколько растерялась и хотела что-то сказать, поскольку никак не могла решить, прав или не прав Жезуино... Но, пока она колебалась, Жезуино снова заговорил, желая рассеять недоверие Оталии. Когда они спускались по площади Позорного Столба, он принялся пространно объяснять ей, что шутника Зико постоянно преследуют неудачи. Они направлялись на Песчаную дорогу, где жил Гвоздика со своей многочисленной семьей.

Спустились по Табуану, пересекли несколько улочек — женщины радостно приветствовали Жезуино Бешеного Петуха, который, судя по всему, был широко известен в этих местах. Иногда они останавливались отдохнуть в еще открытых барах, и Бешеный Петух после каждой новой рюмки становился все красноречивее в своих похвалах по адресу Зико, а потом с искренним огорчением рассказал о бесконечных неприятностях и невезении этого «образцового отца семейства», о том, как несправедливо его преследует полиция.

Да, Зико поистине образцовый отец семейства, обремененный заботами о детях, к тому же у него слабое здоровье. Оталия, наверно, заметила, как он худ. Он непригоден не только для службы в армии, но и для тяжелых работ, требующих физической силы. Нелегко приходится Гвоздике — человек он на редкость чувствительный, умеет, как и Капрал Мартин, отлично играть на гитаре, нежно любит жену и детей, а вынужден целыми днями искать работу, ведь надо и семью содержать, и за аренду дома заплатить, и за свет, за воду, да еще еды купить. Он ходил повсюду, и везде предлагали то, что ему не под силу: по восемь-десять часов в день таскать туши и ящики или обслуживать покупателей в разъездных лавках. Все это вынуждало честного и работящего человека быть бездельником, тунеядцем. Уже более четырех лет, с тех самых пор, как несправедливо закрыли игорные дома, Зико бродит по улицам в поисках куска хлеба. Пока казино были открыты, у него всегда была работа, трудно было найти лучшего крупье, к тому же всегда подтянутого, опрятного. Это занятие подходило для его слабого здоровья, так как позволяло отсыпаться в течение дня. Да и кто не знает, что работать ночью легче — не так жарко и народу меньше. А теперь Гвоздике в лучшем случае удавалось иногда подрабатывать несколько мильрейсов в местах, где играли нелегально, это был случайный заработок, особенно опасный для человека, который на заметке у полиции. Полиция почему-то проявила недоброжелательство к Зико Гвоздике: добавив его портрет к галерее тунеядцев и мошенников, агенты частенько забирали его без всякой причины, просто по подозрению.

Зико страдал от всего этого: человеку, который дорожит репутацией, тяжело видеть свое имя запятнанным, он считал себя жертвой невезения, несправедливо подвергающейся преследованию полиции, однако не унывал, сохраняя твердость духа, веселость и неизменно хорошее настроение. Никто не знал столько анекдотов и не умел лучше их рассказывать. Подумать только — этот достойный человек, ни в чем не виновный, этот весельчак, душа любой компании вынужден терпеть гнусный произвол полицейских.

Жезуино Бешеный Петух не любил полиции. Он тоже не раз становился жертвой ее агентов, комиссаров и инспекторов, что дало ему возможность до тонкостей изучить психологию полицейских, и в результате он их возненавидел. Столько разных профессий на свете, рассуж-

дал Жезуино, столько всяких специальностей: одни — легкие, другие — трудные, одни требуют знаний, хитрости, ума, другие — лишь силы и мужества. И уж если кто выбирает себе профессию полицейского, чтобы преследовать ближних, арестовывать их, пытать, значит, он ничего не стоит, не годится даже на то, чтобы собирать мусор на улицах. Значит, это человек низкий, без чести и совести.

— А между тем,— возбужденно спрашивал Жезуино у Оталии после очередной рюмки кашасы,— кто правит в этом мире, кто хозяева, кто господа положения, кто поставлен над правительствами и правителями, над всеми режимами, идеологиями, экономическими и политическими системами? Во всех странах, при любом режиме, при любой системе правления, кто правит на самом деле, кто господствует, кто держит народ в страхе? Полиция, полицейские! — И Бешеный Петух презрительно сплюнул.— У последнего полицейского инспектора власти больше, чем у президента республики. Чтобы держать народ в страхе и подчинении, власть имущие все больше и больше увеличивают мощь полиции и в конце концов сами становятся ее пленниками. Полиция ежедневно чинит насилие, несправедливость, жесточайшие преступления, направляя удары против бедняков и против свободы. Видел ли кто-нибудь хоть раз полицейского, осужденного за совершенное им преступление?

Бунтарь Жезуино, всем своим пламенным сердцем, всей своей вольной душой восстающий против любой власти, считал, что на земле будет хорошо только тогда, когда не станет вовсе солдат и полицейских. А пока все люди, даже короли и диктаторы, не говоря уже о бездомных бедняках, зависят от полиции — власти, которая превыше всех властей в мире. Пусть же Оталия представит себе, какая огромная сила обращена против честного отца семейства Зико Гвоздики. Он, конечно, умеет выпить и, как никто, заговорить зубы, но совершенно не способен противостоять насилию. Он хочет лишь одного: жить спокойно, но ему не дают полицейские агенты, и вообще его преследует невезение. Поэтому Оталия не должна торопиться с выводами и плохо судить о том, кто является лишь игрушкой в руках судьбы.

Так за разговорами, заглядывая то в один, то в другой бар выпить рюмочку кашасы, наконец добрались они до плохо освещенного переулка, где обитал неудачник Гвоздика. Они миновали асфальт, брусчатку, улицы, мощенные булыжником, и оказались на утрамбованной земле. Дом Зико стоял в стороне от остальных, в глубине переулка, перед ним был разбит маленький палисадник, засаженный гвоздикой. На листьях и цветах еще дрожали капли недавнего дождя.

— Он обожает гвоздики и каждый день вдевает одну себе в петлицу...— объяснил Курио, и это как бы дополнило портрет Зико, подлинный, а не тот, что столько раз появлялся в газетах,— в арестантской одежде с номером на груди.

Но тут Оталия, оказавшись перед закрытыми дверями спящего дома, в тишине глухого переулка, которую нарушали лишь сверчки, укрывшиеся среди гвоздик, Оталия, у которой гудели от усталости ноги, а голова шла кругом от нескончаемых разговоров, похвал Гвоздике и многих рюмок кашасы, предложила прекратить поиски и вернуться в заведение Тиберии. Однако Жезуино, не желавший допускать даже малейшего сомнения в честности Зико, полагал, что пора положить конец этому затянувшемуся недоразумению.

— У всякой шутки должны быть границы...

Пока Ипсилон хлопал в ладоши у двери, Жезуино, пробравшись через гвоздики, направился к черному ходу. Никто не откликался, Курио и Ветрогон тоже похлопали — никакого ответа. Будто в доме все вымерли. Тогда негр Массу ударил кулаком в дверь, крыша и стены за-

дрожали. Тем временем Бешеный Петух зашел за дом и увидел Гвоздику, который, выскользнув из кухонной двери, побежал к кустам.

— Постой, кум... Куда ты? Это мы...

Услышав знакомый голос, Гвоздика откликнулся, однако не приближался:

— Это ты, кум Жезуино?

— Я, Массу, Ветрогон, Ипсилон... Открой нам дверь...

— Какого черта вы являетесь так поздно? Только людей пугаете.

Гвоздика вылез из кустов и, ловко перепрыгивая через лужи, подошел к Жезуино. Как всегда, он был в отлично отутюженном белом костюме, чилийской шляпе, галстуке бабочкой, только цветок в петлице уже завял.

— Я привел девушку...

— Девушку?..— подозрительно переспросил Зико.

В доме зажегся свет, из двери в кухню высунулась детская головка, потом еще две, живые глазенки с любопытством всматривались в ночной мрак. Друзья Жезуино тоже подошли к черному ходу, пробравшись через клумбы с гвоздиками.

— Да, девушку. А ты куда так торопился?

— Я думал... То есть я шел в аптеку купить детской муки для малыша...

Теперь уже вся семья была на ногах. Оталия никогда не видела столько детей, один за другим они появлялись из двери.

— Что ж, заходите...— пригласил Гвоздика.

Из кухни были видны две комнаты — спальня и гостиная. В спальне на одном матраце и нескольких циновках, разложенных на полу, очевидно, спали семеро из восьми детей. Самой старшей — красивой девочке — было около двенадцати лет, и в самом скором времени она обещала стать прелестной девушкой. Младшей было всего полгода, она плакала на руках у матери, чье лицо, преждевременно увядшее, появилось в открытых дверях гостиной, где спали супруги. Женщина смотрела на пришельцев усталыми глазами.

— Здравствуй, кума...— сказал Бешеный Петух.

Другие тоже поздоровались, в том числе и Оталия.

— Здравствуй, кум... Зачем пришел?..

— Не знаешь разве, что эту девушку взяла под опеку Тиберия? Вот я и пришел с ней.— И, обращаясь к Зико, спросил: — Где чемодан, кум?

— Какой чемодан?

— Тот, что ты взял на станции... Девушка уже знает, что ты пошутил... Я объяснил ей.

Гвоздика обвел взглядом незваных гостей.

— Нет, я не пошутил... Да и как я мог догадаться, что она из заведения Тиберии, если она сама напрашивалась, чтобы ее обворовали? Сунула мне вещи, попросила за ними присмотреть и пошла в одно место. Так было, девушка?

Гвоздика пошел в гостиную и вернулся с чемоданом, но чемодан был пуст.

— Итак, прошу прощения, ошибся...

— Но, кум, чемодан-то пустой...

— Ну и что? А ты уверен, что там что-нибудь было?

Оталия указала на женщину, стоявшую в дверях.

— На ней моя ночная рубашка...

Женщина ничего не сказала, лишь посмотрела по очереди на Жезуино, Оталию и остальных. Дети, перешептываясь и пересмеиваясь, наблюдали за происходящим из спальни. Вторая дочь Гвоздики, девочка лет десяти, была в штанишках, слишком больших для нее.

— Эти панталоны тоже мои...

— Кум...— обратился Жезуино.

И тут заговорила жена Гвоздики — монотонно, спокойно, без раздражения, но и без тепла.

— Разве я не предупреждала тебя, Зико, что все это напрасно. Ты ни на что не годишься, ни к чему не способен.— И, повысив голос, приказала детям: — Отдайте вещи девушке!

Потом закрыла за собой дверь в гостиную, но тут же приоткрыла ее, чтобы бросить рубашку Оталии. Вскоре она вернулась, одетая в старое, заштопанное платье.

Ботинки, домашние туфли, два платья были брошены на единственный в квартире стул.

— Знаешь, кум,— принялся объяснять Гвоздика,— очень трудно с одеждой. Девочек бедняжек жалко до слез...

Его жена тем временем поставила стаканы на старый железный поднос и пошла за бутылкой. Теперь уже Зико торопил детей, чтобы поскорее кончить с этим неприятным делом. Собрались друзья, значит, надо отметить встречу. Рано постаревшая жена Гвоздики молча, с безразличным видом наливала кашасу.

Чемодан как будто был уже полон, и негр Массу хотел закрыть его, но тут Оталия обнаружила, что не хватает ее самого красивого, самого нарядного платья.

Женщина взглянула на старшую дочь — та, опустив голову, пошла в спальню и принесла оттуда пестрое платье с оборками. Это был подарок сына судьи, когда он только начал ухаживать за Оталией и отец еще давал ему карманные деньги. Девочка медленно подошла к Оталии, не в силах отвести взгляда от платья, такая печальная. Оталии стало жаль ее, и она спросила:

— Оно тебе нравится?

Девочка только кивнула головой, кусая губы, чтобы не расплакаться.

— Ну так оставь его себе.

Девочка взглянула на Гвоздику.

— Можно, отец?

Зико ответил с достоинством:

— Что поделать, если ты такая попрошайка. А что о нас подумает эта девушка?

— Бери его себе,— повторила Оталия.— Не то я рассержусь.

Девочка хотела улыбнуться, но глаза ее наполнились слезами, и, прижав платье к груди, она убежала в гостиную.

А Гвоздика принялся горячо благодарить Оталию:

— Большое, большое спасибо. Раз вы так настаиваете, я разрешил ей принять это платье, нельзя быть невежливым... Поблагодари девушку, Доринья... Ты — невоспитанная девчонка...

Жена Гвоздики подала кашасу, и Оталия взяла малыша, чтобы освободить ей руки.

— Сколько ему?

— Шесть месяцев... И уже другой в животе...

— Этот Зико не теряет времени...— сказал Ипсилон.

Все рассмеялись. Гвоздика решил пойти вместе с гостями, нужно было купить детской муки для грудного ребенка и извиниться перед Тиберией. Они уже выходили, когда Оталия спросила:

— У меня еще был сверток, помните?

— Сверток? Да-да, помню. Но там не было ничего стоящего... Не знаю, что детишки с ним сделали... Куда вы его дели? — крикнул он в спальню.

Десятилетняя дочь Гвоздики пошла за пакетом, он был спрятан в углу комнаты. Бумага развернулась, и все увидели куклу, старую, замызганную. Оталия бросилась, схватила куклу и прижала ее к груди, потом попросила бумаги, чтобы снова завернуть ее. Все смотрели на девушку, ничего не понимая, только Ветрогон сказал:

— Кукла...— и, обращаясь к Оталии, спросил: — Почему столько шума из-за куклы? Понимаю, если бы это был зверек...

Дети не спускали с девушки глаз. Она встала, подошла к чемодану, положила в него сверток. Массу помог ей закрыть чемодан.

Наконец они вышли. Массу нес чемодан. Жена Гвоздики, которая с малюткой на руках осталась стоять в дверях кухни, крикнула:

— Не забудь принести муки...

— У малыша понос... Его можно кормить только детской мукой, а у меня ни гроша...— сказал Гвоздика.

Друзья тут же собрали деньги, кто сколько мог. Зико протянул руку, но Жезуино сунул деньги в карман.

— Я сам куплю, кум... Так будет лучше.

— Ну что ж... Как хочешь.

— Просто ты можешь забыть.

Жезуино знал, как совсем маленькими умирали дети Гвоздики, когда не на что было купить муки. Он знал также, что его кум забывчив и, кроме того, может не устоять против соблазна попробовать удачи в казино. Рано утром, до того как откроются аптеки, он может завернуть туда и, при его невезении в игре, оставить в казино скудную сумму, которую наскребли друзья, отказав себе в кашасе.

Когда они пришли в заведение Тиберии, там уже было тихо. Усталые девушки удалились к себе одни или с гостями. Огни в большом зале были погашены, радиола молчала. Тиберия сидела в столовой, ее огромное тело свисало с качалки. Это была толстая мулатка лет шестидесяти, с громадными грудями, спокойным лицом, твердым и добрым взглядом. В этот поздний час ее лицо, обычно веселое и приветливое, было мрачным, как если бы случилось что-то неприятное. Она нехотя пробурчала приветствие. Однако Жезус, ее муж, что-то подсчитывающий за столом, дружески улыбнулся пришедшим.

Жезус Бенто де Соуза — наполовину негр, наполовину индеец, с прямыми волосами и бронзовым лицом, шил сутаны священникам. Он был моложе Тиберии лет на десять. Познакомились они почти тридцать лет назад, она была тогда пышной, но еще стройной женщиной в бальзаковском возрасте, королевой карнавалов, зарабатывающей на жизнь в заведении Аниньи. Он — молодым учеником в портновской мастерской, любившим веселые вечеринки и сочинявшим песенки под гитару. Они встретились на празднике Микареты и первую же ночь провели вместе, обезумев от страстной любви, которая с годами превратилась в нежное прочное чувство.

Через десять лет совместной жизни Тиберия открыла собственное заведение, Жезус тоже открыл небольшую, но процветающую мастерскую — «Ножницы господни», где шились сутаны и прочие одеяния для священнослужителей; бессменный и многоопытный секретарь Братства Кармо, он неоднократно переизбирался на этот пост, на котором пребывал и сейчас. Они повенчались, оформив брак у судьи и падре. Дату гражданского бракосочетания им удалось сохранить в тайне, о ней знали лишь самые близкие, что же касается назначенной на воскресенье церемонии в церкви Портас де Кармо, близ площади Позорного Столба, утаить ее было невозможно. Церковь оказалась заполненной друзьями, разодетыми в пух и прах девушками легкого поведения, членами Братства Кармо в красных накидках. Падре Мело, прослуживший сорок лет, увидев эту толпу надушенных, по-праздничному сияющих проституток

в кружевах и цветах, заявил, что не помнит столь пышной и многолюдной свадьбы. Тиберия казалась королевой в платье с длинным шлейфом и диадемой в волосах. Жезус, с годами похудевший, немного сутулившийся, был в безупречном белом костюме. Падре Мело, может, и видел свадьбы богаче, но ни одна не предвещала такого согласия, счастья и покоя, как эта, соединившая портного, который обшивал священников, с хозяйкой публичного дома.

Нет, слово «хозяйка» не подходило Тиберии. Мамочка — вот как называли ее девушки из заведения. Уже не одно поколение сменилось в этом доме, девушки приходили и уходили, веселые и грустные, любящие и ненавидящие свое тяжкое ремесло, но все они знали, что могут положиться на Тиберию, прижаться головой к ее полной груди, излить ей свои горести и разочарования — она всегда поможет в трудную минуту. Тиберия умела найти нужное слово, которое утешало и излечивало от тоски. Мамочкой ее называли и многочисленные друзья, среди них были люди богатые, с положением в обществе, но и они готовы были пойти на убийство и на смерть ради Тиберии. Она пользовалась большим влиянием, уважением и любовью.

Капрал Мартин был одним из самых близких и верных друзей Тиберии. Он ежедневно приходил в заведение повидать ее, независимо от того, была у него там любовница или нет. Он приходил поговорить с Тиберией, помогал ей, если это было нужно, выпивал свое пиво и уходил. Исключение составляли лишь те случаи, когда он являлся в компании друзей, чтобы взять девочек и отправиться с ними на вечеринку.

Мрачное настроение Тиберии объяснялось именно слухами о женитьбе Мартина, поэтому она едва поздоровалась с Жезуино и прочими. Тиберия пыталась проглотить эту невероятную новость, дошедшую до нее быстро, хотя и с искажениями, и никак не могла.

Она сурово посмотрела на поздних гостей.

— Подходящее вы выбрали время.

— Мы искали вещи Оталии...— объяснил Бешеный Петух, садясь за стол.

— Нашли?

Массу поставил чемодан на пол.

— Зико хранил его у себя, чтобы не украли.

Тиберия задержала взгляд на Гвоздике.

— Все еще не играешь? А жена как поживает? Обратись к Лоуривалу, у него есть для тебя работа. Он собирается открыть дело...

— Завтра схожу к нему...

Жезус поднял глаза от тетради.

— Верно, что Капрал женился?

Тиберия взорвалась, прежде чем ему успели ответить:

— Не верю! Не верю этому, и конец! И никому не разрешу в моем доме плохо говорить о Мартине. Кто хочет чесать язык, пусть убирается отсюда к чертовой матери!

Потом возмущенная Тиберия встала и подала знак Оталии, чтобы та следовала за ней.

— Возьми свой чемодан, комната тебе приготовлена...— И уже выходя, проворчала: — Мартин женился! Ну кто поверит в подобную глупость?

В зале остались мужчины. Жезуино взъерошил волосы и заметил:

— Женитьба Капрала взбудоражила нас, словно революция.

Жезус согласно кивнул головой.

— Помоги нам, господи.. Когда пришла эта весть, я подумал, что теперь даже дети могут взбунтоваться... Прямо светопреставление!

И встал, чтобы налить всем по стопке кашасы.

6

Через две недели после той дождливой ночи, когда Оталии были возвращены ее вещи, ясным, солнечным утром на причале у рынка высадился Капрал вместе со своей женой Мариалвой. За это время слух о женитьбе Мартина достиг самых далеких окраин Баии и даже соседних городов. В Аракажу горько плакала Мария де Граса, служанка с прелестными томными глазами и другими прелестями, щедро одаренная природой. Она никак не могла забыть прошлогодний бурный роман; увидев Мартина, демонстрирующего свое мастерство на одной вечеринке, она, не задумываясь, бросила работу и жениха и на какое-то время стала спутницей Капралу в его легкомысленной, бездомной и беспорядочной жизни.

Тиберия по-прежнему отказывалась верить этим нелепым, как она полагала, слухам. Жезуино Бешеный Петух, впрочем, как и Жезус Бенто де Соуза, не осуждал Капрала; больше того, они его защищали, стараясь найти объяснение этому его поступку, который для них представлялся вполне вероятным. Только Тиберия занимала непримиримую позицию, считая все это клеветой, злобными домыслами врагов и завистников, превративших одну из обычных скоропалительных связей Капрала в законный брак. Тиберия знала о многих его прежних увлечениях и романах с девушками из ее заведения. Капрал всегда был безумно влюблен и клялся, что не может ни мгновения прожить вдали от любимой женщины, что привязался к ней навсегда. Однако встречалась другая — и Капрал тут же терял голову; появлялась третья — и он бросался к ней, будто и вправду хотел перелюбить всех женщин на свете. А сколько ссор, перебранок и даже драк между девушками, влюбленными в Мартина, повидала Тиберия!

Она знала и о Марии де Граса, такой хорошенькой и невинной, влюбленной в жениха, настоящего испанца, имевшего хорошее место с самыми выгодными перспективами в столярной мастерской одного земляка. Мария бросила все: место няньки в доме доктора Селестино, где к ней относились, как к дочери, жениха с обеспеченным будущим — и пошла за Мартином. Капрал лишил ее невинности; он тоже, казалось, был охвачен пылкой страстью, не раз обещал жениться на Марии и уж, во всяком случае, не оставлять ее. Мартин был тронут: эта девочка, с виду такая застенчивая, кинула все, чтобы быть с ним, и ничего не просила взамен. К тому же она была так мила, так нежна и послушна! Мартин поселил ее в районе Кабулы, и Тиберия впервые поверила в то, что он привязался к женщине.

И вот когда все думали, что Капрал полностью захвачен свежим и глубоким чувством Марии — не прошло и месяца после их первой встречи,— на Мартина с ножом набросился сапожник и ранил его в плечо. Сапожник был предупрежден сварливой старой девой, проживавшей по соседству. Он работал, когда сплетница посоветовала ему заглянуть домой; сапожник схватил нож, которым резал кожу, и побежал. Разумеется, Мартина и свою неверную жену он застал в постели. И это среди бела дня! Сапожник всадил нож в плечо Мартину, и только соседи помешали ему убить жену и покончить с собой — он хотел кровью смыть позор. В результате этого скандала все его участники угодили в полицию, а в газетах появилась заметка, в которой Капрал Мартин был назван «соблазнителем». Он очень гордился этим и хранил вырезку из газеты в кармане, чтобы показывать ее любопытным.

Мария де Граса, узнав о случившемся, сложила свои вещи и ушла так же молча, как и пришла. Она не сказала ни слова жалобы или упрека, но и не стала слушать Капрала, умолявшего простить его. Тогда

Мартин устроил попойку в одной из задних комнат заведения Тиберии.

Если Капрал не остался верным даже Марии де Граса, если ее нежность и преданность не победили его ветреное сердце, над которым ни одной женщине не удалось надолго сохранить власть, неужели под влиянием Мариалвы он столь переменился, что заговорил о работе? Нет, Тиберия, женщина опытная, много пожившая и уже двадцать лет держащая заведение с девушками, не станет верить в подобные выдумки.

Жезус Бенто де Соуза пожал плечами — почему, собственно? Каждый мужчина, даже самый отчанный бабник, в конце концов попадается, когда поймет, что пора остановиться на какой-нибудь одной женщине, построить домашний очаг, осесть и пустить корни, которые потом дадут плоды. И Капрал не должен составлять исключение. Он женился, хочет найти работу, у него родятся дети — и тогда конец прежнему Мартину, не признающему законов и хозяев, шулеру и мастеру капоэйры, лучше которого никто не танцевал и не играл на гитаре, беримбау и атабаке, «соблазнителю», о котором мечтали все смуглянки. Настало время обзаводиться детьми и работать — теперь этого не избежать. Вот и он, Жезус Бенто де Соуза, разве не был завзятым гулякой, любимцем женщин? Разве не соперничали они из-за него? Портной с улыбкой смотрел на Тиберию. Газеты в свое время не назвали его соблазнителем только потому, что он не дал им повода, а вовсе не потому, что уступал хоть в чем-то Мартину. И тем не менее, сойдясь с Тиберией, он переменился, с головой ушел в работу, занял определенное положение в обществе — словом, стал другим человеком.

Но Тиберию отнюдь не растрогала эта речь, напротив, разозлила еще больше.

— Ты, кажется, сравниваешь меня с этой вшивой девкой?

— Зачем ты так говоришь, Мамочка, ты ведь не знаешь этой девушки.

— Не знаю, и никто не знает, но мне уже все уши прожужжали, будто она красотка, какой свет не видывал, будто другой такой женщины нигде не сыщешь. Да, я ее не знаю, но могу тебе точно сказать, что не тот это цветочек, который приятно пахнет.

Жезус понимал, что лучше с Тиберией не спорить. Веселая и добродушная, она выходила из себя, если кто-нибудь упоминал о женитьбе Мартина или сообщал новую подробность, подтверждающую это событие. Для нее Мартин всегда был и оставался сейчас озорным, безрассудным мальчишкой, которого она любила и баловала, как мать. А матери терпеть не могут женщин, к которым привязываются их сыновья. В эти трудные для нее дни единственным развлечением Тиберии была новенькая — молоденькая провинциалка, еще совсем девочка. Подумать только, она так боялась потерять куклу! Ведь в том таинственном свертке у нее была спрятана кукла, старая, замусоленная. Тиберия водила Оталию гулять, показывала ей город, сады, площади.

Только заботы об Оталии немного отвлекали ее, и, если бы не эти заботы, трудно сказать, что было бы с Тиберией, когда она узнала, что Мария Клара, жена Рулевого Мануэла, сняла для Капрала и его жены домик в Вила-Америка. Мартин передал ей поручение и деньги через Мануэла, когда его парусник грузился кирпичом в Марагожипе. Он попросил также купить мебель: стол, стулья, широкую солидную кровать и большое зеркало. В поисках зеркала — это был заказ Мариалвы, о котором особенно пекся Капрал,— Мария Клара обошла пол-Баии. Оно влетело в изрядную сумму, но Мартин денег не жалел, чтобы свить гнездышко, достойное его супруги. Тиберия, узнав о хлопотах Марии Клары, рассердилась на нее — какого черта она сует нос в чужие дела, или ей нечем больше заняться? Ну, ничего, пусть только ей попадется!

Однако агрессивное настроение Тиберии несколько смягчилось, как только она узнала доверительно сообщенное ей мнение Мануэла об этой Мариалве. Рулевой сказал жене, что супруга Капрала, жеманная и высокомерная, не оставила у него хорошего впечатления. Разумеется, она красивая, этого никто не станет отрицать, и влюблена в своего мужа, но страшная ломака и нудная до чертиков, в общем, препротивная особа. Хуже всего, что Мартин, кажется, без ума от ее плаксивого голоса, ее жеманства и высокомерия. Вцепился в ее юбку и на других женщин даже не смотрит. Все мулатки штата Баия, призывно улыбаясь, могут выстроиться перед ним — он и внимания не обратит. Только и знает, что ворковать со своей Мариалвой, в этом образцовом муже ничего не осталось от прежнего Капрала. Тиберия сама увидит, когда он приедет через несколько дней.

И тут Тиберия опять озверела. Она рычала на Марию Клару и Мануэла, будто они были виноваты в случившемся. Она не желала ни во что верить; пусть ей приводят самые убедительные доказательства, она останется непреклонной, пока сама не увидит своими собственными глазами.

— Через неделю они будут здесь...

Мария Клара растопила плиту, чтобы приготовить кофе. Рулевой Мануэл молча сидел на борту парусника и покуривал свою глиняную трубку.

Из всего услышанного Тиберию заинтересовало только известие о скором приезде Капрала. Она ожидала его ко дню своего рождения.

Это важное событие пышно и торжественно отмечалось всеми, кто обитал на площади Позорного Столба, рынке Агуа-дос-Менинос, площади Семи Ворот и площади Пятнадцати Тайн. Причем с каждым годом празднество становилось все более многолюдным и роскошным. Сначала месса в церкви Бонфима, потом завтрак, состоящий из вкуснейшей фейжоады*, а вечером бал, который заканчивался лишь к утру.

Тиберию тревожило то, что знаменательная дата приближается, а Мартин, без которого праздник немыслим, все еще разъезжает по провинции с этой женщиной. Тиберия не могла допустить даже мысли, что Мартин не прибудет на торжества.

Впрочем, не только Тиберия ждала Капрала. Все больше становилось любопытных, которые неторопливо прогуливались по Вила-Америка с единственной целью — узнать, не появилась ли счастливая чета в домике, снятом Марией Кларой; они чувствовали себя обманутыми при виде закрытых окон и запертой двери. Даже Жезуино Бешеный Петух, казалось, стоявший выше этой суеты, не мог скрыть волнения. Однажды он даже вспылил:

— В конце концов, что думает Мартин? Неужели нам нечего больше делать, как только говорить о нем и ждать, когда он наберется смелости появиться здесь с этой особой? Пускай не считает нас дураками...

Был тот неопределенный час, когда ночь еще не ушла, а утро не настало. Друзья вернулись с праздника Огуна — любимого святого Массу,— праздник был очень оживленным, продолжался всю ночь. Прямо с кандомблэ они пришли в таверну Изидро до Батуалэ. Как обычно, разговор, повертевшись вокруг различных новостей, возвратился к Мартину и его женитьбе.

А Мартин в этот сумеречный час плыл с Мариалвой на паруснике Мануэла, приближаясь к Баии. Баркас шел быстро, подгоняемый свежим ветерком. Мариалва спала, положив голову на руку, Мария Клара грела воду для кофе, Мануэл стоял у руля, посасывая трубку, а Мартин пытал-

---

* Бразильское национальное блюдо, приготавливаемое из черной фасоли с салом, солониной, свиной колбасой и т. д.

ся с кормы рассмотреть далекие огни Баии, бледные в тусклом свете занимающейся зари. Лицо его было спокойно, но сердце отчаянно колотилось в груди.

Он взглянул на спящую красавицу жену: грудь ее мерно вздымалась, чувственный рот был полуоткрыт словно для поцелуев, распущенные волосы шевелил ветер, и на плече темнела родинка. Мартин отвернулся и снова стал смотреть вперед: там, на зеленой горе, над морем была Баия, его друзья, его радость и жизнь. Огни умирали в утренней заре, еще немного, и город проснется.

7

Негру Массу довелось познакомиться с ней раньше других, и никогда ему не забыть утра, когда он впервые увидел Мариалву. Она показалась ему видением из чудесного мира книг и кино, сказочной принцессой, а негр обожал сказки о феях, великанах, принцессах и гномах; кинозвездой, которую, раз увидев на экране, долго не можешь забыть и видишь во сне чуть не каждую ночь; или недостижимой обитательницей заведения на пляже Питуба, скрытого от любопытных глаз кокосовыми пальмами, которое посещали лишь миллионеры и крупные политические деятели. Женщин туда привозили из Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и даже из Европы, это был высший класс, nec plus ultra *. Несколько раз Массу доводилось видеть издали этих женщин — белокурые, длинноногие, с нежнейшей кожей, надушенные тонкими духами, либо в дорогих мехах, либо в каких-то воздушных одеждах, они выходили из роскошных автомобилей. Сладостное, мимолетное видение... Эх, поваляться бы с одной из них на песке!.. Негр Массу проводил рукой по своему черному животу, он ощущал холодок при одной мысли об этом. И Мариалва со своей пикантной родинкой на плече, по его мнению, ни в чем не уступала этим женщинам. Разве можно было остаться равнодушным, увидев ее лицо, ее глаза, ее улыбку? Массу сразу же охватило безмерное, безнадежное желание; как и при виде тех сказочных красавиц, снова похолодело в животе. Если б коснуться темной родинки на ее левом плече, он стал бы ее рабом, покорным псом, жалким червем. Массу склонил свою большую, как у быка, голову и ждал, готовый выполнить любое ее приказание. А она лишь улыбнулась нежнейшей улыбкой и пристально посмотрела на него робким взглядом беззащитного создания. Мускулистая могучая грудь негра напряглась под дырявой майкой, улыбка Мариалвы стала еще нежнее, глаза полузакрылись.

После того как Массу был представлен Мариалве, она начала извиняться, что не может пригласить его в дом, где еще не убрано, да и сама она в столь ранний час еще не одета и не готова к приему гостей. Капрал Мартин с гордостью наблюдал за этой сценой, как бы спрашивая негра, есть ли у кого-нибудь в Баии такая красивая, такая замечательная жена. А негр уже лежал у ног сеньоры Мариалвы, распростершись в пыли.

В половине четвертого утра Мартин сошел на берег у рыночного причала. В кармане его брюк позвякивали ключи от домика, снятого Марией Кларой. Впервые, вернувшись в Баию из дальней поездки, он не отправился тут же в заведение Тиберии. Прежде он обязательно привозил ей подарки, рассказывал, что с ним случилось за время путешествия. Они выпивали в честь его возвращения, завтракали или обедали, и

* Nec plus ultra *(лат.)* — здесь: самый лучший, непревзойденный.

всегда находилась девушка, готовая приютить его в своей постели, согреть на своей груди. Чуть ли не больше всего на свете Мартин любил после непродолжительной разлуки вновь оказаться в теплой и сердечной обстановке заведения Тиберии, вновь увидеть втиснутые в качалку ее обширные телеса, ее самое, по-матерински приветливую, окруженную девушками, и Жезуса, сидящего за столом.

На этот раз, однако, Капрал не пошел на площадь Позорного Столба, где стояло заведение Тиберии. Теперь у него был свой дом, свой очаг. В сопровождении тележки, нагруженной чемоданами и кое-какими вещами, привезенными из провинции, он отправился в Вила-Америку. Соседи, которые рано проснулись в то утро, видели, как супруги поднимались по склону. Капрал сгибался под тяжестью большого чемодана, а Мариалва вертела в руке зонтик и бросала вокруг любопытные взгляды. Возчик, толкавший тележку с багажом молодоженов, тяжело дышал, преодолевая крутой подъем. Выкрашенный в синий цвет домик, в котором предстояло жить Мартину и его жене, стоял на вершине холма, внизу расстилалась долина с банановыми плантациями и высокими манговыми и хлебными деревьями.

Мартин поставил на землю тяжелый чемодан, отпер дверь и вместе с возчиком внес вещи. Мариалва остановилась перед домом, будто бы осматривая окрестности, а на самом деле давая возможность соседям, появившимся в дверях и окнах, увидеть ее и прийти в восхищение от ее красоты.

Один из соседей и сообщил новость Массу. Около восьми утра негр, по обыкновению, делал ставку в «жого до бишо»*, когда Робелино посоветовал ему:

— Если хочешь выиграть, ставь на медведя... Десять и девяносто...

— А почему? У тебя, что — предчувствие или сон видел? — поинтересовался Массу, который в это утро в силу многих обстоятельств намеревался поставить на козу.

— Девяносто — номер дома Мартина. Сегодня рано утром я вышел на порог своей лачуги пополоскать зубы и увидел, как Мартин открывает дверь соседнего дома, а на ней номер, написанный красной краской.

У Массу перехватило дыхание:

— Ты хочешь сказать, что Мартин приехал?

— Именно... Он еще тащил огромный чемодан. Коли там были платья этой доны, то даже у жены губернатора не наберется столько нарядов... А еще чемодан и большой ящик привезли на тележке...

— Какой доны?

— Той, что с ним; говорят, он там женился, разве ты не слыхал? Ведь вы такие друзья... Он пришел с ней, поставил чемодан, отпер дверь, я и увидел номер его дома, а раньше не замечал. Девяносто... Тут меня осенило, и я решил поставить на медведя.

Робелино понизил голос и доверительно сообщил:

— Какая женщина!

Массу на всякий случай поставил два тостана** на медведя и отправился в Вила-Америку. Он хотел первым обнять Мартина, рассказать ему все новости, узнать, как он жил это время, и познакомиться с его женой, о которой было столько разговоров.

По дороге он заметил бар с большим выбором кашасы. В нем он предложит Мартину отпраздновать его возвращение. Этот день друзья,

---

* Популярная в Бразилии подпольная лотерея, в которой ставки делаются на последние цифры номера билета, выигравшего в государственной лотерее. Название игры «жого до бишо» — «звериная игра» — связано с тем, что каждая группа из четырех цифр соответствует названию какого-либо животного.

** Старинная бразильская монета, равная 100 рейсам, или 10 сентаво.

собравшись вместе, должны отметить доброй выпивкой, которая окончится лишь на рассвете в рыбацкой гавани.

Капрала негр застал за починкой оконной рамы. Он энергично стучал молотком, но, увидев Массу, бросил работать, обнял друга и принялся его расспрашивать, как поживают Бешеный Петух, Ветрогон, Курио, Ипсилон, Алонсо и прежде всего Тиберия со своим мужем Жезусом. Тыльной стороной руки Капрал вытер пот со лба и снова взялся за молоток. Массу поглядывал вокруг — на дом, на работающего друга. Он думал, что пора бы пригласить Мартина в тот бар у подножия холма. Но Капрал так увлекся работой, ему так хотелось поскорее починить раму, что Массу решил обождать: «Пускай кончит, тогда и отправимся туда опрокинуть по стопке кашасы». Он уселся на камень у порога, вытащил зубочистку из жестких курчавых волос и принялся ковырять в своих белоснежных, крепких зубах.

Мартин, продолжая чинить раму, рассказывал о том, что увидел в Кашуэйре и Сан-Фелисе, Марагожипе, Куритибе и Крус-дас-Алмас — везде, где он побывал. Массу тоже рассказал ему новости: о празднике Огуна, состоявшемся прошлой ночью, о лихорадке, на десять дней свалившей Ипсилона в постель. Болезнь эту не могли вылечить никакие лекарства, но она сейчас же исчезла, как только позвали Мосинью. Старуха начала молиться за Ипсилона примерно в одиннадцать утра, а в четыре часа дня он уже был на ногах и просил есть. Такой знахарки, как Мосинья, в Баии еще не было. Мартин согласился с этим и даже на мгновение оторвался от рамы, чтобы похвалить Мосинью. Интересно, сколько может быть лет тетке Мосинье? Наверно, за восемьдесят, если не все девяносто. А ведь она еще плясала в хороводе кандомблэ и за несколько километров носила больным свои чудодейственные травы. Бойкая старуха эта Мосинья!

Еще рассказал Массу о том, как пропали вещи Оталии и как им из-за этого шутника Гвоздики пришлось идти всей компанией на Песчаную дорогу. Мартин поинтересовался, как поживает Зико и его семья, его друзья-игроки — Лоуривал и приятели с Агуа-дос-Менинос. Массу ответил, но тут же вернулся к Оталии: хорошенькая девочка, Курио влюблен в нее, но немного чудная. Она соглашалась спать с Курио, как и со многими другими, но даже слышать не хотела о любви или просто длительных отношениях, она не привязалась ни к Курио, ни к какому другому мужчине. Оталия отправлялась куда-нибудь на вечеринку, или гафиэйру, или прогулку на парусниках, брала под руку первого, кто обращал на нее внимание, оставалась с ним до конца праздника, а потом отдавалась ему со страстью, которая почти всегда казалась искренней. Но проходила ночь, и она даже не смотрела на своего любовника, будто между ними ничего не было. Особенно доставалось от нее Курио, она смеялась над его влюбленными взглядами, печальными вздохами, над его старым фраком и раскрашенной физиономией. И то, что он иногда, отмыв лицо и сняв этот фрак, надевал обтрепанный пиджак и выливал на голову пузырек бриллиантина, пытаясь пригладить свои жесткие курчавые волосы, ее не трогало. Не помог и новый пиджак и даже изящные стихи, которые он сложил в ее честь, где Оталия рифмовалась с талией и говорилось о его любви и страданиях. Оталия по-прежнему принимала гостей в заведении, а потом выходила прогуляться в порт — она обожала корабли. Да, похоже, эта Оталия немного тронутая. Она и Жасинто заставила бегать за собой, Мартин, наверно, его помнит: этот парнишка, ставший игроком, всегда ходит при галстуке. Так вот, Жасинто предложил Оталии свою любовь — ни больше, ни меньше, а она ему ответила, что не станет спать с ним даже как с клиентом, даже если Тиберия прикажет — ни за какие деньги в мире, она скорее вернется в Бонфим. И сейчас Оталия, девушка простая, бойкая на язык, хорошенькая,

складненькая, хотя и не красавица, стала своего рода приманкой в заведении. Тиберия привязалась к ней, Жезуино тоже, Жезус даже купил ей новую куклу, большую, целлулоидную, вместо той замызганной, которую она привезла из Бонфима в свертке из коричневой бумаги. Представь, она до сих пор играет в куклы, как девочка. Да она и есть девочка, такая молоденькая, что иногда жалко смотреть, как она сидит в зале и поджидает мужчин. Когда она приехала сюда, она сказала, что ей восемнадцать лет, но Тиберии удалось добиться у нее правды: Оталии едва исполнилось шестнадцать.

Не надо думать, что в это солнечное утро Массу хотел вызвать друга на серьезный разговор о нелегкой судьбе Оталии. Негр был далек от подобной мысли и говорил о девушке потому, что она ему нравилась, он не мог оставаться равнодушным к тому, что этой девочке приходится заниматься таким ремеслом. Однако Массу не мог не заметить удивившее его безразличие Капрала, который продолжал заколачивать гвозди и прилаживать раму, лишь улыбкой поддерживая разговор. И не трудно было догадаться, что и улыбается он только из вежливости, ибо всем известна вежливость Капрала. Да, пожалуй, Мартин действительно переменился — сплетники были правы. В прежние времена у него глаза загорелись бы, он подробно расспросил бы Массу и уж конечно не стал бы терять времени на починку рамы, а отправился посмотреть Оталию. А он слушал негра невнимательно, казалось, одним ухом, другим же словно старался уловить малейший шум внутри дома.

До сих пор еще ни слова не было сказано о Мариалве, и не Массу был в этом повинен — ему до смерти хотелось услышать о ставшей уже знаменитостью жене Капрала, ради которой тот решил отказаться от прежней жизни. Но негр не чувствовал себя в праве перевести разговор на эту деликатную тему. Начать следовало Мартину, самому сообщить о браке, рассказать о жене или, по крайней мере, сделать какое-нибудь замечание, какой-нибудь намек, за который негр мог бы ухватиться. А пока Мартин или молчал, или говорил о чем угодно, только не о том, что действительно интересовало Массу, и он не мог затронуть волнующей его темы, не нарушив элементарных правил вежливости.

Кто знает, может, когда Капрал кончит возиться с рамой и они спустятся в бар, он бросит играть в молчанку и обо всем подробно расскажет. Так размышлял Массу, когда увидел, что Мартин меняется в лице. Негр, сидевший спиною к дому, повернулся: перед ним, как бы обрамленная дверным наличником, стояла Мариалва и пристально смотрела на него. Едва, однако, негр повернулся, как взгляд ее утратил свою суровость и недоверчивость, и Мариалва превратилась в хрупкую, нежную девушку, которой грозит опасность и которая вдруг увидела героя, способного ее защитить. Перемена эта была столь мгновенной, что Массу тут же забыл о холодном, недоверчивом взгляде Мариалвы, с которым столкнулся в первую минуту. Мелодичный, робкий голосок усиливал очарование этой женщины.

— Ты меня представишь, Мартин?

Массу встал и протянул руку. Мартин сказал:

— Ты, наверно, слышал, что я женился? Так это моя хозяйка.— И добавил, обращаясь к Мариалве: — А этот молодец — Массу, мой лучший друг и брат.

Маленькая ручка Мариалвы исчезла в огромной ручище негра, который любезно улыбался, показывая недавно вычищенные зубы.

— Очень рад, дона. Я уже знаю о вас, молва вас опередила, здесь только и разговору было что о женитьбе Мартина.

— И много об этом толковали?

— Даже слишком много... Ни о чем другом и не говорили...

— Почему же было столько разговоров на эту тему?..

— Да знаете, Мартина никто не предполагал увидеть когда-нибудь женатым. Думали, он просто не способен на это...

— А он женился, и женился очень удачно, если это вас интересует. Кто сомневается, пусть придет и посмотрит...

— Мариалва! — оборвал ее Мартин, нахмурившись.

Всего на какую-то секунду голос женщины стал резким, в глазах вспыхнула злоба, но едва Мартин прервал ее, Мариалва вновь приняла вид испуганной козочки, заговорила сладеньким голоском и смотрела застенчиво, как слабое создание, нуждающееся в ласке и защите от жизненных невзгод. И об этой вспышке негр забыл так же быстро, как о холодном взгляде, которым она его мерила, когда он вдруг повернулся. Прав был Робелино, подумал Массу, сравнивая Мариалву со статуей святой. Негр был готов в экстазе опуститься перед ней на колени.

А Мариалва уже опять стала скромной и радушной хозяйкой дома.

— Жалко, что у нас еще не прибрано,— объясняла она,— поэтому я не приглашаю вас войти. Но Мартин сказал мне, что сегодня вечером хочет позвать друзей на чашку кофе. Надеюсь, вы придете... Я буду ждать вас.

— Обязательно приду.

Мартин снова улыбался. Когда Мариалва сорвалась, желая показать свою власть в этом доме, он нахмурился, но сейчас горячо подтвердил ее слова, попросив Массу передать приглашение друзьям, и заключил с улыбкой, легонько стукнув молотком по животу негра:

— Ты должен жениться, Массу, чтобы понять, как это здорово...

Мариалва застенчиво опустила глаза. Она шагнула к Мартину, а тот подошел к ней, обнял ее, прижал к груди и поцеловал в губы. Мариалва закрыла глаза, и Массу смотрел на эту сцену, немного растерявшись.

В этот момент сверток, с силой брошенный откуда-то сверху, пролетел мимо них и упал недалеко от дома. Когда сверток ударился о землю, бумага разорвалась, бечевка лопнула; в свертке оказались черная курица без головы, которая наверняка осталась у ног Эшу, жаренная в масле маниоковая мука, кусок старой рубашки Мартина и несколько монет. Мартин побежал к оврагам, но увидел лишь чью-то тень, исчезнувшую по ту сторону холма.

Мариалва в оцепенении смотрела на эбо. Массу почесал свои жесткие кудри, дотронулся до земли и, поднеся руку ко лбу, прошептал: «Это Огун», потом он стал молиться, прося своего святого защитить их от заклинания.

И снова глаза Мариалвы загорелись холодным гневом, как это бывает у людей расчетливых, рассудочных. Она подошла поближе к свертку и заявила:

— Можете колдовать, как вам вздумается, Мартин теперь мой, и я делаю с ним, что хочу.

Мартин вернулся вовремя; не дав Мариалве коснуться эбо, Капрал собственными руками забросил его подальше.

— Ты с ума сошла! Хочешь, чтобы мы умерли? Я приглашу мать Донинью, она лишит заклинание силы и очистит наши тела. Ты не позовешь ее к нам, Массу?

— Можешь на меня положиться, я приведу ее.

Но, прежде чем уйти, негр вспомнил о баре внизу, было жарко, и глоток вина совсем не помешал бы.

— Ты не возражаешь,— сказал он,— если я угощу тебя для начала стопкой кашасы? Внизу как раз есть подходящий бар...

Мартин улыбнулся:

— Что ж, пойдем...

Он взял Массу под руку, могучую, как ствол дерева, и друзья пустились в путь, но их остановил голос Мариалвы:

— Подожди, я с вами...

Мартин с недовольным видом остановился. Он взглянул на приближавшуюся жену и хотел что-то сказать, потом в нерешительности посмотрел на Массу; однако самоуверенность Мариалвы положила конец его колебаниям.

— Нет, ты не пойдешь. Место замужней женщины дома, разбирай пока вещи, а мы скоро вернемся...

Друзья спустились по склону холма, и Мариалва услышала, как Мартин со смехом что-то говорил негру. «Ничего, он мне еще за это заплатит»,— подумала она, и глаза ее снова загорелись холодным блеском.

8

Святая сошла с носилок, но, к счастью, ее сейчас не видели ни негр Массу, ее новый поклонник, ни Робелино, автор этого сравнения. Лицо Мариалвы нахмурилось, она поняла, какие трудности ждут ее в Баии, не то что во время путешествия по провинции. Они еще не успели приехать, а Мартин уже осмелился распоряжаться ею, оставил ее сидеть дома, а сам отправился в бар пить кашасу. Смех Мартина затих где-то внизу, и в ответ раздался раскатистый хохот Массу. Мариалве почудилась какая-то угроза в этом хохоте, в солидном и спокойном Массу, даже в воздухе города, в зеленых банановых плантациях, куда пестрыми пятнами вторглись дома: синие, желтые, красные, розовые. Ей предстоит покорить всех их, знаменитых приятелей Мартина, они должны быть у нее под башмаком. Дважды в это утро, первое их утро в Баии, Капрал повышал на нее голос, а ведь они только-только начали здесь устраиваться. Где же тот Мартин, который не мог оставить ее даже на минуту, безмерно влюбленный, ползающий в пыли у ее ног?

Значит, пришло время его взнуздать и, если понадобится, ранить шпорами ревности, так, чтобы кровь отлила от сердца. Мариалва была достаточно опытна в вещах подобного рода: она любила командовать мужчинами, укрощать их, подчинять своему очарованию. И чем больше их было, тем острее переживала Мариалва наслаждение своей безграничной властью. Она делала все, чтобы завоевать их,— казалась смущенной и робкой, нежной и беззащитной. А когда без нее уже не могли жить, она отнимала у мужчины волю и решимость, чтобы потом выбросить, как мусор, того, кто уже ничего не стоил, все отдав ей, вплоть до своей мужской гордости. Теперь такой мужчина мог только вспоминать Мариалву, мечтая еще раз лечь в ее постель, мог даже ругать и ненавидеть ее, но забыть не мог. Она родилась, чтобы порабощать мужчин, подобно царице, попирающей своих рабов, или святой, перед которой толпа верующих опускается на колени. Пожирательницей мужских сердец была Мариалва.

До сих пор все ее проекты полностью претворялись в жизнь. Она уже давно задумала оставить захолустные провинциальные городки и отправиться на завоевание столицы штата. Однако никак не предполагала, что ей так повезет и она прибудет туда под руку с Капралом Мартином, его возлюбленной и повелительницей. Но это случилось, и Мариалва не собиралась выпускать Мартина из рук. Наоборот, теперь ее власть должна быть, как никогда, крепкой. Она держала на поводке мужчину, который прежде никому не отдавал своей свободы, по которому напрасно вздыхали женщины. Именно потому, что женитьба вызвала столько разговоров. Что ж, пусть они увидят Мартина, подчиненного ее

воле, а для этого его нужно держать в узде. И если бы он вздумал вырваться, она знает, как снова укротить его: достаточно улыбнуться кому-нибудь другому, показать, что ты им заинтересовалась. Она сумела завоевать его, сумеет и удержать — влюбленного и покорного, ловящего каждый жест, каждое слово Мариалвы. Для этого бог дал ей красоту, хитрость и властолюбие.

Задолго до приезда Мартина в провинциальных городах было известно о нем, как о замечательном игроке, шулере и покорителе женщин, с которым никто не мог сравниться. В Кашоэйре женщины легкого поведения судачили о нем на улицах, в дешевых барах и на ярмарках. То из одного, то из другого города, где он был проездом, доходили невероятные слухи о похождениях Мартина, от которых сладко замирало сердце. Мариалва, находившаяся в то время в заведении Леоноры Досе до Коко, тоже услышала о Мартине, о том, сколько слез пролили из-за него несчастные женщины, умолявшие его лишь о ласковом слове, о поцелуе. Он спал со многими из них, но не привязывался ни к одной и скоро всех забывал. Мариалва поклялась покорить Капрала, если он появится в Кашоэйре. Она превратит Мартина в послушное орудие своей воли, а потом бросит его, как уже бросила Дуку, Артура, Тоньо да Капелу, Жуку Минейро, многих любовников и приятелей, которыми ненадолго увлекалась. Но с Мартином, пользующимся славой отличного парня и любимца женщин, она поступит еще более жестоко. Он будет в ее свите, в процессии, идущей за ее носилками, она покажет ему и всем другим, чего стоит Мариалва.

Дело оказалось совсем не трудным: едва Капрал появился, как сразу же обратил на нее внимание. Возможно, его планы не шли дальше одной ночи, но у Мариалвы был свой расчет. Она сразу поняла, что Мартина грызет тоска по родному городу, привычной обстановке, друзьям. В эти июньские праздники он топил в кашасе свое одиночество и развлекался с женщинами. Капрал легко выманивал деньги у этих провинциалов и тут же проматывал их в кабаре и барах, стремясь забыть Баию, откуда был вынужден бежать.

Мариалва тотчас заметила одиночество Капрала, возможно, потому, что сама боялась одиночества и ненавидела его. Она окружила Мартина нежной заботой, ведь она умела быть по-матерински ласковой и исцелять любые страдания. А разве сама она не нуждалась в ласке и защите? Разве не об этом говорил ее робкий взгляд невинного создания, жертвы несправедливой судьбы. Мартин почувствовал, как его обволакивает тепло, в котором растворяются одиночество и грусть. Утешившись, он погрузился в тайны тела Мариалвы, отдавшей ему свою душу.

О, лишь очень немногие женщины могли с ней сравниться! Независимо от того, принесла ли она счастье или несчастье тем, кто провел с нею одну-единственную ночь, они становились существами избранными, отмеченными судьбой. Пожалуй, тем, кому выпало такое счастье или несчастье, следовало бы объединиться, создать братство, священный орден и собираться всем хотя бы раз в месяц в условленный день в условленном месте, чтобы вспоминать Мариалву, рыдая и скрежеща зубами. Да, очень немногие женщины могли сравниться с Мариалвой: буря страсти сменялась спокойствием медленных вод, безмятежный отдых на ее груди — новой бурей, а потом нежный лепет, воркование голубки. Тот, кто хоть раз спал с Мариалвой, не знал ни покоя, ни веселья, пока снова не ложился с ней, чтобы утолить ее голод. Один моряк провел с ней ночь и назавтра уехал в Баию, где стояло его судно. Но воспоминания о Мариалве продолжали преследовать его и в открытом море, он сошел с корабля в первой же гавани и вернулся к ней, умоляя о новом свидании. Один падре тоже провел с ней ночь и с тех пор навсегда остался проклятым.

И Мартин испытал на себе власть тела Мариалвы. Это тело было полно тайн, а сердце ее вместило все его одиночество и дало ему радость материнской доброты. Когда он встретил Мариалву, ему показалось, что он нашел свою вторую половину, женщину, которую искал во всех других, свою единственную и теперь принадлежащую ему навечно.

Преданная, покорная, влюбленная Мариалва. Мартин с волнением принимал эту преданность, эту покорность, эту безмерную страсть. Пылкая, чувственная и в то же время застенчивая и робкая, она говорила ему, что только с ним, Мартином, она познала истинную любовь, а все, что было у нее раньше,— мелко и бессмысленно. Мартин испытывал то же самое; привязанность их росла с каждым днем, и вот однажды, как настоящие молодожены, они отправились в свадебное путешествие по штату. Мартин казался себе странствующим рыцарем, спасающим от проституции эту жертву несправедливои судьбы, женщину, которая рождена, чтобы любить и принадлежать единственному мужчине и всегда, даже после его смерти, быть его верной рабой.

По ночам они точно с ума сходили. Нет, ни у одной женщины на свете не было такого золотистого тела, таких душистых волос. Тысячу раз он со стоном умирал на ее груди и тысячу раз воскресал, и благодарный взгляд Мариалвы наполнял его гордостью. Она пожирала Капрала медленно, это была ее самая большая добыча; она приедет в Баию его женой, его повелительницей, хозяйкой его жизни. Еще никогда не взлетала так высоко дочь кухарки из Фейра-де-Сант-Ана, ибо ни богатство, ни слава не привлекали ее, она хотела одного: повелевать мужчинами, видеть их у своих ног, покорными каждому ее слову, каждому ее жесту. Мариалва стала супругой Капрала Мартина, короля бродяг Баии, и теперь он был в ее власти.

Однако едва они высадились у рыночного причала, едва он ступил на камни набережной, как Мариалва почувствовала в нем какую-то перемену. Мариалва насторожилась. Тем же утром, уже дома, он дважды повысил на нее голос и не разрешил пойти в бар вместе с ним и Массу. Надо поставить его на место, он должен снова валяться у ее ног.

Сейчас, стоя на пороге дома и слушая смех Мартина и Массу, Мариалва набирается сил для предстоящей борьбы, готовится выйти с честью из создавшегося положения. Она смотрит на домики и сады, на улицы, поднимающиеся по горе и уходящие к морю: здесь она бросит Мартина к своим ногам.

А Мартин тем временем, спускаясь к бару, расхваливает супружескую жизнь. Никогда он не думал, что брак может принести столько счастья. Да, он влюблен в Мариалву, гордится тем, что она принадлежит ему, дарит ему свою любовь, однако это никак не должно сказаться на его отношениях с друзьями. Дело в том, что во время медового месяца она приобрела дурную привычку ходить за ним повсюду, не отпуская его от себя ни на мгновение. Этому пора положить конец, Массу, наверно, заметил, как Капрал прикрикнул на нее? Иногда жене полезно напомнить о ее правах и обязанностях, от этого она станет только послушнее, преданнее. Массу нужно знать это, потому что рано или поздно он тоже женится, обзаведется семьей и будет наслаждаться прелестями домашнего очага.

9

А в том, что сам Капрал наслаждается ими, друзья с завистью убедились вечером. Завидовали ему все без исключения. Впрочем, кое-кто, не станем скрывать, испытывал и другие чувства, в которых обычно не сознаются. Например, у Гвоздики глаза загорелись при

виде столовых приборов. И уж конечно никто из собравшихся (за исключением, понятно, Марии Клары) не посмел бы сказать, какого рода чувства вызывала жена Мартина. Мариалва рассыпалась в любезностях, расхаживая от одного гостя к другому. Эта первая встреча, демонстрирующая семейное счастье хозяев, несомненно, принесла им успех. Для Мариалвы он был двойным: мужчины были покорены ее красотой и скромностью и пополнили ряды поклонников, следующих за носилками со святой.

Однако, уходя — а было это за полночь,— Жезуино Бешеный Петух, жизненный опыт и здравый смысл которого были всем известны, покачал головой, наморщил лоб и сделал пессимистическое предсказание:

— Все это слишком хорошо, чтобы могло продолжаться долго...

Но никто ему не поверил. Наоборот, в глубине души завидуя Капралу, все считали, что счастье его прочно и вечно. В этот вечер все мечтали о таком браке, даже Гвоздика, человек женатый и отец многочисленного семейства. Если б ему повстречалась женщина, подобная Мариалве, он, несмотря на свои скудные средства, женился бы на ней и еще наплодил детей; двоеженство не казалось Гвоздике чем-то предосудительным. Словом, все, включая и Жезуино, завидовали Капралу. Как величаво он развалился в качалке! Мартин был в белых брюках и полосатой пижамной куртке и с подчеркнутой аккуратностью стряхивал пепел сигареты в пепельницу. Друзья поглядывали на Капрала, наблюдали его семейную идиллию и строили планы, каждый по-своему, но сходные в одном: женой у всех была Мариалва.

Только Жезуино был исключением, он, как и другие, завидовал Капралу и желал Мариалву, но о женитьбе не помышлял. Жезуино не любил говорить о прошлом, а ведь когда-то давно он был женат. И уж неизвестно откуда, но все знали, что брак этот не был счастливым. Шепотом высказывались разные предположения об этой тайне Бешеного Петуха. Единственное, что совершенно достоверно, так это то, что, когда он появился на улицах Баии, у него уже не было ни семьи, ни домашнего очага. На его совести, как утверждали сплетники, осталась смерть молодого любовника его жены. Но никто не знал, правда ли это. Если правда, то Бешеный Петух никогда не испытывал необходимости хотя бы на мгновение избавиться от этого груза, разделить свое бремя с друзьями. А кто не знает, что это такое — иметь на совести покойника, особенно если ты в порыве ненависти прикончил его ударом ножа или кинжала? Да, нелегко изо дня в день таскать с собой эту тяжесть. Руки покойника постоянно стискивают твою шею, давят грудь, гнут поясницу, твои волосы седеют раньше времени, сердце не знает покоя. И вот настает день, когда больше не выдерживаешь, сбрасываешь покойника с себя и признаешься в убийстве — за столиком бара, в постели незнакомой женщины, на рынке, посреди улицы. Признаешься, даже если тебе грозит тюрьма или месть родственников убитого.

Так что если Бешеный Петух и таскал с собой этот страшный груз, то не страдал от этого и никогда ни с кем не делился, даже когда пьяный падал под стол в баре Изидро до Батуалэ или у стойки в кабачке Алонсо. Но трудно было поверить, хоть речь и идет о таком человеке, как Жезуино, чтобы он столько лет мог терпеть столь тяжкое бремя, повсюду таскать за собой покойника, каждую ночь видеть его во сне. Вероятно, все это просто выдумали в портовой гавани: будто бы он нанес четырнадцать ударов ножом — семь любовнику и семь жене — и будто бы парень умер на месте, а жена выжила, но на лице ее, разрезанном снизу доверху, остался шрам. Наверно, Жезуино лишь оскопил кота, а затем, перепугавшись, удрал.

Именно в силу этих причин Бешеный Петух, хоть и завидовал Капралу, не радовался вместе со всеми. Впрочем, как и Тиберия.

Последняя вообще отвергла приглашение Мартина, переданное через Массу. Тиберия не поскупилась на весьма резкие выражения и даже ругательства, когда негр явился в ее заведение.

Тиберия в этот тихий вечер сидела в своем кресле, у ее ног расположилась Оталия, которой хозяйка причесывала пушистые волосы. Она заплела их в косы, повязала на концах банты, с этой прической Оталия еще больше напоминала девочку. Кто бы мог подумать, что она занимается таким ремеслом? Негр вошел, поздоровался, посмотрел на обеих женщин — толстую хозяйку заведения и девочку-проститутку. Они похожи на мать и дочь, подумал Массу, и ему показалось несправедливым то, что они здесь — в зале дома терпимости. А почему? Он и сам не сумел бы объяснить, это было лишь смутное, но достаточно сильное чувство, и негр, мало привычный к размышлениям подобного рода, на минуту подумал о том, что мир устроен абсурдно и нуждается в переменах. В этот момент он готов был немедленно взяться за его переустройство, если бы только знал, как это делается. Оталия положила голову на полные колени Тиберии и жмурилась от ласковых прикосновений ее рук.

Тиберия улыбнулась Массу, которого очень любила, и предложила ему сесть, но негр остался стоять.

— Я ненадолго, мне надо еще кое-куда. Я пришел передать вам приглашение, Мамочка. Знаете, кто вернулся и послал меня сюда? Мартин со своей женой...

Тиберия оставила волосы Оталии, оттолкнула ее голову от себя и вскочила:

— Вернулся? Когда?

— Сегодня утром... Я как только узнал, пошел туда, Мартин чинил раму. Они послали меня пригласить вас, Мамочка...

— Они? Кто они?

— Мартин и его жена. Ее зовут Мариалва, она прекрасна, как святая на носилках, я не видел таких красавиц... Они просили, чтобы сегодня вечером вы пришли к ним в гости...

Оталия первый раз видела Тиберию в ярости, хотя та славилась своей вспыльчивостью ничуть не меньше, чем добротой и великодушием. Когда Тиберия приходила в бешенство, она теряла голову, могла даже накинуться с кулаками и избить. Правда, теперь это случалось редко, наверно, ее стареющее сердце уже не было способно на сильные чувства. С годами Тиберия будто стала мягче, снисходительнее, терпимее.

Однако, когда она услышала приглашение Капрала, все ее огромное тело, не стянутое в этот час поясом или корсетом, заколыхалось, лицо покраснело, она шумно задышала и начала было почти спокойным голосом, но затем перешла на крик:

— Ты хочешь сказать, что он приехал с этой коровой, а я должна идти к нему с визитом? И ты осмелился явиться ко мне с подобным поручением? Как же тебе не стыдно, ничтожный ты человек!

— Но я...

— И ты еще сравниваешь эту шлюху со святой...

— Это Робелино придумал...

Но Тиберия не желала слушать никаких оправданий. Она бушевала. Оталию била дрожь, а негр Массу, размахивая руками, пытался доказать, что он ни в чем не виноват. Значит, продолжала кричать Тиберия, так относится Мартин к своим старым, верным друзьям — к ней и Жезусу? Он ведь всегда хвастался своим воспитанием, был такой любезный, изъяснялся вежливо и почтительно. Как же он мог осмелиться послать Массу с подобным поручением? Это ему следовало прийти — как он это делал раньше,— поздороваться, узнать новости, спросить о ее здоровье, обнять Жезуса. Нет, никогда ее ноги не будет в доме Мартина, где поселилась эта шлюха, которую он подобрал на свалке, грязная сифилитич-

ка, дерьмо. Если они хотят ее видеть, пусть приходят в заведение, но эта вшивая девка должна вымыться, прежде чем переступить порог ее дома. А еще лучше будет, если Мартин придет без этой грязнули, она, Тиберия, не огорчится ее отсутствием. Но если ему так хочется, он может привести ее, раз уж потерял стыд и вкус, связавшись с этой грязной посудиной. У себя Тиберия их примет, если они заявятся. Она человек воспитанный и не станет высказывать этой особе, какого она о ней мнения, встретит ее, как полагается порядочной женщине. Но лезть в гору, чтобы увидеть Мартина и эту прокаженную, которая выдает себя за замужнюю женщину? Нет, нет и нет! И что только думает Мартин? Тиберия ему в матери годится и, кажется, заслуживает большего уважения...

Она наконец остановилась, чтобы передохнуть, так как от волнения запыхалась, у нее началось сердцебиение. Встревоженная Оталия прибежала со стаканом воды. Держась за сердце, Тиберия снова уселась, отстранила стакан и приказала слабым голосом:

— Открой бутылку пива и принеси два стакана — для меня и для этого наглеца, который осмелился явиться с таким поручением...

Гнев прошел, теперь Тиберия выглядела подавленной и печальной. Подумав немного, она спросила:

— Как, по-твоему, Массу, Мартин имел право поступить так со мной? Со мной и Жезусом? Разве не он должен был прийти ко мне?..— И чуть не плача, добавила: — Ты же знаешь, что в следующую субботу мой день рождения... Если Мартин не придет меня поздравить, клянусь, он никогда больше не переступит порог моего дома. Пусть на глаза мне тогда не показывается. Этого я ему никогда не прощу.

Массу не возражал. Оталия наполнила стаканы, в этот тихий час из задних комнат заведения слышался щебет птиц.

Вечером того же дня в доме Мартина так же щебетала птичка, и Массу опять пил пиво. Это была канарейка, которую разбудил свет и шум, она раздраженно верещала, пока Мариалва подавала гостям кофе и кашасу.

В тот вечер было три особенно волнующих момента. Первый: когда Мариалва взяла с серванта кофейник, все заметили, что на полках расставлены чашки, стаканы и рюмки. Да, рюмки, а не стопки. Из них и пили после кофе кашасу. Гости от изумления рты разинули, такой был в этом доме порядок, такая мебель, такой комфорт. Неважно, что сервант был хромой, что не хватало двух блюдец и у нескольких кофейных чашечек не было ручек, а рюмки были все разные. Главное, что эти рюмки и чашечки придавали уют домашнему очагу Мартина. А кофейник? Когда они пришли, он стоял на серванте как украшение. Большой, фарфоровый, правда, с одной стороны он надбит, но этой стороной кофейник повернут к стене. Красота! На плите в банке кипела вода, Мариалва готовила кофе.

— По чашечке кофе перед кашасой, чтобы согреться...— предложила Мариалва, и все согласились, даже Массу, который предпочел бы приступить к кашасе немедленно.

В комнате запахло кофе, это Мариалва процеживала напиток через ситечко, похожее на женскую грудь. Глаза Ипсилона заблестели: Капрал стал настоящим лордом, у него даже есть кофейник. Ветрогон не смог удержаться от восхищенного возгласа. Мартин улыбнулся, а Мариалва скромно потупила взор.

Она готовила кофе так, будто это было ее обычным занятием, и принялась обносить гостей, держа кофейник в одной руке, а поднос с чашечками, блюдцами и сахаром в другой. Она каждого спрашивала, сколько класть сахару, и к сахару добавляла взгляд, улыбку, кокетливый жест. На кофейнике красовались выпуклые розы. Шикарная вещь!

Мартин, сидя в качалке, прихлебывал кофе и с нежностью следил за Мариалвой. Он почти ощущал зависть, которая читалась в глазах друзей, она все росла, охватывая всех присутствующих. Капрал укутывался в эту зависть, как в простыню, безраздельно отдавшись радостям домашнего очага. Мариалва вернулась с подносом, чтобы собрать чашки, потом снова пришла с бутылкой кашасы и рюмками. Она остановилась перед Курио и выбрала для него рюмку — темно-синюю, самую красивую из всех. Взгляд Капрала неотступно следовал за женой, он как бы спрашивал друзей, встречали ли они еще где-нибудь такую красивую и умелую хозяйку. Настоящий лорд — в своих белых брюках, домашних туфлях и полосатой пижамной куртке, лорд, отдыхающий в комфорте и роскоши.

Пришли друзья Мартина, которых он пригласил, и несколько проныр, которых никто не звал. Жезуино Бешеный Петух, Ветрогон, Курио, Массу, Ипсилон, Гвоздика, Жасинто, Нелсон Дентадура, один торговец с Агуа-дос-Менинос, Рулевой Мануэл и Мария Клара. И все они были в восторге, даже Жезуино, хотя он и не выказывал своего восхищения столь бурно, как другие. Все были так поглощены Мариалвой и шикарной обстановкой, что поддерживать разговор никто и не думал. Гости только и делали, что пожирали глазами хозяйку и улыбались ей в ответ.

Вторым острым моментом было следующее: поставив бутылку с кашасой и рюмки на стол, Мариалва уселась, и при этом ее узкое платье поднялось, обнажив ноги выше колен. Мартин сразу заметил, какая наступила напряженная тишина, как заблестели увлажнившиеся от желания глаза гостей. Капрал кашлянул, Мариалва опустила платье и выпрямилась. Гости отвели глаза от ее ног, а Курио поднялся со своего места и в волнении подошел к окну. Только Ветрогон продолжал с улыбкой смотреть на Мариалву.

— Вам обязательно надо будет купаться...— сказал он.

Мариалва рассмеялась: разумеется, если он позволит, показала она на Мартина. Разговор стал оживленнее, на столе появилась новая бутылка кашасы, и в конце концов Капрал не смог больше бороться против искушения показать гостям спальню. «Наше гнездышко»,— сказал он, Ипсилон был в восхищении, чего нельзя сказать о Жезуино. Где это видано — называть спальню гнездышком? Мартин совсем потерял голову, он стал невыносим. Однако остальные не разделяли возмущения Жезуино. Это была тесная комната, в которой едва умещалась тахта с волосяным матрацем и лоскутным одеялом, но на стене над маленьким столиком, где лежали щетки, гребни и стояли флаконы с духами и бриллиантином, висело огромное зеркало. Мартин улыбнулся.

— Здесь по утрам хозяйка причесывается, наводит красоту, а вечером готовится ко сну...

Мариалва осталась в большой комнате, она собиралась подать пирог из кукурузной муки, но все увидели ее в спальне перед зеркалом. Никто ничего не сказал, лишь негр Массу не смог удержаться от широкой улыбки, когда представил себе Мариалву в ночной рубашке, с распущенными по плечам волосами. И другие думали о том же, но не улыбнулись, затаив дыхание и грешные мысли. Курио закрыл глаза и увидел ее обнаженной, с темной родинкой на плече и роскошной грудью, которая казалась двумя чашами, полными золотистого меда. Видение не исчезало, и Курио поспешно покинул спальню, ему было необходимо немного подышать свежим воздухом.

Но в большой комнате он увидел Мариалву, высокую и спокойную, она словно поджидала его. Он улыбнулся ей. Она смотрела в глаза Курио, как бы вопрошая и в то же время догадываясь обо всем, что происходило в его сердце. И вот ее взгляд стал робким, умоляющим, просящим защиты и дружбы; так может смотреть только чистая женщи-

на, одинокая и покинутая, никем не понятая. Бедняжка! Разве не рассказывал ему Массу, как утром Мартин прикрикнул на нее? Стоило для этого привозить ее из провинции и жениться на ней! А грустные глаза все глядели на Курио, как бы умоляя его о капле нежности, о чистой, платонической дружбе, братской ласке и участливом понимании. Но губы Мариалвы почему-то были приоткрыты, показывая белые зубы и красный кончик языка, полные губы, которые так хорошо, должно быть, целовать...

Курио даже прикрыл рукою рот, словно испугавшись своих мыслей, но не смог удержаться от вздоха, вздохнула и Мариалва, и оба эти вздоха как бы соединились и умерли вместе. В комнату вошли остальные. Ах, если бы Курио мог, он распростерся бы перед Мариалвой, как перед святой, он целовал бы след ее ног.

Все, кроме Курио, сели, Мартин расположился в своей качалке.

— А вы знаете,— спросил Ветрогон,— что в глубине моря есть небо, точно такое же, как над землей? Со звездами, солнцем и луной. Только в нем звезд еще больше и все время полнолуние.

Мариалва стала разносить пирог. Курио наполнил темно-синюю рюмку и выпил ее залпом.

10

«Ах, Мартин, брат мой! Ты мне не только брат по вере, ибо мы оба сыновья Ошалы, но и друг, верный друг в радости и в беде, ради тебя я пойду на все. И разве могу я смотреть на твою жену, твою настоящую жену, хозяйку твоего дома иначе, чем друг, разве могу я питать к ней иные чувства, кроме чистых братских чувств? Мартин, брат мой, твой брат — подлец!» Такие мысли начали терзать Курио сразу же после его визита к Мартину и терзали вплоть до празднества в честь дня рождения Тиберии.

Горькие, мрачные думы, неясные, противоречивые чувства одолевали его. В последний раз он видел Мариалву как-то утром в воскресенье, она кивнула ему из окна и, неизвестно зачем, показала свой язычок. Курио охватила холодная дрожь. «Ах, брат мой, у меня нет больше сил! Ошала, отец мой, спаси меня! Я попрошу молиться за меня, чтобы быть сильнее, чтобы не поддаваться колдовству этой женщины». Он стоял в дверях магазина «Дешевый мир», но работа у него не ладилась. Курио прекрасно понимал, что поведение Мариалвы и его лихорадочный трепет говорят о чувствах отнюдь не братских; они лишены чистоты, присущей отношениям между братом и сестрой, и — больше того — носят сомнительный, греховный характер. «Ах, брат мой, где же это видано, чтобы сестра кивала брату, показывая кончик красного языка между полуоткрытыми в страстном ожидании устами? А брат чтобы дрожал, как в ознобе, чувствуя, что кровь приливает к лицу при виде полных губ сестры и ее языка, который шевелится подобно змеиному? Если Курио и Мариалва — брат и сестра, как они называют друг друга, то подобные чувства можно счесть кровосмесительными». Курио сжимал голову руками. Как быть?

Мы уже упоминали о чрезмерном романтизме, отличавшем Курио, о его бесчисленных увлечениях, сопровождавшихся пылкими посланиями и обещаниями жениться; он постоянно был у ног той или иной красавицы, которую, как правило, вскоре покидал. Так что не было ничего удивительного в том, что он влюбился в Мариалву. Все, за исключением Ветрогона, в большей или меньшей степени были увлечены женой Капрала. Ветрогон же по отношению к мулаткам был чрезвычайно требова-

тельным. Слишком светлая Мариалва оказалась вне узкого круга настоящих мулаток, который был очерчен Ветрогоном. И все же он сделал для нее небольшую уступку, предложив ей белую мышку и пообещав зеленую жабу.

Все были влюблены в Мариалву, но платонически, даже не помышляя о греховной связи. Ведь Мариалва — жена Мартина. Это было лишь немое обожание преданных рабов, готовых выполнить любое ее приказание, но не больше. Они приходили навестить ее, выпить немного кашасы, послушать Мариалву, полюбоваться темной родинкой на ее плече, ее телом, но дальше этого не шли.

С Курио было иначе, страсть сломала границы дружеского долга. Курио понимал, что пересекает линию, за которой начинаются неблагодарность, вероломство, ложь. Он переживал страшные дни, голова раскалывалась от противоречивых мыслей, сжималась грудь, болело сердце. Он чувствовал себя как утопающий, отчетливо видящий и сознающий, что происходит, но не способный удержаться на поверхности и погружающийся на дно. Где его честь? Он клялся себе, что не сдастся, ведь на свете много других женщин, клялся быть достойным дружбы Мартина, однако достаточно было одного взгляда Мариалвы, чтобы разрушить всю его решимость. Он становился совершенно безвольным.

Подавленное состояние Курио сказывалось на работе, и Мамеду приходилось требовать, чтобы он энергичнее рекламировал товары.

— Эй, Курио, ты, кажется, думаешь зарабатывать деньги, ничего не делая? Где покупатели?

«Ах, Мамед, разве ты можешь понять мои переживания?» Курио хотелось прислонить голову к плечу араба, рассказать ему все, выплакать свои горести.

Для привлечения покупателей Мамед иногда нанимал Курио — профессионального зазывалу, или «шефа коммерческой пропаганды». Курио становился у дверей магазина, выходящих на Байша-до-Сапатейро, и принимался расхваливать замечательные достоинства грубошерстных или хлопчатобумажных брюк, продаваемых в «Дешевом мире» по весьма дорогой цене. В поношенном фраке и в цилиндре, с лицом, раскрашенным, как у клоуна, Курио вопил на всю улицу, превознося бесчисленные преимущества сенсационной распродажи, о которой сообщало огромное полотнище, украшавшее фасад дома:

РАСПРОДАЖА ВЕКА!
ВСЕ ПОЧТИ ЗАДАРОМ!

По крайней мере два раза в год, под самыми различными предлогами, Мамед распродавал завалявшийся товар, обновляя свои запасы. И Курио играл не последнюю роль в этой коммерческой операции. На нем лежала обязанность сообщать публике о доброте араба, столь невероятной, что она казалась безумием, о возможности приобрести великолепные товары по смехотворно низким ценам, почти даром. Люди, проходившие мимо с безразличным видом, не выказывали ни малейшей заинтересованности, ни признательности к щедрому Мамеду. Поэтому Курио должен был изощряться в шумной рекламе, пытаясь остановить прохожих. Иногда он пересаливал, хватая кого-нибудь и насильно затаскивая в магазин. Впрочем, его рвение объяснялось прежде всего желанием заработать.

Вот почему Мамед удивлялся, видя Курио таким унылым. Куда девалось его обычное остроумие, его бесчисленные присказки и прибаутки, которые заставляли прохожих задерживаться, собираться вокруг него, а некоторых даже заходить в магазин? Эти неосторожные сейчас же попадали в руки Мамеда и без покупки не уходили. Но в то утро Курио был

вялым, апатичным, даже грустным. Может быть, он нездоров, подумал араб.

— Ты что, болен или с похмелья?

Курио не ответил и принялся кричать на всю улицу:

— Заходите! Заходите! Араб Мамед спятил и распродает все ниже себестоимости! Он продает магазин и уезжает в Сирию! Заходите! Пользуйтесь случаем! Торопитесь, пока не кончилась распродажа.

Он не мог ответить, не рассказав всего. Страсть пожирала Курио, он ни на секунду не переставал думать о Мариалве, она так и стояла перед ним, эта бедная жертва Мартина, и умоляюще смотрела на него. Жертва? Курио жаждал обнаружить хоть что-нибудь, что говорило бы о плохом отношении Капрала к жене, и не находил ничего. А ведь жестокость Мартина могла бы полностью успокоить нечистую совесть Курио.

Он понимал, о чем говорят глаза страдалицы Мариалвы: она была жертвой, Мартин держал ее силой, и кто знает, на что пустился хитрый Капрал, чтобы завоевать ее? Она ничего не сказала Курио, она лишь смотрела на него. До сих пор Курио избегал откровенного разговора, взаимных признаний, хотя Мариалва не раз старалась остаться с ним наедине. Курио боялся.

Так от кого же просила защитить себя Мариалва, как не от Мартина? И хотя Курио не слышал от Капрала ни одного плохого слова о жене, хотя видел его постоянно нежным и влюбленным, исполняющим все капризы Мариалвы, он не представлял себе, что кто-нибудь еще может угнетать бедную женщину.

И все же не было оправдания Курио. Даже если бы Капрал бил Мариалву, таскал ее за волосы, она была его женой, и он мог обращаться с ней, как ему заблагорассудится. А если она не хочет мириться с этим, может уйти от него, покинуть мужа и семейный очаг. И тогда, по прошествии некоторого времени, Курио удастся выставить свою кандидатуру. Но если она целуется с Мартином, кокетливо садится к нему на колени, а Мартин с величайшей охотой, как поистине образцовый муж, удовлетворяет все ее желания, как объяснить ее взгляды, ее дрожь, соблазнительно приоткрытый рот? Курио не имел права даже в мыслях желать ее, как и Мариалва его.

Охваченный отчаянием Курио вовсю рекламирует распродажу в «Дешевом мире». Его голос разносится по Байша-до-Сапатейро, он сыплет своими обычными прибаутками, отпускает плоские шуточки, неизменно имеющие успех. Но под белилами и кармином, покрывающими его лицо, выступает краска стыда, стыда оттого, что он готовится предать друга. «Ах, Мартин, брат мой, твой брат — подлец!» Реплики Курио становятся все менее остроумными, жесты какими-то механическими, его обычное веселье гаснет. До сих пор любовь всегда была для него радостью. Сейчас же, когда он чувствует, что полюбил на всю жизнь, неизмеримо больше и полнее, чем прежде, его терзают печаль и угрызения совести. Ах, если бы он мог забыть Мариалву, если бы мог вырвать ее из сердца и смело смотреть в глаза Мартину, быть достойным его дружбы.

Да, он должен навсегда вырвать ее из сердца, изгнать из мыслей. Даже если для этого ему придется не видеть ее, больше не бывать в доме Капрала, не пойти на день рождения Тиберии, где он обязательно встретит Мариалву и Мартина. Тиберия, разумеется, никогда не простит ему этого. Но и Мартин поступил бы так же, если бы не над ним, а над Курио нависла подобная опасность. Курио вдруг вспомнил случай, который доказывал верность Капрала в дружбе. Когда-то Курио ухаживал за рыжей метиской, они были чуть ли не помолвлены, во всяком случае, считались женихом и невестой, и вдруг Мартин, ничего об этом не зная, пригласил метиску танцевать и сделал ей нескромное предложение. Она,

бесстыдница, так и растаяла и тут же согласилась, хотя перед Курио разыгрывала комедию, выдавая себя за невинную девушку из хорошей семьи. Сговорившись с Мартином о встрече после бала, она, однако, предупредила его, что надо будет поостеречься Курио, потому что она его невеста, и если он что-нибудь заподозрит, Мартин сам понимает, чем это может кончиться.

Вероломная метиска никак не ожидала, что Мартин тут же, в зале, покинет ее, и осталась стоять с глупым видом. Значит, невеста Курио готова отдаться первому встречному? До крайности циничная и бесстыдная, неужели она не знала, что Курио — брат Мартина по вере, что он его лучший друг? Не прошло и двух недель, как они оба совершили жертвоприношение и спали, как спят два кровных брата, в одной кровати. Не будь они на празднике, Капрал надавал бы ей пощечин, чтобы научилась уважать своего возлюбленного.

А когда пришел Курио в отутюженном новом костюме, Мартин рассказал ему про подлость рыжей метиски, которая робко наблюдала за ними издалека. Курио хотел тут же учинить скандал и порвать с метиской, выказав ей свое презрение, но Мартин, опытный в таких делах, удержал друга. Пусть Курио сначала прикинется взбешенным, посоветовал он, затем великодушно простит, но потребует, чтобы девчонка легла с ним в ту же ночь. И только потом выставит потаскуху за дверь. Курио так и сделал, хотя ему претило разыгрывать эту комедию. Никогда он не сможет стать покорителем женщин, вроде Мартина, из-за своей неизлечимой сентиментальности.

Итак, Курио, если он не хотел поступить, как самый недостойный из друзей, ничего иного не оставалось, как вырвать эту любовь из сердца, никогда больше не смотреть на Мариалву, не говорить с ней. Он знал, знал совершенно определенно, что если встретит ее, если взглянет в ее умоляющие глаза, то не устоит, признается ей в своей любви, предаст друга, брата по вере. Курио замолчал, он решил: никогда не видеться с Мариалвой, не говорить ей ни слова о чувствах, пылавших в его груди; пусть до конца дней своих он будет страдать от сознания, что потерял Мариалву, пусть больше не полюбит ни одной женщины и навсегда останется несчастным, но достойным дружбы Мартина. «Ах, Мартин, брат мой, пусть я погибну, но поступлю как истинный друг!» Взволнованный Курио чувствовал себя героем. Он бросил взгляд на улицу и вдруг увидел ее: она стояла у входа в кино, закрытого в этот утренний час, и улыбалась ему, потом подняла руку и помахала. Курио решил, что у него галлюцинации, закрыл глаза, снова открыл. Мариалва улыбнулась еще шире, еще энергичнее помахала рукой, а Курио уже ничего, кроме нее, не видел; без следа исчезли самые твердые его намерения, самые героические решения. Где-то далеко возник образ Мартина, но Курио прогнал его. В конце концов, разве предосудительно поздороваться с женой приятеля, немного поболтать с ней? Наоборот, его нежелание видеть ее, разговаривать с ней могло показаться подозрительным. Все это пронеслось в голове Курио в какие-то доли секунды. Придерживая цилиндр, он бросился на другую сторону улицы, не обращая внимания ни на трамваи, ни на грузовики. Мамед вскрикнул, решив, что Курио задавило, но Курио каким-то чудом уцелел. Что с ним сегодня происходит? Сначала какая-то апатия, теперь этот внезапный припадок безумия. Охваченный любопытством, араб вышел на улицу и увидел Курио, который заворачивал за угол, оживленно разговаривая с красивой женщиной. Мамед покачал головой: этот Курио не теряется. И поскольку трудно было ожидать скорого возвращения зазывалы, он с характерным восточным акцентом принялся сам расхваливать преимущества сенсационной распродажи товаров по баснословно дешевым ценам.

11

Невозможно было привыкнуть к изменениям, произошедшим в жизни Капрала. Теперь, чтобы увидеть его, нужно было идти к нему домой, он уже не появлялся там, где постоянно бывал раньше, и поймать его стало чрезвычайно трудно. Правда, он вернулся на свои излюбленные места, где — для развлечения и в назидание молодежи — по-прежнему демонстрировал великолепную игру. Однако много выиграть он не стремился, зарабатывая лишь на самое необходимое: на фасоль, солонину, муку и масло. Обычно же сидел дома, наслаждаясь семейным уютом.

Находились такие, что считали Капрала пропащим человеком, которого уже невозможно спасти, раз он в полном подчинении у Мариалвы, раз она им командует и держит его под башмаком. Долго не влюблялся Капрал, боясь расстаться со свободой, но когда это случилось, отдался семейным радостям без остатка. Друзья и знакомые вспоминали прежнего Мартина — вольного, как ветер, любителя выпить, азартного игрока, превосходного танцора, открывавшего все праздники. Этот Мартин исчез навсегда, вместо него появился робкий супруг, строго соблюдающий домашний распорядок дня.

Однако с ним может случиться и кое-что похуже, если принять во внимание слухи насчет того, что слишком часто стали видеть его жену вместе с Курио, которые оживленно о чем-то беседуют, весело смеясь и переглядываясь. Правда, Мартин и Курио — близкие друзья и даже братья по вере, поэтому, возможно, приятельские отношения его жены и друга диктуются обычной вежливостью. И все же большинству они казались подозрительными. Только Мартин словно ничего не замечал, целиком поглощенный своей страстью и прелестями супружеской жизни.

Однако надо сказать, что многими из тех, кто порицал Капрала или сочувствовал ему, руководила зависть.

Зависть эта не была уже столь сильной, как в первые дни, когда все стали мечтать о женитьбе. Брачный пыл постепенно охлаждался ограничениями, на которые пошел Мартин, и все же порядок и комфорт домашнего очага порой продолжали волновать Ипсилона и негра Массу, не говоря, разумеется, о Курио, ибо последний только и мечтал о том, чтобы жениться, и жениться, конечно, на Мариалве.

В этом-то и состояла основная трудность. Их нежные чувства друг к другу все росли с того дня, как они встретились на Байша-до-Сапатейро у магазина «Дешевый мир» и пошли вместе, неловкие и немного смущенные. Некоторое время они молчали, не зная, с чего начать.

Шли рядом и смотрели под ноги, то улыбаясь, то становясь серьезными. Наконец Мариалва взяла инициативу в свои руки и тихо сказала:

— Я хотела поговорить с вами...

Курио поднял глаза и встретился с открытым и грустным взглядом Мариалвы.

— Со мной?

— Чтобы попросить вас кое о чем... Уж и не знаю...

— Так просите... Я готов сделать для вас все, что потребуется...

— Обещаете?

— Обещаю...

— Так вот я хотела...—пролепетала она робко и стала совсем грустной.

— Что? Говорите...

— Хотела попросить вас, чтобы вы не приходили к нам больше.

Курио словно кто-то ударил в грудь. Он ожидал чего угодно, только не этой просьбы, разом покончившей с его надеждами. И хотя он сам не-

задолго до этого решил не появляться больше в доме Капрала, просьба Мариалвы ранила его в самое сердце. Лицо Курио исказилось гримасой отчаяния, он ничего не мог сказать и остановился посреди улицы. Мариалва тоже остановилась, сочувственно глядя на юношу. Затем коснулась его руки и сказала:

— Если вы будете ходить к нам, добром это не кончится...

— Почему?

Мариалва опустила глаза.

— Значит, вы ничего не замечаете... Мартин в конце концов начнет подозревать, он уже и сейчас чувствует что-то неладное...

Новый удар в грудь. Неужели Мартин уже догадывается? Что делать? Ах, брат мой, какой ужас!

— Но ведь между нами ничего нет...

— Именно поэтому нам лучше не видеться... Пока ничего нет... Потом будет тяжелее...

Вот тогда-то ошалевший от страсти Курио, забыв, что они стоят на шумной, многолюдной улице, взял руку Мариалвы и спросил сдавленным голосом:

— И ты считаешь, что...

Она снова опустила глаза.

— Как ты — не знаю... Что же касается меня...

— Я не могу без тебя жить...

Она снова зашагала.

— Пойдем, а то люди оборачиваются...

Мариалва объяснила Курио, что между ними ничего не может быть. У нее обязательства по отношению к Мартину, он ее привез, дал ей все, он безгранично добр и безгранично предан, он с ума по ней сходит и способен ради нее даже на преступление. Она не может покинуть Капрала, хотя и не любит его, хотя ее сердце бьется для другого. Они оба, она и Курио, должны пожертвовать своим чувством, чтобы не ранить Мартина, не причинить ему боли. И вот она решила, как ей это ни тяжело, не видеться больше с Курио. И он должен поддержать ее, он ведь друг Мартина, их любовь не имеет будущего. Вот она и пришла к нему, чтобы он пообещал ей никогда больше не стараться увидеть ее.

Курио заявил, что он глубоко тронут, Мариалва — святая, и он не достоин ее любви. Она помогла ему снова стать честным человеком и верным другом. Пусть он будет мучиться, как осужденный гореть на вечном огне, но не станет искать встреч с нею, он задушит эту преступную любовь, вернет утраченное достоинство. В груди у Курио бушевало пламя, а Мариалва искоса поглядывала на него. Он поклялся, поцеловав крест, сложенный из пальцев, и ринулся прочь, чтобы не подвергаться искушению. Мариалва посмотрела ему вслед и улыбнулась. А потом пошла сквозь толпу, наполнявшую Байша-до-Сапатейро, с удовольствием ловя возгласы и свистки, которыми наиболее дерзкие молодые люди выражали ей свое восхищение. Она не смотрела на них, лишь сильнее покачивала бедрами. Курио бегал по переулку в поисках бара. Буря страстей сломила его, и он был похож на судно, потерпевшее кораблекрушение,— с порванными парусами, со сломанным рулем.

Три дня бродил Курио по городу, терзаемый своими страданиями, своим самопожертвованием и героизмом. Друзья терялись в догадках относительно причин его запоя — то ли начало, то ли конец романа, может быть, помолвка, а может быть, неверность любовницы. Толком от него ничего нельзя было добиться, в его страданиях ощущалась какая-то горделивая сдержанность. Жезуино, посетивший Капрала, чтобы обсудить с ним предстоящий петушиный бой, рассказал об отчаянии Курио, который пьяный валяется на улицах и с видом мученика толкует о самоубийстве.

— Курио пора жениться...— заявил Мартин.

Мариалва, слушавшая этот разговор, стоя в дверях комнаты, улыбнулась. Мартин продолжал:

— Женщина рождена для того, чтобы служить мужчине...— и, обращаясь к Мариалве, добавил: — Ну-ка, красавица, налей Бешеному Петуху и своему мужу... Отменная кашаса...

Мариалва вошла в комнату, чтобы наполнить рюмки.

На другой день, когда Курио, небритый и грязный, сидел в баре Изидро до Батуалэ, дожидаясь первой порции кашасы, к нему подошел какой-то мальчишка и шепнул:

— Молодой человек, одна дона хочет поговорить с вами. Велела мне вас вызвать...

— Не хочу я ни с кем говорить... Пошел вон...

Но любопытство все же взяло верх, и он выглянул на улицу. Невдалеке стояла она, Курио бросился к ней.

— Мариалва!

— Боже мой, в каком вы виде... Никогда бы не подумала...

Как впоследствии говорила Мариалва, именно в этот момент, увидев его грязным и небритым, она отступила перед своей преступной любовью. Мариалва заплакала, и ее слезы омыли душу Курио, а через несколько часов он омыл и тело, что принесло ему приятное облегчение.

За этой встречей последовало много других. Мариалва была одержима страстью, о Курио же и говорить нечего. Они ненадолго, из страха перед Мартином, встречались в церквах, в порту, торопливо обменивались несколькими словами. Было решено не встречаться поблизости от дома Мариалвы. Когда она могла, она приходила к магазину, где он работал, и они вместе шли по улице, спускались по Табоану, заходили в магазины. Двое безумно влюбленных, две родственные, однако благородные души.

Благородные, ибо они решили не предавать Мартина. Они справятся с этой безмерной, безграничной страстью, поборют греховные желания, их любовь останется платонической. Да, они любят друг друга и ничего не могут с этим поделать, это сильнее их. Но они никогда не позволят себе перейти границы чистой дружбы, они будут сопротивляться, и желание не возьмет верх, они не предадут Мартина. Курио все это время пребывал в волнении, и друзья не знали, что и думать.

Мариалва поверяла ему свои горести. Всю жизнь она так несчастна. Никогда ничего хорошего не видела, словно судьба отметила ее, ее постоянно преследует невезение. И разве то, что происходит сейчас, не лучшее тому подтверждение? После стольких невзгод судьба наконец улыбнулась ей, она встретила свою любовь, но, увы, встретила, когда уже связана узами благодарности и дружбы с человеком, которого она не любит, но уважает. И Курио тоже друг этого человека. Нет, видно, никогда не быть ей счастливой.

Она поведала ему историю своей жизни. Стоило послушать этот рассказ, в котором люди и события претерпевали странные превращения. Так, столяр Дука, человек кроткий и молчаливый, становился извергом, истязавшим бедную пятнадцатилетнюю девочку, проданную этому бандиту злой мачехой. Дука превращался в бандита, а добрая Эрмелинда, любовница отца Мариалвы, безропотно переносившая проделки падчерицы,— в мачеху из сентиментальной пьесы, подвергавшую несчастную сироту преследованиям и в конце концов продавшую ее, и так далее и тому подобное. Ясно, что в этом варианте у невинной страдалицы Мариалвы не было мужчин, кроме Дуки и Мартина. Куда-то исчезли, будто и не существовали, толстый Артур, ризничий Тоньо да Капела, лавочник Жука Минейро. Не менее решительно расправилась Мариалва и с временами, когда она зарабатывала на жизнь в доме терпимости, при-

нимая клиентов на ночь или на время. Оказалось, что после того, как она, влача жалкое существование, готовила и стирала для горького пьяницы Дуки, он выбросил ее на улицу. Чтобы не стать проституткой, пришлось наняться прислугой в богатую семью. Здесь ее и нашел Мартин и навсегда завоевал ее привязанность. Дело в том, что к тому времени у нее стала болеть грудь, очевидно начиналась чахотка. Мартин был добр к ней, привел врача, купил лекарств и ничего не требовал взамен. А когда она поправилась и начала ходить, предложил отвезти ее в Баию и поселиться вместе. Она согласилась, хотя и не любила его. Но она была ему благодарна, и, кроме того, ее страшила мысль о возвращении к корыту и утюгу. С господской кухни для нее была одна дорога — в больницу для бедных. Такова печальная история ее жизни.

Курио страдал, слушая Мариалву, в нем все больше росла нежность к ней. Они под руку прогуливались по порту (и это отнюдь не говорило о готовящейся измене, а лишь о солидарности, духовном родстве двух благородных созданий) и мечтали о том, как было бы хорошо, если бы два одиноких существа могли соединиться, забыв прежние разочарования, и, скинув мрачные одежды прошлого, вместе начать новую жизнь. Опираясь друг на друга, поддерживая друг друга. Но они не могли этого сделать, между ними стоял Мартин, добрый, замечательный человек, уже доказавший свою верность, друг Мартин и брат Мартин — брат по вере, столь же близкий, как и брат по крови. О Мартин! Какого дьявола этот сукин сын связался с Мариалвой?..

12

Накануне дня рождения Тиберии ситуация на супружеском фронте Капрала Мартина, по словам очевидцев, была следующей: Капрал, по-господски развалившись в своей качалке, производил впечатление счастливейшего из мужей и, хотя не дошел еще до такой глупости, чтобы искать работу, все же отказался от прежней жизни; Мариалва, хлопотавшая по дому, заботливо сновала вокруг мужа, вызывая зависть соседских девушек; Курио, верный друг, вздыхающий от безнадежной страсти, пожертвовал своим чувством ради брата по вере; многочисленные друзья сожалели о потере Мартина, который в любое общество вносил оживление, однако признавали, что он обрел покой и счастье, и немного завидовали ему. И только Жезуино непоколебимо стоял на своем: он был уверен, что эта комедия продлится недолго.

Но было ли все так благополучно, как казалось? Что до Капрала, то он стал снова выпивать во время своих вылазок в поисках заработка, а потом подолгу молчал, размышляя, правильно ли он поступил, женившись? Несомненно, он был счастлив, даже слишком счастлив... Счастлив до тошноты.

Краешком глаза он наблюдал за Мариалвой, которая хлопотала по дому: то она вытирала пыль, то чистила столовые приборы и кофейник, то перемывала рюмки и делала все это не только для того, чтобы содержать дом в порядке и чистоте, но и для того, чтобы показать, какая она чудесная жена. Да она и была чудесной женой, только при виде ее он почему-то чувствовал позывы к тошноте.

Иногда странная мысль приходила Мартину: почему, собственно, он связал свою судьбу с Мариалвой? И ведь такое с каждым может случиться. В определенных обстоятельствах берешь на себя какое-то обязательство, начинаются толки, пересуды, а когда спохватываешься, ты уже в сетях, и тебе остается лишь продолжать взятую на себя роль. Нельзя сказать, чтобы Мартину не нравилась роль счастливого мужа:

у него была красивая жена с родинкой на левом плече, жена, с которой в любви не могла сравниться ни одна женщина, хорошая хозяйка, в доме порядок, еда подается вовремя. Чего же еще желать Мартину? И кто сказал, что тяжело быть идеальным супругом, счастливейшим из мужей? Некоторое время он жил припеваючи, однако теперь он пресытился столь невероятным благополучием, порядком в доме и образцовой женой.

Он встретил ее в Кашоэйре, в публичном доме, в момент, когда нуждался в ком-нибудь, кто бы мог согреть теплом нежности его одиночество. Он заглянул в глаза Мариалвы, и у него мелькнула мысль: а не соединиться ли им? Он предложил ей это мимоходом, но она поймала его на слове, быстро уложила свои пожитки и взобралась ему на круп. Мартин так нуждался в дружеском участии, что решил взять ее с собой на несколько дней и расстаться до возвращения в Баию. Однако он не учел опыта Мариалвы, ее умения стать необходимой. Мартин чувствовал, что любовь его становится все сильнее, как и благодарность к этой женщине, для которой он был самой жизнью, положенной к ее ногам. Время шло, и когда Мартин очнулся, то оказался прикованным к ней, с кандалами на руках и ногах. Кто решил возвращаться в Баию?— спрашивал он себя, сидя в качалке и подводя итоги. Кто решил снять дом, купить мебель? Кто разнес повсюду известие о его женитьбе, придумав даже подробности? Кто решил, как теперь будет жить Капрал Мартин? Мариалва, она и только она. С очаровательной снисходительностью женщины, которая позволяет себя любить, она заставляла его соглашаться со всеми своими решениями, поддерживать все свои предложения. Вот как было, и, когда Капрал спохватился, он уже был женат и имел домашний очаг, приносящий ему бесчисленные радости.

Потом еще какое-то время его забавляли удивление друзей, их зависть, гнев Тиберии, накаленная атмосфера, создавшаяся вокруг его женитьбы, слухи и пересуды, пари, эбо, которые бросали к его дверям; все это как бы дополняло картину семейного счастья. Но вот оно стало его утомлять: жизнь шла своим чередом, в мире происходили интереснейшие события, а Мартин в них не участвовал, он уже не был командиром, знаменосцем, человеком, с которым считались. Никто не приходил звать его на праздники. Достаточно сказать, что его забыли пригласить на выборы главы афошэ. Поэтому Камафеу не был избран, и последствия столь серьезной ошибки общеизвестны: афошэ не заняло в этом году первого места. А ведь Мартин, прежде чем уехать из Баии, выдвинул кандидатуру Камафеу; благодаря своему авторитету, дружеским связям и ловкости Капрал возглавил избирательную кампанию, чтобы обеспечить победу Камафеу, который много сделал для клуба, был активен и пользовался уважением. Валдемару де Согра, почти пожизненному председателю, уже было трудно руководить афошэ, теперь таким многочисленным, что бремя было ему не по силам. Однако его продолжали держать на посту председателя, чтобы не обидеть, а также потому, что не было другой подходящей кандидатуры. Но Капрал назвал имя Камафеу и встретил общую поддержку. Все шло хорошо, пока он не был вынужден удрать из Баии в провинцию. Вернулся Мартин лишь незадолго до выборов. Без него кандидатура Камафеу оказалась не способной противостоять кандидатуре Валдемара де Согра. К тому же Мартин был настолько поглощен своей женитьбой и семейной идиллией, что никто, даже сам Камафеу, не вспомнил о том, что надо его пригласить на выборы. Капрал не голосовал и о результате выборов узнал через несколько дней.

Стало Мартина утомлять и совершенство супруги, поэтому время от времени он пробирал ее, чтобы она чувствовала в нем хозяина. Разумеется, делал он это с глазу на глаз, когда у них никого не было. Мар-

тин по-прежнему казался страстно влюбленным, преданным и заботливым мужем. Ему нравилось читать зависть в глазах друзей, зависть его счастью и благополучию. Курио, например, готов был подхватить первую попавшуюся на улице девчонку и из подражания Мартину жениться на ней.

Все это было забавно, но начинало надоедать... Он все чаще стал уходить из дома, «чтобы раздобыть денег», и задерживался все дольше. Капрал возмутился бы, если кто-нибудь намекнул ему, что он теряет вкус к семейной жизни, или высказал предположение о близком конце столь нашумевшего брака. Ибо он еще не думал о разрыве, о том, чтобы бросить Мариалву, разрушить семейный очаг. Вообще ни о чем подобном. Просто все было так прекрасно, что утомляло. Неужели можно уставать от того, что тебе слишком хорошо?

Мариалва же прекрасно видела, что происходит; от нее не ускользнул ни один, даже самый деликатный зевок Мартина. Она, казалось, читала его мысли, знала, что у него на сердце: Капрал был не тот, что в провинции. Она почувствовала это в первый же день, как они прибыли в Баию, во время утреннего визита негра Массу, и с тех пор раздражение Мартина росло с каждым днем; ему начали надоедать эта жизнь и она, Мариалва. Она ощущала это по тому, как поспешно он целовал ее, и по тому, как не торопился лечь к ней в постель. Однако Мариалва делала вид, что ничего не замечает. Она не боялась потерять Мартина и лишиться семейного уюта — с ней это уже случалось. Одного любовника потеряет, другого найдет, подумаешь, какое событие! Но она не допускала и мысли, что инициатива будет принадлежать Мартину, что он выкинет ее на улицу, как выкидывал своих прежних любовниц. Если кто и бросит кого, так это она, Мариалва, бросит Мартина и сама решит, когда и как.

Она чувствовала, как он понемногу отстраняется от нее, так незаметно и мягко, что другая, менее проницательная женщина и внимания бы не обратила. Мариалва, однако, не была расположена позволить Мартину отыграться за ее счет. Она не даст ему больше скучать и не допустит, чтобы в один прекрасный день Мартин ушел, оставив ей дом, мебель, рюмки и кофейник... Мариалва наметила свой план действий: она ранит его тщеславие, бросит его на землю, заставит рыдать у своих ног, вымаливая прощения. Этого она умела добиваться от мужчин и не знала лучшего оружия, чем ревность. Мариалва еще докажет свою власть над Капралом, и для этого ей понадобится Курио. Пожалуй, трудно найти более подходящую фигуру. Близкий друг, брат по вере, оба, и Мартин и Курио,— сыновья Ошалы... Мартин поплатится за свою дерзость — за то, что устал от ее тела и от ее улыбок, за то, что она надоела ему. Никогда еще ее не прогонял ни один мужчина, это она гнала их от себя, страстно влюбленных, униженных. И прежде чем она надоест Мартину окончательно и он решит уйти от нее, Мариалва предстанет перед ним под руку с новым любовником и прикажет ему убираться на улицу, откуда он явился. В своем доме и в своей постели она будет спать с мужчиной, которого изберет, для этого нового избранника Мариалва и прихорашивалась перед большим зеркалом в спальне.

Курио не ведал ни о коварных замыслах Мариалвы, ни о пресыщении Капрала, который, как он полагал, любит свою жену все так же безумно,— и это, кстати, подтверждала сама Мариалва во время недолгих, тайных встреч на портовой набережной,— не ведал он и о решении Мариалвы отомстить Капралу. Курио, как все, кто любит по-настоящему, переживал то муки ада, то райское блаженство. Мариалва приходила к нему в трагическом смятении и оставляла его терзаться страхами и желанием. Она была такой робкой, так боялась потерять свою репутацию, а может, и жизнь, поэтому их встречи были совершенно невинными:

тихие разговоры, неопределенные планы, несмелые рукопожатия и нежные взгляды. Однако желание Курио росло, и он был уже близок к безумию.

Она рассказывала ему о безрассудной любви Мартина, который ни минуты не мог прожить без нее: лишь когда он уходил раздобыть денег, она могла повидаться с Курио, но совсем недолго и тут же бежала домой. А ночью, в постели, между бурными объятиями — Курио от ненависти скрипел зубами — Мартин угрожал убить ее, если она когда-нибудь хотя бы в мыслях изменит ему, бросит его, уйдет с другим. Мартин клялся зарезать ее, задушить соперника и в довершение драмы покончить с собой. Теперь понятно, как она рискует ради того, чтобы немного поговорить с Курио, пожать его руку, посмотреть ему в глаза. Достоин ли Курио такой любви, любит ли и он ее с такой же силой, не обманет ли ее, не злоупотребит ли ее доверием, ее добротой? Она совсем потеряла голову и, как безумная, думает только о том, чтобы повидаться с ним, хотя у их любви нет будущего, нет перспектив. Так долго продолжаться не может, всех троих ждет смерть и бесчестие. Если только Мартин заподозрит...

Так говорила Мариалва и, будто не в силах удержаться, предавалась упоительным мечтам: если б они были свободны и ничто им не угрожало, как хорошо было бы жить вдвоем и любить друг друга. Их дом Мариалва обставила бы еще лучше, повесила б занавески на окнах, положила коврик у дверей. Она заботилась бы о Курио, наконец соединившись со своим любимым. Он оставил бы работу у араба, открыл бы собственную торговлю лекарствами или предметами домашнего хозяйства, они вместе разъезжали бы с товаром по провинции... Она мечтала, хотя это были неосуществимые, безумные мечты, но она не могла примириться с ужасной действительностью, с невозможностью принадлежать ему, и только ему, чего бы это ни стоило...

Мариалва уходила внезапно, якобы опасаясь того, что Мартин вернется раньше нее, не застанет ее дома и начнет требовать объяснений, где она была, с кем виделась, о чем говорила. И если она настолько забудется, что расскажет ему все, хотя и рассказывать-то нечего или почти нечего, Мартин, без сомнения, вообразит, что она ему наставила рога, и тут же прикончит ее кухонным ножом. Она оставляла Курио в отчаянии, раздираемого бесконечным спором между верностью другу и настойчивыми требованиями страсти: желанию Курио противостоял романтизм, любовь к благородным драматическим жестам. Мариалва была для него чистой, несправедливо страдающей женщиной. Как вырвать ее из тюрьмы, в которую запер ее Мартин, и заполучить к себе в постель?

Да, к себе в постель, ибо как бы романтичен ни был Курио, он лелеял эту далекую и несбыточную мечту — поворковать с Мариалвой в постели, в которой теперь спит Мартин, обнимать ее, прижимать ее к груди, зарываться лицом в ее душистые волосы, сливаться с ней в пылких объятиях.

А Жезуино Бешеный Петух, хотя и не знал всех этих подробностей, не верил слухам о безоблачном счастье Капрала. Обладая своего рода шестым чувством, он предсказывал скорый конец семейной жизни Мартина. Свои сомнения Жезуино поверял Жезусу, сидя за бутылкой холодного пива и смачивая усы в его пене.

— Долго это не продлится, сеньор Жезус... У Тиберии нет причины так огорчаться, это скоро кончится. Еще несколько дней, и Мартин снова будет распивать с нами кашасу...

Жезуино основывался лишь на своей интуиции, однако он редко ошибался в прогнозах, когда речь шла об увлечении, страсти или любви. Для него любовь была вечной только потому, что она постоянно обновляет сердца мужчин и женщин. А вовсе не потому, что длится всю

жизнь, день ото дня становясь все сильнее. Прищелкивая языком, Жезуино качал головой с непокорной серебряной шевелюрой.

— Я знаю этот тип женщин, сеньор Жезус. Она из тех, что кружат головы мужчинам, и те не успокаиваются, пока не переспят с нею. Но очень скоро после этого им хочется уйти... Потому что эти женщины любят командовать и держать мужчин под башмаком... Думаешь, Мартин такое выдержит?

Жезус ни с кем не связывал себя обязательствами. Для него женское сердце было необъяснимой, удивительной тайной. Взять хотя бы эту девчонку Оталию... На первый взгляд она казалась глупой, пустой, только что хорошенькой. А присмотришься к ней и поймешь, что она совсем не так проста, бывает и дерзкой, и непонятной, и загадочной...

13

Жезус прав: маленькая Оталия — удивительное существо. Еще совсем девочка, а может с честью выйти из самого сложного положения, что она и доказала на праздновании дня рождения Тиберии.

До сих пор по всей Баии, по пристаням, рынкам и пригородам, идет молва об этом празднике — и не только потому, что там много веселились и много выпили кашасы и пива, но и потому, что там Оталия проявила твердость характера, когда того потребовали обстоятельства. А ведь именно в такие решающие минуты человек, будь то мужчина или женщина, показывает свое истинное лицо, предстает в истинном свете. Иногда думаешь, что знаешь человека, но возникает то или иное обстоятельство, и человек этот оказывается совсем другим: робкий — смелым, трус — отважным.

Возможно, потому, что раздражение Тиберии, вызванное женитьбой Капрала, все еще не улеглось, она решила на этот раз особенно пышно отпраздновать свой день рождения. Казалось, после приглашения, переданного ей через Массу и столь грубо ею отвергнутого, их отношения с Мартином зашли в тупик. «Тиберия не захотела прийти ко мне в гости,— обиженно говорил Мартин,— не пойду и я в ее заведение». Капрал — а он был дока по части протокола и этикета — утверждал, что Тиберия должна была первая посетить его, так как он прибыл из путешествия, и к тому же с молодой женой. Друзьям следовало прийти познакомиться с Мариалвой, поздравить ее и пожелать счастья в семейной жизни. Однако эта мелочная, глупая обида, на время поссорившая старинных друзей, грозила из-за болтовни сплетников разрушить их крепкую дружбу. А ведь в мире ничего нет дороже дружбы, это соль жизни. Поэтому грустно было видеть, как рушатся добрые отношения Тиберии и Мартина. Узнав высказывание Капрала о порядке визитов, Тиберия во всеуслышание заявила, что Мариалве придется ждать всю жизнь, пока она, Тиберия, женщина честная и уважаемая, явится приветствовать эту презренную провинциальную шлюху.

Тиберия избегала разговоров о Мартине и Мариалве и притворялась веселой, но близкие друзья знали, как она обижена и огорчена, поэтому старались в день ее рождения быть к ней особенно чуткими. Они собрались в пять утра, к ранней мессе в церкви Бонфима. Много гостей было приглашено в полдень на фейжоаду, много пришло вечером выпить и потанцевать. К мессе же явились только самые близкие друзья и девушки из заведения, которые сложились, чтобы заплатить падре и ризничему, купить свечи и цветы для святого алтаря. Тиберия нарочно заказала мессу на этот час, желая избежать любопытных.

Прибыла она в такси своего кума Иларио и вышла, опираясь на руку Жезуса. На паперти ее встретили друзья во главе с Бешеным Петухом; девицы, весело щебеча, окружили хозяйку, чтобы войти в церковь вместе с нею.

Для Тиберии это был особенно торжественный момент. Ее голову покрывала черная мантилья, падающая на лицо, в руках она держала молитвенник в перламутровом переплете, свидетельствующий о набожности Тиберии, как и глухое черное платье. Она опустилась на колени возле правой скамьи, Жезус стал рядом с ней. Девушки разместились на других скамьях, друзья — близ чаши со святой водой.

Преклонив колена, Тиберия сложила на груди руки, опустила голову, и губы ее зашевелились. Она не открыла молитвенника, словно с детства помнила все молитвы наизусть. Жезус стоял рядом с ней, здесь он был почти своим человеком, так как обшивал служащих в этой церкви священников, а значит, их святые одежды вышли из его рук. Сейчас он бесстрастно ожидал, когда на глазах Тиберии появятся слезы, которые проливались ежегодно во время этой торжественной мессы, и с трудом сдерживаемые рыдания начнут вздымать грудь, широкую, как софа. Какие чувства волновали Тиберию в день ее рождения? Какие события и каких людей вспоминала она, оставаясь наедине с собой? Мысли ее уносились далеко, наверно, к дням детства и юности. И как только слезы начинали струиться из ее глаз и грудь взволнованно вздыматься, Жезус в знак сочувствия клал руку на плечо жены. А Тиберия, успокоенная этим жестом, благодарно подносила ее к губам, поднимала глаза, улыбалась и больше уже не плакала.

Итак, отпустив такси Иларио и поднявшись по ступеням церкви, Тиберия окинула взглядом присутствующих. Девицы громко смеялись, возбужденные праздничной обстановкой, они не выспались, однако забыли об этом. Так прекрасен был мир на заре. Привыкшие вставать поздно, они никогда не видели города в столь ранний час. Правда, иногда они не ложились до рассвета, но и тогда не видели рождения зари, ибо встречали ее в комнате, полной табачного дыма и винных паров, усталые после бурной ночи и искусственного веселья. А сегодня они встали чуть свет, одели свои самые скромные платья, чуть-чуть подкрасились и сейчас казались дочерьми и племянницами Тиберии, окружившими дорогую родственницу в столь знаменательный для нее день.

Они шумели и смеялись по любому поводу. Тиберия же, обнявшись с друзьями, поспешила в церковь, пытаясь при тусклом свете различить на паперти фигуру Мартина. Еще никогда не пропускал он этой торжественной мессы. Первым обнимал и по-сыновьи целовал ее в полную щеку. Появлялся он обычно в парадном белом костюме, который хрустел от жесткого крахмала, и начищенных до блеска остроносых ботинках. Заметив, что сегодня Мартина нет, Тиберия опустила голову: праздник начинался невесело.

Она встала на колени на своем обычном месте, сложила на груди руки и зашептала молитвы. Но мысли ее не потекли по привычному руслу, Тиберия не вспомнила далекую молодость, толстенькую и подвижную девицу из провинциального городка, какой она была во времена своих первых увлечений. Не удалось ей вызвать в памяти и образы родителей, которых она рано потеряла. Мартин не пришел, никогда еще она не встречалась с подобной неблагодарностью, с подобной неверностью самого близкого ей человека. Достаточно было появиться этой потаскушке, и он покинул старых и испытанных друзей. Тиберия еще ниже склонила голову, и слезы, казалось, были готовы хлынуть раньше обычного.

Но тут она почувствовала, как Жезус сдавил ей плечо. Жезус знал о ее привязанности к Мартину, которая была почти материнской. Тибе-

рия так долго ждала собственного ребенка, с таким рвением лечилась, но все безрезультатно. И вот Мартину досталась вся ее нерастраченная нежность, сбереженная за многие годы напрасных надежд и ожиданий.

Она взяла руку Жезуса и поцеловала ее, а он сказал ей:

— Посмотри...

Тиберия повернулась: в дверях стоял Мартин, освещенный утренним солнцем, в белоснежном костюме и черных остроносых туфлях. Он улыбнулся ей. Тиберия хотела было не ответить на эту улыбку, нахмуриться, дать выход раздражению, накопившемуся за эти недели, но разве могла она устоять? Мартин, продолжая улыбаться, подмигнул, Тиберия тоже улыбнулась. Затем снова склонилась в молитве, и тут к ней вернулись привычные воспоминания — молодость, отец, мать. Горячие слезы умиления потекли по ее лицу, грудь заколыхалась, Жезус положил руку ей на плечо.

Следует, однако, пояснить, что приход Мартина не был таким уж неожиданным, как могло показаться. Накануне вечером Бешеный Петух зашел к Капралу и завел долгую беседу. Мариалва, подавая кашасу, не переставала вертеться около них и вскоре сообразила, что весь этот разговор лишь вступление, поскольку Жезуино перескакивал с одной темы на другую и не раскрывал своих карт. Лишь хлебнув кашасы, он сказал:

— Ты помнишь, Мартин, что завтра день рождения Тиберии?

Капрал кивнул головой, и по лицу его пробежала тень. Жезуино продолжал:

— Месса в пять утра в церкви Бонфим...

Настороженный взгляд Мариалвы впивался то в одного, то в другого. Наступило короткое молчание, Мартин смотрел в окно, но ничего не видел: ни мальчишек, гонявших тряпичный мяч, ни трамвая, скрежетавшего на поворотах,— Жезуино мог в этом поклясться. Наконец Мартин заговорил:

— Знаешь, Бешеный Петух, я не пойду.

— Почему?

— Тиберия нехорошо поступила по отношению ко мне и Мариалве. Она меня обидела.

Жезуино взял пустую рюмку и заглянул в нее, Мариалва поднялась, чтобы налить.

— Спасибо...— сказал он.— Тебе виднее: если не хочешь, не ходи, дело твое... Только вот что я тебе скажу: когда мы спорим с матерью, всегда права она, а не мы.

— С матерью?..

— Ну да...

Он выпил кашасу.

— Мне кажется,— вступила в разговор Мариалва,— Мартину надо пойти. Доне Тиберии я не пришлась по вкусу, не знаю, право, почему, наверно, чьи-нибудь наговоры... Но из-за этого Мартин не должен с ней ссориться... Я уже говорила ему...

— На твоем месте, я бы сходил к мессе, на которую собираются только друзья, а потом, уже с Мариалвой, на фейжоаду. Для Тиберии это будет лучшим подарком...

Мартин ничего не ответил. Жезуино Бешеный Петух заговорил о чем-то другом, выпил еще немного и ушел.

Спускаясь по склону, он услышал, что кто-то зовет его. Он обернулся. Это была Мариалва.

— Положитесь на меня, и он пойдет...— сказала она.— Он отказывается из-за меня, но я все улажу... Он делает то, что я хочу...

Мартин пошел к мессе один, а на завтрак — с Мариалвой. Фейжоада была приготовлена в двух огромных кастрюлях, вместивших не-

мало килограммов фасоли, языка, солонины, копченого и вяленого мяса, телятины, свиных хвостиков и ножек, грудинки, сала. Кроме того, были поданы рис, окорока, филе, куры под темным соусом, жареная маниоковая мука... Таким завтраком можно было накормить целую армию.

Гостей, правда, собралось поменьше, но за батальон они наверняка управились, едоки были что надо. Кашаса, вермут и пиво лились рекой. Некоторые гости так и не дотянули до вечернего бала, свалились уже за завтраком. Курио, например, который не притронулся к еде, опорожнял рюмки с кашасой одну за другой, без остановки.

Оправившись после переживаний во время мессы, Тиберия, сидя в качалке, принимала поздравления и подарки, сопровождавшиеся объятиями и поцелуями; весело и радушно исполняла она обязанности хозяйки. Время от времени подзывала одну из девушек и велела угощать гостей, внимательно наблюдая за тем, чтобы у них были полные тарелки и рюмки. Жезус ходил по залу, но не забывал ухаживать за женой, накладывая ей еду и наливая вермут, ее любимый напиток, а также ласково поглаживать ее по голове. Он подарил Тиберии длинные серьги, в которых она и красовалась сейчас, напоминая огромную восточную статую.

Мариалва направилась прямо к Тиберии; склонившись в низком поклоне, она крайне любезно поздравила хозяйку заведения и важную птицу в своем кругу. Кто знает, может быть, придет день, когда Мариалва будет нуждаться в ней, а она была предусмотрительна. Тиберия приняла эту дань уважения, не изменившись в лице, она лишь кивала как бы в знак согласия и время от времени прерывала излияния Мариалвы, чтобы отдать распоряжения мальчишке, нанятому обслуживать гостей, а затем благосклонным жестом разрешала продолжать. Когда Мариалва кончила, Тиберия снисходительно улыбнулась, не выказывая, впрочем, особой радости по поводу ее прихода; она не поздравила Мариалву с браком, будто и не знала, что та вышла замуж за Капрала, не похвалила даже ее красоту, которую нельзя было не заметить. И тем не менее Тиберия сделала вид, что не замечает. Затем радушно пригласила Мариалву сесть и велела одной из девушек угостить ее. Словно Мариалва пришла с официальным визитом... Тиберия ни единым словом не коснулась нашумевшей женитьбы Капрала и его уютного домашнего очага в Вила-Америке ни в разговоре с Мариалвой, ни в разговоре с Мартином, с которым она держалась по-прежнему дружески, точно ничего не случилось, точно он и не уезжал в провинцию. Мартин попытался разрядить атмосферу, сломить барьер, воздвигаемый Тиберией, и подчеркнуто спросил:

— Как ты, Мамочка, находишь мою жену? Недурна, правда?

Тиберия сделала вид, что не слышит его, обратившись к кому-то из гостей. Однако Мартин повторил вопрос, взяв Тиберию за руку.

— Каждый ест на той тарелке, которая ему нравится...— пробурчала она.

Ответ поставил Мартина в тупик, он попытался сообразить, что означает едкая ирония, заключенная в нем, и в конце концов, пожав плечами, обратился к Мариалве, сидевшей поблизости. Тиберия не была расположена к его жене и не собиралась этого скрывать, все еще помня обиду. Как долго она будет упорствовать? Мартин хорошо ее знал, она не умела долго сердиться, никогда не таила в душе злобы. Сейчас Тиберия держится как светская дама, даже несколько преувеличенно заботясь о Мариалве, которую по приказанию хозяйки девушки завалили едой и только ждали возможности броситься исполнять любую ее просьбу. Однако Мартин понимал, что Тиберией руководило не столько желание угодить Мариалве, сколько похвастаться достатком в доме, пышностью праздника, изобилием вин и закусок.

Женщины — и те, что жили в заведении, и приглашенные,— снедаемые любопытством, толпились вокруг Мариалвы, разглядывая ее платье, туфли, прическу и с усмешками обсуждая все это. Можно было считать, что состоялся первый выход Мариалвы в местное общество. И если бы на этом развеселом празднестве был репортер светской хроники, он не преминул бы отметить столь замечательное событие в соответствующих восторженных выражениях. Мариалва чувствовала себя в центре внимания и держалась высокомерно по отношению к этим продажным женщинам и раболепно и заискивающе по отношению к Тиберии. Она не отпускала от себя Мартина, показывая, как он ее любит и какой властью она над ним пользуется. С высоты своего положения она презрительно поглядывала на остальных женщин. Что-то шептала Мартину, покусывая ему ухо, целовала его, томно воркуя.

Женщины осуждали поведение Мариалвы, но лишь из зависти. Хотя бы потому, что мужчины больше ни на кого не глядели, в том числе и те, что познакомились с нею в доме Мартина и успели завязать приятельские отношения за чашкой кофе и рюмкой кашасы. Мариалва долго готовилась к празднику и была во всем новом; юбка и кофточка сидели как влитые, выгодно подчеркивая контуры ее тела; садясь, она старалась как можно выше показывать ноги. Хорошая портниха, Мариалва сама шила себе наряды. Единственным, кто избегал ее, был Курио. Он едва попробовал фейжоаду и не переставал наливаться кашасой.

Инцидент с Оталией произошел вечером, в самый разгар бала. Многие гости так и не ушли домой и прямо после еды приступили к танцам. Мариалва же уходила переодеться и вернулась в синем сильно декольтированном платье, с распущенными волосами. Она вошла с Мартином, когда пары уже танцевали в переднем зале, где обычно девицы поджидали клиентов. Когда Мариалва переступила порог, музыка чуть было не оборвалась, так как Андре да Флаута ошибся нотой, а Тибурсио, вытаращив глаза, положил кавакиньо *. Тибурсио — студент-юрист, заядлый гуляка, большой друг Тиберии и превосходный музыкант — играл сегодня вместе с двумя гитаристами, гармонистом и флейтистом, тоже друзьями дома. Мариалва, не выпуская руки Мартина, прошла через весь зал и приблизилась к качалке, где, как на троне, восседала виновница торжества в окружении своих девушек и принимала поздравления вновь пришедших гостей. Мартин и Мариалва преподнесли Тиберии отрез на платье и тут же пустились танцевать.

Все знали, как танцует Капрал, привыкший демонстрировать свое искусство на гафиэйрах. Он любил танцевать и танцевал превосходно, а теперь после долгого перерыва решил всех поразить. Мариалва не была для него достойной партнершей. Она часто ошибалась и компенсировала свои ошибки смелыми жестами: она то будто отдавалась, то ускользала. Ее движения была откровенными, не то что легкий, грациозный танец Мартина, напоминающий полет птицы. Но кто же не станет смотреть на стройные бедра, раскачивающиеся в такт музыке?

Когда танец кончился, Капрал оставил Мариалву, чтобы пойти опрокинуть с друзьями стопку кашасы в задних комнатах. Там собрались все: Жезуино, негр Массу, Ветрогон, Ипсилон, Гвоздика, Изидро, Алонсо и многие другие. Не хватало только Курио, который совсем напился, его, должно быть, увели куда-нибудь. Танцевали они мало, зато пили много. Капрал присоединился к друзьям, он был в отличном настроении — до сегодняшнего дня размолвка с Тиберией, как заноза, не давала ему покоя. Впервые после возвращения в Баию он пил, как в добрые старые времена — с самого утра, и ему было весело.

---

* Маленькая четырехструнная гитара.

А в зале Мариалва, развалившись в кресле, представляла всем желающим возможность восхищаться собой. Время от времени она бросала по сторонам взгляды, отыскивая Курио. Когда после фейжоады она отправлялась домой, молодой зазывала уже так набрался, что начал неприлично ругаться. Наверно, его увели отсюда. А жаль! Мариалва хотела бы видеть его сейчас, пьяным от любви, потерявшим волю, всецело в ее власти... Именно такими ей нравились мужчины: ползающими в пыли у ее ног. Она чувствовала обращенные на нее взгляды, скользившие по ее икрам, груди, шее, и скрестила ноги, приняв соблазнительную позу.

Оркестр играл самбу, одну из самых зажигательных. Мариалва была бы не прочь потанцевать, но почему не возвращается Мартин? А Мартин наливался кашасой, Мариалва поразилась бы, узнав, сколько он выпил. Зал быстро наполнялся оживленными парами. Мариалва любила самбу, потому что, танцуя ее, можно раскачивать бедрами, зажигая желание в глазах мужчин, то вспыхивающих, то гаснущих. Почему Мартин не идет пригласить ее? А другие не решаются, ведь она супруга Капрала, может получиться неприятность. К тому же никто не танцует так, как Мартин, и он принадлежит ей, только ей.

«Нет, он не принадлежит только мне»,— решила Мариалва, увидев его вдруг танцующим с Оталией. Она не заметила, когда они пошли танцевать, когда началось это безобразие. Откуда он выкопал эту вертлявую худышку, эту сопливую девчонку с косичками? Оталия была в том же платье, что и утром в церкви, и действительно казалась провинциальной девчонкой со своими косичками, уложенными на затылке.

Она улыбалась, кружась в объятиях Мартина. Улыбался и Капрал, радостной, пьяной улыбкой. Кто не знал его близко, тот не мог заметить, насколько он уже пьян,— ничто, кроме шального веселья, светившегося в его глазах, не выдавало его состояния. А ведь он уже пил с тех пор, как кончилась служба: первые несколько стопок они с Жезуино и Массу хватили неподалеку от церкви. Мартин смотрел в глаза Оталии, как бы подбадривая ее, танцуя, она не покачивала бедрами, как Мариалва, она была похожа на листок, кружащийся по ветру, и ноги ее, казалось, не касаются пола. Нежная, наконец найденная девочка, рожденная музыкой, настоящая танцовщица, она была достойной парой Капралу.

Это был чистый, строгий и красивый танец, и другие пары одна за другой покинули середину зала, предпочитая любоваться великолепными танцорами.

Мартин выпустил Оталию из своих объятий и стал танцевать перед нею все быстрее и быстрее, выделывая разнообразные па, а девушка кружилась вокруг него. Потом они снова понеслись по залу, легкие, беззаботные и грациозные, как птицы. Когда мужчины любовались Мариалвой, их глаза горели желанием, теперь же и мужчины, и женщины с каким-то трепетным восхищением следили за Оталией. А Мартин все смеялся, продолжая свой стремительный танец.

Еще никогда в жизни Мариалва не чувствовала себя столь оскорбленной. Она закрыла глаза, чтобы не видеть их, и сжала зубы, чтобы не закричать. Бледная, она покрылась холодным потом.

Но они все кружились и кружились перед ней — на губах Оталии играла улыбка, взгляд Мартина блестел. Глаза Мариалвы застлала пелена, больше она ничего не видела, ничего не понимала. А когда очнулась, то стояла посреди зала и кричала, наступая на Оталию:

— Убирайся отсюда, задрыга! Оставь в покое моего мужа!

Это было столь неожиданно, что многие гости, в частности, те, что выпивали в задних комнатах, не успели вовремя подбежать и прозевали самое интересное, что было на этом празднике. Мариалва теснила Оталию, пытаясь оттолкнуть ее от Мартина.

Оталия, однако, не отступала и не прерывала танца, будто ничего не случилось. Мартин же, казалось, был доволен, очутившись между двумя женщинами, которые оспаривали его, и раскрывал объятия то одной, то другой. Гости возбужденно зашумели, предвкушая одно из самых сенсационных зрелищ — драку двух соперниц.

Мариалва на минуту замерла с полуоткрытым ртом — у нее перехватило дыхание, но, едва опомнившись, снова накинулась на Оталию:

— Шлюха! Сопля чахоточная!

Однако Оталия была настороже и, не прерывая танца, ударила Мариалву ногой, как раз когда супруга Капрала хотела схватить ее за косы. Мариалва со стоном отступила, держась за ушибленное место. Кое-кто из женщин бросился к Оталии, но девушка вырвалась от них и, танцуя, влепила Мариалве еще пару пощечин. Только после этого Тиберия потребовала уважения к своему дому и к своему празднику. По мнению Жезуино, она могла бы сделать это и раньше. Бешеный Петух даже утверждал, что она помешала Жезусу, который хотел было удержать Оталию, когда та подняла руку на Мариалву. Тиберия величественно спустилась со своего трона и подозвала вышедшую из себя Оталию:

— Пойди сюда, доченька, ты не должна равняться с этой...

Мариалву, несмотря на ее крики, оттащили. И хохочущий во все горло Мартин с помощью негра Массу и Ветрогона увел свою рыдающую супругу. Капрал пока не задумывался, что ж будет дальше: отлупит ли он дома жену или простит ее и утешит. В этот вечер он не мог ни на кого сердиться. Даже на Тиберию, хотя та и бросила ему с издевкой, когда проходила мимо:

— Уведи отсюда, сынок, свою растяпу. А если надумаешь снова жениться, посоветуйся прежде со мной, чтобы выбрать невесту получше...

Не сердился он и на Оталию — девчонка оказалась храброй, умеет за себя постоять. И на Мариалву тоже: ведь она приревновала. Словом, ни на кого из них не держал Капрал злобы в сердце и возвращался домой веселый. Он помирился с Тиберией, Мамочкой Тиберией, самым дорогим другом. Они повели Мариалву к трамваю, и Капрал будто только теперь вернулся в свой город; недели, прошедшие до этого, казались ему сном.

Негр Массу и Ветрогон помогали Мартину тащить Мариалву, которая упиралась, билась и даже укусила Ветрогону руку. Уже в трамвае, на потеху немногочисленным пассажирам, она пыталась вцепиться Мартину в лицо с криком:

— Собака! Связался с этой доской! Подлец! Мерзавец!

Мартин и негр Массу хохотали. Ветрогон разводил руками, с некоторым трудом удерживая равновесие, и объяснял пассажирам, кондуктору и вожатому:

— Никогда и нигде еще не было такого праздника. Ни в Германии, ни во времена Великой империи, ни в какие другие времена. Правильно я говорю?

Трамвай шел, увозя Мариалву и Капрала, хохот которого гулко разносился по пустынным в этот утренний час улицам.

14

После дня рождения Тиберии события стали разворачиваться стремительно.

В любой истории наступает момент, когда события начинают «разворачиваться стремительно», и это, как правило, волнующий момент. Уже давно пора было ускоряться событиям в жизни Капрала — по

правде говоря, их за последнее время было совсем не много, и совершались они в замедленном темпе. Впрочем, мы вовсе не хотим сказать, что теперь события эти начнут развиваться с головокружительной быстротой — просто они станут более напряженными. Готовилась развязка трагической любви Курио и Мариалвы.

Когда страсти улеглись и Мариалва оказалась в состоянии размышлять, она стала вынашивать планы мести. Скандал, прервавший веселье на празднике Тиберии, подтвердил худшие опасения, овладевшие ею в первый же день приезда в Баию. Она должна принять меры, иначе Капрал набросит на нее узду, словом, станет хозяином положения. А в один прекрасный день уйдет, бросив ее как ненужную, грязную тряпку. Но этого она не допустит. Она воспользуется тем, что он пока еще влюблен в нее, и поставит его на колени. Мартин узнает, чего стоит Мариалва! И вот для этого ей очень пригодится Курио с его безнадежной страстью. Интересно отметить, что после бурных событий в доме Тиберии Мариалва не затаила злобы ни против Тиберии, ни против Оталии. Она, конечно, хотела показать им, девушкам из заведения и соседкам, свою власть над Мартином, показать, что она может заставить его плакать и насмехаться над ним. Злилась она лишь на Мартина, вернее, на его глупый хохот. Вместо того чтобы немедленно оставить эту девчонку и смиренно вернуться к Мариалве, извинившись за свою оплошность, которую никто бы не принял всерьез, он остался между ними, чуть ли не подстрекая их к драке и даже как будто довольный тем, что из-за него разгорелась ссора. О, это ему так не пройдет, она сумеет отомстить! И чем скорее, тем лучше, пока не забылось происшествие на празднике. Все увидят Мартина униженным, она еще посмеется над ним и сделает так, что и другие будут над ним смеяться. На него станут показывать пальцем, она навсегда положит конец его фанфаронству и тщеславию.

Однако планы Мариалвы оказались под серьезной угрозой: Курио не захотел помогать ей. Мариалва замышляла сделать свою связь с зазывалой всеобщим достоянием, в том числе и достоянием рогоносца Мартина. Но прежде надо было водрузить это ветвистое украшение на лоб Капрала, иными словами, стать любовницей Курио. Это казалось Мариалве вовсе не трудным. Разве не страсть иссушила Курио? Достаточно было одного ее слова или одного ее жеста, и он пошел бы на все.

А получилось совсем не так, как она задумала. Правда, желание Курио возрастало с каждым днем — он все более терял голову, однако стойкость его была поразительной. Он не мог предать друга и скорее бы умер от несчастной любви, но не лег бы в постель с женой своего брата по вере.

Прошло два дня после событий на празднике Тиберии — тогда толки вокруг этого скандала еще не охватили весь город. Мартин, который, казалось, по-прежнему оставался заботливым супругом и домоседом, время от времени, как и раньше, отправлялся добывать деньги на хозяйственные расходы. В связи с днем рождения Тиберии ему пришлось потратиться: подарок для именинницы, а также платье, туфли, чулки, браслеты и серьги для Мариалвы. Касса опустела. Мартину ничего не оставалось, как сунуть колоду карт в карман и искать партнеров. Мариалва тем временем послала мальчишку предупредить Курио, а сама принарядилась, сделав затейливую прическу, надушившись и выбрав платье, которое особенно рельефно подчеркивало ее фигуру. Затем она спустилась в Уньян и стала поджидать Курио в уединенном месте.

Курио ушел от араба. Он настолько выбился из колеи, что не искал другой работы, а бродил по городу, повсюду должая за кашасу, и, к сожалению, его пока что поили в долг. В таком отчаянном состоянии его еще никогда не видели. Бедный Курио и прежде влюблялся, и прежде женщины покидали его. Однако на этот раз дело было серьезнее — влюб-

ленность его длилась дольше обычного. Раньше достаточно бывало двух-трех дней, чтобы исцелить Курио от неудачного увлечения. Теперь же конца ему не видно, и Курио дошел до того, что заговорил о самоубийстве. Мальчишка нашел его в баре неподалеку от рынка, где он в одиночестве сидел за стопкой кашасы.

Когда он пришел в Уньян, Мариалва была уже там. Печальная и прекрасная, она сидела у причала и глядела на море рассеянным взглядом. Курио вздохнул. Не было в мире человека несчастнее его — разумеется, в жизни его еще ожидают горести, но никогда, наверно, судьба не будет к нему так беспощадна. Он любит, и ему отвечают взаимностью — он отказывается верить, что заслуживает этого! Прекраснейшая из женщин, но, боже мой, столь же верная, сколь и красивая, столь же чистая, сколь и нежная. Связанная узами благодарности с нелюбимым человеком, она хранит ему верность, сдерживая желание и страсть, и не переходит границ чистого влечения, робкого, безнадежного, платонического чувства. Можно ли быть более несчастным, чем Курио? Нет и нет!

Однако после этой встречи он почувствовал себя еще несчастнее. И все же был доволен собой и горд тем, что нашел в себе силы противостоять, когда Мариалва готова была пасть, сраженная любовью, и лоб Мартина едва не украсился рогами. Курио еще раз доказал, что он — достойный и верный друг.

Едва он пришел и обменялся с Мариалвой первыми взволнованными словами, она взяла его руки в свои и заявила:

— Я больше не могу, дорогой... Будь, что будет, но я хочу стать твоей... Я знаю, что это нехорошо, но ничего не могу поделать.

Курио вытаращил глаза—он не был уверен, что правильно ее понял,— и попросил повторить, и она повторила то же самое, уже смелее. Пламя страсти сжигало ее, она хотела тут же броситься ему на шею и подарить первый поцелуй, в котором до сих пор отказывала.

Курио на минуту заколебался, ведь он желал ее, желал бессонными ночами, и, сидя за столиком бара, представлял себе, как они, не таясь, идут по улице и она клонит голову ему на плечо; в тумане хмельных паров он раздевал ее, любовался ее прекрасным телом в темных родинках и нежным животом. Он страстно желал ее и мучился желанием, однако стоически сносил все это, так как Мариалва с самого начала воздвигла непреодолимую преграду между его мечтами и действительностью. Ему еще не приходилось выбирать между любовью к Мариалве и верностью Мартину, другу и брату по вере. И вот сейчас она так, сразу, без всякой подготовки предлагает себя. Она готова на все, сделает, как он пожелает: или соединится с ним навеки, или, переспав с ним, вернется домой.

Курио с головой ушел в свои переживания, он чувствовал себя кустом на ветру, парусом шхуны, унесенной в бурное море. Перед ним Мариалва — больше ему никто не нужен. Но между ним и Мариалвой стоит Мартин. Что же делать? Не мог он поднять предательский кинжал против своего брата, а тем более нанести ему удар в спину. Нет, не мог!

— Мы не должны...— зарыдал он.— Это невозможно!

Это был крик отчаяния, смертный приговор, однако ничего иного он решить не мог. Курио закрыл лицо руками — только что он погубил себя, лишился всякой надежды, но зато остался верным другом.

Этого Мариалва не ожидала, она не была готова к отказу. Она думала, что безмерно счастливый Курио сейчас же поведет ее в свою комнатушку в мансарде старинного дома у площади Позорного Столба. Она даже представила себе, как будет сдерживать его порывы и лишь понемногу уступать, позволив в первый день только поцелуи и объятия, а доведя его страсть до предела, назначит второе свидание, и уже тогда

сделает своим любовником и отомстит Мартину. Но она столкнулась с нерушимой стойкостью Курио.

Нет, говорил Курио, держа ее руки в своих, это невозможно. Между ними ничего не может быть, их любовь — это самопожертвование и отречение. Они лишь тогда смогут принадлежать друг другу, когда ее и Мартина перестанут связывать какие бы то ни было обязательства. Ведь она сама не раз говорила, что она в долгу у Мартина — он столько для нее сделал, и она не может ему изменить. Она не имеет права терять голову, как это случилось сейчас. Ни она, ни тем более он. Его дружба с Мартином началась очень давно, когда Курио, совсем маленький, просил милостыню и бегал с уличными мальчишками. А Мартин пользовался среди них авторитетом и, взяв новичка под свое покровительство, не позволял старшим дразнить и преследовать его. Тогда же вскоре выяснилось, что оба они исповедуют культ Ошалы: Мартин — Ошолуфы, стэрого Ошалы; Курио — Ошугиана, молодого Ошалы. Они не раз совершали вместе жертвоприношения, и мать святого проливала кровь священных животных на их головы. А однажды они вместе преподнесли Ошале козла, по-братски поделив расходы. Так неужели после этого он может лечь с женой Мартина, даже если пылает к ней страстной любовью? Нет, Мартин — его брат, и он, Курио, скорее убьет Мариалву и покончит с собой, но не допустит дурного.

Однако подобный исход отнюдь не входил в планы Мариалвы. Она хотела отомстить Капралу за его поведение на празднике у Тиберии, бросить его к своим ногам, унизить его, сбить с него спесь, но о смерти отнюдь не помышляла.

Внимая этой симфонии отчаяния и слез, клятв в вечной любви и угроз покончить с собой, в которой заученные фразы из «Секретаря влюбленных» мешались с самыми искренними, идущими от сердца словами, Мариалва вдруг обрела ключ к лучшему, на ее взгляд, решению.

Мариалва пыталась вдохнуть в него мужество и, уязвленная в своем тщеславии (ее впервые отверг мужчина, когда она пришла предложить себя — она, за которой они обычно увивались), презрительно и гневно бросила:

— Ты трус, ты просто боишься Мартина!..

Курио вздрогнул. Боится? Никого на свете он не боится, даже Мартина. Он уважает его, считает его своим лучшим другом. Он не может предать его, всадить ему в спину нож, тайком обмануть его. Другое дело, если б он знал об их любви, если б они от него не скрывались...

Если б он знал... Мариалва вновь заговорила сладеньким голосом, вновь прикинулась страстно влюбленной, вновь стала прежней — чистой и честной.

— А что, если мы расскажем ему? Если ты ему все откроешь? Что мы любим друг друга и хотим жить вместе?

Такая мысль, однако, не воодушевила Курио. Он напряженно соображал, как бы ему отказаться от этого предложения. Мариалва же вдохновлялась все больше. Великолепный вариант, лучше не придумаешь: Курио сообщит Мартину о своей любви, а она будет присутствовать при этой сцене. Мартин кинется ей в ноги и, может, разъяренный набросится на Курио, двое мужчин станут ее оспаривать, готовые убить соперника и умереть ради нее... И, уже отомстив Мартину, она решит, с кем из двоих будет жить постоянно, а с кем только спать. Возможно, она останется с Мартином — она уже привыкла к нему,— но прежде наставит ему рога с Курио. Или останется с Курио, взяв себе дом и мебель, и будет иногда ложиться в постель Капрала — в конце концов, он ей нравится и ей не хочется терять его. День, когда Курио переступит порог их дома и скажет обо всем Капралу, станет днем ее триумфа.

Но Курио качал головой: нет, не стоит идти к Мартину и говорить ему обо всем. Зачем? Неужели Мариалва не представляет, что после этого произойдет? Как Мартин будет страдать? Как он будет безумствовать? Мариалва улыбнулась, этот план все больше нравился ей; это будет ее месть, ее победа, ее триумф. Она не отступит, и Курио не удастся отвертеться. Ему придется пойти к Мартину и сказать ему все, а потом оспаривать у него жену.

Она погладила Курио по голове.

— Ты сначала неправильно понял меня. Ты решил, что я хочу лечь в твою постель тайком от Мартина, обмануть его?

— А разве не так?

— Какого же ты обо мне мнения! Ты считаешь, что я способна на подобные вещи? Я хочу, чтобы ты поговорил с Мартином. Уверена, он все поймет... Немного огорчится, потому что он безумно меня любит, но поймет, не может не понять. А если не захочет, все равно мои обязательства по отношению к нему кончатся, и мы сможем уйти... Как ты считаешь?

— Ты хочешь сказать, что мы уйдем, даже если он не будет согласен с нашим решением?

— Конечно.

— Он никогда не согласится.

— Мало ли что... Но мы выполним свой долг по отношению к нему. Если ты сомневаешься, спроси у Жезуино... Ты не можешь предать его, нанести ему удар в спину — и в этом ты прав,— я тоже не могу. Значит, мы пойдем к нему и все скажем. А потом можем делать что угодно...

Сомнения Курио рассеялись.

— Пожалуй, ты права...

— Разумеется...

И она впервые поцеловала его долгим умелым поцелуем, так что ему пришлось силой вырваться из ее объятий.

— Еще нельзя, пока мы не поговорим с Мартином.

— А когда ты пойдешь?

Но Курио попросил небольшой отсрочки, он хотел свыкнуться с новой идеей Мариалвы. Это было не так легко, как ему показалось сначала.

15

Это попросту трудно. Проблема чересчур сложна — и Курио, не справившись с бременем обрушившихся на него вопросов, решил поделиться с друзьями. Высокопарными фразами, заимствованными из разных книг, он изложил историю Жезуино Бешеному Петуху, который с дружеским любопытством выслушал его. Голос Курио пресекался от волнения, жесты были порывисты, к тому же его мутило от кашасы и несвежей колбасы — единственной его пищи за весь день. Курио был бледный, осунувшийся, под глазами залегли тени, курчавые волосы растрепались. Он без обиняков все выложил негру Массу и Ипсилону и кое-что Ветрогону, и хотя последний никак не мог понять — спутался в конце концов Курио с красоткой Мартина или нет? — все же оказал Курио молчаливую поддержку в столь трудный для него момент.

Целыми днями вели они волнующие беседы, продолжительно и подробно обсуждая создавшуюся ситуацию, делая предположения, давая советы, строя планы, и все это сопровождалось обильными возлияниями. Почти как на международной конференции: после долгих и ожесточенных дебатов, продолжавшихся часами, они были вынуждены констати-

ровать, что в переговорах достигнуты лишь незначительные успехи. Жезуино полагал, что деликатное дело такого рода требует такта и опыта, надо прислушаться к совету бывалых людей и ни в коем случае не торопиться — ведь на карту поставлена старая дружба двух братьев по вере, не говоря уже о прочих многих мелочах, вроде чести, супружеской верности, риска для жизни одного из соперников. Поэтому за советом обратились к уважаемым специалистам в подобных вопросах. И, как того хотела Мариалва, по городу пошла гулять молва. А Мариалва даже ночью просыпалась, чтобы посмеяться от переполнявшей ее радости.

Мнения разделились. Негр Массу находил планы Курио безумными: всегда у Курио в голове ветер, да и вообще при виде юбки он забывает все на свете. Согласно просвещенному мнению негра, у Курио оставалось только два пути, и ни один из них не проходил через дом Капрала.

Все захотели узнать, что же это за пути, и негр Массу начал с более практичного и безопасного: Курио бросает все и отправляется на некоторое время в Алагоиньянс или в Сержипе. В Сержипе отличная кашаса, и для зазывалы там всегда место найдется. Больше того, Массу знает одного человека, которому нужен коммивояжер для торговли им изобретенным чудодейственным лекарством. Этот человек — большой знаток по части листьев и трав, одно время он жил среди индейцев и многому у них научился (в частности, приготовлять из древесной коры и диких растений эффективное лекарство против гонореи).

Ему нужен помощник, который будет продавать лекарство на провинциальных ярмарках и на праздниках. Курио, однако, отказался от подобного предложения: его опыт в торговых делах подсказывал ему не связываться с чудодейственными препаратами. Чего доброго, в тюрьму угодишь — ведь врачи и фармацевты обязательно науськают на него полицейских. Массу возразил, что это может случиться только в столице штата, где полиция получает взятки от хозяев аптек. Именно поэтому его друг хочет завоевать провинциальный рынок. Он не может развернуться в столице — здесь ему угрожает тюрьма. Только потому, что у него нет врачебного диплома, ему не дают патента, завидуя его знаниям и боясь конкуренции. И после того как это превосходнейшее средство подверглось анализу, врачеватель был единодушно объявлен злонамеренным шарлатаном, место которому в тюрьме. Лекарство же, как утверждалось, лишь на время облегчает болезнь, угрожая в будущем самыми неожиданными последствиями.

Однако все эти врачи — подлецы, завистники и трусы, а лекарство действительно обладает волшебными свойствами, хотя стоит гроши. От болезни и следа не остается после приема трех-четырех доз. Приятель Массу уже испытал его на многих больных, и результат был положительным во всех случаях. Правда, врачи все время твердят о некоем Арлиндо Бом Мосо, который в двадцатипятилетнем возрасте слег в постель, разбитый параличом; ко многим докторам он обращался, но безрезультатно и, наконец, по совету друзей, попробовал индейское средство: два флакона поставили его на ноги. Через несколько месяцев, говорят, его снова хватил паралич, но виноват тут ревматизм этого Арлиндо Бом Мосо * (прозванного так из-за когда-то красивой наружности, ныне несколько поблекшей), а вовсе не лекарство сеньора Озорио Редондо. Просто недоброжелательные врачи завидовали ему. Именно из-за их преследований Озорио не мог торговать своим чудодейственным средством в столице, зато ему досталась провинция, где, разъезжая с ярмарки на ярмарку, он пользовал крестьян. Но провинция велика, поэтому он ищет кого-нибудь, кто пожелал бы за приличные комиссионные по-

* Бом Мосо — красивый парень *(португал.)*.

мочь ему в его благородной борьбе против болезней. Если Курио захочет, Массу сводит его к сеньору Озорио, который живет в районе Корта-Брасо; у него, кстати, есть специальные настойки из трав, известные только индейцам и способные сделать мужчину более выносливым и неутомимым, чем жеребец или гуляка-кот. К дону Озорио обращались за этим много пожилых сеньоров.

Все же Курио отказался от столь заманчивого предложения — не хотел он ни зарабатывать на жизнь в провинции, ни оставлять Мариалву, однако Жезуино Бешеный Петух заинтересовался почтенным Озорио Редондо и решил, что стоит, пожалуй, зайти к нему и оказать поддержку гонимому завистниками филантропу. Жезуино тоже понимал кое-что в травах и знал секреты многих растений.

Курио спросил, что за путь еще собирается предложить ему Массу, может, он будет лучше первого? Негр не стал медлить с ответом: если Курио не хочет покинуть возлюбленную и лечить несчастных, заболевших распространенной болезнью, ему остается одно. Что? Собрать вещи и темной ночью исчезнуть с Мариалвой, чтобы укрыться там, где Мартин не найдет их, и никогда больше не возвращаться сюда. Забраться в глубь сертана, скрыться в каатинге*, затеряться на дорогах Пиауи или Мараньяна, в глухих местах на самом краю света. Потому что—это было ясно и для Курио — Мартин озвереет, если, придя домой, не найдет там свою красотку с родинкой на плече, свою добродетельную супругу. И если он поймает соблазнителя, то тому не помогут потом даже самые возбуждающие средства дона Озорио.

Таковы были советы негра Массу. Третьего пути он не видел. Впрочем, Курио может явиться к Мартину с Мариалвой, признаться ему в своей преступной страсти, посмеяться над ним и вручить ему аттестат рогоносца, хотя...

Тут Курио рассердился и стал орать, что его страсть совсем не преступная, а Капрал вовсе не рогоносец. Массу оскорбил их чистую, платоническую любовь и унизил достоинство Курио. Ни он, ни Мариалва не нарушили верности Капралу, они не пошли дальше нежных бесед, просто мечтали вместе, строили планы и никогда не позволили себе ничего лишнего. Именно для того, чтобы сохранить чистоту их отношений, он и решил идти к Капралу, не желая нанести ему удар в спину; нет, они не бежали темной ночью, наоборот, они хотят во всем сознаться, раз уж их любовь оказалась такой неукротимой и всепобеждающей. И все же до сих пор им удавалось побеждать ее, настолько сильно в них чувство дружбы и благодарности. Но теперь они честно признаются, что не могут жить друг без друга, и поэтому просят его уйти, оставить дом Мариалвы и самое Мариалву...

Дом Мариалвы? Ипсилон был удивлен столь решительным намерением влюбленных завладеть домом со всей его роскошной обстановкой и посудой. Разве не принадлежит все это Мартину? Разве не на его деньги куплено? На деньги, заработанные в поте лица и с риском потерять свободу за незаконную карточную игру? Оказывается, для Курио мало украсть у Мартина жену — он еще хочет забрать у него мебель и дом! Где же это видано?

Курио защищался: лично ему ничего не надо — обладая Мариалвой, он будет обладать всеми богатствами мира, чего же еще желать? И все же, если хорошенько подумать, станет ясно, что вопрос о собственности на дом и мебель совсем не так прост. Ну разве были когда-нибудь у Мартина собственное хозяйство, собственный дом? Он, правда, снимал иногда комнату для свиданий с девушками. Но можно ли назвать домом такое временное жилище, откуда он уходил, едва вступал в

* Зона низкорослых лесов и кустарников.

связь с какой-нибудь девицей из заведения и переселялся к ней, захватив с собой белье и костюмы? А сколько раз Мартин оставлял свои вещи у Курио, или Жезуино, или Массу, который жил с бабушкой, и даже в лачуге Ветрогона, построенной на пляже? А все потому, что ему некуда было их деть, когда он порывал с очередной любовницей. Он не оставлял их у Ипсилона только потому, что у того вообще никогда не было своего угла, и он ночевал где придется: в барах или кабачке Алонсо, прямо на прилавке либо на мясной туше.

И если сейчас у Мартина были дом и мебель, то этим он обязан Мариалве. Она потребовала снять дом, купить приличную мебель, и Капрал, чтобы завоевать ее — ведь она, сколько было возможно, отказывалась с ним ехать и согласилась только из благодарности, пусть все об этом знают, если хотят справедливо судить о ней,— дал ей все и дал бы еще больше, если бы она поставила целью обобрать его. Для нее, Мариалвы, а не для себя снял Мартин дом в Вила-Америке, так что фактически этот дом принадлежит ей — неужели они могут вообразить, что Мартин стал бы один жить в нем? Что касается мебели, то вопрос этот представляется еще более ясным. Капрал купил ее для Мариалвы, чтобы окружить свою жену комфортом; этими подарками он стремился добиться ее привязанности, поэтому мебель принадлежит Мариалве, и, кстати сказать, больше у бедняжки ничего нет. Если не считать одежды, браслетов, сережек и прочих пустяков, которые ей тоже подарил Мартин. Но разве стал бы он, если б она не захотела жить с ним, отбирать у нее туфли и платья и оставлять ее голой? Наверняка нет. Почему же тогда он должен отбирать у нее мебель и дом? Курио не нарушил дружеской верности, и у Мартина нет оснований мстить им, проявлять мелочность. У Капрала великодушное сердце — Курио не знает человека более щедрого и бескорыстного.

Однако Ипсилона не убедила столь подробная аргументация, и так как к собранию в это время присоединился Гвоздика, авторитет которого в вопросах собственности и аренды жилья был общепризнан, спросили его мнение. Он не согласился с Курио. Хозяином дома, заявил Гвоздика, его действительным владельцем является тот, кто его снял, то есть ответственный съемщик, даже если он неаккуратно вносит арендную плату. Разве не Мартин договаривался об аренде и подписывал документы? Значит, дом его, а Мариалва в этом доме гостья, приглашенная украсить собой жилье Капрала. Друзья могут не сомневаться в его словах, например, он, Гвоздика, не вносит арендную плату за дом, где живет, уже больше полугода, и все же испанцу, хозяину этой развалюхи, не удалось выселить его, даже с помощью адвоката. Что же касается мебели и прочего, то все это принадлежит Мартину, куплено и оплачено им. А Курио мало того что разбивает жизнь друга, он еще хочет отнять у него дом и мебель, Гвоздика был поражен. Не хватало только, чтобы Курио заявил права на элегантнейший гардероб Капрала, его белье, узкие брюки и длинные пиджаки, полосатые рубашки с высоким воротничком, остроносые ботинки...

Курио прерывисто дышал, его никто не понимает... Если Мартин захочет, пусть дом, мебель и даже платья и серьги Мариалвы остаются ему. Курио, кроме Мариалвы, ничего не нужно. Они любят друг друга, не могут друг без друга жить и не могут больше подавлять в себе желание, не осмеливаясь на самую обыкновенную нежность, самую робкую ласку. Они боятся приблизиться друг к другу, чтобы не впасть в искушение. Например, ходили по пристани, обсуждая волнующую их проблему, и держались на разных сторонах тротуара...

— Да брось ты болтать, все видели, что вы гуляли, взявшись за руки,— прервал его Жезуино, который только теперь вступил в разговор, собираясь высказать свое мнение.

Но ему пришлось выслушать объяснения Курио. Может, в какой-то момент они взялись за руки, наверно, когда их будущее показалось им особенно мрачным и безнадежным, когда над ними нависли «черные тучи зловещей судьбы» (фраза из «Секретаря влюбленных», удачно вкрапленная Курио в защитную речь). Когда головы их горели, а сердца отчаянно бились, возможно, они взялись за руки, чтобы поддержать друг друга в страданиях роковой любви, «проклятой любви, разраставшейся в груди, как шторм». Кстати, знает ли кто-нибудь, что означает это мудреное слово, часто употреблявшееся в «Секретаре влюбленных»?

— Оно означает бурю, дурья башка,— объяснил Жезуино и потребовал новых подробностей.— Ты мне скажи по-честному, не зашло ли дело дальше или вы только держались за руки?

Курио был против поцелуев, против первого объятия в развалинах Уньяна, когда они решили поговорить с Мартином, и многих других, которые затем последовали в тот же день и в последующую неделю, пока они обсуждали предстоящий визит Курио к Капралу. В связи с создавшейся ситуацией Мариалва высказала два соображения. Первое: если они будут жить вместе после того, как все расскажут Мартину, поцелуи теперь не имеют значения. Мартину от этого ни холодно, ни жарко, ведь они не спят вместе. Подобное объяснение было очень удобным, так как освобождало от угрызений совести. Но с другой стороны — и это несколько противоречило приведенному выше заявлению,— поцелуи так разволновали Мариалву, что она стала требовать немедленных переговоров с Капралом, хотя до этого говорила, что поцелуи ничего не значат. Теперь же она утверждала, что это прямой путь к пропасти. А между тем целовались они все чаще и со все большим пылом, так что перехватывало дыхание и болели губы. Поцелуи их были долгими, как жизнь и смерть, и Курио уже прокладывал опасную дорожку по плечу Мариалвы к округлостям грудей.

Дольше нельзя было медлить, иначе они нанесут Капралу удар в спину. Мариалва трепетала в объятиях Курио: если он друг Мартину, он должен поторопиться со своим визитом. Прижимаясь к Курио и целуя его, она горестно вздыхала — ее мучила нечистая совесть, ведь она так обязана Мартину. Но безумная любовь увлекает ее на путь бесчестья... Курио должен поспешить, иначе случится неизбежное...

Курио предпочел бы умолчать о поцелуях и некоторых других подробностях, но он знал, что Жезуино нет смысла лгать. У Бешеного Петуха был дар ясновидения, он мог читать мысли, обладая чуть ли не колдовской проницательностью. Правду от него скрывать бесполезно, все равно он ее узнает...

— Да... Поцеловал я ее несколько раз, но ничего больше не позволил...

— Куда? В лоб, лицо, губы?

И на потеху всей компании Жезуино стал подробно расспрашивать Курио, заставив его рассказать о каждом поцелуе и о дорожке, которую он проложил в поисках родинки, добравшись до груди.

— Тебе надо объясниться с Мартином сейчас же, а то дело кончится плохо. Иди и поговори с ним, будь порядочным человеком. Иначе он разозлится и не сможет здраво рассуждать.

Ипсилон считал эту затею опасной. Кто знает, как поступит Капрал, а вдруг он от гнева потеряет голову и убьет Мариалву и Курио. При этих словах Курио с мужественным и покорным видом пожал плечами: жизнь без Мариалвы для него не имела смысла. Пусть Капрал убьет его, что ж, он будет прав, ведь Курио осмелился засмотреться на жену друга и честно признавал это.

— Засмотрелся? А поцелуи?

Оказывается, именно поцелуи и имел в виду Курио, когда говорил о том, что засмотрелся на жену друга. Ни в чем другом он не мог себя обвинить, ни в чем другом он не был виноват перед Капралом. А если он и погибнет от руки Мартина, что ж, тот, кто познал вкус поцелуев Мариалвы, может и умереть.

Только тут Ветрогон по-настоящему заинтересовался рассказом Курио. Каков же вкус поцелуев этой доны? Он, Ветрогон, знал в свое время одну женщину, поцелуи которой имели вкус мокеки из креветок. Поразительно! Он с ней недолго встречался, но она куда-то исчезла, и никогда больше ему не приходилось ощущать этот вкус на устах других женщин. А что напоминает поцелуй Мариалвы?

Курио не ответил Ветрогону, ему хотелось услышать мнение Жезуино. Бешеный Петух подождал, пока все замолчали, и тогда неторопливо заговорил. Он не думает, чтобы Мартин поднял стрельбу или набросился на Курио. Зачем? Ведь Курио вел себя достойно, верный священному долгу дружбы. Но разговор, конечно, будет нелегким. Если верно, будто Капрал так любит эту женщину и предан ей настолько, что не может жить без нее, то удар для него будет страшным — сообщение Курио, очевидно, ошеломит его. А в таком случае действительно невозможно предвидеть, как он себя поведет.

Массу, представив себе страдания Капрала, а также вкус его кашасы, предложил, чтобы друзья сопровождали Курио в этот день и могли бы удержать Мартина от безумных поступков. Все присутствующие встретили это предложение с энтузиазмом, только Жезуино решительно воспротивился. Дело это деликатное, объяснил он, затронута честь трех людей, и посторонние не должны в него вмешиваться. Друзьям не следует идти с Курио, можно лишь проводить его до подножия склона и в баре подождать за кружкой пива. И когда Мартин выйдет из дома, они подзовут его, посочувствуют и помогут забыться. Если же из дома послышатся шум драки или выстрелы, они побегут туда и постараются успокоить отчаявшегося Мартина.

На этом порешили. Курио попросил друзей собраться утром следующего дня, до завтрака, когда Мартина наверняка можно будет застать дома. Жезуино согласился — сейчас малейшее промедление могло стать роковым. Долго ли еще Курио сможет бороться с собой? Он на краю пропасти и в любой момент может свалиться в нее...

То же говорила и Мариалва, когда они обнимались в безлюдных уголках Уньяна. Впрочем, в тот вечер свидание было коротким. Курио пришел возбужденный и, объявив о своем решении, назначил время: десять утра. В этот час Мартин, покормив птичек, играет на гитаре.

Лицо Курио приняло трагическое выражение, назавтра ему предстояло вонзить нож в грудь своего лучшего друга. Пожалуй, он даже предпочел бы, чтобы Мартин убил его, так было бы лучше. Убил бы и его, и Мариалву — платонических любовников, они лежали бы рядом в морге, и друзья отнесли бы их вместе к могиле. Курио видел себя мертвым, с цветком на груди, Мариалва рядом с ним: волосы ее распущены, горло перерезано.

16

Да, или он будет лежать мертвый, окровавленный, с ножом в груди, или останется живым, чтобы созерцать отчаяние Мартина. Временами он предпочитал первый вариант, настолько его ужасала возможность увидеть мужественного Мартина подавленным и потерянным, ибо без Мариалвы жизнь для него будет бессмысленным мучением.

Курио заранее представлял себе эту тяжелую сцену: он придет, посмотрит в глаза другу и расскажет все. Нет, не все, он умолчит о поцелуях, о страстных укусах, о руке, которая пробиралась к соблазнительной груди. Но скажет о любви, безумной и несчастной, вспыхнувшей вдруг, с первого взгляда, и об отчаянной борьбе, когда они пытались вырвать из сердца это безнадежное чувство. Они были как брат и сестра и не переступили границ чистой дружбы. А разве можно противостоять любви, «когда два сердца поют в унисон священную брачную песнь» и «ни штормовые ветры, ни угроза смерти не в состоянии их разлучить», как хорошо сказано в «Секретаре влюбленных»! Они не смогли подавить чувства, которые день ото дня становились все более пылкими, нашли в себе силы не оскорбить чести Мартина — она оставалась незапятнанной благодаря высокой самоотверженности двух влюбленных. Мариалва поступала так из благодарности, боясь огорчить Мартина, безумно и преданно влюбленного в нее, Курио же был движим долгом дружбы, верностью брату по вере, столь же близкому, как брат по крови. Незапятнанна, чиста честь Мартина, нет на ней ни одного пятнышка, даже самого крошечного (о поцелуях он не скажет ни слова, как и о пожатии рук), однако любовь продолжает пожирать их, словно адское пламя. Больше они не смогут выносить это ужасное двусмысленное положение. Вот почему он, торжественный и серьезный, стоит здесь перед Мартином. Пусть Мартин решит судьбу всех троих. Без Мариалвы он не станет жить, предпочтет смерть. Он знает, разлука с нею будет тяжела и для Мартина, но...

Курио уже сейчас представлял страдания друга, его оскорбленное тщеславие знаменитого покорителя сердец. Ведь однажды даже в газете его назвали «соблазнителем», и полиция разыскивала его. И что же, этот невезучий Курио, которого столько раз бросали и возлюбленные, и невесты, и любовницы, этот несчастный Курио наносит удар по его самолюбию... Однако это пустяки по сравнению с более глубокими страданиями, вызванными потерей Мариалвы. Ради нее Капрал изменил свою жизнь. Капрал, который прежде был неисправимым, беспутным повесой и закоренелым холостяком, превратился в уравновешенного, почтенного гражданина, образцового домоседа, мужа, заботливого, внимательного и нежного. Бродяга превратился в господина, чуть не в лорда. Его семейный очаг вызывал зависть всех его друзей... И вот появляется Курио, брат по вере, самый близкий друг, и разрушает это счастье, отнимает жену и дом, как солдат вражеской армии, захватывающий земли и города, грабящий, насилующий жен, невест и сестер, разбивающий жизнь. Нелегкую задачу предстоит решить Мартину!

Подавленный, бродил Курио по улицам, размышляя над всеми этими ужасами, и до некоторой степени чувствовал себя героем. Ведь опасность для него не перестала существовать, хотя и проблематичная, и все же, может быть, завтра он мертвый будет лежать рядом с Мариалвой, а потом всю жизнь Мартин останется с тяжелым камнем на совести. Курио едва не разрыдался от жалости к себе и к Мартину. Порой он даже забывал о Мариалве. Вечером его видели в баре, он цитировал на память отдельные фразы и целые разделы из «Секретаря влюбленных», наиболее сильные и чувствительные.

Друзья также готовились к завтрашнему дню: всем надо было запастись мужеством. А чтобы набраться сил и восстановить душевное равновесие, нет ничего лучше нескольких стопок кашасы, которые они и выпили в баре Изидро до Батуалэ. Неизвестно каким образом, но слухи о намерении Курио уже распространились довольно широко, и любопытные смотрели на него во все глаза. Есть вещи, которые не нуждаются в том, чтобы о них рассказать,— о них догадываются, их

вдруг чувствуют каким-то шестым чувством. Очевидно, то же произошло и в данном случае. И уже заключались пари по поводу того, что предпримет Капрал. Большинство утверждало, будто бы Мартин изобьет Курио, а несколько затрещин достанется верной, но едва не изменившей жене. Узнав об этом, Курио задрожал: подобная перспектива не представлялась ему ни приятной, ни достойной. И все же он не отступит, хотя и не был сверхъестественным героем, а лишь незначительным, заурядным человеком.

Мариалва так и светилась от радости; она распевала, убирая дом, и, казалось, окончательно забыла неприятный инцидент в доме Тиберии, происшедший несколько дней назад. Мартин, развалившись в качалке, обдумывал сложную комбинацию в «жого до бишо» и временами отрывался от напряженной умственной работы, чтобы взглянуть, как Мариалва расхаживает по комнате веселая, точно ребенок, и над чем-то смеется.

А Мариалва предвкушала завтрашние события. Курио явится сюда, и она увидит двух мужчин, которые сойдутся лицом к лицу, охваченные ненавистью, готовые из-за нее на убийство. Два друга с детских лет, два брата по вере, поклоняющиеся Ошале, вместе совершавшие жертвоприношения, вместе окропившие свои головы кровью петухов и козлов, поклявшиеся друг другу в верности, из-за любви к Мариалве встанут один против другого. Глаза их зажгутся смертельной ненавистью. Может быть, кровь и не прольется, но драка будет обязательно, разумеется, с перевесом на стороне Капрала, мастера капоэйры — Курио не сравниться с ним. Мартин может победить, однако в сердце останется заноза, ибо его жена вела с зазывалой нежные беседы, обменивалась страстными взглядами и вскружила ему голову настолько, что он поднял руку на Мартина.

Капрал станет униженно просить ее остаться, ползать у ее ног. Победивший в борьбе, но раненный Мариалвой навсегда, он уже никогда не будет прежним Мартином.

И тогда Мариалва решит, как ей быть дальше. Продолжать ли жить с Мартином, окончательно подчиненным ее воле, иногда встречаясь с Курио, чтобы исцелять его сердце бальзамом обещаний, поцелуев, а может, и... Либо сделать своим мужем покорного и романтичного Курио, который создан для этой роли, время от времени встречаясь с Мартином, с которым, она не станет отрицать, так хорошо в постели. Так или иначе, решать будет она, и решать в зависимости от переговоров между Капралом и Курио. Мариалва, занимаясь хозяйственными делами, продолжала смеяться, так что Мартин в конце концов заинтересовался причиной столь непонятного и безудержного веселья:

— Какая муха тебя укусила?

Мариалва села у ног мужа, взяла его руки в свои и обратила к нему робкий, умоляющий взгляд, взгляд жертвы. Мартин машинально погладил ее по голове. Что она затевает? Если взгляд ее становится робким и она принимает униженный вид, значит, у нее что-то на уме, значит, она что-то замышляет. Мартин ценил эту женщину, которую он встретил в Кашоэйре в дни тоскливого одиночества, когда боялся умереть, брошенный всеми, как собака. Она делила с ним трудности бродячей жизни, а он ради нее стал нежным и заботливым мужем. Он никогда бы не поверил, что способен на такое...

— Ты любишь свою Мариалву, негр?

Мартин нежно провел рукой по ее волосам, словно отвечая на вопрос. Но мысли его были далеко, он видел перед собой молоденькое личико Оталии. Забавная девчонка... Он покачал головой и отнял руку, как бы желая освободиться от всех женщин на свете. Не может муж-

чина перелюбить всех женщин, но стремиться к этому должен — так говаривали старые моряки в порту. И Мартин стремился, хотя это невозможно, слишком много их, и у мужчины, посвятившего себя этому, не хватит ни сил, ни времени. Он хотел снова вернуться к размышлениям над комбинацией в «жого до бишо», предполагающим спокойную обстановку, специальные знания и умение толковать сны. Но Мариалва отвлекала его внимание, требуя ласки и доказательств любви. Мартин зевнул: нет, сейчас не время, и погрузился в сложные расчеты.

Мариалва резко поднялась и вышла, возмущенно взметнув юбкой. Ничего, завтра он у нее узнает — завтра он ей заплатит за сегодняшнее равнодушие, завтра утром, в десять часов.

А что, если Курио не придет? Может, для верности послать мальчишку с запиской? Но почему бы ему не прийти? Он с ума сходит по ней, ползает у ее ног. Так будет ползать Мартин, когда Курио явится и все расскажет. Они встанут лицом к лицу, один против другого, как смертельные враги, два близких друга, братья по вере. Они будут сжимать в руках кинжалы желания, ревности и ненависти, готовые убить друг друга из-за любви к Мариалве — без нее они не смогут и не захотят жить.

17

Приятели остались внизу, в баре. Число ожидающих исхода переговоров увеличилось за счет заключивших пари, причем их было довольно много. Отсюда, из бара, дома Мартина не было видно, и все же в известном смысле они могли следить за событиями: они будут настороже и услышат крики, шум борьбы или револьверные выстрелы — словом, любое нарушение семейной идиллии Капрала. Все были возбуждены, кое-кто похлопывал Курио по спине, подбадривая его. В особенности те, кто утверждал, что Мартин выйдет из себя, изобьет Курио, а может, и всадит нож ему в брюхо. Заказали по первой стопке для храбрости, хотели поднести и Курио, прежде чем он отправится к Капралу, но Курио отказался. Он слишком много выпил накануне, во рту было горько, язык обложило, и голова была тяжелой, а ведь сейчас, как никогда, ему нужна ясность мысли и свободная речь. Все подняли стаканы в честь Курио в немом, единодушном тосте. Курио медленно оглядел друзей, одного за другим, взволнованно и серьезно. Пожал руку Жезуино и торопливо зашагал по склону. Все присутствующие были также взволнованны и серьезны, сознавая важность момента. Курио исчез за поворотом. Ветер срывал листья с акаций, и они устилали дорогу желтым ковром.

Курио приоделся, снял свое рабочее платье — поношенный фрак, полосатые брюки, старую рубашку с накрахмаленной манишкой, смыл с лица белила. Он был в праздничном костюме, при галстуке, но хотя и побрился, выглядел худым и бледным, под глазами у него залегли синие тени. Он шел размеренным шагом, с серьезным лицом, печально глядя перед собой. Впрочем, вся его фигура выражала печаль и даже тоску, отчего это восхождение по склону казалось каким-то зловещим. Курио умышленно надел костюм, который одевал только в торжественных случаях, чтобы сразу же, как он придет к Мартину, тот понял, что визит Курио необычен. Вот почему, едва показался домишко Мартина, Курио остановился, чтобы привести в порядок костюм, а затем придал своей походке еще большую торжественность. В дверях его нетерпеливо поджидала Мариалва: часы только что пробили десять. Она сделала Курио знак, чтобы он поторопился, но Курио продолжал идти все так же мед-

ленно — не было никакой надобности спешить. Подумать, какое легкомыслие! Ведь он идет разбить жизнь друга — сердце зазывалы обливалось кровью. Может, лучше было последовать совету негра: запастись бутылками с чудодейственным лекарством и отправиться в Сержипе оплакивать разлуку с возлюбленной? Стоит ему переступить порог, и Мартин сейчас же заметит его трагическую мину, а значит, догадается, что пришел он с недоброй вестью.

Но едва он достиг крыльца того дома, куда собирался проникнуть, бесстыдный и вероломный, хуже вора или убийцы, неся с собой скорбь и горе, как услышал упрек Мариалвы, процеженный сквозь зубы:

— Я уже думала, что ты струсил и не придешь...

Это было несправедливо, потому что он пришел точно в десять, как и было условлено. Еще никогда в жизни он не был столь пунктуален. Друзья, оказавшие ему поддержку в трудный для него момент, а также заинтересованные в результатах пари, позаботились о том, чтобы разбудить Курио заблаговременно.

Лицо Мариалвы горело, ее глаза излучали странный тревожный блеск, и вся она была какой-то необычной, будто парила в воздухе, прекрасная, как фея, в красоте которой есть что-то дьявольски жестокое. Возможно, в этой перемене была виновата прическа с двумя завитками на лбу, напоминавшими рожки. Никогда Курио не видел Мариалву такой, он не узнавал ее, свою нежную Мариалву, обессилевшую от любви.

— Пойдем, он в большой комнате...

И быстро вошла, сказав:

— Мой милый, Курио хочет поговорить с тобой...

— Какого же черта он не идет? — Голос Мартина прозвучал невнятно, как если бы он говорил с полным ртом

Необходимо, снова убеждал себя Курио, сразу же дать понять Мартину, что визит его необычен. Поэтому он попросил разрешения войти:

— Можно?..

Никогда еще друг не просил позволения войти в дом Капрала, и Мартин должен будет догадаться о предстоящей трагедии, едва Курио твердым шагом войдет в комнату и остановится — решительный, непреклонный и бледный, как мертвец. Но, к разочарованию и отчаянию страстно влюбленного зазывалы, Капрал ничего не заметил.

— Садись, братец, съешь несколько зерен жаки,— дружески предложил Мартин.— Она великолепна.

Курио приблизился все так же неторопливо, с мрачным, напыщенным видом. Мариалва, прислонившись к дверному косяку, заняла удобную позицию, чтобы не пропустить ни единой подробности сцены, которая сейчас разыграется. Мартин положил в рот зерно жаки, комната благоухала ее ароматом. Трудно было противостоять такому соблазну, но голодный Курио устоял. Мартин наконец повернулся к нему.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего... Просто я хотел с тобой поговорить. Надо решить одно дело...

— Так садись, я тебя слушаю, и, пожалуйста, угощайся...

— Нет, дело серьезное, лучше я подожду, пока ты поешь...

Мартин пристально посмотрел на друга.

— Ты выглядишь так, будто проглотил швабру... Но, видимо, ты прав, сначала надо расправиться с жакой, а потом потолкуем... Садись.

По пальцам Капрала стекал медовый сок жаки, ароматные золотистые зерна были так соблазнительны, а Курио еще ничего не ел; сейчас, до еды, он должен собраться с духом. Ему вдруг захотелось плакать, в горле встал комок.

— Садись, парень... Чего ты ждешь?

А жака казалась все прекраснее, это был любимый плод Курио, медовый сок стекал по пальцам и губам Мартина, в воздухе носился опьяняющий аромат... В конце концов, он может начать разговор на несколько минут позже, ничего от этого не изменится.

Курио снял пиджак, ослабил узел галстука, нельзя же есть жаку, когда ты одет по всем правилам хорошего тона. Он уселся, запустил пальцы в мякоть жаки, вытащил зерно, сунул его в рот и выплюнул кожуру:

— Хороша!

— Спелая! — поддержал Мартин.— С одного дерева...

Разговор друзей был прерван громким стуком захлопнувшейся двери. Это Мариалва напоминала им о себе, ее глаза метали искры, а два завитка на лбу еще больше стали походить на дьявольские рожки.

— Разве ты не говорил мне, что у тебя какое-то срочное дело к Мартину? — спросила она Курио.

Мариалва была в ярости, она не ожидала такого начала разговора. Вот, значит, какова безумная и безграничная любовь Курио?! Любовь, которая не устояла перед зернами спелой жаки!

— Когда поедим, тогда и поговорю... Немного погодя...

— Всему свое время...— наставительно заметил Мартин.

Обозленная Мариалва вихрем вылетела в спальню.

— Она не выносит жаку, считает настоящими фруктами только яблоки и груши...

— Неужели?..

Курио облизал пальцы: отличная жака, особенно на голодный желудок. Как можно не любить жаку, предпочитая ей груши и яблоки, эти безвкусные фрукты? Даже сладкий картофель, и тот вкуснее, не такой пресный. Высказав свое мнение по этому вопросу, Мартин с довольным видом вытер пальцы обрывком газеты. Курио насладился еще парой зерен и засмеялся от удовольствия.

— Теперь можешь выкладывать свое дело,— начал Мартин, ковыряя в зубах спичкой.

Курио уже почти позабыл о необычной причине своего визита — жака примирила его с жизнью, расположила к неторопливой дружеской беседе о всякой всячине, которую обычно вели друзья, когда встречались. Мартин толкал его в темный душный тоннель, и через этот тоннель он должен был пройти. Курио встал.

На пороге спальни снова появилась Мариалва с горящим взглядом и раздувающимися ноздрями — беговая лошадка, готовая к старту и ожидающая только сигнала. Курио затянул узел галстука, надел пиджак и принял величественно-похоронный вид, что стоило ему теперь больших усилий. Он был сыт и уже не горечь похмелья, а аромат жаки ощущал во рту, поэтому мысли о самоубийстве и смерти стали далекими. И все же Курио удалось достичь неплохих результатов, так что Мартин, снова севший в качалку и приготовившийся слушать друга, не мог не удивиться перемене, с ним происшедшей.

— Ты будто на похоронах...

Курио вытянул руку в торжественном жесте и срывающимся голосом начал. Он очень напоминал одну из статуй знаменитых государственных деятелей, которые ставятся на площадях для обозрения гражданами. Мартин был так поражен жестом и позой Курио, что едва расслышал первые слова его пламенной речи.

Мартин должен его понять, ораторствовал Курио, хотя это, без сомнения, очень трудно, но делать нечего. Речь была подготовлена заранее при помощи «Секретаря влюбленных» и Жезуино Бешеного Петуха. На свете нет второго столь верного друга, как он, Курио. Верного, но гибнущего от любви к Мариалве, этой святой женщине, «целомудренной

и чистой девственнице», и тоже верной своему мужу. Их жизни разбила страшная игра случая, несчастливый рок, им адски не повезло. Игрушки в руках судьбы, они оказались беззащитными против ее ударов.

Стоявшая в дверях спальни Мариалва не могла больше владеть собой — в это решающее мгновение ей было трудно притворяться несчастной жертвой, гонимой злой судьбой. Лицо ее приняло победоносное выражение. Ее взгляд перебегал с одного мужчины на другого, она готовилась попрать их обоих, как только они начнут оспаривать ее с оружием в руках.

Мартин силился понять напыщенные излияния друга, так и сыпавшего всякими мудреными словами. Любит же этот Курио читать разные книжонки! Капрал хмурился от напряжения, но Мариалва решила, что от отчаяния, а Курио подумал, что от ужаса перед предательством друга. На самом же деле он лишь пытался уследить за словоизвержением Курио, за его речью, щедро приправленной выражениями, заимствованными из проповедей и словаря. В этом-то и крылась причина неуспеха Курио у женщин: виноват был его книжный язык, ни одна девушка не могла долго выдержать витиеватые речи зазывалы. Однако ценою больших усилий, улавливая иногда смысл отдельных слов, а иногда целый фразы, Мартин начал постепенно понимать, в чем дело. Украдкой поглядывая на Мариалву, которая стояла в дверях спальни с отрешенным выражением лица, он наконец догадался, почему Курио так загадочно ведет себя и почему он так вырядился. Похоже, этот дурак по уши втюрился в Мариалву... Неужели, святой Бонфим, Ошала, отец мой? Неужели?! И она, видимо, тоже... Разве не на это намекает Курио своими красивыми рассуждениями о душах-близнецах, о платонической любви и разбитых жизнях? Да, он понял: Курио безумно влюблен в Мариалву, но, уважая честь Капрала, не стал наставлять ему рога. Молодец, Курио!

Однако надо выяснить все сразу. Коснувшись своего незапятнанного лба, он прервал речь Курио в особенно волнующем месте.

— Ты попробовал ее?

Курио вздрогнул: напрасно он тратил свой талант и свою эрудицию, Капрал его не понял, не оценил чистоты его намерений.

— Нет! — решительно возразил он.— Разве не об этом я тебе толкую вот уже несколько минут! — Но тут же добавил: — Не пробовал, хотя мне очень хотелось этого.

— Хм, хотелось. А ей тоже хотелось?

Курио воспользовался этой репликой, чтобы вернуться к своей речи, он не желал вступать в этот унизительный и, главное, не предусмотренный им диалог. Да, Мариалва отвечала ему взаимностью, но именно она, честнейшая из жен, воздвигла между ними барьер...

Мартин растроганно улыбался, верность Курио восхищала его, сердце его начало таять. Он знал, как сильно страдает Курио, влюбляясь. Можно представить, как он мучается и сейчас, когда между ним и Мариалвой стоит он, Мартин: страдает, но не предает брата по вере. Такая самоотверженность достойна награды, и Капрал, человек воспитанный и не привыкший оставаться в долгу, не мог уступить Курио в доказательствах дружбы. Они ведь братья по вере, Курио напомнил ему это, они не раз вместе совершали жертвоприношения, и поэтому Курио так страдал, не желая предать его, страдал, как бешеный пес, раздираемый адскими муками... Да, он заслуживает награды, Мартин не может отстать от него в этом благородном соревновании.

— Ты ее в самом деле любишь? По-настоящему?

В торжественной тишине, когда у Мариалвы захватило дыхание, ибо пробил час ее триумфа, Курио склонил голову и после долгих колебаний еще раз подтвердил, что любит.

Мартин взглянул на Мариалву, стоящую в дверях спальни. Она сияла, эта царица, у ног которой ползали мужчины, отдавшие ей свои безумные сердца, ее несравненная роковая красота смиряла самых сильных из них. Полная непреклонной решимости, она была готова к любым вопросам Мартина: уклоняться от ответа она не собиралась.

Капрал, однако, ничего не спросил. Он лишь смотрел на нее оценивающим взглядом — да, роковая и жестокая женщина, рожденная для того, чтобы пожирать сердца мужчин, пополнять ими свою свиту, такова была Мариалва, красавица с родинкой на левом плече. Кто мог спастись от ее чар? Правда, иногда она немного надоедает, даже, пожалуй, здорово надоедает. Курио заслуживает ее, Мартин казался себе великодушным и добрым, как рыцарь. Благородные чувства распирали его существо, несколько обремененное только что съеденной жакой.

Голос Капрала прозвучал в торжественной тишине комнаты, продуваемой легким ветерком.

— Итак, брат мой, я все понял: ты любишь и страдаешь. Прекрасно! Ты доказал свою верность братскому долгу. Поэтому я тебе говорю: если кто и заслуживает ее, так это ты... Можешь забирать Мариалву. Она твоя.— Он повернулся к двери в спальню: — Мариалва, укладывай свои вещи, ты пойдешь с Курио.— И, улыбнувшись другу, добавил: — Ты заберешь ее сейчас же, не стоит оставлять женщину в моем доме, раз я пользуюсь такой дурной славой...

Курио обалдело разинул рот — и так остался стоять. Он ожидал всего: криков, проклятий, отчаяния, угроз оружием, быть может, драки, рыданий, самоубийства, убийства, трагедии, о которой будут кричать все газеты,— словом, всего, только не этого решения Мартина. И когда он снова обрел дар речи, был все еще как пьяный:

— Забрать ее? Сейчас? Как же так?

Бледная Мариалва неподвижно стояла в дверях.

— Сейчас, потому что отныне она твоя. И нехорошо, если...

Но Курио еще пытался образумить Мартина:

— Ты же останешься один, будешь страдать... Уж я предпочитаю...

Мариалва сжала зубы, ее глаза расширились, стали круглыми.

— Ты уже и так страдал из-за меня...— великодушно продолжал Мартин.— Старался ничем не оскорбить меня. Теперь моя очередь... Я тоже имею право страдать ради друга, не ты один...

Подобная самоотверженность возводила друзей к вершинам мировой славы, оба чувствовали себя необычайно взволнованными. Мариалва отходила куда-то на второй план.

— Конечно... Но ты ее муж, может, справедливее будет, если страдать буду я. Я уеду в Сержипе продавать чудодейственное лекарство, меня приглашали туда, и больше у вас не появлюсь... Чтобы ты не страдал... Оставайся с Мариалвой, а я уйду один, уйду сейчас же. Прощай!

Он уже было направился к дверям, но крик Мартина остановил его.

— Куда ты уходишь, брат мой? — взволнованно заговорил Капрал.— Не торопись, ты пойдешь, но вместе с ней, ведь она тебе нравится, а ты ей — я не хочу стоять между вами! Зачем есть блюдо, на которое зарится другой? Так бери Мариалву, бери сейчас же... Что касается меня, мне она больше не нужна.

Курио оказался в безвыходном положении.

— Мне даже некуда ее повести...

— Пусть это не будет препятствием к вашему счастью, брат мой...— сказал Мартин, который становился все более великодушным и непреклонным.— Вы останетесь здесь, а я уйду... Забудусь в заведении Тиберии, если у нее найдется свободная красотка... Я скажу Тиберии, чтобы она не ожидала тебя вскорости, так как ты женился, а женатому челове-

ку не пристало шляться по публичным домам... Я оставляю вам все, возьму только свою одежду...

— Все? Я...

— Все... Стол, кресло, кровать и зеркало, я оставлю вам даже кофейник, который мне особенно дорог...

— А что я буду с ним делать? Нет, я не могу принимать от тебя все это. Ты великодушен, но...

Мариалве уже не хотелось кричать, не хотелось расцарапать им лица. Кровь отхлынула от ее щек, волосы неряшливо падали на лоб, глаза погасли, она как бы стала меньше ростом. Все же она очень нудная, Курио скоро раскается в своем выборе. Он уже раскаивался.

— Знаешь, брат, что я тебе скажу?

Мартин церемонно поднялся — будто он был здесь гостем.

— Ну говори...

— Будем считать, что я тебе ничего не сказал, пусть все остается, как было. Мариалва мне не нравится больше...

— Но так не годится, брат мой! Ты пришел за ней, ты с ней и останешься. Мне же она не нужна ни как жена, ни как служанка. Ты не представляешь, какая она нудная. Просто тоска берет...

— У меня было такое подозрение. Уж слишком она страстная. Я тебе больше скажу: она непорядочная женщина. Если бы от нее зависело, ты давно был бы рогатым, как бык...

Мартин рассмеялся и указал на Мариалву, стоявшую в дверях, вернее, на жалкие останки Мариалвы.

— И эта подлая баба хотела сделать нас врагами, нас, более близких друг другу, чем братья... А мы посмеемся над ней...

И он весело рассмеялся своим раскатистым смехом, который вновь обрел, теперь уже навсегда. Курио тоже рассмеялся. Хохот друзей покатился по склону, а в баре те, кто держал пари, попытались понять, что означают эти странные звуки, доносившиеся из дома Капрала.

Курио сорвал с себя пиджак и галстук, от его похоронного вида не осталось и следа. Друзья снова набросились на жаку.

А Мариалва тем временем собирала в спальне свои вещи. Капрал и Курио, казалось, забыли о ней. Они и не заметили, когда она прошла через комнату.

— По-моему, пари никто не выиграл...— заявил Курио.— Значит, деньги остались целы и вечером их можно будет истратить... Поедем есть мокеку на паруснике Мануэла...

— И возьмем с собой девочек из заведения Тиберии. Не знаешь, Курио, та с косичками, что танцевала со мной на празднике, еще там?

— Оталия? Там...

Мариалва спустилась по склону. Компания в баре видела, как она прошла мимо. Все переглянулись. Из дома Капрала еще доносились раскаты хохота. Сомнений не было, это смеялись Мартин и Курио. Решили подняться и узнать, почему так весело кончилась женитьба Капрала.

Положив свой узел на землю, бедная Мариалва, робко съежившись, ждала багажного трамвая, который отвезет ее в заведение Тиберии.

(Окончание следует)

Андре Френо

На фотографиях Андре Френо выглядит сумрачным, замкнутым. Хмурое, застывшее в каком-то сосредоточенном раздумье лицо, жесткая складка между бровей, глаза усталые и как будто отгороженные от наших с вами забот стеклами очков в металлической оправе. Разговор с Френо не то чтобы вовсе разрушает эти впечатления, а скорее оттеняет их неожиданностью совсем иных граней его личности. Вдруг обнаруживаешь, что он приветлив, очень добросердечен. У него ненаигранное радушие, в его чуть-чуть театральных жестах и манере говорить, катя гальку раскатистого «р», сквозит бесхитростность, за его суровым обликом кроется жизнелюбие бургундца. Эрудит и погруженный в себя созерцатель склонен к долгим застольным беседам начистоту, а при случае охотно поет поставленным басом старинные французские песни о разбойниках и влюбленных девушках. Стоик наделен почти детским простодушием, которое иным слишком трезвым умам кажется чудачеством и без которого лирики зачастую лишь стиходелы.

Знакомство с творчеством Андре Френо укрепляет впечатление от встреч с ним. В жестковатой интеллектуальности его стихов нет и следа чисто головной логистики: рационалист и аналитик, он доверителен, даже порывист. Суровость мироощущения не сделала Френо нелюдимым мизантропом, не подорвала в нем ни тяги к нежности, ни сострадания к чужим бедам, ни умения радоваться. Наитие, лирическая ворожба чужды его манере письма; как искусный мастеровой, он усердно трудится, возводя здание поэмы на прочном каркасе, выстругивая и обтачивая каждое слово, каждую фразу. Но плотно пригнанные друг к другу, они не несут отпечатка языкового аскетизма. Мыслитель не перечеркивает в нем лирика, умозрительность не мешает исповеди.

По преимуществу философский склад поэзии Френо связан, конечно, с общим строем французской лирики XX века: ей вообще присуща потребность мерить мгновенное и преходящее масштабом вечности. В еще большей мере склад этот, видимо, предопределен его рано обнаружившимся призванием и полученным затем образованием. Сын респектабельного провинциального аптекаря, Френо в юности взбунтовался против семьи, на свой страх и риск уехав в Париж. В университете он изучал историю, психоанализ, штудировал труды отечественных и особенно немецких метафизиков, готовил себя к деятельности ученого-социолога. Жизнь рассудила по-другому: Френо поехал преподавателем французской литературы во Львов, был на войне, потом служил в министерстве, путешествовал.

Свои силы в поэзии он попробовал не в ту раннюю пору, когда безусые юноши, искушаемые бесом сочинительства, начинают тянуться к перу, еще не зная толком, что сказать, а гораздо позже, в тридцать один год — взрослым, вполне сложившимся человеком. Первое его стихотворение озаглавлено «Эпитафия» — к письменному столу Френо толкнули навязчивые мысли о смерти. Они возникли вовсе не из природной ипохондрии и не из нахлынувшего вдруг приступа панического страха, а из насущной потребности ума, вступающего в полосу зрелости, подобрать — по крайней мере для самого себя — ключ к загадкам своего земного удела. Загадкам, которые рано или поздно возникают перед всяким, кто взыскует ясности и не желает просто-напросто отмахнуться от тревожащих «проклятых вопросов», пугливо спрятав голову под крыло, кто жаждет твердо знать, зачем и почему стоит жить. На свидании Френо-философа с небытием в нем проснулся дотоле дремавший лирик, и само по себе это уже означало «да» бытию, «да» жизнетворному слову и делу — вопреки конечному исходу, которого никому не миновать.

«Эпитафия» помечена 1938 годом—годом Мюнхена, годом агонии Испанской Республики и близкого развала Народного фронта во Франции. Вскоре Френо предстояло взглянуть в лицо отнюдь не воображаемой смерти: призванный в армию, он томился от бездействия в окопах «странной войны», потом узнал позор разгрома в войне молниеносной, был заключен в гитлеровский концлагерь, бежал с подложными документами на родину, работал в Сопротивлении. Мужество мыслителя на свидании с историей сделалось мужеством солдата, подпольщика. В плену Френо закончил поэмы «Волхвы» и «Жалоба волхва» (1943), которые увидели свет в подпольном альманахе, поставив его в ряд ведущих певцов Франции сражающейся.

Хроника злободневного сегодня отступает в лирико-эпических поэмах Френо перед вымышленной или заимствованной легендой; склонная к жестким построениям логика вычленяет всеобщую суть происходящего вокруг, преображая факт и поднимая до своего рода чистой, не обремененной подробностями притчи то, что угадано, подмечено в повседневности тех недобрых и героических лет. Френо по самому духу своему и дарованию—откровенный моралист; из развертывания его параболы исподволь вытекает нравственный завет, заповедь назначения и долга человека, который не соглашается с навязанной ему участью, даже если вызов связан для него со смертельной угрозой. Соотечественники Френо в тяжелые для родины и каждого из них дни неизменно узнавали самих себя во вставшей со страниц его книг фигуре сурового путника, упрямо идущего сквозь непогоду и лихолетье, расстающегося с милыми иллюзиями и все же не теряющего веры, спотыкающегося и вновь распрямляющегося, надеющегося на свершение заветных желаний у очередного верстового столба и, приблизившись к нему, обнаруживающего, что предстоит опять долгий, изнурительный переход, которому, быть может, не будет конца, но в который усталый искатель все равно завтра отправится, навстречу мерцающей вдали звезде.

Чем манила она — освобождением или забвением, счастьем навек или минутным покоем? Трудно сказать точно, но ее свет обладал могучей притягательностью лучшего, неподдельного, окрыляющего. «Волхвы», «Черное бракосочетание» (1946), «Крестьяне» (1951) Френо никому не сулили в награду ни легких побед, ни блаженных островов, достигнув которых уже некуда стремиться дальше и незачем продолжать поиск. Казавшееся вчера пределом мечтаний завтра остается позади, и только одно безусловно — лента теряющейся вдали дороги, а на ней человек, упрямо шагающий вперед. Лишь вместе с шагами путника оборвется и самый путь.

Значит, нам от века суждено довольствоваться краткими привалами и единственный дарованный нам полный отдых — пустота, растворение в безмолвном ничто? Значит, прав сказавший: «Из праха восстанешь и в прах обратишься»? «Рая нет, есть небытие»,— возразил как-то Френо поэту, мечтавшему «услышать музыку небесных сфер» (книга, где собрана почти вся его предшествующая лирика, так и называется: «Рая нет», 1962). Нет ни в небесах (он рано утратил бога и надежду на загробное спасение), ни тем более на земле, где мы в погоне за неизменно ускользающей от нас радостью покрываем отмеренное каждому расстояние от колыбели до могилы, так и не узнав, «кто же владеет чем». У Френо немало «песен, сложенных на дорогах напрасной надежды», и в них во всем своем обнаженном трагизме развернута драма сознания, воспринимающего свою смертность как проклятие, как изначальную ущербность, отлучение от какой-то неведомой, но истинной жизни. Человека сжигает жажда пусть хотя бы в секундном озарении выломиться из заданного раз и навсегда привычного распорядка и припасть к источникам подлинной, бурлящей где-то в глубинах мироздания энергии. А когда эта «встреча с чудом», как бы оно ни называлось — вечностью, природными стихиями или разлитым во вселенной духом,— вдруг происходит, она приносит лишь горечь: ведь уже через минуту обнаруживается, что в руках недавнего счастливца лишь пепел от угасающих с каждым мигом воспоминаний, что он — всегдашний пленник всемогущего Небытия, вынужденный довольствоваться одними «смехотворными завоеваниями» — крохами, вырванными у скупого к нему Бытия. И тогда он, посылая исступленные обвинения всему враждебному и равнодушному к его запросам порядку вещей, выносит и самому себе, частичке этого порядка, жестокий, не подлежащий обжалованию приговор: «Я — невыносим».

Из этих мучительных схваток с метафизическими искусами Френо всякий раз выходит не без потерь, но все же победителем. И тогда из груди его наконец вырывается возглас облегчения, вновь обретенного доверия к жизни: «У меня больше нет страха перед радостью, я здесь для нее, слишком затянулось время, когда меня прельщала пустыня». Строки эти взяты из одной из элегий, служащих прологом к книге любовной лирики Френо «Весь источник» (1952),— женщина, войдя в его одинокий дом, рассеяла обступавшие отовсюду миражи, открыла ему доступ к родникам счастья: «У нее призвание радуги и росы». Когда руки сплетаются и дыхание двоих сливается воедино, когда «вместе с тобой мы — глубинный поток», замкнутость каждого в самом себе, кажется, исчезает навсегда. Возлюбленная — проводник в святая святых мироздания, туда, где «красота носит герб абсолютного», где родина всего живого.

И хотя Френо не забывает, что блаженство страсти тоже лишь остановка на очередном перепутье и за приливом последует отлив, отныне из его памяти никогда не изгладится и другая, так нелегко доставшаяся ему истина: «Я получаю и даю, я даю — значит, существую». Истина, познанная им в близости с женщиной, но служащая девизом гораздо более широкой, всечеловеческой связи между людьми — девизом братства. И возвращающая тому, кто ее постиг, ценности, поставленные было под сомнение дерзким, но безысходным вызовом всему творению: «У поэта и художника есть возможность преобразить безнадежность жизни — если не всегда в надежду, то, по крайней мере, в не-надежду (то есть в отказ от «вечного спасения».— **С. В.**), и тогда он способен жить с ясным умом и бесстрашием, доверившись трудной и чистосердечной любви к людям, которая в конечном счете находит опору в самой себе». Спор Френо с Судьбой древен, как сама мысль, но однажды осознав, что, по всей видимости, не ему принадлежит здесь последнее слово — да и вряд ли оно вообще будет

сказано,— он обращает свой взгляд к насущным земным делам и заботам, к скромным судьбам своих спутников по жизни, имя которым — братья и в каждом из которых прорастает «человек-светоносец».

Сегодня подобный выход по плечу далеко не всем литераторам Запада: Андре Френо скорее исключение, чем правило, среди тех, кто, как и он, каждый день дышит воздухом, в котором процент философического азота явно выше нормы. Но потомок бургундских крестьян по происхождению и закоренелый парижанин по душевной склонности, даже в языке своей лирики сплетающий изощренную философическую книжность с дрезним говором родных краев и уличным городским арго, он слишком ценит моменты, когда «люди встречают братский прием в глазах людей», и слишком хорошо знает, каким трудом, жизнестойкостью, незаметным подвижничеством достаются самые непритязательные радости, чтобы с недобрым пренебрежением отнестись к затейливой грезе ребенка или усилиям взрослого наладить сносную жизнь — как к тщетной, нелепой с точки зрения вечности суете сует. Нет, тот, кто в дни, когда над Францией опустилась ночь со свастикой вместо луны, сказал от имени соотечественников: «О братья, имейте сострадание к нам, всем тем, кто ждал Рассвета», тот и поныне верен признанию своего Волхва — «друзья, я из ваших». Он не чужак ни в вагоне подземки, битком набитом обитателями предместий в часы пик, ни в праздничной толчее на мостовых и перекрестках Парижа в вечер 14 июля:

Я пою жатву Республики...
И опьянение братством среди людей улицы,
На скрещении юношеских мечтаний
И вздохов веков,
На свидании памяти и обещаний...
...Я пью за радость народа, за право человека
Верить в радость хоть раз в году,
Верить трехцветной радуге глаза, возникающей
Между ресницами тревоги.
За непрочную нежность, за иллюзию любви.

Право по-товарищески делить веселье сегодняшних преемников тех, кто брал Бастилию, сажал деревья свободы под удалой напев «Ça ira», кто затем, в дни Коммуны, «штурмовал небо», принадлежит Френо прежде всего потому, что для него революционное прошлое — не перечень фактов, дат и имен, подлежащих архивной каталогизации. Заветы предков — живое достояние, которое каждому поколению предстоит воспринять и приумножить, иначе они обратятся в звук пустой. «Всегда есть приступы, которые надо возобновлять, есть песни, которые надо петь хором, есть листва и знамена, которым нельзя дать замереть, чтобы не отнять у деревьев и знамен права трепетать на ветру».

Среди теперешних лириков Франции немного найдется таких, кто бы столь же настойчиво, как Френо, возвращался к урокам исторического прошлого, трагических потрясений XX века. Конечно, прямой очевидец последних, он далек от прекраснодушия во взглядах на историю, как давнюю, так и сегодняшнюю. Но не менее далек он и от тех, кому она рисуется топтаньем по замкнутому кругу. В поэме «Огромная фигура богини Разума», созданной Френо в канун очищения Франции от захватчиков, путь человечества предстал как героический и изнурительный исход навстречу земле обетованной, краю Свободы, неизменно возникавшему на горизонте и столь же неизменно, по мере приближения к нему, отступавшему вдаль. Свобода—не тихая гавань, однажды добравшись до которой можно расположиться здесь навеки, она всегда впереди, всегда то, что предстоит еще завоевать. Всякий раз, когда мятежные предместья, побуждаемые неистовой и желанной богиней Разума, заставляющей вспомнить простонародную воительницу баррикад с полотна Делакруа, провозглашали «право человека быть богом», устремлялись на приступ тиранических твердынь и одерживали победу, они уже на следующий день обнаруживали, что вместо прежних оков их незаметно опутывали другими. А их вдохновительница стараниями ловких демагогов преображалась в холодную статую на площади, и перед этим монументом раздавался треск выхолощенных разглагольствований о мнимой свободе. И вновь в груди обманутых набухал гнев, вновь сжимались кулаки, в рабочих окраинах чистили дедовские ружья, и однажды статуя оживала, спускалась с пьедестала и снова возглавляла штурмующие колонны. Так было во Франции в 1789, 1830, 1871, в 1944, так будет и впредь. Сколько бы поражений ни ждало впереди, крамольный дух непокорства, словно волшебная птица Феникс, всегда возрождается из пепла еще более юным и зовущим. Пророчеством и грозной заповедью вечного восстания звучат последние слова — последняя строка поэмы: «Я стану продолжать».

Френо не мыслит себе ни человечество, ни отдельного человека застывшими, успокоившимися раз и навсегда, уютно расположившись на отдых, каким бы заслуженным он ни был,— путнику Френо покой тоже только снится. Заветная звезда всегда впереди, жизнь — в вечном походе. Она подобна путешествию в горах: взобравшись на одну вершину, обнаруживаешь перед собой крутой склон, а за ним цепь еще более высоких пиков, до сих пор заслоненных ближайшей грядой. И нет им предела.

Суровое и мудрое знание. Не случайно еще в пору первых шагов Андре Френо в литературе его старший друг, Поль Элюар, открыл в нем «певца сражающейся истины».

Самарий Великовский

древняя память

Я прижимаюсь лбом к щеке гранита
Тысячелетнего и вспоминаю.
Я помню Францию девчонкой:
Она легко взбегает на холмы,
Я помню жирный суп и сонный блеск пруда,
Поля, что вклинились в ленивый сумрак леса,
И винограда самый первый сбор,
И череду за ним идущих урожаев,
Я помню удивленный свет луны,
И пенье петуха на дальней ферме,
И утреннее пробужденье замка,
Шеренги груш в саду, и рыбные садки,
И карканье ворон над рощей,
И жар костра, который гложет Жанну,
И заросли терновника в снегу,
Лукавинку зари, и грязные закаты,
И горы, молодеющие утром,
И дедов терпеливую отвагу,
И шелковистость свежей древесины,
И отречение, и честь,
Седую смерть,
И будничную боль,
И горькую любовь,
Тускнеющее счастье,
Тебя, меня — родные пустяки.

1957

жизнь, ветер

Жизнь сочинит на скорую руку
весеннюю грозу — и опять в путь-дорогу,
опять в путь-разлуку, и сто обещаний,
и все на ветер, и сто дерзаний,
и крах, горизонты чернее ночи,
и в путь, в путь, и жизнь, ветер —

жизнь очень ласковая, когда захочет.

1955

ночные звезды

Звезды ночные,
дырки в большом решете,
из которого нас,
неустанных повстанцев,
крикунов, непосед,
вытряхнули на землю.

Глаза живые,
друзья, часовые,
ни ветра нет
и ни дерева нет,
чтобы к вам подняться,
и в небо просунуть голову,
и снова увидеть
сплошной молодой свет.

1943

нечто смутное

Верблюжонок на дне пруда
щиплет задумчиво мох.
Растекается по губам
привкус забытой зари.

Верблюжонок в сердце костра —
не опалить бы горб! —
для нас фонари мастерит,
чтоб стало светло мечтам.

Верблюжонок с синих небес
хочет спуститься вниз,
хочет нам подарить
всяких чудных зверей,
ласточек и облака.

1947

благосклонность

Жизнь идет, куда я хочу.
Я вывожу ее погулять,
иду, с нее глаз не спуская,
веду ее шумной улицей,
веду моей песней,
которая прячется среди плит и плюща,
на кладбище, здесь,
где мне каждый камешек мил
и где мертвецы
мне не скажут ни слова упрека,
если я засмеюсь
возле их могил.

1947

кто владеет и чем?

Кто владеет и чем за заборами этими? Чья
эта гора, осажденная ротами леса,
чьи они, терпеливые стены, поле спелой пшеницы,
деревья миндальные,— чьи?
Ты уверен, что эта усадьба — твоя,
что твой этот дом, этот пруд
и ребенок в саду?
Кто удержит в руках
стены хрупкие, неизменность цветка,
раздробленное наследство, высыхающие колодцы?
Кто прочтет на забытых замшелых могилах
имена угасших родов?
А ветер, и скалы, и смерть — чьи они?

1956

незадача

Ты не знала, что я тебя жду.
На восходе лица твоего я сбился со следа.
Снова меня окатила волна, но тебя не взяла.
Улыбка была и забвенье, беспредельнее, чем океан.
Зачем не посмел я от края до края рану твою исходить.
Дерево жилы свои натянуло, конь стреножил себя.
Всю надежду до капли я отдал, чтобы пустыню твою сохранить.
Что теперь мне вода, глубина, птичья ложь на заре?
Все так ясно и пусто вокруг.
То другая была. Этой не существует.

1943

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

рождество на железной дороге

Святой Иосиф никогда не видал паровоза
и очень боялся потерять в суматохе билеты.
Был вечер Великого Бегства. Вокзал лихорадило
светом, свистками, людской толчеею и спешкой.
Пришли слишком рано. Потом задержались в буфете.
Остались без места в переполненном душном вагоне,
и кто-то сказал им, что сели не в тот они поезд.
Никто не пришел проводить их:
друзья об отъезде не знали.
Дым желтый и синий
подобно дракону выплевывал мчавшийся поезд,
который менял направленье на стрелках,
и дальше он мчится, быстрей и быстрее,
и вот уже стали вдали исчезать и огни, и предместья.

Стояла в проходе вагона... Кто сжалится
над молодою беременной женщиной?
Кто ее стоны услышит? Заметит ее красоту?

В купе, что напротив, зелоты,
усевшись за трапезу, ссорились между собою.
Солдаты хвастались друг перед другом.
Откупщик-лихоимец
со своею любовницей, негритянкой красивой,
напротив сидел.
И какой-то священник притворялся читающим книгу...

Мчится с грохотом поезд, и вот уж ребенок
в ночи материнской начинает испытывать страх.
Погрузимся в пространство... Пусть дождь или
снег — безразлично.
Здесь жарко даже на шумных мостах,
когда снизу прохлада идет от реки.
Время в сон погружается. И города друг от друга
все дальше.

Проносится поезд мимо селений и мимо лесов,
мимо станций неведомых, где опускаются
и поднимаются снова шлагбаумы,
над которыми звездные своды повисли.
Пение ангелов, приглушенное тучами,
не проникает сквозь грохот вагонов,
и, стоя возле окна, закрывает Дева глаза.

«Выходите! Приехали!» Раннее утро.
Святой Иосиф собирает пожитки.
Кондуктор открывает двери вагона.
На станции ослик и бык ожидают.
«Ах,— произносит робко Мария,—
значит, здесь предначертано Слову свершиться».

1957

час ребенка

Огромная курица на колокольне высокой
Снесла яйцо, по которому можно время узнать.
В полдень солнце своими лучами заводит его,
Поочередно утро и вечер его согревают.
Луна по ночам его охраняет, чтобы оно отдыхало.
Но и во сне оно продолжает работать.
А на заре петушок из него вылетает
И песню поет, усевшись на громоотводе.
Колокола звонят иногда, чтобы развлечь его или утешить.
Вот каков он, мой край, где время делает то, что должно оно делать.
И вот почему я хочу, чтобы ты здесь родился и научился мечтать.

1948

портрет Жака Превера

Испытал он в жизни не меньше,
Чем каждый из нас, но при этом
Верил упорно в счастье
И никогда не сдавался.

Внушая страх негодяю,
Он помогал влюбленным
Смотреть с восхищеньем на розу.
И вырывал шипы
У старого, страшного неба,
Чтобы разбитому сердцу
Преподнести на ладони
Самую чистую радость,
Усыпанную цветами.

А чтобы детей позабавить,
Он играет словами,
Он с птицами говорит и зверями
И утверждает власть
Реального мира, который
Так ласков и так прекрасен,
И такие глаза у него голубые,
И такой красивый наряд,
Особенно в ту минуту,
Когда мой друг Жак Превер
На него устремляет взгляд.

1949

голубые глаза

В небе голубом
Плавали две птицы,
Плавали две птицы
В коротеньких штанишках.

Они подстерегали
Приход весны и лета,
И клювики их стали
Похожи на цветы.

А может быть, они
Раскрыть секрет хотели,
Чтоб не грозила нам
Большая неприятность?

А может быть, они
Чего-то испугались
И улететь хотели
Подальше от земли?

Увидел их ребенок,
Ему смешно и страшно.
Куда они летят?
О чем они поют?

Мои стихи об этом
Не знают, не расскажут.
Но, может быть, ребенок
Сумеет рассказать.

1947

Перевод с французского М. КУДИНОВА

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ

Рассказы

В мае, в мае куковала кукушка

Безумны мартовские утра у реки. Ты еще лежишь в полусне, часа так в четыре, а тревожный животный стон чудовищ-пароходов разносится над городом, разрывая льдисто-розовую утреннюю мглу, смешиваясь с пронзенным солнечными лучами серебристым дыханием реки, и во сне, последнем перед тем, как наступит день, часа так в четыре, ты видишь уже не светлоногих разоспавшихся девушек — нет, в розовой утренней мгле, среди пароходных гудков, утром у реки тебе снятся совсем иные сны, не черный хлеб, не кофе и холодное жаркое, не что-то лепечущие, ерзающие девушки, нет, тебе снятся совсем иные сны, полные предчувствий,— утренние, последние, всемогущие, смутные сны видятся тебе в безумные мартовские утра у реки, часа так в четыре...

Безумны ноябрьские ночи опустелых серых городов, когда крик паровоза в сине-черных пригородных далях, боязливый, истерический, отважный и обещающий, врывается в первый сон, самый первый сон, крик паровоза, долгий, тоскливый, непостижимый; он заставляет нас повыше натягивать одеяло и крепче прижиматься к ночному обворожительному зверьку, зовущемуся Эвелиной или Хильдой. В эти ночи, полные ноября и криков паровоза, девушка от сладострастия и горя становится зверьком, сонливым, трепещущим, ненасытным, паровозно-ноябрьским зверьком, ибо безумны, ах, безумны ночи в ноябре.

Это крики мартовского утра, истошные крики пароходов на реке, это ночные ноябрьские крики паровозов над посеребренными рельсами в посинелых от страха лесах, но мы знаем, мы знаем еще и вскрики кларнета по вечерам в сентябре, они несутся из баров водкой и духами; и знаем апрельские крики котов, жуткие, сладострастные, знаем июльские вскрики шестнадцатилетних девушек, которых запрокидывают над перилами первого попавшегося моста, покуда слезы не выступят у них из глаз; мы знаем и морозно-январские сладострастно-испуганные, дикие вскрики юношей, вскрики непризнанных гениев над несостоявшимися драмами и неудавшимися стишками.

Этот всемирный кромешный крик, затуманенный ночью, подсиненный ночью, чернильного цвета, звездный, кроваво-рассветный крик, мы знаем его, помним его, сносим его снова и снова год за годом, день за днем, ночь за ночью.

Но кукушка, кукушка в мае! Кто из нас в силах снести в майские душные ночи, в майские полдни ее безумное, ленивое, возбужденное ку-

кование? Кто из нас может привыкнуть к маю с его кукушкой, найдется ли такая девушка, такой мужчина? Год за годом, ночь за ночью сызнова сводит она с ума жадно дышащих девушек, одурманенных мужчин, эта кукушка, кукушка в мае, эта майская кукушка. Ведь и в мае кричат паровозы, и пароходы, и коты, и женщины, и кларнеты — кричат тебе что-то, когда ты один проходишь по улице под вечер в сумерках, а тут еще кукушка обрушивается на тебя. Свистки на железной дороге, гудки пароходов, кошачьи вопли, меканье кларнетов, всхлипыванье женщин — но кукушка как сердце в майской ночи, как живое, бьющееся сердце, и, когда она неожиданно обрушится на тебя ночью, майской ночью, тебе не помогут уже ни пароходы, ни паровозы, ни кошачья возня, ни женская, и кларнет не поможет. Кукушка смеется над тобой, когда ты спасаешься бегством. Куда? — хохочет кукушка. Куда ты — в мае? И ты стоишь, ополоумевший от кукушки, со всеми твоими всемирными желаниями, один стоишь, не зная, куда бежать, тогда ты ненавидишь май, ненавидишь за любовную тоску, за мировую скорбь, ненавидишь своим одиночеством, ненавидишь эту кукушку в мае, эту кукушку, кукушку.

И мы бежим, таща за собой свою кукушечью судьбу, и, ах, не сбросить нам кукушечьего жребия, этого рока, нависшего над нами, бежим среди росистой ночи. Кукушка, кукушка! Кукуй о своем одиночестве весне и маю, кричи, кукушка, сестра моя, птица, отверженная, покинутая, я знаю, сестра моя кукушка, все твое кукованье — это вопль о матери, оставившей тебя на произвол майской ночи, тебя, чужую, подброшенную чужим; кричи, кукушка, выкрикивай звездам свое сердце, кричи... Кричи, птица-сирота, посрами поэтов! Не знают они твоей безумной вокабулы, их одиночество и тоска становятся болтовней, и только когда молчат, совершают они свой великий подвиг, птица-сирота. Тогда твой материнский крик гонит нас сквозь бессонные майские ночи, тогда совершаем мы свой подвиг. В несказанном одиночестве, ледяном, мужественном, живем мы тогда, живем без безумных твоих вокабул, сестра-птица, ибо последнего, последнего слова они все равно не скажут.

Героически умолкшим поэтам надо пойти и поучиться, как шьют башмаки, ловят рыбу, кроют крышу, потому что вся их суета — болтовня, мучительная, кровавая, отчаянная в сравнении с майскими ночами, кукованием кукушки, в сравнении с истинной вокабулой жизни. Ибо кто из нас, кто знает рифму к предсмертному хрипу простреленного легкого, рифму к воплю казнимого, кто знает метр и ритм изнасилованья, кто знает метр для лая автоматов, вокабулу для только что остановившегося глаза мертвой лошади, в котором больше не отражается небо, не отражаются даже горящие деревни? В какой типографии найдутся литеры для ржавой красноты товарных вагонов, красноты всемирного пожара и другой кровавой красноты, запекшейся на белой человеческой коже? Отправляйтесь восвояси, поэты, отправляйтесь в леса, ловите рыбу, валите деревья и совершайте свой героический подвиг: молчите! Молчите о кукушечьем кукованье своего одинокого сердца, ибо нет рифмы на это, нет для этого метра: ни драма, ни ода, ни психологический роман не вместят кукованья кукушки, ни в одном словаре, ни в одной типографии не найдется вокабул или литер для твоей бессловесной ярости, для твоей боли, для твоей любовной тоски.

Ведь засыпаем же мы под треск рухнувших домов (ах, поэт, нет у тебя вокабулы для вздохов умирающих домов), засыпаем под уханье гранат (в какой типографии найдутся литеры для этого металлического крика?), мы спали под стон штрафников и насилуемых девушек (кто знает рифму для этого, кто знает ритм?). Но как ужаленные вскакивали в майские ночи от немой муки своих сердец здесь, в весеннем мире, ибо кукушка, только кукушка знает вокабулу для своего одиночества, для своей сиротской беды. А нам, нам остается героический подвиг, диковин-

ный подвиг: одинокое наше молчанье. Ведь для грандиозного воя этого мира и для адской его тишины нет у нас даже приблизительных вокабул. Все, что мы можем сделать,— это складывать, накапливать, подсчитывать.

Но безумную, бессмысленную отвагу для книги мы должны иметь! Мы запишем свою беду, может быть, дрожащими руками, воздвигнем ее перед собою в камне, в чернилах или в нотах, в единственной перспективе, в неслыханной красочности, заботливо собранную, точно рассчитанную, и это составит книгу в двести страниц. Но в ней будет всего-навсего несколько иронических замечаний, две-три записи фактов, памятные заметки — все скупо истолкованное, нигде не объясненное, ибо двести печатных страниц — это только комментарий к двадцати тысячам невидимых страниц, сизифовых страниц нашей жизни, и для них у нас нет ни вокабул, ни грамматики, ни литер.

Но чего только нет на этих двадцати тысячах невидимых страниц нашей книги — гротескная ода, смехотворный эпос, трезвейший и самый роковой из романов: наш безумный шарообразный мир, наше трепетное сердце, наша жизнь! Это книга нашего сумасшедшего, бесстрашного, пугливого одиночества на омертвелых ночных улицах.

Но те, что едут по вечерам по каменному городу в освещенных желто-красных жестяных трамваях, те-то должны быть счастливы. Ведь они стремятся куда-то, точно знают название своей станции, они уже с прохладцей произнесли его, как люди, с которыми ничего не может случиться, не поднимая глаз; они знают, где их остановка (а всем им ехать недалеко), и знают, что трамвай довезет их туда. В конце концов они же за это заплатили государству: одни налогами, другие — ампутированной ногой да еще двадцатью пфеннигами за билет. (Инвалидам войны половинная скидка. Одноногий за свою жизнь 7862 раза проезжает на трамвае за половинную плату. Он экономит 786 марок 20 пфеннигов. Значит, его нога, давно сгнившая под Смоленском, как-никак стоила 786 марок 20 пфеннигов.) Но они счастливы, эти люди в трамвае. Должны быть счастливы. Не испытывают ни голода, ни тоски по родине. Откуда взяться голоду или тоске по родине? Станция известна, и у них у всех при себе кожаные сумки, картонные коробки или корзины. Кто-то читает «Фауста», иллюстрированный киножурнал или проездной билет, тут тебе не разобраться: они хорошие актеры. Сидят с окаменелыми, внезапно состарившимися ребячьими лицами, беспомощные, важные и разыгрывают из себя взрослых. И девятилетние им верят. Но больше всего они хотели бы скатать шарики из билетов и начать перебрасываться ими исподтишка. Так счастливы они потому, что в корзинах, сумках и книгах, которые люди везут с собой вечером в трамвае, имеются средства против тоски по родине и голода (пусть это окурок, которым можно нажеваться досыта, пусть даже билет, с которым пускаешься в бегство). Те, те, что везут с собою корзины и книги, те вечером в трамвае должны же быть счастливы, ведь они под укрытием своих соседей с их очками, кашлем или синим носом, под укрытием плотной спины кондуктора в форменном кителе, с грязными ногтями и золотым обручальным кольцом, заставляющим простить ему эти ногти; потому что только ногти холостяка неприятны, когда они грязные. У женатого трамвайного кондуктора наверняка уж есть маленький садик или ящик с цветами на балконе, или же он мастерит парусные яхты для пятерых своих детей (ах, для себя он их мастерит, для своих тайных странствий!). Те, что укрылись вечером за спиной такого кондуктора в умеренно освещенном трамвае, потому что лампы не слишком светлы и не слишком тусклы, должны же они быть успокоены и счастливы — кукушечий крик не срывается с их скупых дешевых горьких губ, кукушечий крик не проникает к ним сквозь толстые стекла очков. Они не знают подавленности и слов-

но бы укрыты — ах, как бесконечно надежно укрыты! — под солидными, чуть подслеповатыми лампами трамвайного вагона, под заурядными звездами своих будней, унылыми светилами (под зелеными колпаками, опутанными паутиной), которыми отечество оделяет своих детей в учреждениях, на вокзалах, в уборных и в трамваях. Да, эти состарившиеся дурашливые, ворчливые дети вечером в трамваях под чинно расположенными лампами, они должны быть счастливы, ибо страха (этого майского страха, кукушечьего страха) они не испытывают. У них же горит свет. Они же не знают о кукушке. Они заодно, если что и случится (убийство, столкновение, гроза). И они знают, куда ехать. И они укрыты в желтокрасных жестяных трамваях, они под лампами, при кондукторе и соседе (даже если у него отрыжка после селедки), в стенах каменного темного вечернего города.

Никогда жизнь не атакует их, как того, кто один стоит на улице: без лампы, без станции, без соседа, голодный, без корзины, без книги, оглушенный кукушкой, полный страха. Но те, нагие и бледные, что стоят на улицах, когда мимо звенят, грохочут трамваи (их звон и грохот загоняют страх и тоску по родине обратно в сумрачные подворотни!), трамваи, полные страстного дыма, с их успокаивающими заурядными лампами и успокоенными лицами под ними, смотрящими навстречу десяти тысячам будней, которые им еще предстоят, когда трамвай давно уже завернул за угол,— те, нагие и бледные, принадлежат улице. Улица — их небо, их благоговейное паломничество, их бешеная пляска, их ад, их постель (на парковых скамейках, под мостами), их мать, их девушка. Эта серо-каменная улица — их пропыленный, молчаливо-надежный купол, застывший, верный, навечный. Эта мокрая от дождя, палимая солнцем, затканная звездами, залитая луною, открытая ветрам улица — их проклятие, их проклятие, их вечерняя молитва, если у какой-то женщины нашелся лишний стакан молока, их проклятие, если до города, до ближайшего города сегодня уже не добраться. Эта улица — их уныние, и она — их безоглядная отвага. И когда ты проходишь мимо них, они на тебя смотрят как владетельные князья, эти заплатанные короли босяцкой милостью, и, закусив губы, выкладывают тебе все свое великое, жестокое, спесивое, гневливое богатство.

Улица принадлежит нам. Звезды над нами, нагретые солнцем камни под нами. Визгливый ветер и пахнущий землею дождь. Улица принадлежит нам. Мы проиграли наше сердце, нашу чистоту, нашу мать, наш дом и войну, но улицу, нашу улицу, мы никогда не проиграем. Она принадлежит нам. Ее ночь под Большой Медведицей. Ее день под желтым солнцем. Ее поющий, звенящий дождь. Все: этот запах ветра, солнца и дождя, влажнотравяной запах мокрой земли, цветов и девушек, запах, слаще которого нет на свете,— эта улица принадлежит нам. С эмалированными дощечками акушерок и заросшими кладбищами справа и слева, с позабытою мглой вчерашнего дня, встающей вслед за нами, с нечаянной утренней мглой вон там, впереди. И мы стоим, завороженные кукушкой, маем, сдерживая слезы, героически сентиментальные, обманутые романтики, одинокие, мужественные, тоскующие сироты, кичливые, потерянные. Потерянные между деревней и деревней. Одинокие в миллионнооком городе. Кукуй, птица-сирота, кричи о помощи, кричи за нас, ибо нет у нас последних вокабул, нет рифм, нет метра для всех наших бед.

Но иной раз, птица-сирота, иной раз, редко — странно и редко,— едва светящийся желтый трамвай вновь безжалостно ввергнет улицу в ее черную оставленность, вдруг все же иной раз, в ином городе (редко, о, так странно и редко) все же останется окно. Светлый теплый искусительный четырехугольник в холодном каменном колоссе, в ужасающей черноте ночи — окно.

И тогда все случается быстро и деловито. Ты только успеваешь мысленно отметить: окно, женщина и майская ночь. Вот и все — бессловесно, банально, отчаянно. Как глоток водки, торопливый, горький, острый, дурманящий. В сравнении с этим все только болтовня. Ибо это жизнь: окно, женщина и майская ночь. Истрепанный кредитный билет на столе, шоколад или какое-то украшение. И ты отмечаешь: ноги, и колени, и бедра, и груди, и кровь. Живее глотай! Завтра опять будет куковать кукушка. Все остальное — прекраснодушная болтовня. Все. Ибо это жизнь, для которой у нас есть вокабула: горячая, страстная суета. Живо глотай водку! Она жжет и дурманит. На столе лежат деньги. Все остальное — болтовня, ибо завтра, уже завтра опять закукует кукушка. А сегодня вечером только банальная запись: окно, женщина. Этого довольно. Все остальное — в три часа ночи закуковала кукушка. Когда светает. Но сегодня вечером, наконец-то, окно. И женщина. И женщина.

В первом этаже растворено окно. Еще растворено на ночь. Кукушка голосом, зеленым, как пустая бутылка из-под джина, кукует в шелковой, жасминной ночи пригорода. Окно еще растворено. Мужчина стоит среди зелено-крикливой кукушечьей ночи, жасмин совершил на него нападение, мужчина голоден и истерзан тоской по растворенному окну. Окно растворено (как редко это бывает!). Женщина выглядывает из него. Бледная. Белокурая. Должно быть, длинноногая. Мужчина думает: уж наверно длинноногая, судя по типу. И она заговаривает так, как все женщины, вечером стоящие у окна. Вполголоса, с животным теплом. Бесстыдно и лениво возбужденная, как кукушка. Тяжко-сладостно, как жасмин. Темно, как город. Сумасшедше, как май. Профессионально, поночному говорит она. Минорно-зелено, как пустая бутылка из-под джина. И не цветя цветисто. А мужчина под окном — скрипучим голосом, нелюбимо и одиноко, как иссохшая кожа его сапог:

— Значит, нет?

— Я же сказала...

— Значит, нет?

. . . . . .

— А если я дам хлеба?

. . . . . .

— Значит, без хлеба нет, а если я дам, тогда?

— Я же сказала, мальчик...

— Тогда, значит, да?

— Да.

— Да, значит. Гм. Ну что ж.

— Я же сказала, мальчик, если дети нас услышат, они проснутся. И захотят есть. И если у меня для них не будет хлеба, они больше не уснут. Всю ночь будут плакать. Пойми же.

— Я дам хлеба. Открой мне. Я дам. Вот он. Открой.

— Иду.

Женщина открывает дверь, а мужчина закрывает ее за собой. Под мышкой он держит хлеб. Женщина затворяет окно. Мужчина видит картину на стене. Двое голых детей с цветами. Картина вставлена в широкую золоченую раму и очень пестра. Особенно цветы. А дети, пожалуй, слишком толстые. «Амур и Психея» называется картина. Женщина затворяет окно. Потом затягивает гардины. Мужчина кладет хлеб на стол. Женщина подходит к столу и берет хлеб. Над столом висит лампа. Мужчина смотрит на женщину и слегка выпячивает нижнюю губу, словно пробует что-то. Тридцать четыре, пожалуй, думает он. Женщина с хлебом идет к шкафу. Затем возвращается к столу. «Да»,— говорит она. Мужчина начинает сметать крошки со стола указательным пальцем. «Да»,— произносит она. Мужчина смотрит на ее ноги, снизу доверху. Они видны почти полностью. На женщине только тонкая прозрачная

светло-голубая нижняя юбка. Ее ноги видны почти полностью. И вот на столе уже нет крошек.

— Можно мне снять куртку? — говорит мужчина.— Идиотская куртка!

— Да. Вы говорите о цвете?

— Крашеная она.

— Ах, крашеная? Цвета пивной бутылки.

— Бутылки?

— Да, такая зеленая.

— Ах да, зеленая. Я ее здесь повешу.

— Точь-в-точь бутылка.

— Ну, твое платье ведь тоже...

— Что мое платье?

— Небесно-голубое.

— Это не платье.

— Ах вот что.

— Красиво, правда?

— Н-да...

— Остаться так?

— Да, да, конечно.

Женщина все еще стоит у стола. Она не понимает, отчего мужчина продолжает сидеть. Но он устал. «Да»,— говорит женщина и оглядывает себя. Теперь и мужчина на нее смотрит. Снизу доверху.

— Знаешь что...— говорит мужчина и смотрит на лампу.

— Само собой разумеется,— отвечает она и тушит свет.

Мужчина и впотьмах тихо сидит на своем стуле. Она проходит совсем близко от него. Он чувствует теплое дуновение, когда она проходит. Совсем близко проходит. Он слышит ее запах. Он его вдыхает. Он устал. Тут она говорит из другого угла (издалека, думает мужчина): «Иди же!» «Иду»,— отвечает он, притворяясь, что только и ждал приглашения. Он натыкается на стол: «Ох ты стол!» «Я здесь»,— говорит она впотьмах. Ага! Он слышит ее дыхание совсем рядом. Он осторожно протягивает руку. Оба слышат дыханье друг друга. Его рука на что-то наталкивается. «О,— говорит он,— вот ты где!» Это ее рука. «Я в темноте нашел твою руку»,— смеется он. «Я тебе ее протянула»,— говорит она совсем тихо. И вдруг кусает его за палец. Тянет его книзу. Он сел. Они оба смеются. Она слышит его быстрое дыханье. Ему от силы двадцать, думает она, он боится. «Эй ты, пивная бутылка»,— говорит она. Она берет его руку и кладет на свою грудь, на дышащую ночной прохладой кожу. Он чувствует, что небесно-голубую штуку она все же сняла. Он чувствует ее грудь. Он развязно бросает в темноту (хотя уже задыхается): «Эй ты, молочная бутылка. Ты знаешь, что ты молочная бутылка?» «Нет,— отвечает она,— этого я до сих пор не знала». Они оба смеются. Куда ему, он слишком молод, думает она. Да, она такая же, как все, думает он. Перед ее кожей его разбирает страх. Он старается не шевелить руками. Совсем еще ребенок, думает она. Все они такие, думает он, все такие. Он не знает, что делать со своими руками, лежащими на ее груди. «Тебе холодно,— говорит он,— холодно, да?» «Это в середине-то мая? — смеется она.— В середине мая?» «Что ж,— говорит он,— ночью неудивительно». «Но ведь май на дворе,— говорит она,— середина мая. Слышишь, кукушка кукует, тише ты, слушай, кукушка кукует, слушай же, не дыши так громко, слушай, слушай: кукушка! Вот опять. Раз, два, три, четыре, пять — все? Нет! Шесть, семь, восемь, слышишь? И еще — девять, одиннадцать, да слушай же: ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку... Пивная бутылка, порожняя пивная бутылка, вот кто ты»,— тихонько говорит женщина. Говорит презрительно, и по-матерински, и шепотом. Потому что мужчина спит.

Утро настает. За гардинами уже сереет. Наверно, скоро четыре. И уже опять кукует кукушка. Женщина не спит. Наверху уже кто-то ходит. Загудела машинка для резки хлеба — раз, два... четыре, пять раз. Заурчал водопровод. Шаги — в сенях, на лестнице. Дверь скрипит. Жилец сверху в половине шестого должен быть на верфи. Похоже, что уже половина пятого. Велосипед на улице. Кругом все светло-серо и уже чуть розовеет. Светлая серость медленно сочится от окна сквозь гардины — к столу, к спинке стула, к карнизу на потолке, к золотой раме, к Психее и к руке, сжатой в кулак. Утром в половине пятого еще средь предрассветной серости спящий человек сжимает кулак. Светлая серость сочится от окна сквозь гардину на лицо, на часть лба, на ухо. Женщина не спит. Наверно, уже давно. И не движется. Но у мужчины с кулаком, сжатым во сне, голова тяжелая. Вчера она упала ей на грудь. Уже половина пятого. А мужчина лежит, как лежал с вечера. Худой, долговязый юноша с кулаком и тяжелой головой. Когда женщина осторожно пытается отодвинуть от своего плеча его голову, она дотрагивается до лица. Оно мокро. Что у него за лицо, думает светло-серая женщина на рассвете о мужчине, который пролежал с ней всю ночь, всю ночь проспал, сжимая кулак, а теперь лицо у него мокрое. И что это за лицо в светлой серости утра? Мокрое, длинное, несчастное, одичалое лицо. Мягкое лицо, сероодинокое, дурное и хорошее. Лицо. Женщина осторожно высвобождает плечо из-под головы, пока он наконец не опускается на подушку. Тут женщина видит его рот. Рот смотрит на нее. Что это за рот? А рот на нее смотрит. Смотрит, покуда у нее глаза не заволакиваются слезами.

«Это же так просто,— говорит рот,— ничего тут особенного нет, все так просто! И не надо тебе снисходительно улыбаться, снисходительно и по-матерински. Перестань, говорят тебе, слышишь, не то я... я ведь все это знаю, перестань. Я знаю, мне надо было наброситься на тебя вчера вечером, искусать твои белые плечи и мягкое тело у бедер, надо было так тебя отделать, чтобы ты в угол забилась и там стонала от боли: «Еще, мой мальчик, еще!» Вот что тебе думалось. О, он еще молод, думала ты вчера, стоя у окна, он еще не вконец истаскался, не то, что трусливые старые отцы семейств, которые вечером, минут на пятнадцать, разыгрывают из себя донжуанов. О, думала ты, этот желторотый уж справится с женщиной. И тут я вошел. От тебя пахло зверем, но я устал, понимаешь, я хотел сначала немножко вытянуть ноги. Могла бы и не снимать нижней юбки. Ночь миновала. Ты ухмыляешься, оттого что тебе стыдно. Ты меня презираешь. Думаешь, я еще не был мужчиной. Конечно, думаешь, оттого у тебя и выражение лица материнское. Ты думаешь, я еще мальчик. Ты ко мне испытываешь сострадание, презрительное материнское сострадание из-за того, что я на тебя не накинулся. Но я мужчина, пойми ты, давно уже мужчина. Я просто устал вчера, не то я б уж тебе показал, можешь не сомневаться. Потому что я уже давно мужчина,— говорит рот,— понимаешь, давным-давно. Я ведь уже и водку пил, голубушка моя, настоящую русскую водку, 98 градусов, дорогая моя, и мне все было нипочем, и стрелял я, и один-одинешенек сидел в секрете, и командир роты говорил мне «ты», а фельдфебель Бранд всегда менялся со мной, менял сигареты на искусственный мед, он его очень любил, у меня всегда было вволю сигарет, а ты думаешь, я еще мальчик! Еще перед тем как нас отправили в Россию, вечером я пошел к женщине, давно это было, дорогая моя, к женщине пошел, целый час пробыл, она даже охрипла и стоила дорого, настоящая женщина, взрослая, она со мной не нянчилась, просто спрятала мои деньги и сказала: «Ну-с, когда же в дорогу, голубок, в Россию ведь гонят, а? Хочешь напоследок с немкой попробовать, так, голубок?» «Голубок», сказала она мне и еще воротник мундира расстегнула. Но потом она все теребила бахрому скатерти и смотрела в стенку. Время от времени,

правда, опять говорила «голубок», но потом встала, помылась и уже внизу у дверей сказала «прощевай!» Вот и все. В соседнем доме пели «Розамунду», из окон то тут, то там высовывались женщины, и все говорили «голубок». Все решительно — «голубок». Это было прощанье с Германией. Но самое худшее случилось следующим утром, на вокзале».

Женщина закрывает глаза. Потому что рот, рот растет. Потому что рот становится большим, и жестоким, и большим.

«Это же так просто,— говорит гигантский рот,— ничего тут особенного нет. Самое обыкновенное дело. Оловянное утро. Оловянный вокзал. Оловянные солдатики. Солдатики — это были мы. Ничего особенного не случилось. Самое обыкновенное дело. Вокзал. Товарный поезд. И лица. Вот и все, что было.

Когда мы забрались в товарные вагоны, от них разило скотом, от вагонов, кроваво-красных, и тут наши отцы стали шумны и веселы, несмотря на свои оловянные лица, и отчаянно замахали шляпами. А наши матери утирали пестрыми платочками свое безмерное горе: «Смотри не потеряй новые носки, Карлгейнц!» И возлюбленные были там, у них еще губы болели от прощанья, и груди, и... все у них болело, а сердце и губы еще пылали, и пожар прощальной ночи не погас, далеко еще не погас в оловянных телах. А мы пели, так прекрасно пели, пели на весь белый свет, и ухмылялись, и орали так, что сердца стыли у наших матерей. Но вот вокзал — «Ему рабов не надо!» — но вот матери — «Сабля, меч, копье» — и матери, и возлюбленные стали все уменьшаться, а шляпа отца, а шляпа отца еще долго махала: «Будь храбр, Карлгейнц, стой насмерть, будь храбр, мой сын». А наш ротный сидел и записывал в донесение: отбытие 6 часов 23 минуты. В кухонном вагоне рекруты с мужественными лицами чистили картошку. В конторе на Бисмаркштрассе господин доктор Зоммер, адвокат и нотариус, сказал: «Моя авторучка сломалась. Пора, пора войне кончаться». За городом вскрикивал паровоз. А в вагонах, в темных вагонах каждый еще чуял запах сгоревших возлюбленных. В темноте чуял. Но при свете коптилки не позволил себе ни единой слезы. Никто из нас. Мы пели безутешную мужскую песню о Мадагаскаре, а кроваво-красные вагоны воняли скотом, ведь люди были у нас на борту. Э-ге-ге, друзья, и никто не позволил себе ни единой слезы, э-ге-ге-ге, девчушка, каждый день кто-нибудь падает за борт, а в воронках разлагается неповторимый красный теплый малиновый сироп, однократный сироп, для которого нет замены и который ни за какие деньги не купишь, ни за какие... И когда страх заставлял нас глотать придорожную грязь и бросал в растерзанное материнское лоно земли, тогда мы заклинали небо, глухонемое небо: не вводи нас во искушенье дезертирства и отпусти нам вот эти автоматы, прости нас. Но не было никого, никого, чтобы простить нас. Никого не было. А дальше... но для этого не существует вокабулы, перед этим все — болтовня, ибо кто знает размер для жестяного лая автоматов и кто знает рифму для вскрика восемнадцатилетнего мужчины, который, зажав в руках свои кишки, исходит стонами на передовой? Кто же, кто? Ах, никто...

Когда в то оловянное утро мы оставляли за собою вокзал и кивающие нам вслед матери становились все меньше и меньше, мы отлично пели, потому что война, война была нам по вкусу. Но пришла она потом. Потом она уже была. И перед нею все сделалось болтовней. Не нашлось вокабулы под стать ей, рыкающему, могучему, заразному зверю, не нашлось. Да и что, собственно, зовется la guerre, или the war, или война? Жалкая болтовня рядом со звериным рыком огнедышащей пасти орудийного жерла. И предательство перед огнедышащей пастью преданных и проданных героев. Жалким образом преданных во власть металла, фосфора, голода и снежной бури и песков пустыни. И вот мы

снова говорим: «C'était la guerre»,— и война, и ужас нас не охватывает; ни крика, ни содроганья. Сегодня мы просто говорим: «Была война». И больше ничего, потому что нет у нас вокабул, чтобы хоть на секунду воссоздать ее, хоть на одну секунду. И мы опять просто говорим: «О да, так это было». Ибо все остальное — болтовня, нет ведь вокабул для нее, нет рифмы и ритма, так же как нет ни оды, ни драмы, ни психологического романа, которые бы вместили ее, не лопнули бы от ее кроваво-красного рыка. И когда мы подняли якорь, стенки набережной скрежетали от жгучего стремления доплыть до темной страны Война, и мы пели от смелости, мы, мужчины. О, столько в нас было рвения, что мы пели, пели в вагонах для скота. И на всех вокзалах, гремящих музыкой, маршами, нас, ликуя, провожали в темную, темную страну Война. И тут она настала. Пришла. И прежде чем мы ее поняли — кончилась. А между тем и этим пролегла наша жизнь. То есть десять тысяч лет. Но теперь она кончилась, и с прогнивших досок заблудившихся кораблей нас по ночам презрительно выплевывает на берег страны Мир, непонятной страны. И никто, никто не узнает нас, двадцатилетних стариков: так нас опустошил рев войны. Кто еще помнит нас? Где те, что еще могли бы нас узнать? Где они? Отцы прячутся за своими застылыми лицами, а матери, семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре раза убитые матери, задыхаются от своей беспомощности перед мукой наших отчужденных сердец. А возлюбленные, возлюбленные в испуге чуют запах катастрофы, что, как холодный пот, проступает из нашей кожи ночью в их объятиях, ощущают одинокий металлический вкус наших поцелуев, цепенея, вдыхают из наших волос марципанно-приторную дымящуюся кровь убитых братьев и не могут понять нашей горькой нежности. Ибо в них мы насилуем нашу беду. Еженощно их убиваем, покуда одна не спасет нас. Одна. Спасет. Но никто нас не узнает.

И теперь мы бредем от деревни к деревне. Скрип колодезного насоса — это уже клочок родины. И охрипший дворовый пес. И скотница, что говорит нам «с добрым утром». И запах малинового сиропа, что слышится из какого-то дома. (У нашего ротного все лицо вдруг залило малиновым сиропом. Он тек даже изо рта. И ротный так был этим удивлен, что глаза у него сделались рыбьи: безмерно удивленные и глупые. Наш ротный очень удивился смерти. В толк не мог ее взять.) Но малиновый сироп по деревням — это уже клочок родного дома. И скотница с красными руками. И охрипший пес. Клочок — бесценный, ничем не заменимый клочок!

А теперь мы бродим и в городах. Уродливые, алчные, потерянные. И окна — редкость для нас, странность и редкость. Но все-таки они есть, вечером впотьмах, с теплыми от сна женщинами, розовый клочок неба. Но как они редки, как редки! И мы бредем к новому непостроенному городу, где все окна принадлежат нам, и все женщины, и все, все, все,— мы бредем к нашему городу, к новому городу, и по ночам наши сердца кричат, как паровозы, от алчности и тоски по родине — как паровозы. И все паровозы мчатся в новый город. И новый город — это город, в котором мудрые люди, учителя и министры, не лгут, и поэты обольщаются лишь разумом своего сердца. Это город, в котором не умирают матери и девушки не болеют сифилисом, город, где нет мастерских, изготовляющих протезы, и нет кресел на колесах, город, где дождь называется дождем и солнце — солнцем, город, где нет подвалов, в которых по ночам крысы пожирают бледнолицых детей, где нет чердаков, на которых вешаются отцы, оттого что у жены нет хлеба, чтобы подать на стол. Это город, где юноши не слепцы, не однорукие и где нет генералов. Это новый, великолепный город, в котором все друг друга слышат и видят, и все друг друга понимают: mon coeur, the night, your heart, the day — день, ночь, сердце.

И к новому городу, всем городам городу, бредем мы, голодные, сквозь майские кукушечьи ночи. И утром, когда мы просыпаемся и знаем, а нам дано это страшное знание, что нового города нигде не найти, что нет его нигде, этого города, мы опять становимся старше на десять тысяч лет, и наше утро холодно и горестно-одиноко, о, как одиноко, и лишь тоскующие паровозы — они остаются; они врываются в наш мучительный сон своим рыданием, в котором слышна тоска по чужим краям, тоска по родине, жадная, грозная, великая, возбужденная. И они продолжают кричать по ночам от боли на холодных бесчувственных рельсах. Но никогда уже не помчатся они в Россию, нет, не помчатся в Россию, потому что ни один паровоз не мчится больше в Россию, не мчится больше в Россию, ни один паровоз не мчится в Россию, в Россию, ни один, ни один паровоз больше не мчится туда, ни один, нет, нет, нет...

В гавани, из гавани уже слышится гудок раннего парохода. Возбужденно кричит какой-то баркас. И автомобиль. За стеной человек моется и поет: «И мы с тобой пространствуем немного!» А в другой комнате уже спрашивает ребенок: «Почему кричит баркас, автомобиль? Почему сосед поет за стеной?» И о чем только, о чем он не спрашивает!

Мужчина, что вчера принес хлеб, тот самый, в куртке цвета пивной бутылки, тот самый, что ночью сжимал кулак и чье лицо было мокро от слез, этот мужчина открывает глаза. Женщина отводит взор от его рта. И рот теперь так жалок, так мал, так исполнен горького мужества. Они смотрят друг на друга, зверь на зверя, один бог на другого бога, один мир на другой мир. (И нет для этого вокабулы.) Широким, добрым, отчужденным, бесконечным, теплым и удивленным взглядом смотрят они друг на друга, искони родные и враждебные, неразрывно потерянные друг в друге и друг для друга.

И наступает конец такой же, как все концы в жизни: банальный, бессловесный, захлестывающий. Вот дверь. Он уже стоит за нею, но еще не решается сделать даже первый шаг. (Ибо первый шаг означает: снова утрата.) Она стоит в доме и еще не решается захлопнуть дверь. (Ибо каждая захлопнутая дверь означает: снова утрата.) Но вот он уже удалился на несколько шагов. И хорошо, что он ничего больше не сказал. Ибо что, что могла бы она ответить? И вот он уже исчез в утренней мгле (мгла поднимается от гавани, пахнет рыбой и дегтем), исчез в утренней мгле. И хорошо, что он даже не обернулся. Очень хорошо. Ибо что она должна была бы сделать? Кивнуть? Неужто кивнуть?

Перевод с немецкого Наталии МАН.

Цветок одуванчика

Дверь позади меня закрылась. Двери позади нас закрываются очень часто. Их запирают на ключ, и это нетрудно себе представить. Например, входные двери в домах, и тогда мы оказываемся либо внутри, либо снаружи. Поэтому в таких дверях есть что-то окончательное, отсекающее, предательское. А вот за мной дверь задвинули, да, именно задвинули, ведь эта дверь неправдоподобно толста, ее нельзя просто захлопнуть. Безобразная дверь с номером 432. Необычность этой двери в том, что на ней есть номер и она обита листовым железом — потому-то она такая надменная и недоступная; она не поддается никаким уговорам, и самые горячие молитвы не трогают ее.

И вот меня оставили наедине с существом, нет, не только оставили наедине, меня заперли с глазу на глаз с тем существом, которого я боюсь больше всего на свете: с самим собой.

Ты знаешь, каково это, когда ты предоставлен самому себе, когда тебя столкнули с твоим Я, выдали твоему Я? Не могу сказать, чтобы меня в прямом смысле охватил ужас, но это одно из самых невероятных приключений, которое нам дано пережить в нашем мире,— встречу с самим собой. Именно такую, как в номере 432: когда ты наг, беспомощен и сосредоточен только на самом себе, вне каких-либо отвлекающих дополнений и без возможности действовать. А это самое жуткое — быть лишенным всякой возможности действовать. Не иметь бутылки, чтобы ее выпить или разбить, полотенца, чтобы повеситься, ножа, чтобы бежать или вскрыть себе вены, пера, чтобы написать,— словом, не иметь ничего, кроме своего Я.

Это дьявольски мало — в пустом помещении среди четырех голых стен. Это меньше, чем имеет паук, который из своего тела выпускает как бы мостки и может при этом рискнуть жизнью — сорваться или уцепиться. А какая паутинка удержит нас, если мы сорвемся?

Наша собственная сила? Или нас держит бог? Может быть, бог — та сила, которая заставляет дерево расти, а птицу летать? Может быть, бог это и есть жизнь? А тогда он, пожалуй, порой и удерживает нас — если мы хотим.

Когда солнце сняло пальцы с оконной решетки и ночь выползла из углов, в темноте что-то подступило ко мне, и я решил, что это бог. Или кто-нибудь открыл дверь? Разве я уже не один? Да, кто-то присутствует, дышит, разрастается. В камере стало тесно — я почувствовал, что стены должны расступиться перед тем, кто оказался здесь и кого я назвал богом.

Эй ты, человек номер 432, не давай ночи опоить тебя этим хмелем! Только твой страх с тобой в камере, больше ничего. Страх и мрак. Но страх — чудовище, а мрак может стать ужасающим, как привидение, когда ты с мраком наедине.

Тут луна побрела по крышам и сверху донизу осветила стены. Эх ты, обезьяна! Стены сдвинуты, как и раньше, а камера пуста, словно выеденная корка апельсина. Бога, которого называют добрым, нет здесь. А то, что здесь было и произнесло какие-то слова,— оно в тебе самом. Может быть, из тебя говорит какой-то бог — ты сам! Ведь ты тоже бог, все, даже пауки и макрель — боги. Боги — это жизнь, вот и все. И вместе с тем это так много, что большего и быть не может. А прочее — ничто. Но это ничто иногда берет верх над нами.

Дверь камеры была закрыта, точно орех, который никогда еще не открывался, известно, что сам собой он и не откроется,— его нужно расколоть. Вот как она была закрыта. А я, оставленный наедине с собой, рухнул в бездну. Но тут на меня, словно фельдфебель, заорал паук: «Трус!»

Ветер порвал его тенета, и он с усердием муравья выпускал новые и поймал меня, весившего сто двадцать три фунта, в свои снасти, легкие, как вздох. Я поблагодарил его, однако он не обратил на это ни малейшего внимания.

Так я медленно привыкал к самому себе. Мы легкомысленно предъявляем другим столь высокие требования, а едва в силах переносить самих себя. Но постепенно я стал находить, что мое Я — нечто весьма занимательное и веселое, и делал днем и ночью самые удивительные открытия.

Однако время тянулось, и я постепенно утратил связь со всем — с жизнью, с внешним миром. Они, словно капли, быстро и равномерно

стекали с меня. Я чувствовал, как из меня постепенно уходит действительная жизнь и пустоту заполняет мое Я.

Я чувствовал, что все дальше ухожу от жизни, в которую так недавно вступил.

Стены были до того холодны и мертвы, что я прямо-таки заболел, охваченный отчаянием и безнадежностью. Можно несколько дней кричать от тоски, но если не получаешь ответа — скоро устаешь. Можно несколько часов подряд колотить в дверь и в стены, но если они остаются неподвижными, то скоро разобьешь себе в кровь кулаки, и эта маленькая боль будет единственной радостью в твоей пустыне.

Но, видно, в этом мире нет ничего окончательного. Ибо надменная дверь отворилась, и еще многие двери, и каждая вытолкнула оробевшего небритого мужчину; заключенные выстроились длинной вереницей и зашагали по двору с зеленой травой посредине и серыми стенами по краям.

И тут вокруг нас и на нас, словно взорвавшись, обрушился хриплый лай — это лаяли голубые псы с ремнями на пузе. Они заставляли нас двигаться, и сами все время двигались, лаяли не переставая и нагоняли на нас страх. Но после того, как мы уже натерпелись страха и стали спокойнее, мы увидели, что это люди в бледно-голубых мундирах.

Мы ходили по кругу. Когда глаз преодолел первое потрясающее свидание с небом и снова привык к солнцу, можно было сощурившись разглядеть, что здесь очень много заключенных, люди бесцельно семенят по двору и так же дышат, как и ты,— пожалуй, человек семьдесят-восемьдесят.

Не останавливаясь, двигались они по кругу — под ритмичный стук своих деревянных башмаков, беспомощные, запуганные и все-таки на полчаса чуть повеселевшие. Не будь голубых мундиров с лающими лицами, можно было бы так трусить вечно — не ведая ни прошлого, ни будущего, отдаваться блаженству настоящего: видеть, шагать, дышать.

Так было вначале: почти праздник. Кусочек счастья. Но если долгие месяцы подряд наслаждаться без борьбы — люди начинают постепенно охладевать к такому наслаждению. Кусочка счастья уже не хватает — ты им сыт по горло, и тусклые капли тюремного существования, которому мы преданы, падают в наш стакан. А затем наступает день, когда хождение по кругу становится мукой, когда тебе кажется, что под этим высоким небом издеваются над тобой; в идущем впереди тебя и в идущем позади ты уже не видишь братьев, страдающих вместе с тобой, а только шагающие трупы, которые здесь лишь для того, чтобы вызывать отвращение, а ты между ними забит, как безликая планка в бесконечном дощатом заборе, и, увы, ничего не испытываешь, кроме тошноты. Вот как бывает, если долгие месяцы кружить среди серых стен и заученного лая бледно-голубых мундиров.

Заключенный, идущий впереди меня, давно мертв. Может быть, он бежал из паноптикума, и некий демон комизма заставляет его прикидываться нормальным живым человеком — хотя на самом деле он давно уже мертв. Да! Его плешь, окруженная растрепанным венцом грязно-седых вихров, лишена жирного блеска, присущего живой плеши, в которой еще могут тускло отражаться солнце и дождь, нет, его плешь без блеска, она обманчивая, тусклая и словно сделана из материи. Если бы это нечто, чего я и человеком-то не могу назвать, эта подделка под человека, не двигалось, его плешь можно было бы принять за парик. И даже не за парик ученого или великого пьяницы, нет, самое большее — за парик владельца писчебумажной лавчонки или циркового клоуна. Но упрям он, этот парик, удивительно — из одной наглости он уже не может отступить, ведь он догадывается, что я, идущий за ним, его ненавижу. Да, ненавижу. Почему этот Парик — я уж буду называть Па-

риком всего человека, так проще,— почему он может шагать впереди меня и жить, в то время как молодые воробышки, еще не умеющие летать, падают с желоба крыши и разбиваются насмерть?

Я, я ненавижу Парика за то, что он труслив — да еще как труслив! Ведь он чувствует мою ненависть, когда тупо семенит впереди меня по совсем маленькому кругу между серых стен, которые так жестокосердны к нам, иначе они однажды ночью вдруг ушли бы и обступили бы дворец, где живут наши министры.

Я уже давно размышляю о том, почему Парика засадили в тюрьму, какое деяние мог он совершить, если он настолько труслив, что даже не в силах обернуться ко мне, хотя я упорно его мучаю. А я мучаю его: то и дело наступаю ему на пятки, разумеется, нарочно и издаю губами такой звук, будто выплевываю ему на спину по четверть фунта мокроты. А он каждый раз вздрагивает от неожиданности. И все-таки у него не хватает смелости обернуться и взглянуть в лицо своему мучителю — нет, он слишком труслив для этого. Только на несколько градусов повертывает он в мою сторону негнущуюся шею, но сделать пол-оборота, чтобы встретиться со мной глазами, он не решается.

Какую штуку он мог отмочить? Может быть, совершил растрату или украл? Вызвал негодование общества половым извращением? Да, это возможно. Опьяненный каким-нибудь горбатым Эросом, он выпрыгнул из своей трусости и поддался дурацкой похоти... и вот он теперь семенит впереди меня, довольный и напуганный тем, что один раз дерзнул совершить беззаконие.

Но, кажется, теперь он втайне дрожит, оттого что я иду позади него, и он это знает, я — его убийца! О! Я мог бы без труда убить его, притом совершенно незаметно. Он и так едва ковыляет, достаточно дать ему подножку — и он плюхнется лицом вперед и наверняка пробьет себе дырку в голове, а тогда из него, как из велосипедной камеры, вырвется воздух с флегматичным «пф... ф».

Голова его треснула бы пополам, точно желтый восковой шар, а несколько капель красных чернил, пролившихся из раны, казались бы до смешного ненастоящими, словно это малиновый сок на блузе заколотого кинжалом комедианта.

Так выросла во мне ненависть к Парику, к этому субъекту, лица которого я никогда не видел, голоса не слышал и которого узнавал только по исходившему от него затхлому нафталинному запаху. Наверное, у него, то есть у Парика, мягкий усталый голос, лишенный всякой страстности, и такой же бессильный, как его молочного цветы пальцы. Наверное, у него глаза навыкате, точно у теленка, и отвисшая нижняя губа, жаждущая шоколада с начинкой. Эта маска благодушия, без всякого величия, обладающая храбростью торговца писчей бумагой, чьи руки акушерки весь день ничего не делают, разве что смахнут с прилавка семьдесят пфеннигов за школьную тетрадь.

Нет, ни слова больше о Парике!

Я ненавижу его так сильно, что легко могу взвинтить себя до вспышки бешенства, при которой слишком раскрыл бы себя. Хватит. Точка. Обещаю никогда больше не говорить о нем, никогда!..

Но если человек, о котором ты охотно хотел бы не упоминать, каждый день шагает впереди тебя, согнув кривые колени, похожий на мелодию из мелодрамы, то ты от него не отделаешься. Точно зудит спина там, куда ты не можешь дотянуться руками, так он беспрерывно раздражает тебя, и ты думаешь о нем, ощущаешь его, ненавидишь.

Мне кажется, я все же вынужден буду его убить. Но я боюсь, что, будучи убит, он сыграет со мной какую-нибудь дьявольскую шутку. Вдруг он с пошлым хохотом вспомнит, что был раньше клоуном и, весь окровавленный, снова вскочит на ноги? Может быть, слегка смущенный,

что не удержал крови, как иные не удерживают мочи, на руках пройдется по тюремному манежу, принимая, где можно, тюремных надзирателей за упрямых ослов, и будет дразнить их до сумасшествия, а потом, в притворном страхе, вскочит на стену. А оттуда высунет нам язык, шевельнет им, как тряпкой, и исчезнет.

Даже не придумаешь всего, что могло бы произойти, если бы каждый вспомнил, что он такое на самом деле.

Не думай, что моя ненависть к идущему впереди, к Парику, пуста и необоснованна. О, бывают такие ситуации, когда ненависть тебя буквально затопляет и, словно волна, выносит за твои собственные пределы, так что потом едва отыщешь путь к самому себе — до того тебя ненависть опустошила.

Я знаю, трудно слушать мои слова и чувствовать вместе со мною. А ты и не слушай так, будто тебе читают Готфрида Келлера или Диккенса. Но вот потопчись вместе со мной по маленькому кругу между неумолимых стен. Не в мыслях только — нет, физически, в роли идущего позади меня. Тогда поймешь, как скоро ты начнешь меня ненавидеть. И если ты вместе с нами (я теперь говорю «мы», ведь это одно у нас, общее) будешь плестись, пошатываясь, с одеревеневшей поясницей по этому кругу, то любовь настолько уйдет из тебя, что ненависть запенится, как шампанское, и ты предоставишь ей пениться, только бы не ощущать нестерпимой пустоты. И кроме того, не воображай, что ты, с пустым желудком и опустевшей душой, будешь склонен совершать высокие деяния во имя любви к ближнему!

И вот, после того как из тебя исчезнет все доброе, ты будешь ошалело тащиться за мной и долгие месяцы видеть перед собой только меня, мою тощую спину, дряблый затылок и пустые штаны, в которых, согласно законам анатомии, должно было бы находиться немного больше мяса. Но чаще всего тебе придется смотреть на мои ноги. Все идущие позади смотрят на ноги идущего впереди и невольно следуют ритму его шагов, подчиняются ему, даже если он им чужд и неудобен. Да, и вот тут-то, когда ты заметишь, что нет у меня характерной походки, на тебя и нападет ненависть, как ревнивая баба. Ну нет у меня такой походки! Существуют же люди без характерной походки — они ходят разными стилями, которые не сливаются в единую мелодию. Я вот тоже такой. И ты будешь за это ненавидеть меня так же бессмысленно и с таким же правом, как я вынужден ненавидеть Парика только потому, что я — идущий позади. Если ты возненавидишь меня именно за мой несколько неуверенный шаг проигравшегося человека, ты внезапно убедишься, что я ступаю очень твердо и энергично. И едва ты отметишь про себя этот новый характер моей походки, я через несколько шагов начну плестись уныло и расхлябанно. Нет, я не вызову в тебе ни радости, ни дружелюбия. Ты вынужден будешь меня ненавидеть. Все идущие позади ненавидят тех, кто идет впереди.

Может быть, это изменилось бы, если бы передние могли оглянуться на задних, чтобы понять друг друга. А так каждый остается только тем, кто идет позади, он видит лишь идущего перед ним, и его охватывает ненависть. Но от заднего он отрекается, ибо тогда чувствует себя идущим перед ним. Так обстоит дело в нашем кругу, между серых стен — вероятно, так же и в других местах, может быть повсюду.

Мне все же следовало прикончить Парика. Однажды он так разозлил меня, что кровь во мне закипела. В сущности — пустяки. Просто я сделал крошечное открытие.

Ведь я говорил, что мы каждое утро ходили вокруг грязно-зеленого клочка дерна? На середине манежа этого своеобразного цирка росло сборище травинок, они были бледны, и каждая — без своего лица! Так же, как и мы в этом невыносимом людском заборе, сбитом из планок.

В поисках чего-нибудь живого, яркого мой взгляд без особой надежды скользил порой по нескольким стебелькам, которые, чувствуя, что на них смотрят, невольно выпрямлялись и кивали мне,— и вдруг я обнаружил среди них скромную желтенькую точку, похожую на миниатюрную гейшу среди широкого луга. Это открытие меня очень напугало, я решил, что все видели ее, и долго не мог отвести глаз от желтого пятнышка; а потом с большим интересом взглянул на деревянные башмаки идущего впереди. Но подобно тому, как мы, разговаривая с человеком, у которого пятно на носу, непременно уставляемся на это пятно и доводим человека до явного беспокойства,— так и мой взгляд невольно тянулся к желтой точке. Проходя очень близко от нее, я держался как можно непринужденнее. И я разглядел, что это цветок, желтенький цветок одуванчика.

Он рос примерно в полуметре от нашей дороги, от того круга, идя по которому мы каждое утро поклонялись свежему воздуху. Мне по-настоящему становилось страшно, и я воображал, что один из голубых уже следует за моим взглядом жадными глазами. Но хотя наши сторожевые псы привыкли на каждое индивидуальное движение заборных планок отвечать яростным лаем, никто не участвовал в моем открытии. Цветок одуванчика принадлежал пока только мне.

Однако радовался я цветку всего несколько дней. Он должен быть только моим. Всякий раз, когда кончалось мое хождение по кругу, я с трудом отрывался от него и отдал бы однодневный хлебный паек (а это что-нибудь да значит), чтобы обладать им. Мучительное желание иметь в камере хоть что-нибудь живое охватило меня с такой силой, что робкая желтая звездочка цветка стала мне дорога, как человек, как тайная возлюбленная: я уже не мог жить без нее там, наверху, среди мертвых стен моей камеры.

Тут-то и случилась эта история с Париком. Я начал очень хитро. Проходя каждый раз мимо моего цветка, я как можно незаметнее делал шаг в сторону от нашей тропы, чтобы быть ближе к зеленой лужайке. Во всех нас очень сильно сказывается стадное чувство. На него-то я и рассчитывал. И я не ошибся. Идущий позади меня, идущий позади него, и так далее — все тупо и покорно плелись по моему следу. Так мне удалось за четыре дня настолько приблизить нашу тропу к моему цветку, что я мог бы достать его рукой, если бы наклонился. Правда, из-за моих планов несколько бледных травинок умерли пыльной смертью под нашими деревянными башмаками — но что такое несколько травинок для того, кто решил сорвать цветок!

Я приближался к осуществлению моего желания. В виде пробы я иногда незаметно спускал левый носок, раздраженно нагибался и с невинным видом подтягивал его. Никто не находил в этом ничего особенного. Итак — завтра!

Не смейтесь надо мной, если я скажу, что на следующий день, когда я вышел во двор, сердце у меня отчаянно билось, руки стали влажными и дрожали. Уж очень неправдоподобной была надежда на то, что после долгих месяцев жизни в одиночестве и без любви в моей камере неожиданно окажется любимая.

Мы почти закончили свой ежедневный рацион хождения по кругу под стук деревянных башмаков — это должно было произойти на предпоследнем круге. И тут вмешался Парик, притом самым низким и недостойным образом.

Мы как раз начали предпоследний круг, голубые мундиры уже многозначительно звякали гигантскими связками ключей, а я приближался к тому месту, откуда мой цветок пугливо смотрел на меня. Может быть, я никогда еще так не волновался, как в эти последние секунды. Еще двадцать шагов. Еще пятнадцать, десять, пять... И тут произошло нечто чудовищное! Парик, словно приступая к тарантелле, воздел тощие

руки, грациозно поднял правую ногу на уровень пупка, а на левой повернулся назад. До сих пор не могу понять, как у него хватило смелости, но его взор торжествующе сверкнул, словно Парик все знал, он закатил воловьи глаза, так что показались белки, и затем, точно кукла, сложился пополам и рухнул наземь. О, теперь я не сомневался: он конечно бывший клоун, ибо все кругом заревели от хохота!

Но тут залаяли голубые мундиры, и смех погас, как будто его никогда и не было. Один из них подошел к лежавшему и таким тоном, каким говорят «Пошел дождь», сказал: «Умер!»

Я вынужден еще кое в чем сознаться — из честности перед самим собой. В то мгновение, когда я оказался лицом к лицу с человеком, которого я назвал Париком, и увидел, что он побежден, не мною побежден, а жизнью,— в ту же секунду моя ненависть растаяла, как волна на берегу, и осталось только ощущение пустоты. Одна из планок в заборе сломалась — смерть со свистом пронеслась на волосок от меня; в таких случаях люди стараются как можно скорее стать хорошими. Кроме того, я задним числом мирюсь с победой, которую Парик, вероятно, одержал надо мной.

На другое утро впереди меня шел уже другой заключенный и заставил меня тут же забыть о Парике. Он казался изолгавшимся, как теолог, а вернее — он получил временный отпуск из преисподней исключительно для того, чтобы лишить меня какой-либо возможности сорвать мой цветок.

У него была предерзкая манера выделяться среди других. Все зубоскалили по его адресу. Даже бледно-голубые псы не могли подавить человеческой усмешки, и это выглядело невероятно странным. На каждый дюйм приходилось по одному государственному охраннику. Но их солдафонские лица, выражавшие примитивную спесь, то и дело кривились гримасой. Они вовсе не намерены были смеяться, ей же богу, нет. Но и сдержать себя не могли. Знаешь ты это особое чувство снисходительности, которое появляется, когда ты на кого-нибудь зол и оба вы воплощенная непримиримость, а затем вдруг происходит что-то комическое, заставляющее вас обоих рассмеяться, хотя, ей же богу, вам совсем не до смеха? Тогда лицо ваше все-таки растягивается и на нем появляется — как принято называть, и притом очень метко — кислая улыбка. То же самое происходило с голубыми мундирами, и это было единственное человеческое чувство, которое мы в них заметили.

Да, наш Теолог оказался настоящим причудником! Он был достаточно хитер, чтобы стать сумасшедшим, но не настолько сошел с ума, чтобы его хитрость от этого пострадала.

Нас было на манеже семьдесят семь человек, окруженных бандой из двенадцати одетых в мундиры носителей револьвера. Иные, быть может, уже двадцать лет или больше несли эту овчаркину службу, ибо их лица после многолетней обработки «пациентов» стали скорее похожи на морды. Однако это сходство со звериным царством ничуть не убивало в них спеси. Каждого из них можно было бы, ничего к нему не прибавляя, использовать для статуи с надписью: «L'Etat c'est moi» *.

Позднее я узнал, что Теолог был слесарем, но при работах в какой-то церкви с ним случилась беда — видно, бог сжалился над ним. Теолог был настолько безумен или хитер, что относился к спесивым охранникам с глубоким почтением. Да что я говорю — почтением? Он раздувал спесь голубых мундиров до того, что она уподоблялась воздушному шару невиданных размеров, причем даже сами ее носители не имели представления об этих размерах. И, хотя они не могли не смеяться над

---

* Государство — это я *(франц.)*.

дуростью Теолога, втайне их так распирало от гордости, что натягивались ремни на пузах.

И всякий раз, когда он проходил мимо одного из наших сторожевых псов, которые стояли, широко раздвинув ноги, похваляясь своей властью и пользуясь каждым случаем, чтобы на нас заорать, он непременно отвешивал как будто вполне искренний поклон и говорил с такой правдивой вежливостью и доброжелательностью «С праздничком, господин вахмистр!» — что даже сам господь бог не смог бы на него рассердиться и уж конечно не тщеславные воздушные шары в голубых мундирах. И всегда этот поклон выглядел так, словно Теолог уклоняется от пощечины.

Черт сделал этого Теолога моим впереди идущим, и его безумие излучалось с такой силой и так меня занимало, что я почти забыл о своей новой маленькой возлюбленной — желтой звездочке одуванчика. Я едва успевал бросить ей нежный взгляд, ибо приходилось вести со своими нервами тяжелую борьбу, так что покрывался потом от страха. Когда Теолог отвешивал поклон и произносил медовым голосом свое «С праздничком, господин вахмистр»,— мне приходилось напрягать все мускулы, чтобы не последовать его примеру. Искушение было слишком велико, и я уже не раз ловил себя на том, что приветливо киваю этим памятникам в голубых мундирах, и только в последнюю секунду удерживался от поклона и оставался нем.

Мы ежедневно ходили по двору около получаса, то есть делали двадцать кругов, и нас стерегли двенадцать мундиров! Таким образом, Теолог отвешивал в день двести сорок поклонов, и двести сорок раз я собирал все свои силы, чтобы не сойти с ума. Я знал, что если бы в течение трех дней проделывал то же самое, мой режим смягчили бы, но все это было мне не по плечу. Я возвращался в свою камеру совершенно измотанный. И потом всю ночь шагал во сне мимо бесконечной вереницы мундиров — причем все охранники были похожи на Бисмарка,— и всю ночь этим миллионам Бисмарков я говорил, низко склоняясь перед ними: «С праздничком, господин вахмистр!»

В один из последующих дней мне удалось пропустить вперед часть заключенных, и я получил другого впереди идущего. Я сбросил башмак, неторопливо подтянул его и, ковыляя, вернулся в ряд заборных планок. Слава тебе, господи. Для меня точно солнце взошло! Вернее, оно затмилось. Мой новый впереди идущий был так бессовестно долговяз, что мой один метр восемьдесят совсем исчезли в его тени. Значит, все же существует провидение, ему только нужно подсобить башмаком. Нечеловечески длинные конечности этого человека бессмысленно болтались, и самое удивительное, что он при этом все же двигался вперед, хотя наверняка был не способен управлять руками и ногами. Я почти полюбил его — я даже молился о том, чтобы он вдруг не упал мертвый, как свалился Парик, или не сошел с ума и не начал отвешивать трусливые поклоны. Я молился о даровании ему долгой жизни и душевного здравия. Шагая в его тени, я испытывал такое чувство безопасности, что мои взгляды дольше чем когда-либо задерживались на желтом цветике, и я мог не бояться, что выдам себя. Я прощал этому восхитительному впереди идущему даже его отвратительный гнусавый голос — о, я великодушно удерживался, чтобы не надавать ему всяких язвительных прозвищ вроде Гобоя, Каракатицы или Ханжи. Я видел только мой цветок, а впереди идущий пусть будет долговяз и глуп, сколько ему угодно. Тот день был такой же, как и все другие. Отличался он от них только тем, что у заключенного из камеры 432 к концу прогулки стал бешено биться пульс, а в глазах появилось выражение притворной невинности и плохо скрытой неуверенности. Когда мы делали предпоследний круг,

снова ожили связки ключей, а забор из планок плелся в какой-то дремоте за сеткой скудных солнечных лучей, точно за вечной решеткой.

Но что это? Одна из планок отнюдь не дремала: напротив, она весьма определенно бодрствовала и от волнения через каждые несколько метров меняла ногу. Неужели никто этого не замечал? Нет. Вдруг планка номер 432 нагнулась, повозилась со спустившимся носком, с быстротой молнии протянула руку к испуганному цветку, сорвала его,— и вот уже снова семьдесят семь планок плелись проторенной дорожкой, начиная последний круг.

Что может быть смешнее: разочарованный юнец из эпохи патефонных пластинок и исследований пространства стоит в камере номер 432 под окошком у самого потолка и своими одинокими руками держит в узком луче света желтый цветик — самый обыкновенный цветок одуванчика. И затем этот человек, привыкший вдыхать запах пороха, духов и бензина, джина и губной помады, подносит цветок к своим истосковавшимся ноздрям, вдыхающим уже столько месяцев лишь вонь деревянных нар, пыль и пот, которым прошибает от страха, этот человек вбирает в себя так жадно существо маленькой желтой звездочки, что кажется, будто он состоит только из носа.

И тогда что-то в нем раскрывается и льется наружу, точно свет в тесную камеру, что-то, о чем он до сих пор и не подозревал,— какая-то ни с чем не сравнимая нежность к цветку, какое-то тепло переполняют его, словно он сердцем прижался к его лепесткам.

Не в силах больше выносить свою камеру, он закрыл глаза и удивился: но ведь ты пахнешь землей, пахнешь солнцем, и морем, и медом, милое живое созданьице! Целомудренная свежесть цветка казалась ему то голосом отца, с которым он раньше особенно не считался и который теперь этой тишиной цветка дарил ему такое утешение, то эта свежесть казалась ему светлым плечом темноволосой женщины.

Бережно, как возлюбленную, отнес он цветок к кружке с водой, поставил в нее измученное маленькое растеньице, и прошло несколько минут, пока он сел и оказался лицом к лицу с цветком. Он чувствовал такое облегчение и такое счастье, словно откинул и сбросил все, что его угнетало: тюрьму, одиночество, жажду любви, беспомощность своих двадцати двух лет, настоящее и будущее, весь мир и христианство — да, и это!

Он был коричневым полинезийцем, «дикарем», сыном «дикого» племени, который страшился моря, грома, дерева и поклонялся им. Он почитал кокосовый орех, треску и колибри, дивился им, пожирал их и не мог постигнуть. Вот до чего он был свободен; и никогда еще не чувствовал он в себе такой готовности к добру — особенно в то мгновение, когда шепнул цветку: «Быть как ты...»

Всю ночь он сжимал ладонями знакомую жестяную кружку и чувствовал во сне, что его засыпают землей, темной доброй землей, и он к ней привыкает, сам становится землей, и из него вырастают цветы: анемоны, колокольчики, одуванчики — крошечные скромные солнца.

Перевод с немецкого В. СТАНЕВИЧ

ЯН ОТЧЕНАШЕК

Хромой Орфей

РОМАН

Перевод с чешского
Т. АКСЕЛЬ, Н. АРОСЕВОЙ, Д. ГОРБОВА

10

— ...а ведь мы знакомы,— сказала она и, подняв брови, улыбнулась.

Я разглядел, что на переносице у нее брови срослись светлыми волосками — чуть заметный крошечный веер.

— Поезд пять сорок два. с Главного вокзала...

Небо еще гудело, но гудение ослабевало, удалялось, кто-то сказал: «Ничего не будет, ребята». Я, кажется, разыграл удивление — ах нет, вру! — я на самом деле удивился, я был захвачен врасплох, как человек, у которого на глазах с непостижимой простотой вдруг осуществилась его навязчивая идея.

И тут услышал голос Милана:

— Гляньте-ка, они знакомы!

— Не так все просто,— сказал я ему, но глаз от нее не отвел.

И мне было совершенно безразлично, что ребята заметили мое волнение. У меня чуть перехватило дыхание оттого, как просто она дала понять, что от нее не ускользнули в вагоне мои взгляды исподтишка, я даже, наверно, слегка покраснел, но улыбка ее чем-то помогла мне — она была такая открытая и совсем не лукавая. Если быть точным, можно сказать: она была серьезная. Такими улыбками обмениваются при случайной встрече старые знакомые. «Значит, это ты?» — спрашивали ее удивительные глаза. Вокруг порхали слова, плоские шуточки, кто-то простуженно кашлял, но я ничего не воспринимал. Только ее. А она уловила мою взволнованность и медленно отвернулась. Она здесь, не дыша от изумления, повторял я. Это — она.

— А я и понятия не имел, что вы меня заметили,— сказал я, когда мы плелись после отбоя к дороге по сгнившей траве.

Помню, я нес какую-то околесицу, а сам смотрел, как впереди, на расстоянии шага, она осторожно ступает по бугоркам межей; теперь она казалась мне меньше ростом и нежнее, чем тогда, когда нас разделяло расстояние, которое я не умел сократить. Странно, как меняется образ человека после двух-трех самых обыкновенных слов! Тот, что ты сплел из туманных представлений с предательской помощью фантазии, разорван в клочья и в миг развеян по ветру — и вот начинай сначала, трудо-

* Продолжение. Начало см. в № 1.

любиво лепи из случайных слов, жестов, дрожания ресниц, из черт лица, увиденного в непосредственной близости, лепи иной, быть может, более точный образ! Но как знать? Да, сейчас она явилась мне немножко иной, более земной, не такой взрослой и таинственной, как та, за которой следил я издали; от этого становилось легче, но и как-то страшно. Разочарование? Но в тот момент я не знал, которая нравится мне больше. Какая же она на самом деле? Узнаю ли я это вообще? Сейчас, когда в холодном кафе, на холодном мраморном столике я мараю бумагу, записывая этот простенький рассказ, впервые не о выдуманном, а о случившемся, я вдруг с легким головокружением начинаю осознавать, что с каждой встречей она пусть чуточку, но меняется. Быть может, меняется от каждого слова. Можем ли мы, люди, *полностью* узнать друг друга? Мы разговариваем, двигаемся друг перед другом, наши чувства соприкасаются, но всегда мы застигаем один другого лишь на известной степени узнавания; думаешь, что узнал человека, а он вдруг ошарашит тебя чем-то непредвиденным, и раскроется в нем целая вселенная или бездна — и опять меняй, дорисовывай, ретушируй... Но где же он цельный, где кончается, где в нем предел, где дно этого фантастического кладезя? Вобрал ли ты его в себя? Ты даже не знаешь, какие возможности дремлют в тебе самом, не знаешь, как поведешь себя во всяком новом положении, к примеру, если дело коснется жизни, измены, любви или боли. Да, но важно ли это теперь?

Вокруг шумит кафе, пан Кодытек в лоснящемся фраке вьется между столиками, из задней комнаты доносится треск биллиардных шаров, а я возвращаюсь к той мимолетной минуте...

Да, она шла впереди меня, а во мне дрожала тихая, умиротворенная радость, и вся тяжесть, давившая меня прежде в ее присутствии, вдруг сделалась бессмысленной. Ребята тащились в нескольких шагах позади. Чувствовали ли они, как я мысленно благословляю их за это?

Я щурился на солнце, оно зажигало ей волосы, и вдруг в них запутался ветер. Она вытащила из кармана помятый платочек, повязала на голову; платочек не шел ей, она, наверно, знала это, потому что, поймав мой взгляд, объяснила:

— А то после не расчесать волос.

И опять шла молча впереди, потом вдруг сказала:

— В прошлую среду вас не было в поезде. Освободили по болезни?

— А вы, значит, заметили?

Она перепрыгнула через канаву и подождала меня, улыбаясь своей светлой улыбкой. Мы зашагали рядом по разбитой проселочной дороге к садам, окружавшим город. Над миром было уже безопасное небо, кто-то толкнул меня в плечо и завел болтовню о каких-то глупостях; я ответил самым неприязненным взглядом, на какой только был способен, и незаметно прибавил шагу, чтоб ребята не догнали нас. Я боялся, как бы у нас не отняли этот кусочек общей дороги. Не знаю, заметила ли она, во всяком случае она подстроилась под мой шаг.

— Вы мне еще не ответили,— напомнил я ей.

Кажется, я нарушил ее мысли: она вопросительно посмотрела на меня.

— А что вы хотите услышать? Ну, как вам нравится «Кашпар с гор»? — Заметив мой удивленный взгляд, она просто объяснила: — Сегодня утром, когда вы выходили из поезда, вы все еще были на сто третьей странице. Неужели вы так ужасно медленно читаете?

Полной грудью вдохнул я надежду:

— Это значит...

— Ничего это не значит,— перебила она меня в легком смущении.— Просто в прошлую среду мне вдруг показалось, что я как-то странно одинока. Чего-то не хватало. Вообще это совершенно понятно. Я, навер-

ню, привыкла чувствовать вас поблизости, хотя мы слова друг другу не сказали. И мне легко вздохнулось, когда на другой день я увидела вас на перроне. Пожалуй, не следовало бы так говорить, но это правда!

Позднее слова «но это правда!» я слышал часто. Видимо, они были для нее мерилом всего.

— Интересно, как я выглядел? Как мальчишка-подросток, дурак или нахал?

— Тогда бы я сейчас не шла с вами. Послушайте: обещайте мне, что никогда не будете говорить то, чего не думаете на самом деле.

— Сначала надо самому понять, что ты действительно думаешь,— возразил я.

Теперь я с чувством неловкости понимаю, что и тут была попытка «интересничать», и, если б можно было, взял бы назад эту банальную фразу.

— Вы, видимо, обожаете сложности. Так что — интереснее?

— Вот теперь вы меня обижаете,— сказал я, недовольный собой.— Иногда ведь и вправду не сразу поймешь...

— Может быть,— уже более мирно кивнула она.— Но я просто не выношу, когда люди без нужды все запутывают. Нынче и без того жизнь достаточно запутана. Слишком даже! Наверно, я кажусь вам ужасно требовательной и избалованной... Зденек иногда говорил, что во мне сидит прокурор. Но это неверно.— Она чуть улыбнулась воспоминанию и подставила лицо солнцу.— Уверяю вас, каждая нормальная женщина прекрасно знает, когда на нее смотрят так, как вы на меня. И оглядываться не нужно. Даже приятно, когда думаешь, что ты кому-то нравишься. Я вам нравлюсь?

— Очень.

Я проглотил слюну, застигнутый врасплох ее откровенностью. Мне казалось, что такой вопрос подошел бы кокетке, он как-то не отвечал моему представлению о ней, но она спросила это без тени кокетства и так уверенно, что я на секунду растерялся. Она тут же сама мне помогла:

— В этом ведь нет ничего дурного. Не смейтесь, но мне казалось, будто вы хотите сообщить мне что-то важное. И я все думала, как мне держать себя, когда вы наконец соберетесь с духом. Но я не задрала бы нос, это-то я знаю теперь совершенно точно.

— Не могу понять, что мешало мне...— сказал я, выбрав ту же тактику: откровенность. Обычная, заезженная болтовня, которой люди, знакомясь, ощупывают друг друга, эта фальшивая развязность и принужденная шутливость бог весть почему казались мне совершенно невозможными в ее присутствии.— Наверно, не решался потому, что вы красивая. Вид у вас был довольно неприступный, даже, пожалуй, гордый. Но теперь вы мне такой не кажетесь — нет, нет! Я выдумывал о вас множество историй и все ломал голову: что вы за человек? Порой мне казалось, что вы печальны...— Я все время искоса наблюдал за ее лицом, но ничего не мог на нем прочесть.— Мысленно я наговорил вам кучу всякой чепухи, такая уж у меня противная привычка — выдумывать всякое о людях. Вероятно, я тосковал. Но не могу сказать точно о чем. Нынче, кажется, все по чему-нибудь да тоскуют. А у меня к вам тысяча вопросов.

— Начинайте с первого,— улыбаясь, перебила она, и была в эту минуту такая милая, что я едва совладал с искушением коснуться ее рукой.— Наверно, я вас ужасно разочарую. Во мне, видите ли, нет ничего таинственного. Живу, дышу при этом, работаю с Махачеком на рулях, обедаю в столовке и жду — вдруг произойдет что-нибудь замечательное. Вот и все.

— Знаете, как вас прозвали в цехе?

Она искоса посмотрела на меня и кивнула:

— Да. Маркизой.— Неясно было, льстит ей это прозвище или оно ей неприятно.— Неужели я и впрямь кажусь такой высокомерной? Ну, что поделаешь. А как прозвали вас?

С наигранным смирением я пожал плечами:

— Никак. Видимо, я не очень-то интересен. Это плохо, Бланка?

Я впервые назвал ее по имени, она тряхнула головой со спокойной улыбкой, но ничего не сказала.

Так дошли мы до развилки у облупившейся стены сахарного завода; тут я остановился с многозначительным вздохом. Она подняла на меня глаза. Дело в том, что мы с ребятами сговорились смыться после тревоги, а кто задумал улизнуть, не должен появляться в главной проходной. Я предложил ей дать тягу вместе с нами, но она решительно покачала головой.

— Не выйдет. Жаба имеет на меня зуб. Осенние мухи больнее кусают... Вы ведь знаете мастера из «Девина»?

Знаю я этого нетопыря в широком халате, эту бестию с почечными пятнами на расплющенной жабьей харе. От него уже многие пострадали. Наверно, у него сотня глаз — он видит все, что делается вокруг. У всех найдется счет к Жабе, когда настанет час... Говорят, правда, что в последнее время он малость попритих: неожиданная оплеуха, оглушившая его как-то ночью в темноте, видимо, выбила из него излишнее рвение.

— Тяжело вам там?

Она стиснула зубы, ответила не сразу.

— Иногда да. Особенно в ночную. Вот тут понимаешь, что такое вечность. Под утро засыпаю стоя, зубы стучат, и потом весь день ползаешь, как сонная муха, а не уснешь.— Но тут же она встрепенулась, как бы сбрасывая бремя с плеч.— Ах, мы не имеем никакого права хныкать. Другим куда хуже...

— Например, вашему брату?

Видимо, я нечаянно задел больное место, ресницы ее чуть дрогнули.

— Что вам о нем известно?

— Не много... почти ничего. Его звали Зденек?

— Надеюсь, его так зовут.— Она устало отвернулась.— Это Милан сказал, правда? Неисправимый болтун! Строго говоря, я его даже не знаю. Может, он хороший парень, но слишком много болтает. Нынче это к добру не приводит.

Прежде чем я ее успокоил, ребята догнали нас, наш короткий разговор утонул в их гомоне. Я их не слушал, но чувствовал на себе жадные взгляды. Ясно, судачили о нас! Мне оставалось только молча протянуть Бланке руку и потом смотреть ей вслед. Она пошла своей прямой походкой к главной проходной, шла, шла, пока не затерялась среди людей. Рубикон был перейден с нечаянной легкостью, я ничего вокруг не видел и не слышал, но, кажется, усмехался про себя. Во мне стояла золотистая тишина, и солнце сладостно дышало с высоты, и в душе замирал отзвук ее слов; мне отчаянно хотелось остаться с ними одному, с этим добрым бременем пережитого, но, обернувшись, я поймал испытующий взгляд Милана.

— Ну, братцы, шевели ногами! — крикнул Павел.

Позднее, в трамвае, уносившем нас в город, Милан как бы ненароком наклонился ко мне:

— Посоветовать тебе хочу, если только не поздно... Ты с ней не вздумай крутить!

Мой удивленный взгляд заставил его на миг замолчать, но прежде чем я сообразил, что ответить, он предупредил меня:

— Ты меня не спрашивай, я сам точно ничего не знаю, так только... Ей нельзя ничего себе такого позволить, понимаешь, война! Ты можешь здорово навредить ей, а втюришься, гляди, и сам пострадаешь.

— Ну, знаешь, предоставь уж это мне! — отрезал я. Наверно, я походил на человека, у которого покушаются украсть только что найденную жемчужину.— Она сама сказала мне, что ты больно много болтаешь! — выложил я ему торопливо.— Война! Ну и что? Мне не десять лет... И не у нее одной брат в тюрьме...

Опять этот неприятный испытующий взгляд. Потом Милан вздохнул, как будто не очень был уверен в своей правоте:

— Ну что ж, если ты так думаешь...

■

...Две недели! Внешне в моей жизни, скудной жизни тотальника, ничего не изменилось: дорога туда, дорога обратно, цех и ненавистная тяжесть поддержки, рыхлое лицо Мелихара, я читаю Рильке, мысленно декламирую из «Сонетов Орфею» среди пустой болтовни в клозетной полутьме, в ночную смену после двенадцати дрыхну на мешках в малярке...

Но с Бланкой мы уже сидим рядышком в углу купе, вагон трясет, под ногами не в лад постукивают на стыках колеса, однообразный ритм усыпляет, и все то же, как всегда, да не то: справа греет меня ее бок, и я не смею пошевелиться, хотя все тело у меня затекло. В мышином сумраке купе могу насытиться ее лицом; сон возвращает ей детскость, спит она, чуть приоткрыв рот, доверчиво положив голову мне на плечо. Я осторожно натягиваю на нее полу потрепанного плаща, но малейшее движение — и я засматриваю в удивленные глаза. Добрый день!

— Ах, я спала, как сосунок,— зевает она в ладонь. Что такое сосунок? — Наверно, все плечо вам отдавила? Я эгоистка — взяли бы да и спихнули! Где мы?

— Кирпичный завод только,— сообщаю я шепотом.— А вам холодно, правда? У меня в термосе немножко чаю из шиповника...

— Нннет,— дрожа говорит она и растирает лицо ладонями.— Вы замечательно греете. О чем это мы...

— Вы заснули и так мне и не ответили...

— Ах, да,— смеется она из-под плаща,— девяносто седьмой вопрос?

— Девяносто пятый,— поправляю я с невозмутимой аккуратностью.— Вы уже поняли, что встретили самого любопытного человека, когда-либо попиравшего землю.

Она, нахмурившись, фыркает:

— Лучше бы вы читали!

— А если это одно и то же? — бездумно бросаю я, но натыкаюсь на ее вопросительный взгляд.— Ну да, что, если люди читают именно потому, что им любопытно посплетничать о том, как живут другие? А может, им ужасно скучно от самих себя.

— Нет,— решительно возражает она.— Не все такие. Лучшим из людей сегодня не до того.

Это как бы легкая пощечина. Не понимаю, зачем я вновь и вновь стараюсь блеснуть перед ней какой-нибудь плоской фразой.

— Вы обиделись?

— На что?

Она замыкается в молчании, а мне вдруг делается неловко за дурацкие вопросы, с помощью которых я пытаюсь проникнуть к ней в душу... которыми я окружил ее с назойливостью насекомого, хотя отлично чувствую, что это все равно что тыкать пальцем в небо; она устало отражает вопросы, ускользает. Откуда у меня это ощущение незрелости рядом с ней, ощущение молокососа рядом со взрослой женщиной? Ведь говорит и смеется она вполне непринужденно.

— Что поделывает Кашпар? — вдруг спрашивает она.— Все еще на сто третьей странице?

Я неохотно пожимаю плечами:

— Он меня больше не занимает.

— Жаль, я эту книжку люблю. А что вас теперь занимает?

Я робко щурюсь:

— Сказать правду?

— Правдой вы ничего не испортите. Только не говорите, что одна я!

Я вздыхаю.

— Может, вам это уже надоело, да что попишешь? Это так. Что вы собираетесь делать потом?

— Будто это от меня зависит. Буду по-прежнему стоять у стапеля с лампой в руке...

— Да не сегодня. А когда все кончится.

Какие-то мысли изменили выражение ее лица, полные губы с сомнением сомкнулись.

— Что будет тогда? Вы знаете? Может быть, реки потекут вспять, а люди ошалеют и все побегут куда-то наперегонки и будут с ума сходить от сознания, что можно делать все, что хочется: хочешь — радуйся, хочешь — забудь... И я хочу быть с ними. Может, они захотят сделать что-нибудь замечательное. Как вы думаете? Построить что-нибудь огромное, ну, башню, а в школах, может быть, введут уроки смеха... Или возьмут и остановят солнце на небе и запретят печаль, и мрак, и тучи... В общем, не умею я себе все это представить.

— Я тоже не представляю...— Это я говорю уже, когда мы торопливо шагаем по тротуару мимо хмурых стен, выкрашенных серо-зеленой краской.— А вы можете еще вспомнить, как было до войны? Дуреешь до того, что вот все это уже кажется нормальным состоянием. *Фашиги* — сволочи и убийцы, нынче каждый ребенок уже знает, что они провалились по всем статьям. Но что будет после? Плутократы с жевательными резинками, та демократия, о которой проповедуют из Лондона, или Сталин и красные комиссары? Конечно, газетные утки — жратва неважная, но если мы из теперешней заварухи выйдем целые и невредимые, надо ведь будет жить... Значит, надо найти, понять, где правда. Кому охота клевать на пустую приманку...

Бланка слушает молча, семенит рядом, опустив голову, дрожит от утреннего холода. Что это я несу? — вдруг приходит мне на ум, ужасно хочется спать, голова гудит, портфель у меня под мышкой будто набит свинцом и ртутью. Из проулка между зданий набрасывается на нас сквозняк, швыряет нам пыль в глаза.

— Сегодня каждый представляет себе будущее по-своему. Вроде сочельника, когда всем подарки дарят... Но, видимо, желание тут — отец мысли. Для Милана смысл будущего — в коммунизме, для Пепека — в магазине с автоматической кассой и крутобедрыми продавщицами. Павел, наверно, собирается навести в мире порядок с помощью логарифмической линейки, а Бацилла займет место папочки в процветающей адвокатской конторе. Только влезем ли мы в это будущее со всеми нашими пристрастиями...

— А вы? — прерывает она мои рассуждения с улыбкой, которая мне непонятна.

— Не знаю. Я пока только спрашиваю. Это плохо?

— Нет. Если, конечно, не останавливаться на спрашивании.

День и ночь она у меня на глазах. Достаточно высунуть голову из-за стапеля, и я вижу ее в проходе между скелетами крыльев. Склоняется над переносной лампой, желтоватое пятно света ползает по ней, от груди до лба. Тут она, говорю я себе с добрым удивлением, неужели это мне не чудится? Всего в нескольких шагах, и сторожит ее цербер с

жабьей мордой. Она всегда чувствует мой взгляд — выпрямляется, оборачивается, посылает мне беглую улыбку, теплом растворяющуюся во мне. Сколько раз за смену соприкасаемся мы взглядами? В этих молниеносных касаниях есть что-то восхитительно сближающее. Я о тебе думаю! — говорит она мне глазами.— Я рада, что ты близко.— Постучу пальцем по ручным часам, она надвинет платочек на лоб, кивнет.— Как будет гудок на перерыв... Сколько сейчас? — Только три...

Треск над головой, оглушительный удар металла о металл возвращают меня на землю: пневматический молоток Мелихара ударил впустую, и Мелихар таращится на меня. Вообще он, кажется, все заметил, его запавшие глаза щурятся на меня с добродушной снисходительностью взрослых. Ну и пусть! Она — и я! Это звучит прекрасно и неправдоподобно. Не сомневаюсь, ребята тоже уже что-то разнюхали и сгорают от любопытства; я догадываюсь об этом потому, что теперь в моем присутствии о ней не поминают, словно разом исключили ее из круга грубоватого интереса, с каким тут оценивают каждую смазливую девчонку. Вероятно, между порядочными мужчинами, даже теми, кто любит похвастать амурными успехами, существует некий неписаный договор, налагающий обязанность быть особенно деликатными и тактичными, как только они сталкиваются с подлинным чувством. Когда Пепек попытался выудить у меня подробности о Маркизе, мне даже не пришлось рта раскрыть: Пишкот, да и все ребята сейчас же одернули его, да так, что Пепек не успел и выговорить свой витиеватый вопрос, не то что разукрасить его излюбленными своими словечками. «Ладно, ладно, подумаешь!» — не понял он, в чем дело, и обиженно сплюнул. Никто словом не касается нашего с ней сближения, только Павел несколько дней назад, когда мы смылись вместе с ним и топали к конечной остановке под расцветшим весенним небом, ошарашил меня нежданным вопросом:

— Ты ее любишь?

Я тотчас понял, кого он имеет в виду, но ответил не сразу и столь же скупо:

— Наверно.

Вопрос и ответ бесследно расплылись во тьме.

— Это не настоящее,— недовольным тоном сказал потом Павел, как бы подводя итог долгим размышлениям.

— Почем ты знаешь?

Он откашлялся, ответил сипло:

— Так... Было бы настоящее — ты бы твердо знал.

Я возразил с сомнением:

— Ну, не всегда ведь все так просто...

В нем, казалось, ворочается множество слов, и он перебирал их так долго, что и вовсе не нарушил молчания.

— А почему ты спросил? — через некоторое время заговорил я.

— Да так просто... Хотел сказать тебе, если это то... тогда держись за него крепко, не растрать... Это самое большое богатство.

Он нашарил в складках кармана окурок, чиркнул спичкой и поднес к губам огонек между ладоней. Я не удержался от вопроса:

— Это ты знаешь по собственному опыту?

Я смотрел в его лицо, осветившееся на секунду неверным огоньком спички; лицо было неподвижно. Из темноты, которая тотчас снова окутала его, донесся еле слышный ответ:

— Ага.

Больше мы не говорили. Откровенность Павла была скупа на слова, а за его будничным «ага» разверзалась такая пропасть, которая исключала простое любопытство. Молчи! Я решил ждать, пока он сам заговорит.

■

— Кем вы хотите быть, когда все кончится?

Она не шевельнулась, только губы чуть-чуть приоткрылись.

— Я скажу вам, хотя и рискую, что вы про себя посмеетесь. Я хочу играть в театре.

Но я вовсе не смеялся и нисколько не был удивлен.

— Что же тут смешного?

— Ничего. Теперь всем хочется чего-нибудь в этом роде. Разве вам — нет? Спорить могу, нынче всюду полно будущих деятелей искусства. Стихи пишут наперебой — ну, это как-то подходит к ситуации. Но кто же будет делать столы или печь булки?

Я промолчал, ее трезвость остудила меня. Бланка откинула голову, прислонившись к грубой стене, и опять закрыла глаза.

— Вы, наверно, думаете, что я ужасно трезвая и педантичная, правда? Но я вовсе не такая. Просто мне ничего другого не остается.

— Все из-за вашего...— с хитрой деликатностью предположил я.

— Не только из-за него,— с оттенком усталости в голосе тихо возразила она.— Не спрашивайте почему. Все это слишком...— Но тут же она слабо улыбнулась, стряхивая что-то с себя.— А вообще-то... мне хватает сцены между моей тахтой и окном. У меня замечательное зеркало. Посмотрели бы вы, какая я гениальная, Сара Бернар в подметки мне не годится, я плачу, смеюсь, вместе с Джульеттой выпиваю яд, и публика от восторга падает в обморок. Вы еще не слышали таких оваций. А теперь я начала репетировать Антигону — страшно трудно. Безумие Манон — пройденный этап. Вам очень весело? — вырвала она меня из задумчивости.— Посмейте только жалеть меня!

— И не подумаю.— Я с наигранной нечаянностью положил ладонь ей на руку; она не отняла руки, но и не отозвалась на прикосновение. Мне почудилось, что в этой озябшей, огрубевшей от заклепок ручке нет жизни.— Но я хотел бы стать единственным зрителем...

— Ни за что. Я умру со стыда.

— Гм. А вы можете себе представить, что не будете играть?

Она разом открыла глаза, отвела со лба волосы.

— Конечно, не могу. Ну и что же? Я и другие вещи не могу себе представить, куда более важные.

Не знаю, может, ей уже кажется подозрительным, что она натыкается на меня всюду, куда бы ни пошла. Я стал необыкновенно изобретательным с ворчливого согласия Мелихара, который тем самым все чаще сбрекается на бездеятельное ожидание. Вероятно, я злоупотребляю его терпением.

На прошлой неделе возвращалась она как-то ночью из амбулатории и, столкнувшись со мной в липкой темноте у входа в фюзеляжный цех, вскрикнула от испуга. Я поскорее заговорил, чтоб она узнала меня, успокоилась.

На руке ее что-то белело.

— А вы, часом, не вездесущи? — спросила она.

— Нет. К сожалению... Стою вот тут, зубами клацаю. Что с вами?

Моя заботливость, наверно, тронула ее, она улыбнулась, показала забинтованный палец.

— Мне даже не дали освобождения... Прищемила клещами палец. На профессиональном жаргоне это, кажется, называется «сделать клопа», да? А вдруг я от этого умру...

— Ох, не надо! — почти просительно сказал я.

Она стояла передо мной и казалась мне очень маленькой и беззащитной, сдавленной со всех сторон ночью — просто силуэт на черном занавесе, с более светлыми пятнами лица и забинтованного пальца; в

складках платья она принесла из амбулатории слабый запах карболки. Ох! Помню, эти несколько напряженных секунд я отчаянно боролся с желанием коснуться ее, взять за плечи, прижать к себе, но кто-то поблизости хрипло закашлял, и все пропало.

Я опустил руки и дал ей возможность пройти.

Она не двигалась; подняла на меня глаза.

— Вы хороший, правда? — услышал я ее, будто была она далеко-далеко.

— Нет... не думаю. Да, верно, и не хочу быть хорошим.

— Ну, пошли,— вздрогнув от холода, сказала она.— Еще насморк схватите, а я буду виновата.

■

И вот однажды случилось. Кажется. Не знаю. Это было вчера, в ночную смену. У меня рука дрожит, когда я пытаюсь коснуться словами той минуты. Какое бессилие: уловить неуловимое! Да что улавливать? Тишину, шипение калориферов, благоуханную тьму, предчувствие чего-то надвигающегося, страх и трепетное дуновение надежды и бог весть что еще — я лежу рядом с ней, ощущаю ее всем телом, тепло ее кожи, ее дыхание. Мне уже знаком ее милый запах, только я не умею назвать его; во сне она всегда как-то ближе мне, роднее. Я каменею от усилия не шевелиться, уже не чувствую правое плечо, на котором покоится ее голова...

— Который час?

Смотрю на фосфоресцирующий циферблат:

— Три... Спите еще.

После полуночи цех — как покинутое поле боя, по которому бесцельно слоняются остатки разгромленной армии. Лица, облитые ядовитым светом, бледны от усталости; холод; порой где-нибудь взревет пневматический молоток; рабочие собрались кучками — судачат, ругаются, спекулируют сигаретами, зевают, зябко дрожат от желания спать. Полным ходом идет подпольное производство, программа пестра: электроплитки, детские коляски, детские игрушки — бабочки на колесах, махающие крыльями при движении, и все из ворованного дюраля. Мелихар даже сварганил аппарат для домашней перегонки спирта. Мастера на все закрывают глаза, а верткшуцы храпят в караулке, разинув рты, похожие на чудовищных рыб; почти исключена опасность, чтобы кто-нибудь из бодрствующих ревнителей порядка пустился в обход. Всюду натыкаешься на спящих: в гардеробах, в фюзеляжах будущих истребителей, под верстаками, во всех пустых ящиках, в клозетах для служащих; люди спят сидя, свернувшись в клубок, опустив голову на колени,— это не сон, это беспокойное и неглубокое забытье, а время плетется обезножившим псом...

Сталкиваюсь с Бланкой в темном коридоре возле конторы. Она пытается улыбнуться хотя бы одними глазами.

— Что с вами?

Она, не останавливаясь, зевает.

— Ничего. А почему вы спрашиваете?

— Ваш вид мне не нравится.

Вздохнула:

— И что вы все за мной следите? — И сейчас же, будто раскаиваясь в излишней резкости, остановилась, объяснила:— Есть хочу! И ужасно холодно. А спать хочется — хоть реви! И потом сегодня я... нездорова. Простыла, наверно, а теперь болит. Ах, вам, мужчинам, не понять!

Ее откровенность растопила что-то во мне. Я нашарил в своем портфеле огрызок засохшего пряника, она, не колеблясь, сжевала его с аппетитом белки и крошки смахнула с губ.

Я подметил, что в последнее время часа в два ночи Жаба исчезает из своего логова; может быть, и он ходит куда-то дрыхнуть. Попытаться? Малярка, соседний с нашим цех, это чрево, набитое темнотой и ацетоновой вонью, скупо освещенное одной красной лампочкой, ночью пуста. Шаги отдаются здесь как в пустом храме. Сюда можно незаметно проскользнуть через дверку из нашего цеха. На плоской цементной крыше будки мастера, в непосредственной близости от остывающих труб отопления я устроил себе удобное ложе: натаскал мешков, которые Леош украл для меня на складе, и на этих мешках блаженно проспал уже немало ночных часов; там никто не мог меня найти.

Бланка сначала заколебалась, потом кивнула. Я незаметно подал ей знак от дверей. Давай, на цыпочках! А вот и железная лесенка, двенадцать ступенек. Я полез первым. В темноте нащупал ее озябшую руку, подтянул к себе на плоскую крышу. Третий здесь не поместился бы. Я слышал, как она взволнованно дышит; вот перевалилась на мешки рядом со мной, руками ощупала темноту вокруг себя, коснулась случайно моих губ, быстро отдернула руку. Глаза стали привыкать к мраку — лампочка внизу давала красноватый отсвет,— и я уже мог разглядеть очертания лица и плеч Бланки. В меня проникло легкое волнение. Бланка свернулась клубочком, подтянула колени к животу. Наверно, ей больно... Мне хотелось ее погладить, но я подавил искушение. Трубы за нашими головами дышали теплом.

— Хватает ли мешков в раю? — шепнула она совсем близко, на ухо мне.— А может, там провели уже центральное отопление...

— Пожалуй, там не так воняет ацетоном. Ну, как вам?

— Чудесно... Когда я была маленькая, всегда влезала в кровать к отцу — погреться... А вы?

— Я — нет,— отстраняюще ответил я.

Стащил с себя свитер, безнадежно протершийся на локтях, подложил ей под голову. Она зарылась в него лицом, зевнула.

— Ну вот, а Жаба пусть хоть с ног сбивается! Ах, как греет свитер... И пахнет вами.

— Скорее пóтом. Или заводом, поездом, а не то столовской луковой похлебкой. Попробуйте уснуть.

— А вы?

— Я усну даже стоя. Если кто пройдет внизу — ни гу-гу!

Она беззвучно улыбнулась, прошептала уже наполовину во сне:

— А вдруг я не усну без сказки? Ну, хоть одну, коротенькую.

Сон сразу сдул слова с ее губ, и наступило непередаваемое: растроганный, в трепете, как бы не помешать ей, лежал я рядом на самом краю, сторожил ее дыхание. Я чувствовал ее каждым нервом. То и дело проваливался в короткий, зверино чуткий сон, не переставая воспринимать окружающий мир; вдали шумел наш цех, в остывающих трубах что-то щелкало — вероятно, есть свой голос и у тепла. И шаги: они приближались, удалялись, кружили — нет, я знал, это галлюцинирует напряженный слух. Что будет, если нас накроют? Тягостная привычка представлять себе все как на сцене: караулка, лампа, стол — и сонная рожа Каутце, он говорит с удовольствием: «Ишь, голубочки, нашли себе гнездышко, гут...» Грубые взгляды нагло ощупывают Бланку. «Хороша кобылка! Что будем делать, золотце? А ведь дельце-то попахивает тюрьмой, там у вас отобьют охоту... У нас военный завод, а не бардачок для таких куропаточек!» Хватит! Стискиваю зубы: нет, ничего, тишина, и в ней торопливый бег моих часов. Но что это?

Ее голос: неразборчивое бормотание. Спорит с кем-то во сне... Потом дернулась резко, а когда я склонился над ней, увидел, что она широко открытыми глазами уставилась в темноту.

— Дурной сон приснился?

Она не ответила, но я мог поклясться, что расслышал слабое рыдание. Не знаю, что в этот миг побудило меня обнять ее за плечи и изо всей силы прижать к себе. Она и не думала сопротивляться, даже, мне показалось, сама испуганно прильнула ко мне.

И тут я действительно услышал шаги! До ужаса реальные! Кто-то не спеша приближался от ворот, выходящих во двор, подковки цокали о цементный пол цеха, отдаваясь гулким эхом.

Я положил ей ладонь на губы. Тсс, не шевелитесь! Поднял голову, и от страха у меня сжались внутренности. Высокие голенища сапог — это мог быть только веркшуц на обходе. Он явно не торопился, я услышал тихое насвистывание; луч света от его фонаря пронзал темноту, настороженно обегал углы, скользил по серебристым туловищам самолетов, по крыльям — и вдруг вспрыгнул вверх, побежал по трубам над нами.

Я едва успел пригнуть голову.

Страшный миг! Он длился невероятно долго — часы, годы,— а я сжимал Бланку и чувствовал ее лихорадочную дрожь. Да уходи, уходи же ты, а то она не выдержит, закричит от страха из-под моей ладони...

Наконец-то! Веркшуц пошел прочь, слабо скрипнула дверка в фюзеляжный цех, и снова наступила тишина. Я вслушивался в нее, тело блаженно освобождалось от напряжения; я заметил, как из одного фюзеляжа вылезла темная фигура, неслышно побрела вон. Видно, не одни мы устроились спать здесь... Я перевел дух.

— Все в порядке.

Никакого ответа. Она молчала, только мелко тряслась, упав лицом на свитер.

— Пойдем отсюда! — заплакала она вдруг.— А если нас найдут... Я не выдержу... Все равно теперь не уснуть...

Как понять это? Как объяснить, что именно теперь, когда судорога напряжения еще не отпустила нас как следует, она стала говорить мне «ты»? Радость прихлынула к моему сердцу, но тотчас же уступила место иным ощущениям.

— Что с тобой, Бланка? Ничего ведь не случилось...

— Случилось...— зашептала темнота рядом со мной.— Не теперь... Ты ничего не знаешь. Но я так одинока...

— Нет! — Я сдавил эти беззащитные плечи, слегка встряхнул ее, чтоб привести в чувство.— Ты не одинока! Не говори этого, потому что... ведь я с тобой! Ты уже не одна...

Она хотела закрыть мне ладонью рот, я упрямо отклонился.

— Неужели ты так слепа? — говорил я ей близко, в самое лицо.— Ну, почему? Почему ты борешься? Не понимаю я этого... Разве ты не видишь, я хочу быть с тобой всегда, я бы... Я тоже был одинок, а теперь нашел тебя и не отпущу, не могу... Дай мне договорить, я должен тебе это сказать... Почему мы не встречаемся в другом месте, почему... ты не хочешь?

— Потому что не хочу любить тебя. Понимаешь теперь? Не хочу! Не хочу!

Это было как внезапный удар, он вышиб из меня остальные слова; я растерянно отпустил ее. Ничего я не понимал. Только ощущал горьковатый привкус. Нет! Я стиснул зубы и замолчал. Бланка, наверно, почувствовала, как больно задели меня ее слова, в темноте она коснулась пальцами моих губ.

Я не шевельнулся. Ну, что еще? Понял теперь?

— Не могу я,— услышал я ее шепот.— Даже если б хотела — не могу! Обещай мне, что перестанешь задавать эти вопросы, обещай — я не хочу лгать. Тогда нам пришлось бы расстаться. Нет, не думай, я

никого другого не люблю, нет, но ведь война... Ничего я не могу тебе дать. Поверь мне! Потому и не хочу, чтобы ты... не надо этого!

Я не верил собственным ушам, я был ошеломлен тем, что вырвалось у нее. Смятение в голове. Безумное, неописуемое. Вихрь противоборствующих чувств. Что она говорит? Почему? Вопросы каркали в моей душе, как стая погребальных воронов. Кто ты? Истеричка, разыгрывающая актрису между своей тахтой и окном, испытывающая на мне свой талант, или... Нет, прости, я знаю, я несправедлив сейчас к тебе, я это чувствую, потому что в тех обрывках фраз, которые поглотила красноватая тьма, было что-то страшно, леденяще реальное.

— Слишком поздно...— вымолвил я взволнованно.

Вот тогда-то и случилось: руки ее обвились вокруг моей шеи, она прижала мое лицо к своему, и было в этом какое-то благородное мужество, и непокорство, и мгновенное забытье — не могу сказать точнее, потому что не совсем тогда владел своими чувствами, и потом мне казалось, что мы падаем друг в друга, и я ощущал, как она прильнула ко мне и замерла в упрямом, бездыханном объятии, будто хотела спрятаться во мне. А потом уж совсем ничего не было — мир растекся, далеко где-то погромыхивала война, и умирали люди, а здесь была она одна, та, недоступная и близкая, та, из утреннего поезда, и вся она нежно предавалась мне. Я коснулся губами ее глаз и почувствовал слезы. Нет, она не лжет!

— Ни о чем больше не буду спрашивать,— сказал я.— Обещаю тебе!

Вот, собственно, и все, потому что тотчас после этого мы очнулись...

11

У Гонзы всегда было ощущение, что он так и не сделался вполне посвященным участником этих возвышенных мистерий. Светящаяся панель радиолы — алтарь, к нему прикованы глаза и уши верующих, охваченных экстазом; лица, освещенные мертвенным светом глазка, сосредоточенно-задумчивы. Обладатели их сидят на всем, на чем только можно сидеть в этой комнате, оцепеневшие, словно в трансе, лишь ноги у некоторых подергиваются в ритме джазовых мелодий, переливающихся в накуренном пространстве.

Гонза обычно сидел в сторонке и только слушал. В музыке он не мог отличить соль от си, он был слушатель-дилетант. И все же эта музыка, ее совершенно особенная, назойливая чувственность, все полнее овладевала им. Ему казалось, ее можно воспринимать всем телом, кожей, нервами; это было как легкое опьянение, приятно кружилась голова; хотелось все опростить; все это и еще броско-крикливая красочность было таким отдаленно-экзотическим и в то же время таким близким, дурманящим и откровенным, безумным и неистовым, то разнузданное веселье низкопробных танцулек, то печаль, глубокая, обнаженно-человечная печаль: слушай! Мелодия блюза обволакивает нежной тоской, но вот мотивом завладел кларнет, развивает его в монотонно-дурманном ритме, круто вскидывает его в высоту, к самому солнцу — и там, надломившись в невыносимо мучительной жалобе, падает в индигово-синюю гладь... Тут игла зашипит на пустой бороздке, щелчок возвратит к действительности, но лишь на миг. Гонза следил взглядом, как пальцы верховного жреца, длинные, дрожащие, с любовной осторожностью переворачивают пластинку и возлагают ее на диск, как некую редкостную реликвию; эта обрядность Вуди выглядела все-таки немного смешной. Приглушенно, причудливо взвизгнула труба, потом по-лягушечьи заквакал тромбон, и кто-то запел голосом, в котором зазвучали глубокая

безнадежность, и зной, и новый вихрь чувств: печаль, опасение, сила, тоска по чему-то. Гонза впустил в этот мир и *ее*. За что мучаешь меня?— спрашивал ее с горьким упреком. В этом новом мире он склонялся над нею, касался ее лица, любил ее всем своим существом, и оба были где-то далеко от самих себя — только мир этот все еще не обрел очертаний и формы, просто это был другой мир, не тот, который он знал до сих пор, и больше ничего ему не было известно. Какие трясины еще впереди? Страх перед экзаменами, но ведь мы уже не в школе... Как ей сказать все это? И снова давящее прикосновение страха — откуда он вынырнул во мне? Страх, что он может потерять ее в этом диком бедламе — в том, что настанет, что должно настать, что с каждым днем приближается со всех сторон вместе с грохотом фронтов, что вымолено каждым вздохом: этот мир на том берегу, куда люди заранее перебросили все свои мечты и представления о жизни, и смысл жизни, и веру в то, что это будет уж не смердящее *«временно»*, а *«наконец-то»* и *«окончательно»*. Но только, наверно, придется пронести узел своих трепетных ощущений, и страхов, и голой жизни через буреломы и буераки, где пахнет тлением и смертью, пронести их через страшно тесные родильные ворота, и может быть... Но нет, пусть, тысячу раз пусть нахлынет все это, с судорогами и кровью, с криком облегчения в конце.

— Обратите внимание на альт-саксофон,— пробормотал Вуди Коблиц, извлекая новую пластинку из альбома. Он обвел присутствующих строгим взглядом.— Кому не нравится, скатертью дорога. Это и к тебе относится, Либор! — одернул он своего брата.

Вуди Коблиц говорил строгим и брюзжащим тоном верховного жреца, пытающегося посвятить непослушную паству в высшие таинства. Смешно выговаривая иностранную фамилию, он назвал музыканта и переменил иглу.

— Вряд ли это тот исполнитель,— возразил из темноты человек, развалившийся на тахте.— Он никогда не играл с Эллингтоном...

— Чепуха! Судя по дате записи...

Завязалась краткая, но бурная ссора между двумя специалистами. Вуди, владелец одной из самых богатых фонотек, чуть не со слезами ярости отстаивал свою репутацию.

— Нет, ты слушай, слушай, Боб! — хрипел он, колотя себя кулачками по выпирающим коленкам.

Когда зазвучала сольная партия саксофона, он с видом торжествующего превосходства обернулся к тахте, он ерзал от радости на своем стуле возле радиолы. Настоящий карлик! Его тело выросло как-то нелогично — выступающая грудная клетка, маленькая головка будто с силой воткнута меж плеч. Что-то обезьянье было и в озабоченном взгляде его глазок под сморщенным лбом и в паукообразных руках, свисавших, как плети, по бокам компактного свертка-туловища.

Гонза смотрел на него с инстинктивным отвращением, смешанным с состраданием, даже с известной долей симпатии. Хотя бы уже за то, что Вуди фанатически любил эту музыку. Правда, сам Вуди никогда не мог понять, не больше ли в этом чувстве страсти коллекционера. Его вечный оппонент Боб, прекрасный кларнетист, заявлял за спиной Вуди, что тот разбирается в музыке как свинья в апельсинах.

Страсть делала Вуди более интересным и привлекательным из двух братьев Коблиц. Либор, годом старше его, неудавшийся студент, был всего лишь красавец с явным налетом пижонства. Он утомлял самоуверенностью соблазнителя, который не отказывает себе в удовольствии похваляться постельными триумфами. Казалось, он намерен восполнить в этом отношении неудачливость брата и мастерски разыгрывал милое недоумение, когда какая-нибудь из его избранниц не соглашалась на месте растаять от счастья, что он дарит ее мимолетной благосклонностью.

Оба брата были бездельниками по убеждению, оба мастерски уклонялись от мобилизации и отдавались исключительно своим прихотям. На вопрос, чем они занимаются, Либор отвечал с откровенностью, которую находил, очевидно, остроумной: «Молимся за здравие господ родителей. Как только старички закроют очи, мы помрем с голоду». Он говорил это совершенно серьезно. Война, несмотря на самые различные ограничения, не портила им настроения, не интересовала, не касалась их. Они жили исключительно сегодняшним днем и только для себя. Стены их комнаты были оклеены этикетками коньячных бутылок, и в этих стенах можно было устраивать по ночам совершенно непристойные оргии. Пока есть что пить и есть, пока отец здоров и полон трудовой бодрости!.. Видно было, что главную роль в семье играли господа сыновья; явление довольно курьезное, и Гонза тщетно ломал себе над этим голову. Старый Коблиц, инженер на одном из крупных заводов, и жена его держались в стороне, чтоб не мешать.

И зачем я туда хожу? — думал обычно Гонза, возвращаясь домой по пустынным улицам, голодный, отупевший от усталости и вина, которое желудок отказывался принимать; его ждала перспектива пробуждения в холодной кухне, а потом трамвай, завод и неясное ощущение грязи и виноватости, которое он всегда уносил из дома Коблицев. Но откуда это ощущение? Разве я моралист? Ну и что ж, что я туда хожу и слушаю их болтовню, что ж, что я надрался? И кому я так уж нужен, чтобы упрекать меня? Я и сам могу упрекнуть! Но кого? Жизнь? Слишком отвлеченно! Время? Войну? Людей? *Фашиг?* Гитлера? Кого же? Ни перед кем я ни за что не отвечаю, никому я ничего не должен, и важно мне теперь в жизни только одно: она!

И вообще в часы, когда к матери является ее гость, мне просто неохота шататься по неуютным кафе. У Коблицев по крайней мере топят, там музыка, какую нынче не везде услышишь, и там люди...

А там иногда с видом знатоков толковали об искусстве; двое потрепанных представителей богемы свирепо спорили, эротичен ли Пикассо, третий пугал всех, вещая, что-де искусство умерло.

Это возвышенное пустословие поначалу сбивало Гонзу с толку. Сам он редко участвовал в разговорах, поскольку был достаточно чужд всем этим потребителям джазовой музыки, которые только терпели его — малоинтересный нуль в скверно сшитом костюме из хлопчатобумажной ткани.

Зато он мог терпеливо со стороны наблюдать за физиономиями, которые его интересовали.

Например, Боб. Щуплый молодой человек, правильное, всегда немного мечтательное лицо со следами утомленной пресыщенности. Он больше играл, чем говорил, он говорил своим инструментом. Казалось, Боб презирает обоих Коблицев, и неясно было, что ему тут нужно. Быть может, просто искал возможность поиграть. Простучав ритм ногой, он проигрывал мотив «Олд Вирджини», и тут же его подхватывали контрабас, гитара, барабан и пианино; играли хорошо, охотно. Вуди ненавидел Боба бессильной ненавистью дилетанта и втайне восхищался им. Если квинтет не собирался, Боб сидел на тахте и тихонько наигрывал в полумраке, поглощенный своими яркими вариациями известных «Инспирэйшн», «Муд индиго», песенок из репертуара Гудмэна. Как-то вечером, это было прошедшим мартом, он после обычной их позывной «Чайна таун» вдруг заиграл какой-то совершенно непривычный и в то же время страшно знакомый мотив... Не сразу остальные музыканты опомнились от удивления и смущенно подстроились к кларнету. Да ведь это же «Где родина моя» — школьные парты, детство,— но в ритме джаза! Боб как бы смаковал мелодию, импровизируя сложные и страстные вариации; это звучало сумасшедше, не очень уместно, но трогательно.

Он оборвал разом, с обычным невозмутимым видом и, прежде чем Либор успел запачкать этот случай равнодушными словами, снова поднес кларнет к губам и заиграл «Мэн ай лав...»

Что сходного между всеми этими людьми?

Трудно было найти общий знаменатель. Гостей братьев Коблиц не объединяли ни личные качества, ни искренний интерес к джазу, ничто внешнее, и все же было в них что-то такое, что возбуждало в Гонзе смутное ощущение утомленности; нечто такое, что он напрасно искал бы у Милана, у Павла или у Пишкота, у большинства заводских ребят. И *она* не подходила к этому обществу. Слава богу! А я? Что общего между мной и, например, Самеком? «Wonderful, isn't so?» * — говорит он, когда кончается пластинка. В любую фразу он старается вставить хоть одно английское словечко. Ну и что? Нынче одни зубрят английский, другие — русский, в зависимости от аппетита, от желания провозгласить славу тому или иному освободителю, но у этого скелета с лошадиным лицом изучение английского языка не имело, казалось, никакого политического оттенка. Как только все это кончится, он поедет в Англию. Зачем? Да просто так. Неясно было, что там Самек собирается делать, чего он ждет для себя именно от Англии. Ничего. Просто хочет туда поехать, и больше его ничто не интересует — ни романтика детективных книжек, ни понятие британской демократии, и поэтому непонятно было, почему именно эта страна, а не, скажем, Мадагаскар или остров Пасхи притягивает его, как огонек — ночную бабочку. Уехать! Быть может, комплекс бродяжничества как такового, без каких-либо доводов рассудка, а может, мания шизофреника. Нет, у Гонзы нет с ним ничего общего. И ни с кем из них!

■

Разве что с Душаном? С ним по крайней мере хочется иметь что-то общее. Но это совсем другое дело. Душан сам здесь как чужой. Гонза наблюдал за ним: сидит в кресле, скрестив ноги, закрыв глаза, слушает музыку; его совершенной формы руки с тонкими пальцами вертят серебряный карандаш. Необычное, интересное лицо: с первого взгляда угадываешь исключительную интеллигентность; спокойный, проницательный взгляд таких темных глаз, что даже на свету не отличить радужную оболочку от зрачка. И неизменный черный свитер, застегнутый до горла. Душан тем более притягивал к себе внимание Гонзы, чем безучастнее относился к болтовне присутствующих. Он редко вмешивался в разговор, а уж когда делал это, то своим невозмутимым голосом высказывал такое зрелое мнение, что тотчас, как правило, наступала уважительная тишина. Самый недалекий тупица чувствовал, что мысли этого на вид равнодушного ко всему юноши имеют весомость знаний, не нуждающихся в том, чтобы их поспешно выставляли всем на удивление. Ничего в нем не было снобистски-нарочитого, ничего искусственного, и Гонза, питавший просто инстинктивное отвращение к дутым авторитетам, чувствовал, что ему не избежать хотя бы безмолвного восхищения Душаном.

Как-то ночью на улице они вступили в короткую дискуссию.

В тоне Душана не было и тени пренебрежения или заносчивой переоценки собственной особы, и все же рядом с ним ты с дурацким трепетом ощущаешь, как опадают твои знания, как они скудны и порой банально-прямолинейны, как ты скорее нащупываешь, предчувствуешь, чем знаешь. Откуда в нем такое свойство? Ведь он не старше меня, неужели он все уже перечитал? Я испытывал его: Душан охотно переходил к авторам и книгам, которые я успел проглотить. Дос Пассоса читал? А что ты скажешь о Рильке? Андре Жид, Достоевский, Вассер-

* Восхитительно, верно? *(Англ.)*

ман, Рамю, современные поэты, имена, идеи, цитаты — Душан знал, кажется, все!

И не только это: казалось, все он читал иными глазами, иным, более емким мозгом, с ним можно было не соглашаться, бунтовать против его всеразъедающей критичности, ругаться с ним — в одном ему нельзя было отказать: при всей необычности Душана, которого трудно было заподозрить в желании оригинальничать любой ценой, мнение его всегда было необыкновенно остро, законченно и опиралось на совершенно исключительную глубину восприятия. Все будто попадало на мельничные жернова, все будто закалялось в горниле мысли, не останавливающейся ни перед чем,— и все же, чтоб отстоять то, что было дорого ему, Гонза упрямо твердил: «Нет, не согласен!» Он остался один на улице.

Нет! С чем соглашаться? Почему? Я необразованный чурбан в сравнении с ним. Холод — ага, вот оно, вот нужное слово, в этом ключ. Гонза схватился за это слово, как за спасательный круг. Смеялся ли Душан хоть когда-нибудь над страницами книги? Бывал ли растроган, раздавлен чувствами, от которых у меня перехватывает дыхание, чувствовал ли он вообще хоть что-нибудь? Послушать только, как он говорит!

Когда в разговоре затронули философию и был назван Кьеркегор, Гонза с каким-то вызовом сознался: «Мне только фамилия известна». Душан подал ему тонкую, холодную руку: «Я принесу тебе что-нибудь». Можно было допустить, что он забудет это мимоходом данное обещание, но при следующей же встрече в прихожей Коблицев он протянул Гонзе тонкую книжечку.

— Попробуй, может, тебе будет интересно.

Что я о Душане знаю? Наверно, по своему обыкновению, нафантазировал о нем бог весть что. И тот ночной разговор был совершенно безличен, и кончился зевком на ветру...

Пластинка, щелкнув, остановилась, утомленные звуки блюза медленно растекались в тоске. Вуди выключил радиолу.

— Хватит на сегодня,— объявил он.— Ящик перегрелся.

Он повернул выключатель, и свет, упавший с потолка на лица, завершил обряд.

12

— Ты это прочитал? — спросил Душан, когда оба шли по пустынной улице.

Гонза поднял воротник пальто, чтоб дождь не затекал.

— Угу.

Они ушли еще до разгара вечеринки; никто их не удерживал, тем более что настроение было скверным, а опьянение, зажженное в глазах алкоголем, не предвещало ничего хорошего.

Дождь, мелкий, упорный; ущелья смиховских улиц доверху налиты темнотой; ближе к центру города покачивались голубые огоньки фонарей, пустой трамвай дребезжал по рельсам, за ним лениво скользил по мокрым камням мостовой автомобиль. Шаткая тень пьяницы, бубнящего какой-то укоризненный монолог; сдвоенная тень влюбленных; человек с сумкой, простуженный кашель, шаги, шаги, и ветер, и мрак...

— Ты все понял?

— Не очень. Наверно, привычки нет к чтению таких вещей. В общем-то, я больше думал о человеке, который это написал.

Душан отозвался не сразу.

— Я не удивляюсь... И счел бы тебя одним *из них,* если бы ты сказал другое. Потому что, видишь ли, вещь эта почти непостижима и безумно

парадоксальна. В этом весь Кьеркегор. Поэт и философ в нем часто спорят друг с другом.

Дождь чавкал у них под ногами, ветер бросал в лицо водяные капли. Гонза поймал себя на том, что больше прислушивается к голосу, вдруг ставшему взволнованным и настойчивым, чем старается понять эти сложные рассуждения: о том, что в мышлении невозможно перешагнуть через себя, что истина субъективна, она только то, что касается одного меня, моих восприятий, того мира, который я воспринимаю моими органами чувств, мозгом, страстями, и потому, с точки зрения объективности, она — парадокс. Credo quia absurdum *... Тертуллиан... У Гонзы закружилась голова. Он поежился от холода и сунул руки в карманы.

— И все же Кьеркегор непоследователен. Когда он постиг все одиночество бытия, когда глотнул этого ужаса, увидел этот покинутый корабль в море абсурда, он обнес себя стеной лжи. Взять хотя бы его бога! Он непостижим, он парадоксален, как все, чего он коснулся,— жалкий постулат. Кьеркегору надо было взвалить на него весь свой страх перед познанным, чтоб не сойти с ума. Вымысел, в который можно поверить при нужде, банальный и немножко трусливый...

В ушах мучительно шумит от усталости, сжимает сердце боль, а голос Душана доносится издалека, профильтрованный сквозь дождь и ветер. Спать, господи, спать! Набережная, речная сырость; поднялись по ступеням на безлюдный мост, ветер уперся им в грудь, срезáл с губ слова.

— Не знаю, как тебе объяснить,— заговорил Гонза, когда его спутник умолк.— Такое было ощущение, что все это меня не касается. Это примитивно, но, пожалуй, мои проблемы более земные, вполне осязаемые: вот наш мир, я попал в него не по собственному желанию, но теперь этот мир разбивают вдребезги. За что? Я-то тут при чем? Строго говоря, я даже не умею хорошенько представить себе, что такое свобода...

— Она не в том, в чем ты пытаешься искать ее.— В голосе Душана появилась незнакомая решимость.— Она не во внешних явлениях, это только мираж, это эрзац. Настоящая, абсолютная свобода — в тебе. Никто не может ее отнять — она дана в удел каждому. В конечном счете, это безумие, ему нет предела...

Гонза слушал эти рассуждения с возрастающим изумлением, он не совсем понимал их, но они были новы, волнующи, они приводили его в смятение.

— Полагаешь, что и сегодня... в наше время?..

— Не заблуждайся! Эта идиотская оргия, которую привычно называют войной, протекторатом, национальным угнетением,— все это лишь случайные приметы времени, они не имеют никакого отношения к подлинной свободе. На все это можно начихать...— Помолчав, он презрительно усмехнулся.— Даже то, что утром вот встану и поеду на завод Юнкерса насаживать какие-то там латунные колпачки на какие-то шланги, по восемьдесят штук в смену,— в общем, то, что я должен туда ездить, я вовсе не воспринимаю как несвободу. Несвобода в чем-то ином, более существенном. Нет, моя свобода — это свобода решения, выбора, любого... хотя бы выбора смерти или физического уничтожения — эта свобода остается. Теперь понимаешь?

— Нет,— искренне ответил Гонза, но потом мягко возразил: — Не говори, что все это тебя не затрагивает. Я не верю...

— Не затрагивает,— произнесла тень, шагавшая рядом. Душан закашлялся на ветру, зябко укутался в пальто.— Это только внешнее. То

---

* Верю, потому что это абсурдно *(лат.)* — изречение Тертуллиана (ок. 160—ок. 222 г.), который, защищая христианскую религию, выступал против античной науки и проповедовал мистику и иррационализм.

есть несущественное. Ты не думай, я не хуже других. Нет, нет. В конце концов и я могу считать это идиотством, жестокостью, бесправием, могу испытывать негодование или сочувствие к тем, кто падает жертвой... Но — и что дальше? Нет, не затрагивает! Потому что вся эта бессмыслица — логическая и далеко не самая важная составная часть главной бессмыслицы, случайный обломок абсурдности бытия вообще, и кто это постигнет... Но оставим это, здесь нет цинизма, как ты, возможно, думаешь... Если, конечно, всякое подлинное познание не выглядит цинизмом.

Остановились посреди моста; Гонза положил руки на мокрый камень парапета; он приятно холодил кожу ладони, такой грубый и успокоительно-материальный, твердость его под пальцами Гонза ощущал как некую опору в этой ветреной тьме.

Спутник молча стоял рядом, покашливал, вперяя взгляд в темноту.

Река, старая знакомая обоих, катилась под ними с весенне-кипучей мощью. Они не столько видели, сколько угадывали ее в широком русле, прислушиваясь к ее шуму; кто-то прошагал позади них; ветер с реки дул им в лицо.

Гонза перегнулся через парапет, плюнул в темноту.

— А что ты скажешь о них... Об этих, у Коблицев?..

— Ничего.— Голос Душана понизился до обыкновенной усталости.— Они мне не интересны. Снобы вперемежку с недоучками и сумасшедшими. Животные. Это и сгоняет их в кучу.

— Я из их компании.

— Ты — нет. Ничего ты там не найдешь.— Душан тоже наклонился и плюнул в пустоту, наполненную ветром.— И все же немножко страшно становится, когда поймешь, что много есть общего в чувствах с ними, правда?

— Ты-то зачем туда ходишь? — спросил Гонза.

Вопрос, видимо, оторвал Душана от его мыслей, он посмотрел искоса на профиль Гонзы, смутно вырисовывавшийся в темноте.

— Я об этом не думал. Вообще-то ведь все равно куда ни ходить.— Помолчав, он вдруг спросил: — У тебя есть отец?

— А я и не знаю,— равнодушно ответил Гонза.— Я с ним не знаком.

— Быть может, это и к лучшему.

— Может быть. Если б я когда-нибудь встретил его, я бы ему сказал: «Что вам угодно? Вас умиляет, что есть на свете человек, у которого нос приметно похож на ваш?» Надеюсь, такой встречи не будет.

— И потом... я люблю эту музыку,— проговорил Душан. Он повернулся спиной к парапету и медленно пошел дальше, сопровождаемый Гонзой. Ветер вздувал полы их пальто, пробирался к телу.— Сколько я себя помню, отец пичкал меня так называемой серьезной музыкой. Я вырос под сенью фамильного рояля марки «Петроф». И все в таком роде. Музыка! С большой буквы, понимаешь? Все, что он уважает, пишется с большой буквы. Тебе бы следовало его знать,— добавил он с еле заметной усмешкой.

— Что ты против него имеешь?

— Ничего. И — все. Это трудно объяснить. Известен тебе тип образцового человека? Образцовый патриот, гуманист, супруг, отец, специалист... Во всем и всегда само совершенство. Трудолюбивый, суетливо-активный. Папаша Полоний, знаешь такой тип? Никогда ни в чем не сомневается, и на все-то есть у него ответ. Банальный позитивист. Помнишь, что называли древние греки kalokagathie*? Вот эти-то образцовые все и натворили, ручаюсь! В том числе и теперешнюю кашу. В его представлении слушание музыки есть духовный комфорт. Да и всякое

* Идеал мужчины.

искусство вообще. Оно у него имеет функцию чисто гигиеническую, нечто вроде чистки зубов или утренней гимнастики с гантелями. Гадость! Его нетрудно разгадать. А в сущности-то он вообще музыку не понимает. Разве что Вагнера... Сейчас ему приходится кое-что откладывать впрок. В глубине души он обожает шум, помпезность, пышные декорации — главное, чтобы было возвышенно и благозвучно, как фанфары...

Гонза слушал этот взрыв презрения с плохо скрытым любопытством.

— Ты его ненавидишь?

— Вряд ли. Ненависть — это уже проявление какого-то чувства, и она требует усилий. Все это у меня позади. Я для него terra incognita *.

— Он журналист?

— Да, так можно сказать. Пишет только о культуре, и под псевдонимом. Впрочем, он неглупый человек, только пустой, понимаешь? Осведомленный. Нет, не думай, с *ними* он не связался. По крайней мере, открыто. Мне даже любопытно, с чем-то он выступит после всего этого. Не сомневаюсь, он уже поставил и на ту карту, он предусмотрителен. Меня заранее тошнит! Настоящий лицемер так умеет убеждать в правоте своей морали, что и сам начинает в нее верить. Он совершенно уверен, что честен, справедлив, в высшей степени почтенен... Такой он и есть. Полоний. И, естественно, не оставляет своих добродетелей при себе — обожает поучать. Кого угодно. Сейчас у нас с ним перемирие, и все же у меня такое чувство, будто я хожу слушать эту музыку тайком от него. Понимаешь? Как уличный мальчишка, который тайком писает на ворота школы. С известным удовлетворением представляю себе там отца с его благородным лицом. Ведь та музыка — с малой буквы, грубая, простая, зато до ужаса искренняя, обнаженная, дерзкая. В ней все — печаль, и страх, и недобрые предчувствия, а потом вдруг такая взрывчатая, сумасшедшая радость, судорога между первым и последним вздохом. Мы уж вряд ли способны на такую непосредственную радость...

— Думаешь, другие тоже так воспринимают?

— Почему? Ни в коем случае. Кроме кларнетиста и двух-трех еще. Но и этим там не место. Ведь они что-то любят. Наше время всех сваливает в одну кучу. Так бывает, когда начинается дождь и под навесом собираются все: интеллигент, спекулянт, поп, карманный воришка, влюбленные и педераст; дождь ведь, так не все ли равно... А у прочих в компании Коблицев от музыки только ноги подергиваются, да заглушает она их horror vacui **.

Гулкие удары посыпались с ближней башни, разлетелись над крышами, замирая в шорохах. Полночь! Сколько же осталось до утра? Какое мне дело до Кьеркегора и до всего прочего, когда так хочется спать, спать, рухнуть в перину, как подстреленному...

На этом углу они всегда расставались.

Тонкая рука на мгновение остудила ладонь Гонзы.

— Ну, звони и приходи еще,— сказал Душан с необидным безразличием; он зевнул и усталым тоном предупредил возможное возражение Гонзы.— И, пожалуйста, не надо говорить, что ты помешаешь. Ведь я по большей части один, а книги у меня найдешь такие, каких не достанешь ни в одной публичной библиотеке. Телефон ты знаешь.

Телефон Гонза знал. Он был записан у него на обороте заводского пропуска; впервые он набрал этот номер много месяцев назад, в один ноябрьский вечер. В гостях у мамы сидел этот ее неразговорчивый обжора, улицы рвало мглистой тоской, кафе зевало от скуки.

---

* Неисследованная земля *(лат.)*.

** Страх перед пустотой *(лат.)*.

— Ты пошевеливайся, пока не заперли входную дверь! — сказал в трубку голос Душана.— Монета в пятьдесят геллеров найдется? Тогда поднимись на лифте! *

Начиная с того вечера Гонза, хоть и не очень часто, приходил в эту просторную квартиру в неприветливом доме стиля «сецессион» напротив парка Гребовка, разбитого на склоне холма; приходил, приносил в набитой сумке прочитанные книги, уносил к себе новые. Душан ничуть не хвастался, говоря о своей библиотеке; у Гонзы голова пошла кругом, когда он увидел эту гибель книг. С чего начать? Стоя перед переполненными стеллажами, тянувшимися по стенам до самого потолка, он приходил в отчаяние от собственного невежества. Как видно, целые поколения пополняли эту библиотеку редкими, с трудом добываемыми уникумами.

— Этого не читай,— советовал Душан.— Тупая чепуха, жалкая компиляция. Достоевский? Да, кажется, он тут полный. «Карамазовых» можно читать без конца — в каждом возрасте читатель по-разному воспринимает их. Только идиот их никогда не воспримет. «Будденброков» знаешь? Я их здорово ненавижу. Ужасная книга. Совершенство. Ранние роды. Только молодой человек может с таким последовательным садизмом описать умирание...

Душан ничего не навязывал, он советовал; о книгах он говорил со спокойным знанием дела, за которым Гонза рад бы заподозрить позирование сноба, если бы столько раз не убеждался в обратном: Душан был невероятно начитан.

Обычно Гонза заставал Душана в его неуютной комнате; в черном свитере и стареньких тренировочных брюках Душан читал, лежа на клеенчатой кушетке. Он очень подходил к обстановке: все здесь было темное и немного обветшалое — кресла, письменный стол, потертый ковер... Казалось, Душан совершенно равнодушен к холодной безличности вещей, его окружавших. Книги, книги! И полумрак — оттого, что горит только торшер.

— Здорово, присаживайся куда-нибудь!

В этом приветствии не было дружеской горячности; звучало оно устало-равнодушно, хотя и не обидно. Интересно, что могло бы взволновать его? — думал порой Гонза, наблюдая лицо Душана, до половины затененное охровой тенью абажура. Рядом с ним он всегда испытывал неясные опасения, какую-то робость, но любопытство было сильнее и возрастало с каждой встречей. Да, Душан интереснее прочих ребят.

Сначала, сидя в креслах, наливались невероятным количеством настоящего чая — Душан был страстный любитель чая, бог знает, где он его только добывал,— и разговаривали о всевозможных вещах; потом рылись в библиотеке. Гонза уходил с неопределенным ощущением, что избежал какой-то опасности, несколько польщенный непонятным интересом к нему этого еще более непонятного человека, в чем Гонза, конечно, не желал сознаваться.

Один раз в дверь без стука заглянул юноша в помятой форме люфтшуца — манекенно-правильное и противно-самоуверенное лицо, только глаза те же, что у Душана. Юноша попытался вытянуть у Душана сотенку и был безжалостно выдворен.

— Не обращай на него внимания,— с неудовольствием сказал Душан, когда дверь закрылась.— Мой брат. Взаимно презираем друг друга. Полоний Второй. Прожорливостью и аппетитом к жизни напоминает миногу. Во рту у него не тридцать два зуба, а больше. Если б война затянулась, он и в люфтшуце сделал бы карьеру. А так, видимо, кинется в политику — болотный тип.

* В некоторых пражских домах установлены лифты-автоматы, чтобы воспользоваться ими, надо опустить монету.

— А ты? — подхватил Гонза.— Что ты собираешься делать после войны?

Душан неторопливо отпил из чашечки, глядя в полумрак.

— Неважно. Быть может, много пить чаю... Присматриваться некоторое время. Но недолго, это довольно утомительно. Особенно здесь. Мне кажется, я как бы заключен внутри пирамиды Хеопса. Потом как можно незаметнее убраться...

Гонза пошевелился в кресле.

— А я думал, ты интересуешься философией... или литературой. С твоими знаниями...

— Почему ты так думаешь? Потому, что копаюсь в этом? Так это я просто убиваю время. Может быть, раньше я и искал чего-то... Да не нашел, уверяю тебя. Эти знания дают человеку сомнительное чувство превосходства над другими. Философия! Высокомерное суесловие, бессмыслица...— Он улыбнулся вяло, с непривычным оттенком смущения.— Я ведь немного и пишу. Разное... Только так, для себя. Нет у меня ни малейшей потребности делиться этим с другими. Все это вроде... слабительного. Меня, видишь ли, совершенно не интересует так называемая литературная деятельность, слава, бессмертие... Довольно смехотворный вымысел! — Слабым движением руки он отверг возможные возражения.— Знаю, скажешь, Гомер. Да? Две тысячи лет, и даже больше... Ну и что? Пусть о нем будут помнить и еще двадцать тысяч лет — его-то нет. Какое же тут бессмертие? Просто упрямая фраза, человеческое стремление к высокопарности. Меня куда больше трогают совсем простые вещи, особенно те, в которых нет притворства: детские слезы, деревенские похороны с музыкой и веселыми поминками или маленькие зверушки. Люди смертны! А что Гомеру до собственного бессмертия? Оно его не касается, для него уже нет мира, одно ничто. Если тебе что-нибудь приятно, не насилуй себя. Не стоит. Нет, я ни во что не стремлюсь вмешиваться, хотя бы потому, что не знаю ничего, что имело бы вечную ценность, смысл, постоянство...— Он машинально помешивал ложечкой наполовину выпитый чай; помолчал, а потом, как бы вновь осознав присутствие постороннего человека, добавил тоном примиренности: — Кроме смерти. Кроме исчезновения моего «я», исчезновения мира во мне. Только это неизбежно и вечно, это единственно, что окончательно. Лечь, сделаться неподвижным, неодушевленным предметом. И — навсегда. Это даже и не страшно, это логично.

Он говорил все это без всякого волнения, как о будничных делах; встал, заходил по ковру, руки в карманах, стройный, невольно элегантный в своем черном свитере, застегнутом до горла; остановился перед полкой с книгами, провел ногтем по кожаным корешкам.

Гонза следил за ним с недобрым стеснением в душе.

— Ты ее ненавидишь? Я имею в виду жизнь,— решился он спросить.

— Нет. Зачем? В сущности, я упрекаю ее в мелочи, впрочем, достаточно непростительной: в том, что она бессмысленна, никому не нужна. Потому что конечна. Порой она обременительна, порой подстраивает человеку достойную ловушку: покажет красоту природы или женское тело, искусство... Не думай ни о чем, жри, праздник никогда не кончится. Размножайся, ты будешь жить в детях; переверни мир вверх ногами, тогда останешься бессмертным в памяти других. Фантастическая ересь! Но довольно безобидная, вроде шор на глазах. Все равно ведь...

— Ну, если так рассуждать... Тогда действительно человеку только и остается, что жрать, наслаждаться, заботиться о себе одном, урывать побольше, пока есть время...

— А почему бы и нет? Конечно, гедонизм такого рода — признак очень примитивной ступени познания. Это наиболее простое.

Душан вернулся в кресло, сцепил тонкие пальцы, прогнул их.

— Равнодушие лучше — оно наименее мучительно. И есть в нем достоинство. Проще научиться ничего не принимать всерьез, не зависеть от этого жалкого стука в грудной клетке. Конечно, это мое мнение. Я никому его не навязываю. У меня бывает часто ощущение — не знаю, знакомо ли оно тебе,— я его сильнее всего испытываю, когда вокруг много людей. В кафе, в концерте. Не люблю туда ходить. Будто вдруг прозреешь и как бы испугаешься, выступишь из чего-то привычного, из себя самого, что ли... И крикнуть хочется: да что вы дурака валяете, несчастные? Во что играете? В жизнь, в театр, в смех и слезы?.. Как смешно поглощены вы этим окружающим вас обманом, тряпками, огнями... а между тем, каждый из вас уже несет в себе *это! Это* — не нечто постороннее, оно всегда в вашем теле, под фраками и ожерельями, под кожей у каждого безобразный скелет, он не вне вас, он в вас, в вас самих, и вы завопили бы от ужаса, если б с вас вдруг спала эта водянистая масса мяса со всеми гнилостными зародышами... Мне страшно это — и в то же время оно как-то притягивает. Ничто другое не волнует меня так, как это. Этот страх во мне чисто биологического происхождения, точно так же, как и то, что другие не думают об этом; стадо взбесится, если будет все время видеть гибельный обрыв... а я вижу, понимаешь? Налить тебе еще чаю? А то остывает...

Гонза прикрыл ладонью пустую чашку. За спущенными шторами затемнения искрилась зимняя ночь, под нею попирали камни города живые, реальные люди. Хотелось выбежать отсюда, замешаться в толпу этих людей, слиться с ними. Смерть... Ее запах стоял тут. Она была в приглушенном голосе, в воздухе этой комнаты, в аромате чая. Прочь отсюда! Но Гонза знал, что все равно вернется, потому что непонятный человек в обветшалом кресле не только отталкивал, но и притягивал; Гонза испытывал к нему жестокое отвращение, почти равное инстинкту самосохранения, и в то же время восхищался им и странно ему сострадал. Кто ты? — мысленно вопрошал он, слушая эти извращенные воспевания гибели. Сумасшедший? Больной человек или позер? Нет, это Гонза исключил, он чувствовал, что в Душане действительно происходит борьба, что есть в нем система, недоступная его, Гонзы, пониманию. Тем хуже! Потусторонняя тишина квартиры угнетала; чай терпко стягивал язык. Иногда разговор заходил о более земных делах, но результат оставался тот же: в рассуждениях Душана все дробилось, таяло, начинало казаться тщетным; весь мир лежал в бесформенных обломках, по которым ползают слепцы да безумцы.

— Политика? Не верю в нее, потому что не верю в историю. А ты веришь? Когда-то я этим занимался, да бросил. Не верю, что есть какой-то смысл в истории, и не верю, чтоб существовало нечто вроде прогресса. В чем? Массовое производство иллюзий, горячечное бормотание о рае, которое с подозрительной периодичностью завершается бойней. Тебе не кажется? Мне — да. Вот и в данный момент мы переживаем один из этих закономерных кровавых поносов, при виде которого старик Чингисхан заболел бы комплексом неполноценности. Инквизиция была, пожалуй, идиллией в сравнении с нынешними концлагерями. Ты слышал о них по иностранным передачам? Конечно, у нас теперь гигиена, смерть сбрасывают с воздуха, и солдаты чистят зубы и обучаются технике, чтоб лучше убивать. Прогресс! Как на конвейере. И все это после Будды, после Христа, после Возрождения, Просвещения, в интересах конечного рая из картонки; после Гете — господин Розенберг, после Девятой Бетховена — сирены! Не сомневаюсь, как только человечество выкарабкается из этого и придет несколько в себя, оно сейчас же, с тупостью мухи, бьющейся о стекло, устремится к следующему раю, на сей раз уж гарантированно подлинному... Жив буду — не соблазнюсь.

Пыль и книги. Раз как-то Душан выискал толстую книгу с золотым обрезом, долго листал ее, потом прочитал несколько строк:

— «Мне постыла эта жизнь. Ибо ничто под солнцем не нравится мне, так как все есть только суета и несчастье...» Знаешь это? Самая мудрая книга еврейского Ветхого завета. Куда до нее всей так называемой философии! Или Рильке: «Записки Мальте Лауридса Бригге»... Смерть! Женщины носили ее в лоне своем, мужчины — в груди... Ты по-французски читаешь? Жаль, а то я бы дал тебе кое-что.

Душан признался, что в последнее время его захватили философские учения Востока.

— Не выношу философии, которая, несмотря на все шутовское мудрствование, или прикрываясь им, учит жить. Слюнявый прагматизм. Теперь он даже в моде, философия цивилизованных кротов и полевых грызунов... Гадость! На Востоке давно многие поняли, что ничего этого не надо, жить — жалкий удел, недоразумение, не быть — гораздо естественнее и лучше, так как это конечный смысл и цель. Учиться смерти своей...

Довольно! Гонза только и в силах был, что отрицательно качать головой.

— Ты не сердись,— говорил Душан, и в словах его была пустыня.— Но мне все безразлично! *Это* так естественно! А что естественно, не страшно. Я об этом просто не думаю. И это ведь не только мой удел, я тут не один... Слабое утешение,— невесело добавил он.— Однако что мне до прочих? Суеверие. Каждый одинок... И я тоже... Я, понимаешь? Признаюсь, на похоронах я больше всего завидую покойнику. У него уже все свершилось, все кончено. Жалко-то мне скорее живых. Странное чувство, но я умею смотреть правде в глаза. И своему личному ужасу от того, что мое «я», вот это никому не нужное, дрожащее «я», одержимое навязчивой мыслью о конце, о падении в ничто, что этого «я» не будет! Заранее проигранная игра. Что остается? Смириться. Жизнь? Чем больше у человека желаний, тем глубже он попадает в ловушку жизни, и тем страшнее падение. Лучше всего, когда не надо ни с кем и ни с чем прощаться, ничего не жалеть, ничего не иметь, а потому и не покидать. Ничего не ценить, ни к чему не привязываться. Умереть — единственно порядочное деяние, которое совершает человек. Тем более что выбора-то нет. Мне не по себе от жизни. Только в этом моя защита, другой я не знаю, в другую не верю. И дальше — больше: надо до самого конца свыкнуться с мыслью, что я от рождения неизлечимо болен, признать это неотделимым от меня, и... не быть пассивным, как скот, которого волокут на убой! Понял теперь? Самому решить; добровольно... Идти смерти навстречу с сомнительным достоинством и великолепным презрением — вот единственно мыслимое облегчение!

Что с ним такое? Впервые Гонза увидел на лице Душана волнение, в сумраке глаза его тускло блестели торжествующим восторгом. «А ведь он серьезно»,— мороз пробежал по спине, когда Гонза вдруг понял это, и все в нем ощетинилось чуть ли не физическим протестом. Сумасшедший? Спокойно! Гонза сильно потер виски. Хотелось бежать. Нет, нет! Трус!

— Нет! — выдавил он из себя.— Этого я не понимаю! И не хочу. Не могу. Вероятно, в твоих глазах я примитив, но не может быть облегчения в этом... Это, брат, ненормально.

— А ты сначала скажи, что нормально? — перебил его уже спокойным голосом Душан, утонувший в кресле.— Я не знаю. Впрочем, можем прекратить этот разговор, если хочешь...

— Да нет, говори, говори. Я не боюсь, что ты меня переубедишь.

— Я и не стремлюсь. Пойми — таково мое решение! Люди выдумали для этого отвратительное название. До чего мне противен их пафос, и

то, как они выставляют напоказ свои чувства, которые всегда сопровождают смерть... Но я часто о ней думаю. Как умереть? Не знаю... Важно одно: решить самому, понимаешь? Вот что меня привлекает. Физически и психически я здоров, но... иногда мне ужасно... особенно в такое время, осенью, когда дожди и все увядает... И в этой берлоге... в этом мире, в эту эпоху... Я серьезно говорю. Не понимаю толком, что меня останавливает. Во всяком случае, не гамлетовское «какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят...» Нет, это для меня уже пройденное, и есть приятная уверенность, что никаких снов не будет. Ничто, абсолютное ничто! Может быть, жалость к матери. Она единственный человек, который мне дорог. Бедная... Ты должен понимать это. А может быть, самый обыкновенный животный страх. Придется преодолеть его, а это будет трудно.

Он выпил чай и удивил гостя вопросом:

— Ты когда-нибудь испытывал чувство умирания? Этот миг перехода?

— Нет,— отрезал Гонза.— Я — живой. Погожу, пока само придет. Надеюсь только, что умирать буду недолго. А большего мне и не надо.

— А мне надо,— сказал Душан, сжимая руки.— В сто раз больше...

— Душан! — раздался робкий голос из-за стеклянной двери в прихожую.— Ты у себя?

Душан дрожащими пальцами взъерошил волосы.

— Да, мамочка! Нет, я не забыл. Завтра зайду туда. У меня гость...

Вдруг, как бы застыдившись, он встал, погасил лампу, поднял штору.

— Посмотри!

Ночь, зимняя, в торжественных огнях, дохнула свежестью в лицо. Звезды, созвездия, морозный воздух, захлебнувшийся дымом; ветер заботливо тронул тяжелые гардины. Вид темного, отдаленно грохочущего города под мерцающим небосводом брал за душу. Отдаленно грохотал этот город. А рядом, в темноте спокойное дыхание. Неужели это дышит тот же человек? В эту минуту молчания Гонза готов был поклясться, что даже сквозь броню равнодушия, которую упрямо натягивает на себя Душан, он доступен преходящей земной красоте. Более того, что она до отчаяния, до боли дорога ему. Бедняга! Когда Гонза пришел к нему сегодня, он застал его над рисунками Домье. Посмотри-ка! Душан был искренне взволнован, на лице его играло совсем ребячье, бесхитростное восхищение, но он сейчас же стряхнул его, остыл, будто устыдился какой-то слабости.

Нет, он еще не кончен, он просто внушил себе...

— Люблю ночь,— проговорила легкая тень Душана, он упирался локтями в подоконник.— Она целомудренна. Темнота стирает банальность лиц и позволяет угадывать. Смотрю я в нее и говорю себе: спят! Все спят. Владыка, тиран, нищий, узник, приговоренный... Во сне они равно бессильны. Как легко было бы задушить их. Не властен я над безумной чепухой, которой набиты их головы, и они таскают ее по неверным путям. Во сне тиран хрипит от страха и превращается в гонимого, а нищий повелевает миром, чуть более реальным, чем тот, который освещает солнце. Смешно!..

13

— Посмотри,— сказал Павлу Прокоп.

Они сидели в чуланчике за антикварной лавчонкой. Тикали часы, пыль лежала на бухгалтерских книгах и на лице Прокопа. Узкое окно глядело на сумрачный староместский дворик с натюрмортом: тележка, мусорный бак, стояк для выколачивания ковров.

— Моя страсть — старинная резьба...

Тонкие, сухие пальцы Прокопа любовно ласкали поверхность резной шкатулки.

— Похоже, что это конец восемнадцатого века, но может оказаться и подделкой. Случайная покупка — ту женщину отправили с транспортом... Надо содействовать тому, чтобы подобная красота оставалась в стране и не попадала бы *им* в руки. Тоже работа, хоть и незаметная и неэффектная.

Зачем он мне это рассказывает? Павел шевельнулся, источенный червем старинный стул предостерегающе качнулся под ним. Я ведь пришел не для того, чтоб глазеть на резьбу и фарфор... От пыли защекотало в носу, он не удержался — чихнул. И второй раз. Настоящий приступ чиханья, но Прокоп невозмутимо продолжал говорить. Редкостные часики с колонками из алебастра — примерно конец восемнадцатого века! Он передвинул стрелки, и сейчас же тоненькими колокольчиками часики затенькали знакомый менуэт; Прокоп вынул из ящика деревянного пухлого ангелочка, сдул с него пыль.

— Драгоценность! — произнес он, глядя на статуэтку влюбленными глазами. Когда Прокоп любовался старинными вещами, восхищение красило его.— Барокко, чистая работа. Оценит только знаток! Гляди! И к твоему сведению, эта не продается. По крайней мере, теперь. Ни за что не продам за немецкие ничего не стоящие бумажки. И не уверен, продам ли вообще когда-нибудь. Время, в которое нам довелось жить, не настолько неизменно и надежно, да и вряд ли когда оно будет таковым! Это время, когда красота грустно прозябает и гибнет, время эпигонства, серийной мебели, насекомообразного единообразия...

Прокоп заметил неподвижный взгляд Павла и замолчал, не выпуская из рук статуэтку. Потом стукнул себя пальцем по лбу, губы его дернулись в понимающей улыбке. Минутку! Он поставил свою драгоценность на место, энергично прошел в магазинчик, повернул ключ в двери, выходившей на старомостскую улочку; возвращаясь, сбросил широкий плащ чернокнижника, сполоснул руки над раковиной в нише стены.

— Ты, возможно, недоумеваешь, почему я не удивлен твоим приходом?

Он сел на стул напротив Павла и, барабаня пальцами по доске стола, поощрительно улыбнулся гостю.

— Не удивлен, как видишь! Я знал, что ты придешь.— Он перевел глаза на окошко, выходящее во двор; сдавил виски пальцами, как будто с трудом выжимал из перегруженной памяти обстоятельства их последней встречи, и в конце концов махнул рукой.— Чепуха. Я не представлял, что эта шутка с макулатурой так тебя обидит...

— Ну, это уже неважно,— пробормотал Павел.

— Trés bon*, забудем! Хочешь, приходи послезавтра. Обещаю, никто даже не улыбнется. В последний раз был довольно интересный спор об Унамуно. К тому же,— добавил он с легкой усмешкой,— подозреваю, что твое присутствие будет приятным кое-кому...

— Это ты оставь! — с излишним раздражением оборвал его Павел. Выражение скрытности на иссушенном пылью лице вызывало его на откровенность.— Что мне там делать? Слушать стихи и грызть соленые палочки? Нет... Не думай, что я такая уж дубина. В иных обстоятельствах все это было бы мне даже интересно... Но не теперь! Не теперь. Не обижайся, но все это кажется мне таким...

— Что ж, договаривай,— вставая, сказал Прокоп.— Таким трусливым, да? Ненужным. Гм...

---

* Очень хорошо *(франц.)*.

Он обошел вокруг умолкшего Павла и присел на краешек стола прямо напротив него.

— Сколько тебе лет?

— Какое это имеет отношение?..

— Ну все же,— протянул Прокоп с высоты своих двадцати пяти лет и фыркнул.— Да ты не хмурься. Понимаю. Приступ идеализма. Комплекс самопожертвования. Нет, погоди, дай мне теперь сказать, я ведь тебя не оскорбляю. Без правильного диагноза нет правильного лечения.

— Однако... я вовсе не желаю ни от чего излечиваться...

Возможно, выражение безнадежности в голосе Павла слегка озадачило Прокопа, а может, и растрогало немного. Во всяком случае, продолжал он уже без насмешливости.

— Ну, хорошо, давай в открытую. Видимо, ты не совсем понял смысла этих... ну, скажем, заседаний. На твой вкус они, видно, недостаточно эффективны, но... Не кажется ли тебе, что сначала надо во всем разобраться? Да, ра-зо-браться! Уверяю тебя, это не так просто. Ведь мы живем в пустыне. В навозной куче. Посреди духовной целины. Более того, в сумасшедшем доме. Разобраться надо... а потом только действовать!

— Да, но...— уже соглашаясь с ним, все же возразил Павел,— ведь за это время и война может кончиться...

Недоуменный взгляд Прокопа остановил его на полуслове.

— Ну и что же? — Прокоп примиряюще усмехнулся; взяв нож для разрезания книг, рассек им воздух.— Вот так, что ли? Гм! Годится для деревенских парней в храмовый праздник. Кому ты этим поможешь? Визг слепых щенят... *Они* с этим здорово умеют справляться. Sancta simplicitas!* Скажи, пожалуйста, что ты вообще понимаешь?

— Может быть. и ничего,— Павел постучал костяшками пальцев о спинку стула,— но я по крайней мере знаю, что люди умирают!

— И хочешь разделить их участь?

— Нет! Но не желаю безучастно смотреть на это! Пойми! Ведь это зло. Реальное. Я не сомневаюсь, что это зло...

— Колоссальное открытие! — не скрывая нетерпения, перебил его Прокоп.— А я-то не мог сообразить...— Он бросил нож на стол.— Ну, продолжай, надо же до чего-то договориться. Значит, ты думаешь схватить кинжал и — марш в поход против танков! Жест! Давид использовал в борьбе с Голиафом пращу и камни, и об этом пишут до сих пор, не так ли?

Рука Павла повисла в растерянной пустоте, дальше была уже только печальная неудовлетворенность. Ощущение пут.

— Ага, начинаю понимать! — сказал Прокоп; он соскочил на пол и положил ладонь Павлу на плечо.— Просто ты пришел, чтоб убедиться, действительно ли... существуют те, «наверху». А вдруг! Так или нет?

Это было так. Павел резким движением стряхнул руку Прокопа; сжав губы, он молчал. Жалел, что взялся за ручку двери этой дыры.

— Ну, а если те, «наверху» действительно существуют? — сдерживая смех, напирал Прокоп, которого ничуть не смутила неприязненность Павла.— Что, если они и впрямь руководят борьбой? Не беспокойся, в них сейчас недостатка нет. В известном смысле их около семи миллионов. Не веришь? Послушай, ты отдаешь себе отчет в том, что борьба всегда идет не только *против* чего-то, но и *за* что-то? Не понимаешь? А ты как думал? Замолчат орудия, немцы удалятся, и у нас начнется мармеладная идиллия? А тебя нисколько не интересует, кто эти люди

---

* Святая простота *(лат.)*.

«наверху»? И как они себе представляют то, что будет потом? И чего они хотят?

— Не интересует. Если они, конечно, хоть что-нибудь делают. А не болтают.

— Ты еще больший ребенок, чем я ожидал,— осадил его Прокоп.

Он помолчал, обдумывая что-то, будто перебирал мысленно слова, которые следовало сказать; потом доверительно наклонился к Павлу, и голос его дружески смягчился:

— Оставим страсти, они для трактирных спорщиков. Смотри: я не имею никакого желания затрагивать твои чувства. Они и мне не чужды. Просто я знаю немного больше. Ты лист бумаги, на котором еще ничего не написано. Под словом «разобраться» я, конечно, подразумеваю слово «предвидеть»! В любом случае выигрывает тот, кто умеет предвидеть. Логично? Проверено на опыте истории. Предвидеть — значит быть подготовленным.

— Ну, а дальше что? — спросил Павел прищуром глаз.

— Кажется, ты еще не понял, что важно уже не то, что есть теперь, а то, что будет потом,— объяснил Прокоп со скукой в голосе.

— Я сейчас об этом не думаю.

— В том-то и дело!

— А что будет потом?

Прокоп пристально посмотрел на него.

— Я не пророк. Но у меня есть свои опасения. Потому что тем дело не кончится. Понял? Ничего не будет кончено. Наоборот. Только тогда-то и начнется борьба, и это будет наша борьба. Моя. Для нее и надо вооружиться, потому что та борьба и будет решать судьбу всех ценностей, созданных человечеством за все время существования. К твоему сведению,— добавил он, сдвинув брови,— я ненавижу любительство. Во всем — в искусстве, в войне, вообще!

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что борьбу с ними,— он ткнул пальцем по направлению к улице,— я совершенно спокойно предоставляю русским. И армиям западных союзников. В общем, солдатам. Немцы уже при последнем издыхании, и когда на Западе произойдет высадка... Но и это предоставим им, это их бизнес, не наш. Теперь это уже не вопрос веры, это знает каждый ребенок, и конечно большинство немцев. Вот почему так называемое Сопротивление, каким его представляют себе некоторые люди с бараньими мозгами, вся эта нелегальщина, если хочешь знать мое мнение,— просто романтическая глупость. Чистой воды любительство и халтура, за которые без всякой нужды платят многими жизнями; а вся-то цена ему — грош в базарный день. Школярство! Все это для тех, кто не хочет или попросту не умеет заглядывать вперед.

Два пристальных взгляда встретились, вперились друг в друга. То, к чему столь осмотрительно приближался Прокоп, постепенно вырисовывалось из его слов.

— Но ты не можешь так думать серьезно...

— Совершенно серьезно.

— Тогда... к чему эти бдения... эти лозунги... весь этот балаган... Я-то думал, что... Я думал...

— Я не отвечаю за то, что ты думал,— жестко перебил его Прокоп; волнение заиграло в его пальцах, на пергаментном лице и вдруг разразилось в словах, произнесенных сдавленным голосом.— Не хочется верить, что ты так безнадежно ограничен. Я предполагал — и все еще предполагаю,— что ты интеллигентный, образованный человек, воспри-

нимающий жизнь реально, а не мальчик, которого швыряют из стороны в сторону возрастные эмоции. Уже теперь,— Прокоп постучал согнутым пальцем о стол,— уже теперь происходит отбор. Этого не избежать ни тебе, ни кому бы то ни было в нашей стране.

Он ходил кругами вокруг замершего Павла, и в нем вдруг стал явствен особый к Павлу интерес; этот интерес вынырнул из-под насмешливой и самоуверенной невозмутимости, к которой Павел уже привык, и подчинил себе все его движения. Он ткнул указательным пальцем в Павла:

— А чего, собственно, хочешь ты? Да ты и сам не знаешь! Нашему поколению не дано идиллий. Мы вползаем в апокалиптические времена, и я не строю себе никаких иллюзий, никаких! Разгромить немцев — это еще не решение. Нынче уже гораздо важнее, что будет после всего этого... Что? Мир, каким мы все его представляем... Не сомневаюсь, что и ты в своих розовых мечтах представляешь его таким, уверяю тебя, иначе я не стал бы с тобою возиться,— мир, в котором еще будет место для человечности, для интеллекта... для красоты, или новое варварство, чуждое нам. Повторяю: чуждое нашей стране, и, может быть, еще более страшное и могущественное, потому что более обоснованное идейно! — Он остыл, перевел дух, усмехнулся меланхолически, и в голосе его зазвучала грустная усталость.— Если б мог человек избирать эпоху, в которой он хотел бы жить... если бы! Тогда я не сидел бы тут с тобою. Нет, я не преувеличиваю, к сожалению! Вот почему — понимаешь теперь? — вот почему уже сейчас надо собирать воедино всех интеллигентных, порядочных людей, учиться понимать... другими словами — вооружаться, готовиться... Об одном прошу тебя — не поддавайся всем этим истрепанным панславистским лозунгам, выброшенным на потребу черни и тупоголовой толпы, всей этой болтовне о братьях-освободителях... Как видишь, я с тобой откровенен... Не воображай, что они спят! Блажен, кто верует... Они уже теперь сбиваются в кучу, чтоб захватить весла...

— Кто — они?

Ошарашенный прямым вопросом, Прокоп замер на месте, оглянулся.

— Тебе особенно к лицу выражение грудного младенца.

— Да нет...

— Как видно, ты считаешь мои опасения преувеличенными.

— Я считаю все это свинством,— сдавленным голосом выговорил Павел.— Ты меня не за того принял.

— Вижу. И, кажется, напрасно говорил так открыто,— вздохнул Прокоп.— Надеюсь, по крайней мере, будешь держать язык за зубами. Я бы не советовал тебе звонить.

Павел усмехнулся с отвращением:

— Да и не о чем...

Собеседник его уже успел натянуть привычную маску надменного спокойствия. Дурачок, ты меня не можешь оскорбить,— явственно говорило пергаментное лицо. С нарочитой небрежностью Прокоп стал перебирать бумаги на столе, давая понять, что считает аудиенцию оконченной.

— Не понимаю, впрочем, зачем ты вообще дал себе труд приходить сюда,— сказал он уже со склоненной головой.

Павел, шедший к двери, обернулся:

— Я тоже.

Взялся за ручку двери — она была заперта изнутри. К чему? Павел повернул ключ, вырвался на улицу и так хлопнул дверью, что задребезжали стекла.

14

Эта ночная смена началась, как любая иная, и ничто заранее не предвещало, что она не забудется. В половине седьмого провыла сирена, и двенадцатичасовая вечность развернулась, как скучный ковер, по которому топать и топать вплоть до мутного рассвета.

Гонза пробежал глазами свою карточку у контрольных часов: ага, приход отмечен в четыре! Чудесно. Оглянулся: мастер Даламанек склонился над своим столиком, над бумагами; он несомненно знает обо всех этих проделках, но у него другие заботы. Завтра четверг, день, когда немецкое руководство и свирепый божок Каутце созывают на совещание начальников цехов и мастеров. Но что это за совещание! Кто там советуется? Сгоняют, как собак, в кучу и грозят тюрьмой. «Империя,— твердит каждый раз Каутце,— не собирается больше терпеть того, что тут делается, в то время, как она ведет гигантскую борьбу!» Ничего, пока он только глотку дерет, дело не так плохо. Кое-что можно свалить на катастрофическое положение с материалами — вражеские налеты все чаще нарушают доставку,— кое-что на чудовищную аварийность, без конца все перемещают, переставляют, дня не проходит без происшествий! Бардак, а не завод! Саботаж! Это слово растет, щекочет спину сотнями паучьих ножек. И чем все это кончится, господи боже мой?

Пришел Пишкот и, как всегда, внес с собою приятное оживление.

— Ну, как Попрыгунчик, Пишкот?

— Вчера, как гнались за ним, перепрыгнул через Влтаву и трамвай опрокинул. Пятый номер.

Милан нахлобучил на голову свою знаменитую шляпу с пробитыми полями и, не сводя глаз с Бациллы, который тихонько жевал у своего шкафчика хлеб с маслом, поддержал рассказ.

— Слышно, в последнее время он главное на толстопузых нападает,— убежденно проговорил он.— На твоем месте, Бацилла, я бы не вылезал ночью на улицу. Отвали-ка! — И, не ожидая разрешения, он отломил кусок от Бациллина бутерброда и затолкал себе в рот.

— Очень важно,— коварно заметил Леош,— на чьей стороне будет Попрыгунчик, когда разразится твоя революция, Милан.

— Дурак!

Гонза подошел к Пишкоту:

— Курнуть нету? Верну, когда паек выдадут.

Пишкот сокрушенно почесал в лохматой голове.

— Нету, дружище. Вчера вон дождем мою лавочку залило.

Известно было, что Пишкот не стесняется нагнуться за самым крошечным, хотя бы даже и затоптанным окурком; он называл это «ловить тигров». Окурки он прятал в жестяную коробку из-под боснийского табака, чтоб они пропитались запахом, и свертывал из них сигарки или «фаустпатроны».

— Впрочем, лично я эту проблему решил,— продолжал он, двигая бровями,— но это не для неженок.

Пошарив в глубине своего шкафчика, он подал Гонзе сигарку, подозрительно шелестевшую в пальцах.

— Подохнуть можно! Солома или похоронный венок?

Гонза закашлялся после первой же затяжки, слезы брызнули у него из глаз, но он не сразу сдался.

— Травка от ревматизма. Марки «Лесняк»! — Пишкот имитировал голос диктора из кинорекламы.— Не забудьте! «Лесняк»! Легкий, нежно ароматический! — Он шутовски ухмыльнулся.— Черт побери, не может же это вредить здоровью, раз в аптеке куплено, а? Мой фатер выращивает самосад в цветочном горшке, по-моему, он никогда не вырастет. Вчера папахен срезал стебелек, на нем еще и листочков-то не было, и

высушил в духовке. Ему-то нипочем это зелье, но обыкновенного человека от одной затяжки пронзает насквозь, до пяток, и он сейчас же в слезы, как на похоронах...

— Ладно, заткнись...— Гонза погасил сигарку, сжав ее пальцами, но не бросил, а сунул в карман. Рукой разогнал вонючий дым перед носом.

Пишкот обиженно завертел головой.

— Больно ты нежный. Когда глотка притерпится, не стесняйся, у меня целый ящик припасен на тот случай, если людишки откроют эту травку в аптеках. Марка «Лесняк», помни!

Напарника своего Гонза застал под стапелем, тот привертывал шланг к крану воздухоподачи, мурлыча единственную свою песенку. Привернул, нажал на спуск, но молоток молчал. Молчали все молотки; рабочие, сунув руки в карманы, торчали меж стапелей, чесали языки, в то время как Даламанек в панике бегал по своему участку — только полы халата развевались — и призывал всех образумиться.

— В чем дело?

— Воздуха нет. Раньше полуночи не найдут разрыва.

Это уже второй раз за неделю; а вчера, для разнообразия, на полсмены вышла из строя электростанция. Каутце гонял ремонтников как бешеный, орал и грозил гестаповцами, пока не была обнаружена причина аварии. Саботаж!

Гонза, нахмурив лоб, наклонился к Мелихару:

— Похоже, будто кто-то нарочно...

Глазки, всаженные глубоко в подушечки лица, строго обожгли его.

— А? Насчет этого, гимназистик, спрашивайте у Каутце...

Гонза оскорбленно поплелся прочь. В проходе между стапелями Даламанек возбужденно спорил с рабочими.

— А в чем дело-то? — лениво громыхал Гиян.— Над нами не каплет... Пускай герр Каутце пошлет сюда верхшуца потолще, мы ему шланг к заднице привернем...

Слова его утонули в хохоте, Даламанек убежал, как побитый.

Восемь часов! К шкафчикам за стапелями пришел Леош, оторвавшись от своей картотеки. Он с несчастным видом встряхивал птичьей головой.

— Надвигается погром, ребята,— надломленным голосом вещал он подхихикивая.— Десять тысяч сверл и две тысячи лампочек! Поджечь, что ли, все? Если ревизия — мне не выкрутиться, а эта свинья Канька опять вино хлещет и на скрипочке пиликает. О, дева Мария! «Мы еще насладимся жизнью,— толкует он своей команде,— прежде чем нас повесят за причинное место»...

— А кто в проходной?

— Смотри в оба,— поднял голову Пишкот, ковырявший ножом кусок дерева.— Там нынче Заячья Губа сидит. Обер-свинья! В понедельник лазил в сумки с углем, даже женщин проверял. Куча штрафов из-за него. Янечека грузчика он подкузьмил.

Предполагалось, как нечто совершенно естественное, что Пишкот знает все, что происходит на заводе. Он был ходячее агентство печати.

— А что Янечек сделал?

— Воровал на пару с одним из склада, а Заячья Губа возьми да залезь к нему в шкафчик. Держать такие вещи в своем шкафчике — голое любительство. Верно? А вообще-то он только помогал другому. По дружбе. Ну, сначала сцапали этого другого, да в живодерке все из него и выколотили. Воровать тоже умеючи надо.

Бацилла в ужасе моргал глазами:

— А что он теперь?

— Если его пошлют на отдых в Градиштский лагерь, пусть благодарит господа бога. Там хоть со свету не сживают.

■

Десять! Гонза увидел, как напарник машет ему рукой от двери. Понял — зовет в столовку. Обычно он чувствовал себя слегка польщенным таким приглашением, но сегодня еще не переварил злость на Мелихара.

В темноте двора он узнал его по очертаниям спины и по медвежьей походке, присоединился к нему, но упрямо молчал. Так и шагали они рядом мимо моторного цеха — Мелихар на две головы выше,— и теплый ветер ощупывал им лица. Гонза начал было насвистывать, но бросил, услыхав воркотню напарника.

— Ну, в чем дело, молодой? Язык отнялся?

Гонза неохотно бросил:

— А что?

— Что опять не по вас?

Гонза заколебался, подыскивая слова.

— Ладно, скажу. Работаю я с вами уже не первый месяц, вот и досадно, что вы все мне не доверяете. Я, знаете, не предатель.

Прошел мимо веркшуц с овчаркой на коротком поводке.

— Глупости,— сердито сказал Мелихар, когда веркшуц скрылся.— Не так все это. Только и у нас есть кое-какой опыт по части болтовни, так-то, молодой.

Гонза упорно не отвечал, и потому Мелихар через некоторое время сам заговорил:

— Вот что я вам скажу — видал я тут много таких, что выхвалялись бог весть как, а язык развязывали после первой же затрещины. По-моему, кто больше задается, тот раньше в штаны накладывает и выбалтывает, чего и не знает. Видно, совсем другое дело, когда тебе вывеску разобьют. Не хотел бы я это испытать. А вам приходилось? Разве что от лапаши, а?

— Нет, не приходилось,— буркнул Гонза.

— Ну вот,— удовлетворенно вздохнул Мелихар.— А мне приходилось. До войны еще. Да ничего особенного. Работал я тогда в бродячем цирке рабочим, лавочка называлась «Дияна»... Надо же было где-то работать, металлистов всюду как собак нерезаных, на завод-то не попасть... Был в том цирке эдакий плюгавенький хлюстик, очень уж он ко мне придирался — со мной это часто бывало, всякие недоноски на меня зуб точили. Мне б его разок двинуть, небось в мостовую по плечи вошел бы! А вышло наоборот. Не так-то это просто, молодой, когда бьют взрослого мужика, да еще отца девчонки. Дело не в боли, а странно как-то... Выдрали тебя, будто уличного мальчишку, думаешь потом, не хватало только штаны спустить да девчонку позвать, пусть, мол, смотрит, как отца дерут. Тьфу! Ну, арестуйте, согласен, только не это!

Он сплюнул в темноту; и видно было по его словам, как воспоминание об этом унижении все еще саднит занозой, не забылось даже после стольких лет. Его били! Быть может, легкое волнение, охватившее Гонзу, помогло ему набраться духу и спросить:

— Слушайте, пан Мелихар, я давно хотел вас спросить, вы ведь не обидитесь, правда? Действительно ли вы на ярмарках выступали под маской как борец?

В следующее мгновение Гонза пожалел, что не подавился этим вопросом. Мелихар, грузно топая рядом, сопел с присвистом.

— Ну и что? — буркнул он в ответ.— Кому какое дело? Вот болтают люди! И чего мне, черт возьми, стыдиться?

— Да нечего,— быстро сказал Гонза, переводя дыхание.— Мне, например, даже хотелось бы посмотреть вас на ковре.

— Чепуха! — проворчал великан.— Враки все. Ясно?

Но через некоторое время опять заговорил об этом, и в голосе его прозвучала нотка тщеславия и гордости от того, что он так силен. Это сразу сблизило его с Гонзой.

— А в общем-то не такая уж это безделица сделать двойной нельсон Свенсону или несколько минут продержаться против Абулы из Абиссинии! Публика тогда болела за него из-за той войны... Ну и ладно! Он-то был лучше, чем эти мартышки с человечьими рожами, которые орали нам из-под ринга. Только для настоящего металлиста это все равно не дело. И не помню я ничего про это, молодой.

Он рывком распахнул дверь столовой. Угар, состоящий из различнейших запахов и табачного дыма, недвижно стоял над грязными столами в мертвенном свете плафонов; от него щипало глаза. В столовой у Гонзы всегда сжимался желудок от отвращения к этим неописуемым, ужасающе постоянным запахам. Грязь и холод...

Гадость! Пиво холодило желудок. Гонза отпивал его маленькими глотками, поглядывая на своего напарника поверх кружки. Отношения у них снова наладились. В который раз? И надолго ли? Собственно, Мелихар — первый рабочий, с которым Гонза близко познакомился.

Милан утверждает, что будущее принадлежит таким Мелихарам, что они выведут человечество из всей этой неразберихи и устроят рай на земле. Коммунизм и так далее. Гм. Милан — псих. Однако, кто знает? Только не я. Душан? Но тот живет в каком-то нездешнем мире.

А где живу я? Нигде. Я только бреду ощупью, озираюсь хмуро, и все так сложно и запутанно! Я — и мир, я — и она. Даже я — и Мелихар ничуть не яснее. Понять бы, разобраться, что к чему! Чепуха. Рабочие это и есть Мелихар, Гиян, Маречек и Войта, в общем, все из нашего цеха, кроме нас, тотального сброда, которому нельзя доверять, и еще кроме мастеров, и коллаборационистов, и веркшуцев. Стало быть, рабочим принадлежит будущее!

Это показалось Гонзе довольно невероятным. Почему же им? Немцы, ясно, лижут им задницу, потому что без них не будет ни пушек, ни самолетов. И вообще ничего не будет. Что же в них такое? Они вроде совсем не похожи друг на друга, это и Мелихар говорит. Есть среди них славные ребята. Таких Гонза представлял себе, когда читал «Первую спасательную» Чапека; с такими не побоишься и к черту на рога влезть. Но есть ведь и другие: и спекулянты, и деляги, которые за лишнюю пайку сигарет или водки готовы пупок себе надорвать, есть и добычливые хозяйчики, те самые, которые спешат перекрыть крыши своих гнилых домишек и воруют цемент не для того, чтоб поскорее столкнуть в гроб немцев, а чтоб достроить свой крольчатник. Ох уж эти папаши семейств! Они ужасно честные, да только исключительно к себе и к своим. По воскресеньям отводят душу на футбольном поле, а так им на все плевать.

Нет, не могу я их себе представить ни в какой революции. Разве что неосторожно зацепят заборчик их огородика... Впрочем, и тут, видно, не так все просто. А я не Павел, которому хочется погнать всех на танки и пулеметы. «Ничего вы тут не понимаете, молодой, не жили вы тут раньше»,— говорит Мелихар. Наверно, он прав. Он думает иначе, потому что прожил другую жизнь.

Недавно заклепывали очередное крыло, и Гонза яростно отбросил поддержку, зло сказав: «Ох, хоть бы расколошматили всю эту лавочку! Вдребезги!» Он ожидал одобрения, но напарник смерил его непонятным взглядом. Какие-то слова, видимо, вертелись у него на языке; он плюнул. «Хороши же вы, молодой!» Тон Мелихара ясно свидетельствовал о том, что опять он отдаляет Гонзу от себя. «Вы-то потом вернетесь к своим книжкам, верно? А нам где тогда работать? Это вам не приходи-

ло в голову? Понадобится — и расколошматят... даже в конце войны. Только я-то от радости плясать не стану. Машины ни в чем не виноваты». И Мелихар постучал себя пальцем по лбу. Прав он или нет? Ведь тут работают на Гитлера, на его сволочную войну, значит, пусть разбомбят завод к черту! Тысячу раз! Рабочие... Что-то происходит между ними прямо на твоих глазах, они переговариваются безмолвными взглядами и не пускают тебя к себе. Ты — чужак, незваный гость по кличке тотальник. Наверняка есть среди них и коммунисты. Но кто? По лицу не узнаешь, а чувство такое, что они-то между собой знают, хотя и слова не обронят. Раз как-то в получку Гонза заметил, что Мелихар сует Гияну в руку несколько бумажек. Спросил Мелихара прямо, ответом было неохотное ворчание: «Бабам с детьми, у которых мужей посадили, тоже есть надо, как думаете? Да вас это не касается». Гонза мигом сообразил. «А я думаю, касается!» Глубоко посаженные глазки Мелихара приклеились к нему испытующе; потом напарник кивнул: «Добро. Коли хотите — отчего же... Больно вы любопытный, молодой...» — добавил он, отфыркиваясь и криво усмехаясь, но слова эти звучали не сердито. С той поры Гонза от каждой получки отделял сотню и молча передавал Мелихару, понимая, что этим не купить его откровенности. Язык у него чесался от множества вопросов, но он был осторожен. Вот ведь как на первый взгляд все просто: завод, на заводе сотни людей, они работают, ругаются, лодырничают, а за всем тем и подо всем тем разыгрывается что-то такое, чего ты не понимаешь; ходишь, как в джунглях, ты вроде зайца, который видит мир со своей кочки, и любопытство нестерпимо мучает тебя. А есть ли здесь подпольные группы? Гонза в этом не сомневался. Аварии, хаос, с которым все труднее справляться начальству,— это не случайность, здесь есть система, и никакая случайность не может срабатывать так интенсивно, это знает, конечно, и сам великий божок Каутце. Как-то Милан назвал несколько имен, которые произносят тут шепотом, которые уже овеяны легендой, но большего и Милан не знал, он сам относился к пришельцам. Коммунисты! Слово это таило в себе опасность, тем более дразнило оно воображение. Гонза слышал, что большая часть коммунистов арестована, кое-кто расстрелян, кое-кто скрылся или попал в тюрьму и концлагери. Но, конечно, не все — Гонза готов голову прозакладывать, что каждый день проходит мимо кого-нибудь из них, может быть, стоит рядом в уборной или прикуривает сигарету. Достаточно, чтобы воображение заработало на полные обороты...

■

Легкий сквозняк от дверей цеха.

Кто первый увидел их? — спрашивал Гонза у своей памяти несколько дней спустя. Трудно сказать! Помню только, что невольно обернулся ко входу, а там они стоят. Сколько их? Человека три-четыре, вряд ли больше, число выпало из памяти, отпечатались только лица. Люди рослые, они, наверно, казались выше, чем были на самом деле, и с первого взгляда видно, что приехали откуда-то, что чужие; движение еще не погасло в них. Они стояли, явно готовые приступить к делу. С руками, как-то по-особенному сунутыми в карманы плащей. И очень напряженные. Охотники перед охотой, вершители судеб, понимающие свою задачу. Стояли, озираясь почти незаметно, как бы колеблясь; самый высокий бросил окурок, растоптал сапогом. Жаль,— пришла в голову глупая мысль,— пропал окурок для Пишкота! Строго говоря, их лица не были похожи одно на другое; для утверждения сходства вряд ли нашлись бы разумные доводы, но они казались выделанными из одного материала. В них определенно было что-то общее. Одно из этих лиц застряло в моей памяти: была в нем какая-то подстерегающая, жестокая солидность и что-то от учителя, быть может, оттого, что он носил очки без оправы,

которые при малейшем движении головы холодно поблескивали. И губы, создававшие впечатление озлобленности и аскетизма. У того, кто был меньше всех ростом,— удивленный вид Петра Лорре. Эта скульптурная группа моментально отпечаталась на чувствительной пленке, которую мы носим в голове. Удивительно, какой ужас возбуждает неподвижность; наверно, в движении есть что-то успокоительное, движение растормаживает парализованное сознание, говорит о возможности уйти от чего-то, о возможном, хотя и неверном спасении... Короткая дробь барабана — брек! Помню, в тот момент я мучительно желал, чтоб они пошевелились. Нет. Из темноты двора вынырнула рожа Каутце, вспухшая больше обычного. Она грозила лопнуть, и теперь было в ней еще что-то незнакомое: страх? Или чувство обиды, нанесенной ему, и чувство униженности перед пришельцами? Однако, несмотря на показную свирепость и жажду мести, лицо это рядом со спокойными, бесстрастными лицами чужаков чуть ли не успокаивало — хотя бы потому, что было знакомо. То же самое можно было сказать о веркшуце Заячья Губа и еще об одном из сопровождавших группу. Я терзаю свою память, чтобы вырвать из недр ее все, что вместилось тогда в несколько секунд: испуг и необычайно сильное ощущение опасности. Что-то должно случиться. Мелькнула мысль о Душане. Сохранил бы он сейчас свое философское спокойствие, свое ослепительное равнодушие? Аромат чая... А тут уже не теория ужаса, тут — практика его... Страх? Да, но не просто: видимо, существуют разновидности страха и различные степени его интенсивности; этот страх не был похож ни на один из тех, что я испытывал в жизни: он просыпался где-то в области желудка, неестественным холодом отдавал вниз, сжимал чресла...

Да шевельнитесь же, наконец! И — карканье вопросов: за кем? За мной? Ручаюсь, такие вопросы возникли в ту минуту у всех, кто увидел вошедших. Нет, уже сосредоточенность их подсказывала, что они явились не для того, чтобы схватить шутника, нацарапавшего издевательские надписи в уборной,— тут дело серьезнее... Но что же? За кем?.. Голос Мелихара за спиной: «Гляди в оба! Они!»

Даламанек! Он опомнился первым, кинулся к стапелям с театральными жестами, просительными и угрожающими, уговаривая изобразить кипучую деятельность. Да пошевеливайтесь же вы, господи Иисусе! Действительно, грохот пневматических молотков на минуту усилился, умножился, но тут же и сник в остывающем шипении. Последнее одинокое «трррра» — и смолкло все...

Гонза посмотрел в сторону «Девина», и по выражению лица Бланки понял, что она все заметила, все знает. Тогда он оглянулся: рядом, сгорбясь, стоял Павел. Исхудавшее лицо с натянутой на скулах кожей болезненно бледно, пальцы обхватили железную подпорку стапелей так крепко, что суставы побелели. Дышит ли он? Коснулись друг друга беглым взглядом. И тотчас перевели глаза на Даламанека: тот, невероятно уменьшившийся, усердно кивая, отвечает на какие-то вопросы; вот обернулся, показал рукой куда-то в дальний конец прохода между стапелей.

Сотни глаз устремились вслед его жесту.

Чужаки двинулись. Пошли по проходу тесной кучкой, не торопясь, не обращая внимания на взгляды, провожавшие их,— заведенные роботы, упрямо направленные к цели, молчаливые, с неподвижными лицами...

Тишина, тишина размеренных шагов...

...и в этой тишине там, в конце участка, возле невысокого ряда шкафчиков с инструментами, за последним скелетом крыла, на месте, не видном отсюда, родился шум движения... Стук деревянных подметок, грохот падения, и опять этот стук... Он как бы стал сигналом, будто кто-то нажал кнопки под плащами пришельцев — они рванулись вперед.

Шорох, лающие выкрики. Все вдруг неправдоподобно убыстрилось под топот окованных сапог.

— Weiter machen! * — орал обезумевший Каутце, размахивая руками, а его никто не слушал.— Weiter...

«...и не подозревал ничего,— рассказывал позднее дрожащим голоском Бацилла, он давился словами и все оглядывался.— Только уж когда вошли... «Бог мой,— говорит,— что это вдруг как тихо стало... Пошли дрыхнуть, Бацилла... Пузырь»,— так еще сказал... А тут уж Гиян машет, показывает туда... Я заметил, как он вздрогнул, глянул в проход и затрясся всем телом... «Ну, ребята, мне конец»,— успел он еще сказать, и не сразу сообразил, куда кинуться... завозился в своем шкафчике. Потом вдруг как-то странно дернулся и сорвался как бешеный... Может, не следовало ему бежать, лучше было стоять спокойно, не знаю... Споткнулся об ящик, запутался в проводах от сверла, но все-таки встал потом...»

Или тебе только чудится? Нет, это шум охоты...

— Weiter arbeiten! — орет Каутце, и жилы вздуваются у него на шее.— Всем оставаться на местах! Не двигаться!..

— Пишкот,— дохнул над ухом Павел.

Гонза заметил, что Павел весь дрожит.

Нет, зрение их не обманывало. Они увидели Пишкота, видели, как он с проворством куницы мечется между покинутыми верстаками в дальнем конце цеха, там было пусто и полутемно, свет туда падал издали, от стапелей. Пишкот бежал... а страшный, предательский стук «кораблей» бил прямо по костям. Загнанный заяц... Взгляд через плечо, и дальше... топот сапог, и крик, и лай команд. Чужаки разбежались в стороны, чтоб окружить его... Вот он исчез из виду, но сейчас же мелькнула его светловолосая голова, вон он... мчится к дверям в кузнечный цех... От двери отделилась темная фигура, бросилась навстречу... Назад! Пишкот, назад! Куда ты? Беги к малярке, и — вон, в ночь... Топот, рев... Закрой глаза, чтоб не видеть, прямо тошнит, до чего это все нереально... Были бы у него пружины на подметках, ушел бы, может быть... Почему не стреляют?.. А кругом глаза, глаза, полные ужаса, с расширенными зрачками, и лица, искаженные смятением... Даламанек, Мелихар, Гиян, некрасивое лицо Милана, более некрасивое, чем всегда... И кусок льда, скользящий вниз по сведенным судорогой внутренностям... «Лесняк», травка от ревматизма... Да проснись же, сделай что-нибудь, стоишь истуканом, за человеком охотятся, как за зверем, а ты... Петух! Петух с их дворика, Гонза узнал. Совершенно явственно услышал кукареканье... Петух сошел с ума...

Или — я. Нет, это невозможно!

Поймали... окружили, загнали в темный угол, нет, не сдался еще... Слышишь? Рев борьбы, глухие удары... Конца нет, бьют, бьют и бьют, распаленные погоней... Хватит! Да хватит же!

И сразу тишина. Непостижимая, слишком внезапная.

Это было как вечность, какая-то невыносимая вечность. Большая стрелка перескочила на цифру семь — всего пять минут, триста фантастических секунд прошло, а все изменилось, я чувствовал, что и я другой, и Милан тоже, я уставился ему в лицо и видел, как он шевелит губами. В руках он сжимал свою неизменную трубу, и поля его шляпы пробиты пневматическим молотком. Рядом со мной тяжело дышал Павел. Помню и лицо Бланки, мне вдруг стало страшно жаль ее, хотя я не знал отчего, и хотелось реветь, перенестись куда-то туда, где еще ничего не случилось, а у секунд были мышиные лапки, они щекотали у меня под черепом, и еще я помню, что мне хотелось проснуться, да

* Продолжать работу *(нем.)*.

некуда было просыпаться — ведь вот это и был наш мир, убедительно материальный, угловатый, со всеми оттенками света, и вони, и звуков, и не уйдешь от него никуда... И были шаги в этом мире, они все приближались, сотни шагов по натянутой барабанной перепонке, я ждал это учительское лицо с блещущими стеклами очков, а Каутце все еще орал, но уже не так неистово, он охрип и просто доругивался... Шаги! Почему не пошли они другим путем, подумалось вдруг, ведь могли же пройти через малярку; но, видно, был в этом умысел — нагнать побольше страху, так ведь всегда делается при казнях.

Потом я увидел их! Самый высокий прихрамывал, ощупывал свой локоть, а тот, что походил на Петра Лорре, стирал пот со лба, устав от неравной борьбы.

Как странно смотреть — секунду, не больше — в открытые глаза, которые не видят тебя; нет, это глаза не Пишкота, а кого-то чужого, отделившегося от нас, кого-то, стоявшего по ту сторону, нет, это уже не Пишкот — это разбитое лицо и губы, с которых капает кровь. Нет! Его вели по проходу мимо нас, нет, скорее несли или тащили в когтях. В глаза мне бросилась его разорванная куртка и «корабли», волочащиеся по бетону пола носками внутрь... Чужаки шли, не оглядываясь по сторонам, будто проходили через стан побежденных врагов, и видно было по ним, что они тоже потрясены. Я мог поклясться, что каждый из них подсознательно желал поскорее убраться отсюда. Оказаться в темноте. Если бы ненависть можно было вдыхать, как ядовитый газ, они не ушли бы живыми.

Я с изумлением осознал, что сжимаю потными пальцами поддержку — не помню, когда я ее схватил,— что с конвульсивной силой сжимаю этот ненавистный кусок железа, когда-то так унизительно пригибавший меня к земле своей тяжестью. Стою и скриплю зубами от бессилия. Бессилие, ненависть, страх... Я огляделся. Ребята. Рабочие. Каменно-недвижные, напряженные лица. Да, в них происходит то же самое. Это просто видно было по ним, и, может, достаточно было, чтоб кто-нибудь один, не рассуждая, выкрикнул команду — одну-единственную, безумную, освобождающе-прекрасную... И, кажется, в этот миг я чувствовал их чувствами, и моя воля была уже не моя. Особенное, неведомое доселе ощущение. Не умею объяснить его и описать, а может быть, и нету средств выразить точно это головокружение, это сжимающее, полубессознательное напряжение, охватившее меня. Команду! Команду! Довольно было б малого: запереть двери, вырвать Пишкота у них из лап, растерзать их голыми руками, забить до смерти железными палками вместе с Каутце и веркшуцами. Команду!

Нет, тишина.

В ней удалялись шаги. С грохотом захлопнулись двери.

■

Еще никто не заговорил.

Чужаки растворились в темноте, но что-то осталось, сладковатой гарью висело в воздухе. Ясно было — этим дело не кончится, теперь будут обыскивать и шпионить, может быть, допрашивать, арестовывать, бить. На кого еще падет жребий? И что сделал Пишкот? Пишкот... Не может быть! Этот весельчак?

И звери собираются, обнюхивают друг друга, когда протрубят конец охоты. Курить! Гонза нашарил в кармане выкрошившуюся сигарку, но испуганно отдернул руку, будто его обожгло. «Лесняк»!

В проходе между крыльями увидел Богоуша: будущий врач, уткнувшись лбом в сгиб локтя и опершись на железную плиту, весь содрогался в позывах рвоты. Его лицо, обрамленное щетиной бороды, было серо-зеленым.

Куда я иду? У шкафчиков с инструментами сходятся ребята, у них бледные лица, движения машинальны оттого, что их коснулся ужас, пронесшийся мимо; они жмутся в кучку, потому что каждый боится остаться наедине с собой. Все знали друг друга по именам и фамилиям — Купса, Фафейта, Башус, один из лидеров в состязаниях по непристойностям, и Адольф Шерак, который до конца войны запретил называть себя по имени и предпочитал мириться с прозвищем Серак. Сбились в кучу все эти злополучные тотальники, загнанные сюда несчастным жребием, выпавшим на долю тех, кто родился в двадцать четвертом году. Стояли в мутном свете, молча пялились друг на друга, чуть не лопаясь от вопросов. Стрелка часов, легонько щелкнув, соскочила с цифры два, а никто ничего не делал. Ничего. И это было хуже всего. Ничего.

В чем виноват Пишкот? За что? Ты видел? Быть может, его уже нет в живых... Где он теперь? Что с ним сделают? Ох, сейчас бы ему пружины Попрыгунчика! И кто бы подумал, что именно он?.. Вечно он занимался всякой чепухой, умел кукарекать, и лаять, и подражать всем голосам — Каутце, сиренам. И кто с ним заодно? Кто из нас знает об этом хоть что-нибудь? Если есть такой — пусть не зевает, пусть вовремя испарится, не то еще нас в это дело впутает... Кто? Ты? Или ты?

Скорей бы утро, сил никаких нет. За кем еще придут те, с оттянутыми карманами, с запахом смерти? А вдруг устроят обыск? И найдут в моем шкафчике в гардеробной наворованные гвозди и мыло? Или книжку? А вдруг она запрещена? Дурак! Не стой, скорей туда, пока время есть...

Неестественная тишина держала в тисках кучки людей, сбившихся в проходах между крыльями.

Половина третьего... Только-то? Тссс!

Веркшуц в униформе четким, как на параде, шагом прошел по проходу, сапоги, словно в кошмарном сне, цокали по цементному полу — по рассеченной харе узнали Заячью Губу. Что ему надо? Хочет когонибудь забрать? Нет. Фьюю! Он прошел к шкафчикам в конце участка, спросил о чем-то старого Маречека и потом заостренным концом молотка взломал дверцы одного из них. Все знали, чей это шкафчик. Выгреб все: тряпки, протряс их как следует — ничего; расческа с выломанными зубьями, смыленный кусок мыла, засохшая корка хлеба, брошюрка о тайнах оккультных наук. Все это веркшуц сложил в грязное полотенце и завязал узлом. В самой глубине шкафчика нашарил еще картонную коробочку, в ней что-то шелестело, открыл пальцем, понюхал и, брезгливо фыркнув, зашвырнул обратно. «Лесняк», травка от ревматизма... «Легкий, нежно ароматический...»

Три часа.

Появился Даламанек, глаза его горели лихорадочно, он, видимо, вернулся *оттуда*, и то, что видел, вытряхнуло из него угодливую живость; но не мужественное спокойствие делало его движения более медленными.

— Не стойте так, ребята,— проговорил как бы совсем другой Даламанек,— прошу вас... и никто... пока не должен покидать... Они еще тут... погубите вы меня, поймите, я ведь мастер...

— Что с ним? — спросил из-за спины Даламанека Павел.

Мастер обернулся, непонимающе заморгал.

— С кем с ним? — просипел он; руки его взметнулись и упали, хлопнув по рабочему халату.— Не знаю... ничего я не знаю! Что с ним? Не спрашивай меня!

Слышишь? Движение вокруг цеха — мы в западне! Топот сапог на лестнице к раздевалке, по коридору за дверью конторы; где-то далеко взревел автомобильный мотор, но, может, все это тебе только чудится.

Шаги... Время от времени кто-нибудь из веркшуцев пробежит через цех и исчезнет... Тоска, брюхатое облако, колышется под сводом крыши, ты слышишь, как плещется время, но ничего не происходит. Больше никого не вызывали, никто не орал, понуждая к работе. Воздух молчит, во внутренностях роется крот, с наступающим утром в кости заползает холод.

Чего они ждут?

Четыре!.. В дверях появляется знакомое лицо Гавела — веркшуца-певца. Он как предвозвестник спасения. Гавел огляделся вокруг слезящимися глазами, потом зашагал на своих тонких ножках вперед по проходу. Весь он какой-то сникший, от него разит потом и пивом, ворот мундира расстегнут, обнажая морщинистую шею. Всем своим видом Гавел показывает, что ему наплевать на все. Он вошел в толпу серых и блекло-зеленых комбинезонов, принял протянутую кем-то сигарету, спрятал под фуражку с твердым козырьком; подергал себя за грустный нос, и видно было, что он готов говорить, что ему хочется говорить, более того, что он не может не говорить.

— Убрались, камарады,— прикрывая рот рукой, бормочет он и идет не останавливаясь, переступая через шланги и провода.— Дело, видно, крупное... Не у нас... Жив ли? Не знаю... Вряд ли. Ему уже не много было надо. Я видел, когда его грузили в машину... Меня туда не пустили.— И с красноречивой ухмылкой он чуть ли не горделиво добавляет: — Старик мне не очень-то верит... Не зевайте!

■

Рассвет. Поколебался на грани ночи и дня, предвещаемый гомоном птиц. Стало быть, вот неизбежность: все идет своим чередом, повторяясь с тягостным безразличием, от мертвенной бледности надломившейся темноты веет мучительной тоской. Где-то Гонза прочитал, что чаще всего умирают на рассвете: ночь выбрасывает человека к его печальным берегам обессиленного борьбой, беззащитного — погляди, мол, еще, вот твой мир, смотри, как его очертания выплывают из мутных вод! Стонущий напев блюза в памяти... Стена с колючей проволокой поверху, за нею травянистая плоскость аэродрома, трубы и спящие киты-ангары, стены, провода и бетонные квадраты двориков, отдаленное ворчанье, шипенье... Все это неотъемлемая часть пугливой, карминной тишины.

Мир был скользкий от утренней сырости, и в нем наступал рассвет.

Гонза смотрел на рассвет недоверчиво и не сразу заметил, как тихонько подсела к нему Бланка. Очнулся он лишь от ощущения чьего-то присутствия и увидел ее рядом. Неестественная бледность портила ее. Он даже немного испугался.

— А я тебя искала,— проговорила она, помолчав и глядя в пространство. Он тоже смотрел куда-то вперед и не ответил. Тогда она спросила: — Я тебе мешаю?

— Я рад, что ты меня разыскала.

Тут он вспомнил, что за все это время как-то почти не думал о ней, она не вмещалась в те чувства, которые опустошали его душу, но сейчас он не лгал: он действительно был рад, что она сидит рядом.

— Не будем об этом, ладно? Во всяком случае, не сегодня.

— Хорошо.

Тогда в нем заговорила обычная заботливость:

— Тебе холодно?

— Не чувствую... Ничего я не чувствую. Сиди, не двигайся!

Это она удержала его, когда он хотел стянуть с себя свитер.

Светало, как во времена потопа. Небо впереди озарялось, а предметы на земле как-то робко прятались в мышиные тени. Гонза слышал дыхание Бланки и неизвестно почему жалел ее. Жалел все живое. Вот она дышит, с неосознанным изумлением подумал он в этот замерший миг,

дышит, пульсирует в ней горячая кровь, она живет! Он затрепетал. Им овладел какой-то непонятный, неведомый ужас и вместе боязливая радость и страх за эту ничтожную струйку воздуха, какое-то жалостное умиление тем, что вот дышит, живет девушка из утреннего поезда... И нестерпимо вдруг захотелось схватить ее в объятия, закрыть ей глаза перед чем-то, впиться в нее с возрастающим чувством безнадежности, слиться с ней, чтобы и он и она уж не были бы сами по себе, чтоб растаяли два горестно одиноких и нелогических «я». Падение... Лжешь, Душан! Гонза потер глаза и не сказал ей об этом ни слова.

Забили насмерть человека, а теперь светает, смотри! Так безразлично, так глупо.

— О чем ты думаешь? — спросила Бланка.

Уже было почти светло, стена пододвинула свою тень им к ногам.

— Ни о чем.

— Правда?

Ох, эта ее «правда»! Она употребляла это слово с женской легковесностью. Вероятно, она не способна лгать. Быть может, в этом есть известное достоинство, но в то же время как-то чуточку холодно от этого. Почему?

Гонза невесело усмехнулся.

— Правда. Представь себе! А ты?

Бланка задумалась, наморщив лоб, локти уперла в колени, переплела худые пальцы.

— О нем. Я горжусь им. Мне сразу о нем подумалось. Меня ведь не было, когда его забрали, а потом я его больше не видела. Но я горжусь им.

Это прозвучало страстно и убежденно, и Гонза моментально понял, о ком она говорит. Рассвет окрасил ее лицо яркими пятнами. Как безвкусно!

Гонза недовольно отвернулся.

— Он жив?

— Да.

— Откуда ты знаешь?

— Я получаю от него весточки. Очень короткие, но это неважно. Довольно того, что он жив. Я запретила себе быть малодушной — он никогда этого не одобрил бы. Я знаю.

Гонзе опять подумалось, что она говорит о брате как о возлюбленном. Он, видимо, жил в ней, держался за нее неотвязной тенью, и всякий раз, когда они мимоходом заговаривали о нем, Гонза испытывал нечто, похожее на ревность. Его мучило глупое чувство, будто тот, отсутствующий, все время оттесняет его на задний план.

— Ты его очень любила?

— Я его очень люблю,— невозмутимо поправила она. Говорила она тихо, отделяя фразы кратким молчанием; за каждой из них были тонны смысла, чуждого ему.— Тебе это трудно понять... Ты его не знаешь... Ты можешь подумать, что я сейчас сужу не объективно, но только он лучший человек, какого я знаю. У меня был он один. Наши родители умерли, когда мне было двенадцать лет. Если бы не закрыли высшие школы, он был бы уже инженером. Он ведь мог бы, как другие, думать о себе одном, устроился бы, например, продавать хлебцы в буфете, чтоб как-то просуществовать это время... Но тогда он перестал бы быть самим собой. Он должен был делать... Собственно, я даже не знаю, что именно, он никогда не рассказывал мне. А я знаю, он сделал бы это снова, любой ценой! Первые дни мне казалось, я потеряю рассудок, но теперь притерпелась, потому что знаю, он вернется. Понимаешь? Знаю! И совершенно ни в чем его не упрекаю... за то, что происходит со мной... Я ужасно горжусь им.

Двор все еще был пуст; взъерошенный воробей сел на потрескавшийся бетонный квадрат, подозрительно глянул на них одним глазом и порхнул прочь.

— Почему ты искала меня?

Пауза. Дневной свет уже растекался по их лицам, устремленный вперед, но солнце еще скрывалось за стеной с колючей проволокой поверху; где-то далеко раздались шаги, хлопнула дверь, и опять шелестящая тишина зари.

— Я хотела спросить, любишь ли ты меня.

В изумлении он поднял голову, но к ней не повернулся.

— Ты ведь не хотела этого слышать.

— А теперь хочу.

— Да.

— Ты уверен? — спросила она со странной настойчивостью.

Он не понимал ее. Подавил внутреннюю дрожь.

— Совершенно уверен. Больше, чем кого-либо на свете. Я не знаю ничего похожего. И еще больше после этой ночи. Сегодня я понял, что мне страшно было бы жить на свете, если бы не было тебя.

Пучок травы тщеславно лез из трещины в бетоне, и Гонза не отрывал от него глаз, будто в нем искал нужные слова. Рассветный ветер прилетел с аэродрома, лизнул их холодным языком.

— Я еще никогда не называла тебя по имени! А ты ведь Ян, Енда... Гонза, а скорее Гонзик. Я пока не решила.

— Затем ты и искала меня? — спросил он; у него пересохло в горле.

— Нет,— тряхнула она головой.— Не затем! Ты только не поворачивайся ко мне, смотри вперед. А то я не смогу говорить. Обещаешь? Ну вот, так лучше.

Он подумал, что сейчас ему бесконечно трудно отказать ей. Даже не дышать по ее желанию было бы невероятно легко.

В этот миг неслыханной тишины над стеною выскочило солнце, залило им лица, тепло тронуло руки. Гонза зажмурил глаза, спасаясь от прибоя света, но лучики тонкими иглами проникали под веки, и он нагнул голову.

— Я пришла сказать, что и я тебя люблю. Молчи и не говори сейчас ничего! Это странно, но именно сегодня ночью, когда уводили Пишкота, я поняла, что скажу тебе. Люблю тебя. Нет... я давно уже подозревала, только боялась признаться в этом самой себе. Боялась тебе сказать. Но это правда, и ты должен знать ее, Гонзик. Нет, не оборачивайся, я все скажу сама. Понимаешь, я думала... что не могу... не имею права... пока Зденек там, и пока война, и пока... Но это сильнее, чем я ожидала. Люблю тебя! Это так! Люблю — и не знаю даже, за что. Может быть, за твою ребячливость... и за твое сумасбродство, и гордость, которая так боится, что ее ранят... За твое хвастовство, которым ты иногда стараешься меня поразить... Ты не сердись, что я об этом говорю, я знаю, под этим что-то очень чистое. И беспокойство твое я люблю, и то, что ты вечно чего-то ищешь, и сумбур, и неуверенность, и робость, с какой ты смотрел на меня в поезде. Помнишь? Как хотелось бы мне, чтобы ты всю жизнь смотрел на меня так! Я просто дура. И люблю твое тело, и руки, и волосы, и твой свитер, потому что он пахнет тобой, и твое дыхание, когда ты лежишь рядом со мной и сторожишь... нет, ты не думай, я ведь тоже иногда не сплю и чувствую тебя рядом, и тянет меня к тебе, и ужасно хочется чувствовать, что и ты ко мне тянешься, может быть, это плохо, что я говорю об этом вслух, но ведь это так. И я люблю в тебе еще что-то, о чем уж не скажешь, потому что это, наверно, и не слово, потому что это, наверно, просто ты. Мне страшно, но теперь уже все равно, что случится, когда... Наверно, я люблю тебя и за те страдания, которых нам не миновать, пусть это эгоизм, но я самая обыкновенная, и не могу идти на попятный.

И ты никогда ни о чем не спрашивай, чего я сама тебе не скажу, я ведь не умею лгать и жить во лжи, понимаешь? Тогда нам придется расстаться, а я хочу, ужасно хочу, чтобы мы были вместе как можно дольше. А большего не хочу и не могу. Как можно дольше, дольше, дольше! Помни об этом, пожалуйста, это наш девиз, Гонзик! Как можно дольше! Если в тебе все так же, как и во мне, то ты должен удовлетвориться тем, что я тебе теперь говорю, а это — *правда.*

Гонза молчал, стиснув зубы,— нечего было добавлять к сказанному — и неотрывно смотрел на чахоточный пучок травы, пробившийся сквозь бетон. Только спустя некоторое время, не поворачивая головы, он протянул руку с раскрытой ладонью и, почувствовав на ней тепло, сжал ее пальцы.

Вот и все.

Шаги спугнули их, они встали. В ту же минуту разом взревели моторы, терзаемые тормозами, и рев их потряс воздух.

15

Вечером, когда дребезжащий автобус подвозил их к главным воротам, Бацилла решил заговорить. Но кому довериться? Ему?

Почему именно ему?

Рядом с Бациллой Милан перелистывал тонкую брошюрку и не обращал на него никакого внимания. Бацилла уже привык. Так было всегда. Время от времени Бацилла искоса поглядывал на профиль этого некрасивого парня, готовый легким толчком привлечь его внимание к своей круглощекой незначительности, да все не решался. «Ну, что тебе, буржуй? — представлял он, как отзовется Милан, и потом скажет еще: — Что у тебя на завтрак? Отвали!» Буржуй! — горько думал Бацилла, я для него только буржуй; откормленный, толстый буржуй, которого он, конечно, должен ненавидеть. Но разве я виноват? Может, если б спросили меня, я бы выбрал себе для рождения другую семью! Наверно... Даже обязательно. Надо бы ему сказать это. Только всегда в присутствии Милана он испытывал смесь застенчивости, неуверенности и неясного чувства вины, и это заставляло его молчать. И вообще он не понимал, почему именно этот заядлый мучитель так его привлекает. Ну, почему именно он?

За пыльным окном неслись назад садики рабочих коттеджей, вот черешневая аллея, насквозь просвеченная закатным солнцем; все такое красивое и невинное... Смелее, Бацилла!

— Чего тебе?

Милан поднял голову от брошюрки и бросил на него взгляд, полный явного презрения и предубеждения.

— Мне очень нужно поговорить с тобой,— пискнул Бацилла.

Растрескавшиеся губы растянулись насмешливо:

— О чем? Как похудеть? Рецепт ясный: не жри так много!

— Да ведь... да ведь я ем ужасно мало! — перешел толстяк к вялой обороне, не забывая, однако, о цели. Он даже добровольно открыл свою сумку и протянул ничего не понимавшему Милану промасленный пакетик; Бацилла обрадовался, что Милан не стал ломаться. Может быть, теперь смягчится немного... Он понимал, что человек Миланова склада не может опуститься до благодарности какому-то буржую.

— Но мне серьезно надо...

— Что ж, выкладывай,— с утомленным смирением предложил Милан.

— Не здесь... здесь нельзя, понимаешь?.. Где-нибудь с глазу на глаз...

Нет, тем дело не кончилось, действие вчерашней ночи вернулось в некоем уменьшенном виде, и Милан изумленно выкатил глаза. Он даже положил свою трубу на калорифер. Подождав, пока все уйдут из раздевалки, Милан сдвинул свой шутовской колпак на затылок и вперил в толстяка испытующий взор.

— А не треплешься?

— Нет...—с несчастным видом воскликнул Бацилла, сейчас же снизив голос до лихорадочного шепота.— Клянусь тебе... все было именно так!

— Как же это его не нашел Заячья Губа? Ведь он рылся...

— Он обшарил шкафчик только внутри. А под него не заглянул.

— Гм...— Милан допустил, что это возможно, и нахмурил брови. Однако все еще не верил.— Почему же ты вчера не сказал?

— Не знаю...— Бацилла ежился под строгим взором Милана, размахивая короткими ручками.— Не знаю... меня как по башке стукнуло... И потом я подумал, может, все это мне чудится, пойми ты...

— Ладно,— уже мягче сказал Милан, отводя глаза.

Видно было, что он тщательно обдумывает дело — тревога заставляла шевелиться его губы. Потом он опять повернулся к Бацилле и вполголоса, оглядываясь, хотя раздевалка была пуста, спросил:

— А ты уверен, что, кроме тебя, никто не видел?.. Я тебя пугать не хочу, ты, поди, и так уж в штаны наложил, но с этим шутки плохи. Так как же все было?

— Но ведь я тебе уже... Там был один Гиян, и тот ушел... Я это знаю совершенно точно... почти... Может быть, Пишкот хотел мне это передать, но я, наверно, не понял его, или еще что... все так быстро разыгралось... Он бросил эту штуку на пол и ногой затолкал под шкафчик..

— Это был сверток?

— Перевязанный веревкой... Небольшой такой... Думаю, он еще там.

Старик гардеробщик заглянул в дверь, помешал им. Когда он скрылся, Милан встрепенулся, глубоко вздохнул, резко прищурил глаза и ткнул Бациллу в грудь.

— Ну, слушай: прежде всего язык за зубами, ни слова никому! Ясно?

— Ясно! — усердно кивнул Бацилла.

Сладостное волнение пробежало у него по всему телу, и грозящая опасность была ничто в сравнении с тем, что вот этот стреляный парень и храбрец разговаривает с ним как с равным. Впервые!

— Бог знает, что в нем такое,— слышал он голос Милана.— Не стал бы Пишкот зря его прятать. Может, какое-нибудь сообщение, которое надо передать, понимаешь? Факт, сделать это должны теперь мы с тобой. Трусость — предательство, а предательство у революционеров не прощается. Надо улучить минутку, когда там никого не будет, и перепрятать! Я знаю одно местечко... Один пусть сторожит, другой возьмет...

— Я возьму,— выдохнул Бацилла.

Кто это говорил его голосом?

Милан смерил его пренебрежительным взглядом.

— Ты? Смотри, обделаешься.

— Ну и пусть!.. А я все равно возьму. Дай я сделаю!

— Ладно. Тем более это твое право, ты ведь был при этом. Тут, брат, нервы нужны. Гм... У тебя они хорошо укрыты под салом, верно? Ты сначала глянь, там ли сверток, и подай мне знак... А вот как вынести с завода, уж это дело другое... Постой! Если ночью все будет в порядке, я попробую смыться. Ну да, правильно! Надо перебросить эту штуку через стену, в самом конце, рядом с аэродромом, знаешь, где канал проходит... А я унесу.— Он тихонько свистнул сквозь щербатые зубы.— Вот.

Три раза так свистну. Это значит: кидай! А если что — выбрось и мотай прочь. Но сначала подумай, я тебя не заставляю. Ясно тебе?

— Ага. Можешь на меня положиться,— горячо заверил Бацилла.

Плечо его сжала рука Милана — было в этом что-то торжественно-обязывающее!— и ему показалось, что он растет. Что вот прорвалась окружавшая его оболочка, и из нее выглянул на свет мужчина. Мужчина! Бацилла повзрослел за эти несколько минут. Ах, мамуля! Ты умерла бы со страху, если б узнала! Он думал теперь о матери с сочувственной любовью, с ощущением победоносного возмужания — он это выполнит!.. Докажет, что он — мужчина. Сейчас он чувствовал себя способным выполнить все, и еще ему казалось, что этот некрасивый бунтарь, стоящий перед ним, стремительно хорошеет, и что он, Бацилла, любит его жарко и необузданно. Нас двое — он да я!

— Ну ладно. К делу, Бацилла! И — язык за зубами!

— Язык за зубами!— повторил толстяк патетично, как клятву, и выкатился из гардеробной.

■

Ох, как все стало вдруг легким! Совсем легоньким! Он терпеливо следил за этим местом, посвистывая своими детскими, сложенными в трубочку губами. Откуда взялась в нем эта окрыляющая отвага, эта ледяная сосредоточенность, которая теперь, когда настал час действовать, завладела всем его телом? Даже руки не дрожат. Подозревал ли ты в себе нечто подобное?

Время близилось к десятому часу, под сводчатой крышей постепенно утихал грохот, как всегда перед перерывом, люди потянулись из цеха. Бацилла огляделся. В проходе возле шкафчиков никого не было. Роковой час пробил! Милан? Милан торчит возле крыла со своей неразлучной трубой, незаметно смотрит сюда и зевает, как лев.

Еще взгляд... Давай, Бацилла!

Бацилла проворно нагнулся к ботинку, завязывая шнурок; от неудобного положения кровь бросилась в толстые щеки, но он не обратил внимания. Выпрямился и так же еле заметно кивнул Милану. Этого достаточно, теперь он может уйти. Но — внезапная мысль! Она пронзила его, как пуля. Вот сейчас, сейчас, пока в нем этот великолепный холод, это доселе неизведанное наслаждение опасностью, эта жажда риска, проснувшаяся от того, что на него смотрит человек, которым он восхищается... Бацилла ущипнул себе руку. И припал к щели под шкафчиками, с замиранием сердца пошарил по полу пухлой рукой. Пыль. Нащупал. Оно было твердое — бумага, бечевка — и странно тяжелое... Вот оно уже и на свету! Скорей! Видит ли меня Милан? Выпрямился. Конечно, видит. Бацилла разглядел его глаза и мог поклясться, что в них читается одобрение. Восхищение даже.

Я мужчина. Мужчина!

Ужасно громко стучат с бетонный пол сапоги — кто-то идет сюда. Прочь, скорее! Бацилла круто повернулся, засунул добычу под куртку. Сразу заметно потолстел. Попробовал втянуть живот, но почти ничего не получилось. Вот беда! Проклятое пузо, этот ненавистный буржуйский бурдюк теперь его погубит, выдаст! Погоди, я от тебя избавлюсь, яростно грозит Бацилла, я похудею, стряхну тебя, хотя бы мне для этого пришлось подохнуть с голоду... Ведь, наверно, видно! Он потел от страха, но все-таки перешагивал через шланги и провода. Он сложил руки на животе, со всей силой вдавливая в себя таинственный сверток, до боли, до тошноты...

Милан все понял, кивком головы позвал за собой.

Страшный путь! Бацилла топал в пяти шагах позади Милана по проходу, разделяющему участки цеха, сотни глаз смотрели на его тор-

чащее брюхо, но он шел вперед, тащился вперед с окаменевшим лицом, с которого напряжение выпило все краски, и вздыхал, и сопел, даже насвистывать попытался, но только беззвучное шипение вырвалось через пересохшие губы. Спокойно! Пока все идет хорошо...

Но вот катастрофа, конец! Бацилла не разглядел лица, увидел только форму веркшуца, фуражку, ремень с кожаной кобурой пистолета. Теперь все пропало! Ах, мамуля моя, откуда он взялся? Веркшуц зыркал по сторонам, кажется, он еще не заметил твой живот, беги, Бацилла, брось эту штуку или упади в обморок... Но и этого нельзя, нет, нет, можно только идти вперед, тащить бремя своего тела да прикрывать глаза в предвидении неминуемой беды... Камень, мешок со свинцом, этот сверток под курткой растет и пухнет, как на дрожжах! Кончено...

Нет, смотри, какое чудо совершилось! Милан! Прется прямо на веркшуца, загораживает ему дорогу, нахально спрашивает о чем-то, тычет свою трубу. Веркшуц остановился, раздвинул ноги, сбил фуражку на затылок, чешет щетинистый подбородок, ничего не подозревая, и ты проплываешь мимо него невидимым облаком...

Бацилла ускорил шаг, одновременно сдерживая себя — в каблуках будто заложена взрывчатка,— и вжимал сверток в живот. Скорей за дверь, в темноту, в ней спасенье, ну, еще, еще несколько шагов... Кто-то из ребят крикнул вдогонку: «Бацилла, смотри не урони!» Нет, не слушать, не видеть, не слышать, ни за что не оглядываться, как та самая жена Лота...

Темнота на дворе утешающе дохнула в лицо. Сколько себя помнил, боялся он ее черных объятий, ведь в ней так и кишели духи, привидения из сказок — мамуля, зажги свет! Но теперь он глотал темноту полуоткрытым ртом, как птица, измученная жаждой. Он привалился спиной к стене бомбоубежища и даже не заметил, как оттуда, крадучись, вышла влюбленная парочка. Он приходил в себя от пережитого страха. Только теперь ноги у него ослабели, стали мягкие, будто слепленные из картофельного пюре. Он терпеливо ждал — кто знает, сколько времени?— пока к нему не приблизилась знакомая тень и не тронула его за плечо.

— Есть?

— Есть.

— Блеск...— вполголоса отозвался Милан и добавил:— Давай, молодец *.

Больше он ничего не сказал, но в самом тоне было уважение, по-мужски немногословное, зато тем более приятное. «Завтра надо заглянуть в словарь,— совсем пьяный, подумал Бацилла.— Что, собственно, означает это слово: «молодец»?

На первый взгляд жизнь в фюзеляжном цехе постепенно возвращалась в наезженную колею, но только на первый взгляд. То, что произошло вчера, спряталось внутрь, прочно застряло в мозгу, застыло в глазах, которые уже не способны были смотреть в упор; происшедшее сказывалось в том, что люди бесцельно бродили по заводу и не заканчивали фраз, когда нерешительно, с явственным чувством вины, касались вчерашней ночи.

Незадолго до полуночи Павел наткнулся на Гонзу в пустой уборной.

— Ты ничего не знаешь?— уголком губ спросил он.

— Нет. Откуда? А ты?

Павел подсел к нему на калорифер, поискал в карманах окурок, хмуро глядя в пространство.

— Кое-что знаю...

Он пожал плечами, помолчал. Окурок так и не нашелся.

---

* Эти слова даны в чешском тексте по-русски.

— Сегодня днем, по дороге сюда, заехал я... к нему. Рабочий поселок в Либне, временные бараки, сам знаешь. Номер дома — тысяча двести три. Толевая крыша, уродство, грязь. Узнал я не много — люди боятся рассказывать. Я и не удивляюсь. Вид у меня был, наверно, довольно подозрительный. Но напал я на одну словоохотливую бабку по соседству...

— И что же?

— Дело, оказывается, довольно крупное, хотя никто ничего толком не знает. Или просто не говорят. Не знаю. Вчера ночью всех забрали... двух братьев, сестру и отца Пишкота. Матери у них уже нет. А за ним приехали сюда, но, видимо, это не связано с заводом. Одна собака осталась в будке, выла от голода. Все перевернули, но никому не известно, нашли ли что-нибудь... Вот, собственно, и все.

— Да, не много,— сказал Гонза.— И вообще у меня не укладывается в голове...

— Что?

— Да что именно он... Вот уж никогда бы не подумал, факт! Казалось, он ни к чему не относился серьезно... Если бы это был, скажем, ты, я, пожалуй, меньше бы удивился. А может, и совсем не удивился бы.

— Вот видишь,— тоскливо пробормотал Павел; глаза его блестели лихорадочно.— В том-то и дело.— И повторил:— В том-то и дело.

В дверь заглянул Милан. Вошел, прислонился около них к стене, исписанной непристойностями, стал слушать с прикрытыми глазами, не вмешиваясь.

— В чем же дело?

Павел опустил голову.

— В том, что Пишкот, оказывается, кое-что принимал всерьез. Он вырвался...— удрученно закончил он.

Павел был спокоен, но Гонза обратил внимание на то, как его тонкие пальцы впиваются в железо калорифера.

— Из чего вырвался?

Сначала Павел ответил лишь пожатием плеч. Потом заговорил:

— Из болота. Все это ни к чему, но если хочешь знать мое мнение... Знаешь, кто мы? Коллаборационисты. Я — тоже. Мы не одни, вокруг нас таких добрых несколько миллиончиков. Приблизительно шесть миллионов. Конечно, уж я-то не имею права судить кого бы то ни было! Это может показаться сильно преувеличенным, но это так.

— Чего болтаешь!— возмутился Гонза.

Нет, и впрямь ни к чему разговаривать с Павлом об этом. Славный парень, но самоистязатель какой-то. Не понимаю я его. Все же Гонза спросил:

— И кто же, по-твоему, коллаборационист, скажи на милость?

— Всякий, кто работает для них или с ними. Прямо или косвенно. Добровольно или из-под палки, как мы. Все равно.— Волнения почти не чувствовалось в этих словах, оно скорее владело его глазами.— Всякий, кто пальцем не шевельнет, видя, как они тут расположились. Всякий, кто свыкся. Понимаешь? И не только это. Всякий, кто читает их газеты и слушает их радио. Кто в состоянии смеяться, ходить в кино или на футбол, пока они тут; кто в состоянии дышать одним воздухом с ними и ничего против них не предпринимать... Думай что хочешь, но в этом пункте ты меня не переубедишь.— Он закончил этот взрыв обвинения безнадежным взмахом руки, прокашлялся и обернулся к Милану, будто сразу забыв обо всем:— Покурить нету?

Милан безмолвно покачал головой, задумчиво уставившись в пространство. Гонза открыл продавленный портсигар. Под резиночкой лежало несколько пузатеньких сигарок.

— Откуда ты взял?!

— Этого добра во всех аптеках полно,— объяснил Гонза не моргнув глазом.

Дым вонял жженой травкой, щипал глаза. Сумрачное помещение уборной постепенно наполнилось: входили люди, открывалась и со стуком закрывалась дверь, журчала вода, над позорными остатками перегородок торчали головы.

Гонза щелчком отбросил сигарку в желоб и встал.

— Что мы можем?

Каждый знал, о чем думает другой; что-то носилось вокруг них в вонючем воздухе. Лицо! Разбитое до крови... Огромные «корабли» скребут носками бетонный пол. Вопросы. И что-то еще. Оно душило, если думать о нем — пожалуй, Павел в чем-то прав, сказал себе Гонза,— оно давило липким стыдом, и во всем этом были и ярость и страх. Куда денется все зло мира, когда кончится война? Ведь не исчезнет же оно само собой, наверно, только спрячется, замаскируется, но останется в мире, и мир по-прежнему будет неверный и страшный...

Но как же тогда ты хочешь в него верить?

— Что мы можем? — встрепенулся Павел и тоже встал.— А ничего. Ждать будем. И без нас люди найдутся, верно?

Пергаментное лицо в сумраке староместской антикварной лавчонки хитренько усмехалось, слова шлепали крыльями, стоячие часы малиновым звоном отбивали время, а из этого времени смотрели на Гонзу вопросительно расширенные темные очи.

— Блевать хочется!

Павел бросил окурок и побрел прочь, сунув руки в карманы.

Гонза двинулся было следом, но локоть его стиснули, удержали. Оглянулся. Чего тебе? Опять трепаться? Да ну тебя! Он заранее ощетинился, но какая-то особенная настойчивость в шепоте Милана поразила его.

— Погоди, мне необходимо потолковать с тобой. Необходимо! Завтра мы свободны. Есть у тебя время вечером? Адрес скажу. Ровно в семь. И никому ни слова, это серьезно. Договорились?

■

Издали дом походил на дворец, построенный архитектором в припадке помешательства. Поблекшая штукатурка треснула под тяжестью лепных украшений, широкие ворота, предназначенные для въезда экипажей, были загадочно закрыты. Дом был странно молчалив и как-то очень подходил ко всему облику Милана. Жиденькая травка жадно тянулась к свету между выпиравшими камнями мостовой, крутая улочка хранила тишину, шаги отдавались здесь неестественно громко. И, если бы позади вдруг загремели копыта коня со всадником без головы, всякий, возможно, перепугался бы до смерти, но не очень удивился.

Подойдя ближе, Войта увидел, что окна здесь слепые, и заколебался. Между тем название улицы и номер на клочке бумаги указывали именно на этот дом. Он решительно взялся за ручку двери, вошел. Сырость подворотни, пустота; только на сумрачном дворике встретил человека в халате, невероятно забрызганном красками, и этот человек неохотно показал ему дорогу. Вон туда! Через большой высокий зал, где пишут декорации, потом в коридорчик налево.

Вот так-так! С обыкновенных улиц Войта попал вдруг в какой-то причудливый мир. Запахи красок и олифы, тряпок и всепоглощающей пыли; уголок хвойного леса с пнями, со щупальцами вылезших из земли корней; идиллическая деревенская площадь; часть средневековой крыши с зубцами... Затаив дыхание, Войта прошел мимо морского горизонта, мимо языческого капища с идолами и развалившимися колоннами, и ему делалось немножко не по себе при мысли, что вдруг бесшумно под-

нимется занавес... Он осмотрительно обогнул королевский трон — при дневном свете трон выглядел весьма неказисто — и невольно ускорил шаги.

— Войдите!

Он узнал голос и повернул ручку двери. Удивился, что застал Милана не одного, у окна на стуле сидел Бацилла. Чего ему тут надо? А посреди комнаты, спиной к двери, стоял, сунув руки в карманы, Павел.

— Не пяль зенки, входи!— приветствовал его Милан, который, сидя за столом, пил молоко из бутылки.— Ты опоздал. Запри за собой дверь...

Валяет дурака? — подумал Войта, усевшись на расшатанный стул. Потом сообразил, что все были приглашены так, чтобы являться с промежутками в четверть часа, но и это ничего ему не объяснило. Кого еще ждут? К чему это таинственное молчание? Стул жалобно скрипел под ним, надо бы подклеить шипы, впрочем, тут вообще много нашлось бы починки.

Пыль, засохшая грязь, фантастический беспорядок, нары со смятой, разбросанной постелью, заляпанный мольберт, палитра, куски мела и угля для рисования. Пахнет скипидаром, непроветренной одеждой, недоеденным сыром. Огрызки его, завернутые в бумажки, валялись на холодной печке. На стенах картины, каких в жизни не видывал Войта: непонятная, но хитроумная путаница линий и форм, цветные пятна. От них кружилась голова.

— Работа Лексы,— сказал Милан, увидев, что Павел от скуки рассматривает картины.— Посмотри вот это... Чистое изображение мечты... эмоции... фантазии! Эту я больше всего люблю. Я ее называю «Цветы зла»... Бодлера знаешь? Но Лекса еще никак ее не назвал, он всегда долго ищет название. А эта вот... Что скажешь?

Павел только одобрительно кивнул, однако ничего не сказал.

Сумерки уже занавешивали окно темнотой, но огня Милан не зажигал.

— Когда кончится эта заваруха, ясно станет, что Лекса выше тысячи мазил-реалистов, вместе взятых. Традиции, сюжетность — для идиотов, не способных воспринимать искусство.

Милан явно с кем-то спорил. Он сидел на широких нарах, судя по всему, сколоченных самодельно. Произнеся последнюю фразу, тронул отзывчивые струны гитары, висящей на гвозде, сухо покашлял.

— А сейчас ему приходится малевать дурацкие декорации. Надо же чем-то жить, как и каждому... Только революция может окончательно освободить искусство и красоту от лжи...

Полемический задор, с каким он все это говорил, был излишним, поскольку никто не собирался ему возражать.

В сгущающихся сумерках приоткрылась дверь, и все узнали лицо Гонзы.

— Влезай! Опаздываешь.

— Еле нашел. Здорово!

— Теперь все в сборе,— сказал Милан.— Все, кого я позвал.

Он подошел к окну, опустил штору затемнения и, довернув в патроне лампочку под расписным абажуром, зажег свет; убрав с грязного стола бутылку недопитого молока, подошел к двери, приложился к ней ухом и послушал тишину. Кивнул удовлетворенно.

— На ключ я не могу запирать. Если кто придет, не показывайте вида. Будто просто сошлись потрепаться. Садитесь вокруг стола!

Он включил старенький приемник, и вскоре монотонный голос стал выбрасывать в эфир вечерние известия: «...Успешные оборонительные бои вермахта против большевистских орд в районе... Очередной пиратский налет на северогерманские города...» Бравурный марш и пение сол-

датских глоток были странным музыкальным сопровождением к тому, о чем им предстояло говорить.

Сидели молча — серьезный тон Милана и все эти приготовления не допускали глупых вопросов, хотя от любопытства их так и распирало. Павел поражался спокойствию Бациллы. Толстяк обводил товарищей взглядами, исполненными уверенности в себе.

Милан стоял, опершись кулаками о стол, верхняя половина его лица была в тени абажура; он все еще молчал, испытующе глядя на ребят.

— Прежде чем вы все узнаете,—начал он,— я хочу иметь гарантию, что мы будем молчать. Достаточно простого рукопожатия. Вы не думайте, что я дурачусь, так надо, скоро вы сами поймете. Так вот, во-первых: кто услышит то, что будет здесь сказано, в ту же минуту окажется... как бы это выразить... вне действующих законов этого... бардака. Ясно? Здесь есть риск, и, может быть, крайний. Я долго ломал голову, кого позвать. Думаю, пять человек — как раз, больше уж не годится. Я никого не принуждаю, кому не по себе, пусть сматывает удочки, пока ничего не узнал. Добровольно! Это будет лучше, чем если бы он потом раскололся. Одно только знание этого дела уже налагает обязательство. Предлагаю две минуты на размышление...

Что он мелет? Что-то подползало к ним в сладостной тишине весеннего вечера — догадки, легкий озноб,— но это не было неприятно, и, конечно, никому и в голову не приходило уйти. Опять Милан преувеличивает, подумал Гонза, вечный фантазер и поздний романтик, сейчас он, верно, упивается нашим изумлением. Гонза вытащил портсигар, предложил Павлу и Войте по сигарке.

«Denn wir fa-ahren... думм, думм...» — доносилось из приемника пение...

...а секунды капали чуть ли не явственно; Войта положил на стол кулаки, Бацилла от волнения сильно дышал носом, с присвистом даже, и преданно таращился на Милана.

Эй, хватит, чего зря тянуть? Павел шевельнулся первым, безмолвно протянул Милану свою тонкую руку. За ним остальные. Был в этом невольный пафос, державшийся на самой границе смешного. Никто, однако, и бровью не повел.

— Ладно,— сказал Милан и с шумом придвинул стул.— Каждый из вас решился сам, добровольно!— Он оперся о стол локтями и наклонился вперед, заставив тем самым всех сдвинуть головы.— Вчера перед началом смены ко мне обратился Бацилла...

И неторопливо, без лишних слов, с несвойственной ему до сих пор трезвостью он рассказал о том, что случилось вчера ночью; он ни в малейшей степени не пытался подчеркнуть свое участие в этом деле или с прежним предубеждением умалить заслугу Бациллы, чье мужество было обнаружено столь неожиданным образом. Подумать только — Бацилла!

Затаив дыхание, все в изумлении воззрились на толстяка. Кто когда предположил бы такое хладнокровие в этом вечно потеющем бурдюке? Сказка об Иванушке-дурачке! Бацилле удалось сохранить невозмутимый вид, по-мужски уверенный, он замуровал свои ликующие чувства в скромность и незаметность, незаметную даже самому себе; только его черепашьи веки сонно помаргивали, как всегда. Молодец Бацилла!

Долго никто не мог вымолвить ни слова. Опасность? Страх? Испуг? Да, но волнение, одолевавшее их, перекрыло все это. Гонза, красный до корней волос, проглотил слюну.

— Эта штука здесь?

— Ну а где же еще? — ответил Милан.

«...Фюрер принял сегодня посланника Румынии...»

Ребята еще не опомнились, а Милан уже слазил под нары, и на стол, освещенный конусом света, со стуком лег пакет. Обыкновенный пакет из плотной бумаги, тщательно перевязанный бечевкой, без имени отправителя и адресата; только это и отличало его от сотен и тысяч других, какие разносят по домам почтальоны. Он лежал перед ними, такой обыкновенный, но казавшийся им почти нереальным.

«...за прошедшую ночь вражеские самолеты сбросили бомбы на...»

— Я его не открывал, ребята,— сказал Милан.— Может, в нем ничего и нет, но я хотел, чтоб это было при свидетелях, понимаете?

Они понимали. Приглушенный голос диктора мешал им, но никто не протянул руки, чтобы выключить приемник. Это сделал сам Милан. Он встал и резко завернул рычажок.

Войта взялся за дело. Привычным движением достал из кармана складной нож, взял в руки пакет. Легко разрезал бечевку, пальцы его двигались ловко и спокойно под пристальными взглядами всех остальных.

Нет, никакого взрыва не произошло. Под слоем плотной бумаги оказалась еще бумага, обыкновенные протекторатные газеты, стопка «Поледни листы» с портретом фюрера на первой полосе — фюрер в полном здравии отметил пятьдесят пятый год своего рождения,— затем потрепанный учебник русского языка, маленькая коробочка с сорванной этикеткой, в ней что-то странно гремело, свисток, кусок обезжиренного протекторатного мыла, моток бумажной бечевки и еще... со стуком упал на стол еще какой-то предмет, завернутый в промасленную тряпку. Войта осторожно развернул...

Молча и зачарованно уставились ребята на этот предмет, кто-то — позднее никак не могли уже вспомнить, кто именно — громко свистнул, потому что...

...на грязном столе мирно лежал перед ними черный револьвер среднего калибра, и его металлические плоскости и выпуклости матово отражали свет лампы.

■

— Спокойно! — сказал Милан. Он первым опомнился, и опять в его голосе появилась неприятно-повелительная интонация, фразы стали отрывистыми, как приказы.— Прежде всего спокойно, друзья! — Это *друзья* прозвучало с торжественностью, подобающей историческому моменту. Милан потер глаза и громко откашлялся.— Как видите, дело серьезнее, чем кто-либо из нас предполагал...

Он говорил один, и в голосе его отзывалась холодная рассудительность; она действовала успокаивающе.

А *это* лежало перед ними, до ужаса материальное — протяни руку, и дотронешься... В черном отверстии ствола сгустился мрак. Револьвер был нацелен прямо в выпуклый животик Бациллы.

— Ясно вам, что все мы, сидящие тут, причастны к этому. Назад пути нет — только ценой предательства. Предательства! А предательство — смерть! Нечего говорить вам, что достаточно только знать — сегодня за это платятся головой. Они за это моментально расстреливают...

Он проповедовал: слова стучали, будто падали комья земли, с ними смешивался металлический лязг затворов, слова команды и залпы расстреливающего отряда. Рев, кулаки, разбитое лицо и «корабли», скребущие носками по цементу... О-ох!

Бацилла задним числом задрожал от одной мысли, *что* он нес вчера под вздувшейся курткой. Господи Иисусе! Если б он знал! Он незаметно постарался отодвинуться со стулом от траектории полета пули, на лбу его выступил пот. К счастью, никто не обращал на него внимания. Ах, никакой я не герой,— пищало что-то в нем,— это недоразумение! Он

сейчас же одернул себя, но... Быть бы теперь где-нибудь в другом месте! Дома! Пуховые перины, мамуля, безопасность... Поздно! Вот *оно* лежит, смотри!

— Ладно тебе! — обиженно прервал Гонза Миланову проповедь.— Сами знаем, чем тут пахнет. Не обделаемся же мы теперь. Верно? — В грубости этих слов он обрел своего рода уверенность.— Ясное дело, кому охота лезть в петлю как раз теперь, в конце войны. Тем более понапрасну.— Он понимал, что выражает сейчас общее чувство.— Предать никто не предаст, только придется как следует мозгами раскинуть, и нечего играть в героев. Думать надо! Бацилла, ты уверен, что тебя никто не видел?

Спрошенный очнулся, испуганно заморгал. Он было замечтался за партой, а латинист вдруг вызвал... «Смотрите, домечтаетесь до переэкзаменовки, ленивый ученик!..» Бацилла просипел что-то, что могло означать и да и нет, на выбор. Так вам и надо, ленивый ученик, следовало вовремя убраться!

Павел взял его за плечо, встряхнул:

— О господи, соберись ты с мыслями! Да или нет?

— Да... то есть, нет, я думаю, что...

— Видели тебя или не видели? Черт знает что! Сначала геройствуешь, потом в штаны накладываешь! Говори ясней, осел!

— Не видели,— в отчаянии прошептал толстяк.

И все кончилось: опять перед ними был прежний Бацилла. Этот пачкун и маменькин сынок, откормленный буржуй — он сам себя развенчал.

— Могу поклясться...

— Оставьте его,— на удивление мирно сказал Милан.— При мне он выносил. Все в порядке.

Идет кто-то? Нет, дом утопал в тишине, какой-то даже неестественной.

— Кто-нибудь умеет с ним обращаться?

Выяснилось, что никто. Большинство видело *это* только в кино, однако теперь *это* лежало перед ними ужасающе реальное, и почему-то никто не испытывал чрезмерного любопытства. За исключением Войты: покойный архитектор стрелял крыс в саду полеградской виллы из такой же штуковины. Бац! Раз как-то дал Войте в руки, позволил разобрать. Ничего сложного. Войте казалось, что его моральная обязанность — признаться теперь в своем опыте. К тому же в нем проснулся чисто технический интерес.

— Ну-ка дайте,— сказал он с таким невозмутимым спокойствием, словно речь шла о починке будильника.— Я малость разбираюсь.

Он осторожно взял револьвер, обхватив пальцами инкрустированную рукоятку, и отнес его на нары; все напряженно следили за ним. В гробовой тишине Войта вертел револьвер в руках.

— Марка «Че-Зет»,— пробормотал он понимающе, не переставая возиться.

Щелчок! Нет, ничего. Бацилла боролся с нестерпимым желанием заткнуть себе уши — он всегда так делал, когда в театре по ходу действия ожидался выстрел,— но взял себя в руки. Вскоре Войте удалось вынуть обойму и высыпать патроны. Он взвел курок, нажал на спуск, револьвер щелкнул впустую. Войта снова взвел курок и уже без опаски заглянул в жуткую темноту ствола; удовлетворенно кивнув, он вставил пустую обойму.

— Ну вот и все,— сказал он, как мастеровой, довольный своей работой.

Подошел к столу, подбрасывая патроны в горсти, показал их товарищам при свете лампы и аккуратно сложил в коробочку с сорванным ярлыком. Оказалось, что она наполнена патронами.

— Отличная штука,— похвалил Войта, покачивая на ладони безопасное теперь оружие.

В этом не было ничего показного, никакой похвальбы. Просто Войта попал в свою стихию. Каждый механизм был для него безопасным, являя собой плод человеческой изобретательности.

Он начал разбирать револьвер, объясняя товарищам его конструкцию с обаятельной уверенностью, будто отродясь ничем иным не занимался. Ребята смотрели, невольно стараясь держаться подальше, но слова Войты успокаивали своей твердостью.

— Ясно, нет? Предохранитель не забывайте, как бы не бабахнуло в кармане. Просто, как репа. Попробуйте, без патронов он не кусается.

И разом они превратились в пятерых мальчишек, поглощенных запретной игрой: все по очереди подержали оружие, взвели курок, щелкнули спуском. Кроме Бациллы. Один вид того, как он держит оружие, далеко отставив пухлую руку, заставлял корчиться от смеха. Бацилла вздохнул с явным облегчением, когда Павел взял у него револьвер. А Гонза, развеселившись, подмигнул Милану и прицелился в остолбеневшего Бациллу, кротко закрывшего глаза.

— По буржую — огонь!

Милан сердито вырвал у Гонзы оружие:

— Прошу без глупостей. Не время.

Пауза, заполненная смятенными, бесформенными мыслями. Тиканье будильника в соседней комнате. Гонза принялся перелистывать газеты из свертка — нет ли в них чего-нибудь. Ничего. Ни имени, ни адреса, так-таки ничего. Обыкновенные газеты. Он тщательно просмотрел учебник, нашел между страниц его тоненькую брошюрку о героях древнегреческой мифологии: Геркулес, Язон, Орфей. Показал всем. Пишкот и Орфей — как-то это не укладывалось у него в голове, и вообще он не понимал, что в этой брошюрке могло занимать кудлатого зубоскала. А кроме этого ничего не было. Перелистываемые страницы шелестели в выжидающем молчании.

— А если это вовсе и не Пишкотовы вещи? — высказал Павел свои мысли вслух.— Что, если мы оборвали какую-то цепь...

И сейчас же все заговорили наперебой. Пошли догадки. Как теперь выяснить? Все равно настоящий владелец не может объявиться. Он даже и знать-то не может — конечно, если Бацилла не наврал,— куда девался пакет. Но если кто-то ждет эту самую штуковину? Братцы! Вдруг кто-нибудь такой, с большим заданием? И от этого зависит человеческая жизнь? Даже жизни? Тысячи жизней? Ужасная ответственность! Так и давит. А что делать? Ходить, спрашивать: не вам ли предназначается этакая маленькая блестящая штучка марки «Че-Зет»? Или выбросить? А может, положить на старое место и ждать?

— Ерунда! — вскипел Милан. Он уже места себе не находил от лихорадочного нетерпения, лицо его горело неестественным румянцем; он хлопнул ладонью по столу: — Такая мысль может взбрести на ум только идиоту. Или трусу. Надо тщательно просмотреть, что было в свертке, и найти следы...

— Ни черта там нет,— устало сказал Гонза.

— Значит, просмотреть еще раз, основательнее. Это наш долг!

— Не ори на меня,— обиженно возразил Гонза; он не выносил патетических фраз относительно всякого священного долга, не выносил проповеднического тона Милана.

— Ну, а если мы все же ничего не найдем? Чье тогда все будет?

В вопросительном молчании взоры всех устремились к Милану. А он смотрел на товарищей, стиснув зубы, и что-то свершалось в нем. Может, его посетила какая-то мгновенная мысль, но может быть, облекалась в слова мысль давнишняя, неотступная. Блеск его глаз, упрямое

выражение некрасивого лица — от всего этого их как бы слегка знобило. Милан взял револьвер, положил на ладонь, показывая всем, и обвел ребят строгим взглядом.

— Тогда,— он, казалось, с трудом отламывал слова, как камни,— тогда, логически мысля, он должен принадлежать кому-то одному. Это ведь не просто кусок металла, который можно отдать тому или другому. Он взывает — отомстите! Поэтому должен принадлежать только тому...— Милан возвысил голос,— кто употребит его в дело! Во имя справедливости, против того зла, который плодит старый подлый мир!

Слышнее стал тикать будильник, но, может быть, это только так казалось, потому что тишина вокруг сделалась тише и бездоннее, и каждый в этой тишине, не дыша, смотрел куда-то вдаль... Так, значит... И каждый предчувствовал что-то. Один Бацилла до сих пор не понимал ничего. Войта сидел, сложив руки на коленях, лицо его сохраняло выражение спокойствия; Гонза трясущимися пальцами закурил свою сигарку — сгорая, громко трещала травка от ревматизма «Лесняк».

— Значит, ты полагаешь...— протянул он, выдыхая струйку вонючего дыма.

— И я полагаю,— неожиданно проговорил Павел.

Все на него оглянулись. Лицо его оставалось безучастным, волнение не коснулось его черт, оно изменило его изнутри. А на вид был тот же Павел, та же помятая куртка, то же лицо с прядкой соломенных волос на лбу. Он положил руки на стол и добавил с трезвостью — новым своим приобретением,— как предложил бы простую прогулку:

— Предлагаю нам самим употребить его в дело.

■

Самим! Что с ними случилось? Вот Павел сказал это — и все, что мучительно роилось в их душах последние два дня, нашло выражение в самых обыкновенных словах. В этих словах было какое-то освобождение, удивительное своей естественностью,— так бывает с каждым великим открытием,— и все вдруг почувствовали, что это правильно, и нужно, и яснее солнца, и должно быть только так и не иначе. Призыв, призыв к действию, только действие может избавить их от всего этого... Да, да, именно так! Пишкота схватили, может, уже забили до смерти, но он им с самого края бездны своей успел бросить эстафету — вот она, ребята, лежит перед вами: пятеро за одного! Отомстить! Это был завет. Логический. Не выполнить его — значит позорно предать. Они это чувствовали. Предать Пишкота. Предать себя. Предать то, что грядет, чего они жадно ждут. Влачиться по жизни долгие годы, дышать, сознавая собственный позор? Да, я был трус, ничтожество, дерьмо! Я заслужил, чтоб мир мой был скверен и труслив, потому что я урод и раб. Я дезертир! Нет, нет: подхватить его незримую борьбу, чем бы это ни грозило! Пишкот... О нем не упомянули ни словом, но он сидел тут с ними в конусе света от лампы, со своим маловыразительным лицом, покрытым веснушками, с рыжими патлами — этот шут и весельчак, ничего не принимавший всерьез и так серьезно ко всему относившийся!

Ясно и без торжественных слов. Назад пути нет! За шторами затемнения громоздилась весенняя темнота, а здесь, под лампой, шли горячие споры. Неизведанный восторг охватил всех.

— Тише вы, ребята,— вмешался Милан,— а то не услышим, если кто придет.— Он взял револьвер.— Кто может спрятать его у себя? Здесь оставлять нельзя.

Павел! Павел забрал у Милана револьвер и сунул его в карман своих брюк, будто это была простая зажигалка.

— Но ты за него отвечаешь! Чем?

— Всем. Заявляю: положитесь на меня! И еще вот что: тут нехорошо. В следующий раз можем собраться у меня. Если соблюдать минимум осторожности, там безопасно.

— Но это значит организоваться, как...— попробовал Гонза подойти к делу с практической стороны.

Оказалось, Милан заранее все продумал и даже заранее все тщательно взвесил. Все прошли через его отбор. Он заколебался только относительно Бациллы, но именно Бациллу-то невозможно было исключить, потому что он уже выдержал испытание, и несправедливо было бы не верить ему, хотя он и представитель гнилой буржуазии. Быть может, со временем удастся оторвать Бациллу от его класса. Такие случаи бывали.

— Ну, слушайте! Я вам кое-что скажу. Давайте все как следует обмозгуем. Я ведь вовсе не считаю геройством переть на рожон по собственной дурости, как, может быть, думает обо мне Гонза...

— Ладно, ладно,— успокоил его Гонза,— не будем ругаться. Продолжай.

— Так! Впереди у нас дела поважнее, но это после, когда Красная Армия вышвырнет *фашиг*. Мировой капитал, который посадил в седло Гитлера, все равно еще жив, он еще силен, и не так-то просто он примирится с победой Советов, это ясно. Тут и Америка, и Англия, и вообще...

— А как же Рузвельт? — перебил его Гонза.— Мне он нравится.

— Мне лично тоже. Но один он ничего не сделает, потому что окружен капиталом. Только революция и победа пролетариата...

— Я за то, чтобы не впутывать сюда политику,— недовольно возразил Павел.— Может, ты и прав, я в этом не силен, но как только начнется болтовня, так можно отправляться домой. Это всегда успеется!

— Ну нет! — горячо воскликнул Милан и даже ладонью по столу прихлопнул.— Об этом надо говорить сейчас. Кто хочет делать то, что мы, тот должен знать, не только против чего он идет, но также и — за что! А я не собираюсь бороться за то, чтобы после войны тут распоряжалась буржуазия...

Он способен сделать несносной самую истину, подумал Гонза с нарастающим неудовлетворением, но вслух сказал примирительно, успокаивая оратора:

— Никто и не собирается бороться за фабрикантов. Брось ты это, Милан!

— Ладно, но за то, что после войны у нас должен быть социализм,— за это я буду спорить с любым, хоть бы и до крови. Кто этого не понимает, тот или тупица, или сволочь. Что с тобой, Бацилла? Крутишься, будто у тебя под задницей стул горит. Не по носу тебе это? — колюче спросил он.

— Да нет... то есть, да,— испуганно залепетал толстяк.— Я с тобой совершенно согласен насчет социализма... Просто у меня живот болит.

Этот инцидент оставили без внимания. Милан только рукой махнул. С минуту он вслушивался в тишину, потом гулко откашлялся и начал говорить. Он удивил всех: то, что он предлагал, как это ни странно для него, было вполне законченно, необычайно трезво и продуманно. Быть может, здесь сказался какой-то опыт, хотя он об этом не упомянул и словом. Организация, система связи. Все как можно проще. Многие группы провалились именно на сложности конспирации — чем меньше людей посвящено в дело, тем безопаснее. Их будет только пятеро. Первое условие: абсолютное молчание. Никому ни слова. Даже самым близким. Болтовня равнозначна предательству. А за предательство мыслимо лишь одно возмездие... Понятно? На заводе ограничить свои отношения до минимума, однако же так, чтобы это не бросалось в глаза. Никаких письменных сношений, только устные. Регулярно собираться — иногда

тут, а чаще у Павла. Можно у тебя? Можно. Система паролей. Ее разработает Гонза. Разделение задач. Связным будет Бацилла, у них дома есть телефон, ему станем звонить, если случится что-нибудь исключительное, а уж его дело — как можно быстрее информировать остальных. Командир? Старший группы? Милан поразил товарищей, предложив, чтоб не было никакого командира. Нас мало, обо всех операциях будем договариваться совместно, решать простым большинством голосов. Нейтральная точка зрения исключается. Ясно? Потом он предложил еще собираться для самообразования, это можно делать здесь. О чем говорить на таких собраниях? Обо всем! Будут обмениваться запрещенными книгами, обсуждать их, потому что надо объединиться и идейно, попросту говоря — политически. Мы не гангстеры и не анархисты.

Поначалу ребята не видели смысла в таких сборищах, но Милан так упорно настаивал, что в конце концов убедил всех.

— Имейте мужество сознаться, что в башке у вас дикий кавардак,— запальчиво кричал он.— Я не хвастаюсь, у меня дело обстоит не многим лучше, ну, нахватался кое-чего, но ведь ясно же, так оставаться не может! Вот передо мной мир, и, если я хочу что-то такое делать в нем, должен же я хоть немного в нем разбираться! Нельзя отмахнуться от него, потому что он нас в покое не оставляет, хотим мы того или нет...

С этим должен был в конечном счете согласиться и Гонза. Что мы в самом деле знаем? Ни шиша! Коммунизм, социализм! Под этими словами для него скрывались только общие и безнадежно путаные представления о добре и социальной справедливости. А дальше что? Где узнать что-нибудь толком? В книжках из публичной библиотеки? Чепуха! Где же взять те, настоящие? Раз как-то попала ему в руки одна такая; он бился над ней, продирался, как сквозь дремучий лес, сквозь сложные экономические выкладки, но ему не хватало соединительных звеньев, основ, в общем, всего. Демократия, капитализм... Само собой, уже простая и вполне определенная ненависть к нацистам и безусловная симпатия к тем, кто бьет их в хвост и в гриву, не позволяли клюнуть на идиотские сплетни, извергаемые газетными писаками. Даже те, кто вынужден был выслушивать все эти гадости в гимназии и потом держать по ним экзамен перед немецкими инспекторами, и те им не верили! Гонза вспомнил, как однажды пошли они всем классом на выставку с мнимоневинным названием: «Советский рай». От чудовищных экспонатов всех бросало в дрожь, Бациллу чуть не стошнило. Вот и пиши потом об этом сочинение для «немца»! Бррр! Решающее большинство надело броню неверия, но были и исключения. Страшно, правда? А в трамвае Патка, одноклассник, сказал: «Если это правда хоть в десятой части — будь здоров!» И был он совсем бледный. Не могли же так вот просто взять да из пальца высосать! Еще как могли! Все это штучки из арсенала колченогого пустобреха Геббельса. Пропаганда! Ребята не поверили и не хотели верить всем этим гнусностям о терроре в Советах, о кровавых деяниях Сталина, о красных комиссарах и ГПУ, о стрижке под одну гребенку в культуре, о принудительной стадности людей, о варварстве на Востоке и о плутократах на Западе, о заговоре международного еврейства против арийской расы, в интересах которой на всех фронтах проливает кровь героический вермахт.

Гнусность, тупая клевета на тот мир, который приближается к нам, поверить в это — значило авансом рехнуться и спрятать голову под крыло. Глупости! Тем более, что, кажется, и взрослые не верят этому, даже дед, а ведь он воевал против большевиков. Так что тут вроде порядок, только... Одно дело вера, но ведь надо еще и самим все узнать, ощупать собственной мыслью, и тут Милан прав, хотя, в общем-то, он фанатик и в голове у него, пожалуй, путаница невероятная. Ррреволюция, грохочущая раскатистым «р».

Послушай, как они перебивают друг друга, это какой-то прибой слов, Милану приходится даже успокаивать их, хотя сам он пылает ярче всех.

А не мало нас? Может, прихватить еще, например, всех приличных ребят из цеха? Нет, для начала не надо. Там посмотрим. А кого бы еще? Леоша? А, у него свои заботы с недостающими лампочками. Густа бешеный какой-то и обиженный на судьбу — за то, что ростом не вышел. Богоуш? Нет, труслив больно, а фатер его, говорят, подписал какое-то сволочное воззвание Лиги против большевизма. Да, но Богоуш очень переживает, говорит, отца заставили подписать. Ни хрена не заставляли. А Богоуш ни при чем, он за отца не ответчик. Ну, так кого же? Никого! В том-то и выгода, что нас будет только пятеро, поймите же, наконец, черт возьми, и никаких осложнений... Думаете, мы одни такие на заводе? Чепуха, спорить готов, что нет, все эти аварии не сами по себе получаются. Как бы с другими установить связь? А как ты это хочешь сделать? Дай в газетах объявление, олух! Хватит трепаться, ребята, думайте! И к тому же, добавил Милан, не стану я связываться ни с какими горе-патриотами: если не с левыми, так и ни с кем! Ясно! Не то лучше брошу это дело. Ребята, не начинайте с ссоры! Сначала будем работать одни, на свой страх, а там увидим. Да, но что мы можем сделать? Пять человек и один пугач! А мы попробуем начать с малого. Потом все больше и больше... Вредить им на каждом шагу, тормозить производство. Воровать! А что? И листовки! Распространять по заводу, пусть люди знают, что *они* — не полные хозяева, что *им* объявлена подпольная война.

Войта предложил портить машины. В сборочном, на электростанции, короткие замыкания у сверлильных станков... А взрывчатка? Где возьмешь? Кажется, ее можно сделать самим. Кто разбирается в химии? Ладно, посмотрим! Дальше! Отомстить за Пишкота и сотни других! Правильно. Но как? Произвести налет на живодерку? Не сходите с ума, ребята! А если убить Заячью Губу и нагнать страху на всех веркшуцев? Пристрелить Каутце? Или директора-немца с его нацистским значком на лацкане? А чего ты этим добьешься? Кого еще укокошить? Может, самого Адольфа? А вот бы избить Жабу, напугать всех коллаборационистов! В этом что-то есть!

— Ну, хватит на сегодня,— сказал Милан, протирая глаза, которые щипало от дыма.— Гонза, да не кури ты все время эту гадость, сдохнуть можно! — взмолился он.

Шаги в коридоре встревожили их. Где револьвер? Порядок, Павел сунул руку в карман, Гонза успел сгрести все газеты на край стола, Милан бросился к постели за гитарой.

— Не подавайте виду, пойте.

Он провел пальцами по струнам, простыми аккордами нащупал меланхолический мотивчик.

Вот видишь, Маня, мы с тобой расстались...

Вошел худощавый человек в куртке, вызывающе заляпанной красками; необычное, какое-то выдуманное лицо. Венчик спутанной бороды придавал ему оттенок исключительности. В нем было бы что-то от возвышенности Христа, если б в колючих глазах не засело озорство.

Вошедший ухмыльнулся.

— Вокальный квинтет или пакостные разговоры о бабах?

От слов его веяло пренебрежением к этим молокососам, хотя сам он был ненамного старше их.

— Это Лекса, ребята,— чуть ли не виноватым тоном проговорил Милан; он мог бы и не представлять брата, у них были некоторые общие черты лица и одинаково раскатистое «р».— Лекса, это мои товарищи...

Они собрались было встать, подать ему руки, но, как выяснилось, он вовсе не желал утруждать себя проявлением интереса к пятерым

козликам. Прошел мимо них в соседнюю комнату и только на пороге обернулся к Милану, строго сказал:

— А ты в следующий раз не копайся в моих вещах, не то я тебя отсюда вышвырну, друг любезный!

В наступившей смущенной тишине слышно было, как Лекса посвистывает за дверью; у Милана был такой пристыженный вид, что и всех охватила неловкость. Он опять забренчал было на гитаре, но никто не подхватил напева. Гм... Вскоре художник появился тщательно причесанный, в стареньком вельветовом пиджаке, и, завязывая на ходу яркий галстук, покровительственно сказал:

— Через полчаса извольте убраться отсюда, лорды. Ко мне придут. Это и тебя касается, Милан, советую тебе не являться раньше полуночи. Итак, адье!

Дойдя до входной двери, он обернулся, окинул стол беглым взглядом и ни с того ни с сего, как бы догадавшись обо всем, произнес с усмешкой, показывая на покрасневшего Милана:

— Не советую вам связываться с ним...— И он выразительно постучал себя пальцем по лбу.— Он вас доведет до беды, оглянуться не успеете. Псих! Таких только по воду посылать...

Хлопнула дверь, шаги и свист Лексы замерли в тишине этого странного дома, а за столом испортилось настроение. Будто ребят окатили ледяной водой.

Милан сидел, понурив голову, и кусал губы.

— Как... Как он догадался, ребята? — вертел головой Бацилла.— Мы еще и не начали, а уже все видно... Ну, не знаю...

— Ничего не видно,— хмуро сказал Павел, стукнув по столу костяшками пальцев.— Случайность! Пошли дальше!

И вдруг как-то сразу оказалось, что им, собственно, не о чем больше говорить; воинственный восторг испарился, и сидели они как мокрые курицы, будто их застигли врасплох за ребячьим грехом. Гонза вертел в руках продавленный портсигар и отчаянно дымил.

— Вот воображала,— бросил он.

— Нет! — Милан поднял голову, медленно покачал ею.— Нет, ребята, Лекса хороший. Вы его не знаете. Он настоящий художник... хотя пока это почти никому не известно. Вы должны бы понять. Он озлоблен и мучается. А насчет меня... тут он прав, да! Я виноват...— Милан с мучительными усилиями выворачивал из себя признание, и голос его срывался от волнения.— Я его подвел один раз, не из трусости, просто глупый был. И он этого не забывает, и знаю...

Слушать это самообвинение было просто невыносимо, хотя никто ничего и не понимал. Опять он преувеличивает, с неприятным чувством подумал Гонза. Видимо, оба братца чокнутые немного. Черт знает, что там происходит между ними? А может, у Милана жар?

— ...но если вы думаете, что я и вас подведу... как он сказал... Если вы хоть чуть сомневаетесь, ребята... Тогда я отойду от дела, добровольно...

Да ладно уж! Гонза положил ему руку на плечо, как бы утешая малого ребенка.

— Послушай, хватит пороть чепуху. Понял?

— Если б мы так думали, не сидели бы тут,— подхватил Павел.

Милан распрямился от этих слов мужественного доверия и обвел товарищей таким взглядом, будто к нему возвращалась вера в спасение.

— Ну и ладно. И хорошо.— уже спокойнее прошептал он, поднимая голову, и снова загорелся: — Я ему докажу! — Он ударил кулаком себя по колену.— Докажу, что он во мне ошибся, ребята! Что он несправедлив! Он хороший, но несправедливый, вы сами видали, как он меня обидел. Он думает, что я никуда не годен... Всю жизнь он бросает мне это под ноги... И сбивает с ног... А я не знаю, за что. Завидует мне, что ли?

Может, у меня дарования больше... А я страшно уважаю его за все, что он знает, и за то, что он не мещанин. Но я докажу ему, что и я не лыком шит... Что и на меня может положиться мировой пролетариат... даже если придется жизнь отдать...

— Иди ты в болото! — довольно грубо прекратил его излияния Павел.— Нам до всего этого дела нет, скоро пора сматываться отсюда.

— Знаете, ребята,— робко заговорил Бацилла,— мне уже пора домой. Меня ждут к ужину...

— Слыхали? — вдруг оживился Милан.— Ему пора домой ам-ам. Вот будет он нужен где-то, а что он сделает? Домой побежит! Чтоб мамочка не волновалась. Хорошо же ты начинаешь, Бацилла.

— Я только сегодня,— с несчастным видом отбивался толстяк.— У нее сегодня как раз день рождения, и я обещал ей...

На него махнули рукой; попытались придумать еще что-нибудь, да ничего нового не приходило в голову. Гонза собрал вещи из свертка в бумагу и вызвался подробно изучить их дома. Павел, хмурясь, предложил все остальное обсудить в следующий раз. Как, где? Он сказал свой адрес и объяснил, как приходить, чтобы не внушить подозрения обитателям старого дома. Довольно и десятиминутного интервала, три раза стучать в дверь его чуланчика из коридора. Два удара сразу, третий — погодя: вот так!

— Решено?

Все решено. Но никто не вставал. Переглядывались растерянно, и казалось им немножко неестественным, что вот разойдутся они после такого волнующего заседания буднично и незаметно, словно бы собирались всего лишь на партию в мариаш. И тот же Милан позаботился о том, чтобы этого не случилось.

— Не можем мы так разойтись, ребята,— провозгласил он с важным видом и, взяв с плиты бутылку недопитого молока, поставил ее на стол.— К сожалению, нет ничего приличного, чем бы запить, у меня есть только это. Но кто хочет глотнуть молока, еще осталось немного...

Он первым сделал глоток, за ним остальные: каждый отпил немножко этой синеватой протекторатной жидкости; все разыгрывалось в благоговейной тишине.

— Так,— удовлетворенно промолвил Милан, когда бутылку снова поставили на стол.— То, что мы тут говорили, может быть, просто слова, брошенные на ветер, но то, что мы собираемся делать,— ужасно серьезно. Вопрос жизни и смерти. И прежде чем приняться за дело, надо нам как-то обязаться друг перед другом, что мы не подведем. И что тот, кто хоть как-то, пусть одной лишь болтовней, предаст своих товарищей по борьбе, тот сам себя осуждает и сознательно подчиняется приговору остальных. Это главная заповедь всякой конспирации, друзья...

Опять — *друзья,* а не просто ребята. Все слушали его, и торжественность момента вычеканила их лица, и пафос Милана, который они обычно терпеть не могли, оказался теперь уместным. Это, братцы, не детская игра в индейцев, так надо, если они не хотят провалиться на первой же операции. Даже Гонза, всегда предпочитавший сохранять свой врожденный скепсис и сдержанность, был взволнован и слушал с трепетом. Чего Милан собирается требовать? Присяги? Подписи кровью? Бррр! Но так или иначе, а надо будет подчиниться. Надо! Только уж скорей бы, хватит этого пррредательства с раскатистым «р»!

Ребята вздохнули легче, когда Милан вынул из кармана исписанный листок бумаги. На нем он, видимо, заранее сочинил формулу клятвы. Текст клятвы приятно поразил их неожиданной лаконичностью, хотя Милан все-таки не обошелся без напыщенных и смешных романтических оборотов: «Клянусь честью своей и жизнью...» Так начиналось, и такое мог написать только Милан. Оказалось, однако, что он неплохо приду-

мал всю церемонию. Он попросил Павла положить револьвер на середину стола, под лампу. Тогда он еще раз прочитал текст клятвы, а каждый должен был приложить три пальца к блестящему стволу и четко произнести: «Клянусь!» Ясно? Ясно!

— Вы можете еще подумать, друзья,— повторил Милан, сверля товарищей завораживающим взглядом.

— Да чего ты все дурака валяешь? — не выдержал Павел. Все эти оттяжки, эта церемония на грани комизма, видимо, были для него пыткой.— Чего тут думать? Шуты мы, что ли, черт возьми?

Он первым, без колебаний, притронулся пальцами к металлу ствола и громко, твердым голосом произнес: «Клянусь!» После него в тишине, нарушаемой дробным тиканьем будильника за дверью, это сделали остальные.

Готово, вздохнули все, alea jacta est* — как застряло в памяти с уроков латыни; смело перешли Рубикон вместе с Бациллой, у которого невыносимо болел живот.

Молча встали из-за стола, чтоб ненужной болтовней не нарушить серьезность момента; вдруг Милан хлопнул себя по лбу:

— А имя-то! Забыли совсем...

— Какое имя?

— Ну, название. У каждой такой группы должно быть название, правда?

— А это обязательно? — недовольно усомнился Павел.

— Думаю, да.

Правда, почему не придумать название? Они растерянно молчали, а в головах у них проносились все эти «Кулаки свободы», «Удары» и «Пламёна мести», но никто не осмеливался предложить что-либо подобное.

Вот только Гонза... Он задумчиво перелистывал брошюрку о древнегреческих героях и явно разделял общее опасение перед высокопарным названием, которое оказалось бы в вопиющем противоречии с их фактическими силами.

— Я предлагаю, ребята, «Орфей»,— деловито сказал он.

Что? Он страшно поразил их; ребята пытались найти хоть какую-то связь между этим мифическим певцом и их задачей, но таковой явно не существовало. Что мы, певческий кружок, что ли?

— А звучит очень красиво, мальчики,— добродушно похвалил Бацилла.

— Это-то так,— согласился Милан, но тут же возразил, что такое название будет недостаточно поэтичным.— И почему именно «Орфей»? Откуда ты взял?

— Отсюда,— Гонза показал рисунок в брошюрке.— Дело случая. Совершенно так же и я могу спросить: а почему не «Орфей»?

Против этого уж нельзя было выдвинуть никакого серьезного аргумента. Имя как имя; и в тот протекторатный вечер содрогнулась Третья империя от ужаса, потому что за спущенной шторой затемнения родилась одна из бог весть еще скольких группок, о которых вряд ли найдется упоминание в книгах будущих историографов.

часть вторая

1

Июнь навалился на крыши зноем, и жизнь под солнечным рефлектором текла как будто в большей безопасности, хотя сирены выли все грознее и небо над шпилями башен гудело все чаще.

* Жребий брошен *(лат.)*.

Город, казалось, подернулся пеленой плесени.

— Наверху опять гвалт,— вздохнула мать.— Только б верзила этот не налил опять водки в аквариум. Безобразники до того дошли, что на картине усы под носом нарисовали. Чернильным карандашом! Никак отмыть не могла.

Войта смотрел, как мать, сидя на краю постели, растирает себе камфарным маслом опухшие суставы. Знакомая жалость сдавила горло, он скорее опустил глаза в тарелку и упрямо замолчал, чувствуя на себе ее взгляд. Сейчас начнет наседать: надел бы чистую рубашку да пошел туда, сынок. Ведь она твоя жена. Просто ужас! Впрочем, эти шумные вечеринки уже перестали возмущать его — пускай хоть на голове ходят! Что ему делать среди этих пижонов и их девчонок? Нет, не думать об этом... Мама! Что-то она ему не нравится последнее время. Иногда он видел, как она остановится на лестнице и положит руку на сердце — потихоньку, чтоб никто не заметил, словно боясь встревожить других своим недомоганием. Вчера ночью он проснулся и услышал, как неровно она дышит; это его испугало. Лунный свет, отражаясь от стены, озарял ее лицо на полосатой подушке, ему показалось, что она как-то неестественно бледна и тиха... И тогда он весь сжался от страха, что мама умрет. Это было просто предчувствие, рожденное, может быть, даже лунным светом, потому что кто же всерьез верит в смертность родителей? Но Войта не смог от него избавиться. Надо показать ее врачу! Это будет нелегко: ни разу в жизни она не переступала порога врачебной приемной, привыкнув поверять все свои страдания невидимому богу и пресвятой деве.

Шум наверху стал громче, вечеринка, видно, была в разгаре, что-то тяжелое грохнулось так, что потолок в подвале задрожал, вслед за тем виллу потряс взрыв смеха.

Войта встал, потянулся, зевнув, и пошел к двери, провожаемый взглядом матери. Пиджака он не взял, давая понять, что не собирается выходить из дома.

Войдя в мастерскую, он закрыл за собой дверь, но делать ему сегодня ничего не хотелось. Изобретения! Он вытащил из портфеля брошюру о системе охлаждения авиамоторов, взятую у одного инженера из конструкторского бюро, и сделал невероятное усилие, пытаясь сосредоточиться, но шум наверху, врывавшийся в открытое окно, отвлекал его. Он поймал себя даже на том, что прислушивается, и ему показалось, что в гуле голосов он различает ее волнующий смех. Да, это она. Среди этих выутюженных фигур и самоуверенных физиономий она в своей стихии.

Ну и ладно!

Он стиснул зубы и достал тоненькую, сильно потрепанную брошюру. Ее дал ему Милан: редкостный, мол, экземпляр, запрещенный, он головой за нее отвечает! Уже одно название совершенно непонятно: «Азбука диалектического материализма — метод правильного мышления». Но что тут запретного, не поймешь! Странно, когда Милан говорит об этом на сходках, все ясно и понятно, как дважды два: да, это так, чего же тут не понять? Борьба классов, революция, советы, диктатура пролетариата, да, да, да, но это значит... Постой! Покойный хозяин был капиталист, а я? Ну, ясно! А она? Странно, правда, получилось: значит, пограничная черта проходит между бельэтажем и подвалом где-то там, где кончаются перила красного дерева? Но так ли? Вся его одежда из гардероба щедрого хозяина, и когда отец умирал, архитектор проявил большое человеколюбие. А тут как начал читать сам — дело дрянь! Не беда, читай дальше, не жалей свою дурацкую башку, должен же ты всё это раскусить, черт возьми!

Визг саксофона заставил Войту вздрогнуть. Он открыл отяжелевшие веки. Проснись! Читай дальше! Что такое? Виллу вдруг затопила тишина... И в этой тишине совершенно неожиданно зазвонил в передней звонок.

Звонок всполошил компанию в самую неподходящую минуту. Все сидели вокруг мощного приемника и слушали вечернюю передачу из Лондона: волнующее ту-ду-ду-дум «Биг-Бена» и потом «....дальнейшее наступление войск вторжения в Нормандии...» Пирушка была устроена как раз по случаю высадки западных союзников, сомнений больше не было: закрепились! Закрепились и пошли вперед, ура! Моргнуть не успеешь, дойдут до нашего скрюченного голодного города, и тут-то начнется веселье! За это стоит выпить!

Дррр...

Алеш дернул головой и тотчас выключил радио. Кто это может быть? Половина десятого, и ведь все в сборе...

Один из сидевших у окна приоткрыл занавеску.

— Милые, не зажигайте света и пойдите посмотрите. Мне, видно, снится...

Пустынная улица купалась в лунном свете, и ошибки быть не могло: у края тротуара разлегся широкий «мерседес», призрак с блестящим капотом и силуэтом шофера за рулем, а перед калиткой стояла высокая и широкоплечая фигура в форме немецкого офицера. Выпрямленная неподвижность фигуры наводила страх.

Чуть заметная легкая паника, нервное закуривание сигарет, и хмель как рукой сняло. Из соседней комнаты, шурша элегантным халатом, вышла милостивая пани. Нежное лицо ее было белей батистового платка, который она, бог весть почему, прижимала к виску. Испуг углубил морщины вокруг глаз, нескромно выдавая ее истинный возраст.

— Что-то случилось,— прошептала она с почти девическим испугом.— Как же быть?

И не имея при себе в трудную минуту своего надежного защитника, устремила умоляющий взгляд на его столь блестящего сына.

— Алеш, будьте добры... женщине так страшно одной! И потом — мой немецкий язык...

Алеш с решительным выражением на мужественном лице последовал за ней.

— А вы оставайтесь на местах и сидите смирно! — скомандовал он без излишнего стеснения.— Думаю, ничего серьезного.

Он был прав: происшествие оказалось пустяковым, а в сравнении с их первым испугом даже комичным. Грозная тень в свете передней превратилась в полковника люфтваффе, жившего в вилле напротив.

Алена с площадки увидела, как незваный гость, щелкнув каблуками, склонился перед ее матерью в галантном поклоне, всем своим поведением давая понять, что не хочет волновать даму.

— Verzeihen Sie, gnädige Frau*,— начал он с изысканной предупредительностью, отвечавшей всему его облику.

Он представился. Алеш, сохраняя полное спокойствие, стал переводить.

— Владелица виллы, не правда ли? Очень приятно. Быть может, вы заметили, что я живу напротив... Я не желал бы, чтоб вы приняли мое появление как попытку нарушить ваш вечерний покой, сударыня...

Он держался уверенно, но не нагло, дружественно, но не фамильярно, и милостивая пани, успевшая прийти в себя, сумела это оценить. Увядшее ее лицо на глазах молодело, и испытанная улыбка растерявшейся девочки произвела нужное впечатление на доблестного воина,

---

* Простите, сударыня *(нем.)*.

который возвышался перед ней, увешанный добрым килограммом металла. Хозяйка виллы слушала его с благосклонностью королевы, втайне жалея, что не имела времени привести себя в порядок... Но в чем же дело? Он пришел обратить ее внимание на то, что в одной из комнат — выяснилось, что это белая комнатка Алены,— не спущены шторы, и с улицы виден свет. Он был бы огорчен, если бы у сударыни возникли неприятности из-за нарушения действующих предписаний касательно гражданской воздушной обороны, особенно теперь, когда пиратские налеты — разумеется, временно — становятся все более дерзкими и частыми. В заключение он выразил удовольствие по поводу того, что получил возможность, хоть в неурочное время и при обстоятельствах не совсем обычных, познакомиться с сударыней.

— Алеш, передайте, пожалуйста, что я горячо благодарю...

■

Знакомый голос позвал Войту. Он заморгал, ослепленный электрической лампочкой над столом, и оглянулся; под локтем, на который он положил голову засыпая, все еще лежала раскрытая брошюра.

— Войтина!

Алена стояла, прислонившись к косяку, волосы у нее были растрепаны, глаза широко раскрыты. Он сперва испугался.

— Ты что?

— Пойдем наверх.

Она подошла, схватила его за руку.

— Я хочу, чтоб ты пошел со мной. Хочу, понимаешь?

Он попробовал освободить руку.

— Не дури. Что мне там делать?

— Если ты любишь меня, то должен пойти. Я так хочу! Хочу!

Был уже третий час ночи, и, судя по шуму наверху, вечеринка достигла своего апогея. Что это с ней? Пьяная, что ли? Она настаивала на своем, как избалованный ребенок, и изо всех сил тащила его от стола.

Сумасшедшая, напилась до чертиков, свалится ведь, совсем не понимает, что делает! Какая мерзость! Это не она! Все его существо охватили отвращение и ненависть к тем, наверху, он ухватился за перила.

Алеш! Он вынырнул откуда-то, взлохмаченный, с развязанным узлом галстука, но, по-видимому, еще вменяемый.

— Ты хоть понимаешь, что ты противна? — с возмущением набросился он на Алену.

— С дороги, голубчик! — в бешенстве закричала она и пошатнулась.— Это мое дело.

Пьяная, она становилась скандалисткой и несла бог весть что.

— Ты тут самый обыкновенный гость, не больше, так что не заносись! Посторонний. Понятно?

Она запрокинула голову и захохотала.

— Я могу приказать, чтоб тебя отсюда вы... вытурили... очень просто! Хоть ему. Тсс, я тебе вот что скажу: это ведь мой муж. И... дворник! Тссс! Тут нет ничего твоего: ни хибары, ни меня... Войтина, пошли!

Оба не успели опомниться, как Алена рывком открыла дверь и втащила оцепенелого Войту в комнату.

— Ребятки, кого я привела...

Алену обозлило, что никто не слушает, она замахала руками, одержимая мыслью, родившейся в ее помутившемся мозгу, но голос ее потонул в гаме.

Она затопала ногами:

— Тихо, идиоты!

Где я? Искаженные лица с вяло опущенными углами губ, ощеренные зубы, неподвижные зрачки. Дым коромыслом. На Войту еще не обратили внимания, каждый ревел и орал свое, жестикулируя, слоняясь по комнате, занятый самим собой.

А когда заметили, накинулись с дружескими воплями.

— Да ты кто такой? Я тебя еще тут не встречала. По трубе спустился, что ли? Ура-а-а... детки, это черт!.. Признайся, ты черт! — верещал тоненький голосок у самого его уха.— Ты пей, чертяка, у вас там небось такого пойла нету. Глотни хорошенько!

Сперва Войта растерянно отнекивался, но его заставили опрокинуть бокал на брудершафт; ему страшно обожгло горло и перехватило дыханье, он весь передернулся.

— Ура-а-а! Черт пьет... Еще бокал! А скажи, чертяка, какие у вас там девчонки? Зна-а-атные, наверно... Поцелуй меня, я ни разу не целовалась с чертом. Хочу в ад, девочки. На небе страшная скука, сидят в этих безобразных ночных рубашках и поют всякое старье.

Что я делаю?! После четвертого бокала ему все уже казалось смешным, пятый он осушил добровольно. Ребята, ну и хлещет! Он чувствовал, как в голове так чудно проясняется, успокаивается, лица удалились, распухли и вот он оказался один в безопасном уединении и вдруг все стало ему безразлично, потом он услышал, как сам бурно хохочет и несет околесицу, ничто его больше не мучило, потому что на все наплевать, все забавно; никогда не чувствовал он себя таким чудесно свободным и несказанно счастливым, а вокруг сплошь милые, дружеские лица. Его смешило, как пианист храпит, свесив голову на клавиши, а другие поят контрабасиста водкой. Над головой у него ревела радиола, а танцующие пары потешно впились друг в друга. Умора! Когда ж они примутся друг друга поедать?

— Тихо, павианы!

Он оглянулся на голос Алены и от испуга слегка отрезвел. Что она собирается выкинуть? Она добилась, чтоб ее слушали хоть несколько человек, поближе. Что это она показывает на меня? Пьяная в дым...

— Будет тебе! — услышал он голос Алеша.

Но Алена его даже не заметила. Она закусила удила.

— Я обещала вам сюрприз. Вот он! В кресле сидит...

— Алена!..

— Позвольте представить — мой муж!

Шум, кто-то свистнул, все глаза обратились к Войте. Это было как разорвавшаяся бомба, но смысл сказанного не сразу дошел до отупелых мозгов.

Матушки! Значит, ты уже дама, девочка! И не скучаешь... Да не обижайся... Чего ж ты скрывала? Ведь это гран-ди-озно!.. По этому случаю сейчас же выпить, я умираю от жажды! Так это твой муж! Захмелел малость, а так парень что надо! Слышишь, Вратя, пьяное животное, это Аленин муж! Боялась, бедненькая, в девках засидеться, что ли?

Это ее рассердило, она трахнула стаканом о пол, запустила пальцы себе в волосы.

— Это мой муж и он лю-ит... лю-ит меня! Скажи им, Войтина! Он рабочий... и каждому из вас с ходу морду набьет. Перестаньте ржать по-идиотски, а то велю всех вышвырнуть вон!

Это было невыносимо! Войта уставился в пространство, не способный пошевелиться. Что она, с ума сошла? Надо уйти! Но как? Слишком поздно. Послушай, что они говорят:

А я думала — черт! Эй, муж! По такому случаю как не выпить? Стакан мужу! Балда! Когда же была свадьба? А как насчет потомства?

Алеш, c'est la vie*, тебе придется с этим примириться, бедненький... Кто бы мог подумать, что ее уведут у тебя прямо из-под носа..

— Уведут! — крикнула Алена, указывая на любовника пальцем. Алеш сдерживался, он холодно и пристально наблюдал за ее беснованием, но в нем чувствовалось напряжение тигра перед прыжком.— Этого не... не понадобилось,— продолжала она, давясь от хохота.— Он великодушный, понимаете? Весь в отца! Адвокат! Он был даже свидетелем... вот это... это называется преданность, а? Собой пожертвовал... и даже готов заменить в постели...

— Замолчи! — крикнул Алеш, хватая ее за плечи.— Ты пьяна!

— Не трогай меня! — Она вырвалась брезгливым движением, чуть не потеряв равновесие, и показала ему длинный нос.— Ишь ты!.. Хочешь, чтоб я молчала? Герой!

— Алена, я предупреждаю! Подумай хоть о нем!

— Ах, ты о нем беспокоишься?..

Он тряс ее, и было видно, что сдают даже его превосходные нервы спортсмена.

— Ступай ложись! Сейчас же. Ты мерзка. И невыносима. Я тебе приказываю!

— Шут гороховый! Обтрепанный паяц! Ты не имеешь права за него заступаться, подлец! Пусти меня, хам! Я буду об этом кричать... Он порядочный человек... Кто станет над ним смеяться — убью! У-бью! Он любит меня, вы даже не знаете, что это такое, потому что вы пьяная сволочь... Он один меня лю... и никогда бы меня не бросил...

Остальное заглохло под ладонью спортсмена, она ужом извивалась под этой ладонью и в конце концов укусила его за палец так, что Алеш зашипел от боли. Потом раздался звук пощечины. И еще...

— Войтина, он меня бьет! Войтина!

Войта сорвался с кресла, в глазах его стоял красный туман, и он, не раздумывая, с яростью бешеного быка кинулся вперед. Разбить, размолотить эту смазливую морду, разбить! Бац! Неожиданный удар, нанесенный всей тяжестью корпуса, сбил Алеша с ног. Бить! Пошатываясь на скользком паркете, Войта бессмысленно тыкал кулаками в пустое пространство, уже не достигая цели.

Разнимите их! Господи Иисусе... Крики, все повскакали с мест, обступили дерущихся, девушки истерически вопили. Да он убьет его... зверь... с ума сошел... помогите!

Войта опять промахнулся, он задыхался. Где Алеш? Он разглядел его в дыму перед собой, сосредоточенно спокойного, в стойке боксера, с выставленной вперед левой рукой — один вид этого бледного самоуверенного лица бросил его в атаку. Мимо! В воздух! Не успел Войта восстановить равновесие, как его поразил страшный удар в подложечку. У него перехватило дыхание, он согнулся пополам, схватился за живот и зашатался с мучительным кряхтением, но следующий удар, в подбородок, заставил его выпрямиться. Третий, четвертый... У Войты подкосились ноги. Град точно направленных искусных ударов, наносимых всей упругой мощью тренированного тела, посыпался на него. Он отбивался все слабее, вслепую тыча кулаками, подвывая от напряжения, а тут еще ошеломленный слух ловит ободряющие крики. Шалишь, не поддамся!

— Бей его, Алеш!.. Проучи грубияна!.. Ага, получил сполна!

Конец. Он изнемог. Весь исчерпался. Руки повисли. Огонь в глазах. На языке. Нет, еще не все! Нет! Последний удар приподнял его и тотчас поверг на землю, узор исшарканного паркета взлетел и понесся на него, лакированные ботинки, девичьи туфельки, край свернутого персидского ковра — сколько мама с ним возится,— почему-то мелькнуло в моз-

* Такова жизнь *(франц.)*.

гу,— и удар о пол. Жестокий. Но Войта его почти уже не почувствовал. Где-то застучала ветряная мельничка, в ушах завыли корабельные сирены. Колокола Почему вдруг колокола?

— Конец забавы, детки! — услышал он ненавистный голос.— Собирайтесь, и марш в постели! Вон, вон, вон! Довольно валять дурака, Зузанна.

Шаги, голоса, свист, хлопанье дверями. Не осталось ли чего выпить? Сыпь, сыпь! Валили вниз по лестнице горячей лавой, пьяный контрабасист мотался во все стороны. Кто-то съехал по перилам, за ним другие. Смех. Вот это пирушка! Историческая! Изумительная постановка! С матчем по боксу в заключение! Не пойте! А то нас на улице загребут!

Он приоткрыл глаза, попробовал шевельнуться, не вышло. Ощущения возвращались к нему как бы издалека, тело давало о себе знать болью рассеченной губы, но внутри горело еще сильнее. Штора затемнения сбилась кверху, в окно нерешительно заглядывал рассвет, и запущенный сад превратился в птичью вольеру. Нереальный внезапный переход от тьмы к свету.

Чьи-то шаги остановились у него над головой, чья-то рука опытным движением ощупала ему челюсть, палец приподнял вспухшее веко.

— М-м, ничего серьезного,— произнес ненавистный голос. Алеш примирительно сдавил ему плечо.— Извини, приятель... я не хотел тебя так разделать.

За окном быстро рассвело, через минуту из сада влетел в комнату ключ от входной двери, тихонько звякнув о паркет.

■

Приглушенный звук остановил его у двери передней. Звук был похож на рыдание. Он направился в ту сторону, тащился по линолеуму, как насекомое. Попробовал пошевелить губами, но боль была нестерпимой, голова трещала. Он приложил ухо к двери белой комнатки, прислушался, потом осторожно взялся за ручку и вошел, сам не зная зачем.

Алена лежала на цветастой тахте под написанным маслом изображением голубоглазой девочки; волны волос разметались в беспорядке по подушке, глаза неподвижно уставились в потолок, на опустошенном лице видны были следы слез. Стук в дверь заставил ее очнуться.

— Войтина...— всхлипнув, воскликнула она,— Войтина, что я наделала! Я скверная, презирай меня, возненавидь... Но я не виновата, не виновата... ведь это не потому, что я напилась... Я должна была напиться... должна... понимаешь?

Гибкие пальцы, блуждая по его распухшему лицу, остановились на палящей ссадине. Это было приятно, резкая боль отступила перед легкими теплыми прикосновениями.

— Войтина, я хочу, чтоб ты меня поцеловал. Ляг рядом и целуй меня в губы! Ты так из-за меня пострадал... Я хочу сейчас, сейчас же!..

Он покорился этому обезволивающему безумию, он захлебывался от волнения. Что же это? Он не верил, не верил такому сумасшедшему завершению самой сумасшедшей ночи в своей жизни; быть может, это сон, и в этом сне он лежит рядом с ней, чувствуя ее всеми фибрами своего существа, а она печально обнимает и согревает его теплом своего тела.

Она отпустила его, испуганно заглянула ему в лицо.

— Какая я дура, ведь тебе, наверно, больно, бедненький...

— Теперь не так,— пробормотал он коротко — каждое слово причиняло ему страдание.

Ему не понравилось слово «бедненький». Он отвернул голову, но остался лежать рядом с ней. На груди у него покоилась ее рука, а над головой утренний ветерок шевелил белоснежные занавески.

Спать, закрыть глаза и больше не открывать, чтоб это никогда не кончалось!

— Ты простишь меня?

— Да не за что,— самоотверженно солгал он.— Я уже ничего не чувствую.

Она громко вздохнула.

— Я знаю... ты сильный, все выдержишь. Всегда умел меня защитить, помнишь, как всех колотил, если кто...

Он беспокойно шевельнулся, но она продолжала:

— Войтина, почему теперь все не так? Зачем мы выросли? Теперь все страшно сложно, и какой мне прок от того, что меня называют «барышня», и я хожу на высоких каблуках... Я ничего не понимаю, и меньше всего самое себя, и страшно боюсь, потому что не знаю, что будет дальше. И все отвратительно — мама и эта хибара и... все же: ненавидишь все это, а никак не избавишься. Я когда-нибудь сбегу отсюда, Войта... и ты пойдешь со мной! Уедем куда-нибудь, где нет бельэтажей и подвалов, совсем к другим людям, если они вообще существуют... Тебе знакомо это чувство? Вот считаешь что-нибудь правильным, и все тебе говорит — да, да, сделай так, но ты не знаешь, действительно ли хочешь этого, или только так, себя обманываешь... И потом получается вот такая чепуха, как сегодня... Ты, наверно, думал про меня черт знает что... нет, нет, не говори, меня от себя самой тошнит, честное слово. Знаешь, чего мне сегодня страшно хотелось?

Он не знал и молча слушал, чувствуя, как в нем пробуждается нежность. Ведь это она, за которую хоть на смерть, навсегда застряла в тебе, а в ней — весь мир. Просто и страшно.

— Чтоб ты его избил, хорошенько, крепко...

— Еще изобью,— пошевелил он губами.

— Я знаю, верю. Ты не представляешь, как я его ненавижу...

Она опять зарыдала.

— Ты не знаешь его, никто его не знает, он надо всем смеется и считает себя выше всего. Ненавижу его смех! Не хочу его больше видеть, не хочу, не хочу! — упрямо твердила она, хлюпая носом.— Слышишь? Конец!

Он провел кончиком языка по запекшимся губам, во рту была настоящая Сахара. Пить, до смерти хочется пить, сполоснуть рот, освободиться от отвратительного вкуса алкоголя.

— Войтина! — промолвила она через мгновение удивительно спокойно.

— Что?

— Ты — коммунист?

От неожиданности он приподнялся. Вздохнул глубоко.

— Что тебе пришло в голову?

— Да? — настаивала она со знакомым ему упрямством.

— Нет... я думаю, что... это не так просто... Почему ты спрашиваешь?

— Как по-твоему? Русские сюда придут или западные?

— Русские... то есть советские! — убежденно ответил он.— А что?..

— Я хочу, чтоб пришли они! Они ведь большевики, да? Понимаешь, он их боится, американцев ждет. Говорит, что в России тирания и диктатура, и что это правда, хотя это пишут в наших газетах, и что они заберут все дочиста и сделают всех рабами...

— Грубая ложь! — взорвался Войта.— Клевета... Он ничего не знает, оттого что сам капиталист!

Она разволновалась.

— Ты — рабочий. Тебе ничего не грозит, там ведь у власти рабочие. Ты наверняка коммунист!

Дико было слышать от нее такие вещи, но все это, как видно, было частью сумасшедшей ночи.

— Пускай берут все! Все! Я тоже стану коммунисткой и хочу, чтоб пришли обязательно они... Хоть и говорят, что там плохой джаз. Но ведь они могут научиться, правда? Послушай, они не запретят джаз, как по-твоему?

— С какой стати? Дурацкая пропаганда...

Это, видимо, ее успокоило, тело ее расслабло. Наступило утомленное молчание, возбуждающая близость не давала обоим уснуть, а над головой у них свершалось повседневнейшее чудо рассвета.

— Послушай,— ни с того ни с сего прошептал он.— Кто был Орфей?

Вопрос как будто не особенно удивил Алену, она подняла руку и стала чертить в воздухе круги; может быть, отыскивала обрывки гимназических знаний.

— Мифический певец, видно, классный. Укрощал своим пением диких зверей, но Бинг Кросби, может, тоже сумел бы. Ты когда-нибудь слышал Кросби? А почему ты спросил?

— Просто так. Слышал недавно.

— Ты странный человек, Войтина,— сказала она, помолчав.— И вообще все странно, правда? Даже то, что мы с тобой вот женаты, а в первый раз лежим вместе...

— Что ж,— пошевелил он больными губами.— Официальная подпись ничего не значит. Это-то я уж понял... Пора мне...

— Не уходи! — испуганно воскликнула она и прижалась к нему упругой грудью.

Она обхватила его плечи голыми руками, словно желая удержать этим, ему было больно, но именно это заставило его поверить в искренность ее испуга.

— Я не хочу! Гляди мне в глаза, Войтина, я кое-что тебе скажу, а ты в это время гляди мне в глаза. Я знаю, что делаю, и теперь не так уж пьяна. Я хочу, чтоб ты остался! Навсегда. Навсегда, Войтина! Ведь ты мой муж, и мне без тебя страшно. Слышишь? Ну скажи что-нибудь! Скажи хоть, что тоже хочешь остаться, мне надо это услышать...

— Хочу остаться у тебя.

Она вздохнула с облегчением и выпустила его из объятий. Опустила голову на подушку и закрыла глаза.

— Если б ты знал... что со мной... если б ты только знал! Может, это и не так страшно, Зузка уж это делала, и Итка тоже, но я до смерти боюсь... Он все уже устроил... и грошы... ну да, я знаю, так надо...

Она вдруг разразилась сдавленным, горьким плачем, от которого все его существо сжалось в странной тревоге.

— Когда это будет, я умру со страху. По ночам и то мерещится... будет чужой человек с вымытыми волосатыми руками... а потом все кончится, и ничегошеньки не будет, ну, ровно ничего... а потом опять явится он, как ни в чем не бывало, и станет отпускать свои дурацкие шутки, а во мне уже будет пусто... Господи, хуже всего, что этого не избежать... В школе перед контрольной по латыни я обычно сматывалась... а тут...

— Довольно! — услышал он свой хриплый голос.— Ради бога, замолчи!

Войта не рассуждал, это вырвалось у него невольно. То, что он услышал, было невыносимо. Он пошевелился и сразу ощутил наболевшим телом все полученные удары; нащупал возле себя руку Алены, отчаянно сжал ее.

— Ты этого не сделаешь... Я не позволю!..

Она притихла. Потом он почувствовал на лице ее дыхание, оно скользило по губам, проникало в волосы на висках.

После своих слов он почувствовал слабость и какую-то опустошенность.

Она запустила ему пальцы в волосы, повернула его лицо к себе и глядела на него с глубоким изумлением. У нее дрожали губы.

— Что ты говоришь, Войтина? Но ведь это... Ведь это — от него!

— Я говорю серьезно,— шептал он, закрывая глаза.

Он боялся дальнейших слов, боялся ее взгляда, боялся мыслей.

Она поняла.

— Сострадание, да? Тебе меня жалко...

— Нет! Но... ведь понимаешь все, и не мучай меня. Я не хочу, чтоб тебе было страшно, слышишь?.. И не хочу, чтоб тебе было больно. Ведь неважно, от кого... раз ты не хочешь, в чем же дело?..

Рассвело, за окном щебетали птицы, а здесь была белая тишина, чистая, завороженная тишина после потопа. Оба погрузились в нее, растроганные удивлением перед самими собой, и молчали — рыцарь на деревянной лошадке и голубоглазая принцесса со светло-русой челкой. Не плачь, сказал мальчик девочке, ушибившей коленку,— до свадьбы заживет!.. Я никому не дам тебя в обиду!

Она спрятала голову ему под мышку, от волос ее пахло мылом и табачным дымом.

— Войта! Ты мой... добрый... ты не знаешь, что́ ты для меня сейчас сделал. Останемся вместе, слышишь, Войтина? Вместе. Господи, какая я была невероятная дура! Сколько напрасно мучила тебя! Ведь все ясно... как это утро... мы его не забудем, да? Если я вдруг опять задурю, скажи только: утро! Вспомни, как ты была маленькой! Вспомни! И я усмирюсь. А когда война кончится, мы с тобой поедем куда-нибудь далеко-далеко и никого не станем слушать. Никого. Будем совершенно свободны, правда, и все будет наше... и тот, кто родится. Ах, я теперь так счастлива...

Он не вникал в смысл ее слов, только вслушивался в звук ее голоса.

— Войтина,— услышал он прерывистый шепот,— хочешь меня? Я тебе докажу... Погляди на меня, я этого хочу, хочу, чтобы ты меня увидел...

Сейчас, сейчас... И он с замиранием блаженного ужаса понял, что лицо его — на ее обнаженной груди, она сама расстегнула измятую блузку и прижала его голову, и он может целовать эти несказанно нежные груди с маленькими сосками и чувствовать, как они волнуются под его распухшими губами. Сейчас, сейчас... в этом безумном «сейчас» был свой ритм, вступивший в них прерывистым дыханием, сейчас, сейчас...

Не сейчас, мы оба пьяны — умереть, не пробуждаться от этого сейчас! — пусти меня, Войтина!

Свет ударил ему в глаза — он таращился на него с удивлением, с разочарованием,— и мгновенно вернулась боль. Ты! Не может быть! Да. Он видит ее. Лежит рядом, опять замкнутая в своем теле, пальцы застегивают последнюю пуговицу блузки. Она погладила его по лицу, коснулась его губ. Потом он услыхал ее ровное дыхание и заснул мертвым сном с ее пальцами в волосах.

В таком виде их застала милостивая пани, первой заглянувшая в белую комнату.

(Продолжение следует)

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Из путевого альбома

(МОНГОЛИЯ В РАБОТАХ ДЖАИДА ДЖЕМАЛЯ)

Я знаю, что этими словами назывались поэмы и стихи, и не один раз. Но я все-таки не подберу других слов для заголовка этой маленькой заметки о той большой работе, которую сделал проживший два года в Монголии азербайджанский художник Джаид Джемаль. Его живописные зарисовки Монголии — действительно признание в любви к этой стране и к ее людям, к ее древним обычаям и новым порядкам, к ее вековой истории и к ее стремительной современной жизни. Автор этих работ родился в 1928 году в одном из сел Нагорного Карабаха, начал рисовать еще в детстве, и ему посчастливилось попасть в Баку в школу юных художников, где его первым педагогом был молодой азербайджанский мастер Мехти Гусейнзаде, который впоследствии, под именем легендарного партизана Михайлова, воевал с немцами в Италии.

Джаид Джемаль был перед войной совсем мальчиком, но он хорошо помнит своего первого учителя.

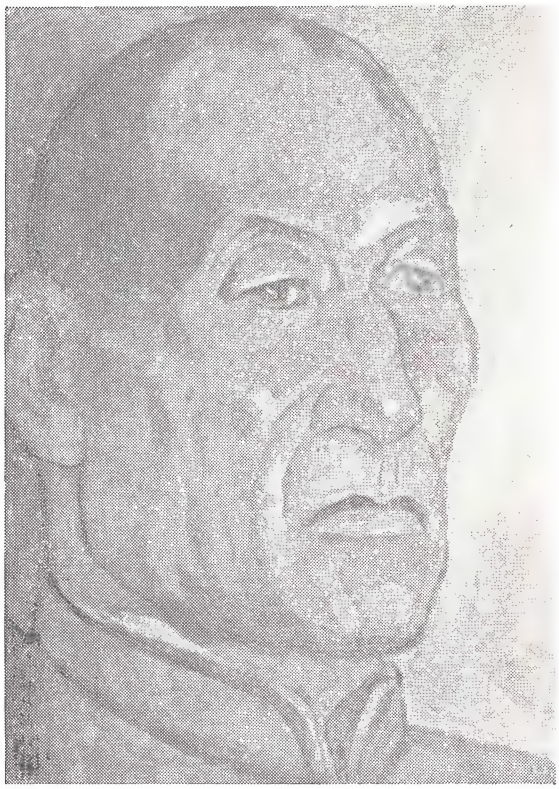
В дальнейшем Джаид Джемаль окончил в Москве театральное отделение Суриковского института, стажировался при Большом театре, но театральным художником не стал, а ушел в графику и, вернувшись в Баку, сделался художником книги.

В 1962 году он был приглашен в Монголию в Улан-баторский педагогический институт для работы там методистом - консультантом по рисунку.

Два года, проведенные в Монголии, оказались самыми плодотворными для вступающего в пору творческой зрелости художника. Одновременно с достаточно напряженной педагогической деятельностью в институте он сумел сделать десятки графических и живописных работ, запечатлев в них окружающую его жизнь.

Монголия — страна огромных пространств, необъятных степей, пустынь и полупустынь, могучих горных цепей, но в ней есть и леса, и холодные быстрые реки, и большие озера, и крупные массивы обработанных полей. Монголия, в особенности за последние годы, стала страной не только скотоводства, но и земледелия, страной, в которой с помощью других социалистических стран — Советского Союза, Чехословакии, Польши — возникают все новые и новые предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности. Монголия — страна богатейшего разнообразия буквально во всех отношениях, страна, радующая глаз остротой перемен жизни буквально во всех ее уголках.

Зарисовки Джаида Джемаля не могут дать представления обо всей Монголии, обо всем этом разнообразии. Они связаны главным образом с Улан-Батором и с его окрестностями. В этом смысле можно сказать об известной пространственной ограниченности этих работ. Но в то же время столица Монголии дает острое и точное представление и о стремительности движения страны вперед, и о еще существующих в ней контрастах старого и нового, и все это очень точно и любовно подмечено в зарисовках Джаида Джемаля.



Партизан Мягмар

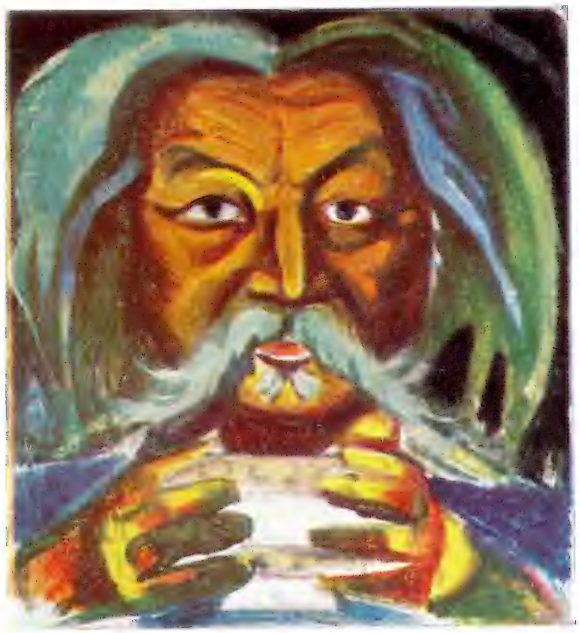
Юноша с кушаком

Современный кадр

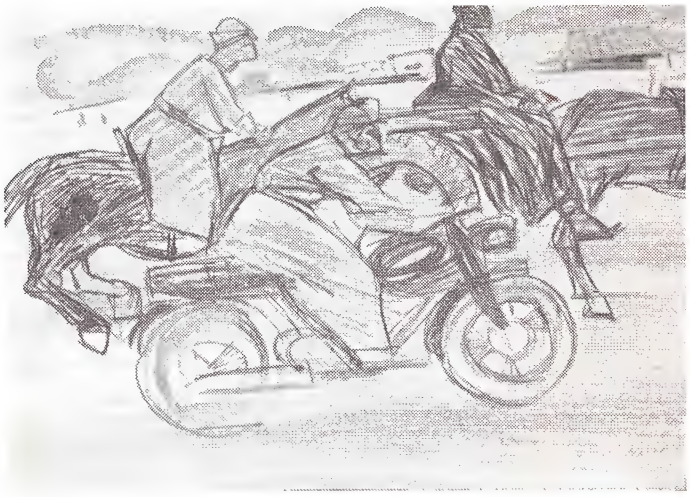
Кинооператор Цэрен

Возница

Борцы



Академик Ринчэн



На улице

У афиши

Стрелочник (Москва — Улан-Батор)

Состязание в стрельбе из лука

Я не стану сопровождать своими комментариями эти зарисовки. Было бы плохо, если бы они нуждались в этом. По-моему, они говорят сами за себя. Наблюдательность художника, с особенным пристрастием подмечающего живописные зрительные контрасты старого и нового, делает его зарисовки настолько ясными по своим сюжетам, что они не нуждаются в примечаниях литературного свойства. Мне бы только хотелось отметить, что в этих зарисовках влюбленность в страну и ее людей часто сочетается с добрым и тонким юмором, и это порой придает рисункам и картинам Джаида Джемаля особое обаяние.

Хотелось бы также заметить, что взгляд художника не задерживается только на поверхности явлений. В ряде своих работ он стремится проникнуть в глубь явлений, и ему это удается. Особенно это относится, на мой взгляд, к портретам, к таким, как портрет партизана Мягмара, с выраженной в нем глубиной и силой национального характера, или к таким, как портреты кинооператора Цэрена или академика Ринчэна, в которых дан интеллектуальный облик современной монгольской интеллигенции.

Крестьянский мальчик из Нагорного Карабаха нашел себя как живописец и график за много тысяч километров от родного села — в далекой Монголии. Это не только свидетельство наших братских интернациональных связей, но и свидетельство духовной и творческой близости между людьми разных народов, строящих социализм, той близости, которая роднит художников разных стран, которая позволяет им понимать душу другого народа, избегая при этом греха поверхностности, увлечения экзотикой и стилизацией.

Как-то недавно в Москве, в монгольском посольстве на многолюдном приеме по случаю национального праздника Монгольской Народной Республики, я задумался над тем, как много самых разных людей пришло в этот день на праздник к нашим друзьям монголам. Здесь были и военные, вместе с монголами воевавшие против японских захватчиков на Халхин-Голе, здесь были и железнодорожники, вместе с монголами тянувшие через монгольские степи первые железнодорожные ветки, и строители, помогавшие возводить там первые современные здания, и угольщики, и агрономы, и врачи. В тот день в здании монгольского посольства как бы собралось целое братство советских людей, в разные годы живших в Монголии, работавших вместе с монголами и навсегда полюбивших эту прекрасную страну и ее гордых, неговорливых, верных дружбе, твердых в испытаниях людей.

Я тоже давно — уже четверть века — состою в этом братстве, и меня радует возможность написать эту маленькую заметку о работах нового члена нашего братства, на этот раз по национальности азербайджанца, а по профессии — художника.

Константин СИМОНОВ

РИЧАРД УОРМСЕР

Пан Сатирус в космосе

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
ДМИТРИЯ ЖУКОВА

глава 7

Он испытал вакцину на 10 000 мелких обезьян, 1 600 шимпанзе и 243 людях. Большинство добровольцев были заключенными федеральных каторжных тюрем.

Грир Уильямс, «Охотники за вирусами», 1960 г.

Снова друзья катили на север. Но на этот раз у процессии был иной вид. В автомобилях вместе с ними сидели агенты. Не приходилось сомневаться, что и шофер был сотрудником службы безопасности — пистолет оттопыривал легкую ткань его летнего шерстяного костюма. Счастливчик Бронстейн ехал в передней машине, Горилла Бейтс — в задней, и из друзей Пана Сатируса с ним остался только доктор Бедоян.

Как и прежде, впереди шла машина, позади еще одна, но теперь в первой машине завывала сирена, и небольшая колонна двигалась, не останавливаясь нигде.

— Я под арестом? — спросил Пан Сатирус.

Человек, сидевший рядом с шофером, сказал:

— Тебе разговаривать не положено.

— Но я вынужден. Я регрессировал... или деэволюционировал... и поэтому испытываю потребность говорить. Как человек.

Агент полез в карман пиджака.

— Это пистолет тридцать восьмого калибра. Другой пистолет заряжен капсулой с сильно действующим наркотиком. Я получил приказ стрелять в тебя наркотиком, а если это не поможет — всадить в тебя настоящую пулю. Не разговаривай.

— Одну минуту,— сказал доктор Бедоян.— Это мой пациент.

— Он болен?

— Нет.

— Тогда он не ваш пациент. И не разговаривайте.

Пан Сатирус нежно взял доктора за руку своей большой рукой. Он не выпускал ее; казалось, он был испуган, но как можно испугать большого шимпанзе, совершившего полет со скоростью, превышающей скорость света?

Машины мчались, сирена монотонно завывала.

Наконец вереница машин свернула с автострады и поехала по мощеному шоссе в сторону, противоположную флоридскому побережью, мимо песчаных дюн, маленьких прудов, болот, стад, бедняцких ферм и хорошо унавоженных плантаций, где занимаются промышленным выращиванием помидоров.

Пан Сатирус посмотрел на красные и зеленые шары, висевшие на кустах, и сказал:

— Мне уже хочется есть.

Окончание. Начало см. в № 1.

Агент сердито поглядел на него.

— Его надо кормить несколько раз в день,— сказал доктор Бедоян.

— Совершенно верно,— подтвердил Пан.— Потому что я вегетарианец. Даже в бобовых нет такой концентрации энергии, как в животных белках.

У агента был несчастный вид.

— Пожалуйста, перестаньте разговаривать,— сказал агент.

— Не перестану, пока меня не накормят,— отозвался Пан Сатирус.— За разговорами забываешь о голоде.

— Мы будем... там, куда едем... через полчаса...

— Значит, я буду разговаривать полчаса.

— Так,— сказал агент.— А мне как быть?

— Выстрелите в меня капсулой,— ответил Пан Сатирус.— Чудно́! Вчера я был в капсуле, сегодня капсула может оказаться во мне. Доктор Бедоян, вашему языку не хватает четкости.

— Я врач, а не лингвист. И зови меня Арамом. Это очень утешает меня, когда весь мир кругом становится все более мрачным и тоскливым. Не мог бы ты выбрать для подрывной агитации другое время?

— Вы имели дело с шимпанзе и до меня,— сказал Пан Сатирус.— В определенном возрасте с ними трудно, даже невозможно ладить. Они становятся крайне несговорчивыми. Наверно, у меня наступает этот возраст.

— Ну перестань,— сказал доктор Бедоян.

— Один во враждебном окружении. Как вы думаете, я бы мог поступить в ФБР?

Те, что на переднем сиденье, оба хмыкнули.

— Тебе придется обзавестись дипломом юриста,— бросил через плечо шофер.

— Так вам пришлось окончить юридический факультет, чтобы стать шофером у обезьяны? — спросил Пан Сатирус.

— Иногда я занимаюсь не только этим,— сказал шофер.— Впрочем, я всегда могу найти работу на бензозаправочной станции.

Доктор Бедоян вздохнул.

— В тебе что-то есть, Пан. Я не встречал никого, кто бы так легко сближался с людьми.

— Все любят шимпанзе,— сказал Пан Сатирус.— Шимпанзе, однако, любят не всех. Вся беда с людьми в том, что каждому непременно нужно заставить других полюбить его. Поэтому, когда появляется шимпанзе, люди чувствуют себя проще, свободнее.

Старший агент, сидевший рядом с шофером, заговорил:

— Черт возьми, а ведь ты прав. Когда я арестовываю кого-нибудь, то в девяти случаях из десяти его нельзя будет осудить, если он не расколется. Но он хочет мне понравиться. И ему приходится сказать, почему он пошел на дело, чтобы я простил его. Чтобы я начал ему симпатизировать. Но он не может сказать, почему пошел на дело, и не сознаться при этом. Тут я его и беру за горло. Что происходит с людьми?

— Не полностью эволюционировали,— сказал Пан Сатирус.— Есть теория, которую называют телеологией; она утверждает, что у эволюции имеется цель, и когда формируется идеальное существо, эволюция кончается. Шимпанзе? Я не слишком разбираюсь в телеологии, так как сторожу, у которого была книга, она наскучила уже через несколько минут, и на следующее ночное дежурство он ее больше не принес.

— Шимпанзе не могут быть совершенно независимыми,— сказал доктор Бедоян.— Они живут стадом, им нужна любовь, чтобы быть счастливыми.

— Мы говорим о людях, а не о шимпанзе,— с достоинством парировал Пан Сатирус.

Шофер снова засмеялся, сел попрямее и свернул с мощеного шоссе на проселочную дорогу, которая вилась между рощицами жалких карликовых пальм.

— Доктор Бедоян, вам следовало бы научить меня есть мясо,— сказал Пан.

Доктор Бедоян промолчал.

Машина подпрыгивала на ухабах. Время от времени на дороге попадались какие-то оборванцы в синих джинсах и соломенных шляпах. У них был бы более правдоподобно буколический вид, если бы эти соломенные шляпы не были все одного

фасона и одинаковой степени изношенности. Казалось, торговец соломенными шляпами проехал здесь однажды, года четыре назад, и больше не появлялся.

Впереди показались ворота, опутанные колючей проволокой и украшенные большой табличкой: «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ». Ниже значилось название компании по добыче природного газа. Однако никаких трубопроводов нигде не было видно.

Ворота отворил солдат с винтовкой. Три машины въехали в ограду и выстроились в ряд. Появилось еще несколько человек с винтовками, а каждая машина извергла пассажиров и по паре агентов.

Откуда-то возник мистер Макмагон и стал распоряжаться. При этом терминология, которой он пользовался, звучала зловеще.

— Введите всех четырех заключенных вместе. Не позволяйте им разговаривать!

Снаружи здание напоминало сарай из рифленого железа, служащий для того, чтобы прикрывать от непогоды трубы или насосное оборудование. Внутри же все было как в любом правительственном учреждении: невысокими стенками отгораживались кабинеты маленьких начальников, стены до потолка скрывали высокое начальство, а в двух больших загонах, забитых письменными столами, сидели подчиненные.

В той комнате, куда мистер Макмагон ввел четверых заключенных-гостей, любой бюрократ узнал бы приемную главы учреждения.

Там сидела женщина с лицом государственной служащей и писала на машинке. Она даже не подняла головы, когда они направились к двери, на которой поблескивала табличка с одним коротким словом: «КАБИНЕТ».

В кабинете стоял громадный письменный стол. За ним сидели три человека. Хотя на них были рубашки, галстуки бабочкой и хорошо отутюженные эластичные спортивные брюки, по крайней мере, двое из них несомненно были военными, надевшими, как когда-то принято было говорить, партикулярное платье.

У того, что сидел посередине, было загорелое лицо, коротко подстриженные усы и челюсть, которой позавидовал бы сам Пан Сатирус.

— Постройте людей в одну шеренгу, Макмагон,— сказал он,— а сами идите.

Магмагон попробовал возразить:

— Сэр, в целях вашей личной безопасности...

— Для этого у нас здесь есть два крепких моряка.

Макмагона это не убедило, но он вышел.

— Меня зовут Сатирус, сэр,— сказал Пан.— А вас?

— Можете называть меня мистер Армстронг. А вас зовут Мем, шимпанзе.

— Совершенно верно, сэр, но я не люблю, когда меня зовут Мемом.

— А мне, Мем, наплевать на то, что вы любите и что не любите.

Мистер Армстронг поднял руки, потом опустил их и стал массировать плечи сильными пальцами.

— Проклятая вентиляция,— проворчал он.— Ну ладно, хватит об изъянах, поговорим об обезьянах, которые пытаются одурачить Соединенные Штаты.

Строгим взглядом он как бы прощупал обоих моряков и доктора.

— Довольно милый каламбур,— сказал Пан Сатирус.— Запишите это, Счастливчик. Радист Бронстейн — мой секретарь,— пояснил он мистеру Армстронгу.

— А я камердин мистера Сатируса,— представился Горилла Бейтс.

Мистер Армстронг уставился на них.

— Это очень смешно, я понимаю,— сказал он.— Но вы перестанете смеяться очень скоро. Извольте вспомнить, что вы служите нижними чинами в рядах вооруженных сил и подлежите суду военного трибунала.

— Но я не вижу здесь офицеров,— заметил Горилла Бейтс.

У мистера Армстронга хватило совести покраснеть.

— Слушайте, Мем,— сказал он.— Или Сатирус, как вы предпочитаете. Шуткам конец. Вы что-то там сделали с системой управления космического корабля «Мемсаиб». Ладно, ладно, мне все равно, как его называть. То, что вы сделали, не было случайностью. Мы, стоящие у кормила правления вашей родины...

— Нет,— возразил Пан Сатирус.— Это не моя родина. Разве приматы, исключая человека, имеют право голоса? Может ли горилла стать президентом, макака — губернатором, а резус — государственным секретарем?

— Черт побери! — сказал мистер Армстронг.— Он требует права голоса для обезьян!

Человек, сидевший справа от него, деловито чистил трубку. Тут он положил ее на стол.

— Ладно. Любые человекообразные и нечеловекообразные обезьяны, достигшие двадцати одного года и умеющие читать и писать, имеют право голоса.

— Забавно,—сказал Пан Сатирус.

Человек взял трубку и другую прочищалку.

— Мы здесь для того,— продолжал мистер Армстронг,— чтобы узнать, что вы хотите получить за ваш очень важный секрет, и мы уполномочены удовлетворить любое ваше желание, если это, конечно, в наших силах.

— Человеческие вожделения шимпанзе неведомы.

— Тогда мы готовы удовлетворить любые шимпанзиные вожделения. Хотите клетку, полную аппетитных молодых самок? Вагон бананов каждый день? Говорите.

Смех Пана Сатируса, как обычно, производил устрашающее впечатление.

— Поскольку вы, по-видимому, довольно сообразительны,— продолжал мистер Армстронг,— то вам уже пора почувствовать, что атмосфера в этой комнате не совсем такая, как в других местах, где вам довелось побывать. Мы не агенты службы безопасности, не политики. Если нам станет ясно, что вы не хотите пойти нам навстречу, то мы готовы устранить вас по возможности гуманным способом. Иначе говоря, ликвидировать. Другими словами, вас ждет газовая камера, пуля или что-нибудь в этом роде.

— Полегче, мистер,— крикнул Горилла Бейтс.

Тот из троих, который до сих пор молчал, теперь ожил и рявкнул:

— Смирно, мичман!

Горилла Бейтс вытянулся, Счастливчик Бронстейн тоже.

— Я видел ваше лицо, сэр,— медленно произнес Пан Сатирус.— В газетах. Вы адмирал, которого ненавидит весь военно-морской флот.

Третий человек удовлетворенно хмыкнул и затих.

— Однако вы умны,— продолжал Пан.— И у вас приятная внешность. Немного грима, и вы сошли бы за какого-нибудь гигантского гиббона. Неужели вы думаете, что люди должны знать секрет полета со сверхсветовой скоростью?

— Я считаю, если на то пошло, что рано или поздно он станет известен. Теперь это уже будет скоро, так как мы знаем, что полет возможен. И я считаю, что если кому и знать этот секрет, то только нам. Точка.

— Сатирус, вы умеете говорить,— сказал мистер Армстронг.— Вас, с вашей информацией, мы не можем отпустить или даже посадить в клетку, пока не будем уверены, что вы решили сотрудничать с нами.

— А мой космический корабль вы изучили хорошо? — спросил Сатирус.— Обследовал ли его какой-нибудь металлург?

Мистер Армстронг не сводил с Пана глаз. Адмирал и чистильщик трубки подняли головы.

— Вы узнаете, что закон Менделеева подтверждается новым способом,— продолжал Пан.— Каждый из металлов прибавил в атомном весе и передвинулся на одну клетку периодической таблицы. Алхимия, джентльмены, алхимия.

Непопулярный во флоте адмирал нахмурился.

— На всякий случай проверьте, Армстронг,— сказал он.

Мистер Армстронг выдвинул ящик стола, достал из него микрофон и поднес к углу рта. Видно было, что он что-то говорит, но в комнате не было слышно ни звука. Затем он отложил микрофон и сказал вслух:

— Кажется, я понимаю, в чем дело, но все-таки пусть кто-нибудь объяснит.

Человек с усами объяснил:

— Запускаете груз железа — получаете обратно груз золота.

— Я пробыл в космосе довольно долго,— сказал Пан.— Мне надо было чем-то заняться. Невесомость и безделье для шимпанзе, попавшего в космос, несовместимы. Однако я не ожидал, что регрессирую, или дезволюционирую, или деградирую. В противном случае я бы оставил свои проклятые шалости.

— Вы не очень-то нас порадовали,— сказал мистер Армстронг.

— Да, невесело,— согласился адмирал.— Если это станет известно всем, золото вообще ничего не будет стоить.

Пан Сатирус сел на пол и начал чиститься.

— Я хочу есть,— сказал он.

— Очень жаль,— молвил Армстронг. На лице его появилась ухмылка.

Доктор Бедоян сделал шаг вперед.

— И думать не думайте делать то, что удумали. Я имел дело с шимпанзе, а также с другими приматами очень долго. От этого они становятся только еще более непокорными. Даже вплоть до самоубийства.

— Молодой человек,— сказал усатый,— а на чьей стороне вы, между прочим?

— О, я вполне лоялен. Но Пан Сатирус — мой пациент. И я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас был специалистом по приматам.

— А вы специалист?

— Мистер Армстронг, если я не специалист, правительственное жалованье, которое платили мне годами, выброшено на ветер. Поверьте мне, в жизни шимпанзе наступает момент, когда он поднимает бунт. И Пан Сатирус весьма близок к этому.

— Значит, вы предлагаете... ликвидировать?

Хриплый рев Гориллы Бейтса заполнил комнату.

— Это убийство!

— Отставить, мичман,— строго сказал адмирал.— Ликвидация животного, являющегося казенным имуществом,— это вряд ли убийство.

Но старый мичман стоял на своем.

— Пан никакое не животное.

Счастливчик Бронстейн поддержал мичмана.

— Я не специалист в морской юриспруденции, но, по мне, застрелить говорящего шимпанзе — дело не шуточное. Потом целый год из губы не выйдешь, пока адвокаты будут решать, убийство это или нет. Пан — это человек.

Пан Сатирус вытянулся во весь свой полутораметровый рост.

— Я не человек,— сказал он.

В тайном судилище воцарилась тишина.

глава 8

Ни один компетентный ученый не думает, что человек произошел от какой-либо из существующих человекообразных обезьян.

Эрнест Хутон, «От человекообразной обезьяны», 1946 г.

Я летел в Нью-Йорк, и на душе было тревожно. Этому Игги Наполи, моему помощнику, пальца в рот не клади. Теперь у него был мой автобус с оборудованием и мой микрофон, и он мог выступить самостоятельно, если бы в мое отсутствие во Флориде случилось какое-нибудь событие. И, конечно, все запомнили бы человека с таким именем и фамилией — Игнац Наполи. Я потратил десять лет, чтобы заставить публику помнить Билла Данхэма, но Игги мог сделать это за два интервью, если бы провел их успешно.

Итак, я отправился в правление компании с докладом, а на душе у меня кошки скребли.

Моя передача о шимпонавте нашумела, спору нет — это была сенсация в старомодном духе, но интервью вел не я — его вел Пан Сатирус. А в нашем деле так: стоит споткнуться, и тотчас кто-нибудь отхватит тебе обе ноги напрочь да еще пошлет букет роз, выражая сожаление по поводу твоего нездоровья.

В аэропорту я взял такси. Я был не в том настроении, чтобы ехать со всякой швалью в рейсовом автобусе. Мы выскочили из туннеля, и я увидел, что Нью-Йорк совсем не изменился — все куда-то спешили, никому не было никакого дела до других... Старший лифтер в здании телевизионной компании помнил меня, и я почувствовал себя немного лучше. Эти ребята первыми пронюхивают, когда кому-нибудь дают пинка в зад.

— Поднимите мистера Данхэма наверх,— сказал он, и мой дух поднялся сам, без помощи механических приспособлений.— На тридцать второй, мистер Данхэм?

— На тридцать второй,— сказал я и сунул ему пять долларов. Он сказал, что рад моему возвращению.

Пинка сегодня не будет.

Порядок. Маленькая секретарша с красивыми бедрами, что сидит в приемной, показала мне в улыбке все тридцать два зуба, а наклонившись — ущелье между двумя холмами. Всегда можно определить, как высоко стоят твои акции в компании, по тому, как глубоко тебе дают заглянуть за корсаж. Ловко у нее это получается — она, должно быть, практикуется все ночи напролет; не знаю уж, когда она спит, зато знаю с кем...

Раз-два, и я уже сижу с двумя вице-президентами и директором компании. Появляется бутылка, и родной дом встречает нашего славного мальчика Билли, который вернулся с войны цел и невредим.

Пинка сегодня не будет. Может быть, завтра или послезавтра, но не сегодня.

Райкер, директор, вел совещание.

— Билл, я полагаю, вы знаете, почему мы вас вызвали,— сказал он.

Что уж он там понял из моей улыбки, это дело его. Я поднес стакан ко рту, и льдинка звякнула о мои зубы.

— Этот ваш шимпанзе... как вы его там назвали... шимпонавт — самая большая сенсация со времен Джеки Глисона.

— Большая и жирная, а?

Неостроумно, но это мой обычный ход. Когда они смеются над твоими глупыми шутками, можно просить о прибавке жалованья. Когда они смеются над шутками умными, такой уверенности нет, впрочем, я думаю, эти ребята ничего не делают с бухты-барахты...

Тут они смеялись, и я понял, что мои акции и в самом деле котируются высоко.

— Пей, Билл, дружище,— сказал Райкер.

Я выпил. В поездках я пью виски попроще, но в районе Мэдисон-авеню тебя не будут считать за человека, если ты не пьешь марочных напитков. Да еще с указанием всяких дат на горлышке. К чему эти даты, они годятся только для надгробных плит.

— Ребята,— сказал я,— чем могу служить?

Номер не прошел. Они вызвали меня в Нью-Йорк якобы просто для того, чтобы узнать, как мне понравилась Флорида. Но эту волынку долго тянуть нельзя, и, наконец, Райкер кивнул Маклемору, Маклемор кивнул Хэртсу, а Хэртс уже обратился ко мне:

— Билли, вы когда-нибудь мечтали уйти с репортерской работы?

— Нет.

Держи карман шире!

— Вы когда-нибудь мечтали стать продюсером?

— Нет.

— Продюсером телевизионной постановки? — спросил Маклемор, продолжая гнуть свою линию.— Распределять роли между хорошенькими девочками, командовать актерами, давать указания писателям?

— Нет. Я старый репортер и, наверно, умру им.

— Вы будете главным продюсером. У вас будет режиссер и заместитель продюсера.

— Послушайте, Райк, когда я просыпаюсь в одной и той же постели или даже в одном и том же городе три утра подряд, я чувствую себя не в своей тарелке. Я работал репортером в газетах, на радио и телевидении еще тогда, когда интервьюировать Долли Мэдисона* было модным делом.

— Когда-нибудь всем нам приходится остепениться,— сказал Райкер, который остепенился лет в одиннадцать, получив от отца наследство в три миллиона долларов.— Вы внесли ценный вклад в работу нашей компании, Билли. Пора пожинать плоды.

Пинка еще не было, но от разговора уже попахивало пинком. И все же, тут тебе и бутылка, и старший лифтер, и крошка мисс Глубокий Вырез из приемной.

---

* Американский комик.

— Райк, куда вы клоните? — спросил я.— Давайте перестанем ходить вокруг да около. Вы меня знаете: у компании нет вернее человека. Что хочет от меня компания?

— Вот это разговор, Билл,— сказал Райкер.— Вы же нас не бросите на произвол судьбы и городского муниципалитета? Все дело в этой обезьяне, Билл, в шимпанзе. В Пане Сатирусе. В шимпонавте.

— А что такое?

Теперь мы все забыли и про бутылку, и про то, какие мы друзья, и как мы все любим нашу компанию, наши обязанности и США. Теперь мы работали.

— Часовая передача,— сказал Райкер.— Платит один из наших лучших рекламодателей — «Северо-южная страховая компания». С затратами просили не считаться. Но поставили условие — в главной роли должен быть шимпанзе. Точка. Абзац.

— В таком случае купите шимпанзе.

Все они посмотрели на меня так, будто я наплевал на их фамильные библии. И это было неплохо — надо же поддерживать свою репутацию профессионального хулигана.

— Дает жизни Билли,— сказал Хэртс.

— Все шутит,— добавил Маклемор.

Но директор Райкер заправлял всем.

— Личностями не торгуют,— сказал он.— А шимпанзе — самая выдающаяся личность за последние месяцы. После Джона Гленна или Керолайн Кеннеди.

— Можно сказать, на экранах телевизоров вы оба имели успех,— сказал Хэртс.— Вы говорили так, будто знаете друг друга с пеленок.

— Ему-то всего семь с половиной лет,— сказал я.

— Он прирожденный телевизионный актер,— сказал Маклемор.

— Это то, что надо нашему заказчику,— закончил круг Райкер.

Теперь были поставлены все точки над i, а в нашем деле так: понял — слушай.

— Провалиться мне в тартарары, как сказал поэт. Но ведь А: он принадлежит правительству; Б: он чертовски вспыльчив; В: вокруг него столько агентов безопасности, словно он русский посол. Эта обезьяна что-то знает, и правительство не может допустить, чтобы она это разболтала.

Райкер кивнул Маклемору, Маклемор кивнул Хэртсу, а Хэртс сказал:

— Только вы, Билл, можете это утрясти.

— Для меня найдется местечко и в Эн-Би-Си, и в Си-Би-Эс,— сказал я.— Да и Эй-Би-Си знает меня не первый год.

— Не говорите так,— сказал Райкер.— У компании нет вернее человека.

Тогда я снял трубку с телефона, стоявшего на его столе, и сказал:

— Давайте юридический отдел, кого-нибудь, кто там у них сейчас главный.

— Минуточку, мистер Данхэм,— ответила девушка. Все они в радиокорпорации знают мой голос... пока не последовало пинка.— Вам нужен мистер Россини.

— Ну, передайте ему смычок, детка.

Мистера Россини я не знал. Но его музыкальный голос очень соответствовал его фамилии. Он осведомился, чем он может быть полезен уважаемому мистеру Данхэму.

— Каково правовое определение человека? — спросил я.

Долгая пауза. И ответ:

— Такого определения не существует.

— Как вы поступаете, когда оно вам требуется?

— Я не знаю такого случая,— осторожно сказал мистер Россини.— Пока не требовалось никому. Я хочу сказать, что со времен Великой Хартии у суда было время заниматься почти всем... Наверно, по этому поводу надо обратиться в суд, чтобы он вынес мотивированное решение.

— Стоп, Россини. Достаточно. Теперь надевайте шляпу и отправляйтесь к судье Мэнтону. Я ему позвоню. Нам нужно предписание суда об освобождении некоего Пана Сатируса, незаконно задерживаемого правительством Соединенных Штатов.

— О,— сказал Россини,— я слышал, что мы интересуемся им.

— Я сейчас в кабинете Райкера. Двигай, дружище.

— Мистер Данхэм, нельзя вчинять иск правительству Соединенных Штатов без согласия шимпанзе.

— Вы с Мэнтоном все уладите. Я позвоню ему.

Я позвонил в суд. Мэнтона не застал. Позвонил ему домой.

— Судья, однажды вы мне сказали: я к вашим услугам в любое время. Это время пришло. Я сейчас направил к вам в суд юриста по фамилии Россини. Мне нужно предписание, в котором значилось бы, что шимпонавт Пан Сатирус — человек.

— Погодите, мистер Данхэм...

— Вы говорили, судья: в любое время...

— Я помню, но...

— Судья, имейте в виду, после этого вы мне еще дважды скажете «в любое время». Я вас сделаю самым известным юристом в стране.

— Да. Да. Но достоинство судьи...

— Достоинство судьи зиждется на защите прав человека. Если бы вы только могли поговорить с этим Паном Сатирусом, судья... Поверьте мне, это угнетаемая личность.

— Но я судья штата Нью-Йорк. Вам придется сделать так, чтобы он подлежал моей юрисдикции.

— Это я устрою.

С юридической стороной проблемы было покончено. Дальше все пошло как по маслу. Я позвонил одному малому из городского муниципалитета.

— Мак, я только что прилетел из Флориды, чтобы комментировать прибытие Пана Сатируса, шимпонавта. Я знаю, что у вас не положено давать предварительную информацию, но хотя бы один намек — как город готовится к встрече? Триумфальный проезд по улицам, конечно? Вручите ключи от города? Может, повесите бронзовую памятную доску в его честь...

— Видишь ли, Билл, я точно не знаю...

Голос у меня зазвенел, как у актера, игравшего главную роль в старой пьесе «Первая полоса». Ли Трейси, кажется?

— Не подготовили бронзовую доску? А я думал, город и Зоологическое общество будут драться за право ее оплатить. Самый выдающийся сын Бронкса, родившийся прямо в клетке в зоопарке! Как это так — без бронзовой доски?

— Ясно,— сказал Мак.— Я понял. Спасибо, что подсказал, Билл. Я просто не знал, в каком зоопарке он родился.

Я положил трубку. Райкер смотрел на меня со странным выражением лица.

— Райк, выкладывайте, что у вас на уме. Я не хочу работать здесь, в правлении. Я люблю разъезжать.

— Но продюсером постановки ты будешь. Или, в крайнем случае, будешь вести программу.

— Я не знал, что он нью-йоркец. Я не знал, что он родился в Бронксском зоопарке,— сказал Хэртс.

— Я тоже не знал. Забыл спросить его, где он родился. Ну и что? Плевать! Мои передачи смотрит вся страна.

глава 9

Вся попытка активно воздействовать на его биологическую наследственность «скатывается» с животного этого вида, во всех остальных отношениях умного и послушного, «как с гуся вода».

Вольфганг Келер, «Умственные способности человекообразных обезьян», 1925 г.

Врата захлопнулись со звоном, но замки защелкнулись бесшумно — они были хорошо смазаны.

Агенты службы безопасности отобрали у всех шнурки от ботинок, а у Гориллы Бейтса еще и пояс. У Пана Сатируса отбирать, разумеется, было нечего, поскольку он не носил одежды с тех пор, как сбросил космический скафандр.

Потом их оставили одних, рассовав двух моряков и шимпанзе по разным камерам — загончикам, отделенным от общего коридора сплошной решеткой.

— А где доктор? — спросил Счастливчик.— Они с ним ничего не сделают?

— Его допрашивают,— сказал Горилла.— Я думаю, они порешили, что он расколется быстрее, чем ты или я. Или вот Пан.

— А для чего им нужно, чтобы оч раскололся? — спросил Пан.

— У нас международный заговор,— пояснил Счастливчик.— Зря ты приземлился так, что тебя выловил «Кук». Это совершенно секретный корабль. То, что называется экспериментальным прототипом.

— Ты говоришь, как писарь,— сказал Горилла.

Пан потихоньку лазил по решетке: от стены до стены и от пола до потолка.

— Не так уж плохо,— сказал он.— Я привык к клеткам.

— А мы нет,— заметил Счастливчик.

— Не трави, Счастливчик,— проворчал Горилла.— Не знаю, как ты, а я провел на губе больше времени, чем Пан на свете живет. Сколько ему? Семь с половиной? Да, я могу поучить тебя, как сидеть в клетке. Другое дело, что я так и не привык.

Пан прилег отдохнуть на койку.

— Значит, ты думаешь, что мы попали сюда, потому что я слишком много знал о «Куке»? Но я ничего не видел, кроме палубы и вашей столовой.

— Мичманской кают-компании,— поправил Горилла.

— Вот видишь! Я не разбираюсь в кораблях.. Это был первый корабль, на котором я побывал. Я не мог бы сравнить его с другим кораблем или хотя бы описать. Как ты думаешь, если я скажу им это, они нас выпустят?

— Как ты разогнал космический корабль быстрее света? — спросил Счастливчик.— Вот что они хотят узнать.

— Но человек не подготовлен к таким знаниям,— сказал Пан.— Он применил бы их в войне.

— Да,— согласился Горилла.— Вот мы и попали на губу. И, верно, надолго.

Пан прыгал в своей клетке с решетки на решетку, пока не добрался до самого верха. Повиснув на одной руке, он для пробы отковырнул кусок известки там, где в потолок входил прут решетки, и положил известку в рот. Потом выплюнул ее и прыгнул на койку.

— Я проголодался.

— Ты им этого не говори,— посоветовал Горилла.— А то они не будут кормить тебя, пока ты им не скажешь все.

— Многие шимпанзе умирали, но не теряли достоинства,— сказал Пан. Он ухватился за прутья решетки и немного покачался. Затем снова прыгнул на койку, почистился и закрыл лицо руками.

Вошли два человека, по-видимому, выполнявшие здесь обязанности надзирателей и одетые в комбинезоны, которые обычно носят рабочие нефтяных компаний, тут они заменяли униформу. Держа оружие наперевес, они остановились у самой решетки. Следом вошел еще человек и подал еду сначала Горилле, а потом Счастливчику. И вышел.

— А Пану? — спросил Горилла.

— Ему жрать не дадут,— сказал один из стражей.

Горилла фыркнул и взял со своего подноса кусок хлеба.

— Держи, Пан.

— Нельзя, морячок,— сказал страж и поднял дуло своего автомата.

— Ребята, это же не по-человечески! — воскликнул Счастливчик.

— Наоборот,— сказал Пан.— Именно по-человечески.

— Я не хочу есть,— заявил Горилла.— Можешь забрать эту баланду.

— И мою тоже,— сказал Счастливчик.

Один из стражей свистнул, холуй вернулся и убрал подносы. Звякнул металл, и наши друзья снова оказались одни.

— Теперь нам все понятно,— сказал Счастливчик.

— Думаю, нам лучше уйти отсюда,— предложил Пан.

Моряки посмотрели на него.

— Люди — слишком узкие специалисты,— продолжал Пан.— По-видимому, одни строят тюрьмы, а другие строят клетки. По крайней мере, ни в одном почтенном зоопарке никто не посадит шимпанзе в такую клетку.

Он протянул руку и вырвал прут решетки из гнезда в полу.

— Воображаю, что натворил бы здесь горилла,— сказал он.— За кого они меня принимают? За мартышку?

Он согнул еще один прут и вскоре выбрался из камеры.

— Глупо. Я регрессировал, или деградировал, или уж не знаю что там.— Он протянул руку и сорвал замок с решетки Счастливчика.— С этого надо было начать. Но я люблю физические упражнения, от них лучше себя чувствуешь.

Он сорвал замок и с решетки Гориллы и направился вприпрыжку к единственному зарешеченному окну, опираясь на руки, как на костыли.

Выдирая один за другим прутья решетки, он передавал их Горилле.

— Не стоит производить излишнего шума,— сказал он.— Готово. Дай-ка мне руку, Счастливчик.

Держась за раму окна одной рукой, другой он помог Счастливчику выкарабкаться наружу. Затем помог и Горилле взобраться на окно и спрыгнул на землю.

Оба моряка ковыляли с трудом — ботинки, лишенные шнурков, соскакивали с ног. Пан привел их к холмику, на котором росла рощица лиственных деревьев, изредка встречающихся среди сосновых лесов Флориды. Тут он стал прыгать с дерева на дерево и вскоре вернулся с пучком тонких стебельков каких-то вьющихся растений.

Счастливчик и Горилла принялись плести шнурки для ботинок. Делали они это искусно и быстро.

Пан Сатирус вновь отправился на прогулку по деревьям. Он вернулся, жуя сердцевину пальмовой ветки.

Горилла кончил плести шнурки и делал пояс.

— Я, конечно, не большой физиономист по вашей части, но у тебя, Пан, счастливое лицо.

Пан кивнул. Он раскачивался, держась на пальцах рук, оторвав ноги от земли.

— Это не тропический лес,— сказал он.— Это всего лишь субтропический лес. Это даже не лес, а маленькие рощицы. Но впервые в жизни я чувствую себя настоящим шимпанзе, а не какой-то игрушкой в руках человека.

Счастливчик вытянул ноги и прислонился спиной к дереву.

— Это все равно что получить корабль в собственное распоряжение, Горилла. Ни тебе офицеров, ни министерства военно-морского флота, которые говорят, что ты должен делать.

— Я минер, а не рулевой,— сказал Горилла.— Но думаю, с кораблем бы я управился. Если бы он у меня был. Только не будет никогда.

— Не будет,— подтвердил Счастливчик.— Нас разжалуют в матросы, когда поймают. Хорошо еще, если нас считают в самоволке, а не дезертирами.

Пан Сатирус стал издавать звуки, которые большинство людей, в конце концов, приняло бы за смех.

— Мы здесь можем продержаться много лет,— сказал он.— В этих лесах растут всякие вкусные вещи. И мы можем двигаться на юг, пока не придем к болотам.

— Они поднимут на ноги всех легавых,— сказал Горилла.— Они поднимут по тревоге проклятую морскую пехоту и будут прочесывать местность, пока не найдут нас.

— Нет такого человека, который бы нашел шимпанзе в субтропическом лесу,— сказал Пан.— Я могу вскарабкаться на первую же попавшуюся пальму и запрятаться в листьях.

— Человека такого нет,— возразил Счастливчик.— А люди есть. Тысячи людей, десятки тысяч. Они могут срубить все твои пальмы. А как же мы? Мы люди, а не шимпанзе. Даже Горилла — человек, хотя и не похож.

Горилла Бейтс посмотрел на них и сказал:

— Спасибо, дружище.

— Может быть, вам лучше выйти на дорогу и сдаться,— сказал Пан.— Отдаться в руки вашего морского начальства. Так это называется? И с вами ничего не случится.

Мичман Бейтс переглянулся со Счастливчиком и спросил:

— Ты где родился, Пан?

— В обезьяннике Бронксского зоопарка. В Нью-Йорке.

— Я знаю,— сказал Горилла.— Ты никогда не был на воле и один. В этой Флориде ты можешь замерзнуть; и тут бродят дикие собаки, кабаны и мало ли что еще. Мы уж лучше останемся с тобой.

— О, но ведь это моя естественная среда.

— Точно,— сказал Счастливчик.— Точно. А все же у нас нет выбора. Командир нас приставил к тебе.

— Пошли,— сказал Горилла.— Уберемся подальше. А то эти агенты из ФБР будут разыскивать нас с собаками.

И они поплелись по равнине, проваливаясь в лужи, затянутые зеленой плесенью, так что они казались лужайками, поднимая тучи москитов, после чего следовала мгновенная мучительная месть. Пан беззаботно схватился за куст, и в его ладонь впилась колючка. Ни у кого не было ни ножа, ни даже иголки, чтобы вытащить колючку; розовая ладонь быстро распухла.

Воды кругом было много, и Пан Сатирус собрал бесчисленное множество зеленых орехов, спелых и неспелых фруктов, нежных побегов деревьев. Но никто, даже Пан, не привык к такой диете. Оба моряка шагали под урчащую музыку собственных желудков. Пан Сатирус где-то нашел большой круглый фрукт. Он вертел его в здоровой руке.

— Боюсь, невкусный.

— Все бывает невкусно, если не подано с пылу с жару,— сказал Счастливчик.

— И если блондинка-официанточка не подаст тебе еще и бутылочку пивка, чтобы легче проходило,— добавил Горилла.

Счастливчик застонал.

— Нас погубила цивилизация,— сказал Пан Сатирус.— Хотите верьте, хотите нет, а подошвы у меня на ногах горят. Никогда в жизни я так много не ходил.

— Наверно, дома, в Африке, ты бы прыгал с дерева на дерево,— сказал Счастливчик.

— Не все время,— сказал Пан и потряс своей большой головой.— По крайней мере, так пишут. А сам я этого не знаю. Я всего лишь второсортный человек, а никакой не шимпанзе. За все семь с половиной лет я в первый раз обхожусь без сторожа.

Он посмотрел на своих друзей.

— Не считайте, что я говорю о вас пренебрежительно, джентльмены. Но вас никогда не учили ухаживать за шимпанзе.

— В общем, влипли,— сказал Счастливчик.— Уже почти ночь, а у нас нет даже спичек, чтобы развести костер. Да если бы и были, зажигать нельзя — агенты ищут нас на вертолетах. Как быть?

— Вон там, в полумиле отсюда, есть шоссе,— сказал Пан.— Я видел его с дерева, на котором росло вот это.— Он снова взглянул на фрукт, повертел его в длинных пальцах и швырнул прочь.— Я покажу вам дорогу, джентльмены.

— Ты зря вытащил нас из этой губы,— сказал Горилла,— тебе с нами одна морока.

— Нет, нет. У меня ноги болят, и я не привык к этой пище... Я залезу на дерево и посмотрю, куда идти.

— Держись, Пан,— сказал Счастливчик.— Я понимаю, у тебя колючка в руке. Но ты можешь прожить годы на этой пакости, от которой у нас разболелись животы. Ты можешь согреться, накрывшись пальмовыми листьями. Чего ж тебе сдаваться?

— Да мне не очень-то нравится здесь,— сказал Пан.

— Ты мне не заливай! — сердито оборвал его Счастливчик.— Как живут шимпанзе? В одиночку?

— Они бродят небольшими группами — от двух до четырех самцов, вдвое больше самок, и детеныши, сколько есть.

— Значит, ты не переменился,— сказал Счастливчик.— Ты все еще шимпанзе. Тебе нужно только даму. Ты оставайся здесь, Пан, а мы с Гориллой заберемся в какой-нибудь зверинец и умыкнем тебе жену.

— Нет,— сказал Пан.— У вас и без того достаточно неприятностей.

Горилла поглядел на Счастливчика, который снял свои черные ботинки и белые носки и рассматривал распухшую ступню.

— О чем это Пан толкует?

— О том, что он человек. Что ему нужны друзья,— сказал Счастливчик.— Но говорит об этом как-то по-шимпанзиному.

— У меня никогда не было ни одного друга,— сказал Пан.— Только сторожа, врачи да люди, которым я был нужен для экспериментов.

Счастливчик вздохнул и стал натягивать носки.

— Чему быть, Пан, того не миновать. Это верно — мы с Гориллой в зарослях жить не можем.

— А я не могу жить без друзей,— сказал Пан. Он перестал раскачиваться на руках и сел, скрестив короткие могучие ноги. Затем он принялся чиститься.— Я скажу, что я украл вас. Как Кинг-Конг в недавней телевизионной передаче. Взял под мышки двух моряков и унес.

— Чудишь, Пан,— сказал Счастливчик, надел носки, и они все вместе направились к шоссе. Пан время от времени влезал на дерево и высматривал дорогу.

Когда они вышли на шоссе, сумерки уже сгущались; бетон жег ноги Пана, и он шел по глубокой канаве, разбрызгивая тинистую грязь. Впереди сверкали огни города.

— Денег у нас нет ни пенни,— сказал Горилла.— Эти агенты все отобрали.

— Я совсем забыл про деньги,— сказал Пан.— У меня их не было ни разу в жизни.

— У Гориллы тоже... через два дня после получки,— заметил Счастливчик.

Горилла рассмеялся. Форма на нем была уже не так блистательно чиста, как утром, но он каким-то образом умудрялся сохранять опрятный вид; вся заляпанная грязью и мятая форма тем не менее сидела на нем ловко.

— Постойте,— сказал Пан.— Я что-то нашел.

Это «что-то» оказалось длинной цепочкой — грязной и ржавой.

Пан разогнул одно звено своими могучими пальцами, обернул цепь вокруг пояса и закрепил ее, снова согнув звено.

— Теперь я дрессированная обезьяна,— сказал он.— Может, вы поведете меня в какой-нибудь бар и заработаете на мне немного денег?

Было уже совсем темно, но время от времени шоссе освещалось фарами проносившихся мимо машин. Счастливчик разглядел Пана и расхохотался.

— Ну и человек! — сказал он, но тут же поправился.— Ну и Пан. Послушай. Нас ищут по тревоге. Мичмана, радиста и шимпанзе. Может, мне сорвать одну нашивку и притвориться радистом второго класса? Кроме этого, я уже не знаю, как мы можем замаскироваться.

— Ошибаешься, Счастливчик,— сказал Горилла.— Пан верно говорит. Кто подумает, что мы будем давать представление в салуне? Пан, если кто меня спросит, я скажу, что ты из этих самых резусов.

— Они у тебя из головы не идут, Горилла,— сказал Счастливчик.

— За тридцать пять лет службы в каких только я портах не побывал, с какими только ребятами и в каких только водах не плавал. А тут под старость услыхал, что есть что-то, чего отродясь не видел. Еще бы мне не думать об этом!

— Вы оба чокнутые,— сказал Счастливчик.— Но все равно, пошли.

— Ложь во спасение,— сказал Пан.— Я читал о лжи во спасение. Теперь мы попробуем к ней прибегнуть.

— Из-за чьих только плеч ты не читал! — сказал Горилла.

глава 10

Коммуникация, сущ. **Средство сообщения (особ. новостей); общение; связь.**

Краткий Оксфордский словарь, 1918 г.

Телефон был выкрашен в ослепительно-алый цвет. В наши дни заботливая телефонная компания обеспечивает (за дополнительную плату) аппаратами, подходящими к любому настроению, мебели или костюму, но это средство связи совсем не выглядело творением телефонной компании.

Во-первых, аппарат был покрашен, а не сделан из алой пластмассы. Во-вторых, наборный диск запирался на замок, и пользоваться аппаратом могли только те, кому это было положено. В-третьих, рядом денно и нощно стояли вооруженные часовые, поглядывая сквозь стекло звуконепроницаемой будки.

Человек в легком шерстяном костюме вошел в будку, отпер наборный диск, достав ключ из кармана, и поднял трубку. Он набрал только одну цифру и ждал, немного потея. Снаружи часовые с каменными лицами стояли навытяжку.

— Разрешите доложить, сэр,— сказал человек.

Послушав, он продолжал:

— Мы не знаем, сэр. Совершенно никаких следов... Да, вертолеты и полк морской пехоты. Я подумал, не привлечь ли бойскаутов... Нет? Слушаюсь... Да, с ним два моряка. Я попросил, чтобы в Вашингтоне проверили их личные дела. Возможно, они его украли. Или шпионы убили моряков и похитили его одного.

Затем он замолчал и слушал. В стеклянной будке было жарко, и, вероятно, поэтому лицо его стало приобретать тот же оттенок, что и аппарат. Или, может быть, наоборот — аппарат с этой целью и покрасили в алый цвет... для соответствия.

Наконец, он снова заговорил:

— Слушаюсь, сэр. Но одно указание мы должны получить именно от вас. Я не беру на себя ответственности. Как его брать, живьем или стрелять?

Он снова стал слушать и на сей раз прислонился к стеклу.

— Слушаюсь, сэр,— сказал он, когда ему была дана возможность.— Я допрашивал его лично, потом его допрашивали мои лучшие люди, но он не собирается выдавать нам секрет сверхсветового полета. Он не хочет говорить нам ничего, не потому, что мы — это мы, а потому что мы — **люди**. Но если противник захватил его, то он может заставить его говорить при помощи пыток, или сыворотки правды, или... Да, сэр.

Наконец он сказал последнее «Слушаюсь, сэр» и положил трубку. Повесив замок и подергав его, он открыл дверь стеклянной клетки. Часовые не вытянулись при его появлении — они уже стояли навытяжку. Он вышел из будки и посмотрел на ближайшего часового, вооруженного винтовкой, пистолетом и штыком и стоявшего совершенно неподвижно.

— Он становится величайшим национальным достоянием,— сказал человек.— Он собирается выступать по телевидению за десять тысяч долларов в неделю. Матери Америки, по-видимому, требуют, чтобы их дети видели его хотя бы раз в семь дней.

Часовой не ответил ему, потому что стоял по стойке «смирно».

— Но вы знаете, что он для меня? Для меня он — проклятая... беглая... обезьяна.

Часовые не шевелились.

глава 11

От человека они отличаются только характером развития.

Энциклопедия «Британика», 1946 г.

Как это часто бывает, последний бар на окраине города оказался далеко не лучшим баром, но, как известно, время не ждет... и агенты ФБР — тоже. Счастливчик вошел в кабак первым, произвел рекогносцировку и, выйдя, доложил, что там нет ни одного человека, похожего на агента ФБР.

— У всех такой вид, будто они нигде не могут найти работу.

— На выпивку у них деньги есть,— сказал Горилла.

— Вы знаете, а на этой вечеринке с девочками было довольно весело,— сказал Пан.— Как вы думаете, когда у нас появятся деньги...

— Из тебя у нас получается форменный алкаш, Пан,— перебил его Счастливчик.— Пошли.— Пан вручил ему конец до смешного тоненькой цепочки.— Я твой дрессировщик, понял? Горилла, может, тебе лучше постоять на улице — не годится мичману впутываться в такое дело.

— Мы оборвались с губы вместе, вместе и будем,— сказал мичман Бейтс.

И они вошли. Это была действительно забегаловка худшего сорта. Поколения гуляк проливали пиво на некрашеный пол; десятилетиями нервные посетители пыхтели сигаретами, трубками и сигарами и прокурили все стены, к тому же вся когорта завсегдатаев не очень аккуратно пользовалась туалетом, находившимся в глубине бара.

Пан Сатирус, всю жизнь проведший в чистоте и в холе, закашлялся. А у Гориллы Бейтса был страдальческий вид. Счастливчик Бронстейн, позвякивая цепочкой, матросской походкой вразвалку направился к стойке.

Буфетчик взглянул на Счастливчика, потом на цепочку и по цепочке добрался до Пана.

— Эй,— сказал он,— ты что сюда приволок?

— Обезьяну,— сказал Счастливчик.— Мартышку-резуса. Подобрал ее на Гибралтарской скале. Это английский резус.

Пан Сатирус кашлял.

Горилла отошел и сел за столик.

— Он ворованный? — спросил буфетчик.

— Он танцует,— импровизировал Горилла,— ходит на руках и передразнивает всех. Он ворованный — это точно. Сейчас он несет флотскую службу, верно?

— Почем я знаю,— сказал буфетчик. Судя по выражению его лица, тот же ответ можно было получить на любой вопрос.

Одна посетительница с трудом поднялась со стула и, покачиваясь на высоких скривленных каблуках, пошла к стойке. На ней были оранжевые шорты и корсаж, такой же красный, как кожа, видневшаяся между двумя этими предметами туалета.

— Он кусается?

— Нет,— сказал Счастливчик — Он любит дам.

Пан Сатирус сложил свои уродливые кисти, стал в позу капуцина, выпрашивающего земляной орех, и поймал в ладони руку посетительницы. Он поцеловал эту руку очень нежно.

— Э, да он милашка,— сказала посетительница.

— Дайте ему доллар. Он опустит его в патефон-автомат и станцует для вас,— сказал Счастливчик. Он посмотрел на посетительницу более пристально и добавил:— Даю поправку — станцует с вами.

— Доллар? Для автомата нужно десять центов.

— И обезьяна хочет жить,— проворчал Счастливчик.

Посетительница, пошатываясь, возвратилась к своему столику и взяла сумочку. Собутыльником ее был пузатый коротышка с облупленным носом; он наблюдал за ней слезящимися голубыми глазками.

Буфетчик заметил:

— Ваша обезьяна — самый красивый малый из всех, кого она подцепила за последние тридцать лет.

Дама дала Пану доллар. Он отдал его буфетчику и уже хотел было что-то сказать, как Счастливчик тут же вмешался.

— Два пива мне и резусу, и дайте ему сдачу для автомата.

— Двадцать лет я держу бар, и наконец этот гроб с музыкой кому-то понадобился,— сказал буфетчик.— А я было хотел вернуть его фирме.

Он дал Пану три десятицентовые монеты.

Пан выпил пиво залпом и, шаркая подошвами, пошел к патефону-автомату. Он выбрал пластинку и опустил в щель монету. Пластинка под названием «Разговор о школе» выскочила из гнезда.

Пан Сатирус поклонился посетительнице и взял ее за руку. Она сделала шаг и оказалась в его объятиях.

Это не было похоже на танец; у Пана Сатируса, наверно, никогда не было сторожа, который бы смотрел передачи Артура Мэррея. Но, учитывая, что его партнерше, вероятно, никогда не приходилось раньше танцевать с обезьяной, удовольствие она, по-видимому, за свои деньги получала, тем более что Пан Сатирус исполнил свой коронный номер — водрузил ее себе на ноги и прошелся на руках.

Она дала ему еще доллар, а потом две другие посетительницы, не более обольстительные, чем она, выстроились в очередь.

Побрякивая полной пригоршней мелочи, Счастливчик отнес Горилле две кружки пива.

Пузатый человечек с облупленным носом подошел к их столу. Он посмотрел на моряков воинственно, но, возможно, он смотрел так на всех, с кем сталкивала его судьба, не одарившая его ничем, кроме облупленного носа.

— Ребята, я вас уже видел.

— Вот как,— сказал Горилла, явно давая понять, что разговор окончен.

— По телевизору,— настаивал коротышка.— Это обезьяна, которая облетела вокруг Земли вчера утром.

— Нет,— сказал Горилла.— То был шимпанзе. А это резус. Просто наш маленький талисман.

— По-моему, он не такой уж маленький,— возразил коротышка.— Он в точности такой, как тот, которого показывали по телевизору.

— Телевизор может увеличить или уменьшить,— объяснил Счастливчик.— Все дело в полярности. Отрицательный полюс, положительный полюс... Как подсоединишь, так и получится.

Горилла протянул руку и похлопал по эмблеме на рукаве Счастливчика.

— Он знает, что говорит. Радист. **Первого класса.**

Коротышка почесал голову, скудно украшенную волосами.

— А по-моему, он в точности как тот, которого показывали по телевизору.

— На всех не угодишь,— сказал Счастливчик.

— Ваша подружка тут с кем-то подралась,— сообщил Горилла.

Все оглянулись. Подруга «облупленного носа и объемистого живота» вцепилась в рыжеволосую особу, одетую в платье с узким лифом и широкой юбкой. При этом обе мерзко сквернословили.

Пан Сатирус проковылял к столу своих друзей и выложил перед Счастливчиком два доллара.

— Они дерутся из-за того, чья очередь танцевать со мной,— сказал он и, как лицо заинтересованное, вернулся на свое место для наблюдения за исходом схватки.

— Э, да он говорит,— заметил пузатенький.

— Это просто полярность,— заверил его Счастливчик.— Сегодня сильная полярность. Наверно, будет гроза.

— Помогите-ка лучше своей подружке,— сказал Горилла.

— Она себя в обиду не даст. Можно я вас, ребята, угощу пивом?

— Конечно,— сказал Счастливчик.

Человечек пошел к стойке в обход, держась подальше от своей сражающейся подруги.

Противницы таскали друг дружку за волосы. Пан Сатирус сидел на высоком табурете, обхватив руками колени, и наслаждался зрелищем.

Человечек заплатил за три кружки пива.

— Этот жалкий подонок может наделать нам неприятностей,— предположил Горилла.

— Человек рождается для неприятностей,— сказал Счастливчик, который уже хватил несколько кружек пива на голодный желудок.

Блондинка вцепилась рыжеволосой в лиф и тянула что было силы, упершись, облегчения ради, ногой ей в живот.

— Я тебе все платье порву. Ты у меня голая будешь,— визжала она.

Буфетчик перепрыгнул через стойку и разнял их.

— А ну, прекратите такие разговорчики,— сказал он.— Здесь у меня семейные люди бывают.

Глаза Пана Сатируса радостно сияли.

— Поглядите-ка на обезьяну,— продолжал буфетчик.— Это же джентльмен. Вы думаете, такая хорошая воспитанная обезьяна захочет танцевать с вами, буйными шлюхами?

— Узнаю южан,— сказал Горилла.

— Да здравствует Юг! — провозгласил Счастливчик.

— А теперь становитесь в очередь и ведите себя как порядочные,— продолжал буфетчик. Он толкнул рыжеволосую к табурету у стойки.— Ты сиди, а ты плати обезьяне доллар и танцуй себе на здоровье. И чтоб не ругаться. У меня тут семейные люди бывают.

Блондинка дала Пану доллар, который тот отнес Счастливчику, пившему пиво пузатого. Потом он проковылял обратно, подхватил блондинку и посадил ее на бицепс левой руки. Подбоченясь левой рукой, он вертелся по комнате под музыку патефона-автомата, в который буфетчик опустил собственную монетку.

Горилла угрюмо наблюдал за ним.

— Вот программы, которые смотрели его сторожа,— сказал он.

— Это не простая обезьяна,— заметил пузатый.

— Дрессированная,— подтвердил Счастливчик.— Сколько мы его дрессировали, а дни в море долгие... Мы ходили на ледоколе на Северный полюс.

Пузатый шмыгнул облупленным носом.

— Теперь я знаю, ребята, что вы меня обманываете. То же гражданское судно, а вы из военно-морского флота.

— Слишком образованные все стали — вот в чем наша беда,— сказал Горилла.

— Я знаю, что эта обезьяна облетела вокруг Земли,— произнес маленький рот под красным носом.

— Ну и ладно,— сказал Счастливчик как можно более сурово.— Ну и что вы собираетесь теперь делать?

— Не заводись,— сказал Горилла.

— Я еще никогда не встречал настоящих знаменитостей,— сказал человечек.— Как вы думаете, даст он мне автограф?

— Обезьяны писать не умеют,— сказал Счастливчик.

— А ведь верно.

— Я вам скажу, что делать,— посоветовал Горилла.— Возьмите ящик с цементом, а мы его попросим оставить в нем отпечаток ступни. В Голливуде так делают.

— Э, да это здорово придумано.

Как только человечек вышел за дверь, моряки встали.

— Подработали неплохо, пора и честь знать. Надо смываться,— сказал Счастливчик. Пан уже шел к ним еще с одним долларом.

Звезды скрадывал туман, наползавший с востока. Друзья выбрались на шоссе; каблуки моряков постукивали о бетон. Пан держался мягкой почвы канавы и порой жалобно стонал, когда оступался и попадал ногой в воду, скопившуюся на дне.

И вдруг ночи как не бывало, все вокруг залил яркий свет. Со всех сторон в них ударил свет ручных прожекторов. Пан Сатирус сел в канаву и прикрыл глаза руками, но холодная вода заставила его подскочить.

Послышался голос, усиленный мегафоном:

— Вы окружены, ребята. Не делайте глупостей.

Горилла и Счастливчик медленно подняли руки. Пан, стоявший между ними, снова прикрыл руками глаза.

Кто-то сказал:

— Убери ружье, ты, обезьяна!

И в ответ прозвучало с южным акцентом:

— Ты кого называешь обезьяной, мартышка несчастная?

В мегафон опять сказали:

— Мы агенты Федерального Бюро Расследований. Мы вам ничего не сделаем. Стойте спокойно, где стоите.

Выбора не было. Пан повизгивал от боли, ослепительный свет резал глаза. Счастливчик положил руку на плечо шимпанзе. И крикнул:

— Не светите нам в глаза!

— Убавьте немного, ребята,— послышался голос, и свет стал не таким яростным.

— Помните: я силой увел вас,— напомнил Пан.— Я не хочу, чтобы вы рисковали своей карьерой.

— Где это только наш талисман поднабрался таких слов,— сказал Счастливчик.

— Помните, как Джимми Дюрант выступает по радио? — вдруг спросил Горилла.— Я без флота проживу, а без меня-то флот не проживет.

— Ты с каждой минутой становишься все больше похожим на Пана,—сказал Счастливчик.

— Все больше похожим на гориллу,— поправил Пан.

И они рассмеялись; в эту минуту мистер Макмагон шагнул к ним из ночи, ступив внезапно в освещенное пространство. Его грозная фигура приобретала обычный вид, по мере того как он приближался к нашим друзьям.

— Добрый вечер, джентльмены,— сказал он.— Мистер Сатирус, мы приготовили комфортабельный автомобиль для вас и ваших помощников. И, кстати, мичман Бейтс и мистер Бронстейн, мы доставили сюда с корабля все ваши личные вещи. Ваши вестовые упаковали их, и я уверен, что все будет в порядке. А теперь план наших дальнейших действий. Отсюда до аэропорта в Майами вы поедете на машине. Там вас ждет реактивный самолет; доктор Бедоян позаботится о том, чтобы вам было удобно лететь. Но, учитывая поздний час, вы, может быть, предпочтете отложить полет до утра. В этом случае завтра вам окажут более пышный прием, и хотя я знаю, что вы не придаете значения таким вещам, все-таки позвольте напомнить, что Нью-Йорк — это ваш родной город...

Под холодным взглядом обезьяны он смешался и стал бормотать что-то невнятное.

— Уж не лишились ли вы рассудка, мистер Макмагон? — спросил Пан Сатирус.

Агент ФБР смолчал. Он проглотил обиду. Это было заметно, несмотря на ослабленный свет прожекторов. Мистер Макмагон пожал плечами и достал из кармана записную книжку. Он открыл ее и взглянул на Гориллу и Счастливчика, ища сочувствия, но не нашел его. Деревянным голосом он стал читать:

— Полицейский комиссар Нью-Йорка встретит ваш самолет в аэропорту Ла-Гардиа... Это большой аэропорт в Нью-Йорке, сэр... Он будет сопровождать вас до городского муниципалитета, где вас должен приветствовать мэр. После небольшой юридической процедуры вас повезут во главе колонны автомашин по Бродвею, где вас будет приветствовать население — так принимают в Нью-Йорке знаменитых гостей,— затем в Радио-сити для подписания контракта, а затем в Бронкс, где президент Зоологического общества произведет церемонию открытия бронзовой доски, которая увековечит тот факт, что вы родились в Нью-Йорке.

— В обезьяннике,— сказал Пан Сатирус.

— Вечером состоится обед, который даст в вашу честь диетолог Центрального зоопарка, и...

Пан Сатирус протянул длинную руку. Записная книжка легко перешла в его сильные пальцы, они скрутили ее, и порванные листки подхватил ночной ветерок.

— Юридическая процедура? Подписание контракта? Вы плохой актер, мистер Макмагон. Приступайте-ка лучше к допросу с пристрастием.

— Надеюсь, вы забудете об этом, сэр,— сказал мистер Макмагон.— Ведь мы не сделали вам ничего дурного.

— Вы заперли меня в камере, грозили заморить голодом.

— Надеюсь, вы забудете это, сэр... Я действовал согласно приказу.

Пан Сатирус скалил свои страшные зубы.

— Юридическая процедура? Подписание контракта?

— Суд города Нью-Йорка собирается сделать вас полноправным человеком,— сказал мистер Макмагон.

— Этот малый дошел до ручки,— сказал Горилла, поглядывая на мистера Макмагона.

— Что правда, то правда, мичман,— сказал Макмагон.

Пан Сатирус уперся в дорогу руками и раскачивал свое короткое мощное тело: он явно над чем-то размышлял.

— Полноправным человеком,— произнес он.— Как мило.

— Да, сэр.

— А сколько лет будет этому полноправному человеку?

Мистер Макмагон попятился. Но далеко он уйти не мог: кругом были прожектора, агенты и осветители, направлявшие свет прожекторов.

— Все это не я придумал,— сказал он.— У меня никогда не было адвокатской практики, но я не могу представить себе, как судья может изменить ваш возраст, мистер Сатирус.

— Полноправный человек, таким образом, будет в возрасте семи с половиной лет, верно? Дитя. Счастливчик, в Нью-Йорке есть обязательное школьное обучение?

— В Бруклине есть, Пан. Вот так я научился читать и писать.

— Значит, я буду сидеть в классе с малыми ребятишками, а какая-нибудь женщина будет рассказывать, как делать бумажные куклы? Я видел школу Динг-Донг по телевизору, мистер Макмагон.

Наверно, агент видел эту передачу тоже; во всяком случае, голос у него стал ломаться, как у подростка.

— Может быть, вы сдадите экзамен экстерном и получите аттестат зрелости, сэр... Я, право, не знаю...

Пан Сатирус присел на пятки и стал медленно расчесывать ногтями шерсть на груди. Он обернулся к своим друзьям.

— У этой рыжеволосой были ужасно крепкие духи. Я, наверно, никогда не избавлюсь от этого запаха...— И он снова обратился к агенту.— Мистер Макмагон, какой контракт я должен подписать?

Покрасневший мистер Макмагон опустил голову и взглянул на дорогу.

— Контракт с радиовещательной компанией, сэр. Будете выступать по телевидению.

Пан Сатирус ожесточенно поскреб голову.

— Как и вы, я никогда не занимался юриспруденцией, мистер Макмагон.

— Я изучал ее.

— Ах, вот как. Тогда, пожалуйста, скажите мне, каким образом полноправный человек семи с половиной лет может подписать контракт, имеющий юридическую силу?

— Этого он набрался не из телевизионных передач,— сказал Счастливчик.

Пан сказал, не оборачиваясь к нему:

— Некоторое время служителем у моей матери был студент-юрист из Фордхэма. Он скорее был сторожем, так как просто сидел всю ночь перед клеткой и занимался.

— Видите ли, ваш опекун...— начал было мистер Макмагон.

— Продолжайте.

— Это ваш друг. Билл Данхэм,— выпалил Макмагон.

Пан Сатирус повернулся спиной к мистеру Макмагону и обратился к Счастливчику и Горилле:

— У меня есть друг по имени Билл Данхэм?

— Знакомое имя,— сказал Счастливчик.— Погоди-ка... Это та обезьяна... прости, тот малый, который интервьюировал тебя утром на пристани.

— Это не друг,— сказал Пан.

— О, я понимаю,— сказал мистер Макмагон. Затем его лицо вдруг обмякло и на мгновение стало почти беспомощным.— Послушайте, я выполняю приказ. Доставить Пана Сатируса в Нью-Йорк... иначе мне не сдобровать.

— Иначе вас перестанут кормить? — спросил Пан.

Мистер Макмагон промолчал.

Пан поежился.

— Становится прохладно. Шимпанзе легко простужаются, хотя и не так легко, как другие приматы... Когда вы пытались заморить меня голодом, то это делалось для того, чтобы узнать, как заставить корабль лететь со сверхсветовой скоростью. Ваше правительство все еще интересуется этим?

Мистер Макмагон ничего не ответил.

Неожиданно правильный ответ поступил от Гориллы.

— Сколько эта телевизионная компания собирается платить Пану?

— Десять тысяч в неделю.

Горилла поправил на голове свою мичманку.

— Все понятно. С парнем, который зашибает десять кусков в неделю, никому не сладить. Кишка тонка.

— И что же я должен делать за такие деньги? — вдруг загремел Пан.— Ловить земляные орешки, которые будет бросать мне очаровательная блондинка? Притворяться, что влюблен в актрису с чрезмерно развитыми грудными железами? Или быть любящим отцом семейства маленьких шимпанзе, которых будут играть бесхвостые макаки?

— Я вижу, вы смотрели телевизионные передачи,— сказал мистер Макмагон.

— Раз тебе дают работу,— сказал Счастливчик,— то отказываться от нее глупо.

Опершись кулаком о дорогу, Пан резко повернулся к Счастливчику.

— Ты хочешь, чтобы я согласился, Счастливчик? Ты?

— Пан, мне бы хотелось хоть раз иметь возможность похвалиться, что у меня есть приятель, который зарабатывает десять кусков в неделю... Впрочем, сказать, что мой приятель отказался получать десять тысяч в неделю, тоже неплохо, я считаю. Но дело в том, что выбора-то у нас нет. Вот мы стоим на дороге, и идти нам некуда. А там собираются повесить бронзовую доску в обезьяннике, где ты рос вместе с этими резусами.

Горилла сказал:

— Моя старушка мать... она называла себя моей теткой, потому что никогда не была замужем, но я-то знаю... Так вот, она рассказывала, что случилось с одной любопытной кошкой, Счастливчик.

Пан сказал:

— Минута молчания у клетки, где я родился... Стоим только я один и два моих друга. Приходят в голову счастливые воспоминания детства... Да, я согласен.

— Голос у вас, как у телевизионного актера,— живо заметил мистер Макмагон.— Пошли.

глава 12

Они поднимают сильный шум... особенно когда их раздражают другие обезьяны.

Энциклопедия Нельсона, 1943 г.

— Говорит Билл Данхэм, мои друзья. Через минуту я передам микрофон моему другу и коллеге Игги Наполи...— вы здесь, Игги?..— и стану участником этих великих, волнующих событий.

Жаль, что мы не могли толком показать вам картину проезда от городского муниципалитета к зданию суда.

Никогда в жизни я еще не видел столько изношенных машинописных лент и бумажек из мусорных корзин. Вы знаете, что триумфальный проезд по улицам обычно называют парадом старых машинописных лент, но на самом деле служащие учреждений на Манхэттене бросают из окон не только ленты... они вываливают все из мусорных корзинок, и пока не выпутаешься из лент, которые летят со всех тридцати этажей, тут уж не до телевизионной передачи, друзья.

По крайней мере, хорошо, что сейчас в употреблении шариковые ручки, и нас не бомбардируют таким большим количеством бутылок из-под чернил, как прежде.

Теперь мы приближаемся к суду, и я вижу судью Мэнтона, который вышел на мраморную лестницу, чтобы приветствовать нас. Наша другая камера покажет вам это... вот она показывает... а теперь вернемся к нам, к Пану Сатирусу, который рядом со мной на сиденье. Какие вы испытываете ощущения, становясь полноправным человеком?

Ладно, у вас нет настроения говорить, Пан, но тогда хотя бы улыбнитесь в объектив. Не хотите? Я понимаю — это довольно торжественный момент для старины Пана. Так его зовут, как вы знаете. Ему не нравится, когда его называют Мемом, капитаном «Мем-саиба»...

— Говорит Игги Наполи. Дорогие друзья, я стою на ступенях у входа во Дворец правосудия, а человек, который, как вы видите, приближается к веренице автомобилей,— это судья Пол Мэнтон. Это он возведет Пана Сатируса в ранг полноправного человека.

Из лимузина передача внезапно прекратилась, но этого следовало ожидать — инженеры говорили мне, что при передаче из этих, так сказать, каньонов, искусственно созданных из стали и бетона... железобетона, как говорят в Англии... волны, несущие изображение, проходят очень сложный путь. Звуковые волны, наверное, тоже, ибо голос Билла Данхэма, моего старого друга и коллеги, мы вдруг перестали слышать. А к этому голосу мы все привыкли, мы полюбили его — уже много-много лет радиоволны доносят к нам голос Билла Данхэма. Я не знаю, сколько лет Билл вещает американскому народу, но я не удивился бы, если бы узнал, что он со своим микрофоном брал интервью еще у генерала Гранта в Ричмонде.

Прямо передо мной стоит Пол Мэнтон — судья суверенного штата Нью-Йорк, человек, который возведет старину Мема в ранг полноправного человека. Так ли я сказал, судья? Правильно ли я выразился?

— Я думаю, мистер Наполи, что надо просто говорить о гражданстве. Мэр уже присвоил Мему звание почетного гражданина Нью-Йорка, а я просто узаконю этот акт. Конечно, вы понимаете, что в его возрасте было бы желательно, чтобы...

— Простите, судья. Лимузин уже подъехал, и полицейский Хью Галлахен, старейший служащий нью-йоркской полиции, краса и гордость Нью-Йорка, подходит, чтобы открыть дверцу автомобиля.

Это мичман-минер Бейтс из военно-морских сил США... Выходит, улыбаясь, и смотрит прямо в наш объектив. А это радист первого класса Майкл Бронстейн становится рядом с ним. А теперь выходит старина Мем, пилот «Мем-саиба»...

Говорит Центральная радиовещательная компания. Передача с места церемонии у Дворца правосудия прекратилась по техническим причинам, и до ее возобновления позвольте мне рассказать вам кое-что о прошлом великой обезьяны, которая вот-вот станет великим американцем. Повторяю, великой обезьяны, ибо Мем — это шимпанзе...

глава 13

Даже самый глупый шимпанзе может отличить настоящие деньги от фальшивых.

«Иллюстрированная библиотека по естественным наукам», Американский музей естественной истории, 1958 г.

— Не надо было этого делать, Пан,— сказал Горилла.— Эта радиовещательная компания теперь тебя не взлюбит. Сначала ты послал в нокаут ее главного говоруна, а потом сорвал крышку с телевизионной камеры. Нехорошо.

— Я не люблю, когда меня называют Мемом,— просто сказал Пан. Он посадил судью, которого нес на руках, и спросил: — Теперь вы можете идти, ваша честь?

— Да, наверно. Я... Это оскорбление суда, сэр.

— Называйте меня просто Паном. А вот и доктор Бедоян.

Врач спешил им навстречу.

— Что, Пан?

— Посмотрите, не требуются ли судье ваши услуги.

— Нет, нет, со мной ничего не случилось,— сказал судья.— Здесь мой кабинет. Сама церемония должна состояться в зале суда, разумеется, но я думал, что с предварительными формальностями мы покончим здесь. Может быть, вы присядете, мистер Пан.

— Надо говорить «мистер Сатирус». Но называйте меня просто Паном, а я присяду на этот шкаф с папками.

Судья бочком пробрался к своему громадному, с высокой резной спинкой креслу, точной копии того кресла, которое стояло в зале суда.

— Возраст — семь с половиной лет; значит, вы родились... ясно. Имена родителей?

— Мать — Пан Сатирус Плененная, отец — Пан Сатирус Вольный.

Судья взглянул на него.

— Полно вам.

Пан Сатирус нагнулся, оторвал одну из медных ручек шкафа для бумаг и швырнул ее в угол.

— Я не узнаю тебя, Пан,— сказал доктор Бедоян.— Прежде ты был таким покладистым.

— Мне не раз... как это там, Счастливчик?

— Ему не раз доставалось на орехи,— подсказал Счастливчик.— Ну и... он стал вроде бы плохого мнения о людях...

— Я стал питать презрение к людям,— сказал Пан.— Не к вам троим и не к тем сторожам и служителям, которые у меня были. Но я чувствую, как во мне растет настоящая ненависть...

— Джентльмены, прошу вас,— перебил его судья Мэнтон.

— Не называйте меня джентльменом! Я шимпанзе.

— Шимпанзе и джентльмены, в зале суда нас ждет много людей. Много высокопоставленных лиц. Итак, мистер Сатирус, цель этой процедуры — возвести вас в ранг человека. Учитывая ваш нежный возраст, мистер Уильям Данхэм назначен вашим опекуном. А, кстати, где он?

— Мы оставили его в машине,— сказал Пан Сатирус.— Он вещал по радио всякую чепуху обо мне, и я ткнул пальцем ему в солнечное сплетение. Теперь он спит. Верно, доктор?

— Он не получил серьезных повреждений, судья,— сказал доктор Бедоян.

— Но его присутствие обязательно,— возразил судья.— Он должен подписать бумаги, которые утвердят его в роли вашего опекуна.

— Я не хочу иметь опекуна,— сказал Пан.

— Но вам всего семь с половиной лет.

— Сделайте так, чтобы мне был двадцать один год,— сказал Пан.— Вы судья. Раз вы можете сделать меня полноправным человеком, так сделайте меня еще и совершеннолетним.

— Я вижу, вы никогда не изучали юриспруденции. Такого прецедента не было никогда!

— А прецедент превращения шимпанзе в полноправного человека был?

— Если бы я под вашим давлением объявил, что вам двадцать один год... пожалуйста, оставьте в покое этот шкаф... апелляционный суд сразу же отменил бы мое решение.

— А тем временем я получал бы десять тысяч в неделю,— сказал Пан.— И затем, если бы решение вынесли не в мою пользу, никто не мог бы предъявить иск и получить деньги, потому что человек в семь с половиной лет не отвечает за свои поступки.

— А вы знаете законы,— сказал судья Мэнтон.

— Дайте-ка я изложу вам дело короче, чем это сделал бы адвокат: подготовьте соответствующие бумаги, подпишите их и поставьте печать, а затем вы можете выйти в своей мантии и позировать перед телевизионными камерами. Вместе со мной и очень хорошенькой, как я предполагаю, актрисой. Попробуйте не сделать того, что я вам сказал, и вас придушит, возможно даже насмерть, безответственный шимпанзе, которому не исполнилось и восьми лет. Просто, да?

— Такого даже Ла-Гардиа не проделывал с Таманни-холлом,— сказал судья, но взял перо и стал писать. Время от времени он хмыкал. Кончив писать, он сказал: — Мой клерк поставит здесь печать.

— Ладно,— сказал Пан.— Вызовите его.

Судья нажал кнопку звонка. Вошел клерк, чернильная крыса средних лет, затем он вышел, принес печать и приложил ее к бумагам. Доктор и Счастливчик засвидетельствовали документы, которые после этого были вручены Пану Сатирусу.

Прочтя бумаги, он пошуршал ими, но у него не было карманов, чтобы их спрятать. Он вручил бумаги на сохранение Горилле.

— Добро пожаловать в род человеческий,— сказал Горилла.

Пан подарил его тем, что можно было счесть улыбкой.

— Все в порядке, судья,— сказал он.— Идите в зал суда и садитесь в свое кресло, а ваш клерк, я думаю, покажет нам, куда пройти.

Судья вышел.

— Успокоительного не надо, Пан? — спросил доктор Бедоян.

— Вы очень заботливы, Арам,— сказал Пан.— Мы скучали без вас во Флориде. Позже я расскажу вам о своей карьере наемного партнера в танцах. Я заработал больше десяти долларов.

— А теперь вы будете получать десять тысяч каждую неделю. Почему?

Пан перевел взгляд блестящих глаз с Гориллы на Счастливчика, а затем подмигнул доктору Бедояну.

— Я регрессировал,— сказал он.

— Деградировал.

Пан пожал плечами.

Клерк распахнул перед ними дверь. Они вошли в зал и стали рядом с судейским креслом. До них донесся напряженный шепот.

— Говорит Игги Наполи, дорогие друзья, и снова на ваших экранах великий Пан Сатирус, как он любит, чтобы его называли. Сейчас он присоединится к роду человеческому! Это великий момент в его жизни. Быть может, это даже более великое событие, чем его полет вокруг Земли? Я задам ему этот вопрос при первом же удобном случае.

Два моряка за его спиной — это его большие друзья, мичман Бейтс и радист Бронстейн, а штатский — его личный врач доктор Арам Бедоян. Видите, они выстроились перед судьей, который... давайте послушаем его.

— Пан Сатирус, поднимите правую руку. Клянетесь ли вы сохранять верность Соединенным Штатам Америки? Только им и никакой другой стране? В таком случае, я объявляю вас гражданином Соединенных Штатов Америки.

— И вот, дорогие друзья, все кончено. Судья удаляется, заседание суда объявляется закрытым, а теперь перед вами Джейн Бет, которую телевизионная компания попросила вести сегодня передачу о Пане Сатирусе. Вот она представляется ему.

— Пан, милый. Я Джейн Бет.

— Я видел вас по телевизору.

— О, как это мило с вашей стороны! Я буду играть роль вашей владелицы в очень милой новой постановке, которую компания подготовила для нас. Она называется «Красавица и чудовище».

— Говорит Игги Наполи, я переключаю вас на Билла Данхэма, который является постановщиком. Я только замещал его. Пожалуйста, Билл.

— Билл Данхэм снова с вами, друзья. Судья Мэнтон возвращается в зал суда без мантии и....

— Держите обезьяну, она сдирает с меня платье!..

— Произошла маленькая неувязка, друзья. Помех надо было ожидать, поскольку мы ведем передачу издалека, но мы быстро настроим аппаратуру. Судья, мы хотим показать вас крупным планом с этим документом в руках и...

глава 14

Шимпанзе более ловко манипулируют различными предметами, чем собаки.

Джон Пол Скотт, «Поведение животных», 1957 г.

Дорожки в нью-йоркском зоопарке, находящемся в Бронксе, достаточно широки, чтобы по ним мог проехать не только легковой автомобиль, но и грузовик. В обычные дни по этим дорожкам мимо посетителей неторопливо разъезжают пикапы, увозя мусор, доставляя корм к клеткам и выполняя другие мелкие хозяйственные работы.

Но этот день не был обычным. Вереница лимузинов катила к обезьяннику; на правом крыле каждой машины развевался американский флажок, на левом — флажок великого города Нью-Йорка.

Во второй машине между Гориллой и доктором Бедояном на заднем сиденье ехал Пан Сатирус. Он угрюмо смотрел в шею Счастливчику Бронстейну.

Все это время, как только они отъехали от здания суда, шофер держался крайне напряженно. Даже человеку при взгляде на его ссутуленные плечи становилось ясно, что он боится. А Пан чуял запах страха.

Однако Пан Сатирус протянул руку и тихо похлопал шофера по плечу.

— Не бойтесь,— сказал он.— Я вас не трону. Спросите Счастливчика, который сидит рядом с вами.

— Это верно.

— Да, сэр.

— Нет,— сказал Пан,— вы боитесь из-за того, что произошло с этой девицей, с актрисой. Она хотела выставить себя напоказ. И выставляла вовсю. Она так сюсюкала и так покровительствовала мне, что меня чуть не стошнило полупереваренными бананами прямо ей в лицо. Я просто помог ей. Теперь она показала себя в таком виде, в каком ей и не снилось: это первая актриса, появившаяся перед телевизионной камерой в одних чулках. Это все, что у нее было под платьем.

— Я не мог оставить машину,— сказал шофер.

— Много потеряли, приятель. Не думаю, чтобы они еще раз показали эту пленку в «Повторных передачах»... Но вам меня нечего бояться. Разве вам никогда не хотелось сорвать платье с девушки?

— Конечно, хотелось.

— То, что человек хочет, шимпанзе делает.

Шофер немного успокоился, и остаток пути все молчали. Вдоль улиц выстроились толпы народа, но Пан лишь изредка снисходил до приветственного взмаха длинной рукой. Несколько женщин послали ему воздушные поцелуи, а одна даже проскользнула сквозь цепь полицейских и прильнула к опущенному стеклу машины. Но полицейские быстро оттащили ее... совершенно одетую.

Только когда они проехали в охранявшиеся ворота зоопарка, молчание было нарушено — доктор Бедоян сказал:

— Ты переменился, Пан. Я не думаю, чтобы слава вскружила тебе голову, но что-то повлияло на тебя?

— На вашем попечении было очень много шимпанзе, Арам.

— Тебя я любил больше всех других пациентов.

Пан Сатирус поежился.

— Вы меня расстроили,— сказал он и поглядел на свои руки, зажатые между скрещенными ногами. Затем он посмотрел в окно.— Когда я был совсем, совсем маленьким, здесь работал один ветеринар, он обычно выводил меня поиграть под теми деревьями. Но тогда парк был гуще.

— Ты не хочешь отвечать на мой вопрос.

— Да. Да, Арам, я переменился. Но я не совсем в этом уверен. Я регрессировал, деградировал. Я не вполне шимпанзе. Но, может быть, мне надо было крутиться и крутиться вокруг Земли полных двадцать четыре часа. Тогда бы я стал вполне человеком. Или даже сорок восемь часов, и тогда я стал бы генералом или телевизионным актером. Эти люди, мне кажется, полностью удовлетворены своей деятельностью независимо от того, есть в ней какой-либо смысл или нет.

— Бывают исключения,— заметил доктор Бедоян.

— Я слишком много говорю, верно? Сначала я испытывал в этом непреодолимую потребность. Но вы заметили, что по дороге сюда я не проронил ни слова? Может быть, этой потребности уже нет, и я снова превращаюсь в полноценного шимпанзе.

Горилла по левую руку от него беспокойно ерзал на сиденье.

— Кончайте, док. Вы нагоняете на Пана тоску.

— Доктор, я не самоаналитичен? — спросил Пан.

— Вот что: надо побыстрее взять себя в руки, а то тебя, весьма возможно, будут вынуждены пристрелить. И смотреть не станут, обезьяна ты или полноправный человек.

— Это и до меня дошло,— сказал шофер.

— Ладно,— сказал Пан.— Но предположим, что я ничего не могу с собой поделать.

Доктор Бедоян насмешливо фыркнул.

— Наверно, у тебя был служитель или ночной сторож, который читал книги по психопатологии? Ты же не психопат. Меня ты не проведешь, Пан.

Пан Сатирус смотрел в окно.

— Клетки со львами,— сказал он.— Каких только мыслей они не навевали на меня когда-то. Мы слышали львов по ночам, чуяли их запах, и я говорил себе, что убью тигра или льва, когда подрасту... Но, когда мне исполнилось восемнадцать месяцев, я уже стал кое-что соображать. Мы почти у обезьянника.

— «Дом, родной мой дом»,— сказал доктор Бедоян,— Ты не ответил на мой вопрос.

— О нет,— сказал Пан.— Я не сумасшедший. Но я шимпанзе. А шимпанзе в моем возрасте становятся опасными. Помните?

Горилла Бейтс утвердительно рявкнул. Спина шофера напряглась, он дал газу и едва не врезался в бампер передней машины.

Доктор Бедоян впервые повысил голос:

— Ты не шимпанзе!

Пан Сатирус покривил губы. Передняя машина свернула и стала носом к обезьяннику. Их машина стала рядом. Небольшая группа людей ждала у здания.

— Кто я? — спросил Пан.— Человек?

Горилла и Счастливчик вышли из машины и стали навытяжку, как и полагалось военным морякам.

Пан тоже хотел вылезти из машины, но доктор Бедоян положил руку на его мощное плечо.

— Ты мой друг,— сказал он мягко, но решительно.

Пан обернулся к нему. Его странные глаза (белки были темнее радужных оболочек) блестели.

— Спасибо, Арам,— сказал он.— Попытайтесь избавить меня от этого. Но если вам не удастся и меня застрелят, не слишком скорбите. Пусть страдаю я один. Я шимпанзе, Пан Сатирус, и нам нет счастья в неволе, когда юность позади.

Он выпрыгнул из автомобиля, схватил Счастливчика и Гориллу за руки и, шутовски кривляясь, направился навстречу руководителям и персоналу нью-йоркского Зоологического общества.

глава 15

Обезьяна обезьянничает ради собственного удовольствия; насмешник передразнивает других, чтобы оскорбить.

Крэбб, «Английские синонимы», 1917-е.

Первым выступил вперед директор.

— От имени Общества и персонала зоопарка,— сказал он,— позвольте мне приветствовать вас, Пан Сатирус, как нашего самого знаменитого бывшего питомца. Я уполномочен сообщить вам, что отныне вы являетесь пожизненным членом нью-йоркского Зоологического общества.

— Спасибо,— сказал Пан.

Стоявший рядом доктор Бедоян довольно хмыкнул: его пациент решил вести себя хорошо. Директор сделал шаг назад, и на его место встал куратор приматов.

— Позвольте и мне приветствовать вас. Я помню хорошо и вас, и вашу мать Мэри. Я был здесь, когда вы родились. На моем попечении никогда не было более умных животных.

— И все же вы нас продали.

Доктор Бедоян вздохнул.

Но это были не политики, не деятели с телевидения, не генералы и не агенты ФБР. Это были служащие зоопарка.

— Вы слишком умны, чтобы держать вас в клетке,— сказал куратор,— и выставлять на всеобщее обозрение, когда родина нуждается в способных приматах.

— Ваша родина, доктор. Не моя,— сказал Пан.

— У вас нет другой, Пан,— парировал куратор.— Или мне следует называть вас мистером Сатирусом? У вас нет другой родины, мой друг и бывший питомец.

— Африка — родина Пана Сатируса.

— Никто не может сказать с уверенностью, где первоначально была родина Гомо Сапиэнса,— сказал куратор,— но я уверен, что всем нам не очень-то пришлось бы по вкусу, если бы мы были принуждены вернуться туда и жить там.

— Браво! — сказал доктор Бедоян.

Пан обернулся к нему и осклабился.

— Что, попало мне?

— Вы можете себе представить,— продолжал куратор,— как я... как все мы взволнованы. Впервые у нас появилась возможность поговорить с одним из наших питомцев. Вы можете научить нас, как лучше заботиться о приматах.

— Отпустите их на свободу,— сказал Пан.

— Вы и сами понимаете, что мы этого не сделаем. А раз так, вы можете оказать большую услугу своему народу, дав нам некоторые указания.

— Не называйте нас народом,— возразил Пан.— Мы обезьяны.

— Очень интересно,— сказал куратор.— Хотелось бы знать, насколько изменения, происшедшие в вас, помогли вам избежать перемен, которые происходят со всеми шимпанзе в вашем возрасте. Оказывается, вы их не избежали. Вы становитесь воинственным.

— Нетерпимым к содержанию в неволе,— поправил Пан.

— Пусть будет по-вашему,— согласился куратор.— Я собирался предложить вам место главного служителя приматов.

— А почему не свой пост?

Куратор вздохнул.

— У вас нет ученых степеней, мой друг. Однако эта беседа слишком затянулась, мы заставляем себя ждать. Я хочу познакомить вас с работниками Общества. Многих из них вы, вероятно, вспомните.

— Сначала познакомьтесь с моими друзьями — Гориллой Бейтсом и Счастливчиком Бронстейном,— сказал Пан.— И доктором Бедояном.

Куратор пожал руки морякам, улыбнулся врачу и обнял его.

— Ну, а потом, Пан,— сказал он,— вы проведете с нами совещание?

— О да. Но прежде окажите мне одну услугу. Я хотел бы побыть немного в обезьяннике один. Чтобы подумать о своей матери.

— Что вы замышляете? — спросил куратор.

— Счастливчик и Горилла могут остаться со мной,— сказал Пан.— И постоянные обитатели, разумеется.

Куратор посмотрел сначала на обоих моряков, потом на Пана.

— Пан, здесь пахнет какой-то хитростью. Но предупреждаю вас, это все... прошу прощенья за вульгарность... мартышкин труд.

— Я собираюсь поступить к вам на работу,— сказал Пан.— Это более солидно, чем быть телевизионным актером.

— Если с вами произойдет то же, что со всеми самцами шимпанзе, вступающими в пору зрелости, эту должность мы вам предоставить не сможем. Но если мы исполним ваше желание, совещание состоится?

— Я уважаю вашу прямоту,— сказал Пан.— В сущности, для человека вы всегда были неплохим малым. Бывало, приносили мне яблоки и игрушки, когда я был маленьким. Ну, тащите сюда ваших чванливых болванов.

Куратор вздохнул и взглянул на доктора Бедояна. Тот пожал плечами.

Церемония началась.

Когда она окончилась, все оставили Пана, Гориллу и Счастливчика в обезьяннике

и ушли. Куратор выходил последним; у него был очень невеселый вид, когда он, закрывая за собой дверь, оглянулся на Пана.

Пан остановился у клетки, в которой он появился на свет, и стал рассматривать новую бронзовую дощечку: «Здесь родился Пан Сатирус, первый шимпанзе, овладевший человеческой речью, и тринадцатый из своего вида, слетавший в космос».

— Пан Сатирус,— сказал он и взглянул на другую табличку с надписью: «Шимпанзе, Пан Сатирус, обитает в Экваториальной Африке». Тут же висело условное обозначение самки шимпанзе.

Пан взглянул на клетку. Самке было четыре года, она уже достигла брачного возраста. И была явно настроена похотливо.

— Ты был в море долго, очень долго,— мягко сказал Горилла.

— О, господи,— вырвалось у Пана. Он не привык сквернословить.

Обезьяна что-то бормотала, колотя костяшками пальцев о пол клетки.

— Ты разбираешься, что она там сигналит? — спросил Горилла.

— Это не требует разъяснений,— ответил Пан.

— Тоже верно,— Горилла хихикнул.— Как на Сэнд-стрит, когда флот возвращается из плаванья... Сэнд-стрит в этом городе, а?

— Да,— сказал Счастливчик.— Это в Нью-Йорке, в Бруклине. Я в нем родился. Только там никакой бронзовой доски не повесили.— Он посмотрел на самку шимпанзе, а потом на своего друга Пана.— У меня под форменкой есть отвертка. И нет такого замка, которого бы я ею не открыл. Только так можно добывать выпивку на корабле,— добавил он.— Аптечный спирт. И тот, что для компасов.

— Наверно, я мог бы сорвать замок,— сказал Пан.— Изнутри его не достать, а снаружи, пожалуйста. Наверно, я первый шимпанзе, оказавшийся в обезьяннике в роли посетителя. Если только я шимпанзе.

— Когда я научился вязать морской узел,— сказал Горилла,— мне не терпелось поскорее поехать в гости в ту развалину, где я родился... Но оказалось, что с ребятами нашего двора мне уже толковать было не о чем. Я стал моряком, а они так и остались фраерами, что околачиваются на углу.

— Дело не в том, что поговорить не с кем,—сказал Пан.— Я еще очень молод. Хутон и Йеркс утверждают, что в естественных условиях шимпанзе живут до пятидесяти лет. У меня еще все впереди.

— Послушай, Пан,— сказал Счастливчик,— если тебе не понравились флоридские девочки, не думай, что лучше их нет. Они же уцененные — с двух с половиной долларов до двух. Есть бабы и получше.

— Лучше той телевизионной актрисы?

— Я имею при себе, как говорят легавые, не только отвертку,— сказал Счастливчик. Он полез за пазуху и достал две бутылки джина и бутылку водки.— Это для резусов, но тебе сейчас это нужнее.

Пан рассмеялся, если эти звуки можно было назвать смехом.

— Приколоти еще одну бронзовую дощечку,— сказал он.— «Пан Сатирус, который в возрасте семи с половиной лет отказался действовать на потеху публике».— Он повернулся спиной к самке шимпанзе, завизжавшей от ярости.— Джентльмены, сюда — здесь мартышки-резусы. Дайте им водки.

Их было шестнадцать, и все они сидели в одной клетке. Тут были два дедушки резуса, четыре или пять младенцев, льнувших к спинам матерей, и множество резусов в полном расцвете сил.

Пан перескочил через перила, предназначенные для того, чтобы держать зрителей и мартышек на должном расстоянии друг от друга. Протянув длинную руку, он выхватил водку у Счастливчика и собрался было просунуть ее между прутьями решетки. Но потом сообразил и откупорил бутылку.

— Держите, братцы, сестрицы,— сказал он.— Живите, пока живется.

Пан обернулся к Счастливчику.

— Так говаривала некая сестрица, ходившая к доктору Бедояну,— добавил он.

Самка шимпанзе, оставшаяся одна в клетке напротив, придавила коротким большим пальцем руки струйку из питьевого фонтанчика и пустила ее прямо в шею Пану. Тот небрежно отер воду.

Все трое сидели на перилах и наблюдали. Только раз Горилла сказал:

— Девочка взяла бы за такое полсотни.

А Счастливчик спросил:

— Если человека запустить на орбиту на основательный срок, может он превратиться в резуса?

Все остальное время они благоговейно молчали.

Оба матроса не отрывали взгляда от клетки с резусами, а Пан тихонько улизнул от них.

Из клетки шимпанзе больше не доносилось ни постукиваний, ни повизгиваний. Раздался звон, словно кто-то бросил замок на цементный пол. Один за другим резусы поддались действию алкоголя; не прикончив еще и бутылки джина, которая последовала за бутылкой водки, они все уснули. Моряки встали, и Горилла махнул своей мичманкой в сторону объятой сном клетки. Счастливчик взглянул на табличку.

— Макаки-мулаты, спите крепко,— сказал он.— Я никогда не забуду вас.

Когда они проходили мимо клетки шимпанзе, обитательницы ее не было видно. Она, очевидно, удалилась в спальную клетушку, находившуюся за клеткой.

Пан остановился перед клеткой, из которой на него воинственно глядели два орангутанга.

— Когда-то это была клетка гориллы,— сказал он.— Теперь гориллам отвели большое помещение. Они очень привлекают посетителей. Совсем похожи на людей.

— Короче, Пан,— с беспокойством сказал Горилла.

— Ладно, ладно. Во всяком случае из вас-то я не причисляю к этой категории никого.

Орангутанги что-то басовито бормотали. Вдруг они прыгнули вперед, прильнули к решетке и, яростно крича, стали совать руки между прутьями. Пан отскочил.

— Что за черт? — спросил Горилла.

— Им не нравится, что я с вами,— ответил Пан.— Они думают, что я предатель.

Он заковылял к двери, моряки пошли следом. Как обычно, он шел скорее на четырех конечностях, чем на двух, но теперь голова его была опущена тоже, и он уже меньше походил на человека, да, в сущности, и на обезьяну.

— Счастливчик, а ну-ка, смотайся и достань немного виски,— сказал Горилла.

— А мы ведь опять сидим без гроша.

— Есть один малый, его зовут Макгрегор, Дэнди Макгрегор. Он еврей и живет на Сэнд-стрит. Он даст тебе денег под мое жалованье.

— Зайду к этой сухопутной крысе при первом удобном случае,— сказал Счастливчик.

Выйдя, они обнаружили, что мистер Макмагон и три его веселых коллеги присоединились к ним снова. Агенты стояли немного в стороне от директора, куратора и других служащих зоопарка.

При виде Пана и двух моряков лица всех просветлели.

— Что вы там делали, Пан? — спросил куратор.

— Потихоньку молились, чтобы... В общем, напоили мартышек-резусов допьяна, сэр. Я обещал своим друзьям показать это зрелище. Такое случилось однажды, когда я здесь жил.

— И я хорошо помню это,— сказал куратор.— Мы уволили сторожа... Но вас мы уволить не можем, потому что вы никогда, в сущности, не собирались всерьез поступить к нам на службу, верно?

— Нельзя предлагать обезьяне сторожить других обезьян,— сказал Пан.— Только человек может согласиться работать тюремным надзирателем. В этом его отличие от низших животных.

— Ох,— сказал куратор.

— Как вы догадались, что я собираюсь не очень хорошо вести себя там?

— Я знал вас с самого рождения... Очень хорошо знал. И всегда был расположен к вам, но вы никогда не были самым благонравным приматом.

— Послушайте,— сказал Пан.— Я хочу вам кое-что сказать. Возьмите на заметку. Самка шимпанзе...

Подняв длинную руку, куратор прервал его на полуслове и достал из бокового кармана маленькую записную книжку. Он показал Пану запись: «Самка Сьюзи спарилась с Паном Сатирусом», датированную сегодняшним числом.

Пан взглянул на запись и покачал головой.

— Да,— сказал он.— Разумеется, вы должны были догадаться... Мне ненавистна мысль, что мой детеныш родится в зоопарке...

— Не воспринимайте все так серьезно,— сказал куратор.— Будьте больше шимпанзе.

— Я в том возрасте, когда шимпанзе становятся серьезными. А это, чтоб вы знали, к добру не ведет. Я стал слишком человеком. Но недостаточно человеком, чтобы возжелать женщину.

Шкура у него на спине передернулась, как у лошади, отгоняющей муху.

— Вы не посоветуете мне, чем лучше кормить шимпанзе? — попросил куратор.

— Охотно.

Пан оглянулся. Горилла с очень серьезным видом втолковывал что-то мистеру Макмагону. Агент ФБР кивнул, достал бумажник и дал мичману деньги. Горилла вручил их Счастливчику, который куда-то побежал.

— Где доктор Бедоян?

— Разговаривает с нашим ветеринаром. Пойдемте.

И Пан пошел.

глава 16

Шимпанзе Бюфона... сидел за столом, как человек... но при этом у него был несчастный вид.

Роберт Хартманн, «Человекообразные обезьяны», 1886 г.

Теперь они были в одной из комнат гостиницы... в одном из номеров гостиницы, говоря точнее. Тут было две спальни, гостиная, две ванны и небольшая прихожая, дверь которой выходила в коридор.

Они были одни — доктор Бедоян, Пан и цвет американского военно-морского флота. Счастливчик, по выражению Гориллы, «висел на трубке», то есть сидел в удобном кресле у телефона, который звонил каждые пять минут. На каждое предложение, чтобы Пан что-то подписал или где-то появился, он отвечал спокойным «Нет».

Комнаты через коридор напротив были заняты мистером Макмагоном и его людьми.

— Ручаюсь,— сказал Счастливчик,— пятьдесят долларов голова — вот цена каждой бабы, которую доставил бы здешний коридорный.

— А ты когда-нибудь видел у них головы? — спросил Горилла. Он пил виски с содовой, но не потому, что любил этот напиток или ему хотелось пить, а потому, что, по его словам, этого требовала элегантность обстановки.

— Мичман, посиди немного у телефона,— сказал Счастливчик.— Я уже сыт по горло.

— Угу,— сказал Горилла. Он поменялся со Счастливчиком местами и сказал телефонистке номер.— Главстаршину Магуайра... Ну и что же, если его нет на борту... Просигнальте к нему в каюту. Говорит мичман-минер Бейтс... Мак, я тут на этом посту при обезьяне, как ты знаешь... Да, да, очень смешно... А теперь послушай, нам нужен писарь. Второго класса подойдет. Пришли несколько салаг, чтобы стояли на часах, и старшину, чтобы ими командовал. С пушками, при крагах и всем прочем. Нет, никаких пистолетов, но с патронташами — пусть знают, что мы спуску не дадим... Как Мэри?.. Очень жаль, ведь я же тебе говорил, что надо жениться на ней — у бабы собственный бар и кругом шестнадцать... Да, мы в этой гостинице.

Он положил трубку.

— Писарь будет висеть на трубке, салаги никого не будут пускать сюда, тебе не на что будет жаловаться, Пан. Все как во Флориде.

Но Пан скорчился в глубоком кресле и, казалось, не обращал ни на кого никакого внимания. Доктор Бедоян взглянул на ручные часы.

— Может быть, это пройдет, Пан. Может быть, это только временно.

Пан посмотрел на него усталыми глазами.

— Что?

— Стремление говорить. Может быть, ты превращаешься опять в шимпанзе.

Пан покачал головой и обхватил колени руками. Доктор Бедоян подошел и приложил руку к обезьяньему лбу.

— Температуры нет,— сказал он.— Почему бы тебе не пойти в одну из спален и не прилечь? Я никому не дам тебя беспокоить.

Пан Сатирус продолжал неподвижно смотреть на безупречно чистый и прочный гостиничный ковер.

— Послушай,— сказал Горилла,— сейчас будут эти салаги. Ты можешь погонять их. При мичмане салаги выполнят любую твою команду. Потешишься вволю, Пан.

Пан медленно тер ладонями угловатые колени.

— Выпей,— сказал Счастливчик, но убежденности в его голосе не было.— А потом я велю, чтоб прислали дам, и мы устроим бал, как во Флориде. Ты расскажешь доктору, как помог нам зашибить деньгу в том кабаке, где был музыкальный ящик, как ты отплясывал с теми девками. А то давай смоемся...

Счастливчик внезапно оборвал свою тираду.

— Ладно,— сказал он.— Все это колеса. Но подумай, Пан. Ты будешь получать десять тысяч долларов в неделю. Сколько стоит шимпанзе, пятьсот или тысячу долларов? Ты сможешь выкупать всех шимпанзе во всех зоопарках, ты будешь делать это, как только их будут ловить. И выпускать на волю...

Пан Сатирус, наконец, заговорил. Он вытянул руки и коснулся ими пола, а затем, опершись на них, как на костыли, качнулся вперед.

— Обезьяна — это обезьяна, а не филантроп. Я любил свою мать. Мне нравилось играть с маленьким гориллой, когда позволял куратор. Я любил общаться с другими шимпанзе, но.... Только человек покупает благодарность, славу, счастье. К тому же мои телевизионные выступления, вероятно, сорвались, когда я сорвал с девушки платье.

Доктор Бедоян подошел к Счастливчику и приложился к бутылке, которая была у радиста. Потом он повернулся лицом к Пану.

— Да,— сказал он,— выступления сорвались. Пока ты был в обезьяннике, мы с куратором поговорили с представителями телевидения. Ветеринар зоопарка тоже присутствовал. Все мы трое пришли к выводу, что ты достиг возраста, когда становишься небезопасен.

— И вы надумали застрелить меня, доктор? Надумали сделать мне незаметно смертельную инъекцию, мой друг Арам?

— Ты же понимаешь, что это не так.

Черные глаза врача — почти такие же темные, как у Пана, но менее крупные и с белыми белками — настороженно следили за шимпанзе.

Пан презрительно махнул рукой.

— Да, конечно, я понимаю. Вы собираетесь упрятать меня в очень прочную клетку с задней комнатой, которая запирается издалека, с помощью специального механизма. И когда вам понадобится почистить переднюю клетку, вы будете направлять на меня струю из пожарной кишки, чтобы я убрался в заднюю комнату. А когда вам понадобится почистить заднюю комнату, вы будете выгонять меня пожарной кишкой в переднюю клетку. И перед моей клеткой поставят раму со стеклом, чтобы я, в свою очередь, не мог пустить струю в посетителей. Верно?

— Пан,— сказал Горилла.

Шимпанзе обернулся к нему, и на лице его появилось подобие улыбки.

— Да, Горилла?

— Я говорил тебе, еще когда ты попал на борт «Кука»: что захотят мичманы, то командир и сделает. Я прослужил много лет и имею высокое звание. Тебя все будут уважать, даже если выше звания талисмана ты не шагнешь.

— Вот кто, черт подери, может установить антенну в шторм,— сказал Счастливчик.

— Нет,— возразил доктор Бедоян.— Ни я, ни кто-либо другой, с кем будет советоваться капитан, не даст гарантии, что это безопасно.

Счастливчик встал, одернул форменку.

— На чьей вы стороне, док?

— На стороне Пана. Насколько мне известно, если он будет развиваться, как любой самец шимпанзе, он очень скоро станет нетерпим к человеку, и все будет приводить его в бешенство.

— Он не шимпанзе,— сказал Горилла.— Он деградировал.

— Регрессировал,— поправил доктор Бедоян.— Согласно его собственной версии. Но спросите его, кем он себя чувствует — шимпанзе или человеком?

— Доктор прав, Горилла,— сказал Пан.— Это будет небезопасно.

Моргая, он заковылял по комнате. Но ни один шимпанзе еще никогда не проливал слез. Он поднял трубку.

— Комнату мистера Макмагона, пожалуйста.

Он неуклюже держал трубку рукой с коротким большим пальцем, а все смотрели на него.

— Это Пан Сатирус, мистер Макмагон. Шимпанзе. Я готов продемонстрировать сверхсветовой полет, сэр... Нет, боюсь, что мне не хватит слов объяснить все вашим специалистам, а мои пальцы не привыкли к карандашу, и я не могу вычертить схему. Я принужден продемонстрировать это на настоящем космическом корабле. Не могли бы мы утром отправиться на Канаверал? Нет, не сегодня. Я даю прощальный ужин своим друзьям. А тот, официальный, банкет вам придется отменить.

Он положил трубку, проковылял к Горилле и выпил виски, что оставалось в бутылке у радиста.

Затем он вернулся к телефону и снова попросил мистера Макмагона.

— Пришлите мне сюда с кем-нибудь из ваших ребят тысячу долларов,— сказал он. И резко добавил: — Делайте, что вам говорят!

Счастливчик вытащил из-под форменки еще одну бутылку. Пан взял ее и выпил добрую половину.

— Свистать всех наверх, Счастливчик,— сказал он, подражая рявканью Горильлы.— Есть у них коридорные в этой дыре? Скажи им, пусть пришлют девок подороже.

глава 17

"CAÑAVERAL: (m.) Sitio poblado de cañas. Plantio de caña de azucar".

Pegueño Larrousse, Illustrado, 1940. *

Утро было безоблачным; сойдя с самолета, Пан прикрыл голову длинными пальцами. Счастливчик снял свою белую шапочку и подал ему.

— Спасибо,— сказал Пан. В голосе его звучал надрыв.— С похмелья это солнце... Голова как пивной котел.

Счастливчик невесело рассмеялся.

— Прожарь хорошенько свои мозги и, может, деэволюционируешь совсем и станешь настоящим моряком.

— Регрессирую,— поправил Пан.— Нет, боюсь, что это не поможет.

Их ждали машины, которые тут же двинулись к длинному низкому зданию рядом со стартовой площадкой. Мистер Макмагон выпрыгнул из машины первый и распахнул дверь перед доктором Бедояном и Паном. Следом вошли Счастливчик и Горилла. Моряки посмотрели на генерала Магуайра, который при двух звездах си-

* «Каньавераль — поле, засаженное тростником. Плантация сахарного тростника». Малый иллюстрированный словарь Ларусс, 1940 г. *(исп.)*.

дел за письменным столом, и стали по обе стороны двери по своей привычной стойке смирно-вольно. Генерала окружали штатские. Один из них сказал доктору Бедояну:

— Доброе утро, Арам.

— Доброе утро, доктор,— откликнулся тот.

— Приятно видеть тебя снова, генерал,— сказал Пан Сатирус.— А где же твоя милая супруга?

— В Коннектикуте,— ответил генерал Магуайр.— Итак, он решил взяться за ум, доктор?

— Можешь говорить непосредственно со мной,— сказал Пан.— Все в порядке. Да, да, генерал. После того, как я увидел Нью-Йорк во всей его красе и мощи, прошу прощенья за цветистое выражение, я пришел к выводу: Америку не надуешь.

— Я всегда это говорил,— сказал генерал.

— Я так и думал,— согласился Пан.— Он обратился к человеку, стоявшему справа от генерала: — Если у вас сохранился мой старый... безымянный... космический корабль, поставьте его на стартовую площадку. Кажется, я могу показать вам то, что вас интересует.

— Сверхсветовой полет, Мем?

— С вашего разрешения, меня зовут Пан. Или мистер Сатирус. Да, сверхсветовой полет.

— А не могли бы вы дать мне объяснения?

Пан покачал головой. Он пугающе зевнул, потер голову обеими руками. Потом сел на пол и почесал голову ногой.

— Я не видел ни одного шимпанзе, который бы так делал,— сказал врач.

— Вы правы, сэр,— сказал Пан.— Прошу прощенья. Эта привычка появилась у меня в полтора года: посетители зоопарка находили это забавным.— Он снова зевнул и обратился к серьезному человеку, который задавал ему вопросы:— Я плохо провел прошлую ночь. Нельзя ли покончить со всем этим и дать мне возможность снова стать лабораторным животным?

Некоторое время все молчали.

— Нет, Пан, мы не можем это сделать. Другие шимпанзе знают всякого рода секреты... Вы говорите по-английски, значит, я полагаю, можете говорить и на языке шимпанзе. Очень скоро у вас будет больше секретных, опасных сведений, чем это позволено иметь какому-либо человеку.

Пан подогнул колени и стал раскачиваться на руках.

— Значит, остаток жизни я проведу в одиночном заключении? — Он почесал голову и добавил: — На первый раз я готов не придавать значения тому, что вы назвали меня человеком.

— Этого больше не повторится. Нет, вы не будете сидеть в одиночке. Дайте нам сведения, которые нас интересуют, и мы купим вам двух красивых самок шимпанзе. По рукам?

Пан стал раскачиваться более энергично.

— Вы говорите, как человек, профессор, если мне позволено так вас называть.

— Да, я профессор.

— Вся беда в том, что я ничего не могу вам рассказать. Я обыкновенная обезьяна, и мне не хватит слов, чтобы все объяснить.

Счастливчик кашлянул. Но Горилла Бейтс недаром прослужил на флоте тридцать пять лет: он по-прежнему стоял навытяжку.

— А как насчет схемы? — спросил профессор.

Пан протянул вперед свои руки с короткими большими пальцами — жалостный жест нищего бродяги из какого-то фильма об Индии. Быть может, он видел это по телевизору.

— Но я могу показать вам,— сказал он.

— Когда эта обезьяна забралась в космический корабль в прошлый раз,— сказал генерал Магуайр,— она перепутала там все к чертовой бабушке. Мне придется теперь целых полгода марать бумагу — писать отчеты.

— Да, я знаю,— сказал профессор.— К тому же, ваш корабль разобран до основания, Пан. Стараемся узнать, что же вы с ним сделали.

— Когда я стартовал, тут стоял наготове «Марк XVII»,— сказал Пан.

В комнате наступила тишина. Генерал Магуайр, как и следовало ожидать, взорвался.

— Черт побери, на базе объявляется поголовная проверка на благонадежность с точки зрения государственной безопасности. Никому не разрешается покидать свой пост, пока...

Пан Сатирус легко прыгнул к нему на стол и уселся, скрестив ноги.

— Не надрывайся, генерал. Слухи доходят и до обезьянника при лаборатории.

Профессор сказал:

— Я мог бы процитировать слова Гамлета о мудрецах, обращенные к Горацио, но не стану. Есть ли возможность переделать «Марк XVII» так, чтобы он полетел со сверхсветовой скоростью?

— Да, как и любой корабль, который у вас имеется. Все они работают на одном принципе.

— Разрешите подумать,— сказал профессор.— Я никак не могу собраться с мыслями... «М-17» меньше, чем ваш корабль. Это чисто опытный образец. Мы посылаем в нем макаку.

— Японскую обезьянку? — спросил Пан и рассмеялся.— Если это та, о которой я думаю, потеря будет небольшая... Хорошо, сэр, я добровольно соглашаюсь занять ее место.

Профессор покачал головой.

— Вы же вдвое больше.

Пан кивнул.

— Уберите аналь...— Счастливчик кашлянул,— ту штуковину со дна кабины, и освободится много места.

Профессор подался вперед, положил руки ладонями на стол и посмотрел Пану прямо в глаза.

— А откуда мне знать, что вы не морочите мне голову?

— А откуда вам знать, что вы не можете сами полететь со сверхсветовой скоростью? Попробуйте слетайте. А морочить вам голову — это мартышкин труд.

Две пары глаз — обезьяны и человека — смотрели в упор. Профессор первым отвел взгляд. Он выдохнул воздух из легких, прямо Пану в лицо, поднял руки и откинулся на спинку стула.

— Хорошо, мы рискнем.

— Я против,— сказал генерал Магуайр.— И прошу это запротоколировать.

Голос профессора звучал устало.

— Протокол не ведется, генерал. Это внеплановое совещание. Наш старший врач и доктор Бедоян, присутствующие здесь, охотно подтвердят, что шимпанзе, известный под именами Сэмми, Мем и Пан Сатирус, вскоре станет совершенно бесполезен.

— Я тоже охотно засвидетельствую это,— сказал Пан.— Я чувствую, что с каждым днем становлюсь все более грубым и вспыльчивым.

С помощью рук он тихонько передвигался по столу. Оказавшись против генерала Магуайра, он оскалил длинные зубы.

— Если протокол не ведется,— сказал генерал Магуайр,— то пусть его начнут вести. Разве никому не приходило в голову, что это, может быть, не шимпанзе, а замаскировавшийся русский?

Даже начинающий художник смог бы изобразить наступившую тишину — она была густой и вязкой, как растительное масло в Арктике. Счастливчик позже клялся, что слышал, как щелкнули каблуки Гориллы, но Горилла это отрицал.

Первым опомнился доктор Бедоян.

— Вы кладете пятно на мою профессиональную честь, сэр,— сказал он.

— Сынок, вас только что повысили в должности,— шепнул на ухо Бедояну старший медик.

— Ах, да,— сказал генерал Магуайр,— я об этом не подумал.

— Уведомите службу безопасности, генерал,— сказал профессор.— Никаких сведений прессе, пока все не будет закончено. А потом очень короткое заявление: шимпанзе запущен на орбиту; полет был успешен — или неуспешен.

— Вышло или не вышло,— сказал генерал и удалился.

Пан Сатирус соскочил со стола, заковылял к двери и остановился между Счастливчиком и Гориллой. Взял их за руки.

— Вас двоих он слушается? — спросил профессор.

— Да, сэр,— сказал Горилла.

— Тогда уведите его в ту комнату.

Когда они направились к двери, заговорил старший медик.

— Пан, это будет примерно через полчаса. Макаку уже привязали к кабине; мы должны убрать ее и ту... штуковину, о которой вы упоминали.

— Ладно.

— Вам не следует пока что ни есть, ни пить.

— Хорошо.

Медик посмотрел на Счастливчика.

— Особенно — пить,— добавил он и вышел.

— Дошлый малый,— сказал Счастливчик. Они вышли вслед за медиком в коридор.

Там был мистер Макмагон. Пан отпустил руку Счастливчика и поздоровался с агентом службы безопасности.

— Я вам задал работу, но теперь почти все кончено,— сказал он.— Через полчаса меня запустят в космос. Снова в космос.

Мистер Макмагон посмотрел через плечо Пана на доктора Бедояна.

— С ним все в порядке, док?

Доктор Бедоян пожал плечами.

— Он сам хочет лететь.

— Черт возьми,— сказал мистер Макмагон.— Нельзя же так обращаться с ним. Пан, если вы хотите выпутаться из этой истории, я не паразит какой-нибудь...

Пан Сатирус пристально посмотрел на него.

— Оказывается, в вас мало человеческого.

— Что?

— В устах Пана это самый лестный комплимент,— сказал доктор Бедоян.

— Но я хочу лететь. И ваша родина этого хочет; только так она может получить сведения о сверхсветовом полете. Вам приказано не выпускать нас из комнаты, пока мой корабль не будет готов,— добавил он.— И я не должен ни пить, ни есть, но мне хотелось бы немного жевательной резинки.

— Какого черта, за чем же дело стало,— сказал мистер Макмагон. Он уже ничем не походил на агента службы безопасности.— Послать за ней, или вы сами хотите купить ее?

— Хотелось бы самому. Если мы просидим в комнате еще полчаса, то станем такими же слезливыми, как люди.

Маленькая процессия направилась к военному магазину: Пан в шапочке Счастливчика шел впереди, за ним следовали два моряка, затем доктор Бедоян и мистер Макмагон. А далеко позади тащилось великое множество агентов безопасности, которым Макмагон повелительным жестом руки дал знак держаться на расстоянии.

Дорогу им пересекла стайка ребят — класс из школы для детей работников базы. Детей, живущих на мысе Канаверал, ничем не удивишь; они взглянули на шимпанзе, возглавлявшего эту небольшую процессию, и пошли своей дорогой. Но затем один из них завопил:

— Эй, да это же шимпанзе, которого показывали по телевизору!

Дети оставили своего учителя и подбежали, размахивая тетрадками и листочками, чтобы получить автографы.

Пан остановил мистера Макмагона, собиравшегося подозвать своих сторожевых псов.

— Я хочу поговорить с ними.— Он поднял розовую ладонь, требуя тишины, надвинул поплотнее шапочку Счастливчика и сказал:— Дети.

— Эй! Он и вправду говорит. А я думал, что это у них там такой трюк в телевизоре,— сказал один из мальчиков.

— Ну вот еще, многие актеры говорят сами.

— По-видимому, произошла какая-то путаница,— сказал Пан.— Я не актер телевидения, а настоящий живой шимпанзе. Вы никогда не сможете стать обезьянами, но жить, как обезьяны, вы еще можете; или даже если вы сами вырастете людьми, воспитать своих детей в обезьяньем духе вы можете. Послушайте меня, потому что, вероятно, это единственная возможность в вашей жизни послушать речь, которую произнесет настоящая обезьяна.

Ребята притихли; они привыкли слушать речи школьных учителей, директоров и заезжих политиков.

— Чтобы достигнуть обезьяньего состояния, надо всего лишь подумать, прежде чем что-нибудь сделать, и особенно перед тем, как что-либо создать,— сказал Пан.— Звучит это очень просто, но это как раз то, чего человек не любит делать. Это не в людских привычках — сначала подумать, а потом сделать. Это даже небезопасно — за это могут уволить с работы, а безработные находятся на низшей ступени вашего общества. Дети, думайте. Не создавайте скоростных автомобилей, пока не построите дорог для безопасной езды. Не выращивайте огромного количества пшеницы прежде, чем не будете уверены, что кто-то в ней нуждается. Не переселяйтесь бесцельно туда, где вам будет слишком жарко или слишком холодно. Живите легче. Это так просто. Будьте немножечко больше похожи на обезьян, дети; этим вы, возможно, не продлите себе жизни, но проживете ее гораздо веселее. Другими словами, не стремитесь к чему-либо, пока вы твердо не будете знать, к чему вы стремитесь.

Он опустил руку и улыбнулся, по-видимому, благожелательно, но даже доктор Бедоян не всегда мог с уверенностью сказать, что выражало лицо Пана.

После этого он отправился покупать жевательную резинку.

глава 18

«Гален, бывало, вскрывал больших и малых обезьян и рекомендовал своим ученикам почаще анатомировать их».

*Эдуард Тайсон, «Орангутанг, sive Homo silvestris». * 1699.*

Космическая капсула была готова; медленно двигался вверх подъемник в стартовой башне; Пан и сопровождающая его группа пересекли площадку. Под ними шипело и дымилось жидкое топливо. Не было ни представителей кинохроники, ни телевизионных камер.

Этот корабль был значительно меньше того пресловутого корабля, на котором Пан Сатирус совершил полет не в ту сторону. И ракета, которая должна была запустить его в космос, была значительно меньше — она стоила не больше годового дохода всех жителей какого-нибудь городка.

Пан Сатирус с достоинством занял свое место; прежде чем его пристегнули к сиденью, он успел почесать голову задней конечностью. Но вот ремни пристегнуты, шлем на голове (скафандр был уже на нем), и микрофон пристроен у рта. В его старом космическом корабле не было микрофона.

— Проверка,— сказал он.— Вы слышите меня? Мне бы хотелось, чтобы радист Бронстейн сел за один из радиопередатчиков. Счастливчик, ты управишься с радиоаппаратурой НАСА?

— С любой на свете,— сказал Счастливчик.

— Ну и прекрасно. Я готов к запуску, джентльмены.

Все отошли. Капсулу загерметизировали, и все вернулись в помещения в стартовой башне, а сама стартовая башня отъехала от ракеты. Генерал Магуайр прослушивал переговорную систему.

— Все в ажуре,— довольно сказал он. Но все остальные были настроены не столь радужно. В полном молчании они заняли свои посты в помещении для наблюдения за стартом, а Счастливчик сменил дежурного радиста.

Начался обратный отсчет — от трехсот до нуля.

* Или лесной человек (*лат.*).

Ракета взлетела, ступени отпали, и маленькая капсула начала свободный полет по орбите.

— Этот корабль он не поворачивает в обратную сторону,— сказал доктор Бедоян.

— Он понял, что с США не посамовольничаешь,— заметил генерал Магуайр.

— Радиограмма с космического корабля,— сказал Счастливчик.— «На первой орбите все в порядке. Вижу Африку». Пан, как она выглядит? Прием. «Лучше, чем Флорида».

— Половина Африки — коммунисты,— сказал генерал Магуайр.

Они выпили кофе. Поели жареных пирожков. Прослушали сообщения радионаблюдателей с различных станций слежения и результаты обработки их электронными мозгами с остроумными названиями.

— Это далеко не скорость света,— сказал профессор.

— Ха! — произнес генерал Магуайр.

Мистер Макмагон сунул сигарету зажженным концом в рот.

— Черт! — выругался он.

Примерно через час после старта Счастливчик доложил:

— Космический корабль снова в моей зоне приема, джентльмены... Радиограмма с корабля: «Газую вовсю, Счастливчик!» Еще радиограмма: «Скажи Горилле, пусть всегда драит ботинки до блеска и держит хвост трубой».

— В Атлантическом океане на одном корабле есть станция слежения,— сказал профессор. Он вытирал пот мокрым платком.

— Я слышу космический корабль слабо, но ясно,— сказал Счастливчик.— «А в том кабаке, где была музыка...» Дальше не понимаю. Какое-то странное бормотание.

— Дайте послушать,— попросил доктор Бедоян. Он схватил наушники.— Тарабарщина. Настоящая болтовня шимпанзе.

Он передал наушники старшему медику, который хмуро кивнул головой.

— Радиограмма с океанской станции слежения,— сказал один из радистов, сидевших у приемников.— Космический корабль прямо над головой.

— Доклад электронной машины «ИДИОТИК»,— сказал другой радист.— Космический корабль последнюю тысячу миль пролетел со сверхсветовой скоростью.

— Бог ты мой! — сказал профессор.— Бог ты мой!

— О каком боге идет речь? — очень тихо спросил доктор Бедоян.— О Пане или о Иегове?

— Радиограмма со станции слежения в Фернандо-По,— сказал один из радистов, и в комнате стало очень тихо.— Космический корабль пошел на снижение. Он снова входит в атмосферу. Приводнился.

Счастливчик снял наушники, встал и подошел к Горилле.

— Наше дежурство кончилось,— сказал он.

— Фернандо-По передает, что слышно какое-то невнятное бормотание и плеск воды. Посадка на воду произведена успешно,— сказал радист.

— Океанская станция слежения подтверждает.

Доктор Бедоян присоединился к Горилле и Счастливчику. На них никто не обращал внимания. Они вышли, оставив ученых, военных и агентов выяснять то, что им троим уже было известно.

Счастливчик надел белую шапочку, которую он так часто одалживал Пану.

— Он сел на воду у Африки, чтобы оттуда доплыть до берега,— сказал он.

— И добраться до густого лиственного тропического леса,— добавил доктор Бедоян. Он не был военным человеком и не стыдился своих слез.

Горилла изобразил на лице подобие улыбки.

— Этим большим шишкам вместо космического корабля достанется шиш. Один только шиш.

— На этот раз он полетел в правильную сторону, и притом быстрее света,— сказал Счастливчик.— Прежде он деградировал, а теперь наоборот.

— Регрессировал,— машинально поправил его доктор Бедоян.

Мичман-минер Горилла Бейтс откашлялся.

— А такого слова, как «дегенерировал», нету? — спросил он.

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ

ЧЕТЫРЕ РОМАНА О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ

Не высказать правды — значит отдать ее на службу контрреволюции!

ПЕТЕР КАРВАШ, «Язва»

ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ РУБЕЖИ

Если вы спросите, что за последнее время больше всего волновало чешскую и словацкую прозу — или по меньшей мере ту ее часть, которая особенно близко принимает к сердцу жгучие вопросы современности,— то ответ вы получите такой: проблематика 50-х годов, эпоха начала социалистического строительства. Спору нет, пишутся и издаются вещи с более свежим, более близким нам по времени сюжетом, но на второй план их отодвигает не одно лишь стечение обстоятельств или творческие неудачи их авторов.

Наше общество в последние годы много сделало для исправления ошибок, устранения недостатков, обусловленных, как принято говорить, «культом личности» и проистекающих из отсутствия опыта в построении нового социального строя в атмосфере холодной войны, да еще отмеченных некоторыми специфическими болезнями нашей национальной жизни более раннего происхождения. Можно утверждать, что критический взгляд на это прошлое стал преобладающей чертой идейных споров последних лет. Нынешний день исследует свои корни, чтоб легче было расти дальше. Этим-то — по крайней мере, частично — и можно объяснить, почему книги о современности занимаются преимущественно проблемами личной морали, нередко трактующимися узко и поверхностно и почти всегда — моралистически, в то время как писатели, которые стремятся поднять более значительные социальные вопросы, находят для осуществления своих замыслов плоть и кровь именно в прошлом, пусть недавнем, обращаясь к годам войны и к первым годам наступления социализма. В массовом интересе прозаиков к темам пятидесятых годов несомненно обнаруживается развитое чувство современности и ее потребностей. В этом же вместе с тем проявляется одна из закономерностей развития послевоенной чешской и словацкой литературы.

За последние десять лет мы можем в общих чертах различить три большие группы произведений, посвященных значительным и актуальным темам. Первая группа уже вошла в историю литературы под названием «производственный роман». Этот роман показывал индустриализацию (и коллективизацию), начавшуюся после февраля 1948 года, он создал несколько типов и композиционных приемов, которые для нынешнего читателя — понятно, не всегда справедливо оценивающего явления в их историческом аспекте — сливаются в единую схему: конфликт между несколько идеализированным (и тем самым, естественно, обедненным) коммунистом и реакционными представителями уходящих классов, обрисованными более пластично, более жизненно, но втянутыми, как правило, в действие согласно устоявшейся традиции сюжетно острого, порой приключенческого романа. Чем поспешнее и поверхностнее писатели оперировали фактами новой жизни (или — еще чаще — лишь новыми для них идейными требованиями), тем более принуждены они были обращаться к старым приемам и разрешать конфликты согласно собственным желаниям и иллюзиям, неизбежно совершая насилие над логикой событий и характеров. Разумеется, давление жизненного материала и правдивость, присущая писательскому таланту, пробивали то меньшие, то большие бреши в условности, помогая создавать живые сцены, правдивые острые положения, яркие образы; но, как ни неприятно это признать, ни один из этих романов и пьес не выполнил своей первопроходческой роли без серьезных потерь. Будущий историк, вероятно, отнесется к «Деревянной деревне» Гечко или к трилогии Седлачека «Завод в тени» справедливее, чем их недавние критики, но и он, пожалуй, не сможет отрицать,

что сам принцип политической актуальности и воспитательной направленности скорее дискредитировал, чем утвердил себя в «производственном романе».

Вторая группа произведений численно меньше, но в нее входят четыре романа, ценность которых оказалась более долговечной. Их объединяет — хотя и не для всех четырех книг это будет в равной мере справедливо — тема интеллигенции, ее духовного перевоспитания на рубеже старого и нового социального строя. Отченашек в «Гражданине Брихе» (1953), Бржезовский в «Железном потолке» (1959) переносят центральный момент фабулы в переломные февральские дни 1948 года, и им удается показать через главные образы романов некоторые идейные процессы, типичные и для времени действия, и для того времени, когда романы возникли и вышли в свет.

По-другому решается сходная проблематика в романах «Иди на зеленый свет» Валенты (1956) и «Картотека живых» Фрида (1956). У первого из них атмосфера войны и оккупации служит фоном для тонкого анализа интеллигентского индивидуализма, второй, наоборот, сводит роль главного героя, интеллигента (еще более откровенно автобиографический образ, чем у Валенты) к роли своего рода проводника по адским кругам фашистского лагеря смерти, в котором сконцентрировалась торжествующая бесчеловечность и сопротивляющаяся ей человечность. Тем самым оба достигают более прочного внутреннего единства и более сильного художественного воздействия.

О книге Фрида можно также сказать, что она явилась сигналом для возникновения новой волны военной тематики в чешской и словацкой прозе — волны, достигшей своего апогея в 1958—1962 годах. Нет нужды упоминать о социальных причинах, вызвавших ее к жизни: они отнюдь не составляют чехословацкую специфику. На военную тему в чешской литературе написано много повестей и рассказов (Ян Отченашек, Арношт Люстиг, Людвиг Ашкенази, Иосиф Шкворецкий, Иржи Вейл, Гана Белоградская, Ладислав Фукс), в Словакии преобладал роман крупного, монументального типа, как трилогия Минача «Поколение» и неоконченная книга Яшика «Мертвые не поют». Рядом с ними стоят напряженно-сюжетный роман Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» и юмористический роман «Святая тьма» Гечко (если называть только важнейшие).

Обзор этих трех тематических групп подводит нас к следующей, последней по времени, о которой идет речь в этой статье. Разумеется, с возникновением новой темы прежние не всегда исчезают, и возврат к началу пятидесятых годов вовсе не единственная тема нынешней чешской и словацкой прозы. Появляются повести, рассказы, пьесы о сегодняшней молодежи, которые своеобразно дополняются поэзией — то есть самопознанием — самого младшего поколения; существует и тема моральных конфликтов — любовных, супружеских, семейных, которые в большинстве своем подаются в духе разочарования и примирения с судьбой. Все они взаимно влияют друг на друга: так, Отченашек в своем романе «Хромой Орфей» хочет дать широкую картину созревания поколения, чья юность протекала в годы войны, и вместе с тем с помощью прозрачных аналогий он стремится вторгнуться в то смятение чувств и мнений, которым охвачена часть сегодняшней молодежи.

И еще одна закономерность: если раньше проза шла от изображения войны и освободительной борьбы («Хроника» Илемницкого, «Жизнь против смерти» Пуймановой), через тему освоения пограничных зон к «производственному роману», то теперь она снова возвращается к этому пути: от нестареющей темы войны, от новых взглядов на освободительную борьбу в 1945 году («Трусы» Шкворецкого и «Город на границе» Птачника, оба — 1958 год) к началу социалистического строительства первых послефевральских лет. Таким образом, романы, с которыми мы познакомимся, возвращаются на места, уже застолбленные «производственным романом», но они возвращаются туда, умудренные годами, прошедшими с тех пор, вооруженные знанием. Не удивительно, что новые книги полемизируют со сложившейся в литературе картиной тех лет.

РАЗРУШЕНИЕ ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ?

Полемику, конечно, можно вести по-разному. В свое время много писали об энтузиазме молодежных строек. Черно-белый схематизм многих произведений на эту тему стал для двух молодых прозаиков, для Ивана Климы и Яны Черной, и для их новелл «Безупречный день» (1960) и «Героизм обязателен» (1964) просто предлогом для того, чтобы поставить обратный знак. Они изобразили молодежный коллектив в критическом, прямо отталкивающем свете, но эта их скороспелая полемическая реакция в художественном отношении разбилась о полную зависимость от подобного же схематизма мышления и конструирования действия.

Ладислав Бублик в романе «Становление» вернулся к одной из первых строек социализма, пафосом которой некогда полны были прозаические, драматургические и репортажные произведения, а именно к Новой Гуте имени Клемента Готвальда в Кунчицах. Бублик разлагает форму «производственного романа». Он сознательно отказывается от целостности и завершенности, от «романности» в традиционном смысле слова, он дробит материал и форму своей книги, чтобы из осколков сложить мозаику нового образа. Подзаголовок «Из дневника безвестного строителя» подсказывает характеристику новой формы: более и менее длинные выдержки из дневника, точно датированные, перемежающиеся достоверно звучащими цитатами из выступлений, протоколов собраний, газетных статей и служебных характеристик.

Герой романа Бублика — молодой человек, потерпевший характерное для тех лет крушение. На стройку он попал в наказание,

чтобы у него «выпрямился становой хребет», как это сформулировал его бывший коллега Шведа, ловко выживший его с работы. Кратохвил — бывший рабочий, каменщик, потом он стал журналистом, ему польстила благосклонность директора, он стал плясать под его дудку и во всем старался походить на него, а когда директора сняли и обвинили во вредительстве, то полетел и преданный ему заведующий отделом пропаганды Карел Кратохвил. Итак, перед нами обыкновенный молодой парень, один из многих, кто разбил себе нос оттого, что слишком поддакивал начальству, не имея никакого собственного опыта. Его «авария» и его «наказание» содержат в себе элементы закономерности того времени. Таким образом, история Кратохвила могла бы осветить главнейшие тенденции и взаимосвязи пятидесятых годов, его образ мог бы вырасти до размеров типического.

Одна из причин того, что так не случилось, кроется в фигурах, окружающих главного героя. Автор ввел своего героя в такую среду, с помощью которой он хотел показать разницу между действительностью и шаблонными представлениями о «стройках социализма». Он послал своего Кратохвила на самое «дно» стройки, к ворам, бывшим полицаям, доносчикам и прочим грязным людям. Люди вокруг Кратохвила — только сосуды странных судеб, только листки бумаги, исписанные биографическими сведениями. Они остаются неодушевленными, если не вовсе спускаются до уровня марионеток, послушных авторскому произволу, и не превращаются — по его велению — в трагические восклицательные знаки в конце своих историй.

Понятно, что в окружении неодушевленных фигур и марионеток даже центральный персонаж не может вырасти в подлинный, жизненный тип. Карел Кратохвил пришел на стройку как человек запятнанный, с «подпорченной» характеристикой, но этим, собственно, и ограничиваются его несчастья. Ему оставалось только помириться с женой, сжиться с людьми и привыкнуть к работе. Никаким другим испытаниям автор его не подвергает. Наоборот, Кратохвила вскоре выбрали в партийный комитет, и ему удалось сколотить хорошую бригаду бетонщиков. Таким образом, могло бы показаться, что он распрямился в ходе действия, действительно «выпрямил становой хребет». Но никакими поступками героя автор нам этого не подтверждает. Судя по поступкам, Кратохвил не очнулся от своей пассивности, он и на стройке остался «шляпой», которому женщина должна была сделать предложение, которого легко мог оседлать начальник. Он предпочитал ни во что не впутываться. Конечно, после всего пережитого он имел на это право. Как человеку, мы бы простили ему это. Но нужен ли в романе такой герой? Подлости он не совершает, но и смелостью не блещет. Он нужен, пожалуй, только для того, чтобы выслушать и записать несколько волнующих историй других людей да чтобы исповедаться в своем невезении; а после этого он уже просто фактом своего существования удерживает роман как единое целое.

Бублик намеренно сосредоточил внимание на том, о чем умалчивал «производственный роман»: на судьбах людей несчастливых и запятнанных, на трагических ситуациях, на фактах недоверия и подозрительности. Задачу восполнить обедненную картину того времени он выполнил, в общем, неплохо, а умышленная эмпирическая необработанность материала понравилась и критике, пресытившейся драмами интеллектуального одиночества и супружеских неурядиц, столь обильными в предыдущем и настоящем периоде развития чешской прозы. Оба эти момента объясняют и успех романа у читателей, в этом аспекте безусловно заслуженный. Большего и нельзя требовать от первого романа. Но если рассматривать эту книгу в более широких взаимосвязях, то от нас не ускользнет один общий вывод. Пассивность героя довольно ярко выделяется (но и теряется) на фоне фотографических осколков действия, а серия отрывочных и равноценных (и потому искусственно питаемых лишь романтическими трагедиями) ситуаций не способна создать иного героя. Таким образом, из неиспользованных возможностей «Становления» Бублика можно извлечь полезные уроки.

ПОЛОВИННЫЙ УСПЕХ БОЛЬШОГО ЗАМЫСЛА

С двойственным чувством закрываем мы и роман Карла Птачника «Ночь уходит утром». Он тоже спорит с традицией «производственного романа», но несколько иначе, чем «Становление» Бублика. Дело в том, что книга Птачника является второй частью дилогии, продолжением романа «Город на границе» (1958), в котором автор уже полемизировал с описанием начала социалистического строительства в прозе первых лет после февраля, а конкретно — с «Наступлением» Ржезача, с которым даже перекликается в первых своих главах, представляющих собой точный негатив ржезачевской книги. Хотя Птачник и дополнил своим романом уже укоренившуюся в памяти читателя картину тех лет, обогатив ее более яркими красками, более резкими столкновениями, более выразительными характерами и сильными страстями,— успех его книги был лишь половинным. Автор не сумел с равной энергией развернуть полемическую экспозицию и развить характеры героев, не насилуя их логику и правдоподобие. Второй роман уже учитывает эти слабости. В нем ощущаешь особое опасение автора — как бы в исторический материал не были внесены элементы позднейшего опыта, старание, чтобы персонажи говорили, думали и действовали только так, как могли они говорить, думать и действовать в то время, и чтобы только итоговый смысл их действий сложился бы в некий урок для нынешнего дня. Если к этому строгому стремлению не упро-

стить, не модернизировать обстановку тех лет прибавить еще и богатство жизненного материала, который автор имел в избытке на основании собственного опыта, то несмотря на все последующие оговорки мы можем рекомендовать роман Птачника читателю.

Действие романа «Ночь уходит утром» развертывается в том же маленьком «городе на границе» и не выходит за его пределы. Оно начинается февральским кризисом и сведением счетов с реакцией в 1948 году, кончается же известием о смерти Сталина и возведением траурной трибуны перед городской ратушей.

Однако с самого начала сочность и жизнерадостность птачниковского дара наталкивается на два ограничения. Одно вытекает из необходимости продолжать линии первого романа, тащить груз всех персонажей и конфликтов первой книги по действию второй, нацеленной уже совсем в другую сторону. Птачник, правда, написал самостоятельный роман, и там все понятно и для тех, кто не читал «Город на границе», он выдвинул на первый план совершенно новые фигуры — но и старые персонажи требуют к себе внимания, словно им известна слабость автора к каждому интересному человеческому характеру, каждый из них претендует на местечко под солнцем, хоть на один эпизодик, но от этого новый роман только разбухает.

Птачниковской ненасытности, его голоду по «человечине» мы обязаны лучшими страницами его книг. Но вместе с тем мы убеждаемся, что, пока его талант не будет отшлифован сильной мыслью, он на каждом шагу будет впадать в литературщину.

К тому же, видимо, Птачник понял — а развитие критической мысли за последние годы еще и подтолкнуло его к этому,— что стиль и жанр его предыдущего романа уже несколько устарели и что «хроникальность», навязанная материалом и множеством действующих лиц, может удержаться на уровне задачи лишь в том случае, если ее как-нибудь модернизировать, «отчуждать», если она станет не просто формой, но и некоей критической функцией. Он перенял кое-что из техники «романа о романе» и организовал сюжет с помощью фигуры местного «писателя» Кузмика, который, во-первых, пишет городскую хронику, а во-вторых, делает для самого себя заметки к будущему роману; и вот противоречие между обоими его упражнениями в словесности и должно было способствовать характеристике времени и самого Кузмика. Ко всему этому Птачник прибавляет еще третий план — объективное авторское повествование и старается извлечь особые эффекты из противопоставления этих трех планов. Таким образом, два «ложных видения» Кузмика, то есть одно, рассчитанное на обнародование, другое — личное, беспрестанно сопоставляются с действительностью. Первый план (городская хроника) немножко пародирует официальную газетную фразеологию, второй план (личные записи Кузмика) — представления о жизни неопытного, начинающего писателя, схематизирующего и приукрашивающего окружающее и себя самого. Впрочем, литературная пародия — не единственный и даже не главный смысл этих мест романа, скорее, это побочный продукт. Тут Птачник хотел, пожалуй, подделываясь под стиль документа, добиться большей иллюзии хроникальности.

Сделав Кузмика одной из двух главных фигур романа, Птачник еще туже затянул петлю на своей шее, чем когда перенаселил действие второстепенными лицами. Несмотря на все старания писателя злополучный Кузмик остался, скорее, плодом конструкции, искусственным носителем действия, чем самостоятельным трехмерным существом, хотя Птачник влил в него все возможные эликсиры, какие только используются в нынешней писательской практике. Он наделил Кузмика колеблющейся натурой, изобразил человеком без твердой политической ориентации, наполнил сомнениями, связанными со склонностью к иллюзиям, сделал его брак неудачным, внушил обманчивую веру в собственную литературную одаренность и заставил под конец разочароваться в этом, даже намекнул на его импотенцию — короче, сделал из него сосуд, полный противоречий и неудач, показал человека, растянутого сразу на многих дыбах современной жизни, и все же не сумел внушить нам участия к нему. Многочисленные противоречия висят на этом добродушном и медлительном толстяке, как скверно сшитый костюм. Да и сам Кузмик не очень сильно переживает их, он только страдает — когда чувствует на себе строгий взгляд автора,— а потом откалывает что-нибудь неожиданное. Например, он долго относился к коммунистам с недоверием, потом ревность заставляет его подать заявление в партию, и вот он мгновенно — по крайней мере, в читательских глазах — превращается в непоколебимого активиста, который бодро «изничтожает» разные «руководительские» пороки. Неисповедимы и его дружба, а затем ссора с молодым священником, и его реакция на измену Божены. Для Кузмика — который хоть временами, да проявляет какие-то признаки жизни и немного сотрясает композиционную конструкцию — вполне органична только любовная драма. С обществом он соприкасается лишь как хроникер и водитель такси — то есть связь эта носит поверхностный, внешний характер,

Обе линии романа, общественная и личная, как бы сталкиваются в другом главном действующем лице — это счастливый соперник Кузмика в любви, «председатель района» Ржига. Если что и оправдывает существование романа, то именно эта фигура, прежде всего приковывающая к себе внимание читателя. Оно и понятно: на характере Ржиги действительно можно показать проблематику начала пятидесятых годов. Не один Птачник пытался проникнуть в суть этой проблематики таким образом. До него ей уделял внимание Иван Кржиж в своем романе «Великое одиночество» (1960), и параллельно с ним набрасывает два варианта этого же типа Владимир Минач в рассказах «Вместо цве-

...ев на могилы» и «Дело» из сборника «Записки» (1963). Вокруг птачниковского Ржиги больше эпического пространства, чем вокруг «честного лицемера» из первого рассказа Минача, и он проявляет себя в более разнообразных ситуациях и отношениях. Правда, он не попадает в столь нравственно напряженное положение. Птачник не дал своему Ржиге такой возможности прозреть — наоборот, верный своему принципу не выходить за пределы кругозора людей, живших в те годы, он все время держит Ржигу в рамках обычной партийной работы. И Птачник не морализирует столько по поводу его поступков, как Иван Кржиж по поводу своего солдатского председателя Мартина Соучека, зато и не позволяет ему дешево отделаться. Автор хочет сделать Ржигу подлинным «сыном эпохи», носителем типичных добродетелей и пороков, цельным коммунистом и человеком, достоверным образом тех, кто по искреннему убеждению, не щадя ни сил, ни здоровья, осуществлял социалистические преобразования методами, которые теперь — может быть, не совсем точно — называют «сталинскими». Особенности отношений, сложившихся в Чехословакии, полностью оправдывают Птачника в том, что фигура такого типа и не может быть задумана иначе, как фигура трагическая, как человек «без вины виноватый», зато виноватый больше, без суда наказанный, зато наказанный чувствительнее. Я имею в виду не сам факт смерти Ржиги от переутомления, но то, что смерть настигла его, когда он начал осознавать свои ошибки и решил действовать иначе.

Если же, несмотря на все это, мы установим, что образу Ржиги еще многого не хватает для того, чтобы дорасти до трагического величия, скрытого в самом материале и хорошо понятого автором, то мы отдадим себе отчет, что имеем дело пусть с важными недостатками, но все же с недостатками серьезного замысла, заслуживающего уважения. Птачник хотел показать нам цельного человека. Поэтому к резкому стилю руководства Ржиги, к его строгой и непримиримой натуре он добавил еще и сильную позднюю страсть (долгое время подавляемую всей силой воли и потому проявившуюся тем более бурно) — любовь к Божене Кузмиковой; это могло бы смягчить жесткость Ржиги к людям вообще, должно бы проломить первую брешь в незримой стене, которая начала отделять Ржигу даже от его ближайших сотрудников. Так, видно, было задумано. Но в конкретной ткани романа Птачник нам этого не показал. Сам Ржига строго отделяет в себе частное лицо от политического работника, как того требовала мораль его времени и его среды, и автор как будто идет тут у него на поводу, не договаривая — может быть, потому, что сделать это ему мешает сложное взаимодействие литературных планов в его романе, — не договаривая то, что начало в Ржиге меняться под влиянием любви и что читатель должен (хотя его на это не наталкивают), как правило, додумывать сам. Птачник, видимо, не нашел тех настоящих трагических граней, за которыми воля односторонне рассуждающего и действующего коммуниста перерождается в произвол догматика и сектанта; и он во многих местах оставил Ржигу, даже в области партийной работы, человеком как бы расслоенным, с честными замыслами и неприятными качествами. Временами Ржига нам кажется дюжинным самодуром, мелким диктатором, по-мелочному мстящим за личные обиды. Много отрицательных черт придал Птачник Ржиге: он и бесчувственный, и культуру не любит, и шуток не понимает, может быть грубым и неприятным, действует властно. Все эти свойства и их проявления достаточны, чтобы вызвать у читателя отвращение к герою. После всего этого автору, конечно, очень трудно уговорить нас, что Ржига поступает так только потому, что он, в сущности, честный, самоотверженный, хотя и суровый человек. Нам хотелось бы, чтобы так оно и было, потому что это отвечало бы смыслу и характеру эпохи и хорошо согласовывалось бы с условиями, которые могли сложиться в маленьком городке, но весомость конкретной художественной реальности убеждает нас в этом лишь наполовину. Ржига не дорос до трагической высоты, потому что он составлен из двух разнородных элементов, потому что он — несмотря на замысел автора — не цельный, не монолитный характер. Бесспорно, Птачник честно единоборствовал с актуальным материалом и поднял в высшей степени важные проблемы. Однако результат ослаблен несоответствием между богатством жизненного материала, очень правдоподобного в деталях, и бедностью общей концепции, отчего сюжету навязываются некоторые искусственные, схематические черты, а кое-какие места — особенно вначале — обременены дидактизмом. Другое несоответствие объясняет и недостатки концепции, оно ослабляет ее изнутри: несоответствие между стремлением не упростить действительность, не переложить черной краски в угоду некоторым нынешним взглядам, представить жизнь не пересластенной и не пересоленной и — это ясно ощущается — боязнью додумывать, договаривать, углубляться в неисследованную область.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ ИЛИ МОРАЛИЗМ?

Не будем предвзятыми: не всякая априорная идейная конструкция обязательно означает обедненность литературного образа, так же как избыток эмпирики — кстати, это мы видели у Птачника — еще не гарантирует от нежизненных схем. Иной раз умнее бывает сам материал, иной раз — авторское восприятие. Но если перед нами лежит ярко выраженное «тезисное» произведение, написанное в духе излюбленного нынче интеллектуализма, как это имеет место в следующем разбираемом ро-

мане, то мы обязаны спросить: насколько правдивы идеи, насколько точны тезисы, которые автор решил оживить в эпическом действии?

Роман Климы «Час молчания» никак не может пожаловаться на неблагосклонность критики. После своего «Безупречного дня» Клима сделал большой шаг вперед как художник, и роман его выше среднего уровня нынешней чешской прозы. Однако восторги критиков кажутся мне преувеличенными, хотя отчасти я понимаю поклонников Климы. Первые главы сильны и впечатляющи. Они переносят нас в Восточную Словакию, в самый восточный ее уголок, и попадаем мы туда в последние месяцы войны и первые месяцы после освобождения. Мы оказываемся в странном, даже экзотическом мире, в краю, забытом богом и людьми, где главные бедствия — наводнения и малярия, где характеры резче, а прошлое людей пестрее, чем в других местах. Мы знакомимся со своеобразным народным философом фельдшером Лаборецким, с его одиноким, бесплодным бунтом против войны. Встречаем одного из главных героев романа Павла Мольнара — брат его пал на Восточном фронте, мать умирает дома. Всюду темнота, самогон, грязь. И по этой отсталой земле еще проносится война. Казни, пожарища, рвущиеся мины, мертвые и раненые. Несчастная, пьяная женщина сдирает одежду с мертвых немецких солдат, деревенские подростки монтируют из обломков грузовик — каждый старается урвать что может.

Но жил на другом конце страны инженер, он любил девушку, а она не вернулась из концлагеря. Горе приводит инженера в заброшенный край. Он приехал сюда землемером. В лесах еще мина на мине, ежеминутно кто-нибудь подрывается, и в первую же ночь инженеру приходится держать зонтик над доктором, который оперирует раненого. Лишь несколько первопроходцев вышло на бой с наследием столетий: доктор, инженер, учитель. Учитель хочет научить людей выращивать виноград и табак, но паводок смывает его опытный участок. Учитель сдается. Еще один безрезультатный бунт после смерти Лаборецкого. Деревню по-прежнему держит в руках священник, который во время войны выдал немцам семью коммуниста. Роман развертывается двумя параллельными полосами: одна — это история инженера Мартина Петра, другая состоит как бы из самостоятельных рассказов, в каждом из них выдвигается на первый план кто-нибудь из действующих лиц, и через все проходит молодой Павел Мольнар, объединяя их нитью своей судьбы. Первая часть романа более связна, ее апогей — глава о том, как инженер подружился с местным коммунистом Василем Федором, и о том, как бендеровцы на рождество вырезали всю семью Федора и инженер везет трупы на санях в город.

Там, где находится высшая точка романа (высшая в художественном отношении, но отнюдь не по замыслу автора), кончается эта чистая по стилю баллада о тяжко испытуемых людях, о забытом крае, баллада, в которой много сумрачной поэзии и экспрессии чувств. Думается мне, если бы Клима поставил на этом месте точку, ему достаточно было бы добавить еще несколько черточек, и получилась бы цельная, внутренне крепкая повесть, и она была бы сильнее теперешнего романа своей стилистической чистотой и собранностью, своим ничем не разбавленным пафосом протеста против войны, опустошений и отсталости. И образам романа такое ограничение пошло бы на пользу. Силуэты лишь намеченных, не выпуклых характеров очень годятся для баллады, для краткой новеллы — но им не унести на себе романа, который возник в результате того, что судьбы их были прослежены дальше. Клима обладает не только честолюбием художника, убеждающего своими образами. В нем, быть может, еще сильнее честолюбие бичевателя пороков, ревнителя морали. Притчам же не нужны плоть и кровь и реалистическая самобытность характеров. Климу-художнику во второй части романа активно вытесняет Клима-моралист, у которого сложилось отчетливое представление о прошлых годах, и на это свое представление он нанивает дальнейшее действие. Гравюрная чистота баллады исчезает, уступая место продуманной игре контрастов и параллелей, задача которой — пустить в ход подготовленные тезисы и организовать положение так, чтобы прозвучали готовые моральные выводы. Первый такой контраст бросается в глаза в пятой главе «Шутник и безумец»; безумец Адам кончает ненужным самоубийством, на которое его толкнула шутка отца Павла, а Павел и Янка впервые встречаются для любви. Теперь судьбы двух главных героев вступают в своеобразные параллельные отношения. Все, что переживает один из них, в какой-то форме приходится пережить и другому, причем центр тяжести лежит уже на судьбе инженера, а история Павла только как бы аккомпанирует, дорисовывает ее. Инженер увез тела убитых Федоров, Павел нашел раненого Смоляка и спас ему жизнь — в обоих случаях имели место покушения на коммунистов: иллюстрация к положению о том, что классовая борьба обострилась. Инженер предал своего друга Давида Фукса, невинно обвиненного и арестованного, не вступился за него — и тотчас же, следом, Павел предает Алехина, обвиненного в саботаже: в обоих случаях перед нами прозрачные примеры нарушения законности. Брак Павла и Янки распался — и брак инженера со сверхсознательной девицей из Союза молодежи (она настолько картонна, как если бы забрела сюда из «Безупречного дня») тоже на краю катастрофы. Но за этой последней параллелью скрывается еще одна: разочарование Павла в личном счастье — сопроводительный мотив к разочарованию инженера в практике строящегося социализма; оба придумали идеальный предмет любви, поверили в него, а

действительность показала им его в совершенно ином виде. Деформация идеалов, а не утрата иллюзий — вот главная движущая сила их драмы.

Здесь надо остановиться и задуматься, потому что мы приближаемся к истокам морали автора. Нас подводит к нему мотив обещаний, обманов, несправедливостей, мотив как бы первородного греха тех, кто взял власть,— коммунистов. Этот мотив выплыл уже в главе о Василе Федоре, в его странных разговорах о смысле революции, в намеках на обиды, грозящие нам, на то, как изменились некогда крепкие товарищеские связи,— рассуждения и намеки, довольно необычные для сельского коммуниста. Полным голосом зазвучал этот мотив в главе о февральских событиях, главе, представляющей собой сплошной диссонанс, сплошное предсказание будущих ошибок. Слышится в этой главе уже и «молчание» — «час молчания»,— молчание народа, который-де не находит общего языка с коммунистами. Я вовсе не собираюсь утверждать, что Клима чернит действительность и не видит в послефевральском развитии ничего, кроме ошибок и превышений власти. От автора растравляющего морализаторского романа мы и не ждем цельной, пропорциональной картины социального движения, какую старался дать, например, Птачник. Кто хочет протестовать — должен выискивать крайности и перегибы, должен показывать нам агитацию за сельскохозяйственные кооперативы в форме грубого административного нажима, а протест коммунистов против этого — малодейственным. Единственное, о чем мы можем спорить с автором, это о соответствии его проповеди — не о пропорциях, не о деталях, а о соответствии — тому, что происходит в действительности. Но для этого нам надо углубиться в его мораль. Недаром в романе Климы коммунисты появляются только в двух основных ипостасях: они либо утописты, которых жестоко разочаровывает все, что происходит после февральских событий, либо карьеристы и приспособленцы, ищущие в новом порядке выгод для себя. Одни коммунисты являются к людям забытого края с обещанием солнечного будущего, когда наступит царство справедливости и человек возлюбит человека. Допустим, что край этот узнал только таких коммунистов — проповедников и просветителей — и ни одного из тех, кто сумел бы сказать людям что-то более конкретное, более близкое их повседневному опыту. Даже если допустить такую неправдоподобность, все равно мы подозреваем, что автор выбрал именно такой тип агитаторов только ради контраста с дальнейшим. А дальше приходят туда другие коммунисты, сгоняют крестьян в кооперативы грубыми административными методами. В результате — упреки: вы нам обещали златые горы, более человеческую жизнь, справедливость, а что вы нам дали? Вместо одной ненависти, собственнической,— другую, классовую. Вместо старого бесправия — новые нарушения законности.

Так начинают рассуждать наиболее справедливые из обитателей романа Климы: отец погибшей возлюбленной инженера Петра, потом молодой коммунист Смоляк, который отказывается от мести тем, кто выдал его родителей немцам, и, наконец, сам инженер Петр, понявший, какой урожай предстоит ему собрать. Можно ли утверждать, что они неправы? Ошибки, перегибы, судебные преступления, случавшиеся в те годы, многих заставляли рассуждать так. Но важен вопрос: может ли чувство справедливости социалистического писателя довольствоваться этой эмоциональной реакцией, как бы оправданна она ни была в отдельных случаях? Не следовало ли бы ему рассуждать конкретнее, искать истины глубже? Но не станем перенимать у Климы тон моралиста. Мы призваны не переделывать его роман, а только понять, что же он, в сущности, написал: роман «нравственного очищения», как его в том уверяют некоторые подобно же рассуждающие критики, или роман о мечтателях, упавших в грязь действительности, об идеалистах, которые сделались коммунистами, а потом жестоко страдали при осуществлении их идеалов,— роман, словно написанный человеком той же обманутой мечты и растоптанных идеалов, как его герои в конце книги. В сущности, мораль романа заключена в рассуждении одного из главных персонажей книги: «Но в реальном мире он не мог ничего достичь, поэтому он должен был выдумать мир другой».

Вот к чему приходят в конце романа оба его героя. А вместе с ними и автор, который, как и инженер Петр, не хочет уже поверить в «горы, которые стоят тут от века», и легкомысленно отвергает литературу социалистического реализма: по его мнению (как он пишет в своем интервью «Литерарним новинам»), эта литература односторонняя, она видит человека только с точки зрения его места в общественной жизни, пренебрегает этикой, пропускает без внимания, что мы живем в век, когда окончательно разваливается христианство, заставляя нас отвечать на вопросы, на которые оно не давало правильного ответа, то есть на вопросы о смысле человеческого бытия. По мнению Климы, мы должны признать, что тут нас обогнал экзистенциализм и мы должны у него учиться. Он отворачивается от художественного опыта, накопленного социалистическим реализмом. Более протоптанный путь надклассового гуманизма больше привлекает его. Им, героям романа и их автору, когда-то, на пороге построения социализма, мир казался слишком ясным, а потом они в нем заблудились. Вера износилась, боги умерли — зато экзистенциализм предлагает «миф отчуждения» и этический кодекс, который отвлеченностью своей равняется религиозному. По этому кодексу мы, коммунисты, прошли в по-

слевоенные (а в особенности в послефевральские) годы через процесс, который можно выразить понятиями «вина», «познание», «покаяние» и «наказание». И эти слова мы довольно часто встречаем на страницах романа Климы. Автор не приговаривает своих героев к катастрофе, он накладывает на них епитимью. Инженер Петр и Павел Мольнар теряют личное счастье, они утратили не только иллюзии, но и идеалы и снова уходят бороться с наводнениями, на строительство плотин, подобно тому как доктор Риё в «Чуме» Камю остался в Оране, чтобы бороться с эпидемией. Быть может, это — жест. И даже если это жест отчаяния, то все равно он решителен. Однако гораздо важнее то, что за ним последует.

НАКОНЕЦ-ТО ГЕРОЙ

Среди романов, о которых идет речь, в полном смысле слова первая книжка только одна: «Шумный дом» Людвика Вацулика, известного раньше как корреспондент газет и радио.

Роман ли? Можно спорить о том, роман ли написал Людвик Вацулик. Мы в самом деле не найдем тут обычного сюжета с завязкой и развязкой. Вацулик отказывается от них не для того, чтобы из каких-то теоретических соображений отвергнуть или вывернуть наизнанку формы романа. Он и не собирался делать эксперименты. Произведение вырастало по мере того, как шла его жизнь, на нем отчетливая печать автобиографичности, и оно не ставит перед собой слишком высоких художественных целей. Конечно, осуществление замыслов не всегда отстает от этих замыслов: иной раз оно может и обогнать их. Вацулик скромно работал над записками воспитателя в общежитии для заводских учеников. При всем том он не подделывается под жанр документальных записей. Единство действия определила сама среда, а уж нарастание материала по главам он должен был организовать сам. Нелегка была его работа, если подумать, что от начала до конца он, собственно, ничем иным не занимается, кроме как воспитанием молодежи. Все персонажи, в том числе и те, которые чаще всего появляются в «шумном доме», проявляют свои характерные черты только как бы в зеркале педагогических проблем — в ином значении они не существуют ни для автора, ни для читателя. За одним исключением: каждую из девяти «частей» завершают маленькие главки, дающие — семь раз заглядывая в прошлое, два раза в будущее — как бы моментальные снимки из жизни обоих воспитателей, Лысака (автобиографический герой) и его жены Марии. И именно это превращает произведение почти репортажного типа в настоящий роман. Оно прочной нитью сшивает не всегда компактный материал записей и постепенно создает вокруг главных фигур атмосферу симпатии и такого чувства, будто мы давно и хорошо их знаем. Итак: роман, несколько необычный, кое в чем еще неумелый, но все же роман.

Не хочу долго скрывать, чем он прежде всего меня привлек. Впрочем, я выдал уже себя, назвав эту главку «Наконец-то герой». Здесь впервые после целого ряда произведений на общую тему о противоречиях первых лет социалистического строительства в Чехословакии мы встречаем настоящего героя своего времени и нашего поколения. Воспитатель Лысак, от лица которого ведется повествование, не сталкивается с крайними проявлениями вредных тенденций. Поле его деятельности остается ограниченным одним пражским общежитием заводских учеников. Ничего особенного там не происходит, но в будничном его микрокосме атмосфера тех лет отражается нагляднее, чем во многих романах более широкого размаха. В жизни подростков в новом, более резком свете, более сложно и четко воспроизводятся перемены и противоречия молодого общества. А совокупность действий Лысака в этой полной конфликтов среде создает образ активного коммуниста того поколения, которое созрело между маем 1945 года и февралем 1948 года. Образ этот не идеализирован, и потому он так привлекателен.

Впрочем, это не общее мнение. Именно на анализе характера Лысака в печати столкнулись два противоположных взгляда. Один из критиков романа нашел, что герой этот «невероятно идеален», что это «бумажный властитель дум», что автор облегчает ему победу над педагогическими проблемами и что чрезмерное обилие педагогики загубило роман. На это критику возразили, что Лысак вовсе не идеален, что он, наоборот, эдакий простачок, принимающий всерьез все, что ему говорят о социализме, старающийся действовать соответственно с этим, и потому на каждом шагу он набивает себе шишки и идет от поражения к поражению. Полярность обеих трактовок доказывает, что характер героя совсем не односложен. На самом деле Лысак не идеален и не прост. Да, он из тех, кто навлекает на себя громы и молнии. Поминутно с ним случаются беды. И как же иначе, если он отнюдь не умеет держаться так, чтобы всем угодить. Он ведь вырос в период открытой политической борьбы 1945—1948 гг., он немало думал, прежде чем вступить в партию, и сразу был втянут в практическую работу; он не успел закончить университет и после февраля 1948 года добровольно пошел работать воспитателем. Конечно, он верил в идеалы социализма, иной раз даже не будучи в состоянии проверить их собственным опытом, его захватило время революционных действий и массового энтузиазма, однако молодые коммунисты тех лет отнюдь не теряли чувства реальности и сохраняли голову на плечах. Вацулик ничего не приукрашивает. Лысак — коммунист, которому упрямство мешает делать карьеру. У него упрямая голова, а он еще воображает, что может ею прошибать стены. Он умеет говорить прямо, что думает, умеет быть упрямо-последовательным.

В жизни это редко вызывает симпатии — разве что в романах. Лысак решительно не относится к числу людей приятных, да и ученики не очень-то его долюбливают: он им ничего не прощает, ругает за каждый проступок, не смотрит сквозь пальцы, лишь бы не беспокоить себя, дает отпор всем, кто бездушным формализмом и бюрократической беспринципностью портит воспитательную работу, при всяком таком столкновении он умеет быть неприятно-ироничным и саркастическим, а это, естественно, создает ему врагов. Он вспыльчив, не любит ходить вокруг да около, душой и телом он предан своей работе — короче, это участник событий того времени, хотя и показанный главным образом в рабочей обстановке. Не крупный, разносторонний и душевно богатый образ, но живой, правдивый и типический характер.

Побеждает Лысак или терпит поражение? Ответ зависит от того, что считать главным в его деятельности. Если говорить о его спорах с руководителями завода, на котором работают воспитанники Лысака, или о раздорах с другими воспитателями, или о «тихой» войне с заведующим хозяйством «папочкой» Крамперой, с этим воплощением социал-демократического интриганства и оппортунизма, тогда мы, пожалуй, увидим, что хоть Лысак по большей части и прав, но его правота не очень-то ему была полезна. Все его противники и их методы остались в романе живы-здоровы. Если бы Вацулик писал «невероятно идеального героя», он вряд ли бы так часто оставлял его в дураках. Зато его воспитательная работа — хотя и она на первый взгляд складывается из целой цепи мелких досад, возмущений и капитуляций — все-таки не напрасна и приносит плоды, которые сам воспитатель, может быть, уже не успевает пожать. Автор не всегда делает Лысака правым. В своей работе Лысак тоже иной раз спотыкается, бывает то жестче, то снисходительнее, чем того требует дело, но все же благодаря упорству и настойчивости ему постепенно удается создать среди своих воспитанников атмосферу непримиримости к распущенности и эгоизму. Он использует сильнейший рычаг воспитания — коллектив, его общее мнение. Конечно, в его работу врываются и внешние влияния. Половодье фраз и формальных поступков, с помощью которых карьеристы выслуживают себе аттестат сознательных людей, особенно сильно воздействует на мальчишек, только что соскочивших со школьной скамьи, прививая им недоверие ко всему, что пишется в газетах и говорится на собраниях. Идеи и символы, за которые поколение Лысака боролось в открытых схватках и которые поэтому для него многое значили, даже поданные не самым умелым образом, стали для подростков всего лишь составной частью господствующей идеологии и этикета, учебным предметом, чем-то внешним и вышестоящим. Ученики называют друг друга «товарищ» и здороваются словами «честь труду», но в минуту откровенности выясняется, что они столь же механически могут принять и мелкобуржуазную позицию или даже аргументы реакции, которых один из мальчишек наслушался через «Голос Америки».

Есть в романе такое прекрасное качество, как искренняя и горячая партийность.

Вацулик показал не только то, что деформировало сознание молодых коммунистов в послефевральское время, но и то, как они умели противостоять ошибочным тенденциям, как они ежедневно схватывались с ними. И что эта их борьба вовсе не всегда кончалась трагично. И что труды их не пропали даром и влились в великое море сегодняшней действительности. Автор показал все это главным образом на Лысаке, в его действиях, в его характере. Недаром Вацулик заставил Лысака так искренне переживать противоречие между гуманизмом социалистических идей, величием целей революции — и несовершенством людей, призванных осуществлять их, несовершенством, усугубленным еще и теми неленинскими методами, которые создавали в партии благоприятную обстановку для всяких карьеристов. Эту перманентную дискуссию Лысак ведет не сам с собой и даже не с кем-либо из негативных персонажей романа: здесь его оппонентом выступает его жена Мария, человек до того чистый и честный, что может стать совестью всех прочих. Врожденное женское чутье помогает ей достичь самых лучших педагогических результатов, и строже ее нет критика ошибок Лысака. Избрав таких участников дискуссии, Вацулик получил возможность добавить к изображению молодых коммунистов послефевральского периода немало добродушной иронии, потому что Мария так же прямодушна и так же не лезет за словом в карман, как и ее муж. А спор их вертится вокруг одного и того же: чтоб не было противоречий между коммунизмом и коммунистами, между партией и партийцами; и из этого спора вытекает заключение, что «стать коммунистом — задача всей жизни человека».

При всем том Вацулик не питает наивных иллюзий и не думает, что можно уничтожить противоречие между идеалом и действительностью. Наоборот, он считает, что без известной «идеализации» нельзя воспитывать: «Воспитатель должен формировать молодых людей для лучших форм жизни, чем та, которая существует сейчас... Человечество движется вперед, сжигая, как горючее, идеалы молодости, но прежде чем истратятся идеалы одного поколения, подрастает следующее, неся в своих наивных руках новые, полные сосуды». Кто читал роман, тому нет нужды объяснять, что писатель прекрасно знает меру такой «идеализации» и знает опасности, которые возникают, когда переступаешь эту меру. Энтузиазм сверстников Лысака тоже выполнил свою функцию «горючего». Лысак, естественно, не поднимается над кругозором своего

времени, но он мыслит самостоятельно и действует по-своему. Он понимает вредоносность пустых фраз и учит своих ребят презирать заклинания. Социализм существует не для того, чтобы на него молиться, говорит он им. И именно этот антидогматический принцип западает в душу одного из учеников, который через несколько лет приходит к Лысаку посоветоваться относительно вступления в партию:

«— Вернее, даже не посоветоваться, потому что я уже решил, но сказать вам об этом. Мне предложили подать заявление.

Помолчали.

Галек сначала чего-то ждал, и поэтому в первые секунды этого молчания ему пришла в голову неприятная мысль, что он наивный дурак. Но вдруг он почувствовал, что слова его что-то пробудили в душе воспитателя, и с радостью сказал себе, что правильно было зайти к нему.

— В отношении тебя, Карл, это было ясно с самого начала.

— Почему вы так думаете?— спросил он, отметив, что воспитатель назвал его по имени.

— Тебе всегда хотелось все разглядеть с изнанки, а изнанку — еще раз с изнанки. Ты должен был прийти в партию уже в силу одного этого метода.

— А в партии такой метод?— спросил Карл.

Воспитатель от неожиданности запнулся.

— Такой метод — партийный,— ответил он».

Так выглядит победа Лысака, добытая, конечно, не без многих поражений. Без них не было бы и такого результата, потому что характер воспитывающего — наиболее действенное из всех педагогических средств.

Людвик Вацулик написал роман, которому еще далеко до мастерского уровня. Иногда он слишком углубляется в педагогический материал, иногда не в силах справиться с композицией, нередки у него неуклюжие газетные обороты. Но что нам до этого, если погрешности начинающего литератора не увели его от насущных моментов действительности, если он несмотря на них сумел вылепить правдивый характер «героя своего времени»!

ЧТО ОСТАЕТСЯ ДОБАВИТЬ

Сопоставление романов Климы и Вацулика и столь разнородных критических откликов на них приводит нас к одному характерному парадоксу, который легче было бы сформулировать, если бы у нас оставалось место для экскурса в прошлое и в другие области литературы. Такой экскурс привел бы нас на землю Словакии, где еще в 1956 году вышла повесть, возвестившая вновь обращение к теме пятидесятых годов,— «Строящийся дом» Беднара, и где появились два произведения, скорее публицистические, чем беллетристические — я имею в виду «Запоздалые репортажи» Мнячко (1963) и «малую гражданскую драму» Карваша «Язва» (1963). К ним примыкает и повесть Шпитцера «Я ваш» (1964), и повесть Ярославы Коларовой «Только о семейных делах» (1965); все четыре произведения представляют собой актуальную художественную публицистику с отчетливым партийным духом, они не ставят перед собой больших художественных задач, потому что их цель — вовремя вмешаться, открыть людям глаза и лечить недуги без промедления. Нетрудно укорять их в погрешностях против норм эстетики, что и делают некоторые критики. Однако их небывалый успех у читателей заставляет задуматься над фактом, известным уже из истории: свое время переживают не обязательно произведения высокого вдохновения, но иной раз и работы со значительными формальными изъянами, зато обнажающие существенные стороны реальности и захватывающие страстным поиском правды. Было бы неосторожно решать сейчас, какая из названных вещей переживет свое время, а какая забудется (может быть, ни одной из них не суждена долговечность),— для этого у нас слишком мало надежных критериев. Но если поставить рядом «Строящийся дом» Беднара — повесть изысканного построения — и репортажи Мнячко или пьесу Карваша, то нам сразу бросится в глаза несоответствие, на которое мы непрестанно натыкаемся. Работы, сознательно служащие интересам дня, выигрывают — даже и в художественном отношении — в сравнении с вещью писателя одаренного и опытного, но оказавшегося во власти идеалистических представлений и готового прописать для излечения недугов нашего общества христианскую мораль с символом креста. Своей правдивостью менее умелый роман Вацулика перевешивает «Час молчания» Климы, хотя последний написан бесспорно более умело и стилистически уверенно.

Тут на нас может напасть некий воображаемый критик с упреками, что мы недооцениваем художественную сторону рассматриваемых романов, отдавая тем самым — и еще многим другим — дань догматическому прошлому. Прежде чем защищаться от его нападок, мы должны признать, даже не очень самокритично, что мы и впрямь не подвергли эти романы чистому, непредвзятому теоретическому исследованию. Трудно вылезти из собственной шкуры и отречься от личного отношения к жизненному материалу, пережитому всем нашим поколением. Да простится нам, что, оценивая книги и образы пятидесятых годов, мы не чувствуем себя только читателями, но остаемся непосредственными свидетелями и участниками того времени. Повторяю: время было совсем не простое, может быть, именно потому, что многое казалось нам тогда таким ясным, и простым, и близким. Что ж, это беда нашего послевоенного развития, и долго еще будем мы ощущать отголоски того, что наше общество столкнулось с трагическими явлениями «культа личности» на самом пороге его существования, когда оно все еще кипело революционным энтузиазмом и бурным воодушевлением победившего народа. Беззакония и реакция на них переплелись у

нас с естественными детскими болезнями молодого, не устоявшегося и даже еще как следует не дифференцированного социального организма, вредные методы и противозаконные процессы бросают ныне тень и на трудовой энтузиазм, и на революционную решимость пятидесятых годов, на массовое бескорыстие и добровольность. Моральный урон, который понесло от всего этого наше общество, велик, и лечение продлится еще долго.

Вот почему так важно, какими лекарствами, методами это лечение будет осуществляться. И романы, о которых шла речь, возникли под давлением моральной депрессии, глубину которой должно объяснить сказанное выше, а именно: что годы бурного подъема народной энергии совпадали и перемежались — как это выяснилось позже — с годами извращения гуманистических принципов, принципов во имя которых осуществлялась социальная революция. Проявление и образное выражение этого противоречия всякий раз принимает иную индивидуальную форму, но в совокупности взятые, они распадаются на две противоположные тенденции. К одному полюсу тяготеет концепция тех, чье отношение к изображаемому времени и к тому, как оно объясняется теперь, можно назвать трезвым и деловито-деятельным. Эти люди сами прошли через пятидесятые годы, сами работали, не сидели сложа руки, активно участвовали в строительстве и, естественно, разделяли ошибки; сегодня они переоценивают свои тогдашние иллюзии, самокритично анализируют свои мысли и действия и не уклоняются от убеждения, что исправлять испорченное — наша и только наша задача, дело нашей совести, и никому другому этого дела доверить нельзя. В собственной и в читательской совести (причем в той же мере читательской, в какой и собственной,— отсюда столько автобиографических книг) следует воспитать нетерпимость и стойкость по отношению ко всякой попытке повторить старые ошибки; вот почему они избегают сенсационности, поисков виновных и какого бы то ни было морализирования. Взгляд их устремлен прежде всего на человека «обычного», «рядового», на его восприятие тогда и сегодня, на его тогдашнюю слепоту и сегодняшнюю непримиримость. Им хочется действовать немедленно, без оттяжки, и потому они не пренебрегают публицистикой и не думают о вечности.

Другой полюс, напротив, притягивает к себе людей с более отвлеченным восприятием мира. Приверженцы этого направления склонны делать преждевременные обобщения и оценивать ошибки и перегибы как нарушение вечных моральных принципов, как воздействие извечных сил: зла, эгоизма, ненависти. Поэтому нечего удивляться, что в общем они недооценивают конкретные исторические причины того, что происходило, и переоценивают роль личной морали, которую, конечно, ни в коем случае нельзя упускать из виду, но которая — не главная и не решающая причина. Категории вины, наказания и раскаяния образуют фон моральных взглядов этих писателей — взглядов, заимствующих многое от христианства и экзистенциализма. Их произведения обнаруживают еще одну сторону этого знаменательного парадокса: заклятые противники утилитарно-воспитательной функции литературы, сами они больше всего и охотнее всего морализируют вокруг этих тем, проповедуют, учат, затрагивая только тот слой эмоций, на который можно воздействовать непосредственно. Итак, с одной стороны — отход от политической борьбы к личной морали, а следовательно, в сущности, отказ от изучения глубоких исторических причин и социальных зависимостей в пользу «вечных ценностей и истин», с другой стороны — наоборот, острая политическая актуальность, самокритическая откровенность и беспощадность, исследование — без истерики — ран и очистительное лечение правдой.

Сам выбор этих четырех романов из числа многих на ту же тему, надеюсь, уже показывает, чем и как они связаны с книгами, появившимися раньше; что с «производственным романом» у них общее время действия, но зато крайне полемическое отношение к образам и стилю «производственного романа»; что от романов об интеллигенции они переняли стремление углубиться в психологию характера главных героев, правда, не всегда увенчивающееся успехом. А у прозы военной тематики они научились внимательному отношению к человеческим страданиям и выдвинули на переднее, ярко освещенное место ее — часто символический — подтекст. Наконец, сам факт, что эта тема переборола инерцию кризиса и позволила возникнуть нескольким романам, может дополнительно оправдать наш интерес к вещам, во многом несовершенным. Впрочем, не так уж нереальна надежда на то, что главное произведение на эту тему еще только зарождается. Этот жизненный материал имеет еще очень много существенных сторон, которые нынешняя проза далеко не исчерпала.

Перевод с чешского Н. АРОСЕВОЙ

Критика

В. ЯСНЫЙ

БОЛЬШАЯ ПРОЗА ИСПАНИИ

(Заметки о современном испанском романе)

«Стойко держатся горняки Астурии в Пуэртольяно...»

«Демонстрация протеста перед посольством США, солидарность с борющимся Вьетнамом...»

«Студенческие волнения в университетах Мадрида, Барселоны, Бильбао...»

«Сборщики винограда в Хересе, батраки на оливковых плантациях Андалузии бросили работу...»

Таков один день сегодняшней Испании.

Четверть века хозяйничает в Испании маленький каудильо. Франкистский режим, верный наследник самых гнусных черт гитлеризма, последние полтора десятка лет опирающийся на американское золото и военные базы, является оскорбительным анахронизмом для Европы 1966 года.

Франкистская пропаганда громко кричит, что Франко разрешил все проблемы, стоящие перед Испанией, и превратил ее в демократическое государство всеобщего благоденствия.

Но если так хорошо сегодня в Испании, то почему же Барселона, Мадрид, Бильбао и другие крупные испанские города обрастают «шанхаями» и бидонвиллями? Десятки тысяч человек ежегодно эмигрируют? Зато на протяжении многих лет судьи и жандармы — единственно, кто не может пожаловаться в Испании на безработицу. Страна охвачена волной протестов, забастовок.

И в этой борьбе активное участие принимает интеллигенция.

Несмотря на сложное переплетение различных взглядов и настроений, почти все круги ее едины в своей оппозиции фашистской диктатуре. Испанские деятели культуры лишены возможности свободно высказывать свои взгляды, творить. Они живут в состоянии духовной, интеллектуальной несвободы. Жизненный уровень испанской интеллигенции значительно ниже, чем в остальной Западной Европе. Многие писатели и талантливые ученые вынуждены искать прибежища в зарубежных издательствах и научно-исследовательских центрах.

Деятели культуры Испании все чаще ищут выхода в прямых выступлениях против режима диктатуры.

Армандо Лопес Салинас, оценивая роль испанской интеллигенции в этой борьбе, писал: «В стране, где не существуют легальные политические партии, испанский интеллигент, благодаря своим выступлениям, воззваниям, подписанным сотнями имен, в защиту основных демократических свобод... выполняет и ту роль, которую в странах буржуазной демократии выполняет правительственная оппозиция».*

За последние два года в Испании произошли сдвиги во внутреннем положении. Франкистское правительство вынуждено было пересмотреть некоторые законы. Участники экономических забастовок теперь не будут считаться государственными преступниками. Ликвидированы военные трибуналы. Все чаще предприниматели вступают в непосредственные переговоры с трудящимися через головы фалангистских профсоюзов. По-прежнему свирепствует цензура, но и ей приходится в ряде случаев отступать.

«В стране,— как отметил ЦК Коммунистической партии Испании,— начался медленный, но необратимый процесс ликвидации фашистских форм правления».

Это произошло под влиянием многолетней борьбы народа Испании, в передовых рядах которого шли коммунисты. Свой вклад внесли в эту борьбу и прогрессивные художники Испании.

* См. «Иностранную литературу» № 12, 1964.

Характеризуя новое направление в испанской литературе, Хуан Гойтисоло говорит: «Первое, что отличает его,— это реализм». Конечно, декларировать реализм еще не значит создавать действительно реалистические произведения. В Испании сейчас модно говорить о реализме. Под реалистическим флагом выступают и те писатели, художественная практика которых на деле далека от него. Так, например, когда в свое время в Авиле проходил католический симпозиум по вопросам литературы, писатели-католики, в том числе один из наиболее реакционных испанских критиков Этрамбасагуас, доказывали, что только католическое искусство и является реалистическим и, следовательно, наиболее прогрессивным.

В этом нет ничего удивительного. Именно во франкистской Испании, там, где противоречия капиталистической действительности доведены до предела, широкие круги читателей принимают только ту литературу, которая пытается дать ответ на волнующие народ проблемы. Поэтому даже реакционно настроенные буржуазные писатели вынуждены говорить о реализме, обращаться к жизни, говорить хотя бы полуправду о ней. Но не они волнуют и завоевывают признательность читателя. Сегодня в Испании особенно популярны книги художников, которые пришли в литературу в течение последних 10 лет и действительно продолжают лучшие традиции критического реализма.

Это уже знакомые советским читателям по переводам Х. Гойтисоло («Прибой», «Остров», «Печаль в раю» и др.), Д. Медио («Государственный служащий»), Х. Лопес Пачеко («Гидроцентраль»), А. Лопес Салинас («Шахта»), А. М. Матуте («Мертвые сыновья»), А. Гроссо («Страстная пятница»).

Испанию от остальной Европы отделяют суровые, трудно в свое время проходимые Пиренеи. Также и испанская литература на протяжении многих десятилетий и даже столетий развивалась в известной изоляции от основных путей европейской литературы. Франкизм, проповедуя легенду об особых путях развития Испании, о неповторимом мистическом испанском духе, стремился усилить изоляцию страны от остальной Европы.

Сегодня Пиренеи — только деталь пейзажа, быстро проплывающая под крылом реактивного лайнера. И когда мы читаем произведения молодых испанских художников, то видим, как тесно связаны они с европейским реалистическим романом XX века, особенно с послевоенным итальянским.

Новый испанский роман вырос на испанской национальной почве. И в то же время молодые писатели ставят те острые проблемы, которые важны для европейской литературы в середине XX столетия, давая свое, испанское решение этих проблем.

Казалось бы, жесточайшие преследования и ограничения могли бы привести к упадку литературы, измельчанию и обеднению ее тематики, но именно в борьбе за право говорить открыто развивалась, совершенствовалась, находила свои формы выражения новая литература Испании.

Алмаз, как известно, возникает при сверхвысоком давлении. Именно там, где литература — один из самых важных участков, на которых возможен бой за новое со старым, именно в условиях сверхвысокого общественного и политического давления и возникает новый испанский роман.

Испанские читатели не располагают объективной информацией о наиболее важных социальных и политических проблемах, которые стоят перед страной. Поэтому, как пишет Х. Гойтисоло: «В определенном плане роман в Испании несет свидетельские функции, которые выполняет во Франции и других странах Европы пресса. Будущий историк испанского общества непременно должен обратиться к литературе, если он задастся целью восстановить повседневную жизнь нашей страны, скрытую завесой густого дыма и замалчивания в наших газетах».

Новая литература социальна в лучшем смысле этого слова. Круг ее проблем весьма разнообразен: нужда, тяготы и страх, в котором живет народ при режиме диктатуры; тяжкий труд; по-прежнему, несмотря на тракторы и электричество, дикая деревня; бегство крестьян в города, нищета городских предместий; судьбы молодых людей и детей из народа; пустота, безразличие ко всему, нравственное одичание буржуазной молодежи; отчаяние и усталость буржуазии, развал семейных традиций. Страстное желание перемен, стремление к ним, активная борьба с существующим положением, идеи коллективизма и человечности, поиски нового героя — вот чем живет сегодня прогрессивная литература Испании.

Литературное поколение 50-х годов XX века в центре своих произведений все чаще ставит проблему человеческой личности, ценности человека и его места в обществе. Во франкистской Испании человек не уверен в завтрашнем дне. Вспомним, как сокрушенно говорит об этом, например, Хенаро Ичфантес, один из героев А. Гроссо.

Молодые писатели — на стороне простого человека, но некоторые из них видят в нем прежде всего «униженного и оскорбленного», вечного неудачника, жертву, и симпатия их скорее похожа на жалость и сердобольное сочувствие. Герои их — или крестьяне, или жители большого современного испанского города: мелкие служащие, рабочие, актеры, ничего не ждущие от жизни. Только во сне их преследует безумное видение чуда, которое изменит их существование. Они не живут, а словно движутся через бесконечный мрачный туннель. Все направлено на удовлетворение примитивных жизненных потребностей, на то, чтобы приспособиться. Они проигрывают заранее и покорно подчиняются этому. Таковы герои первого романа писательницы Консуэло Альварес «Город мертвых». Горькой меланхолией веет со страниц произведений этого рода.

В. ЯСНЫЙ

А разве не чувствуется горечь в «Страстной пятнице» у А. Гроссо? Не раз говорит он о покорности своих героев, о том, что сегодня в Испании человек подобен животному. Когда Хуана освобождают из тюрьмы, он по-прежнему чувствует себя зверем, которого травят. А образ возлюбленной Хуана, которую А. Гроссо сравнивает с маленьким зверьком, покорно подчиняющимся чужой воле?

Нередко только страх движет поступками бедняков. Страх заставляет того же Хуана подписать протокол допроса с небылицами, из-за которых он может получить несколько лет тюрьмы.

Жизнь бедняков во франкистской Испании нелегка. Редко улыбается им счастье. Да и само понимание этого счастья у них еще очень скромно. Вспомним опять роман А. Гроссо. Для Хуана — это возможность вернуться в деревню, иметь клочок земли да жену, поджидающую его после работы.

Но во франкистской Испании и эта скромная программа неосуществима. Счастье и удача в этих условиях могут быть только случайностью, как выигрыш в лотерее. И недаром в жизни маленького человека в Испании сегодня лотерея играет такую роль. Надеждой на выигрыш живут Пабло Марин и его товарищи по работе в романе «Государственный служащий» Д. Медио. Сообща покупают лотерейный билет бедняки — из пьесы А. Буэро Вальехо «Сегодня праздник». Мечтает выигрышем в спортивной лотерее поправить свои дела Фаустино — непутевый герой романа Х. А. Сунсунеги «Мир следует далее». И у А. Гроссо появляется неизменный старик, торгующий лотерейными билетами. Но лотерея не приносит счастья. В припадке отчаяния готовы задушить друг друга герои А. Буэро Вальехо, когда узнают, что их билет, выигравший крупную сумму, пропал. У напившегося на радостях после выигрыша героя Сунсунеги крадут выигранные им деньги. Выигрыш не спасает от разрушения семью Пабло Марина.

■

Для молодых художников изображение мрачных картин жизни людей, стоящих на самых низших ступенях современной испанской социальной лестницы (например, барселонские люмпен-пролетарии и проститутки у Х. Гойтисоло), не является самоцелью. Эти художники стараются показать, что даже люди-жертвы, такие как герои романа А. Гроссо, которые, подобно Хуану, «боялись жизни больше, чем смерти», даже они все-таки стремятся жить и умеют, пусть скупо, по-своему, радоваться жизни. Сила критического отношения к действительности у этих испанских писателей прямо пропорциональна их вере в человека. Причем для них характерно умение видеть в каждом человеке члена общества. Некоторые из молодых испанских писателей проповедуют, если так можно сказать, своеобразный культ общности, веры в человечество, как в добрый союз людей.

О коллективе, об общности своих интересов задумываются герои Д. Медио — мелкие телеграфные служащие. Этот коллектив трудящихся появляется и у А. Гроссо. А в «Гидроцентрали» Х. Л. Пачеко, в романах «Прибой» Х. Гойтисоло, «Шахта» и «Год за годом» А. Лопеса Салинаса, «Лицо и изнанка» Кораласа Эхеа эта тема получает не только социальное, но и политическое звучание и речь идет не о коллективе вообще, а о коллективной борьбе за свои права.

Характерно, что именно те произведения, где возникает тема рабочего класса, труда, коллективного действия, имели наибольший успех, так как они отразили настроение широких кругов испанского народа, ждущих от литературы ответа на самые больные вопросы современности.

В этом смысле, мне кажется, примечателен роман Х. Лопеса Пачеко «Гидроцентраль» — трагическая история старой деревни. В одном из глухих уголков страны на земле, отнятой у крестьян, сооружается гидроэлектростанция. Построенная по последнему слову техники, она принесла людям вместо радости нищету, разорение, голод.

Книга Пачеко сильна не только своим критическим отношением к действительности. Показывая, что в условиях франкизма развитие техники влечет за собой беды и несчастья, писатель вовсе не отрицает ее, как таковую. Более того, может быть, ни у кого из современных писателей Запада нет такой восторженной влюбленности в технику. Пачеко увидел, почувствовал и сумел опоэтизировать ее, передать красоту производственного пейзажа.

Но дело не только в пейзаже. Для героев Пачеко, рабочих, в труде (как, например, и для героев нескольких романов А. Гроссо, Р. Ньето и др.) заключен смысл жизни.

Казалось бы, непримиримое противоречие — поэтический гимн технике и тут же рассказ о том, как плотина в буквальном смысле превращается в мавзолей для вчерашних крестьян, которые погибли при ее строительстве. Но противоречие это диалектично. Огромные производительные силы, созданные гением человека, стремление к созиданию, присущее человеку,— все это трагически обессмысленно в условиях буржуазного общества и одного из наиболее отвратительных проявлений его — франкистского режима.

В конце романа есть знаменательная сцена — столкновение автомашин, на которых группа рабочих едет на новое строительство, и колонны военных грузовиков. Пачеко весьма подробно на нескольких страницах говорит о каждом из рабочих (вспомним такой же прием у А. Гроссо). Сперва это длинное описание вызывает удивление. Но потом открывается глубокий смысл его. Это своего рода парад: едет рабочий класс, люди труда, влюбленные в свое дело. А с другой стороны — грубая разрушительная сила, все сметающая на своем пути, холодная, равнодушная, бессмысленная и поэтому особенно отвратительная. И столкновение двух колонн превращается в символ — столкновение жизненной, созидательной силы и силы

уничтожающей, мира труда, простых рабочих людей и мира франкизма, мира разрушения.

■

Критический взгляд на существующее положение вещей ясно виден и в книгах тех молодых писателей, которые обращаются сегодня к изображению жизни буржуазной интеллигенции и самой буржуазии. Преуспевающие нувориши, дельцы, стяжатели, «добрые середняки» капиталистического мира, порождение и опора франкистского режима, предстают перед нами в романах Хуана и Луиса Гойтисоло, Хосе Гарсиа Ортелано *. Хавьер, главный герой романа «Летняя гроза», восклицает: «Мы начали войну, и мы выиграли ее, и мы удесятерили капиталы, которые принадлежали нашим семьям до 1936 года».

Хавьер относится к той породе людей, которые «вовсю загребали деньги». Он умеет работать сам и умеет заставить работать других. «Я стал работать как лошадь»,— рассказывает он о том, как сколачивал состояние. Владелец роскошного дачного поселка Белые Паруса для окружающих — воплощение их идеала. «Такие люди, как Хавьер, трудятся в любое время дня и ночи», «Люди тобой восхищаются», «Ты самый сильный человек, которого я знал»,— наперебой твердят ему его друзья, такие же дельцы, как он.

На страницах ряда испанских романов, в частности у Сунсунеги («Бег в темноте», «Мир следует далее», «Сделка ради сына» и др.), мы встречали другие варианты этого характера. Хавьер — внук и духовный наследник дельцов и стяжателей, так хорошо нам известных по романам Гальдоса. В этом отношении образ его глубоко традиционен. И в то же время он дитя своего века. Ортелано не делает своего героя ни хуже, ни лучше, чем он есть. Трезвый расчет в делах, выколачивание денег как основной жизненный принцип, эгоизм и эгоцентризм, с одной стороны, и в то же время способность думать и переживать и, главное, отчетливо представлять никчемность и пустоту мира, к которому он сам принадлежит. Эти качества и приведут Хавьера к бунту.

Спокойно и размеренно-однообразно идет жизнь в земном раю под «белыми парусами». «Восстания, революции, инциденты, безумства. Весь мир спятил»,— говорит один из обитателей этого рая, дон Антонио. «А у нас все спокойно»,— отвечает Хавьер. Герои романа тщательно отгораживаются от всего окружающего мира. У въезда в поселок надпись: «Частная дорога». В поселок запрещен вход посторонним. Сытый, застойный мир. Но чем больше герои пытаются уверить себя и других в своем спокойствии и благоденствии, тем больше ощущаешь их неблагополучие. Мелкие, ничтожные разговоры, ничего не значащие поступки, ускользающие мысли, а надо всем — «какая-то бескрайняя пустота». И все одно и то же каждый день. Манера Ортелано не назойлива, она передает ощущение ненастоящности, мелочности происходящего в этом мирке. Единственная реальность этого мира — удовлетворение своих прихотей и желаний.

Хавьера, пусть и наиболее деятельного и энергичного человека, вполне устраивает эта жизнь. Требуется чрезвычайное происшествие, чтобы выбить его из колеи и заставить задуматься. И тогда перед Хавьером открывается бессмысленность и никчемность его существования. Впервые он замечает простых людей и проявляет внимание к ним. «Они словно стали для меня живыми». Хавьер по-своему искренен. «Почему они живут иначе?» «Как случилось, что я не чистильщик сапог?» — размышляет Хавьер. «Я с каждым разом все меньше понимаю, что происходит вокруг». Хавьер уже не может мириться с окружающим. Не раз он произносит фразы о фальши и лицемерии. «Я просто сыт по горло»,— бунтует Хавьер. «Довольно увеличивать капиталы... слоняясь по званым ужинам... развлекаясь с любовницами и унижаясь перед идиотами, чтобы иметь возможность вложить деньги в новое дело...» Он хочет теперь «жить честно». Ему «страшно умирать, унося в себе столько лжи». У Хавьера появляется желание вырваться из этого мира.

Но единственное, на что он способен,— предложить одной из своих любовниц бежать с ним за границу. Таким образом, бунт Хавьера благопристойный, комфортабельный бунт, вполне укладывающийся в рамки великосветского скандала. И это лишний раз подчеркивает пустоту и ничтожество мира, изображаемого Ортелано. Ведь бунт Хавьера — не во имя людей, которых он впервые заметил, он хочет вырваться, спастись сам. Хавьер и тут эгоистичен, он декларирует: «Не хочу терпеть, я всю жизнь добивался того, что мне нравилось». Но и этот бунт Хавьера быстро сходит на нет. Да и сам он судит трезво: «Если я не буду среди своих, то с кем же я буду?»

Лучезарные «белые паруса», которые легко несли его по этой жизни, лопнули, оказалось, что они сделаны из гнилого материала. Но у Хавьера нет ни желания, ни сил по-настоящему вырваться из того мира, который он создавал своими руками. И в этом одновременно и трагедия сильного человека, понявшего, что всю жизнь он потратил не на то, что надо, и в то же время мелочность этой трагедии.

В самой «невзаправдашности» бунта Хавьера, в неспособности к нему — свидетельство кризиса франкистского режима, который способствовал формированию характера Хавьера. Хавьер верой и правдой служил Франко, воевал на его стороне в гражданскую войну, франкистский режим представлялся ему идеалом современного общества. Сила романа Ортелано

* Подробнее об этом см. статью И. Тертерян «Испанский роман сегодня» в «Иностранной литературе» № 8, 1964.

в том и заключается, что он сумел показать изнутри этот кризис, идейный крах Хавьера, непрочность основ этого общества и самого строя жизни, породившего Хавьера.

Это становится особенно ясно, когда мы сопоставим роман Ортелано с другими книгами современных испанских писателей, которые непосредственно обращаются к жгучим проблемам народной жизни.

Быть может, одним из наиболее страшных проявлений господства франкизма в Испании является крушение этических норм, развал семьи, нравственное оскудение и разложение молодежи и детей. Отвратителен мир, где девочки, еще играющие в куклы, вынуждены заниматься проституцией и покупают кукол на деньги, заработанные на улице (вспомним историю Кораль в романе «Прибой» Х. Гойтисоло).

Судьбы этого мира неотделимы от судеб молодежи. Представители нового литературного поколения безжалостны в разоблачении никчемного, абсурдного существования богатой молодежи, предающейся пьянству, разврату, диким и бессмысленным развлечениям, не способной не только мыслить и трудиться, но и совершить какой-либо поступок, требующий затраты воли и сил.

В страхе перед будущим, не находя ответа на вопрос «что же дальше?!» и не желая знать настоящего, буржуазная молодежь способна на все в своей опустошенности. «Праздники, книги, женщины, деньги вызывают у меня отвращение,— говорит один из героев романа Ортелано «Новые привязанности»,— ...я кончу тем, что убью Фелисидад или собственную мать, как Раскольников, только Раскольников не убивал матери, потому что она не попалась ему под руки».

Во многих книгах (у Х. Гарсиа Ортелано, Хуана и Луиса Гойтисоло и др.) мы встречаем образы детей. И это, естественно, связано с мыслями о будущем своей родины.

Голодные и оборванные, живущие в лачугах бидонвиллей, в чаболах, одичавшие и все-таки веселые и жизнерадостные, ласковые и добрые предстают перед нами дети в повестях Антонио Ферреса, в романах Рамона Ньето и Хуана Гойтисоло.

Светлый мир детства, простота, непосредственность, становление первых представлений о добре и зле, о мире, справедливости, этических нормах раскрываются перед читателем во многих книгах Аны Марии Матуте. Ее главная тема — столкновение чистой и доброй детской натуры с грубостью и жестокостью окружающего мира, встреча с жизнью, в которой господствуют насилие, обман, социальное неравенство, бедность, лицемерие, зависть.

Испанские писатели показывают, как мир буржуазных отношений проецируется в души детей, уродует и развращает их. На страницах их романов появляются дети, уже вобравшие в себя зло этого мира. В романе А. М. Матуте «Первые воспоминания» мы встречаем пятнадцатилетнего Борху, иезуита, лицемера и эгоиста. Автор указывает социальный адрес пройденной им школы. Пока Борха клевещет, ворует, предает друзей, он еще только испорченный подросток. Но, когда он с гордостью заявляет о том, что его отец, франкистский полковник, может расстрелять любого, кого захочет,— он превращается в подлинного сына своего класса, фашистского выкормыша.

Маленький герой Ортелано Хоакин еще далек от того, чтобы стать Борхой. Ему и лет поменьше, да и живет он не в период гражданской войны, а в наши дни. Но и на этом живом, энергичном мальчике, обладающем характером и волей, заводиле всех игр в поселке Белые Паруса, уже лежит печать нравственного разложения.

С холодным любопытством раздевает он мертвую женщину и прячет ее вещи, хотя знает, что идет следствие и заведомо невиновные люди взяты под стражу; для него это отчасти еще игра. Но Ортелано не оставляет сомнений в том, что уже сейчас представляет собой Хоакин. «Он хитер, как лиса,— говорит о нем со смесью тревоги и восхищения Хавьер.— Да и совесть у него не чиста. А нюх просто отличный. В один прекрасный день он станет настоящим орлом в делах, если до этого не попадет в тюрьму или не разобьется о дерево». И этими словами как бы завершается суд над миром обитателей Белых Парусов. Мир этот обречен. Он движется по замкнутому кругу. Ортелано не оставляет этому миру надежд, показывая, как он неизбежно и естественно растлевает и коверкает свое будущее — детей.

С темой детства у молодых художников тесно связана одна из самых острых для современной Испании проблем — проблема семьи. Официальная фалангистская литература немало сил затратила, чтобы доказать традиционную прочность испанской семьи и представить ее как одну из наиболее важных нерушимых основ франкистской Испании. Но в условиях существующего режима семейные связи оказываются под ударом в первую очередь. Разваливается семья маленького служащего Пабло Марина в романе Долорес Медио, рушатся семейные устои у героев романов Х. А. Сунсунеги «Бег в темноте» и «Мир следует далее». Так и не может создать семью Хуан Родригес у А. Гроссо. О какой прочности отношений может идти речь у опустошенных, нравственно неполноценных молодых буржуа, изображенных Х. Гойтисоло в романе «Остров», или у обитателей Белых Парусов? Испанские художники показывают различные аспекты данной проблемы. Так, для Д. Медио и для Х. А. Сунсунеги это прежде всего социальные причины. Ана Мария Матуте, например в романе «Первые воспоминания», раскрывает нравственный смысл процесса распада испанской семьи.

Поколение испанских писателей 50-х годов принесло в литературу новые идеи, следуя гуманистическим традициям прогрессивной испанской литературы.

Некоторые из них придерживаются традиций критических реалистов прошлого и в области формы. Другие же — Х. Гойтисоло, Х. Лопес Пачеко, А. Лопес Салинас, Х. Гарсиа Ортелано (и их большинство) — активно ищут новые формы выражения, следуя при этом по пути современного западного романа, в частности неореалистического. «Тема должна определять технику,— говорит Х. Гойтисоло.— В эпоху железобетона нельзя строить деревянные мосты».

При этом молодые прозаики стремятся к подчеркнутой объективности изложения. Как правило, герой «самовыражает» себя (например, у Ортелано). Автор подводит читателя к тому или иному суждению подбором фактов, связью событий. В этом отношении в новой испанской прозе ощущается близость к детективному роману и влияние кино.

По словам Р. Доменеча, если раньше о событиях в романе *рассказывалось*, то в новом романе «события *происходят* и, поскольку это возможно, на глазах у читателя». Идеи, которые художник вкладывает в образы своих героев, «должны быть идеями героев и никогда не должны быть идеями автора,— замечает Хуан Гойтисоло.— Вместо того чтобы говорить нам: «Фуланито нервничал»,— нужно показать... как он нервничает, не называя это словами». «Рассказывать,— по его мнению,— это занимать определенную позицию — фокусировать внимание, если хотите, на том, о чем рассказывается». Отсюда пристрастие к диалогу.

Молодые писатели заявляют, что они в своей концепции романа идут за Стендалем. Х. Гойтисоло целиком принимает вслед за Стендалем «роман, который, вместо того чтобы отражать общество таким, какое оно есть, предлагает нам изображение этого общества, каким оно кажется». Но в то же время, по мнению молодых испанских писателей, действительность должна отражаться в литературе не механически, а с определенной, не навязываемой читателю, а подсказываемой ему точки зрения, как это делает, например, Ортелано. «Произведение художника — зеркало, повернутое под определенным углом».

Х. Гойтисоло стремится расширить это понимание роли искусства: «Совершенно очевидно, что зеркало писателя — деформирующее зеркало. Его объектив не *воспроизводит* действительность (лучшая из фотографий также не воспроизводит ее), а формует ее, *воссоздает* ее. Большая или меньшая степень смещения зависит от оптики писателя, от его манеры видеть вещи».

Зачастую романы молодых художников превращаются в своеобразную хронику, в цепь отдельных фактов. События приобретают самодовлеющее значение, и за ними герой, индивидуум, отступает на задний план и уже не является пружиной действия.

Многие романы внешне как бы не завершены. Нет у них и обязательной последовательности сцен и событий.

Отдельные сцены соединяются между собой не по принципу причинной связи, а общим замыслом. Каждое из событий-сцен несет определенную функциональную нагрузку, способствуя общей цели — повороту зеркала, отражающего действительность на угол, заданный автором.

Современному испанскому роману свойственны динамизм и лаконичность, отказ от длинных сложных периодов и рассуждений, экспрессивность, приближение авторского изложения к языку героев. Здесь, впрочем, как и во многом другом, молодые художники продолжают традиции испанской реалистической литературы XX века, идущие еще от Б. Переса Гальдоса, Валье-Инклана, Гомеса де ла Серны.

Стремление передать непосредственное ощущение сегодняшнего дня приводит к вторжению элементов политического репортажа, речей, публичных выступлений (у Х. Гойтисоло, Х. Коралеса Эхеа, Х. Лопеса Пачеко), газетных сообщений (у Д. Медио), фактов полицейской хроники (у Ортелано). С тем же стремлением к максимальному внешнему правдоподобию связано и своеобразное возрождение единства места и времени. Действие в ряде романов развертывается на ограниченном отрезке времени и места (например, в романе Лауро Ольмо «Вчера, 27 октября» — один вечер, один дом; в романе Ромеро Пинилья «Муравьи» — одна ночь, рыбачья деревушка; А. Гроссо «Канава» — один день, дачный поселок).

Излюбленный прием — рассказ от первого лица. Некоторые мультиплицируют этот прием. Так у Ромеро Пинильи каждая глава представляет рассказ от лица кого-либо из героев. Причем здесь особенно ощущается условность подобных приемов, так как разговор ведется от имени и древней старухи, и маленьких детей. Нередко встречается раздробление романа на серию кинокадров, бессюжетность, отказ от крепко слаженной цепи событий. Появляются романы, состоящие из глав, посвященных тому или иному герою (одна из последних книг Д. Медио), или роман превращается в цепь сюжетно не связанных между собою новелл («Окрестности» Луиса Гойтисоло), объединенных только географически и во времени и дающих в совокупности панораму жизни современного большого города. Характерно, что у молодых писателей нет большого романа, романа-эпоса, широко и всеобъемлюще охватывающего действительность, как это было свойственно великим критическим реалистам XIX и первой трети XX века.

В испанской прозе воплотилось пробуждение самосознания народа. И все же при большом внимании к социальным проблемам у ряда молодых писателей отношение к жизни, сколько бы критическим оно ни было, оказывается в определенной мере пассивным. Не следствием ли этого отчасти является отсутствие в их произведениях цельного героя?

В. ЯСНЫЙ

БОЛЬШАЯ ПРОЗА ИСПАНИИ

■

Художественные особенности нового испанского романа можно рассматривать как своеобразную реакцию на буржуазный психологический роман первой половины XX века, которому был чужд интерес к острым социальным проблемам.

«Сегодня он только монумент, труп,— пишет Х. Гойтисоло.— Психологический роман выбрал в качестве среды действия очень ограниченный круг, самое буржуазию, порождением которой он являлся, и он не в состоянии был оторваться от нее. Теперь,— указывает Х. Гойтисоло,— незначительные психологические проблемы теряют свое значение».

Х. Гойтисоло ведет войну против психологического романа прустовского толка, который, по его мнению, вслед за Фрейдом фальсифицировал сознание, а вместе с этим и действительность.

Протест Гойтисоло — это бунт во имя человека. Ему вторит Р. Доменеч: «Класс буржуазии, который породил этот жанр, духовно исчерпал себя, и с ним вместе исчерпал себя и этот путь романа».

Представители нового поколения также ведут борьбу с декадентскими направлениями в литературе.

«Ныне невозможно предпринять серьезное исследование в области критики, философии, литературы и искусства, если оно не строится на исторической базе, если трактовка явлений культуры не основывается на анализе социальных, политических и экономических факторов»,— пишет Х. М. Кастельет и подчеркивает, что стремится при оценке явлений литературы идти вслед за Энгельсом и Плехановым. И это сказано во франкистской Испании!

Рикардо Доменеч в статьях «Народная литература» и «По поводу объективизма», опубликованных в журнале «Инсула», Х. Гойтисоло в ряде статей и в своей книге «Проблемы романа» выступают против литературы для избранных, за создание новой, народной литературы. В первой из своих статей Р. Доменеч подчеркивает, что, «пока народ не свободен, нет народной литературы» в широком смысле слова, но она находится в становлении, и путь ее — сочетание активного, прогрессивного общественного содержания с высоким совершенством новой формы. «Народ вновь приходит на страницы литературы».

Утверждая «народную литературу», молодые романисты и критики ведут борьбу с идеями Ортега-и-Гассета о дегуманизации и аристократизации искусства. Эти идеи оставили серьезный след в испанской литературе последних тридцати лет и в сознании нового поколения испанской интеллигенции.

В книгах «Размышления о романе» и «Дегуманизация искусства» Ортега-и-Гассет, исследуя причины появления и характер модернистского искусства 20-х годов XX века, создал свою теорию.

Воюя с мещанином-буржуа, «существом, не способным к самопожертвованию во имя искусства, глухим и слепым к чистой красоте», Ортега в то же время ополчался на самого человека, который был жертвой буржуазных отношений. Так, «нонконформизм» Ортега-и-Гассета превращался в реакционную теорию, а бунт против действительности — в индивидуальное бегство от нее.

Эстетические принципы, провозглашенные в свое время Ортегой, постоянно находят питательную среду в современном буржуазном искусстве, особенно в Испании.

В Испании появляются по-прежнему книги, авторы которых занимают позиции, близкие к позиции Ортега-и-Гассета. Так, и в недавно вышедшей книге «Развитие современного романа» М. Бакеро Гойанас выступает против романа, насыщенного социальным содержанием, не признает за прогрессивной литературой права на художественность. Например, обращаясь к роману Б. Переса Гальдоса «Донья Перфекта», он утверждает, что ранние его произведения были слабыми в художественном отношении именно потому, что содержали тенденцию и были более революционными, чем последующие романы.

Х. Гойтисоло указывает, что теории Ортеги привели к расколу современной испанской литературы, «к параллельному развитию двух литератур: одной — народной, погазетному острой, публицистичной и суровой, другой — дегуманизированной, формалистской, служащей интересам меньшинства, эстетствующей».

И Х. Гойтисоло призывает «со всей решительностью повернуться спиной к теориям Ортега-и-Гассета». Нужно гуманизироваться или умереть. Вместо того чтобы мечтать об эстетической революции, подобно своим коллегам 20-х годов, романист сегодня должен руководствоваться афоризмом: «действительность также революционна».

■

Из-за жесточайшей цензуры испанские писатели зачастую не могли сказать то, что хотели. Это вынуждало их «фотографировать социальные явления, говорящие сами за себя».

Таким образом, специфическая поэтика молодого испанского романа оказалась естественным следствием внешних условий, в которых он развивался, и внутренних закономерностей его становления. Или, иначе говоря: с одной стороны, «как каждая борющаяся литература, испанская ищет выхода,— писал Габриель Руис в журнале «Нуэстрас идеас»,— и один из них называется объективизмом».

С другой стороны, «объективизм» возникал как поиск новых средств выражения, как протест против традиций буржуазного психологического романа.

«Действительность такова, что объективная зарисовка равносильна протесту»,— утверждал Х. Гойтисоло. И это утверждение до определенного предела и до определенного времени оказывается вполне справедливым.

«Объективизм» позволил испанским писателям, начиная с сороковых годов, с рома-

зов К. Хосе Селы и Кармен Лафорет, в условиях жесточайшей диктатуры впервые поведать правду о франкистской действительности, рассказать о том, как живет народ, зафиксировать отдельные стороны жизни Испании.

Но в то же время «объективизм» суживал видение мира, особенно когда это было не следствием цензуры, а добровольно избранным методом.

Отказ от авторских ремарок, отступлений, характеристики и оценки героя влек за собой обеднение романа. Боязнь «интеллектуализма», вторжения во внутреннюю жизнь персонажей (иначе это будет «отступлением от правдивого изображения жизни») приводила к приземлению реализма и обесцвечиванию действительности.

Преобладание в романе фактов, потока жизни, как такового, приводит к тому, что в произведениях молодых художников, как правило, нет полнокровного, многогранного образа. Герой социально четко определен и опосредствован, типические черты, делающие его представителем определенной группы или слоя, выписаны достаточно четко. Но его психология, духовный мир зачастую оказывались не раскрытыми.

Некоторые из художников возводили эту односторонность даже в принцип своей эстетики. Например, Луис Гойтисоло писал: «Более важны, чем герои сами по себе, социально-исторические условия, в которых находятся эти персонажи и которые определяют и формируют судьбу каждого из них». И, характерный штрих, разных героев своего первого романа «Окрестности» Луис Гойтисоло демонстративно называет одним и тем же именем, подчеркивая тем самым, что его в меньшей степени интересует этот герой, чем обстановка, которая его окружает.

Расплывчатость образа героя, уже не ведущего сюжета, отсутствие столкновения характеров, строгого сюжета приводят, как уже говорилось, к известной композиционной рыхлости, несобранности нового романа. Такой роман действительно можно назвать зеркалом, но только разбитым на множество осколков, каждый из которых правдиво и верно отражает действительность, однако не в целом, а отдельные кусочки ее. Утрата индивидуального, а вместе с этим цельного многопланового образа, являющегося стержнем и основой художественного произведения, нашего друга или врага, любимого или ненавидимого, но прежде всего полноправного человеческого характера, оказывается трудно восполнимой.

И чем больше автор стремится говорить об отдельных деталях, быть правдивым в мелочах, частностях, чем больше он уделяет внимания им, применяя мерку фотокамеры, отказываясь от вторжения во внутренний мир героя, тем менее цельной предстает перед нами действительность. Художник вступает в противоречие с ней, ибо выпадает главное звено связи — сам человек в его сложности и многообразии, во имя которого и поднимают молодые бунт.

Естественно, что это в какой-то мере ослабляет позиции испанских писателей и дает повод для их критики. В самое последнее время в Испании действительно участились нападки на прогрессивный реалистический роман. В определенных литературных кругах заговорили о кризисе социального романа. Отвечая на эти нападки, Антонио Феррес в одном из номеров журнала «Инсула» заявил: «Я думаю, что если действительно «социальный реализм» переживает сейчас кризис, то это кризис подъема».

Испанские писатели сегодня все более отчетливо представляют себе необходимость преодоления натурализма. Так, Антонио Феррес, говоря о первых шагах нового романа, подчеркивает, что в этот период в нем необходимо выступали элементы натурализма и объективизма и что сейчас происходит подъем на новую, более высокую ступень. Как пишет Рикардо Доменеч: «Объективизм со своей формалистической техникой уходит от важнейших проблем современности».

Реалистический испанский роман развивается не в вакууме, не в условиях лаборатории. Его сила и его слабость — от тех реальных условий, в которых он создается.

И не случайно именно там, где появляется цельный, активный герой — носитель новых социальных идеалов, где возникают картины действия, борьбы (у А. Лопеса, Салинаса, К. Эхеа, Х. Гойтисоло, Х. Лопеса Пачеко, А. М. Матуте и др.),— там оказываются на месте средства выражения, которые используют молодые.

Быть может, наиболее наглядно это проявляется в самое последнее время и прежде всего в романах Армандо Лопеса Салинаса «Год за годом» и А. М. Матуте «Солдаты плачут ночью».

Роман «Год за годом» почти хрестоматийно воплотил в себе черты молодой испанской прозы. Множество отдельных сцен. Приходящие и уходящие, иногда лишь упоминаемые в двух-трех строках герои. Сюжетные тупички. Словно речка, высыхающая в пустыне. Диалог, вспыхивающий и обрывающийся на полуслове и выхватывающий короткую сцену, точно лампа-вспышка фотографа. Холодновато-беспристрастный тон повествования, хроникальная сжатость и лаконичность. На полутора десятках листов уложено по крайней мере полтора десятка лет жизни Испании. Годы 1937—1954. Мы так до конца и не представляем внешний облик героев, проходящих почти через всю книгу. Мало знаем внутренний мир каждого из них — чем он, как человек, отличен от других. И тем не менее нам ясны отношения каждого героя к жизни, его оценки других людей. Мы отчетливо видим обстоятельства, в которых он живет и действует. И представляем его.

Салинаса не интересует сюжет, как таковой, или личная судьба кого-либо из героев. Его интересует народ, Испания. Они-то и

являются главными героями книги. Роман — предельно сжатая эпопея, хроника жизни страны за один из самых трагических периодов ее существования, прослеженная по судьбам отдельных действующих лиц. Вот почему в романе Салинаса сюжетные тупички превращаются в ответвления, идущие от главного канала и орошающие новые участки. Каждая деталь действует, и мы видим, как жила, страдала, боролась, не теряя надежды, Испания все эти мрачные годы.

Книга Салинаса запрещена цензурой и вышла в Париже. Естественно, о многом он мог сказать больше, чем художники, произведения которых публикуются в Испании. Тем знаменательнее появление последнего романа А. М. Матуте. Это книга о трудных поисках смысла жизни, об открытии идеалов, о нелегкой судьбе молодой женщины во франкистской Испании, о ненависти автора и его героев к оголтело-мещанскому быту буржуа, к обществу, в котором равно все продается и покупается: женщины и автомашины, совесть и капроновые чулки, дружба и человеческие жизни. Не случайно трилогия, второй частью которой является этот роман, называется «Торговцы».

Матуте раскрывает непримиримое столкновение двух взглядов на жизнь — философии сытости, примиренчества, приспособления и философии борьбы и служения людям. Но главное в романе — появление нового, активного, деятельного, полнокровного образа борца и заострение общественного конфликта. Основным героем книги, носителем высшей правды, человеком огромной воли и обаяния, человеком, обладающим даром привлекать к себе сердца людей, оказывается коммунист-подпольщик, гибнущий в застенках Франко.

■

Реалистическая литература Испании живет в поисках и открытиях, она находится в гуще действительности, в движении.

«Самое важное — это не говорить о народе, а говорить с народом, в народе и от имени народа»,— сказал как-то Г. Селайя. Испанская литература наших дней являет миру свидетельство того, что могут сделать писатели, следующие этому призыву.

ТРУМЭН КАПОТЕ

ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙСТВО

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА и ВАЛЕНТИНЫ ЧЕМБЕРДЖИ

Вышедшее в свет в октябре 1965 года документальное повествование известного американского писателя Трумэна Капоте, которое мы начинаем публиковать в этом номере, основано на подлинных материалах, связанных с убийством семьи Клаттеров в штате Канзас, совершенном в 1959 году. (Смертный приговор убийцам приведен в исполнение в апреле 1965 года.) В работе над книгой Трумэну Капоте помогала писательница Харпер Ли (ее роман «Убить пересмешника» печатался в «Иностранной литературе» №№ 3 и 4 за 1963 год) — юрист по профессии.

В книге Капоте, которую мы публикуем в сокращенном варианте, все высказывания прямых или косвенных участников событий — достоверны, приведены в точном соответствии с официальными протоколами или с текстами взятых автором интервью. Трумэн Капоте посвятил несколько лет расследованию обстоятельств этого преступления, выявлению его причин и следствий — психологических, нравственных, общественных.

1. Последние, кто видел их живыми

Городок Холкомб затерялся среди пшеничных полей на плоскогорьях Западного Канзаса, в глухих местах, которые другие жители этого штата называют «там где-то». Расположенный примерно в семидесяти милях к востоку от границы Колорадо, этот район с его чистыми синими небесами и прозрачным воздухом пустыни напоминает скорее Дальний Запад, чем Средний. Мужчины здесь, как правило, носят узкие джинсы, «стетсоновские» шляпы и остроносые сапоги на высоких каблуках. Взору открывается пугающий нескончаемый простор, и путешественник издали видит табуны, стада и белые элеваторы, грациозные, как греческие храмы.

Холкомб тоже виден издалека. Впрочем, ничего особенного он собой не представляет — просто беспорядочное скопление зданий, разделенное посередине железной дорогой на Санта-Фе и ограниченное с юга коричневыми водами реки Арканзас, с севера — шоссе № 50, а с востока и с запада — прериями и пшеничными полями. По-

сле дождя или когда растает снег, безымянные, немощеные, голые улицы меняют густой покров пыли на непролазную грязь. На одном конце городка застыло старое оштукатуренное строение, на крыше которого укреплена световая реклама «ТАНЦЫ», но здесь давно никто не танцует, и вывеска не зажигается уже несколько лет. Поблизости находится другое здание, на грязном окне которого облезлые золотые буквы тупо провозглашают: «ХОЛКОМБСКИЙ БАНК». Банк лопнул в 1933 году, и его помещения превращены в квартиры. Это — один из двух «многоквартирных» домов города, второй — ветхий особняк, который называется «учительской» из-за того, что в нем живет подавляющее большинство преподавателей местной школы. Но больше всего в Холкомбе одноэтажных деревянных домов с неизменными крылечками.

Около станции в разваливающемся здании командует почтмейстерша, тощая женщина в кожанке, брюках и ковбойских сапогах. Да и станционное помещение с облупившимися грязно-желтыми стенами производит столь же унылое впечатление; мимо каждый день проносятся «Шеф», «Супершеф» и «Капитан», но эти знаменитые экспрессы никогда здесь не останавливаются. Не останавливаются и пассажирские поезда — лишь иногда товарные. На шоссе две бензоколонки. При одной открыта бакалейная лавочка с весьма скудным выбором товаров, а при другой — кафе. Это «Кафе Хартмена», где хозяйка миссис Хартмен торгует сандвичами, кофе, безалкогольными напитками и трехградусным пивом (Холкомб, как и весь штат Канзас, соблюдает «сухой закон»).

Вот, собственно, и все. Правда, следовало бы упомянуть и о холкомбской средней школе, прекрасное здание которой доказывает, что наружность бывает обманчивой и что многие обитатели убогого городка и его окрестностей — люди зажиточные. Это в основном фермеры, чьими предками были немцы, ирландцы, норвежцы, мексиканцы и японцы. Они разводят крупный рогатый скот и овец, выращивают пшеницу, клевер и сахарную свеклу. Земледелие всегда связано с долей риска, но в Западном Канзасе фермеры считают себя «прирожденными игроками», так как им приходится иметь дело с почти полным отсутствием дождей и с мучительной проблемой орошения. Последние семь лет, однако, засухи не было, и фермеры графства Финни, в которое входит и Холкомб, благоденствовали.

Мало кто в Америке, да и в самом Канзасе, слышал о существовании Холкомба вплоть до одного ноябрьского утра 1959 года. Драматические события, как и воды реки, как автомобили, как желтые поезда, проносились мимо городка. Все его двести семьдесят жителей были вполне удовлетворены таким положением вещей, с них хватало работы, охоты, телевизора, школьных праздников, хора. Но вот в предрассветные часы воскресного ноябрьского утра в обычные шумы Холкомба—истерический вой койотов, сухое шуршание перекати-поля, замирающие вдали свистки паровозов — вторглись посторонние звуки. В это время ни один спящий житель Холкомба не услышал этих звуков — четырех выстрелов из охотничьего ружья, которые в конечном итоге оборвали жизнь шестерых людей. Но после этого горожане, до тех пор достаточно доверчиво относившиеся друг к другу — двери на ночь запирались довольно редко,— уже не могли избавиться от преследовавших их воображение глухих взрывов, которые зажгли пламя взаимного недоверия, спалившее прежние добрые чувства, превратившее старинных соседей в людей, готовых заподозрить друг друга.

■

Хозяину фермы «Ривер-вэлли», Герберту Уильяму Клаттеру, было сорок восемь лет. Недавний медицинский осмотр — проверка для получения страхового полиса — показал, что он в превосходной форме. Несмотря на очки и средний рост мистер Клаттер производил внушительное впечатление. У него были широкие плечи, еще совсем темные волосы, квадратный подбородок, по-юношески свежее лицо и зубы настолько крепкие, что он разгрызал грецкие орехи. Со дня получения диплома агронома в Канзасском университете он не прибавил к своим семидесяти килограммам — при росте сто семьдесят восемь сантиметров — ни одного грамма. Он был не так богат, как его сосед мистер Тэйлор Джоунз, самый зажиточный человек в Холкомбе, но тем не менее пользовался в своем городе большой известностью, равно как в Гарден-сити, центре графства, где мистер Клаттер возглавлял комитет по строительству первой методистской церкви, которое обошлось в восемьсот тысяч долларов.

Мистер Клаттер твердо знал, чего он хочет от жизни, и обычно добивался своего. На безымянном пальце левой руки, когда-то искалеченном сельскохозяйственной машиной, он носил простое золотое кольцо — символ двадцатипятилетнего супружества с сестрой его однокурсника, застенчивой, набожной, хрупкой Бонни Фокс, которая была младше его на три года. Она родила ему четверых детей: трех дочерей и сына. Старшая замужняя дочь, Ивэнна, мать девятимесячного ребенка, жила в северном Иллинойсе, но часто приезжала в Холкомб. Вторая дочь, Беверли, тоже покинула ферму «Ривер-вэлли» и училась на медицинских курсах в Канзас-сити. Беверли была невестой студента-биолога, к которому ее отец был искренне расположен: приглашения на свадьбу, приуроченную к рождеству, были уже напечатаны. Пятнадцатилетний Кеньен, который уже перерос отца, и шестнадцатилетняя Нэнси, любимица всего городка, еще жили с родителями.

Счастливую семейную жизнь мистера Клаттера омрачала только тревога о здоровье жены. Она была «нервной, на нее находило затмение» — так говорили ее близкие. Однако «болезнь бедняжки Бонни» ни для кого не была тайной, все прекрасно знали, что на протяжении последних шести лет она часто лечилась в психиатрических клиниках. Но и эта мрачная туча, казалось, обещала рассеяться. В среду, вернувшись после двухнедельного курса лечения, миссис Клаттер с восторгом сообщила своему мужу почти невероятную новость: ее заболевание, как наконец установили врачи, не психическое — оно вызвано просто неправильным положением позвонка. Конечно, ей придется перенести операцию, но зато потом — что же, потом она снова станет «прежней Бонни».

Обычно утро мистера Клаттера начиналось в половине седьмого, он просыпался от позвякивания подойников, которые приносили сыновья батрака Вика Ирсика. Но в этот день ему не хотелось вставать (мальчики Вика придут и уйдут), потому что накануне, в пятницу, тринадцатого числа, день выдался утомительный, хотя и радостный. Бонни в предвкушении скорого выздоровления уже стала «прежней». Она накрасила губы, сделала прическу, надела новое платье и вместе с мужем отправилась в холкомбскую школу. Там они вместе аплодировали спектаклю «Том Сойер», в котором Нэнси играла роль Бекки Тэчер. Мистеру Клаттеру было очень приятно видеть Бонни среди людей: она немного нервничала, но улыбалась, разговаривала, и оба они гордились Нэнси — она так хорошо играла, ничего не забыла и выглядела, как сказал ей отец, поздравляя за кулисами, «просто красавицей, дочка, настоящей южной красавицей». И тут Нэнси, как подобает южной красавице, сделала глубокий реверанс и попросила разрешения поехать в Гарден-сити. При других обстоятельствах мистер Клаттер отказал бы ей. Он придерживался строгих правил: Нэнси и Кеньен должны были возвращаться домой не позже десяти вечера в будние дни и полуночи в субботу. Но поддавшись настроению этого вечера, он согласился. И Нэнси вернулась домой около двух часов ночи. Он слышал, как она вошла, и окликнул ее. Хотя мистер Клаттер никогда не повышал голоса, он собирался поговорить с ней начистоту, и не потому, что она вернулась так поздно, а потому, что домой ее привез Бобби Рапп, лучший баскетболист школы. Мистеру Клаттеру нравился Бобби, он считал, что для своих семнадцати лет мальчик достаточно надежен и благовоспитан, но все три года, с тех пор как Нэнси наконец получила разрешение ходить на вечеринки, она всюду бывала только с Бобби, хотя нравилась многим мальчикам. Мистер Клаттер знал, что у современных подростков считается модным «дружить» и даже носить «обручальные» кольца, но такая мода ему претила, а когда он случайно увидел, как Нэнси и Бобби целуются, то решил положить этому конец. Мистер Клаттер посоветовал Нэнси «поменьше встречаться с Бобби», добавив, что будет легче постепенно отвыкнуть друг от друга сейчас, чем потом порвать сразу, а порвать придется все равно — ведь, он напомнил ей, Раппы — католики, а Клаттеры — методисты. Одного этого достаточно, чтобы они с Бобби выбросили из головы всякие мысли о будущей женитьбе. Уговорить Нэнси оказалось нетрудно — во всяком случае, она не стала спорить,— и теперь, прежде чем пожелать дочери спокойной ночи, мистер Клаттер добился от нее обещания, что она будет встречаться с Бобби реже. Хоть разговор шел в мирных тонах, тем не менее мистер Клаттер лег значительно позже обычных одиннадцати часов вечера. Вот почему в субботу 14 ноября он проснулся лишь в восьмом часу.

Дом, построенный в 1948 году, был в основном спроектирован мистером Клаттером и свидетельствовал о трезвом уме, степенности и не слишком богатой фантазии архитектора. Расположенный в конце длинной аллеи, по обеим сторонам которой высились китайские вязы, красивый белый дом на ухоженной зеленой лужайке считался в Холкомбе достопримечательностью. Внутри губчатые печеночного цвета ковры скрывали блеск гулкого паркета, огромный в стиле модерн диван сверкал серебряными нитями обивки, альков, где завтракали, щеголял банкеткой, покрытой сине-белым пластиком. Таковы были вкусы мистера и миссис Клаттер, как, впрочем, и большинства их знакомых, чьи дома были обставлены в таком же стиле.

У Клаттеров не было прислуги, кроме работницы, приходившей по будним дням. Так что болезнь жены и отъезд старшей дочери вынудили мистера Клаттера научиться стряпать, и обеды, как правило, готовил он или Нэнси — чаще Нэнси.

В это утро, выпив стакан молока — он никогда не пил кофе — и надев подбитую мехом шапку, мистер Клаттер вышел из дома, держа в руке яблоко.

Благополучие фермы зависело прежде всего от пшеницы, кукурузы и клевера. Прибыли приносили и овцы, а главное — рогатый скот. Несколько сот коров херефордской породы были помечены клеймом Клаттера, хотя об этом было бы трудно догадаться, если судить по пустому загону, предназначавшемуся для больных быков, двух-трех дойных коров, кошек да Бэйб, любимицы семьи — старой плотной лошадки, которая никогда не отказывалась прокатить трех-четырех ребятишек, свободно помещавшихся на ее широкой спине.

Мистер Клаттер отдал Бэйб огрызок яблока и поздоровался с человеком, который граблями убирал загон. Это был Альфред Стоклейн, единственный наемный рабочий, живший при ферме постоянно. Семья Стоклейнов — муж, жена и трое детей — обитала в домике, расположенном метрах в ста от хозяйского дома. Других соседей у Клаттеров ближе чем в полумиле не было. Мистер Стоклейн, длиннолицый человек с крупными пожелтевшими зубами, спросил:

— Сегодня будет какая-нибудь работа? А то у нас малыш заболел. Мы с женой почти всю ночь не спали. Думал отвезти его к врачу.

Мистер Клаттер посочувствовал ему и сказал, чтобы он скорее ехал, а они с женой будут рады помочь, если понадобится. Затем он направился к южному полю, где, как львиная шкура, золотилось жнивье.

Там же неподалеку от реки росли груши, яблони, вишни и несколько персиковых деревьев. Полвека назад, как говорили старики, лесорубам понадобилось бы десять минут, чтобы срубить все деревья западного Канзаса. Даже и теперь там сажают лишь вязы и тополя, равнодушные к влаге, как кактусы. Но, как говаривал мистер Клаттер, «еще один дюйм дождя в год — и земля превратилась бы в райскую обитель». И этот небольшой фруктовый сад у реки он посадил, мечтая создать клочок рая, яблоневый Эдем. Его жена однажды сказала: «Моему мужу эти деревья дороже собственных детей».

В Холкомбе все помнили день, когда маленький потерявший управление самолет врезался в персиковые деревья; «Херб как с цепи сорвался. Он подал на летчика в суд прежде, чем пропеллер успел остановиться».

Пройдя сквозь сад, мистер Клаттер проследовал вдоль берега обмелевшей, со множеством песчаных островков, реки. Здесь оказалась целая группа людей. Сезон охоты на фазанов в Канзасе в ноябре привлекает толпы спортсменов из соседних штатов. Согласно неписаному закону охотники обязаны платить хозяину данного участка за право стрелять добычу на его территории, но, когда оклахомцы предложили мистеру Клаттеру деньги, он рассмеялся:

— Я не так беден, как может показаться по виду. Стреляйте сколько хотите.

Затем, прикоснувшись к шапке, он направился к дому, чтобы заняться делами. Он не подозревал, что этот день был последним днем его жизни.

■

Как и мистер Клаттер, молодой человек, завтракавший в кафе «Маленький бриллиант», никогда не пил кофе. Он предпочитал имбирное пиво. Три таблетки аспирина, холодное имбирное пиво и несколько сигарет «Пэл-Мэл», выкуренных под-

ряд,— таков был, по его мнению, «правильный закусон». Прихлебывая пиво и затягиваясь дымом, он изучал карту Мексики, которую расстелил перед собой на стойке, но никак не мог сосредоточиться, потому что ждал друга, а друг запаздывал. Он посмотрел в окно на тихую улицу маленького городка, улицу, которую впервые в жизни он увидел вчера. Дика все еще нет. Впрочем, прийти-то он придет: ведь они встречаются тут по плану Дика, это была его «идея». А после, когда дело будет сделано,— Мексика. Карта была потрепана и от частого употребления стала словно замшевой. В гостинице за углом в его номере лежали сотни таких потрепанных карт — все штаты США, все провинции Канады, все латиноамериканские страны: этот молодой человек любил обдумывать путешествия и уже успел побывать на Аляске, на Гавайях, в Японии, в Гонконге. Теперь, благодаря письму, приглашавшему его участвовать в деле, он очутился здесь со всеми своими пожитками: фибровым чемоданом, гитарой и двумя большими сундуками, набитыми книгами, картами, песенниками, стихами и старыми письмами, общим весом в четверть тонны. (Ну и рожу скорчил Дик, когда увидел это имущество! «Черт, Перри, ты что, всюду таскаешь этот хлам?» А Перри ответил: «Какой хлам? Одна из этих книг обошлась мне в тридцать долларов».) Да, он здесь, в Олейте, штат Канзас. А вообще-то смешно, если подумать хорошенько: он в Канзасе, хоть всего четыре месяца назад обещал сначала комиссии по условному освобождению, а затем и себе, что его ноги больше не будет в этом штате. Ну, да ничего страшного — долго он здесь не задержится.

Обведенные чернилами названия теснились на карте: КОСУМЕЛЬ, остров близ побережья Юкатана, где, как пишут в журнале для мужчин, можно «скинуть одежду, улыбаться, жить, как индийский раджа, и иметь столько женщин, сколько душе угодно,— и все это за пятьдесят долларов в месяц!» Из этой же статьи он запомнил наизусть и другие заманчивые места: «Косумель — это последний бастион, устоявший против социального, экономического и политического натиска. На этом острове у чиновника нет власти над частным лицом и «каждый новый год сюда с материка прилетают попугаи, чтобы выводить птенцов». АКАПУЛЬКО означало рыбную ловлю, казино и томящихся от скуки богатых дам, СЬЕРРА-МАДРЕ обещало золото — фильм «Сокровища Сьерра-Мадре» он смотрел восемь раз. (Это была лучшая картина Богарта, а старик, который играл золотоискателя, напоминавшего Перри его отца, был просто классный. Перри сказал Дику сущую правду: он действительно знал все тонкости старательского дела — ведь его научил этому отец, профессиональный старатель. Так почему бы им не купить пару вьючных лошадей и не попытать счастья в Сьерра-Мадре? Но Дик, практичный Дик, ответил: «Тише, детка, тише... Я это кино видел. Там под конец все с ума посходили. Из-за жары, мошкары, клещей, и вообще труба была. А когда они нашли золото, помнишь, поднялась буря, и все полетело к черту».) Перри сложил карту. Он заплатил за имбирное пиво и встал. Сидя, он казался высоким богатырем с плечами, руками и мускулистым торсом штангиста. Он и правда увлекался штангой. Но Перри был сложен непропорционально. Его малюсенькие ножки, обутые в короткие черные сапожки со стальными пряжками, легко влезли бы в бальную туфельку; стоя, он не был выше двенадцатилетнего мальчика. Мелко семеня короткими ногами, которые никак не вязались с фигурой взрослого мужчины, он становился похожим на бывшего жокея с гипертрофированной мускулатурой.

Выйдя из кафе, Перри остановился, греясь на солнце. Было без четверти девять, и Дик опаздывал на полчаса; время не тяготило Перри, у него были разные способы коротать его — например, смотреться в зеркало. Дик как-то сказал: «Стоит тебе увидеть зеркало, и ты обалдеваешь. Вроде как увидел потрясающую бабу. И как тебе не надоест?»

А ему не надоедало. Собственное лицо завораживало его. Его мать была чистокровной индианкой из племени чероки, от нее он унаследовал медную кожу, темные, влажные глаза, черные блестящие волосы, такие густые, что их хватало и на пряди над ушами, и на челку. То, что он унаследовал от отца, рыжего веснушчатого ирландца, было не столь очевидным. Казалось, индейская кровь возобладала над кельтской. Однако о наличии этой последней свидетельствовали розовые губы и курносый нос, а также оживляющая индейскую маску ирландская нагловатость, которая была особенно заметна, когда Перри играл на гитаре и пел. Петь или представлять, как ты

выступаешь перед публикой,— так тоже можно было убивать время. Он всегда рисовал в своем воображении одну и ту же сцену — ночной клуб в Лас-Вегасе, его родном городе. Элегантный зал, набитый знаменитостями, которые не могут оторвать глаз от новой звезды, и он исполняет под аккомпанемент скрипок «Я тебя увижу», а на бис поет балладу собственного сочинения «Поющие попугаи». (Дик, впервые услышав эту песню, сказал: «Попугаи не поют. Ну, там, говорят. Вопят. Только, черт подери, не поют». Дик все понимает буквально — он ничего не смыслит ни в музыке, ни в стихах, и все-таки, если разобраться, именно этот буквализм Дика, его прагматизм и привлекали Перри, так как в сравнении с ним Дик казался по-настоящему закаленным, несгибаемым, «стопроцентным мужчиной».)

Но какой бы сладостной ни была эта мечта о Лас-Вегасе, она бледнела перед другой. Ему исполнился тридцать один год, и уже более пятнадцати лет он систематически выписывал книги («Состояние на подводном плавании! Тренируйтесь дома в свободное время. Брошюры бесплатно...») и отвечал на рекламные объявления («ПОТОНУВШИЕ СОКРОВИЩА! Пятьдесят достоверных карт! Поразительное предложение...»), которые питали его ненасытную жажду приключений. Снова и снова рисовались его воображению картины: вот он опускается сквозь таинственные незнакомые воды, ныряет вглубь, в зеленый сумрак, скользит мимо чешуйчатых и свирепых стражей утонувшего корабля, корма которого вырисовывается впереди,— это испанский галеон, затонувший с грузом алмазов и жемчуга,— и вот уже выкатывает на дно бочонки с золотом.

Раздался автомобильный гудок. Наконец-то Дик.

■

— Да прекрати ты, Кеньен! Я же слышу!

Кеньен, как обычно, был в буйном настроении. Он продолжал вопить:

— Нэнси! К телефону!

Босая, в пижаме, Нэнси кубарем скатилась с лестницы. В доме было два аппарата — один в той комнате, в которой отец устроил свой рабочий кабинет, другой — в кухне. Нэнси сняла трубку кухонного телефона:

— Я слушаю. Да-да, доброе утро, миссис Кац.

И миссис Кларенс Кац, жена фермера, живущего около шоссе, сказала:

— У меня к тебе большая просьба — моя младшая девочка, моя Джолин, просто мечтает испечь пирог с вишнями, а ты всегда получаешь первые призы за пироги с вишнями, и я решила спросить, можно ли мне привести ее сегодня, чтобы ты ее научила?

Беда была в том, что Нэнси уже пообещала помочь другой соседской девочке, Рокси Ли Смит, разучить соло на трубе для школьного концерта, а кроме того, ей нужно было выполнить три довольно сложных поручения матери да еще поехать с отцом на собрание клуба в Гарден-сити. И для пирога Джолин у нее не оставалось времени.

— Миссис Кац, пожалуйста, подождите у телефона одну минуточку!

Нэнси побежала в кабинет отца, который находился в другом конце дома. Кабинет, куда приехавшие по делу посетители могли войти прямо со двора, был отделен от гостиной раздвижной дверью.

— Ничего! — ответил он Нэнси.— Пропусти клуб. Я возьму вместо тебя Кеньена.

Нэнси взяла трубку телефона на его столе и сказала миссис Кац, что все в порядке и она ждет Джолин. Потом повесила трубку и нахмурила брови.

— Как странно! — сказала она, оглядывая комнату, где ее отец помогал Кеньену складывать длинную колонку цифр, а у письменного стола около окна работал мистер Ван Флит, управляющий фермой.— По-моему, тут пахнет табаком.

— От тебя? — полюбопытствовал Кеньен.

— Нет, остряк, от тебя.

Кеньен умолк, потому что он иногда баловался сигаретами, что было хорошо известно Нэнси. Правда, и она тоже иногда покуривала.

Мистер Клаттер хлопнул в ладоши и сказал:

— Хватит. Здесь занимаются делом.

Нэнси была очень хорошенькой, по-мальчишески стройной и ловкой. Необычайно хороши были ее коротко подстриженные каштановые волосы; лицо, всегда словно только что вымытое, пахнущее мылом, веснушчатое и загорелое. Но лучше всего были глаза, широко расставленные, темные и прозрачные, как густой мед на свету. Эти глаза более всего располагали к ней людей, в них светились доверчивость и доброта.

— Нэнси! — позвал Кеньен.— Тебя просит Сьюзен.

Сьюзен Кидвэлл — ее задушевная подруга, и Нэнси снова пошла на кухню.

— Ну-ка, скажи,— скомандовала Сьюзен, которая всегда начинала телефонные беседы этим приказом.— Ну-ка, скажи, что-нибудь случилось?

— Нет.

— Нэнси. C'est moi * — Сьюзен изучала французский язык.

— Вчера, когда я вернулась домой, он снова начал говорить об этом.

«Это» не нуждалось в объяснениях, подруги уже не раз обсуждали проблему во всех деталях и пришли к единодушному выводу. Сьюзен, подводя итоги, как-то сказала:

— Ты сейчас любишь Бобби, и он тебе нужен. Но даже Бобби в глубине души знает, что будущего у вас нет. Когда мы уедем в Манхэттен, весь мир покажется другим.

Университет штата Канзас находится в Манхэттене, и подруги давно решили поступить вместе на искусствоведческий факультет и жить в одной комнате.

— Все изменится, хочешь ты этого или нет. Но сейчас, живя в Холкомбе, видясь каждый день с Бобби, учась с ним в одном классе, ты ничего не можешь изменить — да и зачем? Вы ведь с Бобби очень счастливы. И потом будет что вспомнить — если тебя сейчас оставят в покое. Неужели ты не можешь объяснить этого отцу?

Нет, Нэнси не могла ничего объяснить.

— А кроме того,— заметила Нэнси,— я теперь не уверена, что он расстраивается из-за меня. Нет, его беспокоит что-то другое. И очень сильно.

— Твоя мама?

— Ну, не знаю. Мы же все так рады за маму — ты ведь знаешь нашу замечательную новость.— Нэнси помолчала, а потом произнесла: — Послушай,— и запнулась, словно набираясь храбрости, чтобы сказать нечто невероятное.— Почему мне все время чудится запах табака? Честное слово, по-моему, я схожу с ума. Стоит мне влезть в машину, войти в комнату, как мне кажется, что здесь только что курили. Это не мама и не Кеньен. Кеньен ни за что бы не осмелился...

Вряд ли отважился бы закурить и посетитель, потому что в доме Клаттеров сразу бросалось в глаза отсутствие пепельниц. Вдруг Сьюзен догадалась, что именно подозревает Нэнси, и не поверила. Это было бы слишком неправдоподобным! Она не могла поверить, что мистер Клаттер ищет тайного успокоения в курении, какая бы тревога его ни терзала. Прежде, чем она успела спросить, действительно ли Нэнси намекает на это, та сказала:

— Прости, Сюзи, мне надо идти. Пришла миссис Кац.

■

Дик сидел за рулем черного «шевроле» выпуска 1949 года. Влезая, Перри осмотрел заднее сиденье, проверяя, на месте ли его гитара. Накануне вечером он играл и пел для друзей Дика, а потом забыл гитару в машине. Это была старая гибсоновская гитара, отполированная наждаком и натертая светло-желтым воском. Рядом с ней лежал инструмент другого рода — новенькое, полуавтоматическое охотничье ружье, его дуло отливало синевой, а на прикладе была выгравирована стая летящих фазанов. Этот странный натюрморт завершался карманным фонариком, охотничьим ножом, парой кожаных перчаток и патронташем, туго набитым патронами.

— Ты собираешься это надеть? — спросил Перри, показывая на патронташ.

Дик постучал костяшками пальцев о ветровое стекло.

— Стук-стук. Извините меня, сэр. Мы тут охотились и заблудились. Не разрешите ли воспользоваться вашим телефоном...

— Si, señor, yo comprendo **.

---

* Это же я *(франц.)*.

** Да, сеньор, я понимаю *(исп.)*.

— Все будет в ажуре,— сказал Дик.— Даю тебе слово, дорогуша, все стены залепим волосами.

— «Дорогой»,— поправил Перри. Страстный любитель словарей, ревностно выискивавший всякие замысловатые слова, он старался научить своего друга говорить грамотно. Перри занимался этим с тех самых пор, как они познакомились в камере тюрьмы штата Канзас.

Дик был одет в синюю спецовку с рекламной надписью на спине: «Боб Сэндс. Ремонт кузовов». Вместе с Перри они проехали по главной улице Олейте, пока не добрались до мастерской Боба Сэндса, где Дик работал с тех пор, как вышел из тюрьмы в середине августа. Квалифицированный механик, он зарабатывал шестьдесят долларов в неделю. За ту работу, которой он собирался заняться сейчас, жалованья ему не полагалось. Мистер Сэндс, оставлявший на него мастерскую по субботам, не подозревал, что заплатил своему служащему за профилактику его же собственной машины. Дик начал работать, а Перри помогал. Они сменили масло, отрегулировали сцепление, подзарядили аккумулятор, сменили подшипник, поставили новые баллоны на задние колеса — все это было необходимо, ибо старенькому «шевроле» надлежало в ближайшие сутки проделать чудеса.

— Мой старик торчал дома,— ответил Дик, объясняя, почему он опоздал на свидание в кафе.— Я не хотел, чтобы он видел, как я выношу ружье. Черт, он бы сразу догадался, что я соврал.

— А что ты ему сказал?

— Как уговорились. Сказал, что мы уедем с ночевкой к твоей сестре в Форт-Скотт. Потому что у нее твои деньги. Полторы тысячи долларов.

У Перри действительно была сестра, а прежде их было даже две, но та, что осталась в живых, не проживала в Форт-Скотте, канзасском городке в восьмидесяти пяти милях от Олейте; более того, он даже не знал, где она живет.

— Он разозлился?

— С чего это?

— Да он же меня ненавидит,— сказал Перри своим мягким и сдержанным голосом — тихим голосом, которым Перри тем не менее чеканил каждое слово и выбрасывал его, словно курильщик колечко дыма изо рта.— Твоя мать тоже меня ненавидит. Я это сразу заметил — так они на меня смотрели.

Дик пожал плечами.

— Ты тут ни при чем. Просто им не нравится, когда я вижусь со знакомыми по тюрьме.

Дик в свои двадцать восемь лет успел уже дважды жениться и дважды развестись и был отцом троих детей. При условном освобождении его обязали поселиться у родителей, которые вместе с его младшим братом жили на маленькой ферме около Олейте.

— Со всеми, кто носит этот значок,— добавил он и дотронулся до синей вытатуированной под левым глазом точки — тайного знака, своего рода зримого пароля, по которому его могли узнать некоторые завсегдатаи тюрем.

— Я понимаю,— сказал Перри.— Я им сочувствую. Они прекрасные люди. Твоя мать удивительно милая женщина.

Дик кивнул, он был совершенно согласен с этим.

В полдень они убрали инструменты, и Дик, послушав, как работает мотор вхолостую, остался доволен.

В сущности, между Диком и Перри было мало общего, но они этого не осознавали из-за внешнего сходства их вкусов. Оба они, например, отличались чистоплотностью, соблюдали правила гигиены и уделяли пристальное внимание состоянию своих ногтей.

Кончив возиться с машиной, они добрый час приводили себя в порядок в душевой гаража. Дик, раздетый до трусов, несколько отличался от Дика одетого. В одежде он казался довольно хилым блондином, узкогрудым и тощим, но стоило ему раздеться — и оказывалось, что он сложен, как боксер полулегкого веса. На правой его руке была вытатуирована ощеренная кошачья морда, на одном плече распускалась синяя роза. Множество татуировок, сделанных им самим, украшало его руки и торс: голова дра-

змея с человеческим черепом в раскрытой пасти, полногрудые обнаженные женщины, размахивающий вилами гном, слово «МИР» по соседству с крестом, излучающим нимбообразное сияние, и в завершение две сентиментальные композиции — букет цветов «МАМЕ — ПАПЕ» и сердце, увековечивающее любовь «ДИКА» и «КЭРОЛ» — девушки, на которой он женился в девятнадцать лет, чтобы через шесть лет развестись с ней и «спасти честь» другой девицы, матери его младшего сына. («У меня трое сыновей, с которых я обязательно буду заботиться»,— писал он в прошении об освобождении. «Моя бывшая жена вышла замуж. Я женат дважды, но не хочу иметь ничего общего с моей второй женой».)

Впрочем, ни фигура Дика, ни украшающая ее картинная галерея не производили такого впечатления, как его лицо, которое словно состояло из частей, плохо пригнанных друг к другу. Оно напоминало яблоко с небрежно приложенными друг к другу половинками. Нечто в этом роде и случилось на самом деле после автомобильной катастрофы в 1950 году. Его длинная узкая физиономия слегка перекосилась — левая сторона была чуть ниже правой, вследствие чего губы превратились в зигзаг, нос искривился, а глаза не только не располагались на одном уровне, но были разной величины, левый по-змеиному зло косил, словно предупреждая о ядовитом осадке в глубине души его обладателя. Но Перри как-то ему сказал: «Глаз — это ничего. Потому что у тебя прекрасная улыбка. Редкая, которая проймет любого».

Действительно, улыбка натягивала мышцы, и из-под неприятной маски проступало лицо «хорошего американского парня», вполне серьезного, хотя и не слишком умного. (На самом деле он был очень умен. В проведенном в тюрьме тесте «Ай-Кью» * он получил сто тридцать очков, человек со средними умственными способностями — как заключенный, так и на воле,— получает от девяноста до ста десяти очков.)

Перри также был жертвой несчастного случая — он разбился на мотоцикле и получил значительно более серьезные повреждения, чем Дик. Полгода он провел в больнице штата Вашингтон, а потом шесть месяцев ковылял на костылях. Хотя катастрофа произошла еще в 1952 году, его кривые ноги карлика, переломанные в пяти местах, все в шрамах, так сильно болели, что он стал «аспиринщиком». «КУКИ», имя медсестры, которая была добра к нему, когда он лежал в больнице, было вытатуировано на его правом бицепсе. Его татуировки, менее многочисленные, чем у приятеля, были значительно более «художественными» — не любительской мазней, а шедеврами мастеров Гонолулу и Иокогамы. Краснозубый, оранжевоглазый синий тигр рычал на его левом бицепсе, шипящая змея, обвившись вокруг кинжала, скользила вниз по правому предплечью, тут и там сияли черепа, угрюмо торчала могильная плита, расцветала хризантема.

— Ладно, красавица, прячь расческу,—сказал Дик, уже одетый и готовый к дороге.

Чисто вымытые и причесанные, словно два пижона, идущие на свидание, они направились к машине.

■

Расстояние между Олейте, пригородом Канзас-сити, и Холкомбом, который можно назвать пригородом Гарден-сити, составляет примерно четыреста миль.

Любой человек, пересекший Америку от побережья до побережья, будь то на поезде или на машине, наверняка проезжал через Гарден-сити, но вряд ли кто-нибудь из путешественников запомнил этот факт. Гарден-сити — всего лишь рядовой городок, расположенный почти в географическом центре Соединенных Штатов. Впрочем, жители Гарден-сити вряд ли согласятся с подобным мнением, и возможно — с полным на то правом. Правда, тут не обошлось бы без преувеличения («Хоть весь мир обойдите, нигде не найдете таких гостеприимных людей, такого свежего воздуха, такой хорошей воды»; «Я мог бы уехать в Денвер и зарабатывать втрое больше, но у меня пятеро детей, и, по-моему, нигде им не будет лучше, чем здесь. Отличные школы, все виды спорта. У нас даже есть колледж». «Я приехал сюда как начинающий адвокат. Я и не думал задерживаться надолго. Но когда появилась возможность уехать, я подумал: а зачем? Какого черта? Может, это и не Нью-Йорк — но кому он нужен, Нью-Йорк? Прекрасные соседи, внимательные друг к другу,— вот что важно. Здесь есть

* Проверка умственных способностей.

все, что нужно приличному человеку. Красивые церкви. Гольф».). Однако стоит приезжему свыкнуться с тем, что после восьми часов вечера на главной улице воцаряется глубокая тишина, и он не замедлит обнаружить многое, что подтвердит хвастливые заявления жителей городка — это и прекрасная публичная библиотека, и вполне пристойная ежедневная газета, и тенистые площади с зелеными газонами, и тихие улицы, где собаки и детишки могут резвиться в полной безопасности, обширный парк со зверинцем («Посмотрите белых медведей!», «Посмотрите слониху Пенни!»), и плавательный бассейн, занимающий несколько акров («Самый большой в мире БЕСПЛАТНЫЙ плавательный бассейн!»). Все это вместе с пылью, ветрами и беспрестанно раздающимися паровозными гудками создает атмосферу «родного города». О нем вспоминают с грустью те, кто уехал, а те, кто остался, испытывают глубокое удовлетворение, сознавая, как глубоко пустили они здесь корни.

Жители Гарден-сити утверждают, что в их городе не существует социального неравенства («Нет уж, сэр. Ничего подобного у нас нет. Все равны, независимо от имущественного положения, цвета кожи или вероисповедания. Все так, как должно быть при настоящей демократии. Можете не сомневаться».). Но, конечно, классовые различия столь же явственны здесь, как и в любом другом человеческом сообществе. Ста милями западней человек окажется вне «библейского пояса», той пропитанной религией части Америки, где всякий должен — хотя бы в интересах своего дела — напускать на себя благочестивый вид; но графство Финни расположено внутри «библейского пояса», и здесь вероисповедание человека определяет его социальное положение. Восемьдесят процентов верующих в графстве составляют баптисты, методисты, католики, но элита — предприниматели, банкиры, адвокаты, врачи и наиболее преуспевающие фермеры, составляющие сливки общества,— это почти исключительно прихожане пресвитерианской и епископальной церквей. Случайного методиста могут принять, порой затешется демократ, но в общем и целом вершат всем крайне правые республиканцы пресвитерианского или епископального вероисповедания.

■

Днем черный «шевроле» въехал в Эмпорию, довольно большой канзасский город и вполне безопасный, так что приятели решили заняться покупками. Они поставили машину в тихом переулке, а затем, немного побродив, обнаружили достаточно многолюдный универсальный магазин.

Сперва они приобрели пару резиновых перчаток для Перри, который в отличие от Дика забыл захватить их с собой.

Потом они остановились в отделе, где продавались женские чулки. После небольшой перепалки Перри сказал:

— Я — за.

Но Дик не был убежден.

— А как же мой глаз? Они все слишком светлые, чтобы скрыть его.

— Мисс,— позвал Перри продавщицу,— у вас есть черные чулки?

Услышав отрицательный ответ, Перри предложил попытать счастья в другом магазине.

— Черные — это полная гарантия.

Но Дик уже принял решение: чулки, независимо от цвета, им не нужны. К чему лишние расходы? («Я уже вложил в это дело достаточно денег».) А свидетелей все равно не останется.

— Никаких свидетелей,— напомнил он в миллионный раз, как показалось Перри. Его раздражало то, как Дик произносил эти два слова, будто бы они разрешали все проблемы. Ведь может найтись свидетель, которого они вовремя не заметят, и отрицать подобную возможность было по меньшей мере глупо.

— Дело может принять самый неожиданный оборот,— изрек он.

Но Дик, самоуверенно и ребячливо улыбнувшись, возразил:

— Не дрейфь. Все будет в порядке.

Разумеется. Потому что план принадлежал Дику и все было предусмотрено от скрипа первой половицы до воцарения мертвой тишины.

Затем они купили веревку. Перри внимательно осмотрел все сорта, попробовал

некоторые веревки на крепость. В прошлом моряк торгового флота, он разбирался в веревках и узлах. Перри выбрал белый нейлоновый шнур, крепкий, как проволока, и немногим толще ее. Предстояло решить, сколько следует его взять. Дика этот вопрос разозлил, потому что за ним стояли трудности, которые он не мог предусмотреть, несмотря на хваленое совершенство его плана. Наконец он сказал:

— Черт подери, откуда я знаю?

— А надо бы знать.

Дик прикинул:

— Значит, так: он, она. Парнишка и дочь. Могут быть и две другие дочки. Но сегодня суббота. Возможно, приедут гости. Скажем, восемь или даже двенадцать человек. Ясно только одно: убрать надо будет их всех.

— Многовато, пожалуй.

— Разве это не то, что я тебе обещал, дорогуша... дорогой...— много волос на стенах?

Перри пожал плечами:

— Тогда купим весь моток.

В мотке было сто ярдов — вполне достаточно для двенадцати человек.

■

Кеньон смастерил сундук сам: из красного дерева, отделанный кедром, сундук — свадебный подарок Беверли — предназначался для ее приданого. Сейчас, сидя в «рабочей комнате» в подвале, он в последний раз покрывал его лаком.

Внешне Кеньон не был похож на родителей; его коротко остриженные волосы казались совсем льняными, он был худой, долговязый и очень сильный — однажды во время бурана он спас двух овец, пронеся их на руках около двух миль,— но при этом чрезвычайно неуклюжий и нескладный. Это обстоятельство и плохое зрение — Кеньен носил очки — мешали ему участвовать в таких спортивных играх, как баскетбол и бейсбол, которыми увлекались его сверстники, и поэтому у него был только один близкий друг — Боб Джоунз, сын Тэйлора Джоунза, чья ферма находилась в миле к западу от дома Клаттеров.

Оставив сундук высыхать, Кеньен занялся другим делом. Он намеревался прополоть мамин цветник, нежно любимый клочок растрепанной зелени под окнами ее спальни. Там он увидел одного из наемных рабочих — Пола Хелма, мужа экономки,— который рыхлил землю лопатой.

— Видишь ту машину? — спросил мистер Хелм.

Да, Кеньен заметил машину, серый «бьюик», который стоял у входа в кабинет отца.

— Я думал, может, ты знаешь, кто это приехал.

— Разве что мистер Джонсон. Папа говорил, что он его ждет.

Мистер Хелм (ныне покойный: он умер от удара в марте следующего года) был угрюмым мужчиной лет пятидесяти восьми, он любил всегда быть в курсе дела, но его замкнутость скрывала необычайное любопытство и наблюдательность.

— Какой Джонсон?

— Страховой агент.

Мистер Хелм хмыкнул:

— Видно, твой отец страхует все, что может. Машина торчит здесь часа три.

Мистер Хелм взял свою лопату. Каркали вороны, закат был близок, а его дом далек. Ему предстояло пройти полмили по аллее из китайских вязов, которая превратилась сейчас в зеленый сумрачный туннель.

— Всего,— сказал он, двинувшись в путь. Но почему-то оглянулся.

«И это был последний раз,— давал он свидетельские показания на другой день,— когда я их видел. Мальчик возился в саду. Нэнси отводила в конюшню старую Бэйб. В общем, все было, как обычно».

■

Черный «шевроле» снова остановился, на этот раз перед католической больницей на окраине Эмпории. Перри все ворчал («Это твой главный недостаток. Ты считаешь, что единственный правильный путь — это путь Дика»), и Дик, наконец, сдался. Пока

Перри ждал в машине, Дик отправился в больницу, чтобы попытаться купить у монахини пару черных чулок. Такой, несколько необычный, способ их приобретения придумал Перри. Он не сомневался, что у монахинь должен быть большой запас черных чулок. Правда, имелось и одно «но» — монахини и все, что к ним относилось, сулили беду, а Перри был суеверен. (По его мнению, несчастьем ему грозили цифра «15», рыжие волосы, белые цветы, священники, переходящие дорогу, и змеи, увиденные во сне.) Но делать было нечего. По-настоящему суеверные люди чаще всего — фаталисты, так обстояло дело и с Перри. Он оказался здесь и участвовал во всем этом не потому, что так ему хотелось, а потому, что так распорядилась судьба.

После освобождения Перри четыре месяца ездил по стране в стареньком «форде», приобретенном по случаю за сто долларов: из Рено он проехал в Лас-Вегас, из Беллингема, штат Вашингтон, в Бьюл, штат Айдахо, и в Бьюле, где он временно устроился на работу водителем грузовика, его настигло письмо Дика:

«Дружок П. Вышел в августе. Уже без тебя познакомился с Одним Человеком, ты его не знаешь, который подсказал мне Дельце, которое мы можем прекрасно обделать. Идея блеск». До этих пор Перри не думал, что когда-нибудь снова увидит Дика. Или настоящего и единственного своего друга Уилли-Джея. Но оба они жили в воображении Перри, особенно последний, выросший в его представлении до десяти футов. Седовласый мудрец, который вновь и вновь возникал в лабиринте его сознания. «Тебя влечет негативизм,— сказал ему однажды Уилли-Джей.— Ты стремишься плевать на все, существовать, не неся никакой ответственности, жить без веры, друзей и человеческого тепла».

Во время своих одиноких и тоскливых скитаний Перри не раз мысленно возвращался к этому обвинению и решил, что оно несправедливо. Он вовсе не хочет плевать на все, да только на него-то всем наплевать. Кому он был нужен? Отцу? Да, в какой-то степени. Одной-двум девушкам, но это — «длинная история». По-настоящему его ценил только Уилли-Джей. Только Уилли-Джей воздавал должное его способностям, понимал, что он не просто метис, карлик с гипертрофированной мускулатурой; несмотря на свои нотации, он видел Перри таким, каким тот сам себя представлял,— «исключительной, редкой, артистичной натурой». Уилли-Джей давал пищу его тщеславию, оберегал его чувствительность, — после четырех месяцев разлуки встреча с ним казалась Перри желанней всех золотых кладов, рисовавшихся его воображению. Получив приглашение Дика, он сообразил, что, согласившись, приедет в Канзас примерно в тот день, когда будет освобожден Уилли-Джей, и решение пришло само собой. Он поехал в Лас-Вегас, продал свою колымагу, упаковал свою коллекцию карт, старых писем, рукописей и книг и купил билет на автобус линии «Грейхаунд». В остальном он целиком полагался на волю судьбы: если у него с Уилли-Джеем «ничего не получится», можно будет «поразмыслить над предложением Дика». Однако выбирать ему не пришлось — когда Перри доехал до Канзас-сити вечером 12 ноября, Уилли-Джей, которого он не сумел предупредить о своем приезде, уже уехал — уехал на какие-то пять часов раньше с той же самой автобусной станции, куда прибыл Перри.

Дик вернулся без чулок.

— Не вышло,— бросил он небрежно, и Перри сразу заподозрил его во лжи.

— Это точно? Ты хоть спросил кого-нибудь?

— Конечно.

— Может быть, все к лучшему. Монашки приносят несчастье.

■

Представитель нью-йоркской страховой компании в Гарден-сити, улыбаясь, наблюдал за тем, как мистер Клаттер доставал свой «паркер» и открывал чековую книжку. Ему вспомнилась местная шутка.

— Знаете, что о вас говорят, Хёрб? «С тех пор, как за стрижку стали брать полтора доллара, Херб выписывает парикмахеру чек».

Мистер Клаттер выпрямился и приготовился писать.

— По правде говоря, я чувствую себя прекрасно. И настроен оптимистически. Мне кажется, что в ближайшие годы можно будет получить недурной доход.

Продолжая развивать свои финансовые планы, он подписал чек и протянул его агенту.

Было десять минут седьмого, и мистер Джонсон торопился — жена будет ждать его с ужином.

— Был рад повидаться с вами, Хёрб.

— Я тоже.

Они пожали друг другу руки. Затем, чувствуя законное удовлетворение, мистер Джонсон взял со стола чек и положил его в свой бумажник. Это был первый взнос по сорокатысячному полису, который предусматривал оплату в двойном размере в случае смерти из-за несчастного случая.

■

Перри вынул из ящика под ветровым стеклом бутылку коктейля из водки и апельсинного сока. Они пили по очереди прямо из бутылки. Несмотря на то, что уже стемнело, Дик ехал со скоростью шестьдесят миль в час, не включая фар; правда, дорога была здесь совершенно ровной, да и встречные машины попадались лишь изредка. Это уже было «там где-то», во всяком случае, близко.

— Черт!— выругался Перри, злобно поглядывая на однообразные нескончаемые равнины под холодным зеленоватым небом, где лишь изредка мерцали огоньки уединенных ферм. Он ненавидел эти равнины, как ненавидел техасские прерии, пустыни Невады,— эти безграничные, плоские, почти необитаемые пространства наводили на него тоску, вызывали агорафобию. Он обожал морские порты — кишащие людьми, грохочущие, пропитанные зловонием стоянки морских судов,— города вроде Иокогамы, где он, рядовой американской армии, провел лето во время корейской войны.— Черт! И они еще уговаривали меня не возвращаться в Канзас! Чтоб духу моего тут не было — словно из рая меня изгоняли! Нет, ты только посмотри! Полюбуйся!

Дик протянул ему бутылку, содержимое которой уменьшилось наполовину.

— Остальное не трогай. Может пригодиться,— сказал Дик.

— Слушай, Дик. Помнишь, что говорится насчет лодок, как их покупать? Я вот думаю, мы могли бы купить в Мехико суденышко, дешевое, но прочное. Мы бы поехали в Японию. Переплыли бы Тихий океан. Его так уже тысячу раз переплывали. А Япония тебе понравится, удивительные, добрые люди — у них манеры как цветы. И по-настоящему учтивы — не из-за твоих денег. А женщины... Ты ведь ни разу в жизни не видел настоящей женщины...

— Нет, видел,— ответил Дик, который утверждал, что по-прежнему влюблен в свою золотоволосую первую жену, пусть она даже и вышла замуж.

— И бассейны... Один называется «Озеро грез». Ложишься, и красивые, сногсшибательные девочки моют тебя с ног до головы.

— Это ты мне уже рассказывал...— грубо оборвал его Дик.

— Ну и что? Может быть, я не имею права еще раз повторить?

— Потом. Давай обсудим все потом. У меня и так голова лопается.

■

В понедельник Бобби Рапп, давая свидетельские показания, в то время как его подвергали проверке с помощью детектора лжи, подробно описал свой последний визит к Клаттерам.

Было полнолуние, и я подумал, что Нэнси, может быть, захочет со мной покататься. Мы бы поехали на озеро Маккинни или, может быть, в кино в Гарден-сити. Но когда я позвонил ей — примерно без десяти семь,— она ответила, что ей надо спросить отца. Нэнси сказала, что он не позволил: мы слишком поздно вернулись накануне. Потом она сказала:

— Почему бы тебе не зайти к нам посмотреть телевизор?

Я часто ходил к Клаттерам смотреть телевизор. Кроме Нэнси у меня никогда не было другой девушки. Я знал ее всю свою жизнь — мы вместе учились в школе с первого класса. Насколько я помню, она всегда была очень хорошенькой, и все ее любили — еще совсем маленькой она была, ну, Человеком. То есть она умела делать всех вокруг счастливыми. Первый раз я назначил ей свидание, когда мы учились в

восьмом классе. На школьном балу ее приглашали чуть ли не все наши мальчики, и я даже не ожидал, что она выберет меня, и очень этим гордился. Нам было по двенадцать лет.

Чем больше я ее узнавал, тем больше она мне нравилась — и она, и вся ее семья, другой такой семьи я никогда не видел. Мистер Клаттер, может быть, иной раз проявлял излишнюю строгость в вопросах религии и т. д., но никогда не говорил так, будто прав только он один.

Мы живем в трех милях к западу от фермы Клаттеров. Я обычно ходил к ним пешком — туда и обратно. Но летом я всегда работал и в этом году заработал достаточную сумму, чтобы купить собственную машину, «форд» модели 55-го года. Так что в этот раз я приехал туда на машине, чуть позже семи часов. По дороге и в аллее, которая ведет к их дому, я никого не видел и у самого дома тоже. Только Тедди. Он на меня залаял. В окнах нижнего этажа горел свет — в гостиной и в кабинете мистера Клаттера. На втором этаже было темно, и я подумал, что миссис Клаттер спит или ее нет дома. Вообще всегда было непонятно, дома она или нет, а я не спрашивал. Но позднее я убедился в том, что был прав, потому что, когда Кеньен захотел поиграть на своей трубе (он играл в школьном оркестре), Нэнси ему не разрешила — ведь он разбудил бы маму. Короче говоря, когда я вошел, они уже кончили ужинать, и Нэнси убрала со стола, сложила все тарелки в моечную машину, и все трое — мистер Клаттер и она с Кеньеном — уже перешли в гостиную. Мы сели, как всегда: Нэнси и я на кушетку, а мистер Клаттер — в свое кресло-качалку. Он не столько смотрел телевизор, сколько читал какую-то книжку Кеньена. Один раз он вышел в кухню и вернулся оттуда с двумя яблоками, одно из них он предложил мне, но я отказался, и он съел их сам. У него были очень белые зубы — это из-за яблок, говорил он. Нэнси была в носках, домашних туфлях, джинсах и, кажется, в зеленом свитере, она надела золотые часы и браслет, который я подарил ей в день рождения, когда ей исполнилось шестнадцать лет. На одной стороне браслета стояло мое имя, а на другой — ее. На пальце у нее было надето тоненькое серебряное колечко, которое она купила прошлым летом, когда ездила в Колорадо с Кидвэллами. Это было не то кольцо, которое я ей подарил, не наше. Она рассердилась на меня недели две назад и сказала, что на время снимет кольцо. У нас считается так: если девушка сняла твое кольцо, значит, ты проходишь испытательный срок.

Один раз позвонил телефон. Или два? Точно не помню. Но один-то раз телефон звонил, и мистер Клаттер снял трубку в своем кабинете. Дверь в кабинет была открыта, и я услышал, как он сказал: «Ван», поэтому догадался, что он разговаривает с мистером Ван Флитом. Он сказал, что у него болела голова, но сейчас уже проходит. Они договорились встретиться в понедельник. Когда мистер Клаттер вернулся, программа Майка Хаммера уже кончилась. Потом пять минут передавали последние известия и сводку погоды. Когда передавали прогноз, мистер Клаттер оживился — это была единственная передача, которая его по-настоящему интересовала. А меня интересуют только спортивные передачи — они идут обычно сразу после прогноза. Спортивная передача кончилась в половине одиннадцатого, и я собрался ехать домой. Нэнси вышла проводить меня. Мы немного поболтали и договорились в воскресенье пойти на фильм, о котором много слышали,— «Синий ситец». Потом Нэнси побежала домой, а я поехал. Луна так сияла, что было светло, как днем, и холодно, и ветрено — попадалось много перекати-поле. Больше я ничего не видел. Но теперь, когда я начинаю вспоминать, мне кажется, что кто-то там прятался. Прятался и ждал, пока я уйду.

■

Путники остановились в Грейт-Бенде, чтобы пообедать. У Перри оставалось только пятнадцать долларов, поэтому он готов был обойтись имбирным пивом и сандвичем, но Дик сказал, что надо «подзаправиться» как следует, а платить будет он. Они заказали два бифштекса с печеной картошкой, жареную картошку и лук, кукурузу с бобами, макароны, мамалыгу, салат, сладкие булочки, яблочный пирог с мороженым и кофе. В довершение всего они зашли в аптеку и купили две сигары; там же они купили два рулончика широкого лейкопластыря.

Машина шла на большой скорости. Свет фар выхватывал из темноты рекламные плакаты: «Посмотрите белых медведей!», «Буртис моторс», «Самый большой в мире БЕСПЛАТНЫЙ плавательный бассейн!», «Мотель Пшеничных Полей» и, наконец, перед первыми фонарями городских улиц: «Здравствуйте! Добро пожаловать в Гарден-сити! Самый гостеприимный город!»

Они обогнули город с юга. Улицы в этот поздний час пустовали, все было закрыто, кроме ряда ярко освещенных бензоколонок. У одной из них Дик остановился. К ним подбежал юноша и спросил:

— Залить?

Дик кивнул, а Перри вышел из машины и пошел в мужской туалет. Очень болели ноги, словно он разбился на мотоцикле пять минут назад. Перри вытряхнул на ладонь три таблетки аспирина, отправил их в рот и медленно, с удовольствием, стал пережевывать. Затем выпил воды из-под крана. Он сел на унитаз, вытянул ноги и стал массировать колени, отказывавшиеся сгибаться. Дик сказал, что они почти у цели — осталось «миль семь». Перри вынул из кармана тужурки бумажный мешочек с недавно приобретенными резиновыми перчатками. Они были липкие, цвета клея, тонкие; пока он надевал их, одна перчатка слегка порвалась — ничего серьезного, просто прореха между пальцами, но ему это показалось плохим предзнаменованием.

Кто-то стал дергать ручку двери. Раздался голос Дика.

— Хочешь конфету? У них тут есть конфетный автомат.

— Нет.

— Ты в норме?

— Вполне.

— Ну так не сиди тут всю ночь.

Дик опустил десятицентовую монету в автомат, потянул ручку и получил мешочек леденцов, сунул несколько штук в рот, вернулся к машине и стал наблюдать за тем, как служащий пытался очистить ветровое стекло от пыли и размозженных останков насекомых. Служащему, которого звали Джеймс Спор, *стало не по себе*. Глаза Дика, его мрачное лицо и затянувшийся визит Перри в уборную пробудили в нем смутную тревогу. (На следующий день он сообщил своему хозяину: «Вчера ночью у нас заправлялись две темные личности». Но тогда он не связал их появление с холкомбской трагедией — это случилось много позднее.)

Дик сказал:

— Местечко тут не бойкое.

— Это точно,— согласился Джеймс Спор.— Вы первые остановились за два часа. Откуда едете?

— Из Канзас-сити.

— Думаете поохотиться у нас?

— Да нет, мы едем дальше. В Аризону. Нас там ждет работа. Не знаете, сколько миль отсюда до Тукумкари, Нью-Мексико?

— Не знаю. С вас три доллара шесть центов.

Он взял деньги у Дика, протянул сдачу и сказал:

— Извините, сэр. У меня работа: надо поставить бампер на грузовик.

Дик ждал, хрустя леденцами, и нетерпеливо нажимал на сигнал. Неужели он ошибся в Перри? И Перри вдруг сдрейфил? Год назад, когда они познакомились, Перри показался ему «своим парнем», хотя он «задавался», был «сентиментальным» и «мечтателем». Он понравился Дику, впрочем, не настолько, чтобы водить с ним дружбу, пока Перри не рассказал ему, как он «смеха ради» однажды убил негра в Лас-Вегасе, забил его до смерти велосипедной цепью. Теперь Дик почувствовал к нему уважение, стал чаще видеться с ним. В тюрьме Лансинг было немало таких, которые хвастались тем, что убили, либо тем, что готовы совершить убийство. Однако Дик пришел к убеждению, что Перри «прирожденный убийца», тип поистине редчайший — совершенно нормальный, но лишенный совести человек, который способен убивать без всякой цели. Дик считал, что дар подобного рода — бесценная вещь, когда он попадает в умелые руки. Придя к этому выводу, Дик начал обхаживать Перри, он льстил ему, притворялся, что верит его россказням о кладах, что разделяет его любовь к бродячей жизни и портовым городам — хотя все это было ему совершенно чуждо и он мечтал

о «нормальной жизни»: собственное дело, дом, верховая лошадь, новый автомобиль и «цыпочки-блондинки». Однако Перри не следовало знать об этом — во всяком случае, до тех пор, пока его талант не поможет Дику воплотить свои мечты в жизнь. Но вдруг он просчитался? Вдруг его одурачили? Если это так, если Перри просто-напросто «слабак» — тогда «прогулка» закончена, месяцы, ушедшие на тщательное обдумывание плана, потрачены зря, и остается только вернуться восвояси несолоно хлебавши. Нет, этого не может быть! Дик бросился в здание бензоколонки.

Дверь мужской уборной все еще была заперта. Он начал барабанить в нее:

— Перри! Да что с тобой, Перри?

— Сейчас.

— Тебе что — плохо?

Перри ухватился за умывальник и с трудом поднялся. Ноги дрожали, от боли в коленях он вспотел. Вытерев лицо бумажной салфеткой, он отпер дверь и сказал:

— Ладно! Поехали.

■

Нэнси всегда ложилась спать последней. Однажды она призналась учительнице домоводства миссис Полли Стрингер, которую очень любила, что полуночные часы у нее отведены на то, чтобы «давать волю эгоизму и тщеславию». В эти часы она ухаживала за кожей лица, а по субботам мыла волосы. В эту ночь, высушив, расчесав и завязав волосы шарфом, она приготовила одежду, в которой собиралась завтра идти в церковь: нейлоновые чулки, черные туфли на высоких каблуках, красное бархатное платье — самое красивое из всех, сшитое ею самой. В этом платье ее и похоронили. Перед тем как помолиться на сон грядущий, она всегда записывала в дневник события дня. («Наступило лето. Надеюсь, навсегда. Приходила Сью. Мы ездили на Бэйб к реке. Сью играла на флейте. Светлячки. Я люблю его. Да!») Нэнси вела дневник пятый год и еще не пропустила ни одного вечера. Хроника каждого года велась разными чернилами: 1956 — зелеными, 1957 — красными, 1958 — фиолетовыми, а нынешнего, 1959,— строгими синими. Она записала: «Приходила Джолин К., и я показала ей, как пекут пирог с вишнями. Занималась с Рокси. Приходил Бобби, вместе смотрели телевизор. Ушел в одиннадцать».

■

— Вот оно, вот оно, это уж точно, вот школа, вот гараж, теперь поворачиваем к югу.

Перри казалось, что Дик бормочет ликующие заклинания.

Они свернули с автострады, промчались через пустынный Холкомб и пересекли железнодорожные пути.

— Это банк, точно — банк, теперь поворачиваем на запад и... видишь деревья? Вот оно — это уж точно.

Лучи фар выхватили из тьмы аллею китайских вязов и кувыркающиеся на ней шары перекати-поля, гонимые ветром. Дик выключил фары, затормозил, а потом и совсем остановился, давая глазам привыкнуть к лунному свету. Через несколько минут машина, словно громадная черепаха, двинулась вперед.

■

Одноклассницу Нэнси Клаттер тоже звали Нэнси, но Нэнси Юорт. Единственная дочь мистера Кларенса Юорта, фермера, выращивающего сахарную свеклу, она приехала к Клаттерам, чтобы вместе с ними пойти в церковь. Сам мистер Юорт и его жена в церковь не ходили, и он отвозил Нэнси к Клаттерам, чтобы «не ездить два раза в город». Обычно он ждал, пока кто-нибудь откроет дверь. Нэнси, нарядная, стройная, как голливудская звезда, в темных очках, семенящей походкой направилась к двери и позвонила. Когда ей никто не открыл, она подошла к двери, которая вела в кабинет мистера Клаттера. Дверь была приотворена, она открыла ее пошире и убедилась, что внутри никого нет. Не решившись войти, она позвонила еще несколько раз, постучала, потом направилась к черному ходу. Проходя мимо гаража, она заметила, что оба автомобиля на месте. Это могло означать только одно: Клаттеры дома. Безрезультатно по-

стучав в дверь, она направилась к четвертой двери, которая вела в кухню. По-прежнему никто не откликался. Нэнси вернулась к отцу и сказала:

— Наверно, они еще спят.

— Этого не может быть! Неужели ты считаешь, что мистер Клаттер способен проспать воскресную службу?

— Ну, тогда поедем в город. Сьюзен, наверно, в курсе дела.

Но Сьюзен ничего не знала, как не знала и ее мать:

— Если бы они передумали, я уверена, что они предупредили бы нас. Сьюзен, позвони-ка им. Может быть, они все-таки проспали?

■

И я позвонила, объясняла Сьюзен, давая показания. Я набрала номер и ждала, наверно, целую минуту, пока телефон звонил,— то есть я думала, что он звонил. Никто не подошел, и мистер Юорт предложил подъехать к ним и «разбудить их». Но, когда мы приехали, я не хотела входить в дом. Мне было страшно, сама не знаю почему — мне и в голову не приходило, что... ведь о подобном просто не думаешь. Но солнце так сияло, все кругом было так светло и тихо — даже слишком. Потом я заметила, что все автомобили на месте. Мистер Юорт был в рабочей одежде, сапоги у него были в грязи, и ему не хотелось заходить к Клаттерам в таком виде, тем более что он прежде никогда у них не бывал. То есть у них в доме. Наконец Нэнси сказала, что пойдет со мной. Мы подошли к кухонной двери, которая, конечно, не была заперта: в семье Клаттеров никто не запирал дверей, кроме экономки миссис Хелм. Мы вошли, и я сразу заметила, что Клаттеры не завтракали,— не было никакой посуды, на плите ничего не стояло. И тут я увидела странную вещь: на полу валялась сумочка Нэнси. Мы прошли через столовую и остановились у лестницы. Комната Нэнси выходит на площадку. Я позвала ее, потом стала подниматься по лестнице, а сзади шла Нэнси Юорт. Меня больше всего пугали наши шаги — они раздавались так громко, а кругом все было так тихо. Дверь в комнату Нэнси была приоткрыта. Занавески не были задернуты, солнечный свет заливал всю комнату. Я не помню, чтобы я кричала, но Нэнси Юорт говорит, что кричала — снова и снова. Я только помню, как плюшевый мишка Нэнси смотрел на меня. И Нэнси. И я побежала...

■

Лэрри Хендрикс, двадцатисемилетний преподаватель английского языка, жил на верхнем этаже «учительской». Он готовился стать писателем, но его квартира явно не соответствовала идеальному убежищу будущего литератора. Она была меньше квартиры Кидвэллов, притом тут жила его жена, трое весьма энергичных детей; телевизор работал круглосуточно. (Только так удается хоть как-то утихомирить ребят.) Жалованья ему не хватало, он подрабатывал, развозя школьников на автобусе.

В то воскресенье — рассказывал он,— 15 ноября, я сидел у себя и читал газеты— гремел телевизор, дети ходили на головах, но все равно я слышал голоса, доносившиеся снизу из квартиры миссис Кидвэлл. В общем, меня это не касалось, тем более что я здесь новый человек. Но тут прибежала Шерли — моя жена, она развешивала белье на улице. Она сказала:

— Спустись вниз. Там все в истерике.

Я спустился. У девочек действительно была настоящая истерика. Сьюзен так и не оправилась после этого потрясения и, по-моему, никогда по-настоящему не оправится. И бедняжка миссис Кидвэлл! У нее и так слабое здоровье и нервы расшатаны. Даже мистер Юорт был не в себе. Он говорил по телефону с шерифом Гарден-сити и, когда кончил, сказал:

— У Клаттеров случилось что-то страшное.

Шериф обещал сейчас же приехать, и мистер Юорт обещал встретить его на шоссе. Тут пришла Шерли, чтобы посидеть с женщинами, как-нибудь их успокоить — как будто это было возможно,— а я отправился с мистером Юортом встречать шерифа Робинсона. По дороге он рассказал мне, что произошло. Когда он упомянул пере-

резанные провода, я сказал себе: «Так, так»,— и решил глядеть в оба, все замечать — на случай, если придется давать показания в суде.

Когда подъехал шериф, я посмотрел на часы — было тридцать пять минут десятого. Мистер Юорт сделал ему знак следовать за нами, и мы поехали к ферме Клаттеров. Там шериф выслушал рассказ мистера Юорта, затем передал по радиотелефону приказ, чтобы прислали людей и карету скорой помощи. Он сказал:

— Здесь произошел несчастный случай.

Потом мы втроем вошли в дом. Прошли через кухню и увидели на полу дамскую сумочку и телефон с перерезанным проводом. Когда мы поднимались вверх по лестнице, шериф не снимал руки с кобуры своего пистолета.

Это было страшно. Такая замечательная девушка... Но ее нельзя было узнать. Ей выстрелили в затылок с близкого расстояния из охотничьего ружья. Она лежала на боку лицом к стене, стена была вся в крови. Одеяло было натянуто ей на плечи. Шериф Робинсон приподнял одеяло, и мы увидели, что она была в халате, пижаме, носках, домашних туфлях — как будто она еще не ложилась, когда все произошло. Ее руки были связаны за спиной, ноги тоже были связаны шнурком. Шериф спросил:

— Это Нэнси Клаттер?

Он ее никогда прежде не видел. А я ответил:

— Да, да, это Нэнси.

Мы снова вышли в коридор и огляделись. Все другие двери были закрыты. Мы открыли одну — это была ванная. Мне показалось, что здесь что-то не так,— наверно из-за стула. Это был мягкий стул, которому не место в ванной. Следующей была спальня Кеньена, как мы догадались. Я узнал его очки — они лежали на книжной полке около кровати. Но кровать оказалась пустой, хотя видно было, что в ней спали. Мы дошли до конца коридора и там, в последней комнате, на кровати нашли миссис Клаттер. Ее тоже связали, но иначе — руки были связаны спереди; казалось, она молится. В одной руке она зажала носовой платок. Шнур стягивал кисти рук, спускался к щиколоткам и под кровать, где был привязан к ножке — очень сложный способ. Страшно подумать, что она пережила. Да, у нее на пальцах остались кольца — два, поэтому-то я, в частности, и подумал, что это была не кража. Она была в халате, белой ночной рубашке и белых носках. Рот был заклеен пластырем, но так как стреляли в упор в висок, сила удара сорвала пластырь. Ее глаза были открыты. Широко открыты. Будто она все еще смотрела на убийцу. Ведь она же видела, как он... как он целится. Все молчали. Просто не могли говорить. Помню, шериф стал искать гильзу. Но тот, кто стрелял, видно, был слишком хладнокровным и опытным убийцей, чтобы оставить такую улику.

Мы, конечно, думали о Кеньене и мистере Клаттере. Где они? Шериф сказал:

— Пошли вниз.

Мы вошли в спальню мистера Клаттера. Ничего необычного не заметили, никаких следов борьбы. Только телефонная трубка была снята с аппарата и провода перерезаны, как в кухне. Шериф Робинсон нашел в стенном шкафу несколько охотничьих ружей и понюхал их, чтобы проверить, не стреляли ли из них недавно. Оказалось, что нет. Он был совершенно растерян, все говорил:

— Куда же девался Хёрб?

Вдруг мы услышали шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Шериф крикнул «кто там?» таким голосом, будто вот-вот будет стрелять. Раздался голос:

— Это я. Вэндл.— Это был помощник шерифа Вэндл Майер. Он подъехал к дому и, не увидев нас, пошел обследовать подвал. Шериф сказал ему — даже как-то жалко его стало:

— Вэндл, я ничего не понимаю. Там наверху два трупа.

— Что же,— ответил Вэндл,— в подвале лежит еще один.

Мы спустились за ним в подвал. Кеньен лежал в углу на кушетке. Рот у него был заклеен пластырем, и он был связан по рукам и ногам, как мать. Почему-то он произвел на меня самое страшное впечатление. Может быть, оттого, что он как-то больше остальных был похож на себя, хотя ему и выстрелили прямо в лицо. Он был в майке и джинсах, босой — словно торопился и оделся кое-как. Под его головой лежали две подушки — вроде как их подсунули, чтобы удобнее было стрелять.

Потом шериф спросил:

— Куда ведет эта дверь?

Мы открыли ее и вошли в котельную, только там было черным-черно. Мистер Юорт нащупал выключатель. В общем, я взглянул на мистера Клаттера и отвернулся. От пулевой раны не могло быть столько крови. Так оно и оказалось. В него, конечно, стреляли прямо в лицо, как в Кеньена. Но он, наверно, умер до выстрела. Или умирал. Потому что ему перерезали горло. Он был в полосатой пижаме. Рот заклеен пластырем — лента была обмотана вокруг головы. Ноги были связаны, а руки — нет, вернее, он от боли или ярости сумел разорвать шнур. Он лежал перед топкой на огромной картонной коробке. Было похоже, что ее специально туда положили — коробку из-под матраца. Шериф сказал:

— Погляди-ка, Вэндл.

Он пальцем показал на кровавый след. На коробке. Отпечаток подошвы с двумя кружками, почти как два глаза. Потом кто-то из нас — не помню точно кто,— вроде мистер Юорт, заметил другое. Я этого не забуду до самой смерти. Под потолком шла труба отопления, и с нее свисал кусок все того же шнура. Видно, сперва мистера Клаттера подвесили за руки, потом срезали веревку. Зачем? Для того, чтобы пытать его? Наверно, этого мы никогда не узнаем. Никогда не узнаем, кто и зачем это сделал и что произошло ночью в этом доме.

■

Миссис Сэйди Трют, или мамаша Трют, как ее здесь называют, встречает поезда, чтобы получить мешки с почтой для жителей Холкомба. Она самая старая из потомственных холкомбцев, но ей никто не дал бы ее семидесяти пяти лет.

— *Было* время, когда все здесь были моими родственниками. Тогда мы называли этот городок Шерлоком. Потом заявился один. По фамилии Холкомб. Свиней выращивал. Накопил кучу денег и решил, что город должны переименовать в его честь. Добился своего, и что? Продал все и укатил в Калифорнию. Ну, мы не такие. Я родилась здесь, мои дети тоже. Никуда! Уезжать! Не! Собираемся!

Ее дочь, миссис Мэртл Клэр,— почтмейстерша.

Для мамаши Трют воскресенье — такой же рабочий день, как все прочие. 15 ноября, когда она в половине одиннадцатого ждала экспресс, две машины скорой помощи пересекли пути и направились в сторону дома Клаттеров. Это событие настолько взволновало мамашу Трют, что она совершила неслыханный поступок — не дождавшись поезда, поторопились сообщить Мэртл об этой новости.

В то воскресное утро миссис Клэр только что налила себе чашку кофе, когда вошла мамаша Трют.

— Мэртл,— выпалила она, с трудом переводя дыхание,— Мэртл, две машины скорой помощи поехали к Клаттерам.

— А где почта с экспресса десять тридцать две? — ответила ее дочь.

— Скорая помощь. К Клаттерам...

— Ну и что такого? Наверно, это все Бонни. Опять приступ. Где почта?

Мамаша Трют умолкла. Как всегда, последнее слово осталось за всезнающей Мэртл. Потом ее вдруг осенило:

— Мэртл, если это все только из-за Бонни, зачем понадобились две машины?

Миссис Клэр, которая уважала логику, хотя понимала ее по-своему, пришлось признать справедливость этого замечания. Она сказала, что сейчас позвонит экономке Клаттеров, миссис Хелм.

Беседа с миссис Хелм длилась несколько минут, и мамаша Трют изнывала, так как ничего не могла понять из односложных реплик дочери. Мало того, когда та повесила трубку, она даже не подумала удовлетворить любопытство старухи, а спокойно допила кофе, села за рабочий стол и стала штемпелевать письма.

— Мэртл! — воскликнула мамаша Трют.— Да побойся же бога, что сказала Мейбл?

— Меня это вовсе не удивляет,— сказала миссис Клэр.— Если вспомнить, как Хёрб всю жизнь только и делал, что торопился, прибегал сюда, как ошпаренный, за почтой, ни тебе здрасьте, ни до свидания! И в клубы-то вступал, и всем командовал,

и прибирал к рукам работу, которая, может, другим была нужна. Вот теперь все это ему и отлилось! Больше уж он не будет торопиться.

— Почему, Мэртл? Почему?

Миссис Клэр повысила голос:

— ПОТОМУ ЧТО ОН УМЕР. И Бонни тоже. И Нэнси. И парень. Их кто-то застрелил.

— Мэртл, не говори так. Кто их застрелил?

Не переставая штемпелевать, миссис Клэр ответила:

— Тот, что был на самолете. На которого Хёрб подал в суд за то, что он врезался в его фруктовые деревья. А если не он, то, может быть, ты. Или кто-нибудь через дорогу. Все соседи — это змеи подколодные. Все они, подлецы, только и ждут, чтобы захлопнуть дверь перед твоим носом. Во всем мире так. Ты сама знаешь.

— Ничего подобного,— сказала миссис Трют, зажав уши руками.— Ничего подобного я не знаю.

— Подлецы.

— Мне страшно, Мэртл.

— Чего страшно? Когда твой час настал, значит, он настал. И слезы не помогут. Когда умер мой Гомер, у меня вышел весь запас страха и горя. Если здесь шатается кто-нибудь, кто хочет мне перерезать глотку, желаю ему удачи. Какая разница? Не все ли равно для вечности? Так и запомни: если бы одна птица переносила через океан по одной песчинке, к тому времени, когда она кончила бы, вечность бы только начиналась. Так что высморкайся.

■

Далеко-далеко, в Олейте, в гостиничном номере с занавешенными окнами спал Перри, а рядом что-то бормотал серый транзистор. Перри снял только сапоги. Он растянулся на кровати и уткнулся лицом в подушку, словно сон был дубиной, которой его ударили по затылку. Сапожки — черные, со стальной пряжкой — отмачивались в раковине, и теплая вода чуть-чуть отливала розовым.

В двух-трех милях к северу Дик в уютной кухоньке скромной фермы с удовольствием доедал воскресный обед. Мать, отец и младший брат, сидевшие рядом, не замечали в его поведении ничего необычного. Дик вернулся домой в полдень, поцеловал мать, спокойно отвечал на вопросы о том, как он съездил в Форт-Скотт, и так же спокойно сел есть. После обеда трое мужчин сели перед телевизором, чтобы посмотреть баскетбол. Но не успела передача начаться, как Дик громко захрапел, и его отец, удивившись, сказал младшему сыну, что никак не думал дожить до того дня, когда Дик предпочтет сон баскетболу. Разумеется, он даже не подозревал, как Дик устал, и не знал, что его сладко спящий сын, помимо всего прочего, проехал за прошлые сутки более восьмисот миль и все время сам вел машину.

(Продолжение следует)

НАШИ ГОСТИ

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ ВЬЕТНАМА

Редакцию «Иностранной литературы» посетили писатели Демократической Республики Вьетнам. Трое наших гостей — представители не только различных литературных жанров, но и разных поколений вьетнамской литературы. Глава делегации Нгуен Динь Тхи, генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама, талантливый прозаик и поэт, начал свой творческий путь в годы сопротивления французским колонизаторам, прозаик и публицист Нгуен Туан и поэт Суан Зиеу получили широкую известность задолго до этого времени.

Вместе с солдатами Народной армии трудными дорогами джунглей прошли они все девять лет Сопротивления и, каждый по-своему, отразили в своих книгах народную войну. Произведения, созданные ими в послевоенные годы, нашли широкое читательское признание. Это книга очерков и эссе Нгуен Туана «Черная река», сборники стихов Суан Зиеу «Мыс Ка-мау» и «Частное и общее», роман Нгуен Динь Тхи «Прорванные берега».

Имена наших гостей давно известны и советскому читателю. Суан Зиеу и Нгуен Динь Тхи впервые напечатались в Советском Союзе 10 лет назад в сборнике «Стихи поэтов Вьетнама», после этого стихотворения их неоднократно появлялись на страницах нашей прессы, в том числе и в журнале «Иностранная литература». На русском языке был напечатан роман Нгуен Динь Тхи «Вперед, в атаку!», его сказка «Новый год котенка Миу» вышла двумя изданиями. Публиковались в советской печати и статьи Нгуен Туана. Широко известны вьетнамским читателям статьи Нгуен Динь Тхи о советской литературе и о творчестве Горького, выполненные Суан Зиеу переводы стихов Маяковского, Антокольского, Нашли и других наших поэтов, его работы о советской поэзии, а также осуществленные Нгуен Туаном переводы новелл Чехова. Теперь же, когда во Вьетнаме снова

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

идет война, перелистывая месячные подшивки газеты «Ван нге» («Литература и искусство»), наверно, не найдешь такой, где не было бы очерков, стихов или статей, написанных нашими гостями,— Нгуен Динь Тхи, Нгуен Туаном и Суан Зиеу, присланных ими с переднего края.

Нет ничего удивительного, что разговор о вьетнамской литературе начался не с перечня писательских имен или книг, а совсем с другого: с рассказа о повседневном героизме тех, для кого пишутся книги.

— Пожалуй, самой характерной деталью нашей сегодняшней жизни,— говорит Нгуен Туан,— стала винтовка. У крестьян, идущих за плугом, рабочих, стоящих у станков, у лесорубов на склонах гор и рыбаков, плывущих вдоль побережий моря и рек,— у всех за спиной винтовка. В каждой деревне, на каждом заводе созданы отряды ополчения...

Построены целые системы траншей и подземных укрытий, в которых ополченцы по сигналу тревоги занимают места и оттуда ведут огонь по самолетам. Нередко, особенно в рыбацких деревнях, где мужчины уходят на лов, отряды ополченцев состоят в основном из женщин.

— Конечно,— продолжает Нгуен Туан,— я не хочу сказать, что только благодаря винтовкам решается проблема нашей противовоздушной обороны. Есть у нас и зенитные пушки, и авиация, и современные виды оружия, наш народ прозвал их «огненными драконами». Но все-таки роль стрелкового оружия велика не только потому, что из него сбивают реактивные самолеты, но главным образом оттого, что винтовочный и пулеметный огонь заставляет американские самолеты, идущие на небольшой высоте. подниматься повыше. А там они подставляют себя под огонь зениток, под удар самолетов и «огненных драконов». Таким образом создается целая система огня...

НГУЕН ТУАН

— Население не только огнем отражает атаки с воздуха,— добавляет Нгуен Динь Тхи,— но и оказывает огромную помощь своей армии. В самые тяжелые минуты боев, когда зенитчики несут потери, вместо раненых солдат на подноску снарядов становятся крестьяне, нередко женщины и девушки. Они выносят раненых из-под огня, а иногда и занимают их места у орудий. Бывают случаи, когда командиры зенитных батарей для того, чтобы переставить пушки на высокие точки в горах, просят прислать вертолеты. Но вертолетов у нас мало. И вот на помощь артиллеристам приходят крестьяне. Они прорубают просеки, сооружают насыпи и на себе втаскивают орудия по горным кручам. Если колеса орудий увязают в грязи, жители окрестных домов срывают с петель двери, разбивают лежанки и боосают доски под буксующие шины...

— Американцы хотели остановить движение на дорогах, нарушить снабжение,— вновь берет слово Нгуен Динь Тхи.— Но это им не удалось. По ночам сотни, тысячи людей собираются к поврежденным участкам шоссе. Они засыпают воронки, восстанавливают полотно, утрамбовывают грунт... И нередко уже на следующий день по шоссе снова идут машины. Железнодорожники несмотря на непрерывные бомбежки продолжают водить поезда. Катера и грузовые шаланды, хотя американские самолеты охотятся буквально за каждой лодкой, перевозят грузы по рекам. Американские пираты разбомбили мосты на реках, но сразу же налаживаются паромные переправы, ставятся временные бамбуковые мостики для пешеходов, подвозятся лодки.

— Вы даже не представляете себе нашей транспортной техники,— улыбается Нгуен Туан.— Там, где дороги подверглись сильным разрушениям, вместо автомашин и повозок по ним идут велосипеды. Человек непривычный, наверно, с трудом догадался бы, что за механизм перед ним. Дело в том, что к велосипеду приделывают дополнительную раму из бамбука и длинную рукоять, за которую его ведет идущий рядом человек. Такой «модернизированный» велосипед способен перевозить до 300 кг груза. Он может пройти по самым неудобным и узким дорогам.

А Нгуен Динь Тхи рассказывает о том, что в тяжелых условиях военного времени студенты и школьники продолжают учиться.

— Ночью на тропинках, идущих по межам среди полей,— говорит он,— можно увидеть сотни двигающихся огоньков. Это, освещая дорогу фонариками, идут в школу дети. Из-за бомбежек уроки начинаются лишь после наступления темноты...

Вьетнамские писатели вспоминают о своих встречах с солдатами Народной армии, которые с беспримерным мужеством сражаются против американских империалистов. Они рассказывают о пехотинцах, зенитчиках, моряках.

— Однако, пожалуй, самое незабываемое впечатление,— признается Нгуен Динь Тхи,— произвели на меня встречи с первыми вьетнамскими летчиками, уже не раз обращавшими в бегство хвастливых американских асов. Они преодолевают тысячи трудностей...

Огромное вдохновляющее воздействие на народ Северного Вьетнама оказывают победы Освободительных войск и патриотов Юга над американскими интервентами и их марионетками. Нгуен Динь Тхи сравнивает нынешнюю войну во Вьетнаме с антифашистской войной в Испании, где в свое время гитлеризм и мировая реакция тоже устроили «пробу сил» и где практически был сделан первый шаг к мировой войне. Но сейчас другие времена и другая расстановка сил на нашей планете. Вьетнамский народ, который был вынужден взяться за оружие, чтобы отстоять свободу своей родины, готов сделать все, от него зависящее, чтобы огонь войны был погашен во Вьетнаме и не разгорелся в мировой пожар.

— Народ Вьетнама, каждый вьетнамец,— заявляет Нгуен Динь Тхи,— уверен в своей конечной победе и готов во имя нее на любые лишения и жертвы.

Наши гости с большой благодарностью говорили о помощи, оказываемой Вьетнаму Советским Союзом и другими братскими социалистическими странами, и поддержке всех честных людей земного шара.

Гости рассказали о том, как участвуют во всенародной борьбе писатели ДРВ. Почти все писатели — и молодые, и старые — сейчас в армии или разъехались по стране. Нгуен Туан исколесил чуть ли не всю страну вместе с колоннами автомобилей и велосипедов или со строителями дорог; Суан Зиеу побывал в прибрежных районах и вместе с рабочими и связистами объездил — в основном на велосипеде — Тханьхоа и соседние провинции. Нгуен Динь Тхи бывал во многих воинских частях, долго

жил вместе с солдатами зенитного подразделения, расположенного на одном из самых напряженных участков военных действий.

— Но, наверно, самая интересная «командировка»,— сказал Нгуен Динь Тхи,— была у молодого писателя Нгуен Кхая. Он вместе с художником и певицей побывал на героическом острове Кон-ко. Этот небольшой остров, расположенный неподалеку от берега как раз напротив устья пограничной реки Бен-хай, разделяющей Северный и Южный Вьетнам, вот уже много месяцев подвергается непрерывным атакам с воздуха и с моря. Нгуен Кхай провел на острове около месяца, сейчас он пишет очерки о мужественных защитниках Кон-ко. Из тех писателей, которые не прикомандированы к войскам, большинство находится в больницах, медицинских учреждениях, управлениях транспорта и связи и сельских кооперативах.

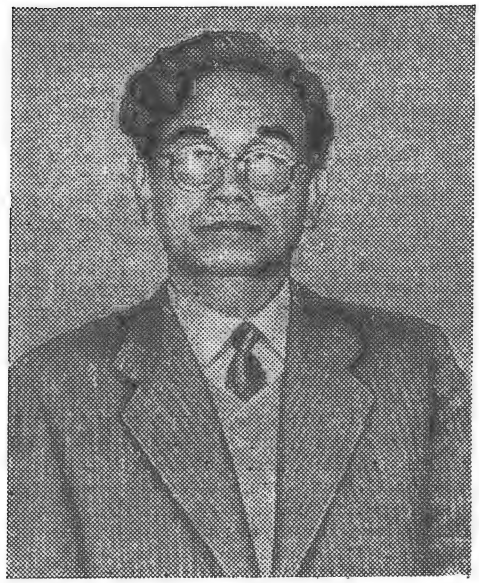
— Здравоохранение, транспорт и связь сейчас самые важные и опасные участки,— объясняет Нгуен Туан.— Американцы разбомбили в Северном Вьетнаме свыше 40 больниц, постоянно бомбят коммуникации. А люди во Вьетнаме пишут сегодня писем больше, чем когда бы то ни было. Почтальоны и связисты, доставляя корреспонденцию, нередко рискуют жизнью.

— Добрые отношения со связистами,— шутит Суан Зиеу,— очень на руку писателям, потому что всегда можно срочно передать материал в редакцию.

Гости описывают, как ездят писатели по стране: образ жизни их ничем не отличается от солдатского — велосипед, рюкзак, дождевик, пробковый шлем и резиновые сандалии — вот, пожалуй, и все «имущество». Да еще, конечно, бумага, блокноты, записные книжки и обмотанный вокруг пояса длинный узкий мешок с рисом. Часто, собрав материал, писатели возвращаются в Ханой и работают в маленьком Доме творчества на берегу Западного озера, в пригороде столицы. Сюда долетает грохот зениток, в небе с воем проносятся американские самолеты. Многие работают прямо на местах. Нередко, зайдя в деревенскую хижину, можно найти там кого-нибудь из писателей. Хозяева отводят ему самую светлую часть дома. Он сидит и пишет, а в другом конце хижины старуха тихонько баюкает внука...

— У нас в стране сейчас огромная тяга к литературе,— говорит Нгуен Динь Тхи.— Во Вьетнаме за последние годы сформировался новый читатель с большими художественными запросами и высоким уровнем культуры.

Иллюстрируя эту мысль, Суан Зиеу рассказывает о небывалой популярности поэзии, намного переросшей традиционный для Вьетнама интерес к стихам. На поэтические вечера в Храм литературы в Ханое собираются тысячи людей. Суан Зиеу вспоминает, как однажды в Вине, городе, который перенес сотни налетов, рабочие водонапорной станции, подвергшейся в тот день особенно ожесточенной бомбардировке, пригласили его вечером почитать стихи. А в другой раз на побережье он читал стихи жителям рыбацкой деревни, и даже раздававшаяся поблизости орудийная канонада не заставила людей разойтись.



СУАН ЗИЕУ

— Нашим друзьям,— улыбается Нгуен Динь Тхи — наверно, будет приятно узнать, что во время таких выступлений вьетнамские поэты часто читают свои переводы из советской поэзии. Вообще во Вьетнаме советская литература и русская классика пользуются громадной популярностью. Я сам видел в перерывах между боями наших солдат-зенитчиков, читавших Шолохова и Симонова. А любимая книга летчиков — роман Н. Чуковского «Балтийское небо»...

Нгуен Динь Тхи рассказывает, что пишут литераторы Северного Вьетнама. Прозаики сейчас в основном работают в жанре новеллы и очерка, как наиболее оперативном. Народная война и борьба за воссоединение страны — главная тема и в поэзии. Злободневность тематики способствовала появлению жанра стихотворного репортажа. Суан Зиеу добавляет, что во вьетнамской поэзии по-прежнему значительное место занимает лирика.

Поистине огромный читательский интерес вызывают книги писателей-патриотов Южного Вьетнама, издаваемые в ДРВ.

Нгуен Динь Тхи подчеркивает, что даже в военное время Союз писателей Вьетнама продолжает вести большую работу с молодыми авторами. В начале осени, как и в прошлые годы, открылись Литературные курсы.

В ответ на вопрос о творческих планах наших гостей Нгуен Динь Тхи отвечает, что у всех троих наших друзей есть один «коллективный план»: они хотят написать совместную книгу о поездке в Советский Союз.

Нгуен Туан говорит, что в ближайшее время он ожидает выхода в свет своей новой книги очерков «Пираты, просящие подаяния» — о борьбе с американскими захватчиками. Книга названа так потому, что у всех американских пилотов, сбитых над ДРВ, были с собой специальные нейлоновые платки, на которых отпечатан флаг США, а под ним — на 14 языках (в том числе и на вьетнамском) несколько фраз: «Я — гражданин Соединенных Штатов. Со мной произошел несчастный случай. Прошу Вас накормить меня, дать мне убежище и помочь перебраться к своим. Правительство Америки Вас отблагодарит». И этот кусок ткани американские реактивщики, только что чувствовавшие себя в небесах суперменами и убивавшие ни в чем неповинных людей, униженно протягивают поймавшим их крестьянам и ополченцам, умоляя о пощаде. Нгуен Динь Тхи намечает в ближайшее время подготовить к печати новую повесть. У Суан Зиеу выйдет новый сборник стихов. В планах на будущее — исследования о творчестве великого вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820),

Прощаясь, наши гости просили передать самые добрые и сердечные пожелания всем читателям «Иностранной литературы».

М. Ткачев

КОНТАКТЫ НЕОБХОДИМЫ

Как раз тогда, когда наши читатели знакомились с романом «Оле Бинкоп», его автор Эрвин Штриттматтер побывал у нас в гостях. Участники встречи с немецким писателем снова и снова возвращались к его последней книге. Один из них сказал, что многие художественные произведения украшают землю, но не все взрыхляют ее, не все вспахивают ее так, как «Оле Бинкоп».

— Образное сравнение! — заметил Эрвин Штриттматтер. А собравшиеся вспомнили, что роман начинается и кончается словами о кружащейся в мировом пространстве земле, о деревне, которая может быть и «глазком на кожуре подгнившей картофелины», и «красной точечкой на освещенной солнцем стороне наливающегося яблока». И чем она станет — зависит от всех и каждого. Разве не это хотел сказать Эрвин Штриттматтер своей книгой? В разговоре о ней был упомянут и известный советскому читателю предыдущий роман Эрвина Штриттматтера «Чудодей». Второй том «Чудодея» все еще не написан, и это, как объясняет Штриттматтер, не случайно. Оле Бинкоп заслонил прозванного чудодеем Стани Бюндера потому, что сегодняшний день оттеснил вчерашний.

— Я не мог не написать «Оле Бинкопа», слишком волновало, а порою и пугало меня то, что вошло в эту книгу,— сказал Эрвин Штриттматтер.

В книгу вошла современность Германской Демократической Республики, бесконфликтное изображение которой всегда было неприемлемо для писателя. В книгу вошла жизнь, а вместе с нею хорошее и дурное, верное и ошибочное, растущее и отмирающее, то, что есть, и то, чего быть не должно. «Оле Бинкоп» — прямой и честный ответ писателя на вопросы, волновавшие и волнующие его современников в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов. Очевидно, именно это и имелось в виду, когда Эрвина Штриттматтера спросили: есть ли у «Оле Бинкопа» братья и сестры в литературе? Тот же вопрос был поставлен и по-иному: выражает ли книга Штриттматтера общую тенденцию, характерную для прозы шестидесятых годов? Каковы примечательные особенности этой прозы? Писатель сказал, что на такие вопросы легче ответить его жене, ведь она — литературный критик.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

— Проза шестидесятых годов? Это, собственно говоря, горсточка книг, но она может представлять литературу ГДР,— сказала Эва Штриттматтер.— Приезжая в Москву, мы убеждаемся, что вы не хуже нас знаете эти книги. Расскажу вам об одном любопытном явлении. «Расколотое небо» Кристы Вольф и «Оле Бинкоп» Эрвина Штриттматтера сразу же после их выхода в свет вызвали дискуссию. И это была такая дискуссия, что наши деятели, осуществляющие культурную политику, радовались: вот оно, культурное общество, вот она, культурная среда! Радовались и мы, что у нас такой читатель.

— Далеко не всякая книга может стать основой для всенародной дискуссии. Читателя не уговоришь, он сам знает, какие книги ему нужнее всего для жизни,— продолжала Эва Штриттматтер. И упомянула в этой связи о романе Германа Канта «Актовый зал», который, еще не выйдя отдельным изданием, уже вызвал горячую дискуссию.

— Ее не надо подогревать извне,— добавила Эва Штриттматтер.

Разумеется, участникам встречи захотелось узнать, что представляет собой книга Германа Канта.

— Она просто блестящая по художественным свойствам,— говорит Эва Штриттматтер.— И она воинственная в том смысле, в каком вообще воинственна наша проза шестидесятых годов: борется с шаблоном. В ней нет ничего заранее данного. В ней жизнь такая, какая она есть.

— Герман Кант принадлежит к числу «завербованных». В ГДР сейчас много таких молодых писателей и вообще молодых людей. Они чувствуют себя призванными строить социализм, но это не мешает им пристально и испытующе вглядываться в то, что происходит в строящей социализм стране. Кант талантлив. Он владеет особым искусством — искусством иронии. Книга написана тонко.

— Вы знаете,— шутит Эрвин Штриттматтер,— я начинаю думать, что моя жена получает проценты с авторов рекламируемых ею книг.— Во время своего предыдущего пребывания в Москве Эва Штриттматтер горячо пропагандировала первую часть «Приключений Вернера Хэльта» Дитера Нолля.

— Может быть, немного подождать, пока окончится дискуссия по роману Германа Канта? — не без лукавства спрашивает Эрвин Штриттматтер.— Когда дискуссия кончается, все становится ясно.

Ему отвечают, что в редакции взялись за перевод романа «Оле Бинкоп», не дожидаясь конца дискуссии, которая была бурной.

Конечно, собравшихся интересует, над чем немецкий писатель работает в настоящее время и каковы его творческие планы на будущее.

— Сейчас я делаю одну необычную вещь,— говорит Штриттматтер.— Трудно сказать, какая ее постигнет судьба. Быть может, ее придется сунуть в ящик письменного стола. Это маленькие зарисовки современной жизни, чередующиеся с записями из моих дневников, которые я вел, когда работал над «Оле Бинкопом». Ведь я заранее предвидел многое из того, о чем говорилось во время дискуссии. У меня были опасения, которые оправдались. А вообще эта книга в жанре поэтической прозы. Думаю закончить ее к концу года. И тогда возьмусь за вторую часть «Чудодея». Но разве можно запланировать то, что бывает в промежутке между работой: собрания, заседания?..

— Что же касается «Чудодея»,— добавляет Штриттматтер,— то в конечном итоге события второй книги хронологически совпадут с событиями «Оле Бинкопа». В этом смысле книги сравняются.

— Однако тут в центре внимания будут проблемы искусства, а не проблемы сельского хозяйства,— уточняет жена писателя,— и действие будет происходить в городе, а не в деревне.

И города, и деревни ГДР — это та часть Германии, где фашистскому прошлому нет возврата. Но беседа с писателями ГДР всегда включает в себя и тему Западной Германии, где дело обстоит по-иному.

— Западногерманская литература? По-моему, о ней нельзя говорить суммарно,— утверждает Штриттматтер.— Поясню свою мысль примером. Вот сейчас мы живем в гостинице. И рядом с нами живет молодой западногерманский поэт, отец которого был видным эсэсовцем. Этот молодой поэт выпустил книжку стихов. Судя по стихам и по тому, что говорит их автор, он принадлежит к сыновьям, страдающим от вины отцов и жаждущим хоть как-то искупить эту вину. Мы вместе ездили в Ясную Поляну, побывали в доме и на могиле Льва Толстого. И надо сказать, что Запад и Восток мирно уживались друг с другом. Этот молодой человек, мне кажется, серьезно понимает свою задачу. Здесь, в СССР, он смотрит на вашу жизнь открытыми глазами, смотрит доброжелательно. Но тут же, в Москве, в ресторане гостиницы, за соседним столиком сидит другой немец из ФРГ. Его ничто ничему не научило. Он во всеуслышание заявляет, что во всем виноваты евреи, и если б Гитлер покончил с ними окончательно, он не проиграл бы игру. Хуже всего, что у некоторых западногерманских писателей тот же образ мыслей. Расскажу вам еще об одном немце из ФРГ. Это гейдельбергский профессор, он преподает славистику. Был в плену. Говорит, что единственный капитал, который он вывез из России,—это знание русского языка; оно ему явно пригодилось. Профессор не интересуется политикой. Он занимает положение, промежуточное между двумя тенденциями, о которых я говорил. Различные тенденции проявляются и в западногерманской литературе.

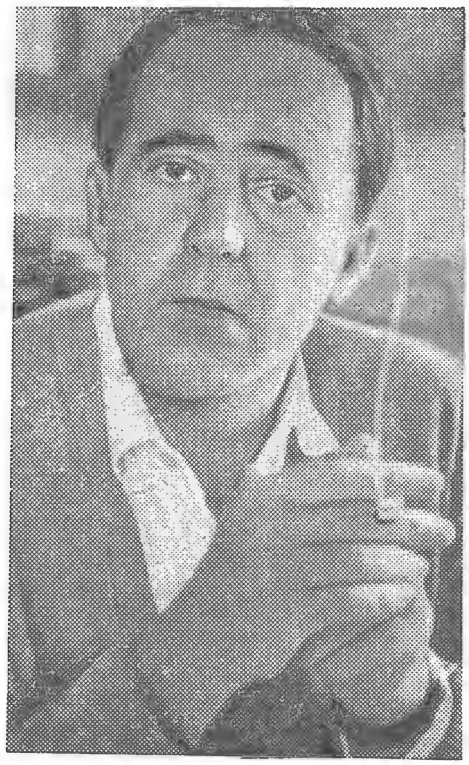
Эрвина Штриттматтера спрашивают, что он думает о творчестве Генриха Бёля.

— Я убежден,—отвечает Штриттматтер,— что Генрих Бёль входит не в западногерманскую, а в немецкую литературу.

Это совершенно справедливо, но за этими словами сразу же встает трудная проблема сложных взаимоотношений творческой интеллигенции в расколотой Германии. Слова, сказанные Штриттматтером, свидетельствуют о том, что вопреки расколу Германии существует единая немецкая литература, литература тех, кто по обе стороны Эльбы отрицает фашизм и утверждает гуманизм.

— Бёль — подлинный антифашист, хотя и католик,— говорит Штриттматтер.— Он — писатель социальный.

Оказывается, Генрих Бёль и Эрвин Штриттматтер, немецкие писатели одного поколения, оба антифашисты и антимилита-



ГЕНРИХ БЁЛЬ

ристы, оба гуманисты, никогда не встречались друг с другом. Штриттматтер бывал в ФРГ, а Бёль — в ГДР, но каждый раз тогда, когда другого не было на месте.

— Это случайность, но не проявляется ли в ней то, что стало закономерностью? — спрашивает Штриттматтер.— Ведь и это тоже германская трагедия. Мы передаем друг другу приветы через московских друзей,— добавляет он.

Участники встречи помнят, как в той же комнате за тем же столом недавно сидел Генрих Бёль.

На этот раз, второй по счету, он приехал в Советскую Россию, в Москву со всей своей семьей, с женой и двумя сыновьями. Аннамария Бёль переводит с английского; вдвоем с мужем они перевели известные произведения Сэлинджера: «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи», «Выше стропила, плотники!». Сыновья Бёля еще учатся. Все четверо были желанными гостями на вечере, посвященном десятилетию журнала «Иностранная литература», опубликовавшего последний роман Генриха Бёля «Глазами клоуна». Этот роман полон горького раздумья о судьбе художника, о судьбе человека в Западной Германии, где покровом мнимого благополучия и мнимой благопристойности ханжески прикрывается уродливость общественных отношений, при которых вчерашние фашисты играют роль сегодняшних «демократов». Отдельные персонажи этого романа имеют кое-что общее с теми героями Достоевского, для которых ханжество стало второй натурой. Делясь своими планами на будущее, Генрих Бёль в беседе на юбилейном вечере сказал, что поездка в Ленинград обретает для него особый смысл: он хочет присмотреться к местам, знакомым ему по романам Достоевского. Быть может, он напишет об этом.

Когда Бёля спросили о его новом романе, недавно упомянутом западногерманской прессой, он махнул рукой: «Уж эта пресса!» И объяснил, что романа еще нет. Или, точнее, он есть в замысле. Чувствовалось, что писатель не любит говорить о начатой, но не законченной работе. Встреча Генриха Бёля с сотрудниками редакции, во время которой ему был задан этот вопрос, предшествовала юбилейному вечеру. Как выяснилось в разговоре, Бёль одобрительно отнесся к тому, что «Оле Бинкоп» появится на страницах журнала. «У вас, наверно, немало хлопот с переводом,— сказал он,— ведь у Штриттматтера такой своеобразный язык».

В тот день Генрих Бёль говорил о самых разных вещах — о судьбах современного романа (Роман слишком молод, чтобы умереть.), о судьбах современной молодежи (Чем увлекаются молодые? Политикой? Да, очень. Спортом? Пассивно. При помощи телевизора. Но читают много. И не бросовую, а настоящую литературу. Это хорошо.), о документальной прозе Клюге (Он так написал свою книгу, что никто из упомянутых в ней не откажется от того, что о нем написано. Достоверно. И ново по форме.). Говорил Бёль и о Советской России, о Москве. (Рад, что привез сыновей в Россию, в Москву. Россия так далека от нас. Никакие газеты и никакие книги не заменят личного впечатления.). Рассказывал, что жена и дети изучают русский язык.

Да, германская трагедия и в том, что людям, говорящим на одном языке и создающим одну литературу, редко удается вступать в непосредственный контакт друг с другом. И все же наше время такое, когда контакты все больше и больше становятся не только необходимыми, но и возможными.

Бёль однажды сказал, что слово может быть опаснее грузовика с нитроглицерином. Он предостерегал от демагогической спекуляции словами, которая немало содействовала тому, что фашизм привел человечество к катастрофе. Но ведь слово обладает — и кому это знать, если не писателям-гуманистам? — не только разрушительной, но и созидательной силой. Оно соединяет разобщенное, оно способствует взаимопониманию.

Этому способствуют и слова, сказанные Генрихом Бёлем и Эрвином Штриттматтером в стенах нашей редакции.

Л. Симонян

СЕМЕРО ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ

Долгий путь возвращения. Повести. Перевод с итальянского. Составитель З. Потапова. Редакторы Е. Бабун и Л. Борисевич. Послесловие Г. Богемского. Москва, «Прогресс», 1965. 527 стр.

Знакомство с книгой, составленной по принципу антологии или сборника, обычно начинается с оглавления, заглянув в которое читатель получает ответ на свой первый вопрос: чьи произведения он найдет в книге?

В сборник «Долгий путь возвращения» вошли семь повестей семи современных итальянских прозаиков. Шесть из них уже известны в нашей стране. Новое имя одно: Джорджо Бассани. Это писатель, занимающий видное место в послевоенной итальянской литературе, занимающий его не случайно, в чем, хотя и с некоторым опозданием, русский читатель сможет теперь убедиться лично.

Напечатанная в сборнике повесть Бассани «Мемориальная доска» (перевод Т. Блантер) — глубоко человечное произведение, проникнутое ненавистью к фашизму, произведение, направленное против равнодушия, которое в свое время сделало многих итальянских и немецких обывателей статистами, занятыми в трагедии, умело разыгранной такими «режиссерами», как Гитлер и Муссолини.

Джео Иоц, герой повести, чудом уцелевший в немецком концлагере, возвращается в Феррару в тот самый день, когда на стену городской синагоги прилаживают мемориальную доску с именами 183 евреев, уничтоженных фашистами. Здесь, на виа Мадзини, живой Джео Иоц встречается с Джео Иоцем мертвым — на мраморе доски высечено и его имя.

Война позади. Люди верят в то, что «началась новая эра и она, во всяком случае, лучше той, другой, которая, как долгий, кошмарный сон, уходила сейчас в прошлое, захлебнувшись в крови». Жизнь продолжается. В колею этой жизни пытается войти, правда не сразу, и Джео Иоц. В час аперитива его можно увидеть в кафе «Борса», оставшемся политическим центром города. Вместо кожаной тужурки и военных брюк на нем теперь габардиновый костюм, сшитый у лучшего в городе портного, вместо старой меховой шапки — фетровая шляпа. Он собирается открыть магазин отца, «торговца тканями, исчезнувшего вместе с женой и ребенком в печах Бухенвальда».

И вдруг все изменилось. В один из майских вечеров на виа Мадзини, той самой улице, где висит мемориальная доска, появился старый граф Скокка, бывший платный осведомитель фашистской тайной полиции, возглавлявший с 1939 по 1943 год феррарское отделение Института итало-германской культуры. Тут его и увидел Джео, который подошел к старику, любовавшемуся в это время девушками, и закатил ему «ни за что ни про что» две звучные пощечины.

На следующий день Джео предстал перед своими согражданами, возмущенными его «необъяснимым» поступком, «в тех самых лохмотьях, в которых вернулся из Германии в августе 1945 года». Отныне он одевался только так.

«Добропорядочные» феррарцы возмущены поведением Джео. До сих пор он, казалось бы, спокойно встречался с прямыми и косвенными виновниками смерти родителей и младшего брата, как ни в чем не бывало дружно сбросившими черные мундиры и облачившимися в гражданскую одежду. Но не их, а Джео в его лагерных лохмотьях, «добропорядочные» феррарцы называют

«ряженым», тогда как о настоящих ряженых они говорят так: «Старики теперь казались безобидными, годы неудач наложили на их лица и фигуры свой отпечаток, и однако они вели себя скромно и благопристойно, были хорошо одеты и производили впечатление людей более мягких, вызывали большее сочувствие и заслуживали большей жалости, нежели тот, другой, нежели Джео».

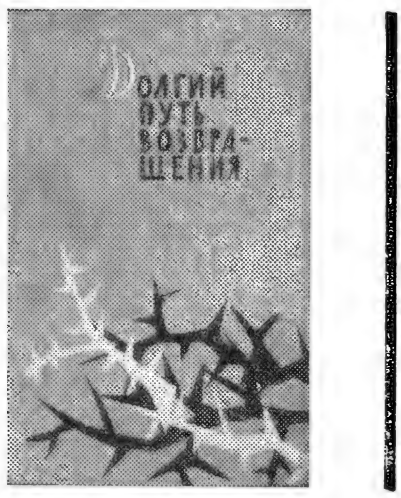
Летом 1948 года Джео Иоц неожиданно исчезает из Феррары. Он не может жить в этом городе, среди обывателей, называющих его «ходячей загадкой». У этих людей короткая память. Их философия мещан сводится к одному: своя рубашка ближе к телу. С такой философией им не понять воскресшего из мертвых, которого оскорбляют приветствия сограждан, неизменно начинающиеся кощунственным «Со счастливым возвращением». Нет, Джео Иоц не вернулся в Феррару — он ненадолго заехал в родной город по пути неведомо куда, как бы специально за тем, чтобы убедиться, что пыль, покрывающая со временем мемориальные доски, нередко ложится густым слоем и на страницы «книги памяти», как называл Данте живую человеческую память.

Повесть «Строительная афера» (перевод С. Ошерова) — одно из лучших произведений Итало Кальвино, написанных в этом жанре. В центре повести стоит образ Квинто Анфосси, мелкобуржуазного интеллигента, бывшего партизана, бывшего коммуниста. Не желая признаваться себе, что все у него в прошлом, Анфосси делает вид, что занимается серьезным делом, «строя планы насчет будущего общества, насчет рабочих и интеллигенции...» Но трудно обмануть самого себя. И вот, чтобы не умереть от скуки, а заодно и выкарабкаться из постоянных денежных затруднений, Анфосси решает продать небольшой участок рядом с домом матери (сам Квинто уже давно не живет в родном городе), взяв в уплату часть квартир в доме, который будет там построен, чтобы сдавать их в аренду. Так судьба сводит Квинто с неким Кайсотти, берущим подряды на строительные работы.

Наводя справки о своем будущем компаньоне, Квинто не слышит о нем ни одного доброго слова. Одержимый духом противоречия, Квинто проникается к Кайсотти тем большей симпатией, чем хуже отзываются о подрядчике представители того класса, к какому принадлежит сам Квинто. Героя повести привлекает также возможность померяться силами с этим едва грамотным крестьянином, с одним из «скороспелых беззастенчивых предпринимателей», появившихся в послевоенной Италии.

Победа в этой борьбе останется за Кайсотти. Строительная афера должна окончиться для Анфосси крахом. Одновременно это будет очередной и, возможно, окончательный крах человека с весьма смутными идеалами, трусливо скрывающего при встрече с бывшими товарищами по партии, что он, Квинто, уже давно не коммунист.

Кальвино блестяще владеет искусством рассказчика, каждый вставной эпизод несет



у него большую самостоятельную нагрузку, помогая читателю глубже проникнуть в психологию героя, лучше разобраться в его отношениях с самим собой. Аллегоричен конец повести: «Солнце быстро садилось за дом Кайсотти, и все меньше солнечных лучей, проникая между планками жалюзи, падало на серебряную посуду в буфете... И вот уже те лучи, что пробивались меж самых верхних планок, стали угасать на блестящих изогнутых стенках ваз и чайниц».

Третьим «китом», на котором держится сборник «Долгий путь возвращения», несомненно следует считать талантливую повесть сицилийца Леонардо Шаша «Когда днем прилетает сова» (перевод Ю. Добровольской). В 1962 году повесть была опубликована в журнале «Иностранная литература» в другом переводе и под другим заглавием — «Сова появляется днем», от которого новый переводчик отказался, повторив тем не менее ошибку своего предшественника: в оригинале повесть называется «Il giorno della civetta», буквально «День совы», то есть дневная жизнь совы, когда хищная птица невинно спит, отдыхая после ночной охоты. Читатели несомненно обратят внимание на это захватывающее произведение о преступлениях сицилийской мафии и ее связях с правящими кругами страны, о мужественном и честном капитане карабинеров Беллоди, у которого связаны руки, но который полон решимости довести до конца борьбу с чудовищными беззакониями, царящими на отсталом феодальном Юге.

Помимо произведений названных авторов, читатель найдет в книге повесть «Братья» Марчелло Вентури (перевод Я. Лесюка), «Майская фотография» Доменико Реа (перевод С. Бушуевой) и «Скуарчо» Франко Солинаса в переводе Г. Богемского (кстати, последняя также знакома советским читателям в журнальной публикации).

В сборнике явно не повезло такому крупному писателю, как Карло Кассола, представленному далеко не лучшим своим произ-

ведением — повестью «Старые товарищи» (перевод Г. Богемского и Р. Хлодовского).

Книга хорошо, в целом, переведена. Правда, встречаются в ней и основательные погрешности против русского языка. Например: «...это, конечно, не касалось дяди Данвиля, которого приводило в негодование и вызывало полемический жар присутствие...»; «...никто никогда о нем ничего не узнает, ни тогда, ни теперь..»; «...они честно признавались и даже удивлялись своему равнодушию...» («Мемориальная доска» Д. Бассани). Или в «Майской фотографии» Д. Реа: «...Морроне, прозванного так за разительное сходство с толстыми кусками древесины, которые отправляют на лесопилку»; «...дом, с постоянно опущенными жалюзями».

Собрав под одной обложкой семь представителей современной итальянской прозы, издательство дало читателю хорошую книгу. Можно, конечно, оспаривать правомерность включения в нее некоторых имен, можно сомневаться в том, стоило ли включать в такого рода книгу произведения, ранее напечатанные по-русски, можно, наконец, говорить, что сборник только выиграл бы, если бы хронологические рамки его оказались более приближенными к сегодняшнему дню итальянской литературы (повести, включенные в сборник, появившийся у нас в 1965 году, написаны в начале, в лучшем случае — в середине пятидесятых годов). Можно, но нужно ли? Ведь книга уже родилась. Одни ее прочли, другие читают. Третьи — пусть прочтут.

ЕВГ. СОЛОНОВИЧ

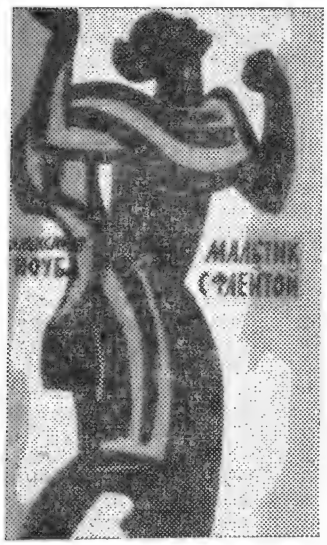
КАК СОВЛАДАТЬ С ВЕТРОМ?

Александр Ноубл. Мальчик с флейтой. Перевод с английского А. Клышко и А. Файнгара. Москва. «Молодая гвардия», 1965. 256 стр.

Все сложно и все необычно в этом романе — первом художественном произведении африканского журналиста Александра Чарльза Ноубла — белого, выросшего в Трансваале, недалеко от Иоганнесбурга. Здесь же молодой писатель поселяет своих героев.

Все сложно и все необычно в этом романе: бунт негров против белых вспыхивает вроде бы случайно — как реакция спровоцированных черным расистом и одурманенных алкоголем людей на бандитизм вдрызг пьяного (черного же!) шофера, несущегося на машине, груженной наркотиками.

Жертвой бунта становится великодушный полицейский Бильон, один из немногих белых африканцев, сознающий, что «кафр — такой же человек, как и я», и упорно отстаивающий это свое кредо перед самодовольными суперменами и суперменшами.



Сбитый машиной пьяного негра, борется со смертью доктор Вреде — белый доктор, всей душой любящий своих черных пациентов.

«Молоко человеческой доброты скисло в старшем констебле Бильоне»,— с горечью пишет автор. Придя в сознание после ранений, нанесенных ему бунтовщиками, Бильон в ярости бросается на толпу...

Так что же? Не следует ли отсюда, что правда остается на стороне младшего констебля Бола, прозванного Маисом за свое пристрастие к этому злаку, початок которого служит ему и кастетом, и лакомством? Целиком поглощенный «физическим совершенствованием своего тела», «высокоинтеллектуальный» Маис презирал негров до такой степени, что «думал о них в целом, ему и в голову не приходило различать в них индивидуальности».

«Кафр всего только кафр»,— утверждает Бол. Так думает и надутая индюшка, нелюбимая жена Бильона, и торговец наркотиками Мадзаполус, и многие другие белые обыватели захолустного городка Бракплатца, изнывающего от жары в волнистых равнинах Трансвааля.

Но автор и вместе с ним читатель думают иначе.

Когда все накалено, нужна лишь искра, чтобы вспыхнул пожар. Трансвааль накален, накален ненавистью. Аборигенам надоели вечные унижения, вечные оскорбления со стороны всемогущих «баасов» — белых господ. Нужна только искра! А когда начинается пожар, огонь уже не разбирает ни правых, ни виновных.

Кого же следует осудить — пожар или тех, кто его провоцирует?

Появляющийся в романе негр-расист, этот негатив белого расиста, этот «Маис наобо-

рот»,— явление грустное, но закономерное: он — неизбежное следствие «суперменства».

И недаром уже на другое утро Бильон «тут же сам устыдился неукротимой злобы, которая владела им ночью...»

А грозный Бол оказался побежденным. Побежденным робким юношей зулусом, талантливым флейтистом Тимоти, раздражающим бравого полисмена своей интеллигентностью. Как смеет быть таким негр? Ведь он «всего-навсего еще один кафр и ничего больше».

Пытаясь доказать это, Бол с садистским наслаждением ломает флейту Тимоти — самое дорогое, что было у юноши. Констебль считал, что, сломав эту драгоценность, он сломил и «непокорный» дух африканца.

Но Маис просчитался. Роман кончается символическим эпизодом: Бол и Бильон с изумлением смотрят на кроткого Тимоти, который, проходя мимо здания полиции, демонстративно играет на тростниковой дудочке,— ведь никто из негров никогда не решался играть около полиции!

И не только чуткий Бильон, но и дубоватый Бол поняли — отныне тихий юноша зулус стал другим: в нем умер страх и родилось ожесточение. Никогда он уже не будет покорным праправнуком бедного «дяди Тома».

Казалось, что в простенькой дудочке Тимоти пел знойный бунтарский ветер африканского вельда, пела поруганная, но не сломленная душа молодой Африки.

«В память Бола, большого и сильного Маиса, врезались не желающие верить глаза, сверкнувшие кристаллами в лунном свете, когда его ручища переломала флейту. Вспомнить можно и это, и что-нибудь еще... А как совладать с ветром, поющим во флейте?»

И действительно — как совладать с ветром?

ЮЛИЯ ДРУНИНА

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАВИСИТ ОТ НАС»

Мелих Джевдет Андай. Великолепная штука. Стихи. Перевод с турецкого и послесловие Р. Фиша. Редактор М. Зенкевич. Предисловие Семена Кирсанова. Москва, «Прогресс», 1965. 88 стр.

В 1941 году три поэта, Орхан Вели (1914—1950), Мелих Джевдет (р. 1915) и Октай Рифат (р. 1915), образовали творческое содружество, получившее название «Треножник», и выпустили совместную книгу «Неслыханное», в которой опубликовали литературный манифест нового поэтического направления и стихи, демонстрирующие новые поэтические принципы. Поэты «Треножника» добровольно и безоговорочно признали главенствующую роль Орхана Вели, чьи взгляды и идеалы были теоретической основой нового направления и чье творчество стало теперь уже классикой.

Молодые поэты, учившиеся у Назыма Хикмета, утверждали в литературе Турции традиции демократической поэзии. С их стихами в поэзию уверенно вошел новый герой — страдалец Сулейман-эфенди, бездомный Кязым, которому вдруг так повезло: бедняга заболел чахоткой и лег в больницу, безработный Мелих, Голый Мустафа, крестьянский сын, солдат Мемед; новый герой — турецкий народ. На смену восточной изысканности и традиционной красивости пришла народная простота формы и содержания, народная мудрость и юмор, острое и зоркое понимание действительности, вера в свой народ, в жизнь, в будущее. И стихи Мелиха Джевдета, впервые изданные на русском языке отдельной книгой, убедительно доказывают талантливость современной демократической поэзии Турции, ее умение привлечь читательские сердца.

Сборник «Великолепная штука» объединяет стихи Мелиха Джевдета из трех книг: «Дерево, потерявшее покой» (1946), «Телеграф» (1952), «Бок о бок» (1956). К сожалению, в сборник не вошли стихи последних лет из книги «Одиссей со связанными руками» (1960) — эту книгу конфисковали турецкие власти, и она вышла вторично уже после свержения правительства Мендереса.

В первом сборнике мы видим поэта-созерцателя, который познает мир, с жадным любопытством смотрит вокруг себя: на дерево, что «слыхать не слыхало о счастье», на воробья, на руки свои, на берег моря — свидетеля безрадостных дней. Поэт думает об одиночестве, о войне, о смерти, но тревожные эти мысли приводят его к думам о жизни, будят в нем желание узнать, «что будет после нас». Стихи, собранные во второй книге, социально остры и политически злободневны. Они говорят о безрабо-

...же о голоде, об узниках, томящихся в тюрьме. Этот цикл венчает программное стихотворение, давшее название всей книге, «Телеграф»:

Как телеграф ночной,
Беспрерывно из темноты
Принимаешь ты голоса,
Чтобы в мир их затем передать.
Ты не можешь, не смеешь спать.
Покуда страна в беде,
Тебе ни сна, ни покоя.
Так пускай же, пока не настанет
рассвет,
Звучит в ночи твое слово.
Как колокол громкого боя.

Заканчивается второй цикл стихами о грядущем дне, которые, словно мостик, вводят нас в третью книгу — «Бок о бок».

Эта книга — клятва поэта, клятва стране, народу, будущему.

Хватило б только сил,
Чтобы тебя воспеть,
Хватило б только дней,
Чтоб до тебя дожить.
Век Золотой, век Мира на земле.

(«Будет чему подивиться»)

Стихи пронизаны мыслью поэта о грядущем: «Горит за горами свет, и как не было тьмы...» Мелих Джевдет обращается к своим современникам. Он называет их «предками людей счастливых, грядущих людей», он говорит им об ответственности каждого человека за счастливое будущее:

Так давайте подумаем вместе
О завтрашнем дне.
Все на свете сделано нами.
Но этого мало сейчас.
Давайте мы завтра станем
Смелей, умней, справедливей.
Чуть больше к людям любви —
Чуть больше станем людьми.
Каждый день зависит от нас.

(«Зависит от нас»)

В предисловии к этому сборнику советский поэт Семен Кирсанов, гостеприимно открывая перед турецким поэтом путь к нашим читателям, пишет: «Необычайное внимание к поэзии, свойственное советским читателям, жаждущим узнать через поэзию состояние людей во всем мире, их чувства, тревоги, надежды, откроет им добрый мир поэзии Мелиха Джевдета, столь близкий нам своей человечностью и бессонной мыслью о людях его родины...»

Переводчику этой книги Радию Фишу приходится не впервые передавать на русском языке лаконичную и упруго-афористичную природу современного турецкого стиха. В 1958 году он был составителем и одним из переводчиков антологического сборника «Турецкая поэзия наших дней». В 1961 году в его переводе вышла книга Орхана Вели «Для вас». Теперь — Мелих Джевдет. Стихи Орхана Вели понравились нашему читателю. Будем надеяться, что полюбятся стихи и Мелиха Джевдета.

На этом можно было бы поставить точку и закончить рецензию. Однако на этот раз стоит упрекнуть переводчика в излишней многоречивости; порой он уходит от предельной краткости оригинала, от тугой и скупой строки поэта. Р. Фиш пытается порой отобразить все оттенки, все значения турецкого слова, и тогда перевод превращается в изложение. Многословие ломает стих, обедняет поэтическую мысль. Конечно, такие просчеты огорчительны. Но о них надо говорить, чтобы они не повторялись.

В мае прошлого года сборник «Великолепная штука» вышел из печати и моментально исчез с прилавков книжных магазинов. А через месяц в Москве произошла знаменательная встреча: Мелих Джевдет Андай, впервые приехавший в нашу страну, встретился со своими стихами, переведенными на русский язык. Такие дружеские встречи можно только приветствовать.

М. МАЛЫШЕВ

РУМЫНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ — СЫН ПАСТУХА-УЗБЕКА

Хараламб Зинкэ. Фронтовой дневник. Повесть. Перевод с румынского И. Огородниковой. Москва, Воениздат, 1964. 155 стр.

Так случилось, что отрезанный от родины румынский юноша Хараламб Зинкэ в начале Великой Отечественной войны очутился в Молдавии. Вскоре он был эвакуирован в Узбекистан и здесь, попав в семью колхозника Абдурасула Джураева, стал его приемным сыном. А два года спустя Хараламб добровольцем отправился в ряды Советской Армии и вместе с другими советскими воинами принимал участие в освобождении Белоруссии, Латвии и Восточной Пруссии.

Вернувшись в Румынию после окончания войны и найдя там родных, Хараламб не забыл своей второй родины, своих узбекских родителей, которых приезжал навещать.

И вот теперь, когда на русском языке издан «Фронтовой дневник» Хараламба Зинкэ (писать Хараламб начал еще на фронте, и румынские читатели знакомы с его романами «Последняя осень», «Среди сотен мачт», его очерками и рассказами), мы снова встретились с нашим румынским другом.

По первым страницам повести мы узнали своего земляка. Написанная в форме дневника румынского юноши, нашедшего в годы войны в Советском Союзе вторую родину и настоящих, верных друзей, повесть рассказывает об освободительной борьбе советских людей, участником которой был и румынский воин.

Автор пишет о том, как жили, воевали, о чем думали наши бойцы и офицеры — в тылу и на поле боя.

Рядовые советские солдаты, смелые и самоотверженные в бою, простые во взаимоотношениях, готовые в любую минуту поддержать товарища даже ценой собственной жизни,— вот любимые герои автора.

Писателю, несомненно, удалось уловить этапы внутреннего роста простых советских людей, их умение ненавидеть и побеждать врага. Перед нами раскрывается картина волнующая и трагическая. Повесть основана на лично пережитом и прочувствованном, поэтому она получилась такой человечной. Благодаря этой повести Хараламб Зинкэ стал еще роднее нам. Не только румынские, но и узбекские читатели могут с полным правом считать его своим писателем.

Т. АБДУДЖАББАРОВ,
Х. ХАМИДОВ

г. Самарканд

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Andre Stil André. Paris, Editeurs français réunis, 1965.

Андре Стиль, по наблюдению известного французского критика Вюрмсера,— «единственный французский писатель, героем книг которого всегда является этот многоликий, громоздкий, причиняющий массу неудобств персонаж — пролетариат». Война в Алжире, потрясшая до основания и жизнь метрополии, внесла в повествование А Стиля о рабочем классе новые трагические акценты: Раймону («Мы будем любить друг друга завтра»), братьям Давен («Обвал») и героям «Последнего часа» недостаточно найти свое место в классовых боях современной Франции; им приходится нести ответственность за свою родину, Францию, выступившую в роли душителя свободы другого народа. Мучительную подчас проблему выбора А. Стиль стремился раскрыть в жанре психологического романа

В романе «Андре» писатель возвращается к конфликтам, которыми определяются трудовые будни французского пролетария, но сохраняет психологическую напряженность, свойственную его романам об алжирской войне По сравнению с «Обвалом» здесь событий еще меньше. Только четыре раза встречается в романе Андре Дутремон с другом детства Ролланом Шоле. Всего несколькими словами обменялись они. Но за одной, внешне совсем обычной фразой скрываются порой многочасовые раздумья, споры с самим собой, догадки об отношении к тебе собеседника и т. д. Тому, что лежит *между* поступками или встречами, и посвящен роман Стиля.

Андре и Роллан в детстве были лучшими учениками в классе и дружили, инстинктивно отбрасывая сословные барьеры, разделявшие их отцов. Но вот спустя несколько лет инженер Дутремон назначен на должность директора шахты, где обязанности общественного уполномоченного, «делегата» выполняет Роллан Шоле. Это Дутремону будет отныне подавать Шоле тревожные докладные о нарушении в шахтах правил безопасности, это от Дутремона будет требовать Шоле уважения к правам углекопов. Они еще не видели друг друга, но каждый ходит по территории предприятия в немом ожидании. Много раз возникает картина встречи в воображении Андре. Может быть, вызвать Роллана в кабинет? Или, напротив, пойти к нему? Хорошо бы, при этом не было посторонних... Что думает Роллан обо мне? Приготовился воевать? Неужели должность сама по себе враг? Ничего, слегка пошутим над его или моей «общественной миссией» и опять станем друзьями.

Встреча происходит не так, как думалось, второпях, на лестнице, первые пришедшие на ум вопросы о жене, детях — и они разошлись, сохранив прежнюю тревогу и ожидание откровенного разговора. Даже трагедия, недавно пережитая Андре — его жена умерла нелепой смертью, оставив ему трех маленьких дочерей,— не разбила холод отчуждения. Андре боялся «разжалобить», Роллан не хотел «навязываться».

А дальше вступила в свои права шахта. Шоле от имени рабочих составлял длинные акты, точно указывая, где несоблюдение техники безопасности грозит несчастным случаем. Дутремон раздраженно бросал их в стол. Снова внутренние терзания: как объяснить другому, что он неправ? И снова воображаемые встречи, продуманные до мелочей реплики, чтобы потом в момент настоящей встречи не сказать почти ничего, но услышать... услышать очень многое — именно то, что другой собирался сказать тебе, готовясь к этому разговору.

Автору хотелось, видимо, чтобы Дутремон раскрыл себя до конца, не должность, а именно самого себя — человека, не сумевшего устоять перед развращающим влиянием хладнокровных законов капиталистического рабовладения. Если Дутремон предлагает изобретение по усовершенствованию конвейера — то единственно в надежде продвинуться; если затем соглашается снять его — то угождая тресту и немного Роллану, всерьез обеспокоенному чрезмерно быстрым ритмом движения ленты; если в трагический день когда несчастный случай унес шахтера Франсиса Оффра, Андре направляется к вдове — то прежде всего спасая честь мундира: «Ваш муж был слишком неосторожен. я предупреждал его и даже назначил штраф». Но психологической мотивировки эти черты характера Дутремона не получают. Образ человека постепенно стирается, остается бесстрастная «должность»,

пзелевающая Дутремону защищать права «сильных»: «Шахта существует, чтобы давать уголь... Там, в городе, каждый устраивается как лучше; ищет счастье, как он его понимает; свободен выбирать себе идеи, одиночество или бурную жизнь, тревоги или покой — бытие, соответствующее его положению и темпераменту. На шахте же главное — давать уголь тому самому городу... Приходится иногда забывать о людях, чтобы трудиться для них же». Слова, складывающиеся в сознании Дутремона, перестают выражать его собственную мысль, становятся формулами-стандартами, внушенными ему «системой» — законом капиталистической эксплуатации. Даже «несчастный случай» для него — нечто отвлеченное, строчки в графе специального бланка, где надо указать фамилию пострадавшего, место и время ранения, а также предполагаемый срок, в течение которого он не сможет работать.

А ведь многие из трагических катастроф можно предвидеть, предотвратить, если... Если думать о людях. Трагически погибший Франсис Оффр был совсем неприметной персоной. «Он не был высоким. Не был толстым. Не очень был образованным. Не очень требовательным и не чересчур вежливым. Он не был коммунистом. Веселым бывал не чаще, чем грустным. Он не был надоедливым, не слыл ни великим мечтателем, ни хорошим певцом, ни гурманом, ни любопытным. Он не был уже молодым и не был еще старым. Но вот его нет...»

Люби такого вот неприметного человека, защищай его права, его достоинство — и ты сам останешься человеком. Дутремону это не по силам — должность его сломила.

Роман «Андре» снова «ставит вопрос о счастье», как требует название цикла, над которым А. Стиль работает уже много лет и которому принадлежит роман. В «Обвале» Альбер решил первую часть вопроса — отказался от смертельно опасной работы по разборке крепи, чтобы не унижать себя за лишние гроши перед теми, кому это выгодно. Здесь, в «Андре», Альбер Давен (появляющийся эпизодически) вместе с Ролланом Шоле думает уже о счастье других.

Необычная форма рассказа о драматическом конфликте между друзьями детства позволяет писателю то задерживать повествование, то прерывать его, заменять реальные ситуации воображаемыми, давать героям полную возможность мысленно изложить все аргументы, все доводы друг против друга, а потом вдруг самому вступать в разговор — когда заинтересованным собеседником, когда терпеливым комментатором, а когда и страстным обличителем. Некоторые психологические ситуации могут казаться искусственными, но движение формы романа — сочетание встреч предполагаемых, случившихся и снова исправляемых воображением их участников — интересный психологический эксперимент, говорящий о том, что писатель в пути, что процесс трудных поисков новых романтических форм продолжается.

Т. БАЛАШОВА

ГОЛОС ВОССТАНИЯ И ГОЛОС СВОБОДЫ

Kaoberdiano Dambará. Noti. Edição do departamento da informação e propaganda do Comité central do Partido africano da independência da Guiné e Cabo Verde.

Эта книжка очень мала. В ней всего пятьдесят пять страниц. Не знаю, сколько экземпляров ее существует на свете. Знаю только, что сегодня значение этой книги обратно пропорционально и ее размеру, и ее тиражу.

Издана она в 1965 году отделом информации и пропаганды Центрального Комитета Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса, партии, под боевым руководством которой африканцы осуществляют вековое стремление к свободе, отвоевывая у колонизаторов свою землю пядь за пядью, остров за островом.

Это первый сборник стихов молодого поэта, пишущего на креольском языке, на языке островов Зеленого Мыса и той Гвинеи, которую до сих пор еще называют «португальской».

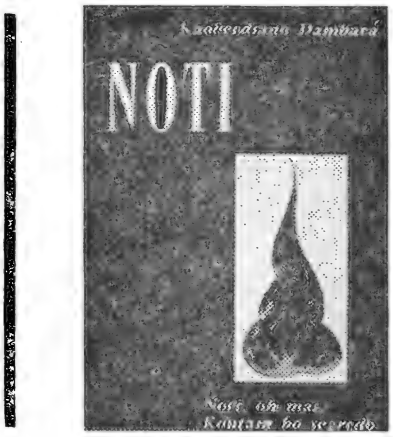
Автор этой книги скрывается под псевдонимом Каобердиану Дамбара — Дамбара с Зеленого Мыса. Значит, еще не настало время поэту открыть свое истинное имя, как сделали уже многие писатели Анголы и Мозамбика. Значит, поэт еще может быть схвачен и брошен в тюрьму, значит, и враги, и друзья приравняли его перо — к штыку! Но мы знаем, что наступит день, когда африканцы и Гвинеи, и островов Зеленого Мыса станут свободны,— около половины всей гвинейской территории уже полностью контролируется повстанцами! И пусть острова Зеленого Мыса это лишь маленькие острова, затерянные в водах Атлантического океана, но и для них сияет свет великой свободы, озаривший сегодня континент.

На скромной черной обложке этой удивительной книги пылает символический огонь — не то факел не то костер... Переплетаются желтые и красные языки пламени, устремленные ввысь. «Ночь» — называется эта книга. Но, словно для того, чтобы заглавие это не звучало безнадежностью, здесь же поставлены две строки из стихотворения «Ночная молитва», вошедшего в сборник:

Ночь, о мать,
Открой мне свою тайну.

Предисловие написано видным политическим деятелем Португальской Гвинеи и островов Зеленого Мыса — Иоти Кунта. Стоит привести его целиком:

«В течение долгого времени на островах Зеленого Мыса возникали разные литературные направления. Некоторые из них представляли лишь слабую попытку нашей интеллигенции постичь «суть проблем жи-



телей островов». Другие только вносили раскол в среду креолов, служа интересам индивидуалистов и благоприятствуя появлению литературы, раболепствующей перед португальскими хозяевами. Третьи были явно антинародными, и их использовали те, кто хотел удержать наш народ в повиновении. Теперь, наконец, в сознании нашей молодежи произошел резкий перелом.

Он ознаменовался реалистическим и тщательным анализом подлинных стремлений и нужд народа... Были отброшены всякие колебания и нерешительность.

Почетное место среди этой молодежи, всецело принадлежащей родной земле и глубоко убежденной в том, что наше будущее неразрывно связано с судьбой всей Африки, занимает Каобердиану Дамбара.

Я считаю, что его поэзия — самая выразительная, самая боевая и самая подлинная поэзия из всего того, что когда-либо было написано на креольском языке.

В ней — наш народ, с его страданиями, с его отчаянием, с его протестом, с его борьбой.

Она — голос островов Зеленого Мыса, стоящих на пороге новой эры».

И вот этот страстный голос трибуна и патриота звучит с маленьких страниц сборника, утверждая право своего народа на национальное самоопределение, доказывая существование национальной поэзии островов Зеленого Мыса. Поэт обращается в первом стихотворении «ко всему миру», к своим вековым поработителям — в стихотворении «Белый», к своему африканскому брату — в стихотворении «Черный островитянин». Он воспевает национальное знамя, черную звезду на красно-желто-зеленом фоне, то знамя, под которым сражаются бойцы народно-освободительной армии. Он рассказывает и об африканском традиционном празднестве в стихотворении «Батуке», разбивая давние утверждения португальских колонизаторов о том, что жители островов Зеленого Мыса не являются африканцами. Здесь много говорится об африканской ночи, о ночи как о символе рабства, о ночах острова Сан-Томе и о ночах Зеленого Мыса. Но и на этих мрачных страницах имя Патриса Лумумбы звучит как тамтам, призывающий к борьбе и к единству.

И словно подтверждая то, что сказал Иоти Кунта о молодом авторе, Каобердиану Дамбара ясно определяет свои задачи патриота и борца в стихотворении «Поэзия»:

Поэзия — кровь и страдания народа,
Народа-раба, голодного, нищего
и угнетенного...
Поэзия — голос Восстания
И голос Свободы!

Л. НЕКРАСОВА

О СПОСОБНОСТИ ВЕШАТЬ ЗА НОГИ

David Magarshack. Dostoevsky. New York, Harcourt Brace and World, 1963.

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда»,— настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас и повесит».

Ф. М. Достоевский. «Среда». (Из «Дневника писателя»)

К сожалению, с некоторым запозданием мы ознакомились с добротно оформленной книгой, изданной одной из солидных нью-йоркских фирм, с книгой, в которой автор — Давид Магаршак — прилагает усилия, чтобы «повесить за ноги» Федора Михайловича Достоевского. Содержание книги «Достоевский» скромно сводится к критико-биографическому очерку; она носит скорей компилятивный, чем исследовательский характер. Львиная доля страниц книги посвящена личной жизни Достоевского, причем Д. Магаршак говорит об этом без вкуса и меры, не проявляя уважения к памяти писателя. Главным же пороком книги, на наш взгляд, безусловно является невнимание к Достоевскому — художнику и мыслителю. И как бы широко автор ни цитировал документы, письма, свидетельства, может быть, мало знакомые Западу, ему не удается выйти из черного круга вульгарной навязчивости, основанной, видимо, на простецко-обывательском понимании великого.

Неуместность подобного рода наукообразных «творческих биографий», потрафляющих испорченному вкусу надуманной «изюминкой», совершенно очевидна. И если ощутить беспокойство — один ли тут такой Магаршак,— то естественно возникает законная мысль о том, как далеко находится все это за пределами неизменного в нашем отечестве уважения к классической мировой литературе.

В статье «Буржуазные критики о Достоевском» * Д. Заславский говорил: «Несколько десятилетий назад на Западе подчас по-

* «Иностранная литература» № 7, 1956.

являлись статьи и монографии о Достоевском, написанные, правда, без глубокого понимания социальной основы его творчества, но по крайней мере добросовестно, с настоящим уважением к памяти писателя. В отдельных старых работах буржуазных ученых есть любопытные наблюдения над мастерством Достоевского, попытки определить его место в мировой литературе. Современная буржуазная критика о Достоевском, как правило, не может порадовать даже частными замечаниями. Эта критика прежде всего вульгарна». Оценка эта, высказанная десять лет назад, относилась к таким, например, «исследователям» Достоевского, как Р. Фюлёп-Мюллер, выступивший еще в 20-е годы, и к тем, кто выступили позднее, будь то Ч. Пэссадж, М. Колем или Авраам Ярмолинский. Эта оценка вполне применима и сегодня к Д. Магаршаку.

Объем этой статьи позволяет лишь бегло остановиться на частных обстоятельствах, и мы надеемся, нам простят некоторую сухость дальнейшего. Инженеру-конструктору, механику, разумеется, нелегко обсуждать вопросы совсем другой специальности, при этом предвзятость или пристрастие будут старательно обойдены, несмотря на то, что, кроме общественной, признаемся, нами движет и личная побуждающая причина.

Прежде всего дадим слово зарубежной критике.

В Ученых записках университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) преподаватель факультета славянской литературы и языков, научный сотрудник университета Дональд Фэнгер почти в самом начале своей критической статьи о книге Д. Магаршака «Достоевский» пишет: «В целом эта книга скучна, небрежно написана; автор ее беспринципен и злобно придирчив к гению, которого он хоть и признает, но не показывает». Четко разбирая ряд примеров, доказывающих произвол автора, Д. Фэнгер особо подчеркивает слабость методологии книги: «То, что сначала может восприниматься лишь как бездоказательное предположение, через несколько страниц появляется в качестве будто уже установленного биографического факта...» В рецензии Джозефа Фрэнка, напечатанной в «Нью-Йорк ревью оф букс», читаем: «Трудно прийти к заключению о понимании Магаршаком Достоевского, потому что, сказать правду, понимания этого не существует». Дж. Фрэнк приходит к выводу, что если убрать наименование книги Магаршака «Достоевский», то, прочтя ее, можно было бы вынести представление, будто вместо автора нескольких величайших романов в ней описан какой-то софист, какое-то жадное, злобное и плаксивое ничтожество, «действовавшее всю жизнь исключительно по эгоистическим и бесчестным соображениям».

Дональд Фэнгер проживает в США, Джозеф Фрэнк — во Франции. Имеется схожесть в их занятиях, но лично они, нам это известно, не знакомы. Однако смысл их отзывов на книгу Д. Магаршака «Достоевский» почти идентичен: оба они признают в ней единственное достоинство — некоторое количество хорошо переведенных на английский язык писем Ф. М. Достоевского и других материалов, до этого не бывших известными на Западе.

Отвлекаясь в сторону, приведем для иллюстрации лишь несколько произвольно извлеченных из текста забавных примеров, чтобы читатель мог сам судить о «подкованности» Магаршака, учитывая, разумеется, его многолетнее внимание к русской классической литературе:

1. Поручик Пирогов объявляется персонажем из гоголевского «Портрета» (Д. Магаршак, кажется, первым перевел на английский язык «Невский проспект», и, следовательно, кому же, как не ему, ведать, откуда взялся гоголевский поручик?). Но может быть, это лишь досадная описка?

2. В «Униженных и оскорбленных» Магаршак выделяет как героя некоего Али (можно догадаться, что вместо Ивана Петровича героем объявляется Алеша — молодой князь Валковский). Это уже и не описка, и не неточность.

3. Магаршак совершенно убежден (и четырежды утверждает это на стр. 343, 344, 348, 350), что «Подросток» Достоевского был напечатан в журнале «Современник» (40—50-е годы, Некрасов — Панаев). Однако известно, что «Подросток» впервые публикуется в «Отечественных записках» (70-е годы, Некрасов — С.-Щедрин), а затем был издан отдельно, по договору писателя с книгоиздателем Кехрибарджи.

4. Испепелив все положительное в самом Достоевском, Магаршак дает тоже отрицательную, «черную» характеристику «Анне»— второй жене писателя (Анне Григорьевне Достоевской), одной из замечательнейших русских женщин, его верному другу и бесспорно самоотверженной помощнице.

5. В библиографическом «Приложении», кстати составленном Магаршаком бог знает по каким соображениям, показаны как самостоятельно изданные труды сравнительно небольшие статьи Д. Заславского, В. Кирпотина и Я. Строчкова, вошедшие, как составное, в сборник «Творчество Достоевского» (издание Академии наук СССР, 1959 г.), зато не упомянуты авторы серьезных книг, к примеру укажем всего двоих — М. Бахтина (СССР) и К. Мочульского (Франция).

Отечественную науку давно не удовлетворяет буржуазная западная славистика. Является ли Д. Магаршак дитятей этой буржуазной славистики, незрячим, неразумным дитятей, или же пороки этой славистики держатся именно на таких магаршаках? Нам кажется, что тут налицо взаимосвязь, взаимозависимость, и, не внеся ясность в эту функциональность, нам не удастся ответить на поставленный вопрос — какими судьбами могут появляться подобные плоды буржуазной славистики?

Считал бы нас коренной британец лояльными, учтивыми к достоинству его отечества, если бы мы бездоказательно ошельмовали жизнь (с детских лет и до гробовой доски) великого Чарльза Диккенса или Джонатана Свифта? А именно этим и занимается Д. Магаршак. Безудержное желание всячески очернить облик Достоевского настолько очевидно выпирает со страниц книги Магаршака, что не только вследствие поклонения фрейдистскому «божеству» он даже детскую, удалую игру «в лошадки» (которой, по свидетельству брата Андрея, живя в деревне, увлекался мальчик Достоевский) старательно, но совершенно безосновательно окутывает отвратительной надуманно-скабрезной пеной. К чести Англии, установим, что мы еще ни разу не встречали ничего подобного в английском издании: не потому ли Магаршак сыскал охотника до своего писания за океаном?

Пожалуй, на Западе, за последние три — три с половиной десятилетия ни об одном писателе всемирного значения не писалось столько случайной или нарочитой напраслины, как о Достоевском. И Магаршак, может быть, в этом не один из самых худших и, во всяком случае,— не единственный.

Уже в последней четверти XIX века Достоевский широко привлек внимание Европы своими произведениями как художник-психолог громадного мастерства, аналитик больной человеческой души, как социальный мыслитель. На рубеже столетий среди западной интеллигенции возник и ширился моральный кризис, приводя ее к беспорядочным и беспокойным исканиям, главным образом среди тех, кто не решался произносить вслух великое и в то же время страшное для многих слово — Революция. Нравственные искания Достоевского, его жажда социальной справедливости и вместе с тем растерянность, трагическое восприятие мира, страх перед грядущим социальным переворотом — все это ассоциировалось у немалой части западной интеллигенции с ее собственными метаниями и тревогами. Все это создало предпосылки для устойчивого, и даже усиливающегося с годами, интереса к наследию Достоевского. Литературоведы, публицисты, социологи буржуазного мира по-своему эксплуатируют этот интерес, трактуя творчество великого писателя односторонне или предвзято, а подчас и просто потрафляя обывательскому любопытству.

После мировой бойни 1914—1918 гг., после Октябрьской революции и революционной волны значение Достоевского, немало поддержанное русской белой эмиграцией, вдохновленной Д. Мережковским, Н. Бердяевым и др., скачкообразно возросло, и интерес к его жизни и творчеству перехлестнулся из Европы на континенты за океаном. Отдельные высказывания писателя и даже его произведения стали там цитироваться и извращаться.

К началу 20-х годов, идя навстречу повысившемуся интересу к произведениям и жизни Ф. М. Достоевского, его дочь, Любовь Достоевская, отважилась заложить первый камень в основание извращенно-произвольных, даже вымышленных в деталях, биографических и творческих характеристик своего отца. Любовь Федоровна к этому времени уже давно проживала в странах Западной Европы, вздорно разойдясь со своими родственниками в России, не исключая матери и единственного брата, и отчужденно относясь к своей родине. Книгу «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» трудно не назвать одной из вреднейших книг во всей гигантской библиографии о Достоевском, главным образом оттого, что она как бы разрешила возникновение множества других подобных ей сочинений, произвольно множащих домыслы об интеллектуальной и личной жизни великого писателя. И если Л. Ф. Достоевская погрешила против убеждений от безвыходного своего материального положения, то для Д. Магаршака нет даже этого извинения. Еще более симптоматично то, что на последних шестидесяти (из 400!) страницах Д. Магаршак лишь частично и мимоходом касается значения Достоевского-художника, и то только на отрезке последних лет его жизни. На 388-й странице Магаршак восемью строками захлопывает над Достоевским гробовую крышку — ни слова далее о литературном наследии, оставленном миру Достоевским, о все большем распространении влияния произведений писателя, о колоссальных тиражах его книг, о гигантской библиографии, посвященной Достоевскому и написанной учеными всех континентов. Сцена и экран, живопись и скульптура — все оставлено даже без упоминания. Иначе пришлось бы говорить о широчайшем распространении Достоевского, но, видимо, в «рабочий план» Магаршака это, не по странной же случайности, как раз и не входит.

Итак, оценивая усилия Давида Магаршака, мы держимся совершенно определенных суждений. Предвзятость, односторонность, невнимание к творчеству писателя тут налицо. Советский человек не может принимать подобное «творчество». Нашему пониманию чужд предрешенный субъективизм, произвольно приправленный вымыслом нужного направления,— это типичная черта «газетчины» в капиталистическом мире, притом в самой ее вульгарной форме. Подлинного Достоевского мы никогда никому не отдадим, как бы ни подвешивали его за ноги всевозможные горе-исследователи!

А. ДОСТОЕВСКИЙ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В связи с присуждением Михаилу Александровичу Шолохову Нобелевской премии по литературе два итальянских издательства одновременно — «Эдитори риюнити» и «Бомпиани» — выпустили его роман «Тихий Дон».

Поэма Е. Евтушенко «Братская ГЭС» в переводе Пьетро Цветеремича вышла в итальянском издательстве «Риццоли». Газета «Паэзе сера» в своем еженедельном литературном приложении публикует большую рецензию на поэму. «Итальянские читатели,— пишет рецензент,— имеют возможность познакомиться с новой работой Евтушенко всего через несколько месяцев после ее опубликования в Советском Союзе. Новая поэма — яркое свидетельство разнообразия форм и тенденций в культурной жизни Советского Союза».

В итальянском издательстве «Эйнауди» отдельной книгой выпущен сценарий М. Хуциева и Г. Шпаликова «Застава Ильича», по которому Хуциев поставил фильм «Мне двадцать лет». Перевод выполнен Джованни Бутта, книга иллюстрирована кадрами из фильма. Литературное приложение к газете «Паэзе сера» поместило рецензию Вильмы Д'Алео на сценарий фильма о советской молодежи.

В том же издательстве вышла поэма Александра Блока «Двенадцать».

Библиотечка «Заря», выпускаемая софийским «Профиздатом», ставит своей целью знакомить болгарского читателя с новинками советской литературы, посвященной проблемам молодежи.

В библиотечке вышли «День летящий» В. Кожевникова, «Короткое замыкание» В. Тендрякова, «Повесть о ненаписанной книге» Е. Драбкиной, «Возвращение к горизонту» В. Краковского, «История одной ночи» Н. Строковского, «Завтрашние заботы» В. Конецкого, «Чужой» В. Липатова, «Повесть о пережитом» Б. Дьякова, «Дороже всего» Ю. Толчинского и другие повести и романы.

Болгарское издательство «Народна култура» в библиотечке «Советские поэты» выпустило избранные стихотворения О. Берггольц, А. Блока, Е. Евтушенко, В. Инбер, В. Казина, Г. Леонидзе, В. Луговского, Д. Павличко, П. Панченко, В. Сосюры.

В Болгарии в ходе декады белорусской культуры, проводившейся по инициативе Общества болгаро-советской дружбы, на страницах периодической печати были опубликованы произведения белорусских писателей. Минская газета «Литаратура и мастацтва» «гостила» на страницах еженедельника «Народна култура».

В Софии была открыта выставка книг, выпущенных пятью белорусскими издательствами. На этой выставке были представлены книги болгарских писателей, переведенные на белорусский язык, а также произведения белорусских писателей Я. Коласа, Я. Купалы, А. Кулешова, М. Танка, П. Бровки, П. Панченко, В. Быкова, И. Шамякина, Я. Брыля и других, переведенные на болгарский язык.

В английском издательстве Добсона вышел в свет сборник произведений Владимира Маяковского в новых переводах Герберта Маршалла.

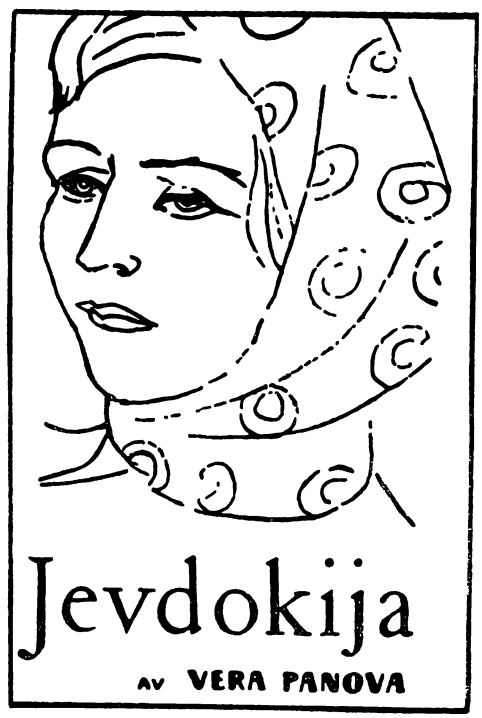
Рецензент еженедельника «Обзёрвер» подробно комментирует новые переводы и отмечает особую заслугу Маршалла в передаче на английском языке сложных ритмов «поэтического гиганта».

Английская печать широко отмечает выход сборника произведений Ю. Казакова под названием «Запах хлеба и другие рассказы». Рецензент еженедельника «Санди телеграф» говорит о Казакове как о художнике, «продолжающем традиции Чехова и Тургенева». Перевод выполнен Маней Харари и Эндрю Томсоном.

Повесть В. Пановой «Сережа» вышла в варшавском издательстве «Чительник».

Перевод пьесы С. Алешина «Главная роль» опубликован в польском ежемесячнике «Диалог».

Другая пьеса этого автора — «Палата» — поставлена на сцене Городского театра в Белостоке.



Издательство «Арбетаркультур» (Стокгольм) выпустило повесть В. Пановой «Евдокия», обложка которой здесь воспроизводится.

Варшавский Государственный издательский институт (ПИВ) выпустил книги советских писателей: «Песня о ветре» В. Луговского, «Вдохновение» Д. Самойлова и сборник произведений К. Симонова под названием «Решения».

В том же издательстве вышел роман Ю. Бондарева «Тишина».

Как сообщает корреспондент газеты «Ню даг», в стокгольмском издательстве «Интернационелл ревю» выпущена книга Ч. Айтматова «Повести гор и степей».

В Румынии в последнее время издано несколько произведений советских авторов.

Роман «Солдатами не рождаются» — третье за последнее время произведение К. Симонова, выпускаемое румынскими издательствами: ранее в Румынии были переведены романы «Товарищи по оружию» и «Живые и мертвые».

В молодежном издательстве «Тинерет» вышла повесть А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».

«Газета литерарэ» сообщила о выходе в Издательстве всемирной литературы повести И. Бабеля «Конармия». Рецензент еженедельника пишет: «Эта книга находится в ряду лучших произведений советской литературы, таких как книги Фадеева и Шолохова».

Книга А. Ливановой «Три судьбы» выпущена третьим изданием в японском издательстве «Токиотосио». Перевод выполнен Т. Мацуно.

Роман В. Ардаматского «Сатурн» почти не виден» выпущен пражским издательством «Млада фронта» в переводе Г. Пражаковой.

В Париже в театре Рекамье режиссером Жаном Леврэ впервые на французской сцене поставлена пьеса Горького «Зыковы».

Издательство «Жюлиар» выпустило книгу К. Симонова «Солдатами не рождаются» в переводе Андре Робеля. Сообщая об этом, рецензент еженедельника «Франс нувель» пишет, что эта книга Симонова, так же как и его предыдущие романы,— выдающееся литературное произведение.

Повесть Г. Гора «Докучливый собеседник» вышла в издательстве «Эдитер франсе реюни» (Франция).

Белградским издательством «Рад» выпущены избранные стихотворения Владимира Маяковского.

Сборник стихов Бориса Пастернака под названием «Поэзия» вышел в Загребе в издательстве «Младост» (Югославия).

Роман Д. Гранина «Иду на грозу» выпущен белградским издательством «Просвета» в переводе Даницы Якшич.

Издательство «Веселин Маслеша» в г. Сараево выпустило роман А. Чаковского «Свет далекой звезды» в переводе Ины Крстанович.

Австралийским издательством «Нью уорлд букселлерс» под названием «Короткие повести» вышел сборник произведений Ч. Айтматова. Сиднейская газета «Трибюн» опубликовала обширную рецензию на сборник, автор которой высоко оценивает мастерство советского писателя.

Берлинское издательство «Фольк унд вельт. Культур унд фортшритт» выпустило два сборника Михаила Шолохова под названием «Ранние рассказы» и «Рассказы и публицистика», а также роман Ю. Королькова «Человек, для которого не было тайн (Зорге)».

В издательстве «Нейес лебен» вышел роман В. Орлова «Соленый арбуз». Там же под названием «Тогда мне было семнадцать» выпущен роман Ю. Пиляра «Люди остаются людьми».

Газета «Нейес Дейчланд» сообщила о выходе под названием «Саша Москвина» романа Ф. Вигдоровой «Семейное счастье», а также исторического романа А. Чапыгина «Степан Разин».

Ранние стихотворения Владимира Маяковского вышли во Франкфурте-на-Майне в издательстве Зуркамп (ФРГ).

Рассказ М. Шолохова «Жеребенок» опубликован в индийской газете «Пэтриот».

Канадским издательством «Амбассадор» выпущена книга Ю. Семенова «Петровка, 38».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

СТРАСТИ ВОКРУГ ЭДВАРДА БОНДА

В нынешнем театральном сезоне редкий для Лондона ажиотаж вызвала пьеса Эдварда Бонда «Спасенные», идущая в театре «Ройал корт». Цензура пока не разрешила ставить эту пьесу в других театрах, считая ее в какой-то степени «крамольной».

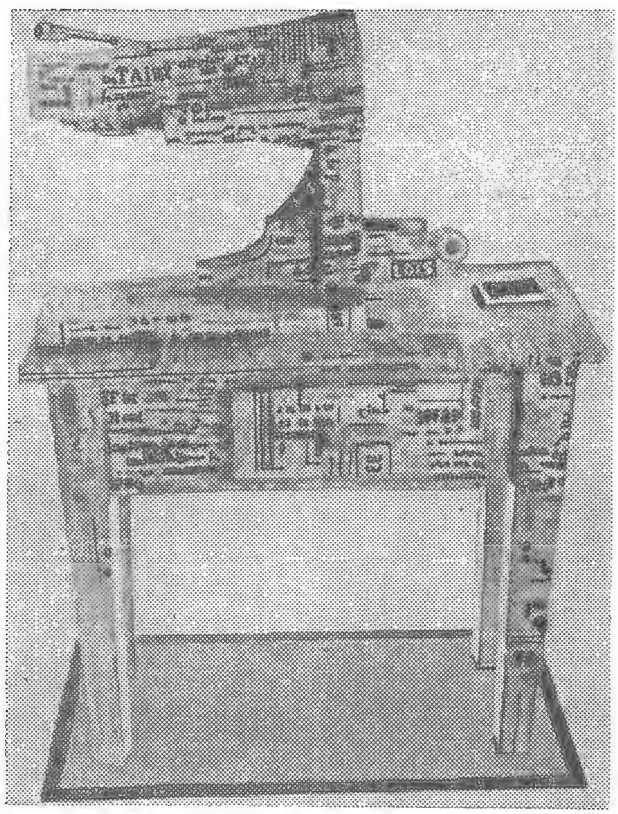
В чем же дело?.. Герои пьесы — двое бездельников: молодой человек и девушка, представители молодежи, не имеющей никаких идеалов, никаких интересов. Эти двое «крутили», как они выражаются, любовь, не отягощая себя узами брака. На свет появился ребенок. Для молодых родителей он — обуза. Несчастный младенец не накормлен, не ухожен. Однажды мать (Пэм) легкомысленно оставляет ребенка в коляске в парке, где его отец (Фред)с тремя товарищами удит рыбу. Юные хулиганы — приятели Фреда — замечают брошенную коляску и начинают «развлекаться». Сначала ребенок для них — мишень для плевков, потом они начинают его щипать, затем измазывают ребенку лицо его экскрементами, а в конце «развлечения» забрасывают младенца камнями... Отец? Он тоже участвует в «игре», правда, старается бросать камни так, чтобы не попасть в ребенка. Так или иначе, но ребенок гибнет... Преступники скрываются, в руки полиции попадает только Фред. И судят только его. Однако ему удается выйти на свободу. Он тут же связывает свою судьбу с новой любовницей...

«Таймс», «Обзёрвер», «Лиснер», «Трибюн» и другие газеты и журналы посвятили пьесе рецензии своих театральных обозревате-

---

Последние год-полтора на Западе много говорят о «слиянии слова с образом» в искусстве И не только говорят, как вы можете легко убедиться, ибо на воспроизводимом нами снимке изображено не что иное, как образчик так называемой «конкретной поэзии». Автор этого «шедевра» — Питер Грин — человек не без выдумки: он назвал его «Поэма об утре на Уазе». А демонстрировался шедевр недавно наряду с другими на выставке произведений «конкретной поэзии» в Лондоне.

(Еженедельник «Санди таймс»)



лей. Некоторые буржуазные критики объявляют пьесу Бонда клеветой на молодежь. Иные утверждают, что она «не реалистична». Нашлись и такие, которые пытались намекнуть, будто речь идет о «рабочей молодежи». Другие считают, что вообще в Англии не может быть преступности такого рода.

Среди всей этой разноголосицы выделяется выступление на страницах газеты «Трибюн» критика Мервина Джонса, который отмечает глубокую социальную подоплеку пьесы. Он пишет: «Невозможно, казалось бы, не понять главную идею этого произведения. Это лучшая пьеса, которую я когда-либо видел, из тех, которые объясняют, как могло случиться, что обыкновенные немцы преследовали и уничтожали евреев, как сейчас обыкновенные американцы сметают с лица земли вьетнамские деревни, равнодушно выпуская пулеметные очереди по каждой хижине».

Автор пьесы Эдвард Бонд, выступая в журнале «Сензоршип», не без раздражения по адресу «шокированных» критиков заявил: «Разумеется, если бы я написал скромную развлекательную пьеску, все критики отбили бы себе руки, аплодируя ей».

Интерес к пьесе Бонда велик. Об этом свидетельствует и тот факт, что уже после первых спектаклей в «Ройал корт» была организована публичная дискуссия под председательством известного театрального критика Кэннета Тайнена.

ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ ПРОТИВ АПАРТЕИДА

Британская секция Всемирного движения за освобождение политических заключенных в Южно-Африканской Республике организовала в Лондоне выставку произведений живописи, графики и скульптуры мастеров изобразительного искусства разных стран: Пабло Пикассо, Генри Мура, Ренато Гуттузо, Марка Шагала, Бэна Шана, а также недавно скончавшихся Жана Люрса и Джакометти. Деньги, вырученные за продажу этих работ, пойдут на финансирование кампании за освобождение политзаключенных из фервурдовских застенков и на оказание материальной помощи их семьям. Все авторы без исключения подписали декларацию против апартеида, в которой говорится: «Я поддерживаю борьбу против расовой дискриминации. Я требую прекращения политических процессов и немедленного освобождения всех политических заключенных в Южной Африке».

Борьба против апартеида, пишет обозреватель газеты «Дейли уоркер», объединила художников разных стран, разных политических убеждений и самых различных художественных направлений. Так было в свое время, когда писатели, журналисты, художники из разных стран устремились на защиту республиканской Испании от фашизма.

Выставка произведений тех, кто выступает против апартеида, пишет далее обозреватель, — интереснейшая художественная экспозиция.

ПО РОМАНУ СТЭНА БАРСТОУ

В Шеффилдском драматическом театре, как сообщает театральный обозреватель газеты «Гардиен», с успехом осуществлена инсценировка по роману английского писателя Стэна Барстоу «Бывает и такая любовь» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 11—12, 1965 г. под названием «Любовь... любовь?»). По словам обозревателя, герои Барстоу так же хорошо смотрятся на сцене, как и на экране (книга уже была экранизирована, и фильм имел успех). «Есть все основания думать, — пишет обозреватель,— что из этого романа можно будет сделать удачную радиопередачу и телевизионный спектакль, а также записать его на пластинки».

«Правдивая, реалистическая повесть о трудной любви юной пары — Вика и Ингрид,— продолжает обозреватель,— это вдумчивая попытка писателя показать повседневную жизнь простых людей. Любовь приходит в этом романе не в радужном сиянии, а в скромном повседневном обличье. Такой она показана и в пьесе, сделанной по роману... Этот спектакль,— говорится в заключение,— должны посмотреть каждый юноша и каждая девушка».

Пресса дает высокую оценку исполнителям ролей Вика и Ингрид — Кристоферу Уилкинсону и Мэрилин Тейлерсен.

БЕЛЬГИЯ

СВИДЕТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАСИСТОВ

Бельгийский писатель Тон Брюлен побывал во Франции в связи с постановкой в Театр де ля Коммюн в Обервиле его антирасистской пьесы «Собаки», действие которой развертывается в Трансваале. Автор пьесы два года прожил в Южно-Африканской Республике, где он буквально на каждом шагу сталкивался с проявлениями бесчеловечной политики апартеида.

«Прежде всего поражает ужасающая нищета огромного большинства негров,— рассказал Тон Брюлен корреспонденту еженедельника «Юманите-диманш».— ...Однажды я решил навестить моего друга, негритянского писателя. Для того чтобы попасть в нищенское предместье, где он жил, мне надо было получить специальный пропуск. Мне разрешили пойти в гости только в сопровождении полицейского... В полицейском участке, куда я должен был перед этим явиться, на полу виднелись следы крови, а за стеной слышались стоны.

Сопровождавший меня полицейский вошел в лачугу и крикнул: «Эй! Здесь живет такой-то?» Мой друг вышел ко мне. Этот человек, владеющий пятью языками (он служит переводчиком), был одет в лохмотья. Мы далеко отошли от дома, и только в открытом поле он сказал: «Остановимся, здесь можно говорить». Такова обстановка в Иоганнесбурге.

Законы сегрегации настолько изощренны, что практически нет ни одного негра, который хотя бы од-

нажды не попал в тюрьму. В непроходимой чаще запрещений, комендантских часов, виз, пропусков, мандатов негр рано или поздно становится нарушителем...

Это фашизм, хотя еще «не совсем настоящий». Существуют газеты для негров, которые издаются неграми и защищают негров. Так, например, негритянская пресса предала гласности факты, которые послужили основой для моей пьесы «Собаки»: жестокое обращение с черными рабами, заключение их в домашнюю тюрьму, безнаказанные убийства в усадьбах белых плантаторов. Но подобные выступления прессы позволяют властям выявлять оппозиционеров и брать их на заметку.

Это может показаться парадоксальным,— заявил Тон Брюлен,— но годы пребывания в Южной Африке — лучшие в моей жизни. Поймите меня: там я открыл человека. В этих бесчеловечных условиях по-новому смотришь на самого себя, постигаешь, что такое подлинная человечность. Там в воздухе *пахнет опасностью*, и оттого чувствуешь себя полезным. Когда я писал пьесу «Собаки», я хотел, чтобы другие тоже ощутили неповторимую атмосферу поисков правды... Я счастлив, что смог отдать себя делу борьбы против расизма».

БОЛГАРИЯ

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НИКОЛЫ ФУРНАДЖИЕВА

— В прошлом году я выпустил сборник стихов,— рассказал известный поэт и переводчик русской и советской поэзии Никола Фурнаджиев корреспонденту еженедельника «Литературен фронт» Михаилу Шакле.

В последнее время я много занимаюсь переводами. Переводил Блока. Перевел отдельные стихотворения Лермонтова для четырехтомного издания, которое начинает у нас выходить. Пишу также для детей. В этом году выйдет в свет одна моя детская книга...

— Как вы относитесь к творчеству некоторых молодых поэтов, считающих, что они прокладывают новые пути в нашей поэзии? Не кажется ли вам, что во многих их произведениях есть вещи, которые выглядят новаторскими, а в сущности уже очень давно известны? — спросил корреспондент.

— Я не думаю, что они повторяют старое. С некоторыми их произведениями в нашу поэзию приходит и что-то новое — патетика, форма и прежде всего — видение, мысль. Если отбросить позерство и книжное вдохновение — а эту болезнь в конце концов поэзия знала издавна,— то попытки молодых литераторов создать новую поэзию, на мой взгляд, интересны... Что выйдет из этих попыток, поднимутся ли они до создания больших произведений,— сказать трудно; но я убежден, что след в нашей поэзии они оставят.

Я никогда не был кабинетным поэтом,— сказал далее Никола Фурнаджиев.— Считаю, что искусство и особенно поэзию нельзя создавать, если черпаешь познания о жизни только из книг. Всегда, когда у меня была возможность в прошлом и теперь, я путешествую. Встречаюсь с людьми, с пристрастием наблюдаю за всем, что совершается в нашей стране,—огорчаюсь, радуюсь. Недавно больше двух недель провел в Сливене. У нас в стране произошли большие перемены, и эти перемены прежде всего — духовного свойства. Мы научились оценивать все очень трезво, реалистически. Мы говорим больше о недостатках, чем об успехах. Нет саморекламы, меньше бахвальства, больше раздумий. Вообще догматизм и схематизм все меньше мешают людям, которые сейчас перестраивают жизнь. А это большое завоевание!

ЧЕСТВОВАНИЕ ЕЛИСАВЕТЫ БАГРЯНЫ

По инициативе Международного комитета единства культуры в Риме состоялось торжественное чествование известной болгарской поэтессы Елисаветы Багряны. Поэтесса гостила в Италии по соглашению о культурном обмене между Болгарией и Италией.

Встреча с Багряной привлекла многих представителей итальянской культурной общественности, писателей, журналистов, преподавателей.

Вечер был открыт генеральным секретарем Комитета профессором Козельским, который говорил о гуманизме, любви к миру и человечеству, характерных для поэзии Багряны. Были прочитаны некоторые переводы стихов Багряны на итальянский язык.

В заключение поэтесса выступила с чтением своих произведений на родном языке.

ГАНА

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В Гане начало работу *национальное телевидение*. В проспекте ганского телецентра говорится, что оно не будет показывать зрителям «фильмы о гангстерах, добрых ковбоях и плохих индейцах». Не будет места в программах и «среднего пошиба любовным похождениям обитателей Чикаго или Ливерпуля». Президент страны Кваме Нкрума сказал в этой связи: «Главная задача телевидения — воспитание в самом широком и чистом смысле этого слова. Телевидение должно помочь социалистическому преобразованию Ганы. Оно не станет дешевым развлечением и не будет использоваться в коммерческих целях».

Директор телевидения писательница Шерли Дюбуа заявила, что она гордится тем, что все работники национального телецентра — ганцы. «...В начале нашей деятельности мы будем вести передачи по одному каналу для трехсот зрительных залов в городах и отдаленных деревнях. Каждый житель страны сможет смотреть в этих залах нашу

ежедневную программу. Работой просмотровых залов будут руководить люди, говорящие на местных языках. В случае необходимости они будут выполнять роль традиционных африканских рассказчиков. Таким образом одну из старейших традиций Ганы мы объединим с одним из новейших изобретений. Очень скоро в стране будет создано 1200 залов для просмотра телепередач».

АФРИКАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В 1962 году в Гане была начата подготовка к изданию «Африканской энциклопедии». В настоящее время, как сообщает корреспондент журнала «Гана тудей», сдаются в набор первые три тома энциклопедии. Всего в ней будет 10 томов, выпуск которых будет завершен к 1970 году.

Как сообщил корреспондент журнала, над ее созданием трудятся ученые и деятели культуры 30 африканских стран, в которых учреждены специальные комитеты для сбора необходимых для энциклопедии материалов. Она будет освещать социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь народов Африки в прошлом и настоящем, покажет роль африканских народов во всемирной истории.

Работой руководит редакционный совет во главе с профессором философии в университете Ганы У. Э. Абрахамом.

Печать Африки придает большое значение энциклопедии, рассматривая ее выпуск как одно из важнейших событий в культурной жизни африканских народов.

ГДР

КНИГА, НАШЕДШАЯ ИЗДАТЕЛЯ

«Если в сообществе, которое именует себя «свободным миром», любая новация художника в сфере поиска «чистой формы» тут же находит своего потребителя и предприимчивых импресарио, то малейшая попытка вторжения в область социальную немедленно подвергается строжайшему контролю». Так сказал в своем заявлении, написанном для газет «Нейес Дейчланд» и «Дагенс нюхетер», известный немецкий драматург Петер Вейс. «...Справедливость этих слов,— пишет рецензент «Литератур-65» (приложения к газете «Нейес Дейчланд».— *Прим. ред.*),— недавно испытал на себе западноберлинский писатель Иоахим Зейппель». Два его романа — «Путешествие на запад» (1963) и «Колумбус блуджинс, или Королевство ложных понятий» (1965), отмеченные формалистическим экспериментом (особенно первая книга), без труда нашли издателей и были милостиво встречены официальной критикой. Но стоило Зейппелю предложить рукопись сатирической книги «Когда фюрер выиграл войну, или Мы говорим «да» Федеративной Республике», резко критикующей боннскую действительность, как четырнадцать издательств в ФРГ и в Западном Берлине отклонили ее... За аналогичные

Рисунок Леа Грундиг «Матери хотят, чтобы их дети жили». Жизнь детей различных стран мира — любимая тема художницы.

(Еженедельник «Зонntаг»)

попытки вторжения в «социальную область» некоторым западногерманским писателям пришлось не так давно выслушать брань по своему адресу из уст самого канцлера Эрхарда. Зейппелю же сразу дали почувствовать всю силу своей власти неофициальные хозяева империалистического государства, критиковать которых он осмелился.

И только после того, как автор обратился к издательству социалистической Германии «Ауфбау-ферлаг», книга была напечатана и даже представлена на 17-й книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, то есть в той части Германии, «...где и для которой, по словам Зейппеля, она была написана и где ее следовало бы издать...»

Чем же был вызван столь единодушный гнев «независимых» издателей «свободного мира»?

«...Все тридцать пять глав этой сатирической книги,— пишет рецензент «Литература-65»,— пронизаны одной мучительной мыслью: политическая атмосфера в сегодняшней Федеративной Республике производит такое впечатление, будто вторую мировую войну фашизм не проиграл, будто он не был побежден — ведь боннское государство продолжает политику гитлеровской Германии... Автор с большой убедительностью — документальной и художественной— показал, как бывшие нацисты снова пробрались к власти и, восстановив многие старые институты своей диктатуры, построили еще и новые... Профессор И. Зейппель,— заключает рецензент,— смог, кроме того, убедиться, что издательства ГДР всегда пойдут навстречу немецкому писателю, если он мужественно борется за свои гуманистические взгляды».

ШКОЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Когда десять лет назад в Лейпциге был создан литературный институт, скептики улыбались: «Разве научишь, *как* писать?! Писателем надо родиться...»

Возражая скептикам, Иоганнес Р. Бехер, принимавший активное участие в создании института, писал: «...Без настоящей *школы* социалистического реализма немецкие писатели не смогут идти в ногу с жизнью».

Сложные задачи стояли перед молодым институтом — возродить попранные фашистами культурные традиции немецкого народа, ликвидировать последствия нацистской пропаганды, воспитать нового читателя, разработать новые требования к литературе.

Как отмечают обозреватели прессы ГДР, большую помощь в создании института оказали советские литераторы, в особенности Институт мировой литературы имени Горького.

Ныне литературный институт, с 1959 года носящий имя Иоганнеса Р. Бехера,— один из крупных культурных центров ГДР. До настоящего времени 30 выпускников института получили 46 литературных премий, а 4 удостоены высокого звания лауреата Государственной премии.

Выступая на торжественном собрании в честь юбилея, директор института, лауреат Государственной премии, писатель Макс Вальтер Шульц сказал:

«Институт решил много трудных задач, а теперь перед ним стоит самая трудная — стать подлинным литературным центром, достигнуть высот художественного мастерства, руководствуясь методом социалистического реализма».

ФРГ

РОДИЛСЯ ЖУРНАЛ

«Как известно, литературным журналам у нас приходится нелегко,— пишет критик и публицист Гейнц Брюдигам в еженедельнике «Ди андере цейтунг», откликаясь на выход первого номера журнала «Кюрбискерн»,— особенно, если они не ограничиваются рамками эстетски-формалистических взглядов и признают общественное значение литературы. И можно только восхищаться мужеством тех, кто в этих условиях решился на создание нового литературно-критического журнала...» Среди его издателей — Кристиан Гейслер, Фридрих Гитцер, Яак Карсунке и др. Место издания Мюнхен. В кратком программном заявлении редколлегии сообщается, что журнал будет выходить четыре раза в год. В каждом втором и третьем номерах будут публиковаться подробные статьи о состоянии литературы за рубежом; в первую очередь намечены литературные обзоры по Италии, США, СССР и странам Латинской Америки.

Первый номер открывается стихотворением Пабло Неруды «Прощания», которое поэт во время Международной встречи писателей в Веймаре предоставил журналу. Далее печатаются сцены из пьесы Гейнара Киппхарда (ФРГ) «Джоэль Бранд», отрывки из романа «Актовый зал» Германа Канта (ГДР), одноактная пьеса Мартина Вальзера (ФРГ) «География», стихи молодого поэта Карла Микеля (ГДР) и отрывки из новой повести Кристиана Гейслера «Холодные времена». Примером четкой позиции, занятой литератором по отношению к актуальным политическим событиям, по мнению критика, служат помещенные в номере стихи о Вьетнаме Эриха Фрида — немецкого поэта, живущего в Англии.

Журнал обсуждает и вопросы «расколотой немецкой литературы», но не в духе сторонников раскола Запада и Востока, а в связи с существованием в классовом обществе «двух культур». В номере опубликованы письма Фридриха Гитцера и Вернера Бройнига, в которых обсуждаются проблемы литературы в ФРГ и ГДР. «Итак, поздравляем журнал с удачным стартом и желаем ему широкого распространения»,—пишет Брюдигам.

«ХОЛОДНЫЕ ВРЕМЕНА»

Автор «Запроса» и телевизионной пьесы «Убойный скот», хорошо известный не

только в ФРГ, но и за ее пределами Кристиан Гейслер недавно закончил работу над новой повестью «Холодные времена». Место действия — Гамбург, время — 1963 год. Даже конкретный день указывает писатель: холодный день 6 декабря 1963 года — обычный день, который разные люди прожили по-разному. Многие участвуют в этот день в протестах против реакционных мероприятий правительства, возникают стихийные демонстрации.

Но молодая супружеская пара — экскаваторщик Ян Алерс и его жена Рената — не участвует ни в каких общественных событиях. Они целиком поглощены своим бытом, своей жизнью. Извивы «пути наверх», стремление любой ценой пробиться, одолеть социальную лестницу — вот что их занимает.

Гейслеру удалось изображение общества, где все основано на зависти друг к другу, где человек становится врагом себе подобному. Писатель нашел форму и язык, соответствующие главной теме повести — повседневной жизни поколения Яна и Ренаты.

Литературный обозреватель еженедельника «Ди андере цейтунг» пишет, что эпиграфом к повести могут служить слова Гейслера: «Очень опасно, когда целое общество, не осознавшее себя, плохо информированное, живет бездумно и просто, живет только для себя и называет это счастьем, свободой и прогрессом». «Найдут ли они свой путь? — спрашивает далее обозреватель.— Увидят ли они окружающий мир? Выйдут ли за пределы своего узкого мирка? Поймут ли, что происходит вокруг? На эти вопросы Гейслер не дает ответов. Он предоставляет возможность ответить на них читателю».

ГОЛЛАНДИЯ

БЕДНОСТЬ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

«Золотым веком» называют в голландской официальной истории период, последовавший за началом Нидерландской буржуазной революции. Для голландских купцов и судовладельцев, хозяев мануфактур и верфей, банкиров и регентов XVII век действительно был «золотым». Несметные богатства накапливались не только за счет народов многочисленных голландских колоний, но и за счет собственного народа. Маркс писал об этом в «Капитале»: «...народные массы Голландии уже в 1648 г. более страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы».

Об этом аспекте «Золотого века» голландские историки предпочитают умалчивать. Чтобы восполнить этот пробел и, как пишет корреспондент газеты «Ваархейд», «воссоздать картину нищеты на фоне процветания», амстердамский Исторический музей недавно организовал выставку рисунков и полотен художников XVII века под названием «Бедность «Золотого века».

Среди экспонируемых работ — офорты великого Рембрандта. На выставке для них отведен отдельный зал. Большая картина Вернера ван ден Фалкерта изображает раздачу одежды регентом попечительного дома сирот. С полотна смотрит самодовольное лицо регента, который несомненно заказал художнику эту работу, чтобы «увековечить» свою благотворительную деятельность. Таких полотен несколько, на них изображены попечители благотворительных заведений, посещающие бедных в их хижинах и одаривающие их хлебом.

На выставке много работ, показывающих ужаснейшие условия принудительного труда в так называемых «смирительных домах», куда помещались бездомные, не способные служить во флоте или работать на галерах.

Директор Исторического музея доктор Леви с сожалением отметил в беседе с журналистами, что сохранилось мало произведений, относящихся к тому периоду, и что, в частности, ничего не удалось найти о восстаниях неимущих.

ГРЕЦИЯ

«ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ ПОДДЕРЖИТ НАС, Я ПОКИНУ ТЕАТР...»

Такое заявление сделал руководитель афинского Художественного театра Карлос Кун на пресс-конференции, состоявшейся вскоре после возвращения театра с успешных гастролей по Советскому Союзу и Польше. Столь же успешно, по отзывам газет — триумфально, прошли весной минувшего года гастроли театра в Лондоне и Париже. Труппа привезла в Афины почетный приз — премию «Театра наций». Греческая общественность горячо поздравляла Куна и его актеров — ведь ни для кого не было секретом, ценою каких жертв был создан и устоял перед, казалось бы, непреодолимыми финансовыми трудностями этот замечательный театр. И только власти оставались равнодушными, по-прежнему лишая Художественный театр как моральной, так и материальной поддержки.

Во время гастролей Куну было сделано много предложений о различных постановках на сценах зарубежных театров. Кун ответил на эти предложения отказом.

«Я хочу служить искусству своей страны,— сказал он журналистам.— Я хочу показать на греческой сцене все то лучшее, чем располагает современный театр, и все то лучшее, что сохранили для нас века. Я хочу содействовать развитию греческой драматургии, хочу помочь молодым талантливым авторам. Я хочу объездить со своей труппой греческую провинцию... Ценою невероятных усилий и жертв мы добились неплохих результатов. Нас признал и греческий, и зарубежный зритель. Теперь нас должно признать и государство. Оно обязано помочь не только Художественному театру, но и всему греческому театру,

работающему в необычайно неблагоприятных условиях».

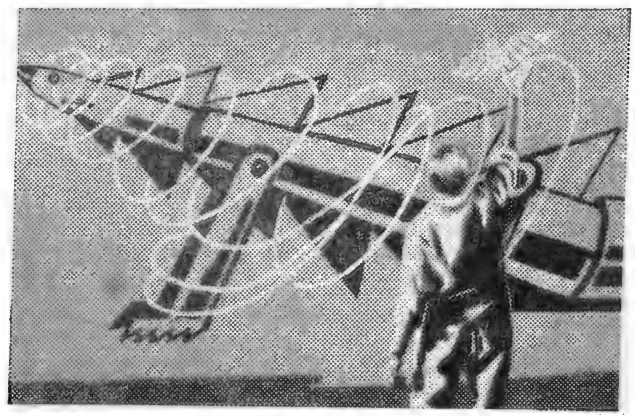
ВЫСТАВКА НА ГОРЕ МУЗ

В Греции, на горе Муз, которую венчает величественное здание Парфенона, открылась выставка скульптуры XX века. Президент Международной ассоциации критиков изобразительного искусства Тони Спитерис в интервью французскому еженедельнику «Ар» заявил, что цель этой обширной выставки, включающей 66 работ известных западноевропейских и американских мастеров,— ознакомление посетителей с наиболее выдающимися произведениями современной скульптуры. «Греция,—подчеркнул Спитерис,— была выбрана для этого эксперимента, поскольку именно она является родиной классической западной скульптуры».

Пресса отмечает несомненный успех выставки. В частности, критика обращает внимание на малоизвестную скульптуру Матисса «Голова Жинетты», а также на работу Ренуара «Венера Победоносная». Вместе с тем печать указывает на неравноценность представленных произведений. «Такие скульптуры, как, например, «Морские формы» Барбары Хепуорт,— *пишет корреспондент американского* еженедельника «Ньюсуик»,— не смогут вызвать ничего, кроме ужаса у молодых влюбленных, для которых гора Муз издавна была наиболее популярным *местом*».

Не обошлось и без серьезных протестов. Так, возмущение греческой общественности вызвала экспонированная на самом видном месте работа Сальвадора Дали «Венера Милосская», которая является буквальным воспроизведением знаменитого шедевра, хранящегося в Лувре, с той лишь разницей, что на место лба, живота и груди богини любви скульптор врезал выдвижные ящички по типу комодных. Греческая критика справедливо расценила «Венеру» Дали как издевательство над национальной гордостью Греции.

ДАНИЯ



«Бид» по-датски означает «укус». Именно этими тремя буквами подписывает свои рисунки известный датский художник Херлуф Бидструп

«Бид-65» — название фильма, съемки которого недавно закончил немецкий режиссер из ГДР Вальтер Хейновский на студии ДЕФА.

По словам рецензента газеты «Ланд ог фольк», фильм расскажет зрителю о работе художника, покажет его в моменты создания популярных рисунков-образов.

В кадре — Бид.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ИЗРАИЛЬ

«АРАБСКИЕ» РАССКАЗЫ АВИ-ДАВИДА

Газета «Кол Гаам» опубликовала *письмо своего читателя*, подписавшегося инициалами Г. Х., в котором он делится впечатлениями от вышедшего недавно сборника рассказов И. Ави-Давида «Просто игра» (в этот *сборник вошли рассказы* писателя, первоначально опубликованные лет десять тому назад в литературном приложении «Кол Гаам»).

Большинство рассказов Ави-Давида посвящено не теряющей для Израиля злободневности проблеме взаимоотношений между евреями и арабами. Действие рассказов происходит в период резкого обострения арабско-израильских отношений, когда шовинистический и милитаристский угар, разжигавшийся стоявшим у власти правительством Бен-Гуриона, достиг апогея. Тем не менее, как считает Г. Х., рассказы Ави-Давида не стали менее актуальными *и теперь*. «Именно сейчас,— пишет он,— когда все больше крепнут общественные силы, включающиеся в борьбу за ограничение власти военных и за установление мира между Израилем и арабскими странами, следует прочесть эти рассказы, описывающие период ненастья, которое, как мы надеемся, больше не повторится».

По мнению Г. Х., в рассказах правдиво показаны гнет и произвол по отношению к арабскому населению, которые практикуются под предлогом «обороны государства». В отличие от произведений некоторых израильских писателей, где арабы изображаются пассивными страдальцами, герои «арабских» рассказов Ави-Давида — сильные, мужественные люди, с честью переносящие выпавшие на их долю испытания.

Лучшим в сборнике автор письма считает рассказ «Просто игра», повествующий о пагубных последствиях шовинистического вос-

питания, которое израильские дети получают в семье и в школе. В этом рассказе мальчики играют в «войну Израиля с арабами», и один из них, Гиди, убивает «араба» — своего товарища Йоселе.

В сборнике Ави-Давида есть также несколько рассказов, посвященных проблеме израильской молодежи, ее духовного кризиса, но они, по мнению автора письма, удались писателю меньше, чем «арабские» рассказы.

ИНДИЯ

ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

В последние дни декабря в маленьком керальском городке Удьягомандал проходила V Всеиндийская конференция писателей под председательством лауреата Национальной премии С. Х. Ватсайяна, пишущего на языке хинди. На этот раз в Кералу приехали не только писатели, но и представители других видов искусства. В качестве гостей присутствовала делегация советских писателей в составе М. Луконина, В. Панкова, М. Салганик и В. Жак.

Повестка дня конференции включала в себя следующие вопросы: тенденции развития современных индийских литератур; связь литературы с другими видами искусства (музыкой, живописью, кино и театром); возрождение культуры и индийская интеллигенция; традиции и новаторство; кризис религии в Индии; концепция «индийского» в культуре; автономия культуры и государственные институты.

По этим вопросам выступали тамильский писатель Каа Наа Субраманьям, бенгальский профессор Амлан Датта, писатель каннада Гопалакришна Адига, пенджабский критик Аттар Сингх, поэт телугу Арудра, керальская поэтесса Баламани Амма и др.

Самые жаркие споры, как всегда, вызвала языковая проблема, неразрывно связанная с вопросом национального единства. Крупный бенгальский романист Монодж Басу призвал индийских писателей, пишущих на разных языках, к духовному объединению. Басу подчеркнул также ответственность писателей за формирование читательского мировоззрения.

Оценивая значение конференции, индийская печать отмечала некоторую однобокость ее состава — такие крупные литераторы, как Кришан Чандар, пишущий на языке урду, пенджабская поэтесса Амрита Притам, керальский прозаик Такажи Шивасанкара Пиллаи не участвовали в ее работе.

«КОГДА РАСЦВЕТАЕТ ЦВЕТОК»

Сюжет знаменитого «Пигмалиона» Бернарда Шоу послужил основой нового индийского фильма «Когда расцветает цветок». Поставил фильм молодой режиссер Хирен Кхера; в главных ролях снимались популярные актеры Шаши Капур и Нанда.

В интервью бомбейскому еженедельнику «Блиц» режиссер отметил, что он стремился тщательно следовать сюжетной линии Шоу, сохранить дух оригинала. А это не так-то просто, так как действие фильма перенесено в Индию, в штат Кашмир. Героиня, молодая учительница, превращает встреченного случайно на улице безграмотного нищего рыбака в образованного человека и вводит его в «высшее общество».

«Хотя картина имеет традиционно индийский конец — свадьбу,— пишет кинокритик «Блиц» Д. Надкарни,— и хотя в ней повторяются многие приевшиеся ситуации, это не может заслонить от нас главного — антикастовой направленности, идеи равенства, которые блестяще дополняются прекрасной игрой актеров. Фильм, несомненно, не останется незамеченным».

Актриса Нанда в фильме «Когда расцветает цветок». *(Журнал «Блиц»)*

ИРАК

«ШАГИ В ИЗГНАНИИ»

В Бейруте вышел диван известного иракского поэта, курда по национальности, Бланда аль-Хайдари, который носит название «Шаги в изгнании» (в настоящее время аль-Хайдари, как и другие лучшие поэты Ирака, вынужден жить вдали от своей родины). Журнал «Аль-Адиб» поместил пространную рецензию на книгу поэта, куда вошли его стихи, написанные с 1944 года по наши дни. Рецензент причисляет свободолюбивые стихи аль-Хайдари к шедеврам современной арабской поэзии.

ИСПАНИЯ

КОНКУРС В ЧЕСТЬ УНАМУНО

Факультет философии и языка университета в городе Саламанка объявил конкурс на лучшее исследование о жизни и литературной и общественной деятельности известного испанского писателя и философа Мигеля де Унамуно.

Как известно, Унамуно был ректором университета в Саламанке. И конкурс, организованный в его честь,— знак уважения и признания заслуг Унамуно перед Испанией. Небезын-

тересно также вспомнить, что в период гражданской войны франкисты выдвинули лозунг — «Долой интеллигенцию», которому с полным основанием можно противопоставить памятное изречение Мигеля де Унамуно, относящееся к тому же периоду: «Вы победите, но не убедите!»

Годы господства франкизма подтвердили правоту Унамуно. Режим генерала Франко приложил немало усилий, чтобы привлечь испанскую интеллигенцию на свою сторону или заставить ее замолчать. Достаточно вспомнить последнее отстранение от должностей пятерых известнейших профессоров Испании за поддержку ими студенческих выступлений. Подобного рода «побед» у франкизма было много, но они, говоря словами Унамуно, никого не убедили.

Конкурс в честь Унамуно — еще одно свидетельство того, что нынешнему режиму в Испании становится все труднее сдерживать прогрессивные акции, исходящие от испанской интеллигенции.

РАЗРЕШИЛИ, НО НЕ ПУСТИЛИ...

Как известно, на проходивший в ноябре 1965 года в Москве Первый Учредительный съезд советских кинематографистов были приглашены многие видные деятели зарубежного кино. В числе гостей должны были находиться и известные испанские режиссеры Луис Берланга и Хуан Антонио Бардем. Судя по сообщениям испанской демократической печати, власти дали им разрешение на поездку в советскую столицу. Вместе с тем они сделали все, чтобы это разрешение осталось чистой формальностью. Министр внутренних дел Испании Алонсо Вега, в ведении которого находится выдача заграничных паспортов, недопустимо затянул эту процедуру. В результате Луис Берланга и Хуан Антонио Бардем не получили паспортов до самого закрытия съезда.

ИТАЛИЯ

ПРОТИВ ГРЯЗНОЙ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

В движении итальянской общественности за мир во Вьетнаме активно участвуют писатели, кинодраматурги, режиссеры, художники. Вот имена некоторых писателей, выступающих против агрессии и зверств американской военщины: Итало Кальвино, Либеро Биджаретти, Аугусто Фрассинети, Данило Дольчи, Марио Сократе, Федерико Дзарди, Франко Солинас.

Карло Бернари заявил недавно: «Вот уже много месяцев, как я живу в атмосфере великой американской революции, освободившей Северную Америку от английского гнета. Читая и перечитывая письма и страницы воспоминаний флорентийца Филиппо Маццеи, которые я сейчас подготавливаю для издания,— а Маццеи, как известно, был активным участником этих событий — я не в силах удержаться от искушения сравнить Америку тех лет— слабую и никем не признанную — с Америкой нынешней... Маленькая, героическая Америка, которая среди всеобщей враждебности, предвзятости, недоверия поднялась с оружием в руках против мощного флота и закаленных в боях армий его величества короля Великобритании... Та Америка поняла и поддержала бы, наверное, маленький, героический вьетнамский народ. Однако то были не нынешние Соединенные Штаты, которые шлют вооруженные до зубов войска убивать мирных жителей ради осуществления своих черных планов установления мирового господства».

ИНТЕРВЬЮ ФЕЛЛИНИ

Во время недавнего пребывания в Париже Федерико Феллини дал интервью газете «Фигаро» о своем последнем фильме «Джульетта, одержимая духами». Феллини, в частности, заявил: «Вы можете мне не поверить, но я честно признаюсь, что этот фильм наименее автобиографичный из всех мною поставленных. Я пытаюсь в нем нарисовать без прикрас портрет женщины из буржуазной среды. Ее характер сформировался под влиянием самого строгого католического воспитания. Но, разумеется, воссоздать портрет женщины — просто непосильная задача для мужчины».

«Говорят, что это рассказ о супружеской неверности, с которой хорошая жена должна мириться?» — спросил один из корреспондентов.

«Это фильм не против брака, а против всего того,

Газета «Унита» поместила на своих страницах фотоснимки, рассказывающие об антивоенных выступлениях деятелей культуры Италии, протестующих против американской агрессии во Вьетнаме. На нашем снимке: поэт Иво Гаррани читает свои новые стихи «Другая Америка» на одном из митингов протеста.

что есть в нем отжившего, — ответил Феллини, — когда он превращается в своего рода тюрьму, в которой человек живет в страхе нарушить «табу».

«Вы имеете в виду участь тех итальянских супружеских пар, которые не могут развестись?» — поинтересовался журналист.

«Разумеется», — сказал Феллини.

«Джульетта, одержимая духами» — первый цветной фильм, поставленный Феллини, и работа с цветом, видимо, не удовлетворила режиссера. «Я работал над фильмом целый год,— сказал он,— и самой для меня трудной проблемой был цвет... В кино все субъективно, только камера остается объективной, подобно человеческому глазу. Поэтому я был вынужден смотреть на окружающее так, словно я сам — камера, все время борясь с самим собой, стараясь подавить свое «я». Один мой сотрудник, который хорошо меня знал, спросил, уж не заболел ли я. Изменилась даже моя походка... Кино — это движение, а цвет — неподвижность. Смешивать эти две вещи вместе, по-моему, все равно, что пытаться дышать под водой».

«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Джанни Родари — известный во всем мире поэт и писатель — удостоен «Национальной премии Антонио Рубино», учрежденной для лучшего детского писателя Италии. Во Флоренции, сразу же после вручения ему премии, Джанни Родари дал интервью нескольким газетам. «Я начал писать в 1947 году, когда мне было двадцать семь лет,— сказал он, отвечая на вопросы корреспондентов.— Тогда я был журналистом, а еще раньше преподавал в школе. Печататься в рубрике «Для малышей» газеты «Унита», в которой я тогда сотрудничал, мне предложили случайно. И случилось так, что мои первые стихотворения понравились юным читателям. Неожиданно мне удалось найти язык, позволивший наиболее полно выразить мысли о великолепном и неповторимом детском мире, который я так люблю. В 1950 году вышел мой первый сборник — «Книга шуток», затем увидели свет «Шутки на небе и на земле», «Сказки по телефону», «Чиполлино», «Елочная планета» и, наконец, совсем недавно — «Книга ошибок», которая, признаться, мне нравится больше всех остальных моих работ. Когда я писал «Книгу ошибок», я хотел, чтобы мальчишки и девчонки запоминали грамматические правила смеясь, а не плача, как это обычно бывает».

«Мне приходится писать и о королях, и о миллионерах,— продолжал Джанни Родари.— Но больше всего я люблю описывать другую Италию: стариков, о которых никто не думает, ребят, которые очень хотят учиться, но не могут, деревни, где остались одни женщины, а мужчины все эмигрировали в поисках заработка».

Газета «Унита», посвящая присуждению «Премии Антонио Рубино» большую статью, пишет, что «Джанни Родари сумел в простой и очень доступной форме великолепно выразить проблемы большого, неспокойного мира». Поздравляя писателя, газета пишет: «Этот мастер детской поэзии давно получил признание в Италии и за рубежом, особенно в Советском Союзе. «Премия Антонио Рубино» официально ставит его в самый первый ряд итальянских писателей, пишущих для детей».

Трудную задачу экранизировать «Мандрагору» Никколо Макиавелли взял на себя режиссер Альберто Латтуада. Как отмечает критика, он тщательно воссоздал в фильме атмосферу жизни Флоренции XVI века, в «документальной» манере показал ее повседневный быт. Роль Лукреции исполняет итальянская актриса Розанна Скьяффино (на снимке); в фильме снимались также итальянские и французские актеры — Ромоло Валли, Нилла Пицци, Филип Леруа, Жан-Клод Бриали. Роль монаха Тимотео играет известный комик Тото.

КАНАДА

«ИСТОРИЯ КАНАДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Журнал «Кенэдиен литерачер» сообщает о выходе в свет в издательстве «Юнивёрсити оф Торонто пресс» капитального труда «История канадской литературы» (написанной на английском языке). Книга создавалась в течение шести лет.

Новая работа охватывает всю историю канадской литературы на английском языке с момента ее зарождения до 1960 года, а в отдельных случаях и более позднего периода. Следует отметить, что термин «литература» трактуется в книге в широком смысле этого слова: авторы рассматривают не только произведения художественной прозы, поэзии, критики, но и исследования, посвященные различным проблемам естествознания, философии, истории и других наук, дают характеристики журналам, издающимся по этим вопросам, и т. д.

Книга, по мнению критики, станет своеобразным справочником не только для читателей Канады, но и зарубежных стран.

В ближайшее время ожидается выход в свет аналогичного издания, посвященного проблемам канадской литературы, написанной на французском языке.

КИПР

«ВОЛНУЮЩИЙ ГИМН МИРУ»

«Скорбь о тяжелой судьбе родного острова, гордость за его героический народ, мечты о свободе и слезы, пролитые над могилами тех, кто пал за нее — вот те чувства, которыми исполнена каждая строка нового сборника стихотворений кипрского поэта Тефкроса Антиаса «Кипрская трагедия», — пишет в газете «Димократики аллаги» известная греческая писательница Элли Алексиу, откликаясь на выход этой книги.— На смену ярким картинам народного быта, любовно передающим даже запахи родной земли, на смену раздумьям об ее истории приходят глубокие философские размышления о всепобеждающей правде и силе труда. В стихотворении «Добро пожаловать в мой дом, брат мой!» поэт пишет о том времени, когда объединенные одной судьбой, одними радостями и горестями, жили в мире и согласии кипрские греки и турки, жили бок о бок, работали рука об руку, понимая друг друга и помогая друг другу. Новый сборник Антиаса — это возвышенный и волнующий гимн миру».

ОАР

РОЖДЕНИЕ ЖАНРА

Писатель Мустафа Махмуд опубликовал фантастическую повесть «Паук».

В повести идет речь об ученых, работающих над применением чудесного эликсира, который дает бессмертие и вечную молодость. Как указывается в рецензии, опубликованной журналом «Аль-Мусаввар», это — первое научно-фантастическое произведение в современной арабской литературе.

ПОЛЬША

РАЗГОВОР С ТАДЕУШЕМ РУЖЕВИЧЕМ

Известный польский поэт и драматург Тадеуш Ружевич дал интервью еженедельнику «Культура». Он рассказал, что много читает. На его письменном столе — романы Болеслава Пруса и сочинения папы Иоанна XXIII, книги Мицкевича и Достоевского, Конрада и Кафки, Шекспира и Кохановского... На это, по словам поэта, у него уходит 3—4, а иногда и 5—6 часов в день. Часа два отнимают радио и телевидение. Ружевич следит за всеми новинками сцены и экрана. Не ослабевает его интерес к современной польской поэзии.

— Как вы оцениваете нынешнее положение современной польской поэзии? — спросил Витольд Залевский, представлявший еженедельник «Культура».

— Я не собираюсь давать оценок,— ответил Ружевич.— Могу лишь сказать несколько слов о «демографической» ситуации в польской поэзии. Мы переживаем нечто вроде «демографического бума» в поэзии. Правда, уже древние с иронией писали: «Урожай на поэтов в нынешнем году был большой... хуже со слушателями», но мне кажется, что в этой области мы бьем рекорды... Стихами засыпают не только литературные, специальные, религиозные, иллюстрированные и другие журналы, но даже такие издания, как «Удильщик», «Польский охотник», «Шахматист»... Однако, на мой взгляд, эта эпидемия не опасна, опасно другое. Мне кажется, следует обратить более пристальное внимание на продукцию «профессиональных» поэтов, то есть тех, кто получает за это гонорары, стипендии и т. д... Я не буду говорить о «расцвете» или «кризисе»... положение сложное... размеры интервью не позволяют...

Но должен признаться, во мне рождается подозрение, что в последнее время в большинстве случаев в стихах трактуется о чем-то неопределенном, «ни о чем». В конце концов, не так страшно, если произведение ни о чем не говорит, хуже, если его автор делает при этом вид, будто он о чем-то говорил... Именно здесь собака зарыта... мне кажется, что нам предстоит пережить необычайно буйный расцвет поэзии, трактующей о вещах неопределенных... Это можно назвать «новым средневековьем», или «неоклассицизмом», или барокко под метафизическим соусом... Мы — свидетели возникновения «искусства» факиров, различные маги-волшебники пытаются влезть на небо по собственным стишкам, как по веревке... Они пропадают из виду с псевдофилософским бормотанием... Вот какие «космонавты» есть в нашей поэзии...

НА ЭКРАНАХ — «ПЕПЕЛ»

На экранах польских кинотеатров с большим успехом демонстрируется двухсерийный исторический фильм режиссера Анджея Вайды «Пепел», представляющий собой экранизацию одноименного романа Стефана Жеромского. Сценарий фильма создан писателем Александром Сцибором-Рыльским. Как сообщает польская печать, фильм уже побил своеобразный рекорд: расходы на его производство (довольно высокие) окупились за пять недель проката.

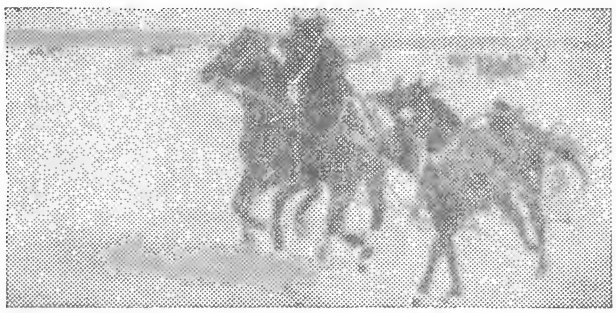
Фильм Вайды вызвал не только интерес у зрителей, но и породил острые споры критиков и деятелей культуры в печати, по радио, на телевидении. Некоторые критики упрекают Вайду в непонимании Жеромского, в том, что он неточно и неполно воссоздал отдельные исторические события и образы. Другие считают «Пепел» крупнейшим достижением польской кинематографии.

Свое несогласие с тем, как Вайда подходит к экранизации «Пепла» и интерпретирует его для современного зрителя, высказали критики Кшиштоф Теодор Теплиц (известный в польской печати под инициалами КТТ) в еженедельнике «Культура» и Анджей Киевский в еженедельнике «Экран».

С ними полемизирует критик Стефан Моравский на страницах еженедельника «Экран», который защищает право творческих работников кинематографа на инди-

Кадры из фильма «Пепел».

(Еженедельник «Экран»)



видуальный подход к экранизации литературных произведений. «Развитие образов и их взглядов Вайда дал не в плане психологическом, как этого требует КТТ, а через сцены-ситуации,— пишет Стефан Моравский.— Такая композиция фильма в конечном счете соответствует композиции романа — с его эпизодами, с плавным течением повествования, с характерными для Жеромского лирическими «взрывами», за которыми следует насыщенный диалог или описание» .

Стефан Моравский возражает тем критикам, которые высказывают крайние точки зрения: будто Вайда «фальсифицировал» произведение Жеромского, подошел к нему слишком упрощенно. «Финал романа Жеромского выдержан в иной тональности, поскольку писатель создал это произведение в то время, когда независимость Польши еще не стала фактом,— отмечает Моравский,— Вайда же — в соответствии с исторической логикой — изменяет тональность финала. Независимая народная Польша стала историческим фактом, и ей нужно трезво разобраться в своем прошлом». По мнению Моравского, творчество Вайды имеет общие корни с польским романтизмом, традиции которого свойственны польской литературе и искусству вообще.

«Анджей Вайда рассматривает «Пепел», отнюдь не отходя далеко от Жеромского, с перспективы своей творческой работы в кино,— пишет в заключение Моравский.— Верность своим творческим принципам заставила его подойти к эпохе Наполеона с теми же самыми критериями, что и к «Поколению», «Каналу», «Пеплу и алмазу»... На мой взгляд, спор, развернувшийся вокруг Вайды, представляет собой не полемику о степени верности первоисточнику, но спор о том, имеет ли право художник на свой собственный, индивидуальный подход к историческим явлениям...»

Стефан Моравский высказывает мнение, что «Пепел» Вайды еще ждет более обстоятельного и вдумчивого анализа.

КОНКУРЕНТ ИЛИ СОЮЗНИК?

В польской печати ведется дискуссия о взаимоотношениях кино и телевидения. Конкуренты они или союзники? Одно из первых выступлений на эту тему в еженедельнике «Фильм» принадлежит известному кинорежиссеру Яну Рыбковскому.

«Я считаю,— сказал Ян Рыбковский,— что кино и телевидение на данном этапе мешают друг другу; все это происходит потому, что еще не сложилась форма телевизионного фильма. Какие фильмы нужно создавать для малого экрана? Специфика телевизионного фильма не предполагает сужения тематики, скорее наоборот. Такой фильм должен длиться от 30 минут до одного часа пятнадцати минут. Художественный поиск должен вестись в разных, взаимно дополняющих друг друга направлениях. При соблюдении этих условий конкуренция с кино будет ликвидирована, кончится «детство» нашего телевидения.

...Телевизионные фильмы не могут быть побочной продукцией кинематографии, они должны выйти из стадии экспериментирования. А для этого необходимы постоянные кадры специалистов, режиссеров, операторов».

Кино и телевидение скорее союзники, чем конкуренты—к такому мнению склоняются участники дискуссии.

РУМЫНИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛИВИУ РЕБРЯНУ

Исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного румынского прозаика Ливиу Ребряну, автора известных советскому читателю романов «Ион», «Восстание» и «Лес повешенных». (Послед-

ний лег в основу известного у нас фильма.)

Этой дате посвящен специальный номер еженедельника «Газета литерарэ», где публикуются воспоминания, исследования и статьи о Ребряну историков литературы, критиков и писателей. (Среди них — писатели Михаил Сорбул, Марин Преда и Думитру Раду-Попеску, критики Эуджен Симион, Думитру Мику, Николае Манолеску, Матей Кэлинеску, Ал. Пиру и многие другие.) Номер иллюстрирован многочисленными фотографиями. По оценке литературных обозревателей, этот номер «Газета литерарэ» представляет большой интерес.

ПРЕМЬЕРА ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ

Целых полвека считалось, что пьеса румынского драматурга Камила Петреску «Дьявольская игра», написанная в 1916 году, из-за сложности и насыщенности философскими идеями не может обрести сценического воплощения. Опровергнуть это мнение взялся коллектив Бухарестского драматического театра во главе с режиссером Кринom Теодореску. Показанная недавно премьера имела успех у зрителей и вызвала многочисленные отклики в румынской печати. Рецензенты объясняют успех постановки прежде всего актуальностью самой темы (пьеса поднимает вопрос об ответственности за совершенные преступления; журналист-социалист Рускану ведет трудную борьбу с военным преступником, занимающим пост министра юстиции в буржуазном правительстве; Рускану разоблачает его прошлое). В немалой степени успеху пьесы способствовала игра актеров, и, прежде всего, великолепное исполнение Ионом Маринеску роли секретаря редакции, своего рода резонера, высказывающего мысли автора.

Положительно оценивая спектакль, рецензент журнала «Флакэра» Санда Фаур писала: «Это был экзамен, где экзаменаторами были зрители, а экзаменующимися — актеры. И экзамен выдержан блестяще прежде всего потому, что театр сумел найти и показать главные идеи и проблемы пьесы Петреску, чье творчество по духу близко Ибсену и Сартру».

НОВАЯ ПОЭМА МАРИИ БАНУШ

Имя румынской поэтессы Марии Бануш, автора нескольких стихотворных сборников и поэм — «Радость», «Моим сыновьям», «Рождается мир», «О земле», «С тобой говорю, Америка!», «У врат рая»,— хорошо известно советским читателям по переводам М. Алигер, В. Тушновой и других советских поэтов.

Недавно поэтесса опубликовала свою новую поэму — «Алмаз». На первый взгляд поэма кажется автобиографичной, пишет румынский критик Н. Манолеску в еженедельнике «Контемпоранул». На самом же деле автора в первую очередь интересуют человек и история, человеческая судьба на широком историческом фоне. Особенно выделяется глава о войне. Изображая ад войны, Бануш гневно протестует против происков врагов мира — современных атомщиков.

Стихи поэтессы, по отзывам критики, заполнены живыми образами, осязаемыми вещами, запахами, красками, ощущениями.

США

СНОВА О «БЕЗОБРАЗНЫХ АМЕРИКАНЦАХ»

Уильям Ледерер и Юджин Бердик, написавшие роман «Безобразный американец», в котором по существу осуждалась американская дипломатия и агрессивная политика США в Юго-Восточной Азии, вновь навлекли на себя гнев крайне правых, настаивающих на эскалации войны во Вьетнаме. «Саркан» — так называется их новый роман; напомним, что Саркан — название вымышленного восточного государства, в котором происходило действие «Безобразного американца». Итак, место действия прежнее. Ледерер и Бердик подчеркивают, что, к сожалению, ничто не изменилось к лучшему: все та же авантюристическая политика, те же дипломаты... те же военные... Здесь следует оговориться, что авторы отнюдь не принадлежат к сторонникам Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, но они, как и многие здравомыслящие американцы,— активные противники грязной войны американского империализма во Вьетнаме.

В книге выведен некий Иеремия Хобсон, руководитель «ФИА»,— прозрачный намек на руководителя

Сцена из спектакля «Дьявольская игра».
(Журнал «Флакэра»)

Центрального разведывательного управления США. Он усиленно пропагандирует американское вмешательство в дела малых народов. В уста его оппонента авторы вкладывают такую фразу: «Многие пробовали поступать подобным образом... Гитлер, Наполеон, Юлий Цезарь. Нет, Иеремия, так дело не пойдет. Ведь эти азиатские народы восстают сейчас против обмана и эксплуатации.

Разумеется, некоторым критикам «Саркан» пришелся не по вкусу. «Ньюсуик» называет авторов «дешевыми пророками», а «Тайм» неодобрительно замечает, что у них «коммунисты, как обычно, умны, даже умнее, чем всегда». Более терпимую позицию в отношении «Саркана» заняла газета «Нью-Йорк таймс». В ее воскресном литературном приложении говорится, что новый роман Ледерера и Бердика содержит вдумчивый анализ «вашингтонской политики, ошибок американской разведки», является «панорамой сегодняшней неразберихи, которая может обернуться трагедией завтра».

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК ВМЕСТО ИСТИНЫ

На экранах Соединенных Штатов недавно демонстрировался новый фильм режиссера Кэрола Рида «Агония и экстаз» по одноименному роману известного американского писателя Ирвина Стоуна, посвященному жизни и творчеству великого сына Италии Микеланджело Буонаротти. От всех прочих голливудских фильмов нынешнее творение отличается тем, что оно сразу же вызвало единодушное негодование критики всех направлений.

«Зачем, собственно, понадобилось Риду делать этот фильм? — пишет кинокритик журнала «Таймс».— Неужели только затем, чтобы зритель просидел два часа в темном зале и ничего не понял из того, что составляет жизненный подвиг великого художника? Просмотрев фильм, вы выносите из зала одно-единственное впечатление: всю свою колоссальную энергию, весь свой гигантский талант Микеланджело вложил в создание грошовых сувениров для продажи у падающей башни в Пизе, и, к сожалению, это впечатление не сглаживается превосходными съемками».

Отмечая, что фильм — лишь жалкое подобие очень интересной книги Стоуна, журнал пишет, что его главный порок — искажение образа великого итальянца. Так, из фильма явствует, что Сикстинская капелла — шедевр Микеланджело — появилась на свет в результате тесного сотрудничества, чуть ли не творческой дружбы между скульптором и папой Юлием Вторым, хотя хорошо известно, что существовавшие между ними отношения часто травмировали Микеланджело, надолго выводили его из состояния душевного равновесия. Неудачным считает критика и подбор актеров. «В конце концов,— пишет обозреватель газеты «Вашингтон пост»,— нам просто надоело видеть постную физиономию Чарлтона Хестона (исполнитель главной роли.— *Прим. ред.*), которая появляется на экране всякий раз, когда надо показать какого-нибудь очередного святого — вроде Моисея, Иоанна Крестителя или Магомета».

«Величайший художник Возрождения,— пишет корреспондент журнала «Ньюсуик»,—превратился в фильме в какого-то морального уродца, его целеустремленность обернулась скудоумием; вместо борца за идею мы увидели нечто вроде камергера при римском папе. Новый фильм — не более чем убогий фиговый листок на фасаде оставшейся во мраке истины».

Над чем работает сейчас популярная американская киноактриса Одри Хэпберн, известная у нас по фильмам «Римские каникулы», «Война и мир», «Моя прекрасная леди»? По сообщениям печати, актриса в настоящее время снимается в фильме «Внимание к ночи», где она исполняет роль слепой девушки (этот фильм ставит муж Одри Хэпберн — Мель Феррер). Вторая ее роль будет в фильме «Сладкий ноябрь»: съемки фильма начнутся осенью этого года.

ФРАНЦИЯ

СОЛИДАРНОСТЬ С ВЬЕТНАМСКИМ НАРОДОМ

В знак солидарности с вьетнамским народом, ставшим объектом американской агрессии, французские сторонники мира решили провести в Париже выставку-продажу произведений изобразительного искусства. Более ста художников откликнулись на обращенный к ним призыв и прислали свои произведения. Многие общественные и государственные деятели, а также представители интеллигенции самых различных политических и религиозных убеждений заявили о поддержке этой благородной акции.

В своем выступлении на открытии выставки один из ее инициаторов искусствовед Вальдемар Жорж заявил, что обострение положения во Вьетнаме требует сделать все возможное, чтобы добиться прекращения военных действий. Выступивший затем Пикар Ле Ду подчеркнул, что «мир является непременным условием творчества».

Все деньги, вырученные на выставке-продаже, поступили в фонд вьетнамского Красного Креста.

ВОКРУГ ПРИСУЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Ежегодное присуждение литературных премий, которое обычно происходит осенью или в начале зимы,— большое событие в культурной жизни Франции. Предпочтение, оказываемое жюри начинающим авторам, стало почти традицией, и подчас присуждение премии не отражает литературного удельного веса писателя, но тем не менее премии всегда являются верным барометром, по которому можно судить о намечающихся перепадах давления в литературной атмосфере.

На этот раз стрелка барометра заняла неожиданное положение. Гонкуровская премия присуждена Жану Борелю — преподавателю английского языка в одном из коллежей — за первый написанный им автобиографический роман «Обожание»; премия же «Ренодо» — Жоржу Перек, социологу по профессии, за небольшую книгу «Вещи».

Критики считают выбор жюри не только исключительно удачным, но и смелым, так как первый роман не принадлежит ни к одному из новых литературных течений, будь то «новый роман», роман символический и т. д., а вторая книга необычна по своей проблематике.

Роман «Обожание» написан очень ясным, доступным широкой аудитории языком. Повествование ведется плавно, без неожиданных экскурсов в прошлое, без наслоения эпох. Основная тема романа — отношения между сыном и матерью, но с этой темой увязывается множество событий и персонажей, а в качестве подтемы показано формирование человека в тридцатые — шестидесятые годы нашего века. Жан Борель не ограничивает героя своей книги рамками одиночества; прошлое, которое он вызывает в памяти, не заслоняет настоящего, а раскрывается через него.

Книга «Вещи» Жоржа Перека снабжена весьма выразительным подзаголовком «Рассказ из жизни 60-х годов». Это скорее рассказ, чем роман, история молодой пары, которая после окончания учебы старается жить «прилично» и честно в цивилизации «производства и потребления». В книге Жоржа Перека мы находим нечто от достоверного объективного документа эпохи. Для его стиля характерна точность и четкость. Но это не все. Автор остроумно изображает борьбу человека за вещи, все больше его порабощающие. Любая вещь, о которой мечтают Жером и Сильвия, желая стать ее обладателями, все больше отдаляет их друг от друга. История героев — это история порабощения человека вещами в современном капиталистическом мире, рассказываемая тонким наблюдателем в остросатирической манере. Обозреватели отмечают, что в прошлом году премия «Ренодо» была присуждена Жан-Пьеру Файю, тоже социологу. «Может, это становится традицией? А может, мы присутствуем при рождении новой литературы, в особенности в том, что касается Перека, по крайней мере в плане попытки создания «социологической» литературы...» — писал по этому поводу Жан Гожар в еженедельнике «Леттр франсез».

С Национальной премией Франции по литературе — «Гран при насьональ» произошел следующий инцидент. Она была присуждена 66-летнему поэту бельгийского происхождения Анри Мишо, живущему во Франции. В связи с присуждением ему премии обозреватель «Юманите» писал, что творчество Анри Мишо — «это серьезное обвинение капиталистической цивилизации, порабощающей человека». Творчество Анри Мишо отличает философская ирония, своеобразный, только ему свойственный юмор. «Это один из наиболее значительных голосов нашей поэзии»,— резюмировал обозреватель «Юманите».

Однако Анри Мишо отказался принять «Гран при насьональ», мотивируя это тем, что он принципиально никогда не принимал никаких литературных премий. В связи с этим жюри приняло решение никому не присуждать «Гран при насьональ» по литературе за 1965 год.

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Как уже сообщалось, в крупнейшем зале Парижа «Мютюалите», вместившем три тысячи человек, состоялся литературный вечер, посвященный выходу антологии русской поэзии. Во Францию были приглашены девять советских поэтов: Твардовский, Сурков, Мартынов, Кирсанов, Слуцкий, Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский, Соснора. Они читали свои стихи на русском языке, французские актеры декламировали их переводы на французский язык. Зал не мог вместить всех желающих познакомиться с советскими поэтами.

Антология «Русская поэзия» выпущена издательством Сегер на двух языках: французском и русском. В первые же дни было распродано пять тысяч экземпляров. Сборник составлен и отредактирован Эльзой Триоле; переводы делались Арагоном, Марсенаком, Гийевиком, Керелем, Либерати, Добжинским, Робелем, Фриу, Триоле — крупными современными поэтами Франции. Антология охватывает два века русской поэзии — от Ломоносова до наших дней.

По словам Андре Стиля, переводчики проделали огромную работу и создали достойный эквивалент прекрасной русской поэзии.

— Нельзя получить полное представление о поэзии страны по одной лишь антологии,— сказал он в интервью газете «Юманите»,— но очень важно, с чего начать первое знакомство с этой поэзией. Эльзе Триоле, которая, как никто другой во Франции, знает и любит русскую поэзию, мы обязаны выбором лучших, наиболее типичных поэтов России. Антология вызывает тем большее восхищение и

признательность, что ломает границы между нашими народами. В сборнике представлены поэты—новаторы языка и формы. Антология явилась доказательством высокого развития советской поэзии, показала, что социалистический реализм вовсе не ограничивается только политическими темами. Талант поэтов делает неисчерпаемыми такие темы, как патриотизм, служение народу, верность идеям коммунизма, борьба за лучшее будущее, труд. Советская поэзия продолжает традиции классической русской литературы.

Луи Арагон — он перевел для антологии произведения Пушкина — рассказал корреспонденту «Юманите», как два с половиной года французские поэты работали с поэтами-славистами, дававшими им не только подстрочники, но и поэтические, просодические и исторические объяснения.

— Многообразие владеет этой великой русской поэтической империей! — воскликнул поэт.— О, великий народ певцов, от Пушкина до Маяковского, от Лермонтова до молодых советских поэтов, павших в годы войны! Поэзия сближает нас, мы становимся братьями. И поэты и переводчики — одно целое, в котором каждому отведена своя роль.

Поэт Гийевик, которому принадлежит перевод сорока стихотворений двадцати русских авторов, рассказал о своей работе над антологией. Он считает, что перевод — не то слово, надо бы найти другое, более точное определение.

— Поэт-переводчик должен быть скромен, уметь подчинить свою творческую индивидуальность, не стремиться переделать стихотворение на свой лад, а воссоздать его по замыслу автора. И полюбить стихотворение, вникнуть в глубину его смысла. Необходимо не только знание двух языков, но и двух мировоззрений. Я не знаю русского языка, и мы работали втроем с Фриу и Робелем. Поэт один не может выполнить такую сложную задачу, даже если и знает язык, на котором стихотворение написано. Я считаю подобный совместный метод перевода очень плодотворным. Я стараюсь по возможности не нарушать стихотворные ритмы и размеры, но удается это не всегда. Легче, конечно, когда имеешь дело со стихотворным творчеством, которое я квалифицирую как «акробатическое», но задача много сложнее, когда переводчик имеет дело со стихами, в которых поэтическая мысль значит больше, чем форма. Особенно трудно переводить Ахматову, чья поэзия необычайно проста и предельно отточена.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

О РЕАЛИЗМЕ И СОВРЕМЕННОСТИ

Издательством Чехословацкой Академии наук выпущен сборник литературоведческих исследований под названием «Реализм и современность». Подзаголовок сборника «Изменения в чешской прозе XIX столетия» указывает на то, что предметом исследования служит чешская художественная литература прошлого века.

Творчество Немцовой, Гавличека, Неруды, исторический спор между сторонниками реализма и натурализма в 80—90-е годы, общественные отношения и литературный процесс тех лет— вот наиболее важные темы, которые охватываются шестью статьями сборника.

Цель его выпуска, по словам рецензента газеты «Руде право», состоит не только в углублении знаний о реалистической прозе минувшего столетия. В сборнике прослеживаются пути развития чешской литературы к началу нынешнего столетия, уточняются ее связи с современностью.

«Отдельные статьи сборника посвящены рассмотрению конкретных проблем развития чешской прозы минувших лет,— пишет далее рецензент,— однако выводы, к которым приходят их авторы, в своей совокупности охватывают более широкий круг литературоведческих дисциплин... Сборник представляет собой свидетельство современного оживленного развития нашего литературоведения и усиленных поисков новых путей в, казалось бы, известной и исследованной области — с целью дальнейшего развития литературоведческих знаний».

«БЕГСТВО В НИКУДА»

Так называется новый художественный фильм, которым дебютировал молодой кинорежиссер Ладислав Таборский. Сюжет фильма незамысловат: трое старшеклассников пропускают занятия в школе, успевают набедокурить в городском парке и дома. Опасаясь гнева родителей, они берут с собой самые необходимые вещи и... «бегут в никуда», как они пишут в открытках, отправленных домой. Несколько дней они живут в палатке в лесу, наведываясь в близлежащее село за хлебом и другими продуктами. Однако по мере того, как деньги подходят к концу, ребята начинают задумываться над тем, что же делать дальше.

В конце концов им приходится покинуть свое лесное убежище и... заняться работой в сельскохозяйственном кооперативе. При этом особенно преуспевает один из ребят, знакомый с основами радиотехники: пока двое его товарищей заняты прополкой капустной рассады, он ремонтирует разнообразные сложные устройства, начиная от транзисторных радиоприемников и кончая... граммофоном!

Но эта эскапада юных любителей приключений не может продолжаться вечно: в конце концов милиция находит их и доставляет под родительский кров. Урок, преподнесенный ребятам жизнью, не проходит для них даром: они познали цену трудовому хлебу.

Критика отмечает живую и естественную игру юных актеров, а также свежесть и оригинальность в осуществлении режиссерского замысла.

Авторы этого номера

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ (род. в 1903 г.).

Эта книжка журнала открывается стихотворением известного болгарского поэта Н. Фурнаджиева, творчество которого уже дважды отмечено на родине Димитровской премией. Произведения поэта составили несколько книг стихов. В нашей стране в 1963 г. вышел его сборник «Солнце над горами».

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.).

Книги Жоржи Амаду знают и любят советские читатели. В последние годы в нашей стране вышли его роман «Габриэла» («Gabriela, crâvo e canela», 1959), поэтическая биография «Кастро Алвес» («ABC do Castro Alves», 1961), сборник повестей «Старые моряки» («Os velhos marinheiros», 1961); одна из них — «Необыкновенная кончина Кинкаса Сгинь Вода» — была напечатана в нашем журнале № 5 за 1963 г.

Под названием «Мы пасли ночь» в этом номере начинается публикация журнального варианта нового романа Амаду «Os pastores da noite» (1964), который отдельным изданием выйдет в издательстве «Прогресс». Об этом романе см. статью Ю. Дашкевича «Поэма о человеке», опубликованную в «Иностранной литературе» № 1 за 1965 г.

АНДРЕ ФРЕНО — ANDRE FRAIGNEAU (род. в 1907 г.).

Цикл стихов этого видного французского поэта публикуется на русском языке впервые. Андре Френо — автор многих поэтических книг, среди которых «Волхвы» («Les Rois mages», 1943), «Тайны Парижа» («Les mystères de Paris», 1944), «Неумолимое солнце» («Soleil irréductible», 1946), «Дороги напрасной надежды» («Chemins du vain espoir», 1956), «Рая нет» («Il n'y a pas de paradis», 1962) и др.

Публикация сопровождается статьей критика С. Великовского о творчестве поэта.

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ — WOLFGANG BORCHERT (1921—1947).

«Иностранная литература» уже знакомила читателей с рассказами В. Борхерта (см. № 7, 1958 г., № 4, 1961 г.).

Этот немецкий писатель положил начало целому направлению в послевоенной немецкой литературе, антифашистскому и антивоенному в своей основе, представителей которого именуют в Западной Германии «поколением вернувшихся». Признание пришло к В. Борхерту уже после смерти, когда получили известность его драма «За дверью» («Draussen vor der Tür», 1947) и многочисленные рассказы, переведенные на многие языки.

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ — VLADIMIR DOSTAL (род в 1930 г.).

Публикуемая в этом номере статья известного чехословацкого критика и литературоведа В. Достала «Четыре романа о недавнем прошлом» написана специально для «Иностранной литературы».

■

ТРУМЭН КАПОТЕ — TRUMAN CAPOTE (род. в 1924 г.).

Американский писатель, известен в США как автор нескольких повестей и многочисленных рассказов. За свои ранние новеллы Т. Капоте был удостоен премии О'Генри.

На русском языке опубликована повесть «Завтрак у Тиффани» («Breakfast at Tiffany's», 1958) и несколько рассказов в советских периодических изданиях.

В жанре документальной повести, построенной на материале расследования уголовного преступления, Трумэн Капоте выступает впервые. «Обыкновенное убийство» («In Cold Blood») мы публикуем в сокращенном виде по тексту, напечатанному в журнале «Нью-Йоркер» осенью 1965 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11183. Сдано в производство 8/XII-65 г. Подписано к печати 18/II-66 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 3077.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394

Цена 80 коп.